

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ПУШКИН

ИССЛЕДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ

ПУШКИН
ИССЛЕДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ

III

III

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ПУШКИН

ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ТОМ
III



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1 9 6 0

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Н. В. Измайлова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий том сборника «Пушкин. Исследования и материалы» посвящен памяти Бориса Викторовича Томашевского. Этот том стал подготавливаться с начала 1957 года, когда был образован в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР Сектор пушкиноведения, органом которого сделался Пушкинский сборник. Заведующий сектором Б. В. Томашевский был и редактором сборника.

Безвременная кончина Бориса Викторовича оборвала работу над составлением третьего тома сборника в самом начале, когда материал для него был еще едва намечен, и надолго задержала его подготовку.

С конца 1957 года работа над сборником возобновилась под общим руководством академика М. П. Алексева, временно принявшего на себя обязанности заведующего Сектором пушкиноведения. Было решено посвятить очередной третий том сборника, как сказано выше, памяти Б. В. Томашевского. С этой целью введен открывающий сборник мемориальный отдел, содержащий статью о покойном ученом как исследователе Пушкина, список его трудов по пушкиноведению и неизданную статью самого Бориса Викторовича «Пушкин и Петербург» — последнее публичное выступление Бориса Викторовича на Девятой Всесоюзной Пушкинской конференции 6 июня 1957 года.

Остальная часть сборника построена по тому же общему плану, по которому строились первые два тома, включая те же, что и прежде, четыре раздела: статьи, материалы и сообщения, критические обзоры, хронику. Следует при этом отметить, что форму критических обзоров литературы о Пушкине в Советском Союзе и за рубежом за известный период редакция считает наиболее целесообразной, предпочитая ее рецензиям на отдельные пушкиноведческие труды, ввиду сравнительно редкой периодичности издания сборника.

Большая часть работ, включенных в настоящий том, была доложена и обсуждена на заседаниях Сектора пушкиноведения ИРЛИ. Весь материал сборника поступил в редакцию до середины 1958 года.

Общую редакцию тома Сектор пушкиноведения поручил Н. В. Измайлову. Участие в редакционной работе принимали и другие сотрудники сектора, в особенности В. Б. Сандомирская.



БОРИС ВИКТОРОВИЧ
ТОМАШЕВСКИЙ
1890—1957

Н. В. ИЗМАЙЛОВ

Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПУШКИНА

Безвременно скончавшийся 24 августа 1957 года Борис Викторович Томашевский был одним из самых выдающихся современных советских ученых-филологов — литературоведов вообще и пушкинистов в частности. Чем больше проходит времени со дня его смерти, тем сильнее чувствуется тяжесть утраты, трудность, быть может, даже невозможность, восполнить его отсутствие трудами тех немногих его сверстников, кто еще остался в строю, и тех молодых работников, кто идет им на смену. Вместе с тем всё яснее вырисовываются для нас его значение и место в развитии советской науки о литературе и прежде всего в развитии советского пушкиноведения; теперь мы уже в состоянии подвести основные итоги его долгой, напряженной и необычайно разносторонней деятельности, а наметить эти итоги в области изучения Пушкина является особенно необходимым и уместным на страницах Пушкинского сборника, посвященного памяти покойного исследователя.

Первые выступления Бориса Викторовича в печати, касающиеся Пушкина, относятся к 1915—1916 годам. Но временем начала его пушкиноведческой работы нужно считать 1913 год, год его возвращения в Петербург после четырёхлетнего пребывания в Бельгии, где он изучал в Льежском университете математику и инженерное дело: в этом году были им задуманы, написаны или начаты его первые работы о Пушкине, многие из которых напечатаны значительно позже, а сохранили значение до наших дней, например, интересная и важная статья «Генезис „Песен западных славян“» (сборник «Атеней», кн. III, 1926).

Борис Викторович вступил в пушкиноведение в то время, когда русская историко-литературная наука была в переходном, вернее, даже в кризисном состоянии и искала новых путей, что отразилось очень отчетливо на состоянии и направлениях изучений Пушкина.

Биографический метод в литературоведении, сводивший историко-литературную проблематику к исследованию личной биографии автора, а в его творчестве искавший прежде всего отражений реально-биографических фактов и отношений, достиг большой изошренности, накопил огромную массу биографических фактов и материалов, но разменивался на мелочи и был не в силах ни охватить, ни истолковать изучаемые явления литературы, и прежде всего такое большое и сложное явление, как творчество Пушкина.

Близкий к биографическому историко-культурный метод, рассматривавший литературу лишь как один из элементов общей истории культуры, игнорируя ее художественную специфику, вытекающую из свойств ее материала — эстетически организованного слова, не удовлетворял исканиям

и требованиям молодого поколения пушкинистов, вступавшего в науку: характерно, что ученики С. А. Венгерова, прошедшие его известный Пушкинский семинарий в Петербургском университете, воспринимали от учителя его горячую любовь к литературе и преклонение перед Пушкиным, но оставались чужды его научному направлению — историко-культурной школе, хотя, с другой стороны, С. А. Венгеров влиял положительно на научную молодежь своим требованием всегда при исследовании Пушкина обращаться к рукописным первоисточникам. Нельзя, однако, забывать, что тогдашняя пушкинская текстология, на которой строились и старое Академическое издание Пушкина и Венгеровское издание, к этому времени вполне обнаружила свою несостоятельность: ее эмпиризм, отсутствие теоретической базы и вместе с тем ее формалистичность, выражавшаяся в замкнутых в себе транскрипциях черновых текстов, сделали невозможным завершение обоих изданий, оказавшихся не в состоянии не только дать историю пушкинского текста, о которой думал С. А. Венгеров, но и научно обосновать тексты вышедших томов.

Наряду с биографическими и историко-культурными изучениями, наряду с эмпирической текстологией развивалось в предреволюционные годы и другое, противоположное им направление, коренившееся в мистико-идеалистической философии и в символистской критике, направление, видевшее в художественном произведении лишь символ или видимую форму философских постижений поэта и потому ставившее целью исследования раскрытие тайной философской сущности произведения, исходя при этом из априорных и субъективных представлений самого исследователя, переносимых на поэта. Это направление исчерпало себя и потерпело полное крушение в известной книге М. О. Гершензона «Мудрость Пушкина», изданной уже после Октябрьской революции (1919), но написанной в основном в предшествующие годы. Отметим, что критике работы Гершензона Борис Викторович посвятил несколько страниц в своей книге «Пушкин» (1925) и в позднейших статьях, посвященных разбору изданий поэтических текстов.

Символистская критика в лице Андрея Белого много сделала для изучения силлабо-тонического стиха, заложив основы русского стиховедения. Но и эти исследования не были приведены в систему, не имели прочной исторической и теоретической базы; они также страдали субъективизмом и нередко интуитивным характером наблюдений и выводов.

В этих-то сложных условиях методологического разброда, крушения старых направлений, искания новых и начал свою исследовательскую деятельность Б. В. Томашевский.

Он не входил в состав венгеровского Пушкинского семинария, но всегда чувствовал себя близким товарищем его участников. Он прошел зато иную, своеобразную школу, не свойственную другим его сверстникам-пушкинистам: строгую школу высшей математики и техники, изученных в Льежском университете, с одной стороны, а с другой стороны — великодушную практическую школу углубленного, непосредственно из самого источника, изучения французской классической литературы в залах парижской Национальной библиотеки и в аудиториях Сорбонны.

Приступая к самостоятельной исследовательской работе, начатой им, как было сказано, в 1913 году, он уже обладал серьезными сведениями в истории русской и французской поэзии, в теории стиха, во всех областях творчества Пушкина. Эти разные направления его исследовательской мысли органически и естественно соединялись воедино — и соединялись в изучении творчества Пушкина. Пушкин уже тогда был ему ближе

всех других поэтов, всех других деятелей мировой культуры и стоял в центре его литературоведческих интересов и изучений: Пушкин как огромное и своеобразное явление русской поэтической культуры; Пушкин в его отношениях к современной ему русской и мировой поэзии, к французской культуре и литературе классического периода XVII и XVIII веков; Пушкин как важнейший этап в истории русского стиха XIX века, как поэт, творчество которого дает образцы всех русских стиховых форм и является неисчерпаемым источником для стиховедческих изучений. Вокруг этих проблем сосредоточиваются и развиваются его исследовательские работы первых лет деятельности Бориса Викторовича; этим проблемам, всё углубляя их и расширяя, он остался верен и всю свою жизнь.

Очень рано складываются в нем основные свойства исследователя и взгляд на метод научного исследования: работа на конкретном, осязаемом, научно проверенном материале, приводящем к объективно построенным выводам; отвращение ко всякого рода субъективным, априорным домыслам, не покоящимся на фактах; математическая точность и строгость анализа, приводящего к таким же точным и строгим формулировкам. Эти свойства и требования развились в целую методологическую систему, образовавшуюся после Октябрьской революции, в 20-х годах. В основе ее был глубоко и органически, отнюдь не формально усвоенный метод исторического и диалектического материализма; в применении к конкретным явлениям литературы метод, выработанный им, можно назвать (и он сам его так называл) *филологическим методом* в самом широком смысле этого термина. Сущность его — во всестороннем анализе каждого литературного явления и литературного процесса в целом как исторических прежде всего и связанных со всей окружающей исторической обстановкой и как обладающих специфической, эстетической силой воздействия, основанной на выражении мысли в определенных, ей соответствующих языковых и художественных формах; всесторонность и единство анализа — вот требование, которому он всегда следовал в своих историко-литературных изучениях зрелого периода, а эта зрелость наступила для него очень рано. Это не значит, конечно, что Борис Викторович за всю свою дальнейшую деятельность — за тридцать пять лет неустанной работы — оставался неизменным: наоборот, он был всегда в движении, всегда искал новые пути, всегда открывал новые возможности и новые, более глубокие и широкие методы изучения, приводящие к новым обобщениям, к более и более глубокому и широкому синтезу. Мы говорим о тех основных свойствах ученого, которые на всех этапах деятельности Бориса Викторовича образовывали его необычайно своеобразную, неповторимую и яркую исследовательскую индивидуальность.

Замечательно то, что, работая над Пушкиным, он с первых же шагов пришел к убеждению, что невозможно глубокое понимание и истолкование творчества поэта без обращения к его рукописям, без тщательного их изучения. В те годы метод транскрипций был единственным методом изучения творческих черновиков. К этому очень несовершенному методу должен был прибегать и Борис Викторович, но уже тогда он умел из механических, чисто внешних, статических транскрипций извлечь то, чего искал при анализе рукописей: движение мысли поэта, логику и содержание творческого процесса.

Прекрасной иллюстрацией к сказанному могут служить два письма Бориса Викторовича, сохранившиеся в архиве покойного литературоведа М. К. Клемана (Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом)). Они написаны во время первой мировой войны, накануне

Февральской революции — 8 ноября 1916 и 13 февраля 1917 года, написаны на фронте, в условиях, крайне неблагоприятных не только для занятий творчеством Пушкина, но даже и для размышлений о нем, когда Борис Викторович служил в армии, в 12-й инженерно-строительной дружине, затерянной в полесских болотах. Тем более замечательны и полное владение материалом пушкинского творчества, проявленное в этих письмах, и точные, строгие формулировки наблюдений и выводов, подкрепляемые каждая рядом цитат, и широта мысли, дающей в дружеском письме конспекты целых исследований, иные из которых были осуществлены им впоследствии.

М. К. Клеман сообщал своему корреспонденту о новостях пушкиноведения в Петрограде, связанных с деятельностью Венгеровского семинария и Пушкинского общества при Петроградском университете. На эти сообщения живо отзывается Борис Викторович. Получив известие о том, что образована комиссия для полного транскрибирования черновых рукописей Пушкина, он отвечает: «Благодарю Вас за утешительное письмо — известие о транскрипции меня обрадовало. Без нее не будет никогда полного Пушкина. Кроме того, занятия пушкинскими рукописями чрезвычайно оздоравливают человека и исправляют взгляд на него (т. е. на Пушкина, — Н. И.). Человек, не копавшийся в рукописях Пушкина, тот не знает Пушкина как следует. Состав комиссии... ручается за добросовестность. Но не следует думать, что общая проверка — дело лишнее. Во-первых, каждому „комиссионеру“ интересно видеть все рукописи Пушкина. Во-вторых, знаю из опыта, что единоличная, однократная транскрипция не является окончательной. Я лично производил транскрипцию некоторых стихотворений по пять раз и каждый раз вносил поправки — и до сих пор не могу ручаться, что чтение мое — полное и правильное». В этих словах уже намечается, в сущности, тот коллективный метод работы над рукописями Пушкина, который почти двадцать лет спустя лег в основу подготовки советского Академического издания сочинений Пушкина и который был так чужд науке прежнего времени.

В другом письме Борис Викторович говорит об «открытии „Тавриды“», т. е. о расшифровке известной метрической схемы, записанной Пушкиным на листе с заголовком «Таврида»; последняя тогда понималась как предшествующая «Евгению Онегину» лирическая поэма в таких же «онегинских» 14-стишных строфах. В позднейшей статье о замысле «Тавриды» (1949) Борис Викторович убедительно опроверг такое представление, показав, что метрическая схема записана позднее, при переделке бесстрофных ямбов незавершенной элегии в «онегинские» строфы первой главы романа. Но в данном письме интересно для нас другое — острое внимание исследователя к вопросам версификации и строфики, всегда характерное для Б. В. Томашевского.

«Особенно интересно, — пишет он, — открытие „Тавриды“. Ясно пушкинское понимание 14-стиший Онегина. Для меня представлялось сомнительным, как следует расчленять эту строфу. Возьмем эту схему:

ЖМЖМЖМЖМЖМЖМЖМ

Разбить ее можно так:

|ЖМЖМ|ЖЖ||ММЖММЖ||ММ|

Иначе — четверостишие + пара, шестистишие + пара.

Другое понимание — три четверостишия всех форм рифмования + пара. Схема „Тавриды“ решительно говорит в пользу последнего пони-

мания. Да, пожалуй, и строй онегинской строфы склоняется именно к такому разделению.

Обозначение 1 2 1 (в третьем четверостишии пушкинской схемы, — Н. И.) не должно никого смущать: смысл его ясен, а что касается терминологии, то вообще нельзя от Пушкина требовать ее точности, тем более, что, вероятно, таковой не существовало в его время, как и ныне; вообще в версификации нет точных терминов, и каждый автор употребляет свои термины».

Большая часть одного из писем занята рассуждением Бориса Викторовича по поводу темы, которой думал заниматься его корреспондент: «Пушкин и философия». Признавая, что это «очень соблазнительная тема, но вряд ли плодоносная», Борис Викторович давал свое собственное понимание ее: он советовал «совершенно не касаться вопроса о „философской глубине“ и тем менее „о значении творчества Пушкина для современной гносеологии“ или что-либо еще более звучное» и ограничиться разработкой «исключительно вопросов о философской эрудиции и философских интересах Пушкина», т. е. оставаться в пределах объективных и твердо установленных историко-литературных фактов и не увлекаться абстрактно-субъективными построениями.

Внимательно и подробно рассматривает он все случаи употребления Пушкиным, начиная с лицейского времени, таких терминов, как «метафизический» («„метафизика“ — эквивалент „философии“... А „философия“ для Пушкина была философией французского XVIII века, „мудролюбием“, философией энциклопедистов»), «философ» и «филосóf» («философ — это последователь Эпикура, воспитанный на анакреонтических французских стихах Грессе и Грекура», и «совсем иное филосóf — это скучный проповедник»). После лица эти два понимания сливаются, но «двойственное понимание философии у Пушкина не исчезло окончательно. Оно только приняло более реальные формы. С одной стороны, французская философия XVIII века, философская публицистика, „просвещение“, с другой, германская философия — ученость, что-то мало понятное, недоступное. Онегин и Ленский — представители этих двух философий». И далее характеризуется степень знакомства Пушкина с французской философией и публицистикой XVII—XVIII веков (причем Пушкин «чаще всего упоминает два философских термина: „циник“ и „скептик“»), его понимание философии как учения о человеке («для Пушкина философ — моралист и редко метафизик»). Общее заключение, к которому приходит автор, таково: «Философские запросы трогали Пушкина, когда он говорил о человеческих отношениях, и у него мы встретимся с философией истории, с несколько рискованными суждениями о народных судьбах, о „народности“, о смысле исторического течения и т. д. Но тщетно искать у него интересов к метафизике, натурфилософии и т. д.».

Место не позволяет, к сожалению, привести полностью это замечательное письмо, со всеми цитатами, подкрепляющими мысли автора. Но и приведенного достаточно, чтобы судить о направлении интересов, о характере мышления, о широте знаний Бориса Викторовича в этот начальный период его деятельности, когда определялись основные линии его будущих исследовательских трудов.

Оторванный обстоятельствами военного, а затем революционного времени от непосредственного и личного участия в пушкиноведческих трудах и спорах, Борис Викторович включается в них через печать: к 1915—1916 годам относятся его статьи в «Аполлоне», и в их числе работа «О стихе „Песен западных славян“», сохранившая и доныне всё свое

значение как исследование русского паузника, введенного А. Х. Востоковым и широко разработанного Пушкиным в качестве эквивалента народно-песенного стиха. Тогда же (1917) Борис Викторович начинает печататься в органе академической Пушкинской комиссии «Пушкин и его современники». Участником этого сборника он оставался много лет, несмотря на то, что интересы и устремления молодого исследователя во многом расходились с направлением редакции сборника: редактор Б. Л. Модзалевский, так же как и С. А. Венгеров, умел всегда ценить и всегда выдвигал Бориса Викторовича как большую растущую силу в пушкинизме. Последний выпуск сборника (XXXVIII—XXXIX, 1930) был закончен и вышел под редакцией Бориса Викторовича.

С 1921 года Б. В. Томашевский включился вплотную в литературоведческую — и прежде всего пушкиноведческую — работу. Он сблизился с наиболее новаторским тогда кружком молодых исследователей — Обществом изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), участники которого рассматривали литературу, в противоположность историко-культурной школе, как объект самодовлеющего эстетического изучения, как искусство, материал которого является художественно организованное слово. Такое понимание литературы было близко Борису Викторовичу, стиховеду, исследователю художественных форм, и близость к ОПОЯЗу несомненно содействовала развитию и углублению его стилистических и стиховедческих изучений. Но он остался чужд крайностям так называемого «формального метода» с его убеждением в имманентности литературного процесса: такому взгляду противились свойственные Борису Викторовичу понимание литературы как исторического явления, а ее развития — как исторического процесса, и практика текстолога, заставлявшая его искать всегда, в каждом тексте, связей формы с вкладываемым в нее содержанием, потому что углубление этих связей до получения полного единства является основой всей работы художника над поэтическим текстом.

Проблемы пушкинской текстологии вместе с исследованием пушкинской метрики занимают с начала 20-х годов центральное место в трудах Бориса Викторовича. Как текстолог, он участвовал в выполнении большого, поистине общенародного дела, бывшего одним из выражений глубокого культурного переворота, внесенного Великой Октябрьской революцией. Надо было заново издавать Пушкина, освобожденного от цензурных пут и рутинных представлений, а для этого заново прочесть его, прочесть критически и научно. Скромные гизовские издания отдельных произведений Пушкина, в которых ближайшее участие принимал Борис Викторович, являлись в буквальном смысле школой, в которой развивалась советская пушкинская текстология. Здесь важное принципиальное значение имела небольшая статья Бориса Викторовича «Судьба „Дубровского“», опубликованная в 1923 году. В ней он дал справедливую критику дореволюционных приемов издания, ведших к порче авторского текста, и показал, что может дать вдумчивое, аналитическое, научно обоснованное прочтение трудной, черновой, неотделанной рукописи, основанное на всестороннем историко-филологическом исследовании произведения в целом.

Несколько раньше «Дубровского», в 1922 году, было выполнено Б. В. Томашевским замечательное издание «Гавриилиады». Известно, что эта антирелигиозная поэма молодого Пушкина, строго запретная в царское время, была тотчас после падения старого режима опубликована в нескольких очень несовершенных изданиях. Борис Викторович начал с того, что в рецензиях на эти издания (в том числе и на то, которое редактировал В. Я. Брюсов) подверг суровой критике их текстологиче-

скую беспринципность и эклектизм. Затем он подготовил свое, научное, критическое издание поэмы, разрешив в нем труднейшую задачу: за отсутствием автобиографических рукописей и тем более печатных первоисточников поэмы установить наиболее достоверный текст «Гавриилиады» на основании ряда современных и позднейших списков. Текст, установленный Б. В. Томашевским, печатается почти без перемен и теперь, а принципы его установления и поныне остаются в силе.

Приложенный к тексту комментарий представляет целое исследование, где дается методика восстановления утраченного авторского текста, показаны отношения поэмы к ее источникам и предшественникам в мировой литературе и дальнейшая роль «Гавриилиады» в жизни Пушкина и в общественной жизни его времени.

Рядом с изданием «Гавриилиады» нужно поставить и участие Бориса Викторовича в подготовке сборника «Неизданный Пушкин» (Собрание А. Ф. Онегина. Труды Пушкинского Дома, 1922). При подготовке напечатанных здесь по несовершенным фотоснимкам стихотворных текстов, большей частью черновых, публикаторы были связаны устаревшим методом транскрипций, единственным тогда; но публикации Бориса Викторовича показывают, чего может достигнуть и при этом несовершенном методе исследователь, вдумчиво анализирующий черновой автограф, исходя прежде всего из общего замысла поэта. В этом издании Б. В. Томашевский явился крупнейшим исследователем-текстологом. Но в отличие от некоторых своих сверстников и товарищей по работе, понимавших «науку о Пушкине» чисто догматически, ограничивая ее механическим извлечением из первоисточника так называемого «канонического» текста, он чувствовал глубокую неудовлетворенность транскрипционным методом исследования рукописей и искал новых путей, которые бы сделали текстологию отраслью филологической науки, построенной исторически и критически.

На основе этих разнообразных опытов отбора, установления и публикации текстов, выработанных в практике гизовских изданий и трудов Пушкинского Дома, в 1924 году был подготовлен Борисом Викторовичем (при участии К. И. Халабаева) первый советский однотомник сочинений Пушкина.

Об издании полного собрания сочинений поэта тогда было рано и думать: ни состояние текстологии, ни положение полиграфии этого не позволяли. Воспроизводить старые, дореволюционные издания классиков (как это вошло в практику Литературно-издательского отдела Наркомпроса в самые первые годы после Октябрьской революции) по отношению к Пушкину не имело смысла — настолько очевидной была их непригодность. Опыт нового издания В. Я. Брюсовым лирики поэта в виде первой части первого тома Полного собрания сочинений Пушкина (1919) — оказался в принципе несостоятельным (и это вскоре показал в своей рецензии Б. В. Томашевский). Перед редактором первого советского однотомника стояла задача — дать избранного, наиболее необходимого и вместе с тем достаточно полного Пушкина. Борис Викторович решил задачу, построив книгу строго и своеобразно. В однотомник вошли только художественные тексты, и прежде всего то, что сам Пушкин напечатал и собрал при жизни: четыре части «Стихотворений», поэмы, романы и повести, драматургия, «Евгений Онегин»; затем — произведения 30-х годов, то, что не могло быть им опубликовано по политическим причинам, и важнейшее из того, что было неокончено, рассеяно по журналам и альманахам или осталось в рукописях разного времени. Последний раздел был, конечно, неопределенным по составу и мог расширяться и дополняться, что и было

сделано в дальнейших изданиях однотомника. Но сама по себе эта книга 1924 года была большим и принципиально важным достижением.

Результаты своих работ над Пушкиным, своих историко-литературных и текстологических изучений и наблюдений Борис Викторович изложил в небольшой, но чрезвычайно ценной и содержательной книжке «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения» (1925). Эта книжка имела в полном смысле слова этапное значение в нашем пушкиноведении; ее должен и теперь знать каждый, кто начинает работать над Пушкиным и более того — кто хочет стать литературоведом, и переиздание основных ее глав было бы и теперь вполне целесообразно. Автор дает обзор современных и предреволюционных методов изучения Пушкина, от биографического и историко-культурного до интуитивно-символистского, и, критикуя их, излагает свои исторические и филологические принципы интерпретирования произведений поэта. Он рассматривает старые, механические и догматические приемы чтения пушкинских рукописей (доведенные до предела П. О. Морозовым в четвертом томе старого Академического издания, 1916) и показывает на ряде примеров, как критический анализ общего замысла, а не механическое чтение отдельных слов черновика, позволяет извлечь из него связанные и почти законченные тексты стихотворений, считавшихся «ненаписанными».

В книжке рассматриваются методы установления авторства Пушкина для некоторых анонимных статей «Литературной газеты», расшифровываются пушкинские планы изданий сборников стихотворений и т. д. Это своего рода сжатая энциклопедия проблем, возникающих перед пушкинистом — текстологом и литературоведом, и методов исследования этих проблем. При этом основным требованием автора является рассмотрение творчества поэта интегрально, во всей его полноте, сложности и обусловленности. Никаких произвольных и субъективных домыслов в изучении Пушкина быть не должно: лишь критическое, объективное, всестороннее изучение реально-исторического материала может дать положительные результаты. И, критикуя субъективистские приемы построения философии Пушкина у М. О. Гершензона, автор заключает свою книгу простой и выразительной сентенцией: «Пушкина надо читать не мудрствуя лукаво».

Наряду с этим первым, замечательным опытом построения основной проблематики и методологии изучения Пушкина Борис Викторович продолжал в 20-х годах разрабатывать проблемы, возникшие перед ним уже прежде, с первых лет его деятельности. В 1923 году вышла в Берлине (в сборнике «Очерки по поэтике Пушкина», изд. «Эпоха») его большая работа «Пятистопный ямб Пушкина», замечательная математическим методом подсчетов метрических и ритмических элементов стиха, на котором она основана. Некоторые положения этого исследования были потом пересмотрены автором, но таблицы подсчетов сохраняют всё свое значение и теперь, как точный и объективно ценный материал для изучения одного из важнейших пушкинских метров. Статья вошла потом в книгу Б. В. Томашевского «О стихе» (1929), объединившую исследования автора по стиховедению (а также по ритмике прозы — на материале «Пиковой дамы») за весь предшествующий период с 1915 года. В этом сборнике господствующее место занимают статьи, посвященные творчеству Пушкина или основанные на материале его творчества. В них подводится итог многолетним изучением автора.

С другой стороны, Борис Викторович продолжал разрабатывать и всегда занимавшую его проблему о связях Пушкина с французской культурой. Этой проблеме посвящен ряд очень значительных работ 20-х годов:

статья «Пушкин и Буало» в сборнике «Пушкин в мировой литературе» (1926), две статьи, исследующие отношения Пушкина к современной французской литературе и к «французским делам», т. е. к Июльской революции 1830 года, на материале только что найденных тогда писем поэта к Е. М. Хитрово (сборник «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово». Труды Пушкинского Дома, 1927).

В этих работах проявилась в полной мере замечательная эрудиция Бориса Викторовича как в поэзии французского классицизма и в его теоретических основах, так и во французской литературе романтического периода (т. е. первой трети XIX века) — повествовательной, политико-публицистической, исторической, философской. В них отразилась и одна из коренных мыслей Бориса Викторовича в его еще складывавшейся тогда концепции творчества Пушкина: мысль о тесных, многосторонних и глубоких связях Пушкина с мировой, в особенности с французской культурой, о том, что творчество Пушкина — вполне самобытное национально-русское явление, но не изолированное, не одинокое, а связанное со всей мировой общественной (а значит, и литературной) жизнью своего времени. Наконец, в одной из статей рассматривается тема, которую Борис Викторович считал одной из важнейших в творчестве Пушкина: тема революции как исторически обусловленного и закономерного явления первостепенного значения.

Так складывались основные элементы изучения Пушкина Б. В. Томашевским за первые пятнадцать лет исследовательской деятельности, до 1930 года.

С начала 30-х годов перед советским пушкиноведением возникает новая громадной важности задача: дать стране советское Академическое полное собрание сочинений Пушкина. Этой задаче Борис Викторович отдался со всей свойственной ему энергией, с громадным увлечением и страстностью. На много лет Академическое издание становится для него центральной исследовательской работой. Самая постановка издания требует разрешения ряда важнейших, новых методологических проблем, и эти проблемы захватывают его научно-творческую деятельность по всей ее ширине. В большом коллективе пушкинистов — редакторов Академического издания Борис Викторович занимает одно из первых мест, и нет вопроса в этом сложном, новаторском предприятии, к которому бы он не приложил свою мысль и свой самоотверженный труд.

Принципы и практика Академического издания сочинений Пушкина сложились не сразу: изданию предшествовал ряд подготовительных коллективных трудов. Назовем ряд изданий сочинений поэта, хотя и полных, но облегченного типа (приложение к «Красной ниве», 1930—1931; ГИХЛ, 1931—1933, и дальнейшие), замечательный для своего времени и не утративший до сих пор значения «Путеводитель по Пушкину» (1931), наконец, пушкинский том «Литературного наследства» (кн. 16—18, 1934). В позднейшие годы (1936—1941) своего рода органом Академического издания стали «Временники» Пушкинской комиссии Академии наук СССР. Во всех этих предприятиях принимал деятельное и ближайшее участие Борис Викторович.

В особенности нужно отметить ряд его работ, помещенных в пушкинском томе «Литературного наследства». Здесь в статье «Из пушкинских рукописей» исследуются в связи с эволюцией общественно-политических и литературных взглядов Пушкина малоизученные и вовсе не изученные вопросы пушкинской текстологии, от ранних, кишиневского времени, опытов в разных лирических и эпических жанрах до стихотворений последних

месяцев жизни; в других статьях интерпретируются труднейшие тексты и сложнейшие произведения, подобные десятой главе «Евгения Онегина», исследование которой может быть признано классическим по глубине и полноте текстологического и историко-литературного анализа, по стройности и логичности изложения; восстанавливается история и состав не дошедших до нас, считавшихся утраченными ранних автографических сборников стихотворений, приготовленных Пушкиным для издания: «тетради Всеволожского» и «Капнистовской тетради» (впоследствии, когда первая из них была обнаружена и поступила в Государственный литературный музей, а о второй наши сведения расширились, положения, высказанные Борисом Викторовичем в статьях 1934 года в гипотетической форме, блестяще подтвердились; ср.: *Летописи Государственного литературного музея*, т. I, Пушкин, 1936). Там же, в пушкинском томе «Литературного наследства», Борис Викторович поместил обширный критический обзор изданий стихотворных текстов Пушкина советского времени (1918—1933). Замечательны в нем критическая острота и язвительная беспощадность к невежеству и к беспринципности иных редакторов, а вместе с тем глубина, объективность и основательность критики, характерные для Бориса Викторовича; это в полном смысле творческая, конструктивная критика, принципиальная и теоретически обоснованная: таков он был всегда, выступая как критик, особенно в случаях, почитаемых им важными и имеющими принципиальное значение.

Как одно из замечательных открытий Бориса Викторовича в области текста и творчества Пушкина, непосредственно связанных с его работой в Академическом издании, нужно отметить статью-публикацию в четвертом—пятом томе «Временника Пушкинской комиссии» (1939), в которой по рукописи реконструирована первоначальная редакция одиннадцатой главы «Капитанской дочки», написанная Пушкиным еще без оглядки на цензуру, что имеет очень существенное значение для правильного понимания как истории создания романа, так и подлинной сущности отношений между Гриневым и Пугачевым в построении Пушкина. Сам по себе текст, напечатанный и проанализированный Борисом Викторовичем, не является совершенной новостью, но его правильное построение и, главное, его существенное идейное значение не были никем до него поняты и раскрыты.

С подготовкой Академического издания сочинений Пушкина связано и составленное Борисом Викторовичем совместно с Л. Б. Модзалевским научное описание рукописей Пушкина, хранящихся в Пушкинском Доме (1937). Принципы описания, выработанные тогда составителями, до сих пор остаются образцом для всех описаний подобного рода, а приложенный к описанию каталог сортов бумаги, на которой написаны вошедшие в него автографы Пушкина, представляет собой незаменимый ключ для определения не только пушкинских рукописей, но и всяких иных современных им. (Такой же каталог сортов бумаги «органических» тетрадей и других рукописей Пушкина, входивших до 1937 года в собрания Библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Ленинградской Публичной библиотеки и других учреждений, составленный Борисом Викторовичем, до сих пор, к сожалению, не издан и хранится в рукописи в Пушкинском Доме).

В том же 1937 году вышло пересмотренное издание пушкинского одномтника под редакцией Б. В. Томашевского. Одномтник был значительно расширен по сравнению с рядом предыдущих, изданных в 1924—1930 годах, а главное, построен на иных основаниях: стихотворения даны в общем хронологическом порядке, добавлена критическая и историческая

проза, статьи редактора в приложениях составляют в совокупности краткую «пушкинскую энциклопедию». Этот однотомник был новым шагом вперед в пушкинской текстологии и в научно-популярной интерпретации его творчества: Б. В. Томашевский и в массовом издании умел сохранить строгую научность и оставаться вполне оригинальным.

Все перечисленные труды предшествуют, как сказано, Академическому изданию и сопровождают его. Центральной же работой Бориса Викторовича, занимавшей его много лет и поглощавшей в наибольшей степени его творческую энергию, остается само Академическое издание сочинений Пушкина, которое по праву нужно считать одним из крупнейших, если не самым крупным коллективным литературоведческим трудом, предпринятым и выполненным в советское время и только в советское время возможным.

Тогда — в середине 1930-х годов — над изданием работал, обдумывал и подготовлял его большой коллектив, целая фаланга пушкинистов, в большинстве принадлежавших к одному поколению и научно воспитанных приблизительно в одно время. С грустью приходится напомнить, что из этого творческого коллектива теперь, через двадцать пять лет после первого организационного собрания пушкинистов, посвященного изданию (1933), большей половины мы не досчитываемся: нет В. Д. Бонч-Бруевича, много лет организационно возглавлявшего весь сложный редакторский аппарат издания, нет таких крупных его участников, как Г. О. Винокур, В. В. Гиппиус, В. Л. Комарович, Л. Б. Модзалевский, М. А. Цявловский, Б. М. Энгельгардт, Д. П. Якубович... Среди них одним из самых деятельных и авторитетных был Борис Викторович, последним — до настоящего времени — ушедший от нас из числа пушкинистов, начинавших это огромное предприятие.

Академическое издание сочинений Пушкина поставило перед пушкинистами-текстологами небывало трудную задачу: представить, помимо основных текстов, законченных или извлеченных из рукописей, весь рукописный фонд Пушкина, и прежде всего весь фонд его черновиков, т. е. заполнить то, чего не могли достичь ни старое, дореволюционное Академическое издание, ни издание, предпринятое С. А. Венгеровым. Но представить черновые тексты нужно было теперь не в виде давно отвергнутых транскрипций (оставшихся лишь рабочим, вспомогательным материалом для редактора), а в системе, раскрывающей постепенное становление текста во времени, ход творческой работы над произведением от первоначального замысла до завершения чистой отделкой (поскольку, разумеется, сохранились рукописи), — одним словом, воссоздать творческую историю произведения во всех ее деталях, как бы повторяя вслед за автором ход его мысли. Этот новый, аналитический и исторический, а вместе с тем и психологический метод чтения и публикации черновиков был подготовлен всем предшествующим опытом многих советских пушкинистов-текстологов, среди трудов которых важное место занимают труды Бориса Викторовича. Уже в 1928 году, работая над подготовкой к печати черновых текстов так называемого «Майковского» собрания автографов Пушкина (издание это не вышло, но его материалы послужили для первого полного собрания сочинений Пушкина 1930—1931 годов и позднейших), Борис Викторович предложил новый, остроумный и простой (в принципе) способ подачи черновых вариантов — вынося их в сносках к соответствующим строкам и отрывкам основного текста (т. е. последнего чтения) рукописи. Этот графический метод был усовершенствован и детально разработан позднее редакторским коллективом издания. Но необходимо помнить, что внешне

относительно простой графический способ подачи черновой рукописи является следствием углубленного ее исследования, не только текстологического, но и историко-литературного, основанного на изучении творческой истории произведения, его места в истории творчества поэта, его идейного содержания, особенностей метрики и строфики, языка и стиля и т. д., — словом, полного и всестороннего филологического исследования.

Подобный метод требует от редактора и большого труда, и широкой и глубокой эрудиции.

Блестящий образец такого труда дал Борис Викторович, приготовив для Академического издания том, содержащий «Евгения Онегина», и приготовив его в самые сжатые сроки.

В самом деле, собрать весь материал беловых и черновых рукописей и всех печатных первоисточников пушкинского романа, систематизировать и проанализировать этот материал, найти каждому наброску и каждой строке свое место, представить на сотнях страниц всю историю работы поэта над своим любимым произведением — это поистине научный подвиг. Сам Борис Викторович не был удовлетворен своим трудом, считал его даже неудачным и требующим переработки. Действительно, в томе есть отдельные неотшлифованные места — следствие чрезвычайно быстрой работы, требовавшейся от редактора. Но всё это мелочи; недовольство редактора своей работой свидетельствует лишь о его исследовательской требовательности к себе, а шестой том Академического издания остается и теперь незаменимым пособием для каждого исследователя «Евгения Онегина» и таким образом текстологической работы, каким советское литературоведение вправе гордиться.

Помимо «Евгения Онегина», Борис Викторович редактировал в Академическом издании том художественной прозы (VIII), причем сам подготовил такие труднейшие в текстологическом отношении произведения, как «История села Горюхина», «Дубровский», «Капитанская дочка». В послевоенные годы ему пришлось взять на себя завершение редакторской работы над томами критики и публицистики (XI и XII), прерванной войной и смертью основного редактора В. В. Гиппиуса.

Время работы над Академическим изданием сочинений Пушкина стало для Бориса Викторовича и временем начала подведения основных итогов изучения творчества поэта в целом.

В русско-французском томе «Литературного наследства» (кн. 31—32, 1937) он напечатал большую статью обобщающего характера «Пушкин и французская литература», где не только резюмировал все свои прежние работы на частные темы, входящие в эту проблему (Пушкин и Буало, Пушкин и Мольер, Пушкин и Лафонтен, Пушкин и французские романтики и др.), но заново поставил всю проблему, рассматривая ее не с точки зрения «влияний» и «заимствований», но в смысле восприятия и критики Пушкиным французской литературы и шире — французской культуры в целом и значения последней для формирования его философских, политических, литературных, исторических воззрений и для его литературного творчества. Эта статья явилась своего рода подготовкой к позднейшей (еще не напечатанной) работе еще более обобщающего и углубленного итогового значения — «Пушкин и Франция».

В 1941 году в сборнике «Пушкин — родоначальник новой русской литературы» (изд. Института мировой литературы Академии наук СССР) появились две другие статьи Бориса Викторовича не менее важного обобщающего значения: «Пушкин и народность», посвященная выяснению смысла и значения этого понятия у Пушкина, его источников, его форми-

рования и развития, и «Поэтическое наследие Пушкина (Лирика и поэмы)», где речь идет о значении поэтического творчества Пушкина в лирических жанрах и в поэмах для последующего развития русской поэзии, о воздействии поэзии Пушкина на творчество русских поэтов XIX — начала XX века. Эти статьи, основанные на изучении громадного материала, как творчества Пушкина, так и русской поэзии вообще и — в вопросе о понятии народности у Пушкина — материала западноевропейской общественно-политической и философской литературы, были уже непосредственными подступами к той основной задаче, которую ставил перед собой исследователь еще в предвоенные годы: создать монографию, охватывающую все стороны мировоззрения и творчества Пушкина в их взаимосвязях с русской и мировой общественной жизнью, общественной мыслью и литературой.

Великая Отечественная война прервала на несколько лет работу над Академическим изданием собрания сочинений Пушкина и отсрочила создание задуманной Борисом Викторовичем монографии, но для него и эти годы были временем непрерывающегося труда, даже в тяжелых условиях блокады Ленинграда, а позднее — в эвакуации. Именно тогда Борис Викторович вчерне подготовил большую работу о строфике Пушкина, напечатанную теперь во втором томе сборника «Пушкин. Исследования и материалы» (1958).

В этой работе рассматривается строфа как важнейшее организующее начало стихотворного произведения, связанное с повторяющимися метрическими формами и с расположением рифм. Автор показывает в каждом метре все формы и разновидности строф, применяемые Пушкиным, и анализирует эти формы не только теоретически, но также и исторически, вскрывая их генезис, их предшествующую Пушкину историю в западноевропейской (преимущественно французской) и русской поэзии. Каталог строфических форм, приложенный к исследованию, обнимает всё поэтическое творчество Пушкина, кроме сравнительно немногих произведений, преимущественно крупных, написанных бесстрофно. Работа о строфике Пушкина — еще один и очень значительный вклад в подведение итогов изучения творчества поэта, результат многих лет работы над его стихосложением и над его текстами, труд, важный и для русского стиховедения вообще.

В те же военные годы получила практическое выражение и другая проблема, давно занимавшая Бориса Викторовича: проблема языка Пушкина и значения его творчества для образования русского литературного (и в особенности поэтического) языка. К этой лингвистической проблеме Борис Викторович имел всегда тяготение; язык всегда рассматривался им как основной материал, подлежащий изучению литературоведа; лингвистика, поэтика, метрика были всегда тесно связаны в его сознании. В годы войны он участвовал в подготовительной работе к составлению словаря языка Пушкина. Когда позднее работа над словарем была налажена, Борис Викторович вошел в состав его редакции и принял в составлении и обработке словарных материалов деятельное и заинтересованное участие. Ряд его работ о русском литературном языке, о соотношении языка и стиля основан на материале творчества Пушкина; одной из последних его работ была статья о вопросах языка в творчестве Пушкина, напечатанная в первом томе сборника «Пушкин. Исследования и материалы» (1956), рассматривающая теоретические взгляды Пушкина на вопросы лингвистики и литературного языка. Историк литературы и исследователь стиха сочетались в нем с лингвистом, и это было его твердо сложившимся теоретическим убеждением: литературовед, утверждал Борис Викторович,

должен быть и языковедом, филологом в самом широком смысле; только при таком сочетании возможно глубокое и подлинно научное понимание проблем литературного процесса.

Обращаясь к другим посвященным Пушкину трудам Бориса Викторovichа, которые он вел в послевоенные годы, нужно прежде всего сказать о нескольких подготовленных им изданиях сочинений Пушкина. В 1949 году вышло под его редакцией десяти томное полное собрание сочинений поэта («малое» Академическое), содержащее весь основной текст «большого» Академического издания, включая письма Пушкина, с приложением избранных важнейших вариантов и с краткими примечаниями ко всем текстам. Но это «облегченное» издание вовсе не является простым повторением, перепечаткой текстов большого Академического: в него, во-первых, добавлены те тексты (не все, разумеется, но избранные), которые должны были войти в один из трех дополнительных томов большого Академического издания, до настоящего времени, к сожалению, так и не выпущенных в свет; во-вторых, тексты лирики, «Евгения Онегина», драматических произведений, критико-публицистической прозы были проверены Борисом Викторovichем по первоисточникам, рукописным и печатным, и в них внесено немало поправок и уточнений, иногда очень существенных. Укажем, например, на новую композицию элегии, или лирической поэмы «Таврида», начатой Пушкиным в 1822 году. Новая компоновка текста, восстановленного из сохранившихся в рукописях фрагментов, — в некоторых частях предположительная, но крайне интересная и, несмотря на фрагментарность, внутренне очень стройная, — была впервые дана в отдельной статье «Таврида» того же 1949 года вместе с новой интерпретацией этого невыполненного пушкинского замысла. Десяти томное издание давно стало настольным для каждого, кто занимается Пушкиным, — специалиста-исследователя, учителя, студента, — и для широкого массового читателя, любящего поэта, стало самым надежным и полным по тексту, единственным (после изданий «Academia» 1935—1938 годов), в котором все тексты, хотя бы кратко, прокомментированы.

Казалось бы, такое издание может считаться завершением редакторской текстологической работы. Однако, приступив в 1956 году к переизданию десяти томника, Борис Викторovich счел необходимым вновь, еще раз проверить по первоисточникам строчку за строчкой все его тексты. Этим огромным, кропотливым трудом он был занят в последние месяцы жизни, и издание, законченное в 1958 году, после его смерти, содержит опять несколько интересных новаций: такова новая композиция и последовательность текстов стихотворения «Клеопатра» от его первой редакции 1824 года до отрывков поэмы, вставленных в повести 30-х годов — «Мы проводили вечер на даче...» и «Египетские ночи». Обоснование текстов и интерпретация этого произведения даны были в специальной статье, опубликованной в 1955 году, а текст в этой редакции впервые напечатан в трехтомнике 1955 года, речь о котором ниже. Новые чтения, а вместе с тем и новые интерпретации, были введены в тот же трехтомник, а из него перенесены в десяти томное издание 1956—1958 годов, в ряде лирических стихотворений. Можно, в частности, указать такие, как «Царское село» («Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений», 1819), «Опять увенчаны мы славой» (1829), «Дельвигу» («Мы рождены, мой брат названный», 1830) и многие другие. Два четверостишия, печатавшиеся прежде раздельно, но составляющие, как оказалось по палеографическим признакам, одно целое — «Одни стихи ему читала», были впервые прокомментированы Б. В. Томашевским как переложение иронического пассажа из

Ж. Жанена (трехтомник, т. 3, стр. 730, 876—877). Эти примеры могли бы быть приумножены.

Ряд уточнений, иногда очень существенных для правильного понимания, был внесен в тексты критических статей Пушкина (т. VII издания). Были учтены и все новейшие открытия пушкинских текстов, опубликованных в последние годы.

Выше был упомянут трехтомник 1955 года. Мы имеем в виду стихотворную часть наследия Пушкина, отредактированную Б. В. Томашевским в большой серии «Библиотеки поэта». Это издание отличается от всех прежних, включая и малые Академические, прежде всего своей композицией. Редактор, планируя его, основывался на взглядах и принципах самого Пушкина, полагавшего основными жанрами своего поэтического творчества не «мелкие» стихотворения, но поэмы и роман в стихах, за которыми следует драматургия, и соответственно этому строившего свои издания. И тогда как, по давней традиции, все прежние советские издания (кроме однотомников, отредактированных Борисом Викторовичем) начинались с лирики, новый трехтомник, построенный по пушкинским планам, содержит в первом томе поэмы и «Евгения Онегина», во втором — драматические произведения и сказки; лишь технические соображения заставили поместить сюда же и стихотворения лицейского периода, отделив их от зрелой лирики 1817—1836 годов, занявшей третий том издания.

Такая композиция, оправданная исторически и логически, представляется очень убедительной. Необычным явилось в ней и выделение — опять-таки в соответствии с намерениями Пушкина — цикла из пятнадцати элегий 1816 года.

Но значение трехтомника «Библиотеки поэта» не ограничивается новизной его композиции, ни даже новым прочтением некоторых текстов и обновленным комментарием. Очень значительна в нем вступительная статья, содержащая краткий очерк творческого развития Пушкина, соответственно основным этапам его биографии, и оценку его литературной (прежде всего поэтической) деятельности в свете дальнейшего развития русской литературы. Здесь в сжатой и по необходимости тезисной форме, без исследовательского аппарата и аргументации дана та общая концепция творчества Пушкина в его органическом развитии, к которой пришел Борис Викторович в результате своих многолетних изучений и которая должна была лечь в основу задуманной им монографии: движение творческой личности Пушкина от ученичества и ранних исканий через романтический период к зрелому реализму; определение пушкинского реализма как сочетания трех основных начал: народности, историзма, гуманизма; определение творческой личности Пушкина как своеобразнейшего явления русской национальной культуры, порожденного всем развитием общественно-исторической жизни России, и вместе с тем как явления мировой культуры, воспринявшего ее лучшие достижения, ее наиболее передовые мысли, — явления, в свою очередь мощно повлиявшего на русскую и мировую культуру.

Отдельные положения этой общей концепции были, как уже сказано, развиты в ряде статей конца 30-х годов, продолженном в послевоенные годы. Здесь особо важное место занимает статья «Историзм Пушкина» («Ученые записки ЛГУ», 1954), раскрывающая один из элементов трехчленной формулы пушкинского реализма, установленной Борисом Викторовичем. Статья рассматривает становление и развитие историзма как основного элемента мировоззрения Пушкина и определяющей черты его творчества — от абстрактного понимания историзма в юности (сначала

на основе классицизма, потом на основе романтизма), через возрастание исторической точности в изображениях лиц и обстановки, проникновение в дух и колорит эпохи (в «Борисе Годунове») с сохранением, однако, романтического понимания задач исторического литературного произведения как представления аналогий и образцов для современности, к объективному раскрытию глубоких движущих сил истории — политических и, главное, социальных: Пушкин в 30-х годах создает исторически обусловленные типические характеры не только в исторических (в собственном смысле) произведениях, но и в любом повествовании из современной жизни. В этом глубоком проникновении в историческое движение и борьбу социальных сил заключается то высшее понимание историзма, к которому пришел Пушкин в последний, наиболее зрелый период своей деятельности и в котором он далеко опередил свое время.

В обобщающих исследованиях как предвоенного времени, так и написанных после войны, а наряду с ними во многих статьях на частные темы пушкинского творчества подготавливался труд, который должен был стать итогом всей исследовательской работы большого ученого-пушкиниста — монография об историческом пути развития мировоззрения и творчества Пушкина.

Необходимо при этом отметить, что очень существенную роль в создании этого труда сыграл тот спецкурс о творчестве Пушкина, который несколько лет подряд читал Борис Викторович в Ленинградском университете. Спецкурс о Пушкине не был курсом обычного учебного типа: профессор ставил и разбирал перед своей аудиторией ряд проблем творческого развития поэта в их исторической последовательности, рассматривая и взвешивая при этом весь материал, всю аргументацию по каждому вопросу, анализируя художественные тексты и документы, критикуя прошлые и современные взгляды по каждому спорному пункту, и таким образом показывал своим слушателям методологию и методику историко-литературного исследования, строившегося на их глазах от анализа частных явлений и вопросов до общих выводов. Для самого Бориса Викторовича спецкурс о Пушкине был своего рода черновой, предварительной редакцией монографии, и на его основе выросло лекция за лекцией, глава за главой, всё ее будущее содержание. Полный курс был рассчитан на три учебных года. К сожалению, ни в бумагах Бориса Викторовича, ни в записках его слушателей не сохранилось материалов, по которым можно было бы восстановить текст, соответствующий ненаписанным частям его книги.

Монография о Пушкине, — работа, занимавшая все мысли исследователя в последнее десятилетие его жизни, — должна была состоять из четырех томов. Первые три тома посвящались исследованию творческого развития Пушкина в строго историческом плане: от первых шагов в начале лицейского курса, через лицейское творчество — петербургский период после лицейских — годы ссылки на юг — ссылку в Михайловское — вторую половину 20-х годов, к завершающему периоду зрелого творчества в 30-х годах, который автор рассматривал особенно тщательно, как наименее до сих пор изученный и наиболее сложный период деятельности поэта.

Четвертый том был задуман как завершающий первые три. Значение Пушкина для развития последующей русской литературы, мировое значение Пушкина (то и другое — вплоть до современности), история взглядов на Пушкина русской и зарубежной критики, история пушкиноведения, итоги изучений творчества Пушкина и нерешенные в нем вопросы, еще

подлежащие дальнейшему исследованию, — таковы должны были быть основные проблемы этого последнего, заключительного тома.

Замысел был грандиозен и достойно увенчал бы деятельность Бориса Викторовича, но ему не суждено было осуществиться. Написанный и готовый к печати том монографии несколько лет лежал без движения, непечатанный; другие работы отвлекали силы и внимание автора. Наконец, летом 1956 года, за год с небольшим до его смерти, вышел этот первый том, заканчивающийся на моменте высылки Пушкина из Одессы в Михайловское.

Книга явилась большим событием не только в области изучения Пушкина, но и в советском литературоведении вообще. Построенная на широком фоне современной Пушкину общественно-политической жизни России и Европы, в связи со всей русской и мировой литературой, литературными направлениями и литературной борьбой его времени и предшествующей эпохи, т. е. эпохи классицизма, она дает синтетическое исследование биографии Пушкина и его творчества. При этом биография понимается не в смысле изложения внешних фактов личной жизни поэта, но как исследование развития его личности в ее отношениях к окружающему миру, его общественных, философских, моральных, эстетических, литературных воззрений.

В неразрывной связи с развитием этих воззрений и с вызвавшими их обстоятельствами рассматривается и развитие творческой системы Пушкина как в ее индивидуальных, ярко самобытных особенностях, так и в ее обусловленности всем ходом предшествующего и современного развития литературы. Общая концепция исследователя отчетливо раскрыта и сформулирована в авторском предисловии к книге, где мы читаем такие положения:

«Своей задачей автор ставил раскрытие характерного для творчества Пушкина соединения оригинальности, свежести и новизны с постоянным изучением опыта предшественников и усвоением... результатов общего развития мировой и русской литературы».

И далее: «Из всех черт, присущих Пушкину на всем протяжении его жизни, самой заметной и определяющей является непрерывное развитие, постоянное стремление к будущему, преодоление всего, что мешало движению вперед. Пушкин более чем кто-либо откликался на запросы дня, более чем кто-либо обладал чувством исторического движения и прозорливее своих современников заглядывал в будущее. Познать творчество Пушкина значит познать природу тех изменений, каким подвергалась система его творчества в целом».

Эта общая, декларированная здесь концепция и проводится на протяжении всей книги.

Характерными особенностями монографии Бориса Викторовича являются, во-первых, увлекательность изложения, выразительность и сжатость стиля, ясность и отточенность формулировок, напоминающих математические формулы, столь близкие исследовательскому сознанию и методу автора; во-вторых, совершенная оригинальность, даже там, где исследователь идет по давно, казалось бы, исхоженным путям. При этом Борис Викторович отнюдь не игнорирует мнений своих предшественников: он с ними считается, но всегда относится к ним критически, всегда обращается к первоисточникам, к документам, и ни одного, пусть частного и второстепенного утверждения не принимает из вторых рук; тщательно документированная и логически развернутая аргументация сообщает его изложению особую убедительность и глубину.

Документированность построений и новизна выводов характеризуют каждый раздел и каждую главу монографии. Так, по-новому раскрывается система лицейского воспитания и обучения и значение лицея для первоначального развития Пушкина; в приложениях дается ряд новых документов и заново анализируются известные ранее, — так, как этого не делало до сих пор большинство авторов, писавших о лицее и не видевших его подлинного воспитательного и учебного значения за анекдотами из лицейской жизни или вследствие тенденциозного взгляда на лицей, будь то тенденциозность реакционная или либеральная. На новом материале основываются разделы второй главы, посвященные «Зеленой лампе»: по сохранившимся протоколам заседаний общества автор восстанавливает его историю и участие в нем Пушкина; не довольствуясь опубликованными частями архива «Зеленой лампы», он анализирует то, что было оставлено без внимания предшествующими публикаторами, и отсюда извлекает новые данные для суждения об идейном, общественном характере этого филиала Союза благоденствия; говоря о «Руслане и Людмиле», исследователь путем тонкого стилистического анализа поэмы раскрывает ее самобытность и новаторство (одновременно с ее традиционными связями) и смысл литературно-общественной борьбы вокруг нее.

Много новых материалов и новых наблюдений и выводов видим мы в третьей главе монографии, посвященной южной ссылке Пушкина. Здесь особенно ценны глубокие суждения о характере пушкинского романтизма южного периода и о сущности и значении развивающихся в то же время реалистических начал, определяемых всё углубляющимся обращением поэта к современной общественной тематике, к изображению социально обусловленных характеров современных героев; здесь особенно примечателен анализ «Цыган» и изображения в поэме характера Алеко; последний определяется не как развенчание и осуждение современного героя, но как раскрытие его неизбежной трагедии, вытекающей из окружающих его условий и приводящей его к гибели.

Каждое сколько-нибудь значительное произведение лирики поэта лицейского, петербургского, южного периодов подвергается исследователем детальному анализу, в котором объединяются смысловые и стилистические элементы. В своей последовательности эти анализы дают целую систему развития поэтики Пушкина.

Нужно отметить и еще одну своеобразную черту книги: в ней наряду с художественными, критическими и публицистическими произведениями Пушкина рассматриваются и его письма, которые Б. В. Томашевский справедливо считал полноправной частью литературного наследия поэта.

Монография такого синтетического характера и большого масштаба, как книга Бориса Викторовича, не может, разумеется, со всеми деталями и со всей полнотой освещать все входящие в нее вопросы. Поэтому она не зачеркивает и не умаляет отдельных, специальных статей его, посвященных тем же вопросам (например, статей об отношении молодого Пушкина к французской поэзии эпохи классицизма, об оде «Вольность», об эпиграммах на Карамзина, о «Тавриде» и пр.). Есть в книге отдельные моменты, нуждающиеся в дальнейшей разработке, есть и отдельные спорные решения, неизбежные в таком большом и новаторском труде. Но общая концепция книги, так же как и ряд ее важнейших наблюдений и выводов, уже вошла в основной фонд нашего пушкиноведения, ее методология будет и впредь служить образцом для всякого литературоведческого иссле-

дования, а собранные и проанализированные в ней материалы являются незаменимым источником наших знаний о Пушкине.¹

Второй том монографии был только начат, но не написан Борисом Викторовичем. От него осталось начало — главы, посвященные творчеству Пушкина в период михайловской ссылки до восстания декабристов и содержащие анализы «Разговора книгопродавца с поэтом», «Подражаний Корану», «Клеопатры», «Андрея Шенье», «Я помню чудное мгновенье», записей народных песен и сказок и других произведений; обрывается изложение на исследовании «простонародной сказки» «Жених». Никаких конспектов, черновиков или заготовок продолжения в бумагах исследователя не сохранилось. О том, чем должны были быть дальнейшие части монографии, мы можем судить по указанным выше обобщающим статьям да по краткому, конспективному изложению в издании «Библиотеки поэта». Рассматривая творческий путь Пушкина как становление реалистического метода в его основных началах — народности, историзме, гуманизме, Борис Викторович успел дать развернутые исследования двух первых принципов — народности (в смысле анализа философских и политических источников, из которых формировалось у Пушкина самое понятие народности и его признаки) и историзма. Понятие гуманизма, а вместе с ним и проблемы соотношений индивидуального и общего, личности и государства, вопросы морали, социального устройства, общественного поведения и пр., так же как эстетическая система Пушкина в зрелые годы, не были разработаны Борисом Викторовичем в обобщенной форме. Краткие положения статьи в трехтомнике да отдельные суждения в разных, старых и новых, статьях — вот всё, чем мы располагаем для представления об этой стороне неосуществленного замысла.

В последние месяцы своей жизни Борис Викторович много думал о путях нашего пушкиноведения — о его исторических судьбах в прошлом, о его положении и задачах в настоящем и будущем. Выражением этих раздумий явился его доклад на сессии Отделения литературы и языка Академии наук СССР, посвященной 50-летию Пушкинского Дома в июне 1956 года, — «Основные этапы пушкиноведения». В нем дан блестящий исторический очерк дореволюционного пушкиноведения и сжатый, но яркий и острый обзор основных направлений в изучении Пушкина советского времени, где в лапидарных формулах выражены как достижения, так и ошибки и неудачи советских исследователей и критиков. Очерченные в конце доклада задачи, стоящие перед советскими пушкинистами и перед научными институтами, призванными изучать жизнь и творчество поэта, легли в основу программы работ созданного вскоре после юбилея Сектора пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинского Дома), который возглавил в начале 1957 года Борис Викторович. И Пушкинская комиссия Академии наук СССР, восстановленная на новых началах уже после его смерти, находит в этих тезисах основания для развертывания своей деятельности. Так, и уйдя от нас, Борис Викторович продолжает — и не может не продолжать — оказывать воздействие на судьбы советского пушкиноведения не только как ученый, но и как замечательный организатор.

Жизнь Бориса Викторовича оборвалась тогда, когда он в расцвете зрелой творческой мысли, владея громадным и многообразнейшим материалом, во всеоружии исследовательского метода начал подводить итоги

¹ Монография Б. Томашевского «Пушкин. Книга первая. 1813—1824» была по-смертно удостоена премии Академии наук СССР.

своим пушкиноведческим трудам, строить широкие обобщения и большие выводы.

Эта жизнь — высокий образец самоотверженного и преданного служения науке, жизнь, полная напряженных трудов, исканий, непрерывного стремления преодолевать устарелое и открывать новое, утверждать и отстаивать свои открытия.

Борис Викторович не замыкался в кабинетной работе, среди рукописей и книг. Как и его любимый поэт, которого он изучал так глубоко и проникновенно, он любил жизнь во всем ее многообразии, во всех ее проявлениях; как Пушкин, он любил светлый разум и ясную мысль и не терпел туманных и бессодержательных отвлеченностей, и в этом сходстве мышления лежит, быть может, причина его глубокой любви к Пушкину. Он был ученым-общественником и педагогом, наставником нескольких поколений литературоведов, текстологов и пушкинистов; он не мог равнодушно смотреть на окружавшую его общественно-литературную борьбу; как Пушкин, он был от природы бойцом и полемистом и, вступая в литературные бои и научные споры, не щадил ни своих сил, ни своих противников и никогда не считался с последствиями, которые подчас могли иметь для него его выступления. А противников у него было немало: сам всегда строго принципиальный в своих научных убеждениях, он не терпел псевдоучености, прикрытой эффектными фразами и заимствованными мыслями, не терпел поспешных и необоснованных выводов, невежества, беспринципности в науке. Образцами литературной борьбы являются его многочисленные рецензии, критические и полемические статьи, рассеянные по журналам и академическим сборникам. И в них, как и в его исследовательских работах, содержится множество драгоценных мыслей, замечаний, фактических данных, с которыми не может не считаться каждый, кто работает над Пушкиным.

Бориса Викторовича нет больше с нами — и его отсутствие тяжело и больно ощущается и его сверстниками, товарищами по работе, и его учениками, работниками младшего поколения: никогда уже нам не обратиться к нему за советом и помощью в любом вопросе, касается ли он Пушкина, или классической русской и мировой поэзии, или стихосложения, или литературного языка; никогда уже не придется разрешать с ним трудные текстологические вопросы, как умел разрешать их Борис Викторович — вдумчиво, всесторонне, тонко и вместе смело и безошибочно; не придется спросить у него источник какой-нибудь цитаты из неведомого французского автора XVIII века... Никогда мы уже не услышим его умного, резкого, убежденного, часто язвительного и всегда своеобразного слова, его математически точных и блестящих мыслью формулировок и замечаний... Но он живет в своих трудах, и сделанное им сохранится неизбежно в нашем пушкиноведении, и многие поколения нынешних и будущих пушкинистов будут учиться тому, как работать, как мыслить и как строить новое в науке — у Бориса Викторовича Томашевского.

СПИСОК ТРУДОВ Б. В. ТОМАШЕВСКОГО ПО ПУШКИНОВЕДИНИЮ

(Составила В. В. Зайцева)

Книги, статьи, публикации и рецензии

1915

Рецензии

1. С. Бобров. Новое о стихосложении А. С. Пушкина. (Трехдольный паузник у Пушкина. Разбор статьи В. Я. Брюсова о технике Пушкина). М. Изд. «Мусагет». 1915. — Аполлон, 1915, № 10, стр. 74.

1916

2. О стихе «Песен западных славян». — Аполлон, 1916, № 2, стр. 26—35.
То же. — В кн.: Томашевский Б. О стихе. Л., «Прибой», 1929, стр. 63—76.
3. Пушкин и французская юмористическая поэзия XVIII века. — В кн.: Пушкинист. Ист.-лит. сборник. Под ред. С. А. Венгерова. Т. 2. Пг., 1916, стр. 204—257. (Совместно с А. Поповым).

1917

4. Заметки о Пушкине. — Пушкин и его современники. Вып. XXVIII. Пг., 1917, стр. 56—72.
1. Исгочки стихотворений: «Все мое — сказало золото» и «Глухой глухого звал». — 2. Об эпиграмме «Скажи, что нового». — 3. О куплете Трике. — 4. О «Возвышенном галле».

1918

5. Ритмика 4-х стопного ямба по наблюдениям над стихом «Евгения Онегина». — Пушкин и его современники. Вып. XXIX—XXX. Пг., 1918, стр. 144—187.
То же. — В кн.: Томашевский Б. О стихе. Л., «Прибой», 1929, стр. 94—138.
6. Стихотворная техника Пушкина. — Пушкин и его современники. Вып. XXIX—XXX. Пг., 1918, стр. 131—143.
По поводу статьи В. Я. Брюсова в VI томе собрания сочинений Пушкина под ред. С. А. Венгерова.

Рецензии

7. Первые плоды свободы печати. 1. А. С. Пушкин. Гавриилиада. Полный текст. Вступит. статья и критические примеч. Валерия Брюсова. «Альциона». 106 стр.
2. А. С. Пушкин. Собрание запрещенных стихотворений. Пб. 1918. 105 стр. — Почтово-телеграфный журнал, 1918, № 5—8, часть неофициальная, стр. 250—254.

1921

Рецензии

8. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Под ред. Валерия Брюсова. Т. I, ч. 1. Гос. изд. М. 1920. — Книга и революция, 1921, № 1 (13), стр. 57—60.

1922

9. [«Гавриилиада»]. — В кн.: Пушкин А. С. Гавриилиада. Ред., примеч. и коммент. Б. Томашевского. Труды Пушкинского Дома. Пб., 1922, стр. 23—110.
Разночтения списков. — История. — Сюжет. — Композиция. — Изложение. — Язык. — Текст. — Издания «Гавриилиады». — Рукописи. — Библиография.
10. Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина. Труды Пушкинского Дома при Российской Академии наук. Пб., «Атеней», 1922. XXXII, 235 стр.
Б. Томашевский подготовил к печати и составил комментарии к произведениям: 1. «Там у леска...» — 2. «И я слышал, что божий свет...» — 3. «Краса, надежда нашей сцены...» — 4. «Житье тому, мой милый друг...» — 5. «К кастрату раз пришел скрипач...» — 6. «Зачем я ею очарован...» — 7. Окончание «Гусара». — 8. «Допросом музу беспокоя...» — 9. «Царей потомок Меценат...» — 10. «О бедность! Затвердил я наконец...» (Совместно с Н. В. Яковлевым). — 11. «Одни стихи ему читала...» — 12. Продолжение «Юдифи».

То же: М.—Пг., ГИЗ, 1923.

11. Новое о Пушкине. — В альм.: Лит. мысль. Кн. 1. Пг., 1922, стр. 171—186.
Обзор работ М. Гофмана: Пушкин. Первая глава науки о Пушкине. — Пропущенные строфы «Евгения Онегина». — История создания и текста «Домика в Коломне». — Посмертные стихотворения Пушкина 1833—1836 гг. — Неизданный Пушкин.
12. Письмо в редакцию. — Книга и революция, 1922, № 5 (17), стр. 77—78.
Ответ О. Л. Д'Ору на его фельетон «Дундуки» по поводу выхода книги «Неизданный Пушкин» (1922).
13. Пушкин — читатель французских поэтов. — В кн.: Пушкинист. IV. Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.—Пг., ГИЗ, 1922 [обл. 1923], стр. 210—228.

Р е ц е н з и и

14. В. Жирмунский. Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Изд. «Эльзевир». Стр. 103. Пб. 1922. — Книга и революция, 1922, № 7 (19), стр. 49—50. Подпись: Т. Б.
15. Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. «Парфенон». Пб. 1922. — Там же, стр. 48—49. Подпись: Т. Б.
16. Пушкин. Домик в Коломне. М. Л. Гофман. История создания и текста «Домика в Коломне». Труды Пушкинского Дома. Изд. «Атеней». Стр. 124. Пб. — Там же, № 9—10 (21—22), стр. 57—58. Подпись: В. Г.
17. Н. Н. Фатов. А. С. Пушкин. Научно-популярный очерк. Гос. изд. Стр. 70. М 1921. — Там же, № 6 (18), стр. 52—53.

1923

18. Русское стихосложение. Метрика. Пг., «Academia», 1923. 157 стр.
Стр. 8, 9, 19, 57, 58, 89, 90, 100, 106, 130: стихосложение Пушкина.
19. Заметки о Пушкине. — Пушкин и его современники. Вып. XXXVI. Пг., 1923, стр. 78—95.
1. К пушкинским сюжетам. [Источники стихотворений Пушкина «К***» — «Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный...», «Измены»]. — 2. «Кинжал» и m-me de Staël.
20. Кюхельбекер В. К. Обзорение российской словесности 1824 года. — В кн.: Лит. портфели. I. Время Пушкина. Пб., «Атеней», 1923, стр. 72—79.
Публикации и комментарий. Стр. 72, 73, 76, 78: Пушкин в обзорении Кюхельбекера.
21. Пушкин в «Народной библиотеке». — Книга и революция, 1923, № 1 (25), стр. 11—14. Подпись: А. Борский.
Исправление текстов Пушкина по рукописям в изданиях «Народной библиотеки».
22. Пятистопный ямб Пушкина. — В кн.: Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, «Эпоха», 1923, стр. 7—143.
То же. — В кн.: Томашевский Б. О стихе. Л., «Прибой», 1929, стр. 138—253.
23. Судьба «Дубровского». — Книга и революция, 1923, № 11—12 (23—24), стр. 9—12.
История текста.
24. Текст «Каменного гостя». — Записки передвижного театра П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской, Пг., 1923, № 51, стр. 2—3.
25. Эпиграмма Толстого-американца на А. Пушкина. — В альм.: Лит. мысль. Кн. 2. Пг., 1923, стр. 237—238.

1924

26. Памятка о Пушкине. Л., Изд. кн. сектора ГУБОНО, 1924. 88 стр. (Совместно с В. Максимовым-Евгеньевым).
Содерж.: От составителей. — Хронологическая канва жизни и творчества Пушкина. — Пушкин. Очерк жизни и творчества. — Пушкин и правительственная власть. — О чествовании памяти Пушкина. — Избранные стихотворения Пушкина. — Стихотворения, посвященные Пушкину. — Указатель литературы о Пушкине.
27. Мог ли иностранец написать анонимный пасквиль на Пушкина? (Опыт графического анализа). — В кн.: Модзалевский Б. Л., Оксман Ю. Г. и Цявловский М. А. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пб., «Атеней», 1924, стр. 131—133.
Доказательства принадлежности пасквиля русскому автору.

28. Мысли Пушкина о войне. — Жизнь искусства, 1924, № 24, стр. 3.
29. О драматической литературе. — Там же, № 13, стр. 5; № 16, стр. 5—6; № 29, стр. 14—15.
№ 29, стр. 15: влияние оперы «Евгений Онегин» на трактовку пушкинского романа.
30. Письмо в редакцию. — Русский современник, 1924, № 4, стр. 282—283.
Ответ на письмо В. Ходасевича по поводу рецензии Б. Томашевского на книгу В. Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина» (1924).
31. Попытка Пушкина переводить Мольера. — Жизнь искусства, 1924, № 2, стр. 18.
Подпись: Б. Т.
Перевод из Мольера И. Дмитриева, ошибочно пописанный автором Пушкину. См. авторскую поправку: Томашевский Б. Писатель и книга. Л., 1928, стр. 181.
32. Псевдопушкинские автографы. — Там же, № 9, стр. 14—15.
Псевдопушкинские автографы стихотворений: «Дар напрасный, дар случайный...». — «Второе послание цензору». — «Моя родословная».
33. Александр Пушкин. (6 июня 1799—6 июня 1924). — Там же, № 24, стр. 2.
34. Пушкин. Биографический очерк. — В кн.: Пушкин А. Сочинения. Л., ГИЗ, 1924, стр. III—XV.
То же: изд. 2-е. 1925; изд. 3-е. 1928; изд. 4-е. М.—Л., 1928; изд. 5-е. 1929; изд. 6-е. Л., 1930; изд. 5-е [7-е]. 1933.
35. Шутка Пушкина. — Жизнь искусства, 1924, № 1, стр. 13.
Лицейское четверостишие «Сравнение».

Рецензии

36. П. Губер. Дон-Жуанский список А. С. Пушкина. Изд. «Петроград». Пб. МСМХХIII. Стр. 279. — Русский современник, 1924, № 1, стр. 322—323.
37. В. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы. Изд. «Academia». Л. 1924. Труды науч.-исслед. ин-та сравнительной истории языков и литературы [сравнительного изучения литератур и языков] Запада и Востока при Ф. О. Н. Ленингр. ун-та, № 1. Стр. 332. — Там же, № 2, стр. 297—299.
38. И еще Пушкиниана. — Жизнь искусства, 1924, № 2, стр. 15—16.
На кн.: Гроссман Л. Этюды о Пушкине. М.—Пг., 1923; Губер П. К. Дон-Жуанский список Пушкина. Пг., 1923; Ермаков И. Д. Этюды по психологии творчества Пушкина. М.—Пг., 1923.
39. 500 новых острот и каламбуров Пушкина. Собрал А. Крученых. Изд. автора. М. 1924. Стр. 71. — Русский современник, 1924, № 3, стр. 264—265. Подпись: Б. Т.
40. Владислав Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина. Кн. 1. «Мысль». Л. 1924. Стр. 156. — Там же, стр. 262—263.

1925

41. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., «Образование», 1925. 134 стр.
Содерж.: Предисловие. — Издания Пушкина. — Источники текста. — Биография. — Историко-литературное и теоретическое изучение творчества. — Интерпретация Пушкина. — Дополнения: Материалы к истории изданий стихотворений Пушкина. — К вопросу об участии Пушкина в «Литературной газете». — Библиография литературы о Пушкине за годы революции.
42. Теория литературы. Поэтика. Л., ГИЗ, 1925. 232 стр.
То же: изд. 2-е, испр. М.—Л., 1927; изд. 3-е, испр. 1927. 236 стр.; изд. 4-е. 1928. 240 стр.; изд. 5-е, испр. 1930; изд. 6-е, 1931. 244 стр.
Стр. (по 5-му изд.) 14—17, 21, 28, 37, 41, 46—47, 61, 63, 79, 100—103, 111—114, 116—117, 119, 131, 136, 138—141, 146—148, 151—152, 157, 182, 187, 195, 202, 205: примеры из произведений Пушкина.
43. Die Puškin-Forschung seit 1914. — Zeitschrift für slavische Philologie, Bd. 2, Doppelheft 1/2, 1925, S. 236—261.

1926

44. Генезис «Песен западных славян». — Атений, кн. 3. Л., 1926, стр. 35—45.
То же. — В кн.: Томашевский Б. О стихе. Л., «Прибой», 1929, стр. 77—93.
45. Пушкин и Буало. — В кн.: Пушкин в мировой литературе. Сборник статей. Л., ГИЗ, 1926, стр. 13—63. (Научн.-исслед. ин-т сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при Ленингр. гос. ун-те).

1927

46. Александр Сергеевич Пушкин. Л., ГИЗ, 1927. 32 стр.
47. Пушкин и итальянская опера. — Пушкин и его современники. Вып. XXXI—XXXII. Л., 1927, стр. 49—60.
1. Сцена из оперы Россини «Сорока-воровка» — прототип сцены «Бориса Годунова» «Корчма на Литовской границе». — 2. Стих «Явись, возлюбленная тень» («Заклинание») — реминисценция музыкальных впечатлений Пушкина от арии из оперы Зингарелли «Ромео и Джульетта».
48. Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово. — В кн.: Пушкин и А. С. Письма к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Л., Изд. Акад. наук СССР, 1927, стр. 205—256.
49. Французская мелодрама начала XIX века. (Из истории вольной трагедии). — В кн.: Временник Отдела словесных искусств. Вып. 2. Поэтика. Л., «Academia», 1927, стр. 55—82. (Гос. ин-т истории искусств).
Стр. 55—56: «Борис Годунов» Пушкина и «Кромвель» В. Гюго.
50. Французская орфография Пушкина в письмах к Е. М. Хитрово. — В кн.: Пушкин и А. С. Письма к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Л., Изд. Акад. наук СССР, 1927, стр. 362—371.
51. Французские дела 1830—31 г. — Там же, стр. 301—361.
Отношение Пушкина к Июльской революции.

Рецензии

52. «Пушкин в жизни» Вересаева. — Красная газета, веч. вып., 1927, 20 мая. Подпись: Т. Б.

1928

53. Краткий курс поэтики. М.—Л., 1928. 131 стр. (Учебные пособия для школ 1 и 2 ступени).
То же: изд. 2-е. 1929. 132 стр.; изд. 3-е. 1929; изд. 4-е. 1930. 160 стр.; изд. 5-е. 1931.
Стр. 36, 39, 47, 48, 50, 51, 55, 63, 75, 78, 83, 86, 92, 99, 106, 107, 112, 132, 133, 138, 146—148: примеры из произведений Пушкина.
54. Писатель и книга. Очерк текстологии. Л., «Прибой», 1928. 230 стр.
О Пушкине см. стр. 20, 29, 37—38, 43, 47—49, 53, 56, 60, 62—68, 72, 73, 75, 77—79, 85—88, 92—106, 107—116, 119, 131, 136—137, 139—140, 143, 152—155, 164—167, 171, 178, 180—185, 188, 195, 199, 201—202, 204.
55. Заметки о Пушкине. III. Рефутация Беранжера. — Пушкин и его современники. Вып. XXXVII. Л., 1928, стр. 119—122.
Текст и ноты песни «Souvenir d'un militaire», ответом на которую является «Рефутация Беранжера».
56. Стих и ритм. Методологические замечания. — В кн.: Временник Отдела словесных искусств. Вып. 4. Поэтика. Л., «Academia», 1928, стр. 5—25. (Гос. ин-т истории искусств).
То же. — В кн.: Томашевский Б. О стихе. Л., «Прибой», 1929, стр. 37—62.
Стр. 46—47, 50, 55, 57—60: стих и ритм Пушкина.

1929

57. О стихе. Статьи. Л., «Прибой», 1929. 327 стр.
См. №№ 2, 5, 22, 44, 56, 58, 61.
58. Валерий Брюсов как стиховед. — В кн.: Томашевский Б. О стихе. Л., «Прибой», 1929, стр. 319—325.
Стр. 325: В. Брюсов о стихе Пушкина.
59. Заметки о Пушкине. — В кн.: Временник Отдела словесных искусств. Вып. 5. Поэтика. Л., «Academia», 1929, стр. 68—71.
Источники пушкинских эпиграмм: «Угрюмых тройка есть певцов...» — «Супругоу твоей я так пленился...».
60. Пушкин. [Биогр. очерк и библиография]. — Энциклопедический словарь Русского библиогр. ин-та Гранат. Т. 34. Изд. 7-е. М., 1929, стр. 156—183, 192.
61. Ритм прозы. («Пиковая дама»). — В кн.: Томашевский Б. О стихе. Л., «Прибой», 1929, стр. 254—318.

Рецензии

62. Puškin, Alex. Car Nikita, pohadka. Pr. 1928. Kamilla Neumannová. Přeložila Gallová, pěti obrázky a vignety vyzdobil R. Sirotský. — Slavische Rundschau, 1929, Nr. 6, S. 476—478.

1930

63. Мелочи о Пушкине. — Пушкин и его современники. Вып. XXXVIII—XXXIX. Л., 1930, стр. 76—81.
I. Маленькая ножка. [Культ женской ножки у Ретифа-де-ла-Бретона и влияние его на Пушкина]. — II. Источник стихотворения «Как с древа сорвался предатель-ученик». [Переделка Пушкиным французского перевода сонета Ф. Джигани «Sopra Giuda»].
64. Незаданные материалы о Пушкине. — Звезда, 1930, № 7, стр. 216—217, 227—231.
2. Чиновник и поэт. [Комментарий и публикация черного наброска]. — 6. Пушкин и вечный мир. [Комментарий и публикация «О вечном мире» Пушкина].
65. Работа Пушкина над стихом. — Лит. учеба, 1930, № 4, стр. 30—45.

1931

66. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 6. Путеводитель по Пушкину. Прил. к журн. «Красная нива» на 1931 год. М.—Л., ГИХЛ, 1931. 399 стр.
Б. В. Томашевским написаны статьи: Александрийский стих. — «Анджело». — Балзак. — Бантыш-Каменский. — Бенкендорф. — Беранже. — «Борис Годунов». — Буало. — «Вампир». — Вольтер. — «Гавриилиада». — Гекзаметр. — Геккерен. — Генрих IV. — Гизо. — Гюго. — Данте. — Дантес. — «Домик в Коломне». — «Евгений Онегин». — Жоко. — Задека. — «Зеленая лампа». — Измайлов А. Е. — «История Пугачевского бунта». — «История села Горюхина». — Июльская революция. — «Каменный гость». — Карбонарии. — Карл X. — Классик. — Колод'Эрбуа. — Констан Б. — Корнель. — Кребийлон. — Лагарп. — Ламартин. — «Литературная газета». — Лицей. — Людовик XVIII. — Мериме. — Милорадович. — Мольер. — Мюссе А. — Ода. — Парни. — Пестель. — Расин. — Рифма. — Ричардсон. — Руссо Ж. Ж. — Сеч-Пьер. — Сонет. — Сталь. — Тургенев Н. И. — Федоров Б. М. — Хорей. — «Царь Никита». — Шекспир. — Шенье. — Шиллер. — Элегия. — Ямб.

1934

67. А. А. Дельвиг. — В кн.: Дельвиг А. А. Полное собрание стихотворений. Л., Изд. писателей в Ленинграде, 1934, стр. 41—102. (Б-ка поэта. Под ред. М. Горького).
Стр. 44, 51, 61, 64—66, 68, 73—74, 78—79, 81, 87—96, 101—102: Дельвиг и Пушкин.
68. Десятая глава «Евгения Онегина». История разгадки. — В кн.: Лит. наследство. Т. 16—18. М., 1934, стр. 379—420.
69. Из пушкинских рукописей. — Там же, стр. 273—318.
Несколько турецких слов в записи Пушкина, записи отдельных строк из народных песен, произведения: «Послание цензору». — «И. И. Пушкину». — «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю...»). — «Я знаю край: там на брега...» — «Когда порой воспоминашь...» — «Кто знает край, где небо блестит...» — «(Из Пиндемонта)». — «Вадим».
70. Издания стихотворных текстов [Пушкина после Октября]. — Там же, стр. 1055—1112.
71. Иконография Пушкина до портретов Кипреуского и Тропинина. — Там же, стр. 961—968. Подпись: Б. Борский.
Пересмотр датировок портретов Пушкина работы Г. Гиппиуса, Ж. Вивьена, А. Ваньковича и трех неизвестных художников.
72. Материалы по истории первого собрания стихотворений Пушкина. (1826). I. Тетрадь Всеволожского. — II. Капнистовская тетрадь. — Там же, стр. 825—868.
73. Пушкин и романы французских романтиков. (К рисункам Пушкина). — Там же, стр. 947—960.
Иллюстрации к книгам А. Руайе и О. Барбье «Les Mauvais garçons» (Т. Жоанно) и А. Гиро «Césarie» (Г. Моннье) — источники рисунков Пушкина.

74. Пушкинский долг перед декабристами. — Изв. ЦИК СССР и ВЦИК, 1934, 6 июня, стр. 5.
То же. — Сов. комсомолец, Архангельск, 1934, 12 июля, стр. 3.
Пушкин и декабристы после 1825 г.

1935

75. Каменный гость. — В кн.: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 7. Драматические произведения. Л., Изд. Акад. наук СССР, 1935, стр. 547—578.
76. Кишиневские годы. — Лит. Ленинград, 1935, 20 сентября, стр. 3.
77. Пушкин. — В кн.: Пушкин А. С. Сочинения. Л., ГИХЛ, 1935, стр. XXV—LXII.
То же: 1936; изд. 2-е, испр. и доп. 1937; 1938.
То же. — В кн.: А. Пушкин, 1837—1937. Памятка. Статьи и материалы для доклада. Л., Лениздат, 1937, стр. 159—249.
78. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.—Л., «Academia», 1935. 926 стр.
Стр. 238—244: публикация планов издания собрания стихотворений 1829 г. Пушкина в транскрипции Б. Томашевского. Стр. 319—320: транскрипция записи Пушкина «Расходились по поганскому граду».
79. Язык и стиль Пушкина. — В кн.: Пушкин А. С. Сочинения. Л., ГИХЛ, 1935, стр. 918—923.
То же: 1936, стр. 918—923; изд. 2-е, испр. и доп. 1937, стр. 959—964; 1938, стр. 959—961.

1936

80. К. Н. Батюшков. — В кн.: Батюшков К. Н. Стихотворения. М., «Сов. писатель», 1936, стр. 5—49. (Б-ка поэта. Малая серия, № 9).
Стр. 39, 40, 43—44, 47—49: Пушкин и Батюшков.
81. А. Дельвиг. — В кн.: Дельвиг А. А. Стихотворения. М.—Л., «Сов. писатель», 1936, стр. 5—38. (Б-ка поэта. Малая серия, № 18).
Стр.: 6, 7, 11, 17, 19—25, 27—29, 35—37: Пушкин и Дельвиг.
82. За подлинного Пушкина. — Лит. современный, 1936, № 8, стр. 171—175.
Задачи создания образа Пушкина на сцене.
83. История тетради Всеволожского. — В кн.: Летописи Гос. лит. музея, Т. I. Пушкин. М., 1936, стр. 30—79.
84. К истории текста эпиграммы «Там, где древний Кочерговский». — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1936, стр. 215—218. (Совместно с М. С. Альтманом).
85. Краткая справка о драме Пушкина «Борис Годунов». — В кн.: Пушкин А. С. Борис Годунов. М.—Л., «Искусство», 1936, стр. 129—131.
То же: 1940, стр. 134—136.
86. «Маленькие трагедии» Пушкина и Мольер. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1936, стр. 115—133.
87. Мелочи о Пушкине. — Там же, т. 2, стр. 294—296.
1. Виньетка к «Цыганам» [взятая Пушкиным из труда Пуквиля о греческой революции]. — 2. «Бесовское болото». [Заметка из «Московских ведомостей» 1829 г., использованная Пушкиным в «Истории села Горюхина»].
88. О датировке «Сказки о попе и о работнике его Балде». — Там же, стр. 320—324. (Совместно с М. К. Азадовским).
89. Поправки Пушкина к тексту «Евгения Онегина». — Там же, стр. 8—11.
90. Проза. — Смена, 1936, № 9, стр. 32—33.
91. Пушкин в Михайловском. (1824—1826 гг.). — Пушкинский колхозник, 1936, 15 февраля, стр. 1.
92. Пушкин и южные декабристы. — Красная звезда, Л., 1936, 6 июня.
93. «Цыганы» и «Медный всадник» А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин А. С. Цыганы. Медный всадник. Л., Гослитиздат, 1936, стр. 4—6.
94. «Цыганы» и «Медный всадник» А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин А. С. Цыганы. Медный всадник. Л., Гослитиздат, 1936, стр. 5—8.

Рецензии

95. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 9 томах. Под общ. ред. Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Том V. Евгений Онегин. Роман в стихах. Подготовка текста и коммент. Г. О. Винокура. «Academia», 1935. 391 стр. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1936, стр. 318—322.

96. А. Н. Соколов. От комической поэмы к социально-психологическому роману. (О композиции «Евгения Онегина»). Труды Орехово-Зуевского пед. ин-та. Каф. яз. и лит. М., 1936, стр. 68—93. — Там же, т. 2, стр. 436—437.

1937

97. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание. М.—Л., 1937. 395 стр. (Акад. наук СССР. Ин-т литературы (Пушкинский Дом)). (Совместно с Л. Б. Модзалевским).
98. Евгений Онегин. — В кн.: Пушкин А. С. Евгений Онегин. Л., Гослитиздат, 1937, стр. 255—298.
99. «Евгений Онегин» Пушкина. — В кн.: «Евгений Онегин». Опера П. И. Чайковского. Л.—М., «Искусство», 1937, стр. 5—21.
100. За подлинного Пушкина. (Ответ Е. Тарле). — Лит. критик, 1937, кн. 4, стр. 145—156.
- По поводу современных принципов издания сочинений Пушкина.
101. Из черновиков «Онегина». Новые материалы. — Веч. Москва, 1937, 23 января, стр. 3.
102. Исследователи великого наследия. — Сов. студенчество, 1937, № 1, стр. 70—72. Пушкиноведение до и после Октябрьской революции.
103. Краткая справка о драмах Пушкина. — В кн.: Пушкин А. С. Драматические произведения. М.—Л., 1937, стр. 184—188.
104. О повести Пушкина «Кирджали». — Костер, 1937, № 2, стр. 69—70.
105. Поэмы. — В кн.: Пушкин А. С. Поэмы. Л., Гослитиздат, 1937, стр. 389—421.
106. Пушкин А. С. Сочинения. В 3-х томах. Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского. М.—Л., Детиздат, 1937.
- Редакция текста, примечания и объяснения к произведениям: «Полтава». — «Медный всадник». — «Родословная моего героя» (т. 2). — «Арап Петра Великого». — «Повести Белкина». — «История села Горюхина». — «Рославлев». — «Дубровский». — «Пиковая дама». — «Кирджали». — «Капитанская дочка». — «Египетские ночи» (т. 3).
107. Пушкин и Лафонтен. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 3. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1937, стр. 215—254.
108. Пушкин и французская литература. — В кн.: Лит. наследство. Т. 31—32. М., 1937, стр. 1—76.
109. Пушкин на украинском языке. — Книжные новости, 1937, № 1, стр. 52. Подпись: Б. Т.
110. Пушкинская книга и художник. — Лит. современник, 1937, № 1, стр. 218—222. Иллюстрирование произведений Пушкина.

1938

Рецензии

111. Жизнь Пушкина. — Лит. обозрение, 1938, № 23, стр. 46—51.
На кн.: Чулков Г. Жизнь Пушкина. М., Гослитиздат, 1938.

1939

112. Заметки о Пушкине. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 4—5. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1939, стр. 481—485.
1. Один из источников «Полтавы» (Пушкин и Геерен). — 2. Пушкин и Гиббон.
113. Первоначальная редакция XI главы «Капитанской дочки». — Там же, стр. 5—13.
114. Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. Тетрадь № 2374 Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Комментарий. М., Гослитиздат, 1939. 71 стр.
Стр. 29, 57—58: комментарий Б. В. Томашевского к стихотворению «Французских рифмачей...» и к списку произведений.

1940

115. Пушкин и народность. — Лит. критик, 1940, кн. 5—6, стр. 56—81.
116. Пушкин и французская революционная ода. (Экушар Лебрен). — Изв. Акад. наук СССР. Отд-ние литературы и языка, 1940, № 2, стр. 25—55.

Рецензии

117. Леонид Гроссман. «Пушкин». М., «Молодая гвардия», 1939. — Звезда, 1940, № 7, стр. 207—209.
118. Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 годов. Гослитиздат. М. 1939. — Там же, № 8—9, стр. 320—322.
119. Ученые записки № 33. Серия филол. наук, вып. 2. Изд-ние Ленингр. гос. ун-та. Л., 1939. Ред. проф. Г. А. Гуковский. 308 стр. — Лит. критик, 1940, № 5—6, стр. 277—282.
- Стр. 281—282: о статье Г. Макогоненко «Пушкин и Радищев».
120. Александр Цейтлин. «Мастерство Пушкина». М., «Сов. писатель», 1938. — Звезда, 1940, № 8—9, стр. 325—327.

1941

121. Пушкин и родина. М.—Л., 1941. 36 стр. (Акад. наук СССР. Ин-т литературы (Пушкинский Дом). Оборонная серия). (Совместно с А. И. Грушкиным).
122. Поэтическое наследие Пушкина. (Лирика и поэмы). — В кн.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.—Л., 1941, стр. 263—334. (Акад. наук СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького).
123. Пушкин и народность. — Там же, стр. 67—100.
124. Д. П. Якубович. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 6. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1941, стр. 5—14.
Некролог.

Рецензии

125. М. Загорский. «Пушкин и театр». Изд. «Искусство», М.—Л., 1940. — Звезда, 1941, № 1, стр. 181—183.

1946

126. Пушкин и южные славяне. — Научный бюллетень Ленингр. гос. ун-та, № 11—12, 1946, стр. 44—46.
127. Пушкин и южные славяне. — Учен. записки Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина. Т. 7. Кафедра русской литературы, вып. 1, 1946, стр. 41—50.

1947

128. «Вольность» Пушкина. — Литература в школе, 1947, № 1, стр. 9—21.

1948

129. К. Н. Батюшков. — В кн.: Батюшков К. Н. Стихотворения. М., «Сов. писатель», 1948, стр. V—LX.
Стр. LIV—LX: Пушкин и Батюшков.

1949

130. Петербург в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкинский Петербург. Сборник материалов. Ред. Б. В. Томашевского. Л., Лениздат, 1949, стр. 3—40.
131. «Таврида» Пушкина. — Учен. записки Ленингр. гос. ун-та, № 122. Серия филол. наук, вып. 16, 1949, стр. 97—124.
Реконструкция поэтического замысла «Тавриды» по рукописям.

1951

132. [Лицейское четверостишие]. Публикация и комментарии. — Лит. архив. Кн. 3. М.—Л., 1951, стр. 11—12.
Четверостишие из не дошедшей до нас повести Пушкина «Фатам или разум человеческий».
133. Язык и литература. — В кн.: Вопросы литературоведения в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. М., 1951, стр. 174—194. (Акад. наук СССР. Отд-ние литературы и языка. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом)).
Стр. 184—185: роль Пушкина в истории русского литературного языка.
134. Язык и литература. — Октябрь, 1951, № 7, стр. 166—176.
Доклад на научной сессии Института мировой литературы им. А. М. Горького и Института русской литературы (Пушкинский Дом) Акад. наук СССР, по-

священный вопросам литературоведения в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию.

Стр. 171—172: роль Пушкина в истории русского литературного языка.

1952

135. Язык и стиль. Стенограмма публичной лекции. Л., «Знание», 1952. 32 стр. (Всесоюз. о-во по распространению полит. и научн. знаний. Ленингр. отд-ние).
Стр. 5, 13—24: язык и стиль Пушкина.

1953

136. Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной пушкинской конференции. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1953, стр. 171—212.

Обозрение неоконченных произведений и неосуществленных замыслов Пушкина: Вадим, комедия об игроке, поэма о разбойниках, планы поэм о гетеристах, об Актеоне, о Бове, о Мстиславе.

1954

137. Вопросы языка в парижской лекции Кюхельбекера. — В кн.: Лит. наследство. Т. 59. М., 1954, стр. 355—364.
Стр. 364: отношение Пушкина к критическим статьям В. Кюхельбекера.
138. Историзм Пушкина. — Учен. записки Ленингр. гос. ун-та, № 173. Серия филол. наук, вып. 20, 1954, стр. 41—85.

1955

139. Неизвестное стихотворение А. Бестужева. — Учен. записки Ленингр. гос. ун-та, № 200. Серия филол. наук, вып. 25, 1955, стр. 205—207.
Стр. 206—207: полемика с С. И. Пономаревым по поводу принадлежности стихотворения «К сочинителю поэмы: „Руслан и Людмила“» А. Бестужеву.
140. Пушкин. — В кн.: Пушкин А. С. Стихотворения. В 3-х томах. Т. 1. Л., «Сов. писатель», 1955, стр. 5—68. (Б-ка поэта. Большая серия. Изд. 2-е).
141. Текст стихотворения Пушкина «Клеопатра». — Учен. записки Ленингр. гос. ун-та, № 200. Серия филол. наук, вып. 25, 1955, стр. 216—227.
То же. — В кн.: Томашевский Б. В. Писатель и книга. Очерк текстологии. Изд. 2-е. М., «Искусство», 1959, стр. 248—266.

1956

142. Пушкин. Кн. 1. (1813—1824). М.—Л., 1956. 743 стр. (Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом)).
Содерж.: I. Лицей. — II. Петербург. — III. Юг. — Приложение.
143. Автографы Пушкина. — Нева, 1956, № 9, стр. 202.
Автографы Пушкина, приобретенные Пушкинским Домом.
144. Вопросы языка в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1956, стр. 126—184.
145. Основные этапы пушкиноведения. — В кн.: Общее собрание Отделения литературы и языка 4—5 июня 1956 г., посвященное 50-летию Пушкинского Дома. Рефераты докладов. Л., Изд. Акад. наук СССР, 1956, стр. 9—12.
146. Пушкиноведение. — В кн.: 50 лет Пушкинского Дома. М.—Л., 1956, стр. 55—78. (Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом)).
147. Сказка об Орле. (Из бумаг Пушкина). — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1956, стр. 236—238.
Комментарии и публикация сделанной для Пушкина записки сказки об орле и птицах.
148. Эпиграммы Пушкина на Карамзина. — Там же, стр. 208—215.
Эпиграммы: «В его „Истории“ изящность, простота». — «Послушайте, я вам скажу про старину» (Установление авторства Пушкина и датировка).

1958

149. Стих и язык. М., Изд. Акад. наук СССР, 1958. (IV Международный съезд славистов. Доклады).
Стр. 7, 15, 19, 31, 33—34, 37—38, 41.
150. Строфика Пушкина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 2. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1958, стр. 49—184.
3 Пушкин. Исследования и материалы

1959

151. Писатель и книга. Очерк текстологии. Вступит. статья Б. М. Эйхенбаума. Подготовка издания и примеч. И. Н. Медведевой. Изд 2-е, М., «Искусство», 1959. 279 стр.
История текста и издания произведений Пушкина, текстологические примеры из творчества Пушкина.
152. Стилистика и стихосложение. Курс лекций. Л., Учпедгиз, 1959. 535 стр.
О Пушкине см. по указателю.
153. Стих и язык. Филологические очерки. Л., Гослитиздат, 1959. 466 стр.
Статьи: Строрфика Пушкина (№ 150), Вопросы языка в творчестве Пушкина (№ 144); о Пушкине также см. по указателю.

1960

154. Пушкин и Петербург. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 3. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1960, стр. 37—45.
155. Пушкин и Франция. Л., «Советский писатель», 1960.

Готовится к печати

156. Пушкин. Материалы для монографии и статьи.

Редакторская работа

157. Пушкин А. С. Гавриилиада. Поэма. Ред., примеч. и коммент. Б. Томашевского. Труды Пушкинского Дома. Пб., 1922. 112 стр.
158. Пушкин А. С. Барышня-крестьянка. Ред. Б. Томашевский и К. Халабаев. М.—Пг., ГИЗ, 1923. 31 стр.
159. Пушкин А. С. Борис Годунов. Ред. Б. Томашевский и К. Халабаев. М.—Пг., ГИЗ, 1923. 119 стр.
160. Пушкин А. Драматические сцены. Ред. Б. Томашевский и К. Халабаев. М.—Пг., ГИЗ, 1923. 92 стр.
161. Пушкин А. Дубровский. Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. М.—Пг., ГИЗ, 1923. 119 стр.
162. Пушкин А. Каменный гость. С приложением вариантов и истории текста. Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. М.—Пг., ГИЗ, 1923. 87 стр.
163. Пушкин А. С. Пиковая дама. Повесть. Ред. Б. Томашевский и К. Халабаев. М.—Пг., ГИЗ, 1923. 42 стр.
164. Пушкин А. Повести Белкина. Ред. Б. Томашевский и К. Халабаев. М.—Пг., ГИЗ, 1923. 95 стр.
165. Пушкин А. Полтава. Поэма. Ред. Б. Томашевский и Халабаев. М.—Пг., ГИЗ, 1923. 76 стр.
166. Пушкин А. Поэмы. 1821—1824. Ред. Б. Томашевский и К. Халабаев. М.—Пг., ГИЗ, 1923. 128 стр.
167. Пушкин А. Граф Нулин. Домик в Коломне. Ред. Б. Томашевский и К. Халабаев. М.—Пг., ГИЗ, 1924. 47 стр.
168. Пушкин А. С. Сочинения. Ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. Л., ГИЗ, 1924. XX, 508 стр.
То же: изд. 2-е. 1925; изд. 3-е. 1928. XI, 610 стр.; изд. 4-е. 1928; изд. 5-е. 1929; изд. 6-е. 1930; изд. 5-е [7-е]. 1933. XXIV, 536 стр.
169. Пушкин А. Стихотворения. Ред. Б. Томашевский и К. Халабаев. Ч. 1—2. М.—Пг., ГИЗ, 1924.
170. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 6-ти томах. Прил. к журн. «Красная нива» на 1930 год. М.—Л., ГИЗ, 1930—1931.
Тт. 3, 4, 6 (Путеводитель по Пушкину) — под ред. Б. В. Томашевского и др.
171. Пушкин и его современники. Вып. XXXVIII—XXXIX. Л., Изд. Акад. наук СССР, 1930. 280 стр.
Редколлегия: Б. В. Томашевский и др.
172. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 6-ти томах. Под общей ред. Д. Бедного, А. В. Луначарского, П. Н. Сакулина, В. И. Соловьева, П. Е. Щеголева. М.—Л., ГИХЛ, 1931—1933.
Тт. 3, 4 — под ред. Б. В. Томашевского и др.
173. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 6-ти томах. Изд. 2-е. Под общей ред. Д. Бедного, А. В. Луначарского, П. Н. Сакулина, В. И. Соловьева, М. А. Цявловского и П. Е. Щеголева. М.—Л., ГИХЛ, 1934.
Тт. 3, 4 — под ред. Б. В. Томашевского и др.
174. Пушкин А. С. Драматические произведения. Подготовка текста и примеч. Б. Томашевского. Л., ГИХЛ, 1935. 216 стр.

175. Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. 7. Драматические произведения. Главная редакция: Б. В. Томашевский и др. Л., Изд. Акад. наук СССР, 1935. 8, 728 стр.
176. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 6-ти томах. Изд. 3-е. Под общей ред. С. М. Бонди, Ю. Г. Оксмана, Б. В. Томашевского и М. А. Цявловского. М.—Л., ГИХЛ, 1935—1936.
Т. 2, 3 — под ред. Б. В. Томашевского и др.
177. Пушкин А. С. Поэмы. Подготовка текста и примеч. Б. Томашевского. Л., ГИХЛ, 1935. 318 стр.
178. Пушкин А. С. Сочинения. Ред., биогр. очерк и примеч. Б. Томашевского. Л., ГИХЛ, 1935. LXII, 976 стр.
То же: 1936; изд. 2-е, испр. и доп. 1937. LXIV, 1016 стр.; 1938.
179. Пушкин А. С. Евгений Онегин. Роман в стихах. Ред. текста Б. Томашевский. Л., ГИХЛ, 1936. 238 стр.
180. Пушкин А. С. Евгений Онегин. Роман в стихах. Ред. текста Б. Томашевский. М., ГИХЛ, 1936. 305 стр.
181. Пушкин А. С. Капитанская дочка. Ред. текста и объяснения Б. Томашевского. М.—Л., Детиздат, 1936. 183 стр.
182. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 6-ти томах. Изд. 4-е. Под общей ред. С. М. Бонди, Б. В. Томашевского и М. А. Цявловского. М.—Л., ГИХЛ, 1936.
Т. 2, 3, 4 — под ред. Б. В. Томашевского и др.
183. Пушкин А. С. Цыганы. Медный всадник. Примеч. Б. Томашевского. М., Гослитиздат, 1936. 48 стр.
184. Пушкин А. С. Цыганы. Медный всадник. Ред., предисл. и примеч. Б. Томашевского. Л., Гослитиздат, 1936. 58 стр.
185. Пушкин А. Евгений Онегин. Роман в стихах. Ред. текста, статья и коммент. Б. Томашевского. Л., ГИХЛ, 1937. 300 стр.
186. Пушкин А. С. Евгений Онегин. Роман в стихах. Ред. текста Б. Томашевский. М., ГИХЛ, 1937. 236 стр.
187. Пушкин А. С. Капитанская дочка. Ред. текста и объяснения Б. Томашевского. М.—Л., Детиздат, 1937. 144 стр. (Школьная 6-ка).
188. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 6-ти томах. Изд. 5-е. Под общей ред. С. М. Бонди, Б. В. Томашевского и М. А. Цявловского. М., ГИХЛ, 1937.
Т. 2, 3 — под ред. Б. В. Томашевского и др.
189. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 1—16. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1937—1949.
Б. В. Томашевский — член Редакционного комитета.
Т. 1—3. Стихотворения 1813—1836.
Б. В. Томашевский — контрольный рецензент томов.
Т. 4. Поэмы 1817—1824.
Б. В. Томашевский — контрольный рецензент тома.
«Гавриилиада» — подготовка текста и примечания.
Т. 5. Поэмы 1825—1833.
Б. В. Томашевский — контрольный рецензент тома.
Т. 6. Евгений Онегин.
Б. В. Томашевский — редактор тома (подготовка текста и примечания).
Т. 7. Драматические произведения.
«Каменный гость» — подготовка текста и примечания.
Т. 8. Кн. 1—2. Романы и повести. Путешествия.
Б. В. Томашевский — общий редактор тома.
Подготовка текстов и примечания к произведениям: «История села Горюхина». — «Дубровский». — «Капитанская дочка». — «Часто думал я...». — «Карты; продан...». — «Влюбленный бес». — «Н. избирает себе в наперсники...» — «Отрывок из письма к Д.».
Т. 11. Критика и публицистика 1819—1834.
Б. В. Томашевский — общий редактор тома. (Совместно с В. В. Гиппиусом и Б. М. Эйхенбаумом).
«О французской революции» — подготовка текста и примечания.
Т. 12. Критика. Автобиография.
Б. В. Томашевский — общий редактор тома. (Совместно с В. В. Гиппиусом и Б. М. Эйхенбаумом).
190. Пушкин А. С. Поэмы. Подготовка текста и статья Б. Томашевского. Л., ГИХЛ, 1937. 422 стр.
191. Пушкин А. С. Сочинения. В 3-х томах. Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского. М.—Л., Детиздат, 1937.
192. А. С. Пушкин. Выставка-альбом. Редакция: И. Э. Грабарь, П. И. Лебедев-Полянский, М. Ф. Малкин, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский, А. Ф. Перель-

- ман; Е. М. Петренкова. М., Изогиз, 1937. 24 стр. (К 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина).
193. Пушкин А. С. Сказка о рыбаке и рыбке. Ред. Б. Томашевский. Л., Изд. Пушкинского о-ва, 1948. 38 стр.
194. Берков П. Н. и Лавров В. М. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1886—1899. Под общей ред. Б. В. Томашевского. М.—Л., 1949. 996 стр. (Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом)).
195. Гладкова Е. С. Пушкинские места. Путеводитель. Под ред. Б. В. Томашевского. Л., «Ленфотохудожник», 1949. 64 стр.
196. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10-ти томах. М.—Л., 1949. (Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом)).
Тт. 1—3, 5, 7 — текст проверен и примечания составлены Б. В. Томашевским.
Тт. 4, 6, 8—10 — под ред. Б. В. Томашевского.
То же: 1950—1951.
197. Пушкин А. С. Поэмы. Отв. ред. Б. Томашевский. Псков, Обл. газ.-кн. изд., 1949. 256 стр.
198. Пушкин А. С. Сказка о золотом петушке. Под ред. Б. В. Томашевского. Л., Ленингр. отд.-ние Худож. фонда СССР, 1949. 16 стр.
199. Пушкин А. С. Сказки. Отв. ред. Б. Томашевский. Псков, Обл. газ.-кн. изд., 1949. 88 стр.
200. Пушкинский. Петербург. Ред. Б. В. Томашевский. Л., Лениздат, 1949. XVI, 416 стр.
201. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилейный год. Отв. ред. Б. В. Томашевский. М.—Л., 1951. 566 стр. (Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом)).
202. Добровольский Л. М. и Мордовченко Н. И. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1918—1936. Ч. 1. Отв. ред. Б. В. Томашевский. М.—Л., 1952. 284 стр. (Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом)).
203. Пушкин А. С. Стихотворения. Т. 1—3. Вступит. статья, подготовка текста и примеч. Б. В. Томашевского. Л., «Сов. писатель», 1955. (Б-ка поэта. Большая серия. Изд. 2-е).
204. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10-ти томах. Изд. 2-е. М., 1956—1958. (Акад. наук СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом)).
Тт. 1—8 — текст проверен и примечания составлены Б. В. Томашевским.
Тт. 9—10 — под ред. Б. В. Томашевского.
205. Словарь языка Пушкина. В 4-х томах. М., Гос. изд. иностр. и нац. словарей. (Акад. наук СССР. Ин-т языкознания).
Т. 1. А—Ж. 1956. 806 стр.
Т. 2. З—Н. 1957. 896 стр.
Главная редакция: Б. В. Томашевский и др.

Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ

ПУШКИН И ПЕТЕРБУРГ¹

Стержневой темой, к которой тяготеют доклады нашей конференции, является Петербург. Однако эта тема сама по себе необычайно широка и представляет несколько очень различных аспектов.

Первый аспект — это аспект биографический, та самая основа, на которой возникает тема «Пушкин и Петербург».

Во многих своих произведениях Пушкин пересматривает свой жизненный путь. Такие пробеги всегда начинаются с темы лица и трехлетнего пребывания в столице. Все эти годы, с 1811 до мая 1820, можно назвать первым петербургским периодом жизни Пушкина. Этот период лучше всего охарактеризован в восьмой главе «Евгения Онегина». Лицейские годы характеризуются так:

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.

Годы после окончания лицея обрисовываются иначе:

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я Музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров...

Мы вспоминаем встречи Пушкина в эти годы, его увлечения, его знакомства, все впечатления, послужившие материалом для первой главы «Евгения Онегина», а кроме того, всё то, о чем нельзя было писать и что послужило причиной, по которой Пушкин сжег свои записки после событий декабря 1825 года. Мы помним, как и почему оборвался первый петербургский период жизни Пушкина. Эта тема нашла отражение в отрывках десятой главы «Онегина».

Мы помним и те противоречия страстей, которые характеризуют создание «Кавказского пленника», и те измены «питомцев наслаждений», «Минутной младости минутных друзей», о которых говорится в «Посвящении» «Кавказского пленника» и в элегии «Погасло дневное светило».

И вот наступают долгие годы изгнания — сперва на юге, затем в де-

¹ Вступительное слово при открытии Девятой Всесоюзной Пушкинской конференции 6 июня 1957 года — последнее публичное выступление Бориса Викторовича Томашевского. Печатается по стенограмме заседания. — *Ред.*

ревенском заточении в Михайловском. И через все эти годы проходит тоска о Петербурге, окрашивающая и письма Пушкина этой поры и его стихи и придающая горький привкус иронии Пушкина в описании Петербурга в первой главе «Евгения Онегина».

Семь лет не видал Пушкин Петербурга. Только в мае 1827 года он приезжает в этот город. Новый период петербургской жизни можно условно ограничить 1830 годом. В это время Пушкин то и дело покидает Петербург то для Москвы, то для Михайловского, то для Малинников, то для поездки на Кавказ и, наконец, в Болдино. Это годы разочарований и иллюзий, за которыми следуют новые разочарования, годы беспокойных поисков чего-то, годы смутные и непоседливые.

Это годы, когда Пушкин, распрощавшись с романтическими восторгами, приглядывается к будничной жизни со всеми ее невзгодами и радостями. Именно в эти годы Пушкин создает свою характеристику города, в которой подчеркнуты противоречия и контрасты в его облике и в его быте:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Всё же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

Именно в итоге петербургских впечатлений этих лет появляются произведения, отражающие быт петербургских маленьких людей: «Домик в Коломне» и др.

Наконец, последний период, начиная с мая 1831 года, когда Пушкин после женитьбы окончательно поселился в Петербурге. Это трагический период его жизни, закончившийся катастрофой 1837 года, и в то же время это годы наибольшей зрелости Пушкина. Это годы серьезных размышлений и глубоких наблюдений. Впечатления этих лет отразились в ряде произведений, в которых ставится тема Петербурга. Всё углубляется тема «петербургского света», уже разработанная в последней главе «Евгения Онегина»; в этом аспекте тема Петербурга осложняется историческими и психологическими размышлениями. Окончательной формы эти замыслы Пушкина не получили. До нас дошли только планы намеченных им произведений и незаконченные наброски так называемых «светских повестей». Но наблюдения над светским обществом дали Пушкину материал для его «Дневника» — произведения своеобразной формы. Этот «Дневник» вызывал споры в среде литературоведов и до сих пор не получил общепризнанного и общепринятого истолкования. Между тем он содержит много материалов, характеризующих отношение Пушкина к окружавшему его петербургскому обществу и ко всему тому, что связано было с жизнью столицы, государственного центра. Законченными произведениями на петербургскую тему являются «Пиковая дама» и «Медный всадник».

Все эти впечатления от жизни в Петербурге до известной степени определили и отношение Пушкина к теме Петербурга и отражение города в его произведениях.

Перечислять и анализировать все произведения Пушкина, в которых так или иначе отразился образ Петербурга, было бы и долго и утомительно; исчерпать такой обзор в кратком вступительном слове было бы невозможно. Я отмечу только основные моменты и постараюсь кратко охарактеризовать основные аспекты этой темы.

Уже первые, еще детские, впечатления от города, относящиеся к 1811 году, получили отражение в поэзии Пушкина. Правда, это не прямое описание города, каким он его видел, а описание, в какой-то степени приспособленное к сюжету произведения. Но во всяком случае это впечатления, основанные на воспоминании о приезде. Я имею в виду стихотворение «Городок»:

На тройке пренесенный
Из родины смиренной
В великий град Петра,
От утра до утра
Два года всё кружился
Без дела в хлопотах,
Зевая, веселился
В театре, на пирах. . .

Мы знаем, что два года Пушкин не жил в городе и в этом возрасте вряд ли он так много «веселился» на пирах и в театрах, особенно на пирах. Но дело не в фактическом сюжете, а в впечатлении, которое производит город.

Характерно здесь сопоставление с Москвой. Москва — патриархальная «родина смиренная». Речь идет о той Москве, которую помнил Пушкин: о Москве до пожара 1812 года. Очень долго, пока он в 1826 году не увидел новую, отстроенную Москву, сюжет Москвы ассоциируется у Пушкина с Москвой допожарной. По сравнению с Москвой Петербург кажется ему пышным. Эта пышность жизни поражает молодого москвича. Мы не можем найти в творчестве лицейского периода такого произведения, которое бы полностью отражало все впечатления от кратковременного пребывания в Петербурге, но мы имеем произведения, в которых отражается пышный блеск города, в которых появляются черты одического отношения к городу. Такой Петербург появляется в стихах Пушкина и позднее. Собственно, такое отношение к Петербургу завершается очень поздно, в том гимне городу, который мы находим в прологе к «Медному всаднику». Но если обратиться к ранним впечатлениям, мы услышим в стихах, посвященных Петербургу, высокий тон, торжественную стилистику даже тогда, когда Пушкин выражает отнюдь не восторженное отношение к столице.

Мрачные черты примешиваются к торжественному облику города уже в строфе «Вольности», посвященной Михайловскому замку:

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий среди тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец. . .

Это очень мрачно, и эта мрачность еще более сгущается в дальнейших строфах, посвященных обстоятельствам убийства Павла, но это высоко и торжественно, как только и может быть в оде.

Но вот сравнение Петербурга с Москвой, являющееся своеобразным продолжением темы, поставленной в «Городке». И здесь характеристика города убийственна — это прямое обвинение столице деспотического государства, в которой сосредоточены все аксессуары самодержавного строя:

Итак, от наших берегов,
От мертвой области рабов,

Капральства, прихотей и моды
Ты скачешь в мирную Москву...

(«Всеволожскому», 1819).

Или в послании В. В. Энгельгардту, где облик города противопоставлен пасторальной, идиллической картине сельской жизни:

От суеты столицы празднои,
От хладных прелестей Невы,
От вредной сплетницы молвы,
От скуки, столь разнообразной,
Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клены огорода,
Пустынной речки берега
И деревенская свобода.

(«N.N.» — «Я ускользнула от
Эскулапа». 1819).

И вот первое и разительное противоречие: в городе соединено и благо и зло, и красота и безобразие, почти уродство.

Но чаще мы слышим оптимистические ноты. С первым петербургским периодом связывается тема дружбы, тема тех свободных собраний молодых друзей, где свободный ум не чувствует плена и готов вступить в борьбу со злом. В городе два общества, два круга: мрачный круг правителей и свободный круг протестующей молодежи. Эти два общества хорошо описаны Пушкиным в его статье «Мои замечания об русском театре», где говорится о двух родах театральных зрителей. Встречается эта тема и в стихах:

Как ты, мой друг, в неопытные лета,
Опасною прельщенный суетой,
Терял я жизнь и чувства и покой;
Но угорел в чаду большого света
И отдохнуть убрался я домой.
И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где спорю вслух, где чувствую живее,
И где мы все — прекрасного друзья,
Чем вялые, бездушные собранья,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены...

(«Послание к кн. Горчакову»,
1819).

И вот у Пушкина появляется тема молодого человека, современника, такого же, как он сам, посетителя дружеских сходок, спектаклей в Большом театре, пирушек, где велись смелые и задушевные беседы, собраний «Зеленой лампы», вечеров в домах Всеволожского, Тургенева, Муравьева. Этот образ появляется в разном освещении и на разном стилистическом фоне. В поэме «Руслан и Людмила» в авторских отступлениях уже достаточно характеризуется молодой петербуржец, современник Пушкина. Завершенный портрет его дан, конечно, в «Евгении Онегине», в первой главе, но не забудем, что он претерпел к тому времени серьезную трансформацию. В предисловии к первой главе «Евгения Онегина» Пушкин отметил генетическую связь Онегина с героем «Кавказского пленника». Романтический герой был своего рода сублимацией того же образа молодого современника Пушкина, представителя именно петербургского общества. Но в романтическом своем варианте он был беглецом из породившей его

среды, путником, ищущим неясного идеала в экзотической, необычайной обстановке, на лоне природы, где господствуют естественные отношения, естественный уклад жизни. Будничному Петербургу романтик противопоставлял вожделенный золотой век, куда герой приходил со всеми своими противоречиями, со своими трагическими страданиями, — и о нем говорилось в высоком стиле, он возведен был на высокий пьедестал, хотя и являлся жертвой страстей и страданий.

Для поэта-романтика Петербург — это знакомый образ большого города, общества, живущего особой жизнью, образ европейской цивилизации, воспринимаемый не без руссоистского осуждения.

Но достаточно было рассеяться романтическому туману, чтобы тот же герой предстал в свойственной ему среде, чтобы о нем можно было говорить не возвышенно, не восторженно или гневно, а языком дружеской беседы, даже слегка насмешливо, тоном приятельским и шутивным.

«Евгений Онегин» — вот первая реалистическая картина Петербурга. И здесь характеристика города связана с темой молодого человека — современника. Любопытна манера описания. Картины города даны в действии рассказа. Пушкин не останавливается, чтобы с неподвижной точки рисовать городской пейзаж или характерный для столичного города интерьер (театр, ресторан, бал). Эти зарисовки появляются попутно, но даже в легком замечании, в придаточном предложении, в самых простых словах чувствуется концентрация наблюдений и воспоминаний зрительного порядка:

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе...

Уж темно: в санки он садится.
«Пади, пади!» раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

(Гл. 1, стр. XV—XVI).

Наиболее подробные описания даны как бы глазами героя:

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик...

(Гл. 1, стр. XXXV).

И следует перечень бытовых зарисовок на темы, значительно позднее популяризованные в литературе физиологическими очерками натуральной школы.

Или вот лирически приподнятое описание белой ночи, особенно близкое Пушкину. Именно это описание он просил иллюстрировать и прислал в письме брату проект рисунка:

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невойю
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Вспомня прежних лет романы,
Вспомня прежнюю любовь,

Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!

(Гл. 1, стр. XLVIII).

И только охарактеризовав настроение зрителя (мы — это автор и его герой), Пушкин приступает к четкому рисунку городского пейзажа:

Всё было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые;
Да дрожek отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке. . .

(Гл. 1, стр. XLVIII).

Что касается до городских интерьеров, то Пушкин дает их сразу с нескольких точек зрения (и топографически и психологически). Он обрисовывает театр и в его зрительном зале, и из вестибюля, где спят лакеи, и с улицы, где

Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони. . .

(Гл. 1, стр. XXII).

Описывая бал, Пушкин предварительно бросает взгляд на празднично украшенный дом снаружи, с точки зрения сторонних прохожих:

Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян площадками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

(Гл. 1, стр. XXVII).

Зарисовки Пушкина в каком-то смысле полифоничны, многоголосы. Мы всегда чувствуем присутствие людей, притом людей весьма разных.

В ином аспекте выступает тема города в следующий период.

После «Бориса Годунова» Пушкин всё чаще обращается к историческим сюжетам. Чисто политические размышления (о судьбах русского самодержавия, вышедшего победителем из столкновения 1825 года, подготовленного оппозицией тайных обществ, столь знакомой Пушкину еще с последних лет пребывания в лицее) приводят Пушкина к теме Петра. Петербург становится своеобразным историческим символом, знаком новой России, России петровской.

Действие романа «Арап Петра Великого» начинается в Париже, где обрисовано общество, характерное для последних десятилетий перед крушением, общество одряхлевшее. Развивается действие в молодой и сильной России, в Петербурге, знаменующем победу человеческой воли над сопротивлением стихий. Здесь уже слегка намечена тема, развитая впоследствии в «Медном всаднике».

Тема города осложняется историческими ассоциациями. Это город, определивший русскую историю XVIII века, центр борьбы между феодальным дворянством, стремившимся к олигархии, и самодержавием петровского типа, с новой аристократией и высокой, всесильной бюрократией. Город не только Петра, но и Анны, Елизаветы, Екатерины, город дворцовых переворотов и официальных празднеств и в то же время современный большой торговый и промышленный город европейского типа; город со своими захолустьями, мещанством и беднотой, лишь изредка, хотя и сильно, напомиавшими стране о том, что существуют иные, чем самодержавие и аристократия, исторические силы, определяющие ход вещей. Так было в пугачевщину, так было и во время холерных бунтов 1831 года.

В произведениях Пушкина последних лет мы встречаем разнообразные зарисовки города: и общая торжественная панорама в «Медном всаднике» и (там же) тихий уголок в Гавани — в соответствии с резкой антитезой: Петр, воплощенный в фальконетовском монументе, «кумир» «с простертою рукою», стоящий на страже своего города, и бедная Параша, о которой мы знаем только из размышлений смиренного героя. Богатые кварталы изображены в «Пиковой даме», коломенское захолустье — в «Домике в Коломне» и в отрывке «На углу маленькой площади», пышные и вечно праздничные острова — в неоконченной повести «Гости съезжались на дачу» и, в противопоставление светским салонам и роскоши богачей, смиренный номер плохонькой гостиницы, в котором поселился итальянский импровизатор из «Египетских ночей», и пригородное кладбище в стихотворении «Когда за городом, задумчив, я брожу» (1836).

Но для 30-х годов характернее не объективные акварельные картинки из жизни города, а размышления о судьбах города, размышления исторические, получившие наиболее яркое выражение в «Медном всаднике». В этой поэме город является на правах действующего лица и судьба города определяет движение действия. Но с начала до конца читатель чувствует какую-то символичность действия, недосказанность формулировок, наполнение картин и эпизодов какими-то важными социально-историческими размышлениями и намеками. Вот почему поэма воспринимается не как изложение объективного сюжета, а как образное отражение философских раздумий, с подсказкой какого-то ответа и какой-то исторической и социальной оценки происходящего. Поэма тревожит.

Первый читатель, которого поэма настроила на тревожный лад, был Николай I. Но его тревога была охранительного порядка. Он не много понял, понаставил на рукописи вопросительных знаков, кое-что отчеркнул, кое-что зачеркнул и — испугался. Он понял, что за торжественным и трагическим тоном поэмы слышен голос какого-то суда, и хотя приговор не был расслышан российским самодержцем, но он угадывал, что приговор этот не в его пользу. Он пережил то, что в иной психологической обстановке, в наивной форме пережила Татьяна, разгадывая значение сна:

Но сон зловеший ей сулит
Печальных много приключений.

(Гл. 5, стр. XXIV).

Вероятно, Николай подумал, что в этом приговоре отведено место и ему. И он поступил так, как мог поступить глава полицейского аппарата: отогнать мрачный и назойливый сон запрещением, зажать рот обвинителю, которого он инстинктивно почувствовал в авторе поэмы, и тем призвать его к субординации по принятому политическому этикету.

Но тревогу, хотя и иного рода, поэма возбудила и в критиках, и до сих пор ведутся споры о смысле поэмы Пушкина.

Исторические и социально-политические размышления о роли столицы в жизни страны отразились не только в художественных произведениях этих лет, но и в публицистических записках, статьях, набросках, планах. Я уже упоминал «Дневник». Большое место тема Петербурга занимает в полемическом произведении «Путешествие из Москвы в Петербург». В этом произведении, остающемся в некоторых отношениях загадочным до сих пор, а поэтому требующем новых и новых разысканий, несколько страниц отведено Петербургу и, в частности, его соревнованию с Москвой.

Пушкин глубоко любил Петербург, тосковал о нем, когда дорога туда была ему преграждена, и вряд ли представлял себе свою жизнь вне Петербурга.

И однако тот же город давал ему много пищи для ненависти. Тот «свет», в котором он принужден был жить, фальшивое положение поднадзорного, постоянные стычки с представителями «света» в лице самого царя, Бенкендорфа или кругов, близких к министрам Уварову, Нессельроде и многим другим, вызывали в нем желание бежать из Петербурга:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

(«Пора, мой друг, пора!..», 1834?).

И враги достигли своего. Они замучили своего пленника и привели его к катастрофе 1837 года.

И всё же Пушкину не свойственно было уныние. Он любил жизнь и свободу, которую он отождествлял с жизнью, и эту свободу он ощущал в себе:

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливрей
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

(«Из Пиндемонти», 1836).

И вот — жить, жить вопреки несчастьям, вопреки врагам, вопреки угрозам смерти:

... умереть,

Идти неведомо куда, во гробе тлеть
В холодной тесноте... Увы! земля прекрасна
И жизнь мила...
Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете,
В печалах, в старости, в неволе... будет раем
В сравнении с тем, чего за гробом ожидаем.

(«Анджело», 1833).

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...

(«Элегия», 1830).

Пушкин глубоко чувствовал

все блага жизни сей,
Веселый мир души, беспечные досуги...

(«К***», 1832).

И это была врожденная черта Пушкина. Еще в 1821 году он писал:

...в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомленный;
В минуту гибели над бездной потаенной...
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть...
К печалям я привык, расчелся я с судьбою
И жизнь перенесу стоической душою.

(«Чаадаеву», 1821).

Этому Пушкин остался верен до конца дней своих. Свое чувство жизни Пушкин питал сознанием своей непримиримости, готовностью к борьбе. Бунтарем он вошел в жизнь, бунтарем сошел в могилу.

С Т А Т Ь И



Л. П. ГРОССМАН

У ИСТОКОВ «БАХЧИСАРАЙСКОГО ФОНТАНА»

Творческая история «Бахчисарайского фонтана» полна неразрешенных загадок. Кто сообщил Пушкину драматическую легенду о безутешном хане, воздвигнувшем необычайный памятник из мрамора и струй пленной польской княжне, погибшей в его гареме? Имеет ли это поэтическое сказание какие-либо исторические основы? Почему Пушкин заявлял, что писал эту поэму только для самого себя, и долго отказывался публиковать ее, следя с ревливой бдительностью за попытками друзей провести хотя бы самые беглые сведения о ней в печать? Кому посвящены здесь отрывки страстных признаний автора, свидетельствующие о несомненном наличии в его ранней биографии какой-то «утаенной любви», донныне не раскрытой неопровержимо его исследователями? Какой ответ дают источники пушкинских текстов на взволнованные расспросы самого поэта о его воображаемой спутнице по опустелым залам Бахчисарайского дворца:

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?

(IV, 170).¹

Не следует ли наново поставить эти вопросы, решение которых одинаково важно для истолкования творчества и для истории жизни великого певца Бахчисарая?

Попытаемся это сделать.

Возникновение замысла знаменитой «татарской поэмы» поддается датировке, хотя и несколько обобщенной. Легенда о Гирее и Марии дошла впервые до Пушкина в Петербурге, в эпоху «пылких оргий», т. е. в грехлетье между лицеем и ссылкой. Он услышал это сказание от одной из своих знакомых, что и определило план, идею и стиль поэмы: «Я суеверно переключивал в стихи рассказ молодой женщины», — писал поэт 8 февраля 1824 года А. А. Бестужеву; «К ** поэтически описывала мне его (т. е. «странный памятник влюбленного хана», — Л. Г.)», называя этот восточный водомет «la fontaine des larmes», — писал он в декабре 1824 года Дельвигу (XIII, 88, 252).

Из другого письма Пушкина от 29 июня того же года к Бестужеву явствует, что именно эту рассказчицу крымского предания слушатель-поэт

¹ Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии наук СССР, 1937—1949.

4 Пушкин. Исследования и материалы

полюбил тогда «без памяти» (XIII, 100). Но чувство его не встретило ответа, и он решил скрыть от всех имя этой ранней посетительницы Тавриды, вдохновившей его на прелестнейшую стихотворную новеллу и внушившей ему чувство, которое сам он называл «безумной любовью», «глубокими ранами сердца», «тяжелым сном» своей молодости.

Уже первые исследователи Пушкина обратили внимание на ряд его ранних лирических стихотворений, охваченных глубоким и горестным чувством к одной неизвестной женщине. П. И. Бартенеv в своей монографии 1861 года «Пушкин в южной России» впервые указал, что «к воспоминаниям о жизни в Гурзуфе несомненно относится тот женский образ, который беспрестанно является в стихах Пушкина, чуть только он вспомнит о Тавриде, который занимал его воображение три года сряду, преследовал его до самой Одессы, и там только сменился другим. В этом нельзя не убедиться, внимательно следя за стихами того времени. Но то была святыня души его, которую он строго чтит и берег от чужих взоров и которая послужила внутреннею основою всех тогдашних созданий его гения».²

Не пытаюсь разгадать имя этой женщины, которая могла еще находиться среди живых, Бартенеv отмечал посвященные ей, по его мнению, стихи: «Я помню море пред грозою», «Редает облаков летучая гряда», «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду» и «О дева-роза, я в оковах». Так впервые был поставлен вопрос о безымянной любви Пушкина и сделана попытка установить репертуар относящихся к ней лирических строф.

Позднейшие пушкиноведы много сделали для расшифровки имени этой незнакомки. Они назвали восемь современниц поэта в качестве возможных вдохновительниц «Бахчисарайского фонтана» и объектов любви его автора. Это были: княгиня Мария Аркадьевна Голицына, рожденная Суворова-Рымникская, внучка генералиссимуса; Наталья Викторовна Кочубей, в замужестве графиня Строганова, дочь министра внутренних дел и предмет раннего увлечения Пушкина-лицеиста; четыре дочери знаменитого героя 1812 года генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского 1-го — Екатерина Николаевна, по мужу Орлова, Елена Николаевна, Мария Волконская и ее младшая сестра Софья; жена историка Екатерина Андреевна Карамзина и, наконец, пленная девушка-татарка, ставшая компаньонкой барышень Раевских, Анна Ивановна. Вот кого исследователи русской поэзии — А. И. Незеленов, М. О. Гершензон, П. Е. Щеголев, Ю. Н. Тынянов, П. К. Губер, Д. С. Дарский и др. — собрали у входа в ханский дворец Бахчисарая.

Из всего этого разнообразного женского круга в биографию Пушкина вошла твердой поступью только Мария Николаевна Раевская. Обобщая наметившуюся в научной критике тенденцию, П. Е. Щеголев признал именно эту девушку предметом таинственной любви Пушкина, который якобы услышал от нее в Петербурге в 1817—1820 годах предание о Бахчисарайском фонтане. Оно было почему-то любимейшим поверьем всего молодого поколения семьи Раевских, т. е. трех прочих сестер и их брата Николая. Все они, согласно этой версии, совместно «вдохновляли» Пушкина на его знаменитую поэму.

Как ни странно было бы такое коллективное воздействие целой семьи на зарождение одной лирической поэмы, концепция Щеголева была ши-

² П. И. Бартенеv. Пушкин в южной России. «Русская речь», 1861, № 85 и сл.; отдельное издание — М., 1862. Цитируем по изданию «Русского архива», М., 1914, стр. 40—41.

роко принята и до сих пор господствует в пушкинской литературе. Между тем ряд ее положений явно ошибочен. Мы даем в приложении их детальный анализ и ограничиваемся здесь общей характеристикой взаимоотношений поэта с выдающейся «русской женщиной». Это послужит нам необходимым введением в изучение всей проблемы.

Пушкин несомненно питал к М. Н. Раевской-Волконской глубокую и долголетнюю приязнь. Но его чувство к ней не имело ничего общего с той пылкой, бурной и мучительной страстью, о которой он так настойчиво говорит в своих южных стихах, письмах и поэмах. Отношение его к Марии Николаевне было совершенно иным — не «безумным» и не «тяжелым». Оно было свободно от всякой чувственности, отличалось ясностью и напоминало самому поэту «лампаду чистую любви». Оно не захватывало его целиком и не препятствовало другим его увлечениям и связям, часто опасным и мучительным (Ризнич, Воронцова, Закревская).

В изучении этого вопроса исследователи не считались с характером такого «идеального» чувства и относили к нему всё, что Пушкин высказывал в стихах того времени о своей мучительной страсти к другой женщине.

Лучше всех ученых сама М. Н. Волконская определила характер чувства к ней Пушкина. Она начинает историю их дружбы лишь с 1820 года. Это подтверждает, что в Петербурге они не могли встречаться, что никакого творческого воздействия на поэта она не могла тогда оказывать и никакой любви к ней, тем более всепоглощающей и безысходной, поэт от туда не вывозил.

В месяцы совместного путешествия по югу возникли весьма дальние и всё же поэтические и дружеские отношения. В них сказалось обычное для Пушкина поклонение каждому проявлению пленительной женственности. «В качестве поэта, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хороших женщин и молодых девушек, которых встречал», — замечает Волконская. Но по существу, продолжает мемуаристка, «он любил лишь свою музу и облакал в поэзию всё, что видел».³

Таким, чисто поэтическим и было его душевное увлечение смуглым подростком во время южного путешествия. Оно было искренне и эстетично, но при этом сдержанно и мечтательно.

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья, —
(VI, 29).

писал Пушкин в 1823 году. Именно таким было его чувство к Раевской. Оно могло навевать задумчивые стихи, но не бурные страдания.

Это была в начале не столько любовь, сколько, скорее, любование, созерцание художника, «сердечная дума», по его собственному глубокому выражению в стихотворении «Таврическая звезда» («Редает облаков летучая гряда»).

Для верного понимания сердца поэта в момент этого творческого цветения можно вспомнить строфу Александра Блока из его «Итальянских стихов»:

Счастья не требую. Ласки не надо,
Лаской ли грубой тебя оскорблю?
Лишь, как художник, смотрю за ограду,
Где ты срываешь цветы, — и люблю!⁴

³ М. Н. Волконская. Записки. СПб., 1904, стр. 22, 24.

⁴ А. Блок, Собрание сочинений, т. III, Л., 1932, стр. 77.

Кажется, именно так любил Пушкин Марию Раевскую. Созерцательно, артистически, лирично, самоотверженно. Как мастер элегий и творец романтических поэм. В этом была своя условность, но и своя высокая словесная ценность, соответствующая чистоте и возвышенности переживания. Но это не был «порыв страстей», о котором поэт вспоминал в других стихах этого времени. Должны были пройти года и возникнуть огромные исторические события, чтобы Пушкин испытал сильное чувство к Марии Николаевне — глубокое «гражданское» восхищение ее подвигом. Это произошло только в 1826 году. «Во время добровольного изгнания в Сибирь жен декабристов он был полон искреннего восторга», — сообщает в своих «Записках» Волконская.⁵

Это и был момент зарождения подлинной духовной любви Пушкина к юной приятельнице его странствий — поклонение певца свободы жертвенной и героической натуре, поднятой временем на историческую высоту. С этого момента она и становится «святыней» его души.

Поэта увлек тот высокий строй идей, который характеризовал всю семью Раевских. Мария Николаевна, как и ее братья и сестры, жила идеалами чести и долга, которые рано внушил ей отец. Патриотизм и героика, отречение и подвиг — вот что уводило молодых Раевских от фривольной культуры XVIII века и обращало к культуре общественной и моральной доблести. Марии Николаевне уже в молодости была присуща серьезность и вдумчивость. Олизар называет ее «юной смуглянкой с серьезным выражением лица». Никто бы не решился обратиться к ней нечистые помыслы или легкомысленные признания. Она неизменно внушала окружающим глубокие и возвышенные чувства. «Если во мне, — писал Олизар, — пробудились высшие, благородные, оживленные сердечным чувством стремления, то ими во многом я был обязан любви, внушенной мне Марией Раевской. Она была для меня той Беатриче, которой посвящено было мое поэтическое настроение, до которого я мог подняться, и благодаря Марии и моему к ней влечению я приобрел участие к себе первого русского поэта и приязнь нашего знаменитого Адама».⁶

Таковы были и сердечные влечения к этой девушке «первого русского поэта», близкие к «языку Петрарки» и свободные от всякой эротики. Ни один сладострастный стих Пушкина не обращен к ней, и наличие таких изъявлений в какой-либо строфе уже неопровержимо доказывает, что эта строфа не относится к Марии Раевской. От поэтизации к высшей героизации — таков был весь путь этого чувства, в котором первоначальное восхищение шалостями девочки на фоне южного пейзажа сменилось преклонением перед подвигом одной необычайной женщины в страшную эпоху «мятежей и казней». Это дало русской литературе ряд незабываемых строф. Но настоящая северная любовь Пушкина была иной.

Для решения этой проблемы исследователи изучили целый круг современниц поэта. Они проявили при этом немало находчивости, остроумия и трудолюбия. Но был допущен один недосмотр: они не обратили внимания на показания самого поэта, с которых необходимо было начать анкету по одному из труднейших вопросов его литературной и личной биографии. Документальными свидетельствами, исходящими от главного героя этого неразгаданного романа, мы и начнем наше рассмотрение тайны Пушкина.

⁵ М. Н. Волконская. Записки, стр. 24.

⁶ «Русский вестник», 1893, № 9, стр. 102, 104.

Глава первая⁷

1

Сам Пушкин полностью назвал вдохновительницу своей южной поэмы. Назовем ее и мы. Это — Софья Станиславовна Потоцкая, вышедшая в 1821 году за начальника штаба второй армии генерала Павла Дмитриевича Киселева и рассказавшая поэту еще в 1818—1819 годах легенду о старинной красавице Марии Потоцкой, печально завоевавшей любовь одного из последних Гиреев.

Известную запись Пушкина о зашифрованной рассказчице бахчисарайской легенды «К**» и следует читать: «Киселева поэтически описывала мне его» (IV, 176; см. также: VIII, 1, 438; XIII, 252).

Пушкин прямо называл имя этой девушки в связи с «Бахчисарайским фонтаном». 4 ноября 1823 года он писал из Одессы П. А. Вяземскому: «Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма... Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай... Припиши к Бахчисараю маленькое предисловие или послесловие — если не для меня, так для Софьи Киселевой» (XIII, 380, черновое). Приведем и примечательный вариант белого текста: «...еще просьба: припиши к Бахчисараю предисловие или послесловие, если не ради меня, то ради твоей похотливой Минервы, Софьи Киселевой» (XIII, 73).

В одном из следующих писем к Вяземскому из Одессы от 20 декабря 1823 года Пушкин, между прочим, спрашивал: «Ты, кажется, собираешься сделать заочное описание Бахчисарая? брось это. Мадригалы Софье Потоцкой, это дело другое» (XIII, 83).

В первом сообщении Пушкин ставит себя как автора «Бахчисарайского фонтана» рядом с Софьей Киселевой-Потоцкой, очевидно как вдохновительницей поэмы; иначе понять это сообщение нельзя: почему бы предисловие к «Бахчисарайскому фонтану» нужно было писать для Софьи Киселевой, если бы она не имела никакого отношения к замыслу этой поэмы? Во втором письме Пушкин отговаривает Вяземского описывать заочно, т. е. только со слов Софьи Потоцкой, Бахчисарайский дворец с его преданиями, лучше писать в честь самой рассказчицы мадригалы (в чем уже преуспел Вяземский).⁸ И здесь снова имя Потоцкой связывается с описанием Бахчисарая. Это как бы ее тема. Она сообщает поэтам старинные предания Крыма и свои личные впечатления о далеком и сказочном Востоке.

При опубликовании поэмы Пушкин нашел особый способ незаметно назвать свою вдохновительницу и в печати. В приложении к «Бахчисарайскому фонтану» он поместил «Выписку из путешествия по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола, которая заканчивалась указанием на «принятое и справедливое мнение, что красота женская есть, так сказать, принадлежность рода Потоцких» (IV, 175). Это была явная похвала двум

⁷ Краткое изложение разделов 1—5 этой главы приведено в моей книге «Пушкин» (М., 1958, стр. 229—232).

⁸ В Академическом издании «Софья Потоцкая» в письме к Вяземскому от 20 декабря 1823 года толкуется как Потоцкая-мать, т. е. Софья Константиновна («гречанка») (XIII, 603). Это несомненно ошибка: Софья Константиновна уже более года не было в живых (она умерла 24 ноября 1822 года), и писать ей мадригалы было невозможно. К тому же четверостишие Вяземского «К двум красавицам — матери и дочери» было обращено, как правильно указал Б. Л. Модзалевский, к Софье Станиславовне Киселевой, рожденной графине Потоцкой, которою Вяземский был тогда увлечен («Мать несравненная! А дочь Сравнялась с матерью одною») (Пушкин и в. Письма, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1926, стр. 297).

сестрам из этой фамилии — Софье и Ольге, блиставшим в 1818—1819 годах в петербургском свете и при дворе. Сенатор и член Российской академии И. М. Муравьев-Апостол, лично близкий к Александру I, несомненно знал статс-даму С. К. Потоцкую и ее знаменитых красавиц-дочерей. Искушенному читателю намек Муравьева был ясен. Приводя цитату из его «Путешествия», Пушкин не разглашал никакой сердечной тайны, ни-

кого не компрометировал и всё же приносил вдохновительнице поэмы дань своего сердечного поклонения и авторской благодарности. Это и могло служить некоторым послесловием в честь Софьи Киселевой, которое Пушкин так настоятельно просил у Вяземского.

Это заветное имя Пушкин называл и позже с такой же осторожностью и некоторой неясностью, допускающей различные восприятия и понимания. Так, отсутствующее в первых изданиях поэмы указание на «К**» — рассказчицу сюжета — появилось лишь в 1830 году в третьем издании «Бахчисарайского фонтана», в авторском письме-комментарии, напечатанном до того отдельно от поэмы, в «Северных цветах на 1826 год».

В том же 1830 году в «Путешествии Онегина», через десять-двенадцать лет после воз-

никновения замысла поэмы «Гарем», Пушкин как бы подтверждает, что «воспевал... деву польскую» (VI, 256) не только понаслышке, не в одном только историческом аспекте или легендарном воплощении, а по своим непосредственным жизненным впечатлениям. Обращение к «фонтану Бахчисарая» в черновиках «Евгения Онегина» указывает на близость старинной любовной драмы к личной биографии автора:

Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Потоцкую воспоминал...

(VI, 489).

В окончательном тексте: «Зарему я воображал» (VI, 201). Героиню поэмы Пушкин воображает; вспоминает же он реальное лицо — Потоцкую; вместо возможного стиха «Потоцкую воображал» ставится «вспоминал», что может относиться не к легендарной Марии, а к живой и реальной Софье, т. е. рассказчице предания о фонтане слез, которую Пушкин и вспоминает перед этим памятником безнадежной любви.

Для вдохновительницы поэмы был ясен смысл этих строк. Исследователи и читатели могли воспринимать их как свидетельство о поэтической



Софья Станиславовна Киселева, рожд. Потоцкая. Офорт В. А. Бобрва. 1878 (ремарка на портрете П. Д. Киселева).

Марии. Так они и воспринимаются уже в течение почти ста тридцати лет. Не пора ли восстановить их подлинный смысл?

О том, что Пушкин в петербургское трехлетие действительно встречался с Софьей Станиславовной Потоцкой, свидетельствует замечание Вяземского в письме к А. И. Тургеневу 6 февраля 1820 года о стихотворении Пушкина «Платоническая любовь»: «Стихи Пушкина — прелесть! Не моей ли Минерве похотливой он их написал?»⁹

Вяземский был влюблен в Софью Потоцкую; а смелый эпитет, им допущенный, выражал лишь его восхищение внешностью девушки.

«Еще несколько дней погостит с нами Потоцкая с Софьею, которая хороша, как Минерва в час похоти», — писал он А. И. Тургеневу 11 октября 1819 года.¹⁰ Богиня мудрости в порыве страсти — такой представлялась Вяземскому Софья Потоцкая. «Всем нашим поклон, — пишет Вяземский ему же 25 октября 1819 года, — да если увидишь и коротко ее знаешь, — владычице моего воображения, Минерве в час похоти, в которой всё не здешнее, кроме взгляда, в котором горит искра земных желаний. Счастлив тот, который эту искру раздует: в ней тлеет пожар поэзии».¹¹

В ответном письме (от 10 декабря 1819 года) А. И. Тургенев подчеркивает тему неприступной красавицы, связанную с личностью Потоцкой: «Как блекнут розы Софии оттого, что она не позволяет никому рвать их».¹²

В стихотворении «Платоническая любовь» Пушкин, как полагал Вяземский, описывал эту красавицу, отмечая некоторую истому или усталость ее внешности от бесплодных мечтаний любви:

Я понял слабый жар очей,
Я понял взор полузакрытый,
И побледневшие ланиты,
И томность поступи твоей.

(II, 1, 106).

«Ужель мольба моя напрасна?» — спрашивает в заключении стихотворения Пушкин, выражая свое восхищение этой отступницей от Амура и Гименея. Важен был не легкомысленный эпитет, оброненный Вяземским, а наименование девушки Минервой, олицетворением мышления и творчества, покровительницей поэтов и художников, которую Пушкин воспринимал как «суровую» богиню.¹³ Всё это проливает свет на известное заявление поэта в письме к брату Льву Сергеевичу от 25 августа 1823 года о вдохновительнице «Бахчисарайского фонтана», как о женщине, в которую он был «очень долго и очень глупо влюблен» (XIII, 67), т. е. любил без взаимности и без надежд.

Вяземский сразу почувствовал сходство героини «Платонической любви» с Софьей Потоцкой и тотчас же запросил об этом А. И. Тургенева. И действительно, пушкинская характеристика «бедной Лиды» поразительно сходится с отзывами Вяземского о его Минерве, сочетающей девственную чистоту с глубоко затаенным огнем страсти; в ней «всё не здешнее», т. е. неземное, райское, небесное, и лишь взгляд ее обнаруживает искру чувственности, способную разгореться в пожар поэзии и любви. Но дева горда и неприступна: в своем томлении она остается одинокой.

⁹ Остафьевский архив, т. II. СПб., 1899, стр. 14; см. также: т. I, 1899, стр. 371, 377.

¹⁰ Там же, т. I, стр. 326.

¹¹ Там же, стр. 338.

¹² Там же, стр. 371.

¹³ «Воспитанный сурово Минервой» («19 октября», 1825; II, 2, 969).

Так описывает Вяземский пленившую его красавицу-девушку. Такой же предстает и пушкинская героиня, которой доступны лишь «сны воображенья», «неясные мечты», бледное отражение «нежных восторгов», к которым она втайне влечется; Пушкину вторит и общий друг его с Вяземским — А. И. Тургенев: «побледневшие ланиты» у Пушкина напоминают слова Тургенева: «как блекнут розы Софии».¹⁴ Таким образом, на вопрос этого почитателя Потоцкой, не к ней ли обращено стихотворение «Платоническая любовь», можно ответить утвердительно. Это один и тот же тип любви, и речь идет, очевидно, об одной и той же девушке, с которой в то время встречались оба поэта.

Таково было и мнение авторитетнейших комментаторов Пушкина. В издании С. А. Венгерова, в котором стихотворения 1819 года редактировались П. О. Морозовым, Б. Л. Модзалевским и Н. О. Лернером, о «Платонической любви» сказано: «Речь идет о графине Софье Потоцкой». Там же указано, что стихотворение печаталось по беловому автографу, который был получен Вяземским от Пушкина и сохранялся в Остафьевском архиве. Это подтверждает посвящение «Платонизма» Софье Потоцкой.¹⁵

Таким образом, объектом петербургской любви Пушкина («северной любви», «отверженной любви», «безумной любви»), как и вдохновительницей «Бахчисарайского фонтана», следует признать Софью Станиславовну Потоцкую-Киселеву.

В биографии Пушкина, как и в истории его творчества, она заслуживает хотя бы беглого очерка, который до сих пор не был посвящен ей. Восполним этот пробел.

2

Софья Станиславовна Потоцкая унаследовала замечательную красоту своей матери — гречанки Софьи Константиновны Клавона (Clavona), женщины с необычайной судьбой.

По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, хорошо осведомленного в биографиях и делах своих современников, эта будущая львица александровского Петербурга была на пороге жизни служанкой в константинопольском трактире, где обратила на себя внимание секретаря польского посольства, а затем и самого посланника при Оттоманской Порте Деболи, который и увез ее с Босфора на Вислу.¹⁶

По другой версии, посол в Турции Боскамп Лясопольский, проезжая по улицам Константинополя, заметил бедную тринадцатилетнюю девочку-гречанку, которая была им приобретена у матери за 1500 пиастров. По пути в Польшу посланник остановился в Каменце, где в его юную спутницу влюбился сын коменданта крепости майор Иосиф Витт, которому удалось тайно обвенчаться с прекрасной фанариоткой и вскоре увезти ее во Францию. Имеется также вариант о французском после в Стамбуле, доставившем девочку в Париж.¹⁷

Всё это окутано налетом легенды, но зато совершенно достоверно, что

¹⁴ Остафьевский архив, т. I, стр. 371.

¹⁵ Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова, т. I. СПб., 1907, стр. 560 (комментарий П. О. Морозова); ср.: Пушкин, II, 2, 1061—1062.

¹⁶ См.: Ф. Ф. Вигель. Записки, т. II. Изд. «Круг», М., 1928, стр. 219—222.

¹⁷ См.: Ян Дуклан Охотский. Рассказы о польской старине. Записки XVIII века, т. II. СПб., 1874, стр. 282—284; Судьба красавицы (София Глявоневитт-Потоцкая). Перевод с польского. Из исторических рассказов д-ра Антония И. «Киевская старина», 1887, № 1, стр. 99—138.

в начале 80-х годов XVIII века знаменитая французская художница Вижелебрен (как она рассказывает в своих воспоминаниях) видела в Париже чрезвычайно юную мадам де Витт, прекраснее которой ничего нельзя было себе представить.¹⁸

Оказавшись в Польше, Софья Витт находит путь в русские лагеря, стоявшие в то время на границе Речи Посполитой. Екатерининские генералы славились своими празднествами и щедростью. На красавицу обратил внимание сам фельдмаршал Потемкин. Вскоре он доставил Витту генеральский чин русской армии и графский титул Российской империи взамен исключительного права иметь повсеместно своей спутницей его жену. Софья Витт жила в ставке главнокомандующего, а в 1787 году была представлена в Крыму Екатерине II. Завоеватель Тавриды щеголял своей фавориткой как небывалым трофеем, она же гордилась своей властью над повелителем всей России.

Упомянутая французская портретистка Вижелебрен, прожившая несколько лет в России, посетила лагерь Потемкина и была поражена щедростью его подношений своим возлюбленным: «Ему всё было нипочем, лишь бы удовлетворить желанию, капризу обожаемой им женщины». Влюбленный в госпожу де Витт, он «расточал перед нею самые изысканные любезности. Так, однажды, желая подарить ей кашемировую шаль безумно высокой цены, он дал праздник, на котором было до дзюхсот дам, а после обеда устроил лотерею, но так, что каждой досталось по шали, а лучшая из шалей выпала на долю самой прекрасной из дам» (т. е. госпоже де Витт).¹⁹

Об этих празднествах «князя Тавриды», где неизменно царил прекрасная гречанка, имеется ряд характерных свидетельств в воспоминаниях современников.

В «Записках Александра Михайловича Тургенева» сообщается, что во время осады Очакова, когда «войско умирало от холода, голода и житья в землянках», князь Потемкин в главной квартире своей, в лагере «давал балы, пиры, жег фейерверки... куртизанил с... бывшею прачкою в Константинополе, потом польской службы генерала графа Витта женою, потом купленную у Витта в жены себе графом Потоцким и, наконец, видевшею у ног своих обожателями» министров и королей; «будучи уже в преклонных летах, графиня София Потоцкая была предметом внимания даже Александра Павловича».²⁰

Понемногу она сумела вступить и в политические комбинации своего всевластного покровителя. Это было время, когда Потемкин приступил к осуществлению своего грандиозного «греческого проекта», т. е. восстановления на территории низложенной Турции византийского царства с императором из дома Романовых. Софья Витт была по происхождению фанариоткой. Так назывались потомки знатных греческих фамилий, избежавшие истребления при завоевании турками Константинополя и поселившиеся в предместье Фанаре²¹ на берегу Золотого Рога. Известные своими знаниями, энергией и изворотливостью, фанариоты были вскоре привле-

¹⁸ L.-E. Vigée-Lebrun. Souvenirs, t. II. Paris, 1835, стр. 285.

¹⁹ «Древняя и новая Россия», 1876, т. III, № 10, стр. 192, 193.

²⁰ «Русская старина», 1886, № 11, стр. 259—260.

²¹ Теофиль Готье в своей книге «Константинополь» так описывает предместье Фанар: «Сюда удалась древняя Византия, здесь скрываются в полумраке потомки Комненов и Палеологов, князья без княжеств, но чьи предки носили порфиру... Фанариоты долго славились своим дипломатическим искусством: в свое время они распоряжались всеми международными делами Порты» (Théophile Gautier. Constantinople. Paris, 1853, стр. 234, 235).

чены оттоманским правительством на государственную службу, где занимали посты драгоманов Порты и господарей дунайских княжеств. Новая подруга Потемкина могла служить ему и для осуществления замысла его политической деятельности. Вскоре она стала исполнительницей его тайных политических поручений и по другому важнейшему заданию тогдашней российской государственности — переустройству распадавшейся Польши. В момент, когда русское правительство было заинтересовано в привлечении на свою сторону одного из крупнейших деятелей Речи Посполитой — магната и коронного гетмана Станислава-Феликса Потоцкого-Щенского, к нему была направлена в Варшаву на сейм 1788 года Софья Витт.

С первой же встречи этот претендент на польский престол оказался одновременно у ее ног и в русле петербургской политики. После Тарговицкой конфедерации и третьего раздела Польши Потоцкий-Щенский был вынужден во время восстания Костюшко оставить родину. Зато он получил от царизма чин генерал-аншефа русской службы. После долголетнего матримониального торга он выкупил у Иосифа Витта его жену за два миллиона польских злотых.²²

Но обвенчаться с нею Потоцкий всё же не мог, так как его законная жена Жозефина-Амалия Мнишек-Потоцкая, известная художница итальянской школы, не давала мужу развода. Только в начале 1798 года она скончалась. А уже в апреле Софья Витт была обвенчана со своим долголетним возлюбленным. Уличная девочка стамбульских окраин стала обладательницей несметных богатств знаменитого польского рода.

Вигель в своих записках называет фамилию Станислава-Феликса Потоцкого-Щенского «семейством польских Атридов», не менее преступных, чем их античные прообразы. Он вспоминает по этому поводу историю семьи Борджиа, нравы которой были обычны и в Польше эпохи ее распада, во многом близкой к средневековой Италии с ее вожделениями и злодеяниями. Он называет третью жену Станислава-Феликса, т. е. Софью Витт «новой Федрой», затмившей страстью к своему красавцу-пасынку Юрию Потоцкому знаменитую героиню Эврипида и Расина.²³

По свидетельствам польских биографов Софьи Витт-Потоцкой, ее связь с пасынком не могла оставаться долго тайной для мужа. После политической трагедии 1795 года он вынужден был пережить на склоне лет страшную личную и семейную драму. В аналогичном случае герой Байрона феррарский герцог Эсте казнил свою молодую супругу Паризину Малатеста и своего побочного сына Гуго за их любовную связь (таков был подлинный случай, найденный поэтом в итальянской хронике XV века). Станислав-Феликс Потоцкий-Щенский избрал другой путь. Он уединился, предался мистицизму, подпал под влияние польских «иллюминатов» и вскоре скончался.

²² Приведем сведения о нем из наиболее авторитетного источника — «Генеалогии родов польских» Дунина-Борковского: Станислав-Феликс Потоцкий-Щенский родился в 1752 году, умер в Тульчине 14 марта 1805 года; владелец Тульчина, Браилова, Могилева на Днестре и многих других населенных мест, автор политических трактатов, ротмистр кавалерии в 1764 году, генерал-поручик в 1784, воевода русский в 1782—1791, генерал от артиллерии в 1789—1792, маршалок Тарговицкой конфедерации в 1792, генерал-аншеф русской армии в 1797, кавалер ордена белого орла; женат третьим браком на гречанке Софье Клавона, умершей 24 ноября 1822 года в Берлине (J. S. Dupin-Borkowski, Genealogie żyjących utitulowanych rodów polskich. Lwów, 1895, стр. 487, 488). Обычное начертание фамилии его третьей жены Глявонэ неправильно.

²³ Ф. Ф. Вигель. Записки, т. II, стр. 220.

«С этого момента началась сумасшедшая жизнь в Тульчине. Мачеха в объятиях пасынка была царицей в толпе шулеров и сорви-голов, стесавшихся сюда чуть ли не из целой Европы».²⁴

Юрий Потоцкий проводил дни и ночи за фараоном и, наконец, позабыл о своей страсти к мачехе. Впервые неотразимая красавица увидела себя брошенной. Она рассталась с пасынком, обеспечив ему роскошное существование в Париже, где он вскоре и скончался.

С 1810 года Софья Потоцкая вступает в последний период своей жизни и «нравственно хорошеет». Она всё более озабочена искуплением грехов, благотворительной деятельностью, воспитанием детей. Бурная жизнь, полная увлечений и приключений, отходит в прошлое. «Баядерка от рождения», она становится под старость добродетельной «матроной», старается забыть прежнюю жизнь и сохраняет преданную память только к Потемкину, которого до конца «жалела, как родного брата».

На мрачном фоне таких семейных хроник нередко выступают противоположные натуры. Так, в рядах младшего поколения Потоцких в начале XIX века росла девушка совершенно иных стремлений и запросов, которая осталась одинокой среди распущенных нравов своей семьи, подготовивших ей личную драму и трагическую судьбу. Это была Софья Станиславовна Потоцкая, которая встречалась в Петербурге с Пушкиным незадолго до его ссылки на юг и которой он посвятил свое стихотворение 1819 года «Платоническая любовь».

Она родилась в Тульчине в 1801 году. Через год в семье Потоцких появилась другая дочь — красавица Ольга (впоследствии Нарышкина), тоже ставшая одной из знакомых Пушкина по Петербургу и Одессе.

Девочки росли в юго-западных владениях Потоцких — в Тульчине, где находились два дворца их владетельного рода, и в Умани, где в честь их матери был разбит в 1793—1796 годах знаменитый сад Софиевка; часть года семья проводила в Крыму, где еще Потемкин подарил своей прекрасной гречанке большое греческое селение Массандру,²⁵ которое тянулось от хребта Яйлы до моря, охватывая площадь свыше 800 десятин. В горной части это огромное имение заключало строевые леса, в долинной были вскоре разведены виноградники тончайших французских лоз, а на обрыве над морем разбит роскошный парк с редкими тропическими растениями.²⁶ Владелица Тульчина, Умани, Могилева и многих других населенных мест на Украине, Софья Потоцкая составляла грандиозные проекты о своем южном поместье, мечтая основать здесь новый приморский город Потоцких.

Крымские владения знаменитой фамилии этим далеко не ограничивались. В Симеизе путешественники по молодой Тавриде отмечали «еще одно имение графини Потоцкой» с прекрасным парком и виноградниками; в парке «множество редких южных растений», лесные и лиственные деревья, питомники и оранжереи.²⁷ Из этих южных имений посылались для Царскосельского парка редкие экземпляры итальянских тополей.

²⁴ «Киевская старина», 1887, № 1, стр. 126.

²⁵ «Массандра, деревня, принадлежащая г-же Киселевой, урожденной гр. Потоцкой» (П. Свиньин Знакомства и встречи на южном берегу Тавриды. «Отечественные записки», 1825, ч. 24, стр. 127); см. также: Новый энциклопедический словарь, т. XXV, столб. 882.

²⁶ См.: Краткое обозрение южного берега и горной полосы Крыма. В кн.: Памятная книга Таврической губернии, вып. 1. Симферополь, 1867, стр. 46.

²⁷ Ф. Домбровский. Обозрение южного берега Крыма (Пособие для путешественников). В кн.: Новороссийский календарь на 1851 год, издаваемый от Ришельевского лицея. Одесса, 1850, стр. 368.

После смерти С. К. Потоцкой Массандра перешла к ее старшей дочери Софье Станиславовне Киселевой. Сестре ее О. С. Нарышкиной принадлежал Мисхор, а в долине Салгира недалеко от Симферополя она имела «прелестную дачу».²⁸ Сын С. К. Потоцкой от первого брака граф И. О. Витт владел в 30-х годах частью Орианды — верхней, или «малой».²⁹

Так разрешается один из важнейших вопросов нашей проблемы. Как указывали исследователи, для определения неизвестной вдохновительницы Пушкина необходимо доказать, что до рассказа ему бахчисарайской легенды она была в Крыму. Это оставалось недоказуемым в отношении Голыциной, Волконской, Кочубей, Карамзиной, Раевских и др.

Только для Софьи Потоцкой это является неопровержимым биографическим фактом. В детстве и юности она проводила ежегодно по несколько месяцев на берегу Крыма в имении, принадлежавшем ее матери еще с середины 80-х годов XVIII века. Обе девушки рано полюбили солнечный полуостров с его польскими виллами и памятниками ханской Тавриды. Старшая отличалась, по словам Пушкина, «поэтическим воображением» (VIII, 2, 1000), и легенды Крыма живо воспринимались ею, как, вероятно, и ее младшей сестрой. Столица Гиреев Бахчисарай с его дворцом и садами должна была особенно привлечь их внимание, тем более, что живописной местности и историческому городу вполне соответствовала услышанная ими здесь прелестная легенда об одной из представительниц их прославленного рода — Марии Потоцкой, пережившей беспримерную трагедию в гареме крымских повелителей. Эти именно польские девушки окрестили мемориальный водомет, призванный символически выражать скорбь безутешного Керима; они назвали его «фонтаном слез», т. е. создали образ, увековеченный в русской поэзии Пушкиным. Этих юных мечтательниц он и имеет в виду, воздавая хвалу ранним посетительницам Бахчисарая, растроганным необычайной судьбой их праматери и живым памятником скорби, воздвигнутым ей:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.

(IV, 169).

Стихи эти могли относиться только к сестрам Потоцким. Софья Станиславовна гордилась своим историческим родом и чтילה его предания. Война, наука и поэзия были отличительными признаками знаменитой фамилии. Участники героических битв, ученые, поэты и публицисты, они внушали восхищение и гордость своей одаренной и смелой правнучке. Интересно ее письмо, написанное в 1845 году великому князю Михаилу Павловичу с просьбой исходатайствовать у Николая I облегчение участи ее арестованного брата — Мечислава Потоцкого. Культom великих предков и вызовом современным властителям звучит конец этого необычайного прошения:

«Этот человек носит историческое имя и принадлежит к роду, члены которого грядятся этим именем. Я заявляю это Вам, князь, ибо не умею скрывать своих чувств. Ваше императорское высочество может считать

²⁸ Н. Сементовский. Путешественник (Южный берег Крыма). СПб., 1846, стр. 18.

²⁹ Барон А. Корф. Пребывание в Крыму. «Сын отечества и северный архив», 1834, т. XLI, № 4, стр. 256; Ю. Н. Бартенев. Жизнь в Крыму. «Русский архив», 1899, кн. III, № 8, стр. 549.

меня чересчур смелой, но оно не откажет мне в обладании духом моей семьи в высочайшей степени».³⁰

Дух семьи — это означало для нее героизм ратных подвигов и величие духовных деяний.

Вот почему идеальная душевная чистота Марии Потоцкой представлялась ей великой эпической темой, драгоценной для подлинного поэта, которому она и мечтала сообщить ее.

Вскоре он появился на ее пути — двадцатилетний юноша, вчерашний лицеист, но уже первый среди русских поэтов.

3

В зимний сезон 1818—1819 года семнадцатилетняя Софья Станиславовна впервые стала выезжать на петербургские балы. Ее красота, сочетавшая яркую солнечность эллинского типа ее матери с утонченной задумчивостью славянского облика ее родственниц по отцу, вызвала всеобщее восхищение. Пушкин, всегда ценивший, по его собственному свидетельству, законченную красоту женских лиц, не мог пройти без внимания мимо молодой Потоцкой, во вызвавшей поклонение его друга Вяземского. Девушка с поэтическим воображением и вольнолюбивой душой должна была заинтересоваться автором «Вольности», «Руслана», «Любви, надежды, тихой славы».

Мы не можем внести с календарной точностью в хронологическую канву жизни Пушкина дату того дня или вечера, когда Софья Потоцкая рассказала ему свою любимую крымскую легенду. Но факты творческой истории «Бахчисарайского фонтана» не оставляют сомнений, что в 1818—1819 годах между ними происходила такая беседа, отметившая важную веху в литературной летописи поэта.

Несмотря на сильное впечатление Пушкина от этого «предания любви», он еще не был готов к его воплощению. Он только высоко оценил его драматизм и неизгладимо запечатлел его образы в своей творческой памяти. Это вызвало и новое отношение к даровитой девушке, плененной западно-восточной легендой с ее преданиями католической Польши и мусульманского Крыма. Вместе с прелестным замыслом возникло и важнейшее событие его душевной жизни.

Пушкин назвал свою петербургскую любовь «отверженной». Это обращает нас к внутренней биографии Софьи Потоцкой на исходе ее юности.

С 1817 года в их доме постоянно бывает один из самых блестящих молодых представителей гвардии — Павел Дмитриевич Киселев. Ему еще не было тридцати лет, но он уже прожил блестящую молодость. Служа в кавалергардском полку, он участвовал в прусской кампании 1807 года, сражался в 1812 году под Смоленском и Бородиным, был адъютантом Милорадовича и прошел путь до Парижа. В 1814 году Александр I назначил его своим флигель-адъютантом и взял в свою свиту на Венский конгресс. В 1817 году он был произведен в генералы, а в 1819 году назначен начальником штаба второй армии.

Выходец из высшего московского общества, он знал с детства Карамзина и Дмитриева, был другом Вяземского, Михаила Орлова, Дениса

³⁰ Прощение С. С. Киселевой на имя великого князя Михаила Павловича от 1 сентября 1845 года. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 129, к. 13, № 25. Оригинал на французском языке.

Давыдова, Александра Тургенева, Сергея Волконского. По позднейшим сообщениям его сослуживцев и товарищей, это был выдающийся представитель своего замечательного поколения. Он отличался живостью своих черных глаз и властью над умами, свидетельствуют современники. «С прекрасною наружностью он соединяет светское обхождение». У него «речь ясная и точная, иногда пылкая и увлекательная... Он горд, честолюбив, нетерпелив, жив и страстен».³¹ «Он баловень дам, самый любимый, самый модный гость между всеми нашими вельможами».³²

В обществе он оказывал особое внимание Софье Станиславовне Потоцкой. Не удивительно, что девушка полюбила его сильно и горячо. Ни о каком другом чувстве не могло быть и речи. Горячие жалобы «Платонической любви» Пушкина, как, вероятно, и аналогичные устные признания ее автора, не могли найти ни ответа, ни отзвука. Любовь поэта осталась неразделенной.

В апреле 1821 года Софья Потоцкая была объявлена невестой Павла Дмитриевича Киселева. Жених извещает об этом императора, который в ответном письме с Лайбахского конгресса выражает ему свои лучшие пожелания и просит передать свои поздравления «à la belle comtesse Sophie».³³ 25 августа 1821 года состоялось в Одессе бракосочетание Софьи Потоцкой и П. Д. Киселева при свидетелях градоначальнике графе А. Ф. Ланжероне и генерал-майоре Михаиле Орлове.³⁴

Софья Станиславовна Потоцкая отличалась выдающимся умом, независимостью убеждений, художественной фантазией и патриотическими идеалами. В ней таился целый «пожар поэзии», по выражению Вяземского.³⁵ Для нее уже в молодости были характерны «возвышенность души и принципов» (как писал в 1829 году П. Д. Киселев)³⁶ — черты, которые внушили ему «доверие и привязанность» к ней.

Письма Софьи Станиславовны к жениху и мужу в начале 20-х годов свидетельствуют о живости мысли, богатстве впечатлений, искренности и непосредственности ее эпистолярного стиля. Она не позирует, не приукрашивает себя, не претендует на изящество и блеск, напротив — она откровенна и прямодушна. В этом чувствуется своеобразная человеческая одаренность, быть может, именно потому, что здесь не ощущается никакого стремления к позе и фразе. Между тем она любит книги, интересуется отвлеченными вопросами, читает мемуары знаменитых деятелей, основательно знакомится с Вольтером. Сквозь сообщения о личной жизни и семейном быте ощущается серьезная умственная заинтересованность в духовных проблемах вместе с культурным складом утонченного характера и поэтичность души. Не случайно ее биография переплетается с именами поэтов — Вяземского, Пушкина, Мицкевича. Декабрист Н. В. Басаргин, адъютант ее мужа и завсегдашней в их доме, писал, что «супруга Киселева,

³¹ Из записок генерала Левенштерна, находившегося при Киселеве в Дунайских княжествах. В кн.: А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. III. СПб., 1882, стр. 426.

³² Из записок М. А. Корфа. В кн.: А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. III, стр. 427.

³³ А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. IV. СПб., 1882, стр. 16.

³⁴ Венчальный обряд совершался дважды — в лагере близ города и в городском костеле (см.: Метрическое свидетельство на русском языке и matrimonialный акт на латинском. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 129, к. 4, № 15).

³⁵ Остафьевский архив, т. I, стр. 338.

³⁶ А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. III, стр. 435.

Софья, была олицетворенная доброта, очень умна, веселого, открытого характера, но с тем вместе неимоверно рассеяна и не обращала внимания ни на какие светские условия».³⁷

Это ценное свидетельство. Пренебрежение к чопорным регламентам великосветского круга свидетельствовало в то время о вольнолюбивости натуры. Молодая Потоцкая открыто пренебрегала уставами и предрассудками петербургских салонов. Вращаясь в мире официальных властей и сил, она выступала защитницей несправедливо гонимых.

П. А. Вяземский рассказывает о своем друге Александре Тургеневе, известном заступнике всех обездоленных: «Помню, как за обедом у графини Потоцкой живо схватился он с гр. Милорадовичем, бывшим тогда с.-петербургским военным генерал-губернатором, и упрекал его за нерасположение к одному из чиновников, при нем служивших... Милорадович оправдывался, как мог и как умел; многочисленные гости за столом в молчании и с удивлением присутствовали при этой тяжелой распре. Правда, что Тургенев, как ловкий военачальник, призвал в союзницы себе двух красавиц-дочерей хозяйки, и победа осталась за ним».³⁸

Очевидно, Софья Потоцкая, как старшая и наиболее одаренная из сестер, и выступила в благородной роли заступницы маленького человека, оказав, быть может, благотворное воздействие на всю его судьбу.

В духе таких передовых воззрений рано сказывается в письмах этой девушки-аристократки ее неожиданная приверженность к национально-освободительному движению в мировой политике. Весьма показательны в этом отношении ее письма из Одессы весной 1821 года об отзвуках греческого восстания в южнорусском городе. Они как бы перекликаются с известным кишиневским письмом Пушкина в марте 1821 года о событиях в Греции, в котором описано и одесское возбуждение соотечественников Ипсиланти.

Такие черты натуры заметно выделяли независимую и смелую девушку в кругу ее «верноподданных» подруг, как и она, фрейлин императорского двора и невест флигель-адъютантов Александра I. Ум и вольнолюбивый характер Софьи Потоцкой усиливали ее внешнее очарование в глазах талантливых и прогрессивных деятелей молодого поколения в эпоху становления первых тайных обществ в России. Умный Киселев, как мы видели, ценил возвышенные воззрения и этические идеалы своей жены. Всё, казалось, обещало одесским новобранцам 1821 года прочное и длительное счастье. На самом деле оно оказалось хрупким и кратковременным.

Молодые поселились в Тульчине, городке Потоцких, где находилась и главная квартира, или штаб второй армии. В 1822 году скончалась в Берлине Софья Константиновна Потоцкая, поручив младшую дочь Ольгу попечению Киселевых. Девушка, по словам Басаргина, отличалась более положительным характером, чем ее старшая сестра, и, как и та, «славилась своею красотой».³⁹

Красота младшей Потоцкой в сочетании с ее практицизмом сыграла печальную роль в жизни ее сестры. В глазах генерала Киселева Ольга вскоре затмила очарование его молодой жены, и возникший роман шурина со свояченицей превратился в прочную пожизненную связь, разбившую счастье Софьи Станиславовны. В условиях быта маленького городка это не могло долго оставаться тайной, и враги Киселева вскоре воспользова-

³⁷ Н. В. Басаргин. Записки. Изд. «Огни», Пгр., 1917, стр. 23.

³⁸ П. Вяземский. Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 181.

³⁹ Н. В. Басаргин. Записки, стр. 23.

лись компрометирующими его слухами для осуществления своих жестоких интриг, угрожавших самой жизни их ненавистного начальника.

Как сообщает его биограф, «Киселев имел во 2-й армии тайных врагов, которые распускали про него сплетни, запутывая в них, между прочим, имя графини Ольги Потоцкой, сестры жены Киселева; сплетни эти доходили до Петербурга, а стало быть и до двора. Не довольствуясь этим, враги искали случая устроить скандал, который, компрометируя Павла Дмитриевича, заставил бы его удалиться из армии».⁴⁰

Случай вскоре представился. Против командира Одесского пехотного полка подполковника Ярошевицкого, человека грубого и злого, составилась заговор офицеров. По выпавшему жребью штабс-капитан Рубановский на инспекторском смотре в присутствии начальника дивизии генерал-лейтенанта Корнилова намеренно вызвал к себе резкие замечания Ярошевицкого и в ответ на них стащил его с лошади и избил до крови. Рубановский был разжалован и сослан на каторгу. Следствие обнаружило при этом неправильные действия бригадного командира генерал-майора Мордвинова, который знал о заговоре офицеров Одесского полка, но не принял никаких мер к его пресечению. Киселев удалил Мордвинова с его поста. Этим воспользовались враги начальника штаба, которые убедили отстраненного генерала потребовать сатисфакции от Киселева. Тот принял вызов, и дуэль состоялась 24 июня 1823 года в местечке Ладыжине в 40 верстах от Тульчина, на восьми шагах расстояния. Мордвинов был ранен в живот и к утру скончался. Пуля его пролетела у самого виска Киселева, не задев его.

Это событие раскрывает нам и отношение молодой Киселевой к мужу в первые годы их брака. В день дуэли, отговорившись неотложной служебной поездкой, Киселев нежно простился с женой, ни о чем не подозревавшей.

«Наступил вечер, собрались гости, загремела музыка и начались танцы, — рассказывает в своих воспоминаниях Басаргин. — Мне грустно, больно было смотреть на веселившихся и особенно на молодую его супругу, которая так горячо его любила и которая, ничего не зная, так беззаботно веселилась». Но в полночь поднялась тревога. «Подъезжая с Киселевым к Тульчину, мы встретили жену в дрожках, растрепанную и совершенно потерянную. Излишним нахожу описывать сцену свидания ее с мужем».⁴¹

1 ноября 1823 года Ольга Потоцкая обвенчалась со Львом Александровичем Нарышкиным, кузеном М. С. Воронцова; она поселилась в Одессе. В ноябре—декабре этого года у нее гостят Киселевы. Как раз в это время, осенью 1823 года, Пушкин заканчивает в Одессе «Бахчисарайский фонтан».⁴² В эти месяцы пишутся знаменитые строки, которые сам поэт называл «любовным бредом».

Пушкин с весны 1819 года стремится из Петербурга в Тульчин, а в свои южные годы посещает дважды этот дальний украинский городок. Согласно новейшим разысканиям, он был здесь в начале 1821 года, на что есть указание в записках Басаргина («В Одессе <в 1823 году> встретил я также нашего знаменитого поэта Пушкина... Я еще прежде этого имел

⁴⁰ А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. I. СПб., 1882, стр. 174.

⁴¹ Н. В. Басаргин. Записки, стр. 20, 22.

⁴² К сентябрю—ноябрю 1823 года относится окончательная отделка поэмы. 4 ноября Пушкин посылает «Бахчисарайский фонтан» Вяземскому (см.: М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, стр. 407, 414).

случай видеть его в Тульчине у Киселева»),⁴³ и, видимо, в ноябре 1822 года, на что указывал уже П. И. Бартев в работе «Пушкин в южной России». Автор новейшей статьи на эту тему Т. П. Ден объясняет это влечение поэта в Тульчин намерениями его: 1) поговорить с Киселевым об устройстве на военную службу брата Льва, 2) побеседовать с начальником штаба об арестованном Владимире Раевском, 3) попрощаться с уезжающим за границу Киселевым, 4) встретиться с К. А. Охотниковым.⁴⁴ Всё это не более как гипотезы чересчур гадательные и малоубедительные. Слишком предположительны и заключения: «Пушкин должен был хотеть видеть (!) и Пестеля и Киселева. Видел ли он их — мы не знаем» и т. д.⁴⁵

Но есть реальные факты, проливающие свет на этот эпизод южной биографии Пушкина. Тульчин был родным городом Софьи Потоцкой и владением ее родителей: здесь находились два знаменитых замка Потоцкого-Щенского, напоминавших королевские дворцы, какими мог похвастать не каждый немецкий владетельный герцог. Это была главная резиденция семьи Потоцких, откуда члены ее лишь на время выезжали в Петербург и другие места России. Это было основное место жительства Софьи Станиславовны Потоцкой, которая с лета 1821 года поселилась в нем уже как жена начальника штаба второй армии, чья главная квартира находилась в ее родном укрепленном бурге, где в польскую войну 1794 года стоял с войсками Суворов.

Киселева жила в этом историческом городке, среди ласковой украинской природы,

... там, где ранее весна
Блестит над Каменной тенистой
И над холмами Тульчина —

как вспоминает в своей политической хронике автор десятой главы «Евгения Онегина» (VI, 525). Можно быть уверенным, что его влекли сюда не хлопоты о военной карьере Льва Сергеевича и не потребность проститься перед долгой разлукой с Киселевым, которого он терпеть не мог. Их личные отношения были сдержанно неприязненны. Уже в 1819 году Пушкин пишет в послании к одному из лучших друзей Киселева Михаилу Орлову по поводу своих стремлений на военную службу:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд...

Поэт признает его прогрессивный образ мыслей и ораторский дар,

Но он придворный: обещанья
Его не стоят ничего.

(II, 1. 85).

Киселев в свою очередь не переносит Пушкина. Начальник штаба второй армии мог считать автора нозелей и «Вольности» неподходящим кандидатом в вверенные ему войска и не собирався осуществлять великосветских вежливостей, вероятно оброненных на запросы поэта.

Но это была не единственная причина вражды Пушкина к блестящему фавориту фортуны на всех поприщах жизни. В 1823 году «дуэль Киселева

⁴³ Н. В. Басаргин. Записки, стр. 24—25; см. также «Летопись» М. А. Цявловского, стр. 277—278, 758—759.

⁴⁴ Т. П. Ден. Пушкин в Тульчине. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. М.—Л., 1956, стр. 225.

⁴⁵ Там же, стр. 228.

с Мордвиновым очень занимала его, — рассказывает И. П. Липранди, — в продолжение нескольких и многих дней он ни о чем другом не говорил, выпытывая мнения других, что на чьей стороне более чести, кто оказал более самоотвержения и т. п.? Он предпочитал поступок И. Н. Мордвинова, как бригадного командира, вызвавшего лицо выше себя по службе». Липранди и кишиневский приятель Пушкина Н. С. Алексеев высказывались за Киселева, но не могли переубедить поэта. «Пушкин не переносил, как он говорил, „оскорбительной любезности временщика, для которого нет ничего священного“». ⁴⁶ Это предвещает отчасти отношение Пушкина к М. С. Воронцову, о котором он отзывался через год в сходных выражениях.

Но в феодальных замках Тульчина Пушкин имел и дружескую душу. Упоминания его имени в письмах Киселевой немногочисленны, но всегда значительны. Они свидетельствуют о симпатии и уважении. Так, в письме к мужу в Петербург от 21 марта 1827 года Софья Станиславовна сообщает о своих чтениях и просит доставить ей ряд интересующих ее книг: «*Apporte aussi les deux nouveaux romans de Walter Scott et quelques Poésies russes de Pouchkin comme par exemple le Bakchisaraiski fontan — Onéguin — sa nouvelle Tragédie et si vous le voyez dites-lui que j'apprends le russe pour lire ses vers*». ⁴⁷ Последняя фраза — чрезвычайно лестный привет поэту.

Весьма знаменательно, что список творений Пушкина здесь возглавляет «Бахчисарайский фонтан», очевидно особенно интересующий корреспондентку. Другие южные поэмы даже не упомянуты, заглавие «Евгения Онегина» дано в сокращении, титул «трагедии» и вовсе не приводится. Но поэма о Марии Потоцкой названа полностью в ее точном русском заглавии и лишь в его латинской транскрипции. Не позволительно ли видеть здесь подтверждение того, что было нам и раньше известно со слов самого Пушкина (необходимость предисловия к поэме в честь Софьи Киселевой), т. е. участие этой девушки в создании знаменитой «крымской поэмы», которая поэтому особенно и влечет ее к себе.

Следующее упоминание о Пушкине в этих письмах относится к лету 1828 года, когда уже идет турецкая война. Короткий вопрос корреспондентки полон тревоги и поистине мог бы порадовать ее тайного поклонника: «*Odessa, le 22 juin 1828. Dis moi si Pouchkin est effectivement à l'armée, comme on le disait*». ⁴⁸

⁴⁶ И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. «Русский архив», 1866, № 10, стлб. 1454.

⁴⁷ «Привези также оба новых романа Вальтера Скотта и несколько русских стихотворений Пушкина, как например „Бахчисарайский фонтан“, „Онегина“, новую его трагедию; а если увидишь его, передай ему, что я учусь русскому языку, чтоб читать его стихи» (франц.) (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 129, к. 12, № 49). Краткое изложение содержания писем С. С. Киселевой к П. Д. Киселеву содержится в статье Ю. И. Герасимовой «Архив Киселевых» в «Записках Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина» (вып. 19, М., 1957, стр. 65—68). Укажем публикации Пушкина, которые могли быть известны С. С. Киселевой в момент написания ее письма: «Бахчисарайский фонтан» вышел первым изданием в 1824 году, речь в письме могла идти только о первом издании (так как второе вышло в самом конце 1827 года); «Евгений Онегин» был к тому времени опубликован лишь двумя главами: первая вышла 18 февраля 1825 года, вторая — в октябре 1826 года; «Борис Годунов» был издан полностью лишь в 1830 году, отрывками же в 1827 и сл., но осенью 1826 года Пушкин читал свою трагедию у Веневитиновых, Дельвигов и др.

⁴⁸ «Сообщи мне, действительно ли Пушкин находится в действующей армии, как говорили здесь» (франц.) (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 129, к. 12, № 50).

Отношение Киселевой к Пушкину было, видимо, иным, чем предполагал сам поэт, которому оставались неизвестны эти явные знаки искреннего сочувствия и душевного внимания к его личности и творчеству.

Несколько позже она выказала и свое верное понимание трагической судьбы русского поэта. Когда в 1845 году был арестован и сослан брат Киселевой Мечислав Потоцкий, она самовольно приехала в Россию хлопотать о его освобождении, но была выслана за свои известные выступления против петербургских властей и за связи с революционной Польшей. Возмущенная действиями III Отделения и незаконными методами николаевского правительства, она пишет мужу о своем душевном потрясении и вспоминает по этому поводу стихи Пушкина: «Je me sens toute brisée, rompue... je ne respire plus librement, mon someil est un cochemar continuel et je pense souvent... aux vers de Pouchkin qui étouffe et qui demande à respirer l'air des bois».⁴⁹

4

Семейная жизнь Киселевых слагалась неудачно. В 1822 году у них родился сын Владимир, скончавшийся в двухлетнем возрасте. Других детей они не имели. Расхождение супругов в области их политических симпатий и убеждений не переставало углубляться. Канун 14 декабря неуклонно и остро ставил ряд важнейших общественных и государственных вопросов, разводящих близких людей в противоположные стороны. Супруги Киселевы не находили общих путей в напряженной атмосфере последних лет царствования Александра I. Это вносило всё большее охлаждение в их личные отношения.

Тульчин был центром южного декабризма. При штабе Киселева, в руководимой им армии служили виднейшие из деятелей движения — П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, С. Г. Волконский и менее известные — И. Г. Бурцев, Н. В. Басаргин, А. П. Юшневский. Из таких культурных представителей военной молодежи составлялось общество Киселевых. Интересно свидетельство одного из этой славной плеяды — Сергея Григорьевича Волконского, который зимой 1819 года на киевских контрактах познакомился «с семейством графини Потоцкой-Тульчинской». «Я был приглашен, как и многие другие, посетить Тульчин во время обычного туда съезда на маслянице, — вспоминает он в своих записках. — Это пребывание в Тульчине ввело меня в круг людей, мыслящих и мечтавших о преобразовании политического внутреннего быта в России. Эти мечты нашли теплый отголосок и в моих чувствах и думах».⁵⁰ Волконский вступает в Союз благоденствия.

По-иному относился к оппозиции и революции Киселев. Чуждый всякого радикализма, верный слуга царизма, он был лишь противником эксцессов реакции — «аракчеевщины», но оставался несомненным консерватором с претензией на некоторый западноевропейский либеральный оттенок своей охранительной программы. Характерно его письмо к Михаилу Орлову о бесплодности народных движений: ведь французская революция привела к тирании Наполеона, ведь мятежи ведут лишь к усилению самовластия. «Оставь шайку крикунов и устреми отличные качества свои

⁴⁹ «Я чувствую себя совершенно разбитой и сломленной... Я более не дышу свободно, мой сон — непрерывный кошмар, и я часто... вспоминаю стихи Пушкина, который задыхается и стремится дохнуть воздуха лесов» (франц.) (там же, к. 13, № 20; стих из «Братьев разбойников» — «Мне душно здесь, я в лес хочу»).

⁵⁰ С. Г. Волконский. Записки. СПб., 1902, стр. 403.

на пользу общую», т. е. на государственную службу. Один намек в этом письме явно метит в поэта-вольнодумца Пушкина:

«Я знаю, что мысли мои с духом времени не сходны... что ряд пылких учеников *лицея* и громада тунейдцев московских провозгласят <меня> недостойным гасителем; другие назовут рабом власти, но я суждения их презираю и мыслей своих не переменяю».⁵¹

Следует всё же отметить, что Киселев проводил в армии передовые мероприятия — отмену телесных наказаний, повышение грамотности. Он был противником крепостного права как института, порочащего честь российской государственности и накапливающего порох для народной революции, но считал, что оно подлежит отмене лишь путем медленной правительственной реформы, прежде всего в интересах власти и дворянства.⁵²

В совершенно других направлениях развивалась мысль Софьи Станиславовны. Ее с юных лет интересовали поэты — Вяземский, Пушкин, несколько позже Мицкевич. Как польская патриотка, она не питала никакой «верноподданности» к русскому самодержавию. У нее вырабатывалось свое отношение к освободительному движению в среде молодых военных ее круга.

В тульчинской библиотеке П. Д. Киселева наряду с научными сочинениями имелись и передовые мыслители-художники и великие писатели: Плутарх и Ювенал, Рабле, Вольтер и Руссо, Вальтер Скотт и Байрон, Шатобриан и Бенжамен Констан.⁵³ Полагаем, что этим разделом домашнего книгохранилища пользовалась и владелица замка и что многие из этих знаменитых авторов поддерживали и воспитывали в ней идеи справедливости и свободы, которые ощущаются и в ее поздней биографии.

Декабрьское восстание углубило политические разногласия супругов. Оно застало Киселева на высших командных позициях. Полагают, что он не подозревал о существовании тайного общества, но этому трудно противиться: осведомленность начальника штаба армии исключает возможность такого неведения важнейших событий, происходящих в ее рядах и угрожающих государственному строю. Естественнее предположить, что он до времени молчал, как это делала и петербургская власть. Активность в этой сфере вызвали, как известно, только декабрьские события 1825 года.

Адъютант Киселева, декабрист Басаргин, возвратился из отпуска на место службы в Тульчин 27 декабря 1825 года. По пути он узнал в Москве о смерти Александра I, а в Могилеве — о восстании в Петербурге. В Бердичеве Басаргин встретился с арестованным Пестелем. Явившись к Киселеву, он услышал: «Вы принадлежите к тайному обществу... Правительству всё известно». «В гостиной, — продолжает мемуарист, — я застал одну его супругу». Киселевой уже была указана мужем ее позиция в развертывающихся важнейших событиях. «Господин Басаргин, — взволнованно сказала она, — вам хорошо известна моя симпатия к вам; итак, вам необходимо принять решение о вашей участи. Я присутствовала при всех

⁵¹ «Русская старина», 1887, № 7, стр. 233, 232.

⁵² Уже в 1816 году молодой Киселев подает Александру I записку под характерным заглавием «О постепенном уничтожении рабства в России», в которой призывает правительство приступить к немедленному освобождению крепостных в целях предупреждения крестьянских требований, «которым отказать будет уже трудно или невозможно», как это доказывает «кровью обгаренная французская революция» (А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. IV, стр. 197—198).

⁵³ Сохранившиеся каталоги библиотеки Киселева описаны в исследовании Н. М. Дружинина «Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева» (т. I. М.—Л., 1946, стр. 262—263).

объяснениях мужа с генералом Чернышевым; и я могу уверить вас, что все желающие для себя спасения должны только броситься к ногам императора и открыто признаться в своей принадлежности к тайному обществу. — „Сударыня, — отвечал я, — вы мне советуете сделать то, что противоречит моей совести и что я считаю низостью“. — „Я ожидала такого ответа от вас, — сказала она, — вы погибнете, но погибнете, как человек чести и, поверьте, мое уважение к вам только возрастет от этого“». ⁵⁴

Связь южных декабристов с польскими тайными обществами вызывала к их деятельности симпатию таких патриотов Польши, как Софья Киселева (о чем имеется ряд свидетельств в ее письмах). Отсюда углубление ее политических разногласий с мужем. Русский генерал не мог снести, чтоб его жена общалась с польскими инсургентами. «Я не создан, чтобы... в моей домашней жизни препираться о политических мнениях», — писал он в начале 30-х годов. С. С. Киселева объясняла причины своего политического настроения тем, что «она полька и забыть этого не может». ⁵⁵

Но на разрыв с мужем она всё же не хочет идти и, видимо, всячески стремится спасти их отношения. Характерен и полон драматизма документ, выданный ею мужу 20 ноября 1834 года: это — обязательство С. С. Киселевой предоставить Павлу Дмитриевичу полную свободу, если в течение двух лет не состоится их примирение. Позиция мужа непоколебима, но жена продолжает надеяться.

Ни одной из ее иллюзий не суждено сбыться. Все они разбиваются о суровый характер ее мужа. М. А. Корф (товарищ Пушкина по лицу), признававший большие государственные дарования П. Д. Киселева, отказывал ему в общечеловеческой способности к простым и добрым чувствам. В его характеристике Киселев — человек бессердечный, не способный кого-либо любить. Мозг заменяет ему сердце. Единственные пружины его деятельности — «ум, честолюбие и расчет». ⁵⁶

Это сказалось полностью в его отношениях к жене. Временные разлуки сменяются полным разрывом. Софья Станиславовна покидает Россию и поселяется навсегда за границей.

В эти годы Киселев делает блестящую государственную карьеру. В 1837 году он назначен министром государственных имуществ и приступает к реформе состояния казенных крестьян, подготавливая отмену крепостного права. ⁵⁷

В 1832 году с Киселевой встречается в Мариенбаде Александра Осиповна Смирнова-Россет, т. е. пушкинская «черноокая Россети» (III, 1, 225). В своих воспоминаниях она рассказывает: «Киселева была давнишней приятельницей моей матери. Она меня очень полюбила и поведала мне все свои горести». ⁵⁸ Разрыв с мужем она объясняла его неверностью. Некоторые сообщения старинной приятельницы Пушкина представляют интерес и для его биографии. Так, она пишет по поводу П. Д. Киселева и его

⁵⁴ Н. В. Басаргин. Записки, стр. 38, 39—40 (в подлиннике разговор по-французски).

⁵⁵ А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. III, стр. 435.

⁵⁶ Там же, стр. 428.

⁵⁷ По заключению советского историка Н. М. Дружинина, реформа Киселева охватывала многообразные прослойки великорусского крестьянства единым упорядоченным управлением с тенденциями к большей законности. Но это прогрессивное антифеодалное направление не было выражено с достаточной последовательностью и фактически закрепляло систему «государственного феодализма»: земля есть собственность казны, крестьянин остается во власти самодержавия (Н. М. Дружинин. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. I, стр. 628 и сл.).

⁵⁸ А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. Изд. «Мир», М., 1931, стр. 128.

жены: «Я была хорошо осведомлена об этой замечательной семье. Я знала от Пушкина, что у него <П. Д. Киселева> был брат, по имени Сергей, который был женат на хорошенькой барышне из Москвы, по фамилии Ушакова. Они жили на Арбате... Я не знала, что у Киселевых был еще третий брат и что от этого брата будет зависеть моя судьба».⁵⁹

В то время московская приятельница Пушкина Елизавета Николаевна Ушакова была невестой второго брата П. Д. Киселева — Сергея Дмитриевича, за которого вскоре и вышла замуж. Она была обладательницей альбома, в который Пушкин в 1829 году внес перечень имен девушек и женщин, которыми увлекался. Отметим, что в списке имеется и имя Софья. Эту запись относил к Софье Пушкиной, но полагаем, без достаточного основания и едва ли не потому, что Софья Киселева по явному недосмотру не входила в кругозор биографов Пушкина.

В начале 30-х годов разрыв Киселева с женой становится окончательным. С. С. Киселева живет в Париже, бывает в Гамбурге, Баден-Бадене, Мариенбаде, Риме, Вене, Ницце, совершает поездку в Палестину, иногда приезжает в Россию, навещает родные юго-западные поместья, бывает и в любимом Крыму (например, в августе 1846 года). Ее путешествия по столицам мира и модным курортам Европы кажутся метаниями тоскующей души, нигде не находящей себе места.

Отношений с О. С. Нарышкиной Софья Киселева не прекратила. По свидетельству А. О. Смирновой-Россет, они продолжали встречаться. Глубокую рану, нанесенную ей сестрой, Киселева стремилась простить, цenia желания Нарышкиной загладить свою вину. «Ольга поднесет вам яду и сама же будет бегать за противоядием», — говорила она Смирновой.⁶⁰

По письмам Александра Тургенева и другим свидетельствам современников мы знаем, что С. С. Киселева живо интересовалась общественной и культурной жизнью Парижа. Она следила за крупными процессами и «целые дни и ночи просиживала в Palais de Justice».⁶¹ Она знакомится с знаменитостями Франции, и в частности с Бенжаменом Констаном, которым интересовалась в молодости. Через французского посла в России барона Баранта она посылает Вяземскому сборник стихотворений Виктора Гюго «Les Crépuscules».

Основным духовным содержанием жизни Киселевой остается любовь к Польше и мечта о ее освобождении. «Перейди границу, — писал Герцен, — поляки, вопреки Дантону, взяли с собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свету».⁶² Софья Киселева в меру сил участвовала в этом движении. Величайший среди изгнанников Мицкевич бывает у этой энтузиастки польского возрождения. Брат П. Д. Киселева, Николай Дмитриевич, служивший в 30—40-е годы в русском посольстве в Париже, говорил Смирновой-Россет: «Мицкевич теперь в Париже, и мы можем его встретить у Софьи Станиславовны. У нее собирается вся польская эмиграция».⁶³

⁵⁹ Там же, стр. 129. «Третий брат» — Николай Дмитриевич Киселев (1800—1869), дипломат, занимавший видные посты в Париже, Лондоне и Риме, знакомый Пушкина, вероятно, по семье Ушаковых. В 1828 году поэт посвятил ему четверостишие «Ищи в чужом краю здоровья и свободы».

⁶⁰ А. О. Смирнова. Записки, дневник, воспоминания, письма. Изд. «Федерация», М., 1929, стр. 262.

⁶¹ Остафьевский архив, т. III, 1899, стр. 199.

⁶² А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. XI, Изд. Академии наук СССР, М., 1957, стр. 126.

⁶³ А. О. Смирнова-Россет. Автобиография, стр. 175.

Но около 1846 года происходит размежевание внутренних сил зарубежной Польши, и Киселева отходит от группы политических изгнанников, объединившихся вокруг Мицкевича и Товьянского. Когда же началось польское восстание 1863 года, Софья Станиславовна, которой шел уже седьмой десяток, собралась ехать в Краков, чтоб принять участие в происходивших событиях.

Так же сочувствует она и проявлениям национального освободительного движения в других странах. Она восторженно встречает июльскую революцию и с восхищением пишет в своих письмах из Парижа о баррикадных боях 1830 года. Воцарившийся «король-буржуа» Луи-Филипп и всё его правительство вызывают ее резкие оценки.

Личная жизнь Киселевой остается безотрадной и одинокой. Разрыв с мужем растет и углубляется, несмотря на ее неизменную преданность любимому человеку. Яркий эпизод, характеризующий верность Киселевой своему чувству, произошел уже после многих лет ее разлуки с П. Д. Киселевым. 16 мая 1846 года он получил пакет с кредитными билетами на сумму 138 996 руб. и с анонимной запиской, в которой эта сумма называлась возвращением долга. Автор в свое время якобы помешал Александру I наградить Киселева и стремится через двадцать пять лет искупить свою вину возмещением ему отнятой когда-то суммы.

Начальник III Отделения А. Ф. Орлов, как и сам адресат этой наградной грамоты, пришли к заключению, что деньги посланы Киселеву его женой, которая избрала такой тонкий способ, чтобы отблагодарить мужа за бескорыстие, какое он проявил к ней в момент их разрыва.⁶⁴ Анонимный дар политического врага выражал на самом деле благодарность именно преданной женщины.

5

1 июля 1856 года граф Киселев (получивший этот титул в 1839 году) был назначен послом в Париж. В разговоре с Александром II он, между прочим, сообщил, что считает свое семейное положение и отношение к жене несогласными с высоким званием представителя великой державы.⁶⁵ 16 июля он писал своему брату Николаю Дмитриевичу: «Одно из самых щекотливых затруднений для меня это пребывание в Париже Софьи, с ее надменным и иногда отважным характером; я опасаясь столкновений, которые, при моем официальном положении, могут быть более чем неприятны. После 25 лет разлучения всякое сближение между нами невозможно и я решительно его не хочу». Киселев поручил передать своей жене: «... всякий шум с ее стороны не по времени... если она не хочет сообразоваться с моими мнениями, я буду обязан предоставить правительству принять меры, которые мне были предложены (отказ в паспорте для пребывания ее во Франции)».⁶⁶ Отношения, как видим, настолько обострились, что Киселев не гнушается угрожать жене административной высылкой за пределы Франции.

В 1860 году она написала и собиралась публиковать во французской печати резкий политический памфлет, направленный против царского пра-

⁶⁴ См.: А. П. Заблоцкий - Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. IV, стр. 348—352.

⁶⁵ Там же, т. III, стр. 6.

⁶⁶ Там же, стр. 7—8.

вительства по поводу ссылки ее брата Мечислава Потоцкого.⁶⁷ Узнав об этом, Киселев составляет целый меморандум, протестуя против такого выступления своей бывшей жены, компрометирующей его как представителя Российской империи во Франции.

Мы приблизились к эпилогу жизни сестер Потоцких и любимого ими человека.

Ольга Нарышкина овдовела в 1846 году. Она поселилась в семье своей единственной дочери — графини Софьи Львовны Шуваловой. В конце 50-х годов Нарышкина уехала за границу, очевидно для последней встречи с П. Д. Киселевым. Она умерла в Париже 7 октября 1861 года. По свидетельству А. П. Заблоцкого-Десятовского, «граф Киселев... был очень опечален кончиною Ольги Станиславовны Нарышкиной, с которою он был в самых дружеских отношениях около 40 лет. Когда она приехала из Гейдельберга в Париж, Павел Дмитриевич посещал ее каждый день. Он был у ней за час до ее кончины, и последние обращенные к нему слова ее... долго не могли изгладиться из его памяти. Кончина эта очень расстроила графа».⁶⁸

Чувствуя свои силы подкошенными и расходясь в своих франкофильских воззрениях с Александром II и новым вице-канцлером Горчаковым, сторонниками прусской ориентации, Киселев в 1862 году подает в отставку. Он решает не возвращаться в Россию и поселяется навсегда в Париже.

В последнее десятилетие своей жизни он живет на покое, встречаясь со своим стариннейшим знакомцем по родной Москве Николаем Тургеневым, следя издалека за проведением крестьянской реформы, к участию в которой он не был призван, хотя считал себя до конца ее провозвестником и первым деятелем.

П. Д. Киселев умер 14 ноября 1872 года в возрасте восьмидесяти четырех лет. На отпевание его собралась вся парижская колония русских аристократов и несколько знаменитостей французского политического мира. Тело его погребено в Москве.

Его жена, до конца сохранявшая свое супружеское звание, несмотря на сорокалетний разрыв с мужем, скончалась 2 сентября 1875 года в Париже в своей квартире (улица Прессбурга, 1) в возрасте семидесяти четырех лет, видимо в полном одиночестве. Свидетельство о смерти Софьи Станиславовны Киселевой не называет никого из ее родственников, кроме давно скончавшейся матери.⁶⁹

Такова была эта долгая, незаметная и горестная жизнь. Она была бы забыта навсегда, если бы ее не озаряла ранняя встреча Софьи Потоцкой с Пушкиным, посвятившим ей одну из своих самых оригинальных элегий, в которой прорывается сквозь улыбчивую интонацию интимной беседы мучительная мольба поэта, вскоре прозвучавшая со всей силой в его третьей южной поэме.

Это дает нам основание пересмотреть и наново поставить вопрос об источниках «Бахчисарайского фонтана» и его затаенном автобиографическом смысле.

⁶⁷ Запись устного сообщения П. Д. Киселева, сделанная графиней Ал. Вас. Браницкой для передачи С. С. Киселевой, о недопустимости опубликования ею атипичного памфлета (Париж, 9 мая 1860 года). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 129, к. 4, № 18.

⁶⁸ А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. III, стр. 263.

⁶⁹ Extrait des actes de décès du XLI-e arrondissement de Paris, année 1875, Préfecture du Département de la Seine. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 126, к. 4, № 17.

Глава вторая

Какое же «преданье старины», связанное с «фонтаном слез», узнали «Младые девы в той стране», сестры Потоцкие, в столице ханского Крыма, притом не позже лета 1817 года, т. е. перед наступлением того петербургского трехлетия Пушкина, когда он сам услышал от одной из них эту поэтическую бль?

Таков вопрос о первоисточнике «Бахчисарайского фонтана», подлежащий нашему рассмотрению.

1

Когда вскоре после падения татарского ханства в Крым приехала одна английская путешественница, некая миледи Крэвен, она посетила столицу низложенных Гиреев и остановилась в их дворце.

«Я увидела из моих окон здание вроде часовни, вызвавшее мое любопытство, — сообщила она в своем письме из Бахчисарая 8 апреля 1786 года, — мне объяснили, что это был памятник, воздвигнутый ханом своей супруге-христианке, которую он любил так нежно, что был безутешен, потеряв ее; он поместил здесь ее гробницу, чтобы чаще видеть место, в котором были заключены эти дорогие для него останки. Я вывела отсюда заключение, что этот татарский хан обладал сердцем, достойным любви».⁷⁰

Так впервые зазвучала тема, которая через четыре десятилетия воплотится в великую лирическую поэму Пушкина.

Ученые муллы и грамотей-татары, разъяснявшие почетным посетителям хан-сарая его исторические реликвии и арабские надписи, называли и имя того мусульманского повелителя и воинствующего провозвестника ислама, который воспылал страстью к «гяурке» и возвел эту «нечестивую» в ранг своих жен.

Это был один из последних крымских ханов, которого хорошо помнили его недавние верноподданные — проводники по дворцу. Звали его Керим-Гиреем. Пушкин несомненно знал его бурную и трагическую биографию.

В 1758 году этот молодой султан был впервые описан ханским мечом. По рассказу французского посланника при крымском дворе барона Ф. Тотта, Керим-Гирей любил искусства и науки. Большой оркестр и целая труппа комедиантов с танцовщицами разнообразили по вечерам его развлечения. Он интересовался Мольером и расспрашивал о нем Тотта, охотно беседовал на философские темы. «Я должен признать дарования и ум этого правителя, — замечает французский посол, — ибо я не раз слышал его рассуждения о действиях различных климатов на человека, о злоупотреблениях свободой, но и о преимуществах ее, о принципах чести, о государственных законах и девизах — и всё это в той манере, которая оказала бы честь самому Монтескье».⁷¹ По свидетельству историка Таврии С. Сестренцевича-Богуса, хан имел познания в астрономии, физике и фортификации. Он любил роскошь и проявлял щедрость.⁷² Хвалебные надписи на карнизах золотого кабинета прославляют его за восстановление ханского дворца и обогащение города новыми водными притоками. По

⁷⁰ Milady Craven. Voyage en Crimée et à Constantinople en 1786. Londres, 1789, стр. 246—247.

⁷¹ Mémoires du baron de Tott sur les turcs et les tartares, t. II. A Amsterdam, 1785, стр. 113—114, 115—116, 133—134.

⁷² S. Siestrzencewicz de Bohusz. Histoire du royaume de la Chersonèse Taurique. Изд. 2, СПб., 1824, стр. 409—416.

разысканиям русского ориенталиста 40-х годов Ф. М. Домбровского, Керим-Гирей готовился к освобождению полуострова из-под власти Оттоманской Порты. За это он был лишен стамбульским диваном ханского престола в 1764 году и сослан на остров Родос. Война Турции с Россией освободила его из заточения. Как отличный полководец, он снова возводится на крымский престол в 1768 году. Он одерживает ряд побед, опустошает Новую Сербию и сжигает крепость св. Елизаветы. Но Оттоманская Порта продолжает опасаться хана, мечтавшего о независимости Крыма. К нему был подослан в Бендеры в 1769 году врач, политический агент валахского князя, грек Сирополь, который под видом лечения отравил «великого хана».⁷³

Этот идеализированный образ не во всем соответствовал действительности. По известному исследованию Сестренцевича, Керим-Гирей был вспыльчив, гневен и мстителен. Он вел жестокие войны. Как сообщал 7 октября 1764 года московскому правительству российский резидент при крымском дворе Никифоров, хан производил для себя строительные работы руками своих подданных, которым «ни единой аспры» за то не платил, захватывая силой рабов и невольниц, от Польской республики угрозами и вымогательством получал многие тысячи.

Драматичной была и личная жизнь этого знаменитого стратега и дипломата. Обычно романтическая биография повелителей Тавриды исчерпывалась их гаремом. Но Керим-Гирей испытал великую и печальную любовь. В свое первое ханство между 1758 и 1764 годами он полюбил пленницу своего гарема — девушку-христианку. Устные предания называют различно ее национальность — то как грузинку, то как польку. Ученые склоняются к первому свидетельству, поэты — ко второму. Как записал в 1820 году в своих путевых письмах И. М. Муравьев-Апостол, «новая Заира, силою прелестей своих, она повелевала тому, кому всё здесь повиновалось; но не долго: увял райский цвет в самое утро жизни своей, и безотрадный Керим соорудил любезной памятник сей, дабы ежедневно входить в оный и утешаться слезами над прахом незабвенной».⁷⁴

Предание и гробница неизменно привлекали внимание путешественников и археологов с конца XVIII века. Знаменитый Паллас описал нарядный мавзолей со сводом в форме купола, увенчанного золотым шаром, воздвигнутый «доблестным ханом» в память своей супруги. Паллас называет ее грузинкой.⁷⁵

Имя ее было начертано в мемориальной надписи этой «ротонды», или «тюрбе»: «Молитву за упокой души усопшей Дилары-бикечь». Это было восточное наименование. По-турецки Дилара — утешающая душу, бикечь — княжна (от бек — князь). Но это обозначение могло идти от завоевателей-татар и заменять ее настоящее польское имя; титул же, видимо, верно передавал ее подлинное звание. Пушкин называет ее «польской княжной».

Путешествовавший почти одновременно с нашим поэтом по Крыму И. М. Муравьев-Апостол записал показания ученых мулл, но прислушался и к народной молве о любви хана к его погибшей супруге. «Странно очень, — писал он в своем «Путешествии», — что все здешние жители

⁷³ Ф. Домбровский. Дворец крымских ханов в Бахчисарае. «Современник», 1849, т. XV, № 6, отд. V, стр. 21—22.

⁷⁴ И. М. Муравьев-Апостол. Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб., 1823, стр. 118; Пушкин, IV, 174.

⁷⁵ Second voyage de Pallas ou voyages entrepris dans les gouvernements méridionaux de l'Empire de Russie pendant les années 1793 et 1794 par m. le professeur Pallas, t. III. Paris, 1811, стр. 36.

непрерывно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек, все доводы мои остались бесполезными: они стоят в одном: красавица была Потоцкая».⁷⁶

Так официальной версии противостояла народная молва; свидетельство надписей опровергалось фольклором. В историю династии проникала народная легенда, имеющая свои права на существование, свое углубленное внутреннее значение и художественную красоту.

Муравьеву-Апостолу возражал Мицкевич: «Не знаем, на чем он основывает свое мнение, — писал он в примечании к своему сонету «Могила Потоцкой», — ибо утверждение его, что татарам в половине XVIII столетия не легко было бы захватить невольницу из рода Потоцких, неубедительно. Известны последние волнения казаков на Украине, когда немалое число народа было уведено и продано соседним татарам. В Польше много шляхетских семейств, носящих фамилию Потоцких, и невольница могла и не принадлежать к знаменитому роду владетелей Умани, который был менее доступен для татар и казаков».⁷⁷

У гробницы Дилары был воздвигнут по мусульманскому обычаю памятник фонтан. «Владыки Крыма и по смерти хотели у гробов своих иметь журчащую воду», — сообщает исследователь таврических древностей.⁷⁸ Источник струился и бил здесь двадцать пять лет. Но с иссякновением питавшего его горного ручья его мраморная облицовка с надписями была перенесена в 1787 году, т. е. перед самым приездом Екатерины, в маленькую аванзалу дворца и вделана в новое основание. Это и был фонтан, прославивший Бахчисарай. Он был построен в 1776 году геджры, т. е. в 1763 году. Надписи в кабинете хана и на фонтане прославляли Керим-Гирея за его дворцовое строительство и гидротехническое искусство:

«Смотри! этот увеселительный дворец, созданный великим умом хана, оправдывает мою хвалебную песнь.

«Это здание, подобно солнечному сиянию, озарило Бахчисарай...

«Окрест дворца свежие лилии, розы, гиацинты. Сад, разумно расположенный, словно изъясняется живой речью. Новая мысль эта расцвела в цветнике души Крым-Гирея...

«Его заботами открыт этот прозрачный источник вод. Видели мы Дамаск и Багдад, но нигде не встретили подобного фонтана».⁷⁹

⁷⁶ И. М. Муравьев-Апостол. Путешествие по Тавриде в 1820 году, стр. 118—119; Пушкин, IV, 175. Отметим, что первое упоминание о «польской княжне» связано с ханствованием Фетх-Гирея I, правившего Крымом в XVII веке. Этому хану досталась в подарок пленная дочь польского шляхтича, в которой исследователи предполагают прославленную в народной молве и поэзии Марию Потоцкую (см.: В. Д. Смирнов. Крымское ханство под верховенством Османской Порты до начала XVIII века. СПб., 1887, стр. 499—501). Никакого отношения к «фонтану слез», воздвигнутому в 1763 году, эта героиня, конечно, не имеет. Но примечательно отнесение преданием события к XVII веку, столь богатому польско-татарскими войнами.

⁷⁷ Адам Мицкевич, Собрание сочинений, т. I, Гослитиздат, М., 1948, стр. 490.

⁷⁸ Н. Мурзакевич. Поездка в Крым в 1836 году. «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, ч. XIII, № 3, стр. 635.

⁷⁹ Бахчисарайские арабские и турецкие надписи. «Записки Одесского общества истории и древностей», т. II, 1848, стр. 496, 493—494. (Перевод, опубликованный в 1848 году, в настоящее время во многом устарел. Мы пользовались позднейшими версиями, например, приведенными в исследовании В. Гернгросса «Ханский дворец в Бахчисарае» (СПб., 1912, стр. 3) и в книге Ф. Домбровского «Дворец крымских ханов в Бахчисарае» (Симферополь, 1863, стр. 40, 23, 24), допуская в некоторых

С первого взгляда этот памятник любви мог смутить юных зрительниц из рядов нового романтического поколения.

Это не был сноп струй, устремленный ввысь и рассыпающийся брызгами над широким бассейном. Приземистое и грузное сооружение, напоминающее камин, было вделано в стену полутемного крытого дворика, как небольшая молельня или усыпальница. Оно было сложено из простого камня и окрашено в темную краску. Но спереди этот странный монумент включал в свой мраморный фасад целую систему миниатюрных консолей, по которым из-под каменной розы тонкими струйками стекала вода на низлежащие выступы, образуя бесконечную водяную вязь и вызывая образ вечного плача. Символ неиссякающей любви возвещал своим кристалльным узором о безысходности человеческой тоски по утраченному любимому существу. Таков был этот мавзолей, носивший попеременно несколько наименований: Сельсебийль, или райский источник, фонтан слез и водомет Марии Потоцкой.

Пушкин называл его фонтаном уединенным, фонтаном печальным, даже «мрачным памятником», но в то же время и фонтаном любви и ключом отрадным, журчащим поэту свою таинственную быль.

О чем же поведал певцу «Руслана» этот живой мемориал Гиревой скорби?

2

«Предание, известное в Крыму и поныне, служит основанием поэме, — писал в 1823 году Вяземский, несомненно услышавший крымскую легенду, как и сам Пушкин, от Софьи Киселевой. — Рассказывают, что хан Керим Гирей похитил красавицу Потоцкую и содержал ее в Бахчисарайском гареме; полагают даже, что он был обвенчан с нею».⁸⁰

Из известного рассказа Пушкина явствует, что Потоцкая сообщила ему и окончание легенды — о гибели героини и об отчаянии ее супруга, который «в память горестной Марии Воздвигнул мраморный фонтан, В углу дворца уединенный» (IV, 169).

Этот уникальный памятник с его необычайным устройством и аллегорическим смыслом был описан Софьей Потоцкой друзьям-поэтам — Пушкину, Вяземскому, Мицкевичу.⁸¹ Она называла его «источником слез». Начало поэмы Пушкина (влюбленность хана в польскую пленницу) и финал драмы (смерть Марии, в память которой был сооружен мавзолей из горных вод) соответствуют рассказу девушки. «Как бы то ни было, сие предание есть достояние поэзии. . . — продолжает Вяземский, — и наш поэт очень хорошо сделал, присвоив поэзии бахчисарайское предание и обогатив его правдоподобными вымыслами».⁸²

случаях незначительные стилистические варианты). Статья анонимная, но в начале ее указано, что переводы надписей были выполнены переводчиком восточных языков А. А. Борзенко и одобрены в 1842 году «старейшиной русских ориенталистов» академиком Х. Д. Френом. Большое количество надписей дополнительно было переведено востоковедами Ф. М. Домбровским и А. Ф. Негри и приготовлено к печати профессором восточных языков при Ришельевском лицее В. Н. Кузьминым. Это ценный труд, положивший начало филологическому изучению поэмы Пушкина. Надписи о Кериме сочинены «на изысканном литературном турецком языке (фарси) в стихах, где турецкие слова и фразы пересыпаны множеством арабских и персидских слов» (Ф. Домбровский. Дворец крымских ханов в Бахчисарае, 1863, стр. 39).

⁸⁰ П. А. Вяземский. Разговор между издателем и классиком. В кн.: А. Пушкин и н. Бахчисарайский фонтан. М., 1824, стр. XIII.

⁸¹ Мицкевич познакомился с С. С. Киселевой в Одессе в 1825 году у ее сестры О. С. Нарышкиной.

⁸² П. А. Вяземский. Разговор между издателем и классиком. В кн.: А. Пушкин и н. Бахчисарайский фонтан, стр. XIV.

Таков был первоисточник поэмы, зарождение «Бахчисарайского фонтана», момент переключения народного сказания в новое искусство лиро-эпического повествования. Но это произошло не сразу и потребовало для своего завершения нескольких лет. В первый же момент Пушкин был глубоко взволнован этим преданием о любви и смерти:

Мне стало грустно, пылкий ум
 Был омрачен невольной думой,
 Но скоро пылких оргий шум
 [Развеселил мой сон] угрюмый...

*

О возраст ранний и живой,
 Как быстро легкой чередой
 Тогда сменялись впечатленья:
 Восторги — [тихою] тоской,
 Печаль — порывом упоенья!

(IV, 401—402).

Но не ликование пиршеств и не вихрь сменяющихся впечатлений мешали Пушкину взяться в 1818 году за разработку поэмы. Ему мешало другое: отсутствие цельного душевного опыта для творческой разработки такой темы и незнание с верным жанровым ключом для ее поэтического оформления. Возникшее чувство к Софье Потоцкой еще не развернулось и не завершило цикла своего драматического развития. Работа над «Русланом и Людмилой» еще ограничивала понимание жанра поэмы традиционными законами ариостовой эпопеи или вольтеровой сатиры, совмещавших «достоинство» и «шутливость», великодушное и забавное.

Но пройдет всего год или два, и эта стадия его внутреннего роста сменится другой. Любовь его станет «отверженной и вечной», вынужденная разлука оборвет личные отношения или же сделает их случайными и редкими, обручение и замужество героини закроет все перспективы и убьет последние надежды.

Одновременно в творческой эволюции поэта произойдет глубокий кризис. Летом 1820 года он прочтет на Кавказе с Николаем Раевским «Чайльд-Гарольда», а в Крыму в обществе его сестер — ряд других поэм Байрона — «Корсара», «Гяура», «Абидосскую невесту», «Осаду Коринфа», «Лару», «Шильонского узника», «Паризину» и «Мазепу». Это и вызовет целый переворот в его мировоззрении, поэтике и творчестве. Байрон окажется таким же событием этого памятного лета, как Эльбрус и Черное море.

Новейшая короткая трагическая поэма о страсти и смерти, о гибели героини и отчаянии героя, о могучей, всепобеждающей силе любви открывает неведомые горизонты. Пушкин говорил впоследствии Мицкевичу, что, прочитав «Корсара», он стал поэтом. Байроническая повесть обращала от нескончаемой цепи приключений к сосредоточенной внутренней драме. Трагический фрагмент о душевном взрыве был целым откровением для выученика классицистов с их планомерной и расчисленной поэтикой. Вековые навыки и каноны смещались и рушились. Байронизм был величайшим землетрясением в поэтическом сознании человечества. Байрон с его «преувеличенной экспрессивностью в описаниях» стремится, по словам В. М. Жирмунского, и в изображении душевных состояний «к лирической эмфазе и гиперболе». «Если изображается любовь, поэт настаивает на том, что это любовь всепоглощающая, бесконечно страстная, единственная; если ненависть, то — непримиримая и губительная».⁸³

⁸³ В. Жирмунский. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы. Изд. «Academia», Л., 1924, стр. 138.

Это особенно сказалось на тех поэмах, которыми Пушкин увлекся летом 1820 года. «Корсар» — история исключительной любви Конрада к Медоре и бурной страсти Гюльнарры к самому пирату. «Гяур» — повесть о безудержном увлечении Лейлы чужеземцем и о мести ее оскорбленного мужа, погибшего в борьбе с соперником. «Абидосская невеста» — рассказ о несчастной влюбленности турецкой девушки Зюлейки в юношу Селима, которого она ошибочно считает своим братом. Но страсть к нему бурно перерастает нежность сестры и ведет к гибели обоих. Трагизм «Лары» — в таинственной вине героя перед женщиной, которую он любил высочайшей любовью, доступной лишь избранникам, но за которую его возлюбленной пришлось уплатить жизнью. Наконец, «Паризина» воссоздает фрагмент из итальянской хроники XV века о связи молодой супруги старого феррарского герцога с его побочным сыном, за что по приказу оскорбленного мужа оба любовника были обезглавлены. В поэме звучит апология могучего чувства, осужденного лицемерной моралью за его «преступность»:

И что для них весь мир вокруг
Со сменой снов, минут и мук? ..
Их вздох таит такую страсть,
Что, если б длилась без конца, —
Безумного восторга власть
Сожгла б счастливые сердца.
Что им опасность, что вина
В смятеньи сладостного сна? ⁸⁴

Так раскрывался новый тип поэмы — сжатая повесть о всепоглощающей страсти в ее неисследимых психологических глубинах и предельной словесной напряженности.

Жанр замечательно отвечал внутренней настроенности и творческим поискам Пушкина. Не удивительно, что он с таким восхищением писал о «пламенном изображении страстей» в «Гяуре», о «трогательном развитии сердца» в «Осаде Коринфа» и «Шильонском узнике», о «трагической силе» «Паризины», которую он ставил выше расиновой «Федры» по непосредственному выражению могучей силы чувств (XI, 64). В пору своей душевной драмы — «Любви таинственной, унылой» (IV, 398), Пушкин высоко оценил ведущую тему байронической поэмы — безграничную и безысходную любовь, полную бунтарства и неуклонно устремляющую судьбы героев к финальной катастрофе.

На этой основе, столь соответствующей новым духовным запросам поэта в начале 20-х годов, он и строил свои южные поэмы: в центре их — гибель влюбленной черкешенки, убийство страстной Земфиры, трагедия двух любовниц атамана (по плану «Братьев разбойников»). Но с наибольшей силой эта тема была им воплощена в «Бахчисарайском фонтане».

3

Пушкин впервые увидел источник Марии Потоцкой 7 сентября 1820 года.

В помещение главного дворцового корпуса вел внутренний дворик, или «фонтанная». Здесь были помещены два водомета с небольшими бассейнами: один — «золотой», названный так по яркой металлической окраске своих плит, другой — «фонтан слез», о котором Пушкин слышал еще в Петербурге как о символическом и легендарном памятнике одной безнадежной любви.

⁸⁴ Д. Байрон. Поэмы. Перевод Г. Шенгели, т. II. Гослитиздат, М., 1940, стр. 8.

Фонтан был испорчен, но в таком виде он наиболее оправдывал свое наименование: вода по капле сочилась и медленно скатывалась с его мраморных уступов, осененная арабскими и турецкими литерами архаических изречений:

Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет холодными слезами,
Не умолкая никогда.

(IV, 169).

Пушкин любил воспринимать источники задуманных поэм отчетливо и с исчерпывающей полнотой. Он хотел знать смысл непонятных эпитафий, иссеченных на фронтоном мавзолея. Не в них ли разгадка легенды о Марии Потоцкой, оплаканной безутешным ханом? В своем обходе дворца и кладбища поэт несомненно пользовался услугами проводников. Об этом свидетельствует его позднейшая строфа:

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальней;
Но о Марии ты молчал...

(II, 1, 343).

Вопрошать мрамор Пушкин мог только через своего путеводителя-татарина; прочесть хвалу дальней стране, т. е. Дамаску и Багдаду, поэт мог лишь в устном переводе своего ученого спутника; только от него автор «Бахчисарайского фонтана» мог узнать, что этот ханский памятник польской княжне не называет ее имени. Это была тоже утаенная любовь.

Разгадку предстояло искать дальше. Среди чертогов дворца выделялся своей роскошью «Золотой кабинет», или «Зала Совета», где происходили совещания дивана, приемы послов, аудиенции ханов. Здесь по темному фону карниза змеилась золотящимися турецкими литерами хвала Керим-Гирею, чья «звезда взошла на горизонте славы и осветила целый мир».⁸⁵ Потолок зала был покрыт вызолоченной решеткой на лаковом грунте густого красного цвета. Вокруг стен были протянуты диваны из шелковых подушек. Именно здесь, по рассказу Пушкина, «Гирей сидел, потупя взор», окруженный своим «раболопным двором» (IV, 155).

За анфиладой палат следовал ряд небольших помещений, получивших впоследствии название «комнат Марии Потоцкой». Они были тенисты и прохладны. Над камином был нарисован крест — вероятно, позднейшее украшение.⁸⁶ «В горницах было не очень светло, — описывает один из свиты Екатерины II в 1787 году, — так как стекла окон были цветные; но и когда их отворяли, солнце с трудом пробивалось сквозь многочисленные ветви розовых, лавровых, жасминовых, гранатных и апельсиновых деревьев, которые, заменяя жалюзи, обволакивали окна своей листвою».⁸⁷

Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;

⁸⁵ «Записки Одесского общества истории и древностей», т. II, 1848, стр. 496.

⁸⁶ См.: Фомбровский И. Обзорение южного берега Крыма (Пособие для путешественников). В кн.: Новороссийский календарь на 1851 год, издаваемый от Ришельевского лицея, стр. 376.

⁸⁷ Comte de Séguier. Mémoires, t. III. Paris, 1827, стр. 150.

Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И золото блещет на стенах.⁸⁸

(IV, 169).

Особенно могла интересовать Пушкина женская темница ханского дворца, где томилась в заточении Мария Потоцкая, — гарем, средоточие бесчисленных и неизвестных драм. По мемуарам, путешествиям и исследованиям было известно, что крымские властители «никогда не обременяли себя законными женами, а набирали себе по желанию грузинок и черкешенок... от которых прижитые сыновья и дочери пользовались титулами султанов и султанш». Многочисленны были здесь и девочки-подростки, не знавшие «ни слова по-татарски».⁸⁹ Грузинское происхождение Заремы, как видим, исторически достоверная черта, как и затворничество среди одалисок юной польской девушки: «...восточные жители с жадностью ищут себе в жены <славянских> пленниц... через этот женский элемент мусульманство количественно и качественно усиливалось».⁹⁰

В сентябре 1820 года по только что прочитанным ранним поэмам Байрона Пушкин почувствовал, какое огромное значение может иметь драматический быт серала для психологической и сюжетной композиции новейшей повести в стихах. «Показательно, что гарем является местом действия в „Гяуре“, „Корсаре“ и „Абидосской невесте“, причем первые две поэмы изображают трагедию гаремной пленницы (Леила, Гюльнара)».⁹¹ В этом смысле характерны «сильные страсти Заремы на ярком фоне ханского Крыма»,⁹² как и гибель обеих героинь в финале пушкинской поэмы.

Жилой корпус, предназначенный для ханских наложниц, состоял при последних Гиреях из семидесяти комнат. Но ко времени посещения дворца Пушкиным он был почти весь в развалинах. «Время сокрушило узилище», — писал И. М. Муравьев-Апостол.⁹³ От роскошного гинекея осталась лишь один маленький домик с семью покоями и воздушный стеклянный киоск с неумолчно журчащим фонтаном. Помещение гарема находилось в дальнем дворе, обнесенном со всех сторон высочайшей стеною. «Судя по этому зданию, должно думать, несчастные затворницы пользовались не слишком просторным помещением и не большим раздольем для прогулок».⁹⁴ Из этих скудных остатков мрачного «памятника невольничества» предстояло воображению поэта реконструировать «заветную обитель» жен, «где бич народов... В роскошной лени утопал» (IV, 169).

Одним из драгоценнейших памятников татарского Крыма считалось ханское кладбище. Гробницы Гиреев были украшены поэтическими эпитафиями и скульптурными орнаментами. Плиты мужских гробниц венчались изваянной чалмою, женских — клобуком. И здесь, как во всем дворце, древневосточный стиль сочетается с пластическими началами итальянского

⁸⁸ «Вьющиеся по стенам и колоннам виноградные ветви, при прохладе и журчании вод в знойное время, представляют роскошное убежище и негу» (Н. Мурзакевич. Поездка в Крым в 1836 году. «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, ч. XIII, № 3, стр. 633).

⁸⁹ В. Х. Кондараки. Универсальное описание Крыма, ч. X. СПб., 1875, стр. 39, 58.

⁹⁰ М. Н. Бережкова. Русские пленники и невольники в Крыму. «Труды VI археологического съезда в Одессе (1884 г.)», т. II, Одесса, 1888, стр. 362.

⁹¹ В. А. Мануйлов. «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. Л., 1937, стр. 45.

⁹² Там же.

⁹³ И. М. Муравьев-Апостол. Путешествие по Тавриде в 1820 году, стр. 114.

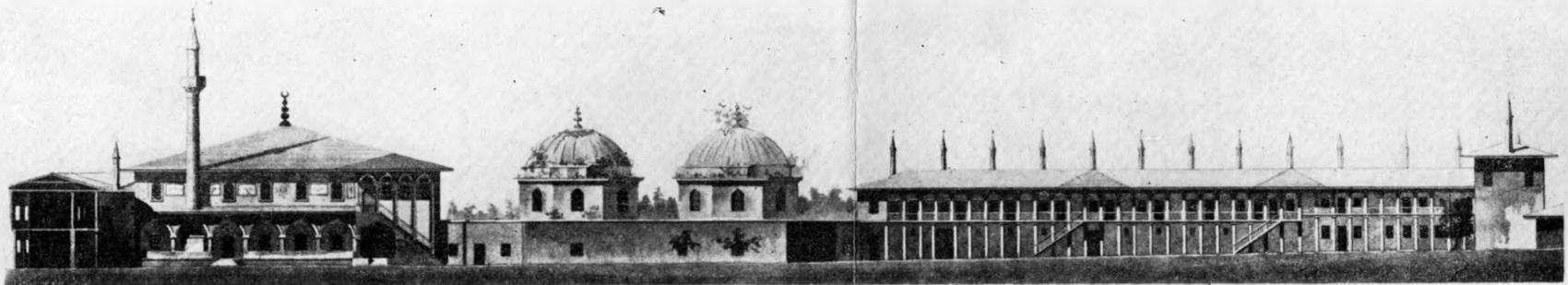
⁹⁴ Н. Мурзакевич. Поездка в Крым в 1836 году. «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, т. XIII, № 3, стр. 634.

Бахчисарайскій Дворецъ.

PALAIS DE BAKTCHISSARAY

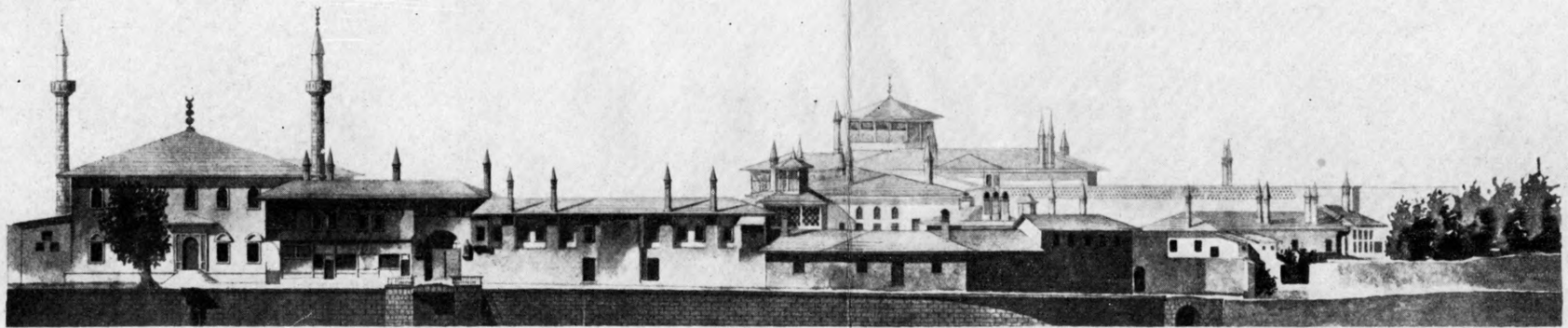
Фасадъ гробницъ, мечети и конюшни

Elevation des Tombeaux, Mosquée et Ecuries.



Передній фасадъ

Elévation Principale



Съ подлинныхъ, старинныхъ чертежей Архитектора В. Гесте. (1798).

D'APRES LES RELEVÉS ORIGINAUX DE L'ARCHITECTE WILLIAM HASTIE. (1798).

ренессанса, а кое-где и с элементами рококо. Иссеченные надписи представляли высокие образцы народной поэзии в прославлении воителей и владык, в афоризмах житейской мудрости, в элегических образах восточной фантазии.⁹⁵

Имелась надпись и на памятнике таврического повелителя, чье имя связывалось преданием с судьбой Марии Потоцкой: «Аллах всегда жив, вечен. Война была ремеслом знаменитого Крым-Гирей-Хана; глаза голубого неба не видали ему равного... Я, Эдиб (имя поэта), с молитвою написал перл его хронограммы: да царствуешь ты, Крым-Гирей, в вечности. 1183 г.» (1769).⁹⁶

Во многих эпитафиях, как и в этой, называлось имя поэта-автора. На мраморных плитах развертывалась целая антология татарской поэзии с отголосками других национальных мотивов Востока. Не приходится сомневаться, что ученые муллы, сопровождавшие в обходе хан-сарая знаменитого русского генерала с его молодыми любознательными спутниками, переводили и толковали им эти восхваления и раздумья — «Прозрачной лести ожерелья И четки мудрости золотой», — как скажет Пушкин в стихотворении 1828 года (III, 1, 129).

В поэме имеется свидетельство об интересе поэта к поэтическим эпитафиям:

Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятную молвою.

(IV, 170).

Пушкину раскрылся в этой внятной каменной молве особый мир высших художественных ценностей — искусство ритмической речи татарских поэтов в их переключке с знаменитыми лириками Персии, Индии, Аравии.

Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснойбай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.

Его рассказы расстилались,
Как эриванские ковры,
И ими ярко украшались
Гиреев ханские пиры.

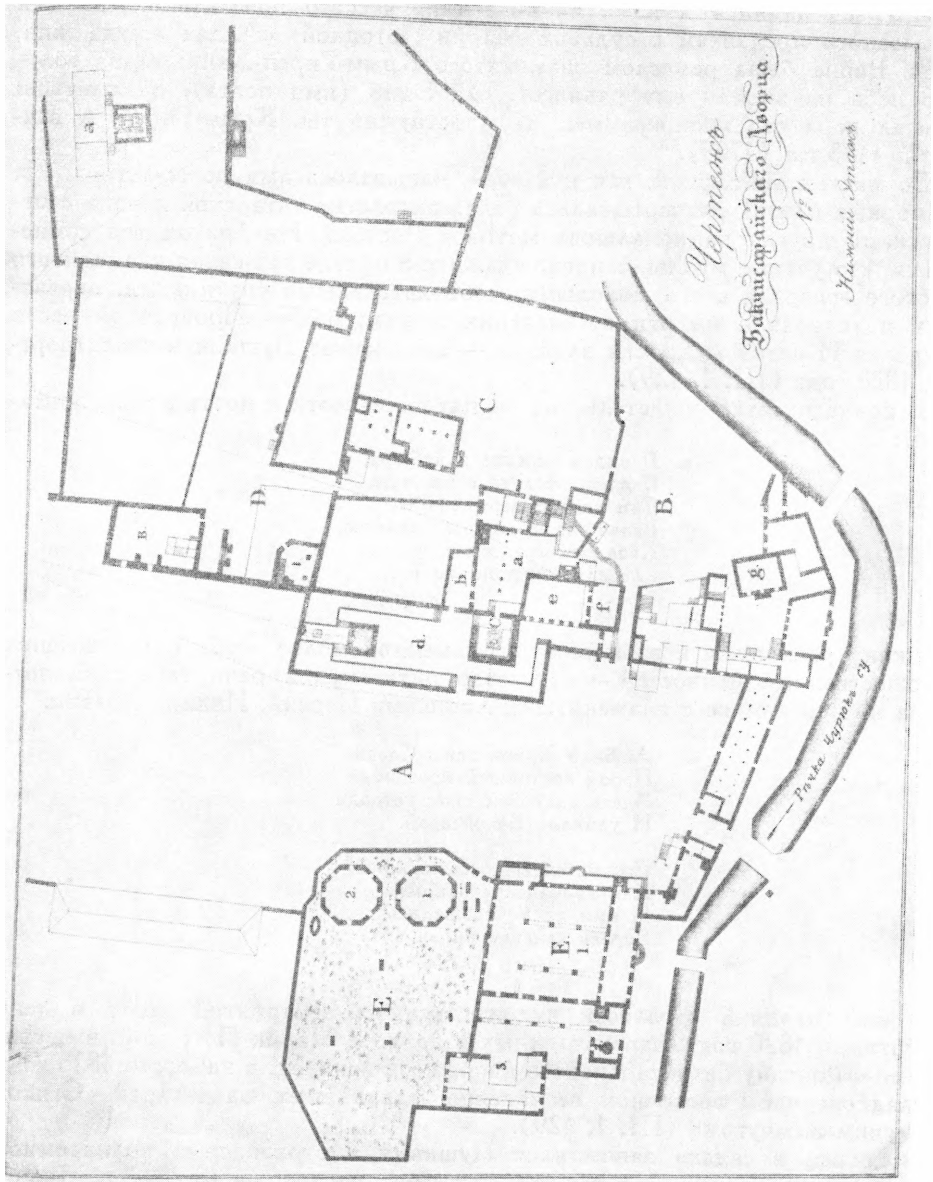
(III, 1, 129).

Это был поздний отголосок художественных восприятий поэта в день 7 сентября 1820 года, запечатленных в поэме о Марии Потоцкой, в посвящении «Фонтану бахчисарайского дворца» и, наконец, в наброске 1828 года о сладкозвучном восточном песнопевце, удивлявшем Бахчисарай «Стихов гремучим жемчугом» (III, 1, 129).

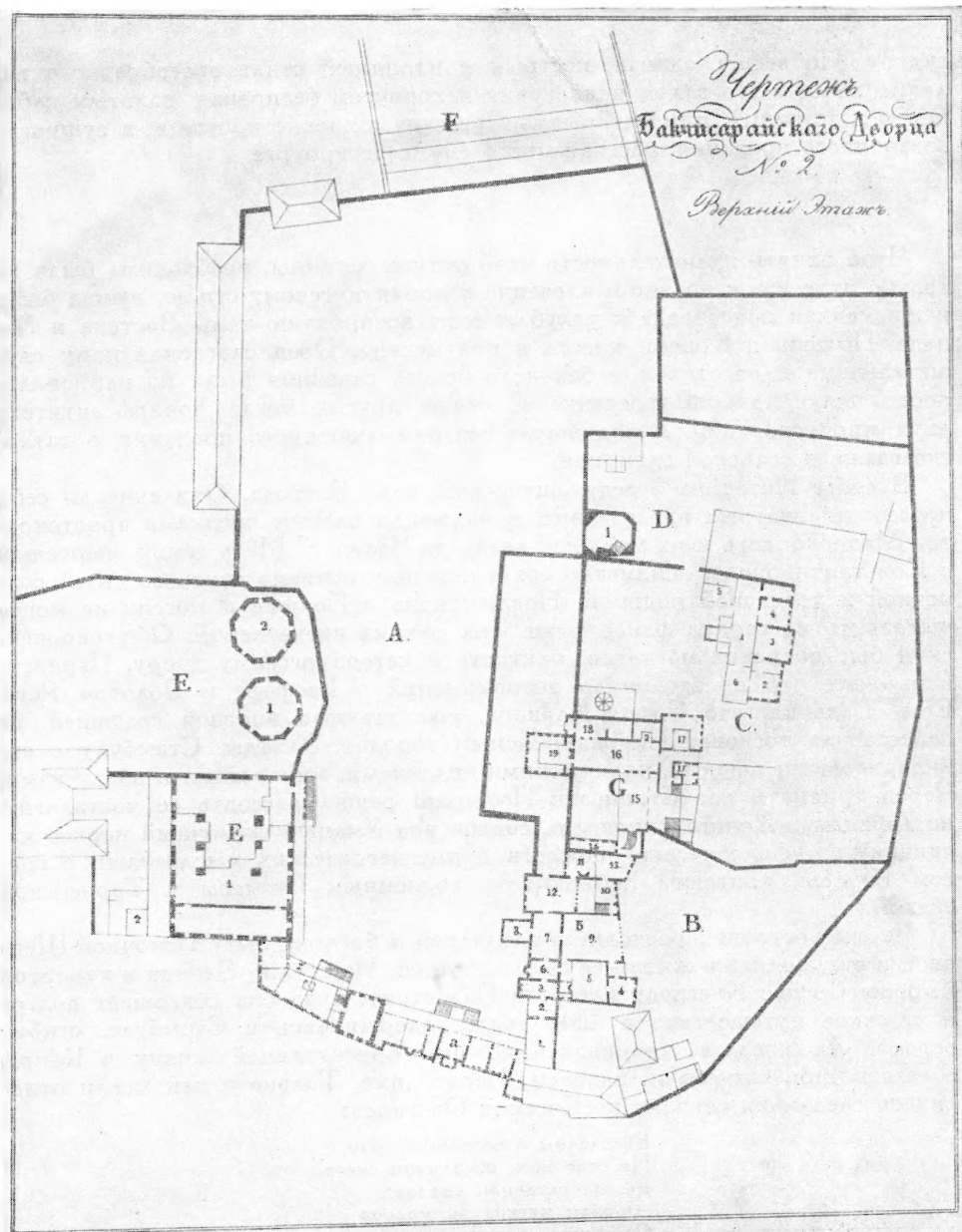
«Дворец в садах» запомнился Пушкину и отразился в полихромной живописи его поэзии. Но так же, как фонтан слез, он молчал о Марии. Только в домашней ханской мечети сохранился, как на фронте Сельсербийя, крест над двурогой луною. Это был смутный намек на драму заточенной христианки. Он не разъяснял и не иллюстрировал ее печальную

⁹⁵ См.: В. Гернгросс. Ханский дворец в Бахчисарае, стр. 22—23; Бахчисарайские арабские и турецкие надписи. «Записки Одесского общества истории и древностей», т. II, 1848, стр. 499 и сл.

⁹⁶ В. Гернгросс. Ханский дворец в Бахчисарае, стр. 23.



Чертеж Бахчисарайского дворца. № 1. Нижний этаж.
Обозначения см. следующий рисунок.



Чертеж Бахчисарайского дворца. № 2. Верхний этаж.

A — внешний двор, *B* — внутренний двор, *C* — двор гарема с домиком о шести покоях и беседкой с фонтаном, *D* — персидский двор, *E* — мечеть с кладбищем ханов, *F* — фруктовый ханский сад, *G* — главный корпус дворца: *a* — флигель и *b* — малый корпус — помещения для придворных служителей, 1 — решетчатый коридор, 2 — проходная комната, 3 — ванная, 4 — проходная в кухню, 5 — буфет, 6 — проходная в диванную, 7 — проходная в беседку, 8 — решетчатая беседка, 9 — столовый зал, 10 — гардеробная Екатерины II, 11 — опочивальня, 12 — уборная, 13 — прихожая, 14 — ложа за решеткой, 15 — комната при лестнице, 16 — цареградский коридор, 17 — ханская опочивальня, 18 — маленькая диванная, 19 — золотая диванная. (Составлено по статье Н. Мурзакевича «Поездка в Крым в 1836 году» — «Журнал Министерства народного просвещения», 1837, № 3, стр. 631—636).

судьбу. Но весь сложный, пестрый и нарядный стиль своеобразного палатца ханов с его залом правосудия и корпусом бесправья, золотым кабинетом и темницей жен раскрывал Пушкину широкие просветы в сущность загадочного предания, рассказанного ему в Петербурге.

4

Чтоб понять значительность этой устной легенды, необходима была не только чуткость к поэзии и влечение к романтическому стилю, нужна была и жизненная подковка к углубленному восприятию темы Востока и Запада, Польши и Крыма, креста и полумесяца. Предполагаемая нами слушательница и рассказчица бахчисарайского сказания была по национальности полуполька-полугречанка и лучше других могла понять антитезу двух мировоззрений, породившую трагизм любовного предания о татарском хане и польской пленнице.

В семье Потоцких всегда ощущалась тема Востока. Они считали себя потомками знатных византийцев и называли своими предками аристократов Маврокордато в их младшей ветви де Челиче.⁹⁷ Мать семьи, выросшая в Константинополе, неизменно сохраняла внутреннюю связь со своей солнечной и красочной родиной. Новая жизнь в Польше и России не могла вытравить из сердца фанариотки этих ранних впечатлений. Общеевропейский быт польских магнатов, близость к петербургскому двору, Париж и Рим — всё это не заслоняло воспоминаний о Босфоре и Золотом Роге. Есть сведения, что Софья Клавона, уже ставшая знатной графиней, не переставала тосковать по живописным городам Эллады, Стамбулу с его кипарисовыми рощами, коринфскими колоннами, минаретами и обелисками. Через тридцать лет Станислав Потоцкий решил рассеять ее ностальгию по Афинам и Константинополю, создав под Уманью сказочный парк с изваяниями мифологических божеств и древнегреческих мыслителей, с гротом Венеры, критским лабиринтом, подземным Стиксом и Тарпейской скалой.⁹⁸

Черты восточной роскоши сохранялись в богатом быту Потоцкой-Щенской и ощущались в жизни ее полек-дочерей. Из столиц Запада и курортов Европы Софью Киселеву влечет в Палестину, куда она совершает долгое и сложное путешествие в 1846 году, задерживаясь в Стамбуле, огибая острова Архипелага, проникаясь поэзией ориентальной жизни в Каире, Александрии, Смирне и, наконец, Иерусалиме. Только к ней могли относиться следующие строки в «Евгении Онегине»:

Взледеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.

(VI, 18).

Крым был дорог Потоцким всем своим турецким и эллинским колоритом, восточными древностями, живыми воспоминаниями о греческой мифологии

⁹⁷ Фамилии эти, как указывают источники, были придуманы для придания безродной красавице ореола мнимой знатности.

⁹⁸ См.: Х. П. Ящуржинский. Город Умань. Краткий исторический очерк. Умань, 1913, стр. 27. По свидетельству современников, Потоцкий приказал «соорудить в парке под Уманью» каскады и водопады с великолепием, достойным садов Востока» (Th. Theurey. Guide de Sophiowka surnommé la merveille de l'Ukraine... Odessa, 1846, стр. 9; см. также: И. А. Косаревский. Государственный заповедник Софиевка. Киев, 1951, стр. 7).

и оттоманском владычестве, преданиями о Митридате и Ифигении в Тавриде.⁹⁹ Это соответствовало какой-то скрытой и явственной тональности их смешанной национальной психологии.

По-особому воспринимали они и сложную архитектуру Бахчисарайского дворца, возникшую под сильнейшим влиянием мусульманской культуры Стамбула.¹⁰⁰ Обиталище крымских Гиреев воссоздавало в целом константинопольский сераль. Фрески цареградской комнаты, или кофейной, изображали виды турецкой столицы. Всё сверкало яркими красками и ослепительными отливами драгоценных металлов. Упомянутая выше английская путешественница, попавшая в молодой русский Крым в 1786 году, леди Крэвен восхищалась убранством хан-сарая: «Я никогда не видела большего смещения цветов и такого количества разных оттенков золота и серебра».¹⁰¹ Для европейцев, посещавших Бахчисарай, он неизменно представлялся такой многогранной ориентальной драгоценностью. Так зазвучала эта тема и в поэме Пушкина:

Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!

(IV, 163).

Сады и гаремы, фонтаны и бассейны, прохлада тополей и дыхание роз, шелковые ковры и золотые арабески, мраморные чалмы и янтарные четки, поэтические эпитафии и татарские песни — вот что в своей конкретной археологичности и фольклорности отличает Пушкина от «чересчур восточного Мура», как и от более обобщенного и лаконичного в своих греко-турецких картинах Байрона. «Бахчисарайский фонтан» остается шедевром того поэтического ориентализма, который, по мнению его автора, наиболее отвечал представлениям и вкусам современного европейского читателя.

5

Только через полгода после осмотра ханского дворца Пушкин начал записывать первые стихи о нем:

Бахчи-Сарай! обитель гордых ханов,
Я посетил пустынный твой дворец...

(IV, 382).

⁹⁹ Следует отметить, что и соеди коренных польских Потоцких замечался интерес к Востоку. Видный ученый Ян Потоцкий (1761—1815) посетил в молодости Тунис, Египет, Константинополь и напечатал известную в свое время книгу «*Voyage en Turquie, en Egypte, fait en 1784*» (1788). В библиотеке Пушкина имелись его книги (на французском языке): «Путешествие по астраханским степям и по Кавказу» (1829), «Авадоро. испанский роман» (1813), «Десять дней из жизни Альфонса ван Вордена» (1814) («Пушкин и его современники», вып. IX—X, 1910, стр. 313—314). «После смерти его, — рассказывает П. А. Вяземский, — напечатан был, также на французском языке, фантастический роман его „*Les trois rendus*“... Пушкин высоко ценил этот роман, в котором яркими и верными красками выдаются своенравные вымыслы арабской поэзии и не менее своенравные нравы и быт испанские» (Сборник Русского исторического общества, т. I. СПб., 1867, стр. 205).

¹⁰⁰ Посетившая Бахчисарай в 1841 году французская путешественница Адель Омер де Гелль отметила, что узкие улицы этого города с его мечетями, лавками, кладбищами паразитично напоминают старые кварталы Константинополя. «Но особенно дворники, сады, киоски, гарем старого дворца переносят путешественника в сказочные уголки Алеппо и Багдада» (см. ее статью «*Fragment d'un voyage en Crimée*», помещенную в парижском журнале «*Revue de l'Orient*», 1844, t. V; в статье упоминается Пушкин, «российский соловей», воспевавший Бахчисарай, его дворцы и фонтаны. Сравнение Бахчисарая с Константинополем находится на стр. 229).

¹⁰¹ Milady Craven. *Voyage en Crimée*..., стр. 245—246.

Осенью 1821 года он, видимо, изучает научные источники своей темы. К самому концу этого года (или к началу 1822) редакторы относят его записку к В. Ф. Раевскому, кишиневскому приятелю: «Пришли мне, Раевский, *Histoire de Crimée*, книга не моя, и у меня ее требуют» (XIII, 36).

Речь шла об исторической монографии С. Сестренцевича-Богуша,¹⁰² которую Пушкин, вероятно, получил из библиотеки И. П. Липранди, специалиста по Турции. Это полное историческое обозрение Тавриды со времен тавров и скифов до присоединения Крыма к России. Здесь подробно излагалось ханствование Керим-Гирея (1758—1764 и 1768—1769). Имелись и общие сведения о правлении и власти ханов, их дипломатической переписке, доходах, военных силах, правосудии, семейном укладе, воспитании султанов и татарском языке.

Пушкин нашел здесь обстоятельную характеристику Керим-Гирея и ряд сведений о военных столкновениях татар с Польшей в конце XV века при Менгли-Гирее, в 1672 году при Селим-Гирее против короля Михаила Вишневецкого и великого коронного гетмана Яна Собеского. В середине XVII века Магомет-Гирей предпринял поход против казаков совместно с польской армией под командованием великого гетмана Потоцкого, но Богдан Хмельницкий принудил их к отступлению.

Примечательны были в «Истории Таврии» и личности отдельных ханов. Так, Гази-Гирей, вступивший на престол в 1704 году, славился такой красотой, резко отличавшей его от татар, что его считали сыном европейской женщины. В этом красавце-хане замечали великую благожелательность к христианским невольницам и столь широкую веротерпимость, что иезуиты с его разрешения прибыли в Крым для отправления католических служб.

Изученные Пушкиным научные и художественные источники — истории, Байрон, Хан-Сарай, восточные надписи — чрезвычайно расширили его первоначальное представление о царстве Гиреев и дали ему возможность щедро обогатить крымскую легенду. Пушкин не только простодушно подчинял «нежным законам стиха» голос любимой девушки, т. е. покорно рифмовал услышанный рассказ. Он щедро обогатил лаконичный сюжет, прибавив к нему мотив ревности, тему двух героинь, убийство прекрасной полячки ее соперницей-грузинкой и, наконец, душевную драму хана, страсть которого отказывается разделить его пленница. Пейзажи Крыма, быт гарема, лирические признания в «любви несчастной» дополняют новую, увлекательную фабулу, созданную Пушкиным.

На таком фоне неясный образ полусторического сказания приобретал живые черты поэтического характера. Польская княжна в ханском гареме — воплощение невиданной культуры человеческой личности среди мрачного угнетения и разнузданных инстинктов. Мария — это сердечная тишина, это жизнь в искусстве, любовь к мелодической музыке, к струнному рокоту арфы, это благоговейная память о готической каплице замка, где высится скульптурная гробница старого князя, жертвы татарского набега. Это католический образ Мадонны среди узорных эмблем воинствующего ислама. Это высокое моральное превосходство одинокой девушки, преображающей своим душевным строем мрачную душу «буйного татарина».

¹⁰² S. Siestrzencewicz de Bohusz. *Histoire du royaume de la Chersonèse Taurique*. Первое издание: Брауншвейг, 1800; второе — СПб., 1824. Русский перевод: История царства Херсонеса Таврийского, сочиненная Станиславом Сестренцевичем-Богушем, тт. I—II. СПб., 1806. Пушкин пользовался первым изданием.

Первоначально Пушкин назвал свою поэму «Гаремом», но его соблазнил меланхолический эпиграф из Саади Ширазского: «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече». Слова о фонтане исключали заглавие «Гарем»; Пушкин решил сберечь прелестный афоризм персидского поэта на фронтоне своей восточной поэмы и назвал ее «Бахчисарайским фонтаном».

Бурные события старинной гаремной трагедии нашли свое глубокое отражение в этой непревзойденной лирической песне. Вопреки мнению самого автора, Белинский правильно считал, что крымская поэма — значительный шаг вперед по сравнению с кавказской: «стих лучше, поэзия роскошнее, благоуханнее», основная мысль глубже и величественнее. Огромная тема перерождения жестокого завоевателя высоким чувством любви поднимает поэтическую новеллу на исключительную проблемную высоту. Дикий восточный деспот, пресыщенный наслаждениями, беспощадный в своих нашествиях и опустошениях, неожиданно склоняется перед величием этой «беззащитной красоты»:

Гирей несчастную щадит...¹⁰³

Таким глубоким истолкованием идеи «Бахчисарайского фонтана» Белинский раскрыл в этой лирической поэме предвестие позднейшего психологического романа. Высокая этическая идея здесь разворачивается на фоне борьбы двух мировоззрений и уводит в глубокую историко-философскую перспективу духовного противоборства Востока и Запада. Мария, по Белинскому, это высокая культура романтизма, покоровшая азиатское варварство. При таком прочтении становится понятным желание гениального критика написать целую книгу об этом «великом, мировом создании».¹⁰⁴

Глубине замысла соответствовало необычайное богатство формы. Читатели увидели в поэме «торжество русского языка» (свидетельствует П. В. Анненков¹⁰⁵) и были поражены неслыханной звуковой гармонией ее описаний. Как царскосельские парки и памятники в ранних строфах Пушкина, как романтический замок Баженова в оде «Вольность», садовый дворец крымских ханов запечатлелся в «Бахчисарайском фонтане»:

Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.

(IV, 169).

Словесная живопись Пушкина открывала новые горизонты русской поэтической речи. Необычайно обогащались сравнения («Так аравийские цветы Живут за стеклами теплицы»; «Как пальма, смятая грозой, Поникла юной головою»; «Так плачет мать во дни печали О сыне, падшем на войне»; IV, 156, 159, 169). Высшую выразительность приобретали эпитеты («сладкозвучные фонтаны», «едкие года», «зеленеющая влага», «козьи Генуи лукавой»). Стих получал широкую и ласкающую плавность новых лиро-эпических ритмов:

¹⁰³ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, М., 1955, стр. 378, 379.

¹⁰⁴ Там же, т. XI, 1956, стр. 473.

¹⁰⁵ П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки его произведений. СПб., 1873, стр. 97.

Покинув север наконец,
 Пирь надолго забывая,
 Я посетил Бахчисарая
 В забвеньи дремлющий дворец.
 (IV, 169).

Но и здесь, как и в первых южных повестях о военном пленнике и скончанных разбойниках, слышался мотив затворничества, темницы, заточения. По безысходной судьбе главной героини история о ней могла бы элегически называться «Бахчисарайская пленница». Непроступные стены ханского серала, столь похожие на тюремные ограды, запомнились ссыльному поэту и отбросили свою глубокую тень на узорную ткань его крымской поэмы.

6

«Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую?» — спрашивал Пушкин в письме к Дельвигу (XIII, 252).

На этот вопрос нам отвечает творческая история «Бахчисарайского фонтана». Неизъяснимая прелесть Тавриды — это прежде всего трагическая история о фонтане слез, которая была рассказана поэту любимой женщиной около 1818 года.

Изучение источников приводит к выводу, что это не могла быть двенадцатилетняя Мария Раевская, которую Пушкин узнал лишь в 1820 году; он любовался милым подростком, а с 1826 года преклонялся перед героической спутницей декабристов. Но не к ней относятся страстные выражения безумной, бурной и мучительной любви, которые отразились в южной лирике, романтических поэмах и особенно в «Бахчисарайском фонтане»:

Безумец! полно! перестань,
 Не оживляй тоски напрасной,
 Мятажным снам любви несчастной
 Заплачена тобою дань —
 Опомнись; долго ль, узник томный,
 Тебе оковы лобызать
 И в свете лирою нескромной
 Свое безумство разглашать?

(IV, 170—171).

Невозможно относить к «некрасивому подростку», к «непригожему ребенку»,¹⁰⁶ окруженному гувернантками и боннами, эти вопли безумной страсти и восхищенные возгласы о торжествующей «земной красоте». Не к русской девочке относится и ряд характерных черт западно-славянской, римско-католической, польской культуры, отличающих пушкинскую героиню.

Русской женщине Марии Волконской посвящена, как это доказано исследователями, другая эпопея Пушкина — гимн торжествующей России: «Полтава». В посвящении этой поэмы расстилается «Сибири хладная пустыня» (V, 324), поглотившая мятежников 1825 года, в кульминации прославляется великий ратный подвиг петровской армии и, наконец, в центре

¹⁰⁶ Г. Ф. Олизар, познакомившись с Марией Раевской в 1821 году, описывает ее как «непривлекательного смуглого подростка», как «непригожего ребенка» (G. Olizar. Pamiętniki. 1798—1865. Lwów, 1892, стр. 155—156), а В. И. Туманский и в 1824 году находит, что Мария «дурна собой» (Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения. Чернигов, 1891, стр. 54).

драмы — семейный разлад, столь напоминающий конфликт Раевских в 1826 году: «отец или супруг Тебе дороже?» (V, 37).

Но «Бахчисарайский фонтан» — поэма о польской деве, вдохновленная польской девой и для нее написанная. Это баллада о Потоцкой, посвященная Потоцкой. образу этой знаменитой красавицы поэт и воздвиг свой «Фонтан любви, фонтан живой» (II, 1, 343), создал свою чудесную поэму о «Любви таинственной, унылой», «Любви отверженной и вечной» (IV, 398, 399), лучшую из лирических поэм всей русской поэзии — «Бахчисарайский фонтан». Это тоже памятник безутешной любви, запись об огромном событии духовной жизни автора, высокая хвала прекрасной и гордой девушке, от которой он впервые услышал о чарующей поэзии Крыма и о красоте безнадежной любви.

У нас нет, как мы видели, оснований полагать, что молодые Раевские рассказали Пушкину несчастный роман Керим-Гирея. Напротив, всё противоречит этому. У них не было предпосылок для повышенного интереса к преданиям королевской Польши и ханской Тавриды. Принадлежавшие по древним первоисточкам своего рода к польскому гербу «Лебедь», они совершенно обрусели уже в XV веке, горячо любили Россию, проливали за нее свою кровь и открыто демонстрировали свои антипольские убеждения.

Между тем интерес к бахчисарайскому сказанию как лиро-эпической теме вызывался военно-политической историей Польши и восторженным представлением молодого поколения поверженной страны о неумирающем значении ее духовной культуры.

Немногие из петербургских приятелей Пушкина могли указать ему на эту богатую творческую тему. Бахчисарай стал знаменит лишь с 1824 года, когда появилась в печати поэма о Марии и Зареме. До этого мало кто помнил этот заштатный городок Симферопольского уезда Таврической губернии, название которого еще не звучало пленительной музыкой пушкинского заглавия. Оно еще казалось прозаическим и обыкновенным, связанным с русскими корнями своего составного восточного наименования — бахчами и сараями дальней южной окраины. Только сквозь волшебные стихи романтической поэмы оно зазвучало в своем подлинном значении и стало «дворцом среди парков», полных яворов и роз, поверий и песен.

Творческий путь к Бахчисараю лежал через родословную Потоцких. Представительница знаменитого рода воителей с татарами и турками, столь ценившая славные предания своей исторической фамилии, не могла пройти и мимо одного из самых поэтических сказаний, затерявшихся в генеалогии ее предков. Оно зазвучало для нее как хвалебная песнь в честь одной из героических женщин ее рода, одержавшей небывалую моральную победу над азиатским варварством, с которым боролись огнем и мечом ее рыцарственные предки. Она рассказала эту дивную легенду молодому русскому поэту, уже озаренному лучами восходящей славы. Пушкин ответил ей «утаенной любовью» и бессмертной поэмой.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

РАЕВСКИЕ И «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»

Выдающаяся роль семьи Раевских в жизни и творчестве Пушкина разносторонне освещена его исследователями. Многие вопросы, связанные с его литературной и личной биографией, получили удачное разрешение от пристального изучения взаимоотношений поэта с представителями младшего поколения этой замечательной русской семьи, особенно в лице Але-

ксандра, Николая и Марии Раевских. В 1911 году было опубликовано исследование П. Е. Щеголева, широко поставившее этот вопрос и развернувшее детальную аргументацию в обоснование тезиса об исключительной роли молодых Раевских в создании ряда поэм Пушкина, его лирики и «Евгения Онегина».¹⁰⁷ Многие положения автора, опиравшиеся подчас на довольно длительную традицию, были приняты наукой о Пушкине и до сих пор живут в ней. Это особенно относится к роли Марии Раевской в духовной эволюции великого поэта. Роль эта была, несомненно значительной и исключительно плодотворной. Тем не менее далеко не все положения П. Е. Щеголева оказались доказанными и убедительными. Иные из них вызвали серьезные сомнения. Так, утверждения о решающем значении М. Н. Раевской в истории «Бахчисарайского фонтана» и отнесение к ней ряда лирических признаний в «безумной» и «мучительной» любви их автора оставляли эти вопросы открытыми. Как правильно указывал В. А. Мануйлов в своей обстоятельной статье о крымской поэме, концепция П. Е. Щеголева не дала окончательного разрешения вопроса о «таврической любви» Пушкина: «Этот вопрос требует привлечения новых материалов и нового пересмотра в специальной литературе».¹⁰⁸ В плане изучения творческой истории «Бахчисарайского фонтана» мы привлекаем некоторые малообследованные документы и формулируем свои критические соображения по сложному вопросу о Пушкине и Раевских.

Кто же рассказал поэту легенду о влюбленном хане? По Щеголеву — Мария Николаевна Раевская. Укажем на факты, опровергающие эту гипотезу.

1

Мария Раевская уже потому не могла рассказывать таврического предания автору «Бахчисарайского фонтана», что в петербургские годы Пушкина ей исполнилось всего десять—двенадцать лет или по другим, менее надежным источникам — двенадцать—четырнадцать лет.¹⁰⁹ В обоих случаях она не могла сообщать молодому человеку романических историй

¹⁰⁷ Первоначально напечатано под заглавием «Из разысканий в области биографии и текста Пушкина» в издании: «Пушкин и его современники», вып. XIV, 1911, стр. 53—193; перепечатано под заглавием «„Утаенная любовь“ А. С. Пушкина» в сборнике П. Е. Щеголева «Пушкин. Очерки» (СПб., 1912, стр. 35—195) и вновь под первоначальным заглавием в сборнике П. Е. Щеголева «Из жизни и творчества Пушкина» (изд. 3, Гослитиздат, М.—Л., 1931, стр. 150—254).

¹⁰⁸ В. А. Мануйлов. «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. В кн.: В. А. Мануйлов, Н. Д. Волков, В. Богданов-Березовский. Бахчисарайский фонтан. Музыки Б. В. Асафьева. Л., 1934, стр. 13.

¹⁰⁹ Год рождения Марии Николаевны Раевской указывается в источниках различно. Олизар, познакомившийся с ней в 1821 году, называет ее «подростком» и даже «ребенком», считая, что лишь через два—три года, т. е. в 1823—1824 году, она превратилась в пленительную девушку. В это время, т. е. осенью 1824 года, она стала невестой С. Г. Волконского. Всё это позволяет считать наиболее вероятным годом ее рождения 1807 год, как это указано в «Архиве Раевских» (т. I, СПб., 1908, стр. 43) и подтверждено сыном Марии Николаевны М. С. Волконским (см.: М. Н. Волконская. Записки, стр. XI; ср. стр. 120). Во время ее путешествия на Кавказ и в Крым ей, стало быть, шел тринадцатый год, вышла же замуж она семнадцати лет (обычный в то время возраст невест). «Раевской было 17 лет, ему <Волконскому> 36», — сообщает об их свадьбе в январе 1825 года М. О. Гершензон (История молодой России. М., 1908, стр. 45), изучавший семью Раевских по неизданным семейным документам. В момент предполагаемого рассказа ею Пушкину бахчисарайской легенды, т. е. в 1817—1819 годах, возраст ее определился бы десятью—двенадцатью годами. Вариации к этим цифрам возможны лишь в пределах двух лет; имеются аргументы и в пользу 1805 года, но это ничего не меняет по существу вопроса.

о гаремных пленницах, о муках ревности, сладострастии и убийстве соперницы.¹¹⁰

Это было невозможно и потому, что семья Марии Раевской жила в те годы не в Петербурге, а в Киеве,¹¹¹ где отец ее с 1816 по 1825 год командовал одним из корпусов второй армии. Отдельные члены семьи бывали в столице, но младших детей — Марию и Софью — возили довольно редко. Возможно, что они были здесь с матерью в октябре 1818 года, когда Марии Раевской было не более двенадцати лет, что делает весьма сомнительным ее знакомство с Пушкиным и едва ли не исключает версию о сообщении ему этой девочкой сюжета для поэмы «Гарем». В 1820 году младшие дочери в Петербург с матерью не ездили, как это видно из писем генерала Раевского к старшим дочерям: «Машенька и Сонюшка» находятся с ним в Киеве или Болтышке.¹¹² Есть все основания полагать, что Пушкин познакомился с младшими дочерьми генерала Раевского только в Екатеринославе в конце мая 1820 года.

Предполагаемое сообщение Марией Николаевной сказания о «фонтане слез» Пушкину исключается и фактом ее незнакомства в то время с Бахчисараем. Первым путешествием семьи Раевских на Кавказ и в Крым была их летняя поездка 1820 года.¹¹³ До этого никто из них не мог вдохновлять

¹¹⁰ Напомним характерный эпизод из быта семьи Раевских. Когда П. В. Анненков в 1874 году сообщил в печати, что Пушкин учился английскому языку по псемам Байрона под руководством Екатерины Николаевны Раевской, последняя решительно опровергла это: по ее словам, ей было в то время двадцать три года, а Пушкину двадцать один, и это одно по тогдашним понятиям о приличии служило препятствием к такому сближению; всё дело могло состоять разве в том, что Пушкин с помощью ее брата Николая читал Байрона и когда они не понимали какого-нибудь слова, то, не имея лексикона, посылали к ней за справкой (Я. Грот. Пушкин, его лидейские товарищи и наставники. Изд. 2, СПб., 1899, стр. 52—53).

¹¹¹ См.: «Русский архив», 1866, № 7, стлб. 1115. В Киеве у Раевских бывали: Анна Петровна Керн, посетившая в ноябре 1817 года эту «бесподобную семью» (А. П. Керн. Воспоминания. Изд. «Academia», Л., 1929, стр. 55); Михаил Федорович Орлов, назначенный в 1817 году начальником штаба при корпусе Н. Н. Раевского и помолвленный в феврале 1821 года с его старшей дочерью Екатериной Николаевной (М. Гершензон. История молодой России, стр. 4, 21); предводитель дворянства Киевской губернии граф Г. Олзар, впоследствии неудачно посватавшийся к Марии Николаевне (G. O l i z a r. Pamietniki, стр. 156—162); С. Г. Волконский, посетивший семью Раевских в Киеве с 1819 года и обручившийся с М. Н. Раевской осенью 1824 года. Свадьба их состоялась в Киеве в январе 1825 года (С. Г. Волконский. Записки, стр. 402 и сл.). В январе—феврале 1821 года у генерала Раевского в Киеве гостил Пушкин (М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, стр. 275; см. также стр. 220). Тогда же Д. В. Давыдов сообщал в одном из своих киевских писем: «Николай Николаевич Раевский переменил дом и живет в прекраснейшем, подлинно барском доме. У него готовятся вечера по-прежнему, здесь множество съехалось артистов» и пр. (там же, стр. 758).

¹¹² Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, ф. 244, М. 3612, № 4). В самый момент высылки Пушкина в Екатеринославу, в мае 1820 года, Софья Алексеевна Раевская с двумя старшими дочерьми — Екатериной и Еленой — находилась в Петербурге. Отсюда Екатерина Николаевна, посылая брату Александру письмо в Киев 7 мая, сообщала: «... мама забыла послать его с Пушкиным» («Былое», 1906, № 10, стр. 302) (вероятно, конспиративное указание на высылку поэта).

¹¹³ На всем протяжении детства и отрочества своих детей генерал Раевский был поглощен военными событиями, потрясавшими Россию и Европу. Стронник боевой службы, он был участником войн с Наполеоном в 1805—1807 годах, с Швецией в 1808—1809, с Турцией в 1810—1811, с Францией в 1812—1815. В течение целого десятилетия непрерывных походов и битв он не мог развозить своих малолеток или подростков по дальним курортам или по живописным уголкам России. Без него семья не могла предпринимать таких трудных и длительных путешествий, где только знаменитому генералу предоставлялся казачья охрана, военный бриг, замок Ришелье, покои крымских ханов и пр. Всё это исключает из числа рассказчиков бахчисарайской легенды семью Раевских. Отметим, что Екатерина Николаевна Орлова, датированная в старости

Пушкина на поэму «Гарем» (первоначальное заглавие его крымской повести). Семейство Раевских впервые посетило резиденцию крымских ханов 7—8 сентября 1820 года вместе с Пушкиным (генерал и его сын Николай) и даже позже — 19 и 20 сентября 1820 года (мать с четырьмя дочерьми, в том числе и Марией);¹¹⁴ устную легенду о бахчисарайской пленнице можно было узнать только на месте, поскольку она нигде не была опубликована, а описать редкий и уникальный фонтан нельзя было заочно.

В литературе о Пушкине мелькало сообщение о том, что старик Раевский якобы владел в то время в Крыму имением. Это сведение ошибочно. Никаких поместий или дач на Таврическом полуострове генерал Раевский никогда не имел. Он был помещиком Киевской губернии, где владел имением Болтышская экономия (в просторечии — селом Болтышка),¹¹⁵ где и скончался в 1829 году. Во время путешествия по Крыму в 1820 году никаких своих владений Раевские не посещали, поскольку их и не было. Только в 1838 году Н. Н. Раевский-младший приобрел здесь имение Карасан.¹¹⁶

В своих воспоминаниях М. Н. Волконская, рассказывая о важнейших моментах своей дружбы с Пушкиным, ничего не говорит о сообщении ею поэту фабулы его знаменитой южной поэмы. К чему было скрывать этот факт, столь примечательный, столь невинный и столь лестный для нее? О южном путешествии 1820 года Волконская лично рассказывала биографу Пушкина П. И. Бартеневу, но о своем участии в истории создания «Бахчисарайского фонтана» ничего ему не сообщила.

Литера К**, которой Пушкин обозначил рассказчицу предания, не имеет ничего общего с инициалами М. Н. Раевской.¹¹⁷

Нам необходимо отвести еще один довод, на котором особенно настаивал П. Е. Щеголев, как на единственном документальном основании всей гипотезы о творческой связи Раевских с автором «Бахчисарайского фонтана».

В одном из черновиков посвящения к поэме имелись инициалы «Н. Н. Р.» и вариант: «Давно печальное преданье Ты мне поведал в первый раз» (IV, 401). Естественно отнести это к Н. Н. Раевскому.

Но всё это было густо зачеркнуто Пушкиным как нечто неверное, случайно попавшее под перо; поэма 1823 года не была посвящена Раевскому; вариант, условно приписывающий другу первое возбуждение замысла, был выдержан в тоне того преувеличенного литературного восхваления, кото-

письма своего отца к ней, кратко указывает: «Voyage de mon père Caucase Crimée». Такое путешествие было, очевидно, единственным в жизни ее отца, а потому и не требовало дальнейшего календарного уточнения.

¹¹⁴ См.: Г. В. Гераков. Продолжение путевых записок. СПб., 1830, стр. 24, 29.

¹¹⁵ Имение выделено Н. Н. Раевскому его матерью Е. Н. Давыдовой в 1805 году (см.: А. Т. Борисевич. Генерал от кавалерии Н. Н. Раевский. Историко-биографический очерк, ч. I. СПб., 1912, стр. 150—153). При служебном формуляре Н. Н. Раевского-старшего в родословной Раевских он назван помещиком Чернского, Каширского, Черкасского, Чигиринского, Устюжского и Землянского уездов; Крым в его владения не входил. Сын же его, Н. Н. Раевский-младший, владел (помимо других поместий) именьями и в Симферопольском и Ялтинском уездах Таврической губернии, приобретенными в конце 30-х годов (см.: Б. Л. Модзалевский. Род Раевских герба Лебедь. СПб., 1908, стр. 55, 72).

¹¹⁶ См.: Б. В. Томашевский. Пушкин, кн. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 484.

¹¹⁷ Попытка П. Е. Щеголева объяснить эту неожиданную букву «К» вместо «Р» желанием Пушкина отвести любопытствующих с верного пути малоубедительна. «Трудно допустить, — правильно указывал в свое время А. М. Лобода, — чтобы Пушкин в частном письме к другу умышленно выбрал инициал, не соответствующий имени своей героини: проще было бы вовсе не упоминать о нем» (Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова, т. II. СПб., 1908, стр. 107).

рое Пушкин так щедро расточал своим друзьям («гений» Дельвига, «волшебный рассказ» Кюхельбекера и пр.). Так и Николай Раевский был лестно признан вдохновителем «Бахчисарайского фонтана».

Но это воображаемое и нереальное было немедленно же отменено чувством творческой правды, столь свойственным Пушкину. Николай Раевский последовательно удалялся автором из задуманного эпилога: стих «Мой друг, я кончил свой рассказ» заменяется стихом «Он кончен, верный мой рассказ», «Исполнил я твоё желание» — строкой «Исполнил я друзей желание», «Ты мне поведал» — вариантом «Давно я слышал» и пр. (IV, 394).¹¹⁸

Восстанавливалась подлинная картина возникновения «Бахчисарайского фонтана», к которой Николай Раевский никакого отношения не имел. Утверждалась новая формулировка: «Давно, когда мне в первый раз Поведали сие преданье» и пр. (IV, 400).¹¹⁹

Как рассказчика легенды Николая Раевского отводит и прямое указание Пушкина на то, что он услышал историю Марии Потоцкой от одной «молодой женщины» (XIII, 88). Отметим кстати, что этим термином Пушкин не мог назвать двенадцатилетнюю девочку.

Нам остается решить последний вопрос многосложной проблемы о Раевских и Пушкине.

В письме к А. А. Бестужеву от 8 февраля 1824 года из Одессы поэт писал (XIII, 88):

«Радуюсь, что мой Фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно переключивал в стихи рассказ молодой женщины:

*Aux douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve».*¹²⁰

Бестужев показал это письмо Булгарину, который и перепечатал слова Пушкина о его новой поэме в своих «Литературных листках» при извещении о предстоящем выходе «Бахчисарайского фонтана» («Автор сей поэмы писал одному из своих приятелей в Петербурге» и пр.¹²¹). Пушкин был возмущен таким разглашением его интимной корреспонденции. Он даже собирался напечатать в «Вестнике Европы», что «Булгарин не был вправе пользоваться перепискою двух частных лиц, еще живых, без согласия их собственнрго» (XIII, 101).

Вскоре Бестужев допустил вторую ошибку. Он напечатал полностью в «Полярной звезде» на 1824 год стихотворение Пушкина «Редееет облаков

¹¹⁸ Черновой вариант: «К*** поэтически описал мне его и называл» (VIII, 2, 1000) — подвергся такой же быстрой и категорической отмене, подтверждая, что «здесь — несомненная литературная выдумка Пушкина», как говорит по другому поводу Б. В. Томашевский (Пушкин, кн. I, стр. 500). Б. Л. Недзельский справедливо полагает, что этот неожиданный мужской род глагольной формы в письме к Дельвигу вызван желанием поэта устранить неприятные для него толки о женщине, сообщившей ему бахчисарайскую легенду (Б. Л. Недзельский. Пушкин в Крыму. Симферополь, 1929, стр. 77).

¹¹⁹ В формулярном списке Н. Н. Раевского-младшего до 1820 года нет никаких указаний на его служебные командировки, отпуска или военные действия на Таврическом полуострове (на военной службе он находился с 10 июня 1811 года) (Б. Л. Модзалевский. Род Раевских герба Лебедь, стр. 69—72). Никаких писем членов семьи об их пребывании в Крыму за интересующий нас период в архиве Раевских не сохранилось (ср. подробные корреспонденции генерала Раевского к его старшей дочери о путешествии по Кавказу — Архив Раевских, т. I, стр. 516—525).

¹²⁰ «К нежным законам стиха я приноравливал звуки Ее милых и бесхитростных уст» (франц.).

¹²¹ «Литературные листки», 1824, ч. I, № 4, стр. 147.

летучая гряда» вопреки запрету автора публиковать последние стихи этой элегии о «деве юной», называющей своим именем «Таврическую звезду».

Это вызвало новый протест Пушкина. В письме от 29 июня 1824 года он обвиняет друга в двукратном оглашении его частных писем. Для усиления обвинения и необходимой в таком деле краткости Пушкин объединяет в одном лице двух героинь своей личной жизни — вдохновительницу «Бахчисарайского фонтана» и героиню «Таврической звезды». Рассказывать порознь о каждой, т. е. о двух случаях «влюбленности без памяти», было бы неудобно и явно ослабило бы обвинение. Совершенно по-иному звучало осуждение нескромному товарищу, дважды скомпрометировавшему его в глазах той единственной и несравненной, одной мыслью которой поэт дорожит «более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики» (XIII, 101).

Этот полемический прием дал основание комментаторам считать одним лицом «деву юную», называвшую своим именем вечернюю звезду над Гурзуфом, и «молодую женщину», рассказавшую поэту в Петербурге легенду о необычайной драме страсти и ревности в ханском гареме. Приведенные выше материалы о Раевских исключают реальность такого слияния. Это были два объекта увлечений поэта, две разные главы его интимной биографии, искусственно слитые в его полемике с Бестужевым. В жизни, как и в творчестве Пушкина, они были разъединены.

Таким образом, и после исследования П. Е. Щеголева осталось недоказанным, что Мария Николаевна Раевская до своей встречи с Пушкиным была в Бахчисарае и действительно могла сообщить ему сказание о «странном памятнике влюбленного хана» (IV, 176).

В цикл произведений, связанных с Марией Раевской, П. Е. Щеголев вносит «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», ряд мест в «Цыганах» и «Онегине», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Тавриду», замысел которой, по его словам, «вызван любовными воспоминаниями о М. Н. Раевской»,¹²² элегию «Редет облаков летучая гряда» и «Полтаву» с ее знаменитым посвящением. Другие исследователи относят к этому же циклу «Ненастный день потух...», «Не пой, красавица, при мне», «На холмах Грузии...», «Бурю» («Ты видел деву на скале...»). Сама Волконская считала, что о ней говорится в начале XXXIII строфы первой главы «Евгения Онегина» («Я помню море пред грозой») и в двух строках «Бахчисарайского фонтана»: «...ее очи Яснее дня, Темнее ночи» (так стихи неточно процитированы в ее записках).¹²³

Часть этих атрибуций следует принять. Но многие из них не обоснованы и требуют детального разбора и тщательной критики.

Начнем с показаний самой Волконской. В воспоминаниях она рассказывает о своей шаловливой игре с прибором Таганрогского залива — преследование убегающей волны и побег от наступающего прилива. «Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах... „Как я завидовал волнам“».¹²⁴

Это указание Волконской широко принято комментаторами. Между тем оно явно ошибочно. В названной строфе нет никакого описания игры девочки с морским прибором. Грациозная картинка, запечатленная Марией Николаевной в ее мемуарах и изображающая подростка в ясный день у Азовского моря, не имеет ничего общего с байронической черноморской

¹²² П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3, стр. 232.

¹²³ М. Н. Волконская. Записки, стр. 22, 24.

¹²⁴ Там же, стр. 22.

«мариной», зарисованной в XXXIII строфе «Евгения Онегина»: «море пред грозю», волны, бегущие «бурной чередю», по первоначальному варианту — «С любовью пасть к ее ногам», к ногам женщины, которая «стояла под скалами» (вариант: «над волнами»; II, 2, 762), что исключает тему бега девочки наперегонки с волнами. Так же противоречит идиллическая зарисовка Волконской и последующей распаленной картине столичных оргий и наслаждений: предельно страстное эротическое признание в мучительной жажде лобзать «милые ноги» (Марии Раевской?), как «уста младых Армид, Иль розы пламенных ланит, Иль перси, полные томленьем». К тринадцатилетней ли девочке можно отнести и завершающий возглас, полный чувственной муки:

Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!
(VI, 19).

Это относится, конечно, к женщине, страстно любимой поэтом, описанной им и в незаконченной элегии 1822 года «Таврида», откуда ряд стихов был перенесен в названную онегинскую строфу и где имелся стих: «Пью томно воздух сладострастья» (II, 1, 256).¹²⁵

Могла ли это быть Софья Станиславовна Потоцкая? Напомним: имение ее матери Массандра находилось в ближайшем соседстве с Гурзуфом, на расстоянии простой пешеходной прогулки. Август—сентябрь был временем обычного пребывания здесь владельцев крымских вилл. Нет ничего невозможного в том, что Пушкин, живя в Гурзуфе, посетил в Массандре Софью Потоцкую, с которой виделся за несколько месяцев перед тем в Петербурге, где посвятил ей любовную элегию.

Новая встреча в Крыму могла бы объяснить загадочные по своей страстности стихи «Тавриды», которые невозможно отнести ни к одной из сестер Раевских:

Холмы Тавриды, край прелестный,
Я снова посещаю вас,
Пью жадно воздух сладострастья,
Как будто слышу близкий глас
Давно затерянного счастья...

За нею по наклону гор
Я шел дорогой неизвестной,
И примечал мой робкий взор
Следы ноги ее прелестной.
Зачем не смел ее следов
Коснуться жаркими устами...
Нет, никогда среди бурных дней
Мятежной юности моей
Я не желал с таким волненьем
Лобзать уста младых Цирцей
И перси, полные томленьем.¹²⁶

¹²⁵ В известном комментарии Н. Л. Бродского к «Евгению Онегину» (М., 1950, стр. 93) XXXIII строфа первой главы романа даже иллюстрируется портретом М. Н. Волконской. Но в примечании автор бегло ссылается на критические замечания Б. Л. Недзельского в указанной его книге «Пушкин в Крыму». Приведем это место из исследования Недзельского: «... в том же самом черновике находится и другая строка: „стояла над волнами над скалой“, которая рисует крымскую обстановку и вскрывает, что в рассказе М. Раевской и в отрывке Пушкина идет речь о разных фактических событиях... Естественно является вопрос: не ошиблась ли Мария Раевская, относя к себе XXXIII строфу?» (стр. 85).

¹²⁶ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. II, Изд. Академии наук СССР, М., 1956, стр. 112—113.

Последние стихи вошли с незначительными изменениями в XXXIII строфу первой главы «Евгения Онегина». Если наша догадка верна, то и первые стихи этой онегинской строфы («Я помню море...») относились бы к Софье Потоцкой, которую Пушкин мог тогда же наблюдать у волн и скал черноморского берега. Всё это, конечно, не выходит из сферы соображений. Едва ли какие-нибудь документальные данные придут на помощь нашему предположению о возникновении «Тавриды». Но ведь гипотезы живут и действуют помимо документов и часто бывают сильнее их.

П. Е. Щеголев связывает с образом М. Н. Раевской и «Кавказского пленника». Дело в том, что поэт В. И. Туманский, который встречался с Пушкиным в Одессе, сообщал в своих письмах: «Мария <Раевская> идеал пушкинской черкешенки (собственное выражение поэта)». ¹²⁷ Под «идеалом» здесь имеется в виду прототип. Но почему же к подростку семьи Раевских нужно возводить «деву страстную» из первой южной поэмы Пушкина, чей «взгляд безумный» выражал «порыв любви», — ту, которая превыше всего ставила счастье «немых лобзаний» («Склонись главой ко мне на грудь, Свободу, родину забудь»; IV, 104)? Очевидно, никаких точек соприкосновения между героиней и ее названным «прообразом» в этом плане не было и свое высокое чувство к Раевской автор «Кавказского пленника» не изобразил в «радостных ночах» русского офицера с «девой гор».

Еще менее убедительна гипотеза П. Е. Щеголева о связи с Марией Раевской образа Заремы. Это толкование строится на двух предпосылках:

1) В. И. Туманский мог ошибиться и назвать черкешенку вместо грузинки, тогда Марию Раевскую можно признать не прототипом героини «Кавказского пленника» (что действительно никак не вяжется), а прообразом «красы гарема» в «Бахчисарайском фонтане», т. е. пламенной и преступной одалиски (что еще менее соответствует биографии прообраза);

2) сама Волконская признала обращенными к ней стихи об очах Заремы. Этого достаточно, по Щеголеву, для отождествления Марии Раевской с страстным образом ревнивой грузинки. ¹²⁸

Ответим на эти утверждения.

Туманский, как мы знаем, относился к Пушкину и его поэзии с глубочайшим уважением и предполагать ошибку в его уверенных письменных свидетельствах у нас нет никаких оснований. Можно пожалеть, что он не досказал и не разъяснил своего интересного сообщения (имел ли в виду Пушкин только внешность черкешенки? или, может быть, исключительно ее участие к страданиям пленника?), но сомневаться в достоверности самого факта (т. е. приведенных слов Пушкина), особенно для построения еще более сомнительных гипотез, никак не приходится.

Стихи же, приведенные Волконской, представляют собой лишь краткое введение художника к единому и цельному портрету совершенно иного стиля. За ними непосредственно следует четверостишие:

Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живея
Твоих язвительных лобзаний?

(IV, 159).

Казалось бы, всё это исключает безгрешное романтическое чувство, которое сам поэт называл «чистым упоением Любви», воплощением «поэзии

¹²⁷ Письма В. И. Туманского и неизданные его стихотворения, стр. 54.

¹²⁸ П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина, стр. 224.

святой». Но, по мнению Щеголева, поэт мог чувствовать уже в юной Раевской женщину «великих страстей»¹²⁹ (это в тринадцатилетней девочке!) и дать ее изображение в страстном образе преступной Заремы. Всё это едва ли нуждается в опровержении. Пушкин мог, конечно, читать Марии Николаевне эти стихи и даже применять к ней полушутя в разговоре эти лестные строки, как это широко принято в отношении своих и чужих строф, но портрет Заремы он списывал не с нее и не ей посвящал «Бахчисарайский фонтан». Поэма «вдохновений сладострастных» не могла относиться к этой чистой девушке с большими моральными запросами.

Есть, правда, сообщение Олизара: «Пушкин написал свою престельную поэму для Марии Раевской».¹³⁰ Можно ли принимать это свидетельство без проверки, как это обычно делается (в том числе и в статье П. Е. Щеголева «Утаенная любовь»)?¹³¹ Действительно ли Пушкин сообщил Олизару свою заветную творческую тайну, т. е. рассказал ему, для кого он писал «Бахчисарайский фонтан» (то, что так тщательно скрывалось им даже от ближайших друзей)?

Взаимоотношения двух поэтов — русского и польского — не дают никаких оснований для такого заключения. Их связи были внешне безупречными, но внутренне настороженными и недружелюбными. Долгое время они были скрытыми соперниками в любви к Марии Раевской. В начале 20-х годов Олизар постоянно бывает в доме генерала, сопровождает его семью в разъездах (в путешествии в Кишинев в 1821 году), становится подлинным другом молодого поколения и даже претендентом на руку третьей из дочерей — Марии. Но в решающий момент обнаруживается непреодолимая преграда к дальнейшему родственному сближению.

Молодые Раевские, духовно сформировавшиеся в годы борьбы России с Наполеоном, были горячими патриотами, как и их родители — герой знаменитых сражений, прославленный Жуковским, и жена его, внучка Ломоносова, нередко следовавшая за мужем по путям войны. Полюбивший Марию Раевскую Олизар вскоре убедился, что девушка чуждается его исключительно из-за различия их национальностей и вероисповеданий. Вскоре генерал Раевский написал Олизару, что был бы счастлив видеть его своим сыном, но что разница их религий и национальностей препятствует этому.¹³²

Олизар уединяется в своем крымском имении. Летом 1824 года он встречается в Одессе с Пушкиным, и Пушкин в своем послании к нему декларативно поддерживает точку зрения семьи Раевских.

Сложным было отношение Олизара к Пушкину. Польский поэт преклонялся перед гением певца «могучего Севера», но отвергал его позиции в польском вопросе. На посвященное ему стихотворение Пушкина Олизар ответил сильными и смелыми строками. Он восхищается человечностью поэмы «Разбойники» и верит, что «искра гения возрождает народы и переделывает минувшие столетия». Но в отличие от большинства современников Олизар считает, что лира молодого Пушкина окутана трауром и что глубокая скорбь пожирала его сердце. Польский поэт призывает своего русского собрата к душевному подъему и возрождению.¹³³

При таких отношениях Пушкин не мог открыть свое чувство к М. Н. Раевской влюбленному в нее Олизару. А сообщение о посвящении ей «Бахчисарайского фонтана» и означало бы такое признание.

¹²⁹ Там же, стр. 225.

¹³⁰ G. Olizar. Pamiętniki, стр. 173—174.

¹³¹ П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина, стр. 222—223.

¹³² См.: «Русский вестник», 1893, № 9, стр. 103.

¹³³ См.: Литературный архив, т. I. М.—Л., 1938, стр. 143—148.

Можно с уверенностью считать, что приведенное заявление Олизара выражает только его личное предположение, к тому же явно ошибочное. Тема польской героини находится в центре поэмы и определяет всё ее развитие. Никакого отношения к русской деде она не имеет.

Так же неубедительно и приурочение к Марии Раевской «Цыган». Но для этого уже потребовался силлогизм, близкий к софизму. Любовь поэта была отвергнута, пишет П. Е. Щеголев. Почему так случилось? На это отвечает старый цыган: «Кто сердцу юной девы скажет: Люби одно, не изменись» (IV, 193). Предполагается, что Раевская любила Пушкина, но изменила ему, как Земфира Алеко. Так якобы возник замысел «Цыган». Дальше произвол в гипотезах уже не может идти.

Ряд исследователей — Н. Ф. Сумцов, П. О. Морозов, Б. М. Соколов — относит к Раевской еще одну элегию «страстного» пушкинского цикла «Ненастный день потух...». Здесь имеются стихи:

...ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных,
(II, 1, 348)

т. е. по смыслу: как предавала их прежде поэту. Это, по мнению названных ученых, всё та же крымская любовь, Мария Раевская!¹³⁴ Никто из комментаторов не желает считаться с возрастом этой оклеветанной девишки.

Традиция прочно относит к Марии Раевской стихотворение «Таврическая звезда» («Редает облаков летучая гряда»). «Дева юная» называет вечернюю звезду своим именем, — каким? Исследователи доискались, что в средневековых католических гимнах планета Венера называлась «звездой девы Марии». Отсюда почти уверенность, что элегия изображает Марию Раевскую.

Это вполне возможно. Но не менее убедительно и другое толкование. Имеется древний миф о превращении в звезду Елены Спартанской. Пушкин должен был знать и известный стих Горация: «*fratres Helenae, lumina sidera*» («братья Елены, сияющие светила»). По этим соображениям «Таврическая звезда» может быть относима к Елене Раевской.¹³⁵

В стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» имеется отрывок, который правильно, как полагаем, относят к Марии Раевской:

Одна была... пред ней одной
Дышал я [чистым] упоеньем
Любви поэзии святой...
(II, 2, 843).

Далее следуют черты сияющего крымского пейзажа и образы безгрешной любви, равнодушной к «земным восторгам» и недоступной для них.

Этому выражению отрешенного и светлого чувства предшествует другой фрагмент об иной любви — тревожной и траурной. Это «сердца тяж-

¹³⁴ См.: Н. Ф. Сумцов. Исследования о Пушкине. «Харьковский университетский сборник. В память А. С. Пушкина. 1799—1899», Харьков, 1900, стр. 212; П. О. Морозов — Пушкин, Сочинения, т. III, изд. Академии наук, СПб., 1912, стр. 314—315; Б. М. Соколов. М. Н. Раевская — кн. Волконская в жизни и поэзии Пушкина. М., 1922, стр. 25—28. Отметим к чести П. Е. Щеголева, что он признал невозможным относить эту элегию к М. Н. Раевской (П. Е. Щеголев. 1) Пушкин. Очерки, стр. 206; 2) Из жизни и творчества Пушкина, стр. 262).

¹³⁵ См.: П. К. Губер. Дон-Жуанский список Пушкина. Пгр., 1923, стр. 77.

кий сон», который «Бесплодно память мучит» и нашептывает страшные признания:

[Тоской ли долгой] изнуренный,
Таил я слезы в тишине? ..
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи? ..

Слова об этом чувстве звучат

Безумца диким лепетаньем —
Там — сердце их поймет одно
И то с печальным содроганьем.

(II, 2, 842, 843).

Любви мечтательной противопоставлена любовь трагическая. Два чувства, два женских образа, «Две тени милые» (как скажет в 1828 году Пушкин; III, 2, 654). Есть в «Бахчисарайском фонтане» очень значительный, хотя совершенно незамеченный вариант:

Тебя никто не понимает —
Два сердца в мире может быть...

(IV, 399).

Сильным и важным в установлении цикла стихов, обращенных к Марии Раевской-Волконской, явилось новое прочтение П. Е. Щеголевым посвящения «Полтавы» с опубликованным им впервые стихом: «Сибири хладная пустыня». Это несомненно относило поэму к знаменитой «русской женщине», томившейся в то время в остроге под Читой.

Но именно эта прекраснейшая элегия Пушкина утверждала отрешенность и бесстрастность его духовной любви. Он обращался к женщине с «душою скромной», чуждой увлечений, оставившей без ответа его «стремленье сердца», ценившей в нем только его поэтический дар («Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало, милые тебе»; V, 17).¹³⁶

Так оно и было в действительности.

Из поздней лирики Пушкина к М. Н. Раевской следует отнести два его «кавказских» стихотворения. Н. О. Лернер и М. А. Цявловский¹³⁷ правильно относили к этой группе и знаменитый романс «Не пой, красавица, при мне». Ряд образов здесь вполне соответствует облику и судьбе Волконской, как и характеру чувства к ней Пушкина. Песни Грузии печальными напоминают поэту «Кавказа гордые вершины», «закубанские равнины» и «Черты далекой, бедной девы», которая предстает перед ним, как «призрак милый, роковой» (III, 659, 109). Таков и был стиль этой призрачной любви и порожденной ею бестелесной поэзии.

Об этом же свидетельствует последнее посвящение Пушкина Марии Николаевне — знаменитое стихотворение 1829 года «На холмах Грузии...»; в черновой редакции указывается на давность воспоминаний («сокрылось много лет») и на высшую красоту одухотворенной и безгрешной влюбленности:

¹³⁶ Интересно замечание М. Н. Волконской в ее письме из Сибири от 20 марта 1831 года: «„Борис Годунов“ вызывает наше общее восхищение: в нем раскрывается талант нашего великого поэта, достигший полной зрелости; образы очерчены с высшей энергией и силой, сцена летописца великолепна, но, признаюсь, я не нахожу в этих стихах той поэзии, которая чаровала меня когда-то, той неподражаемой гармонии, несмотря на всю силу его теперешнего творчества» (оригинал по-французски; Пушкин. Исследования и материалы, т. I. М.—Л., 1956, стр. 266).

¹³⁷ Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова, т. IV. СПб., 1910, стр. LXVIII; М. Цявловский. Два автографа Пушкина. М., 1914, стр. 8.

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
 И без надежд и без желаний,
 Как пламень жертвенный чиста моя любовь
 И нежность девственных мечтаний.¹³⁸
 (III, 2, 723).

Это выражает высшую доминанту чувства Пушкина и окончательно отводит от Марии Раевской все безумные, страстные, неистовые, «слишком человеческие» признания молодого поэта, которые не могут иметь к ней никакого отношения. А вместе с ними отпадает и приписанная ей выдающаяся роль в творческой истории «Бахчисарайского фонтана».

¹³⁸ Стихотворение «На холмах Грузии...» стало известно М. Н. Волконской в 1830 году в его краткой редакции (без приведенной нами строфы). Оно заканчивалось стихами: «И сердце вновь горит и любит — оттого, Что не любить оно не может». Приславшая Марии Николаевне это стихотворение В. Ф. Вяземская сообщила ей, что оно якобы посвящено невесте поэта — Н. Н. Гончаровой. Но Волконская, видимо, почувствовала, что эти строфы обращены к ней, и отвечала Вяземской необычным критическим замечанием: конец стихотворения напомнил ей условную концовку старинного французского мадригала, лишённого подлинного чувства и только свидетельствующего, «насколько поэт увлечен своей суженой» (оригинал по-французски; Пушкин. Исследования и материалы, т. I, стр. 262 и сл.). О тексте стихотворения и его композиции см.: С. Бонди. Новые страницы Пушкина. Изд. «Мир», М., 1931, стр. 27—28.



Т. Г. ЦЯВЛОВСКАЯ
«ВЛЮБЛЕННЫЙ БЕС»

(Неосуществленный замысел Пушкина)

Пошло второе столетие с тех пор, как в печать проскользнуло известие о том, что Пушкин задумывал драматическое произведение на тему «Влюбленный бес». Сведение это потонуло в изобилии интереснейших данных о поэте, новых стихов его и прозаических текстов, опубликованных П. В. Анненковым в его замечательной биографии великого поэта.¹ Оно осталось незамеченным.

Понадобилось открытие двух новых документов,² спустя более полувека, заставивших вспомнить сообщение Анненкова. Интерес к замыслу пробудился, появились две группы работ, связанных с этим замыслом Пушкина, и ряд отдельных высказываний. Однако ясных точек зрения по этому вопросу, ни даже общепринятой датировки замысла не утвердилось.

Вне круга внимания исследователей остался при этом материал первостепенного значения, авторский, находящийся в черновых тетрадях поэта. Материал этот, в подавляющем большинстве, не литературный, не словесный. Я говорю о графике поэта.

Изучение рисунков Пушкина находится еще в младенческом состоянии. Литературоведы высказывали о них лишь единичные соображения, обычно по отдельным частным случаям, и далеко не всегда ценные. Искусствоведение же, которому без споров уступалось дело изучения рисунков Пушкина, решало вопросы нередко в отрыве от литературного творчества великого поэта.

Попытка рассмотрения графических композиций Пушкина не разобщиена, а в едином аспекте с его литературными текстами привела меня к давно оставленному пушкиноведением замыслу «Влюбленного беса».³

1

Самый ранний след замысла о влюбленном бесе обнаруживается в рукописях весны 1821 года.

Только что закончивший «Кавказского пленника», полный творческой силы поэт обдумывал тему для новой поэмы. Он сам писал об этом Дель-

¹ П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. В кн.: Пушкин, Сочинения, т. I, СПб., 1855, стр. 284—285.

² Первый — опубликованное в 1912 году письмо В. П. Титова с сообщением, что его повесть «Уединенный домик на Васильевском» есть, в сущности, запись рассказа Пушкина. Второй — опубликованная в 1922 году программа повести Пушкина о «В. б.» (т. е. «Влюбленном бесе»). См. о них ниже.

³ Все цитаты из произведений и писем Пушкина, кроме особо оговоренных случаев, даются по Академическому изданию его сочинений, тт. I—XVI, 1937—1949, в сокращенной форме: том, страница.

вигу (23 марта 1821 года): «Что до меня, моя радость, скажу тебе, что кончил я новую поэму — *Кавказский Пленник*, которую надеюсь скоро вам прислать. Ты ею не совсем будешь доволен и будешь прав; еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы, но что теперь ничего не пишу. Я перевариваю воспоминания» (XIII, 26).⁴

Одни замыслы записывались в виде планов, другие выливались в стихи. Среди них находим мы фантастическую поэму на тему из древней русской истории, героем которой должен был быть князь Мстислав Тьмутараканский (V, 157—158),⁵ поэму о восстании новгородского князя Вадима против самодержавия Рюрика,⁶ поэму о современном освободительном движении греческого народа (V, 153),⁷ поэму об атамане разбойников и двух его любовницах, отрывок которой уцелел в виде «Братьев разбойников» (IV, 372—374),⁸ а сюжетное положение перешло в «Бахчисарайский фонтан»;⁹ эта последняя поэма начата была тоже весной 1821 года, но временно затем отложена.¹⁰ Вероятно, тогда же были начаты «Актеон» и «Бова» (V, 154, 155—156).¹¹

Но, оставив все эти едва начатые замыслы, Пушкин увлекся поэмой, направленной против придворного мистицизма, «Гаврииладой», в которой одним из действующих лиц является бес, соблазняющий Марию.

Среди рукописей, относящихся к этой буйно цветущей весне двадцатидвухлетнего поэта, наше внимание привлекают несколько рисунков, находящихся в первой кишиневской тетради поэта.

Прежде всего мы видим большую композицию, занимающую весь лист тетради: в задумчивой позе у жаровни сидит бес, над ним реет видение женщины (рис. 1). «Интерьер» композиции и образ мечтателя настолько выразительны и очевидны, что едва ли найдется скептик, который будет сомневаться в том, что перед нами автоиллюстрация Пушкина к его замыслу на тему о влюбленном бесе.¹²

⁴ См. статью на эту тему Б. В. Томашевского «Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина» в сборнике «Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции» (М.—Л., 1953, стр. 171—212); то же в монографии Б. В. Томашевского «Пушкин» (кн. I, М.—Л., 1956, стр. 435—479).

⁵ См. комментарий С. М. Бонди в издании: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах, т. II, Изд. «Academia», М.—Л., 1936, стр. 604; см. также названную монографию Б. В. Томашевского, стр. 473—479.

⁶ См. названную монографию Б. В. Томашевского, стр. 435—444. Поэма о Вадиме датируется январем—февралем 1822 года (см.: С. Бонди. Отчет о работе над IV томом. «Временник Пушкинской комиссии», т. II, 1936, стр. 465).

⁷ См.: Н. В. Измайлов. Поэма Пушкина о гетеристах (Из эпических замыслов кишиневского времени, 1821—1822). «Временник Пушкинской комиссии», т. III, 1937, стр. 339—348; см. также указанную монографию Б. В. Томашевского, стр. 459—466.

⁸ См. указанный комментарий С. М. Бонди, стр. 581—583; см. также указанную монографию Б. В. Томашевского, стр. 447—459.

⁹ См. указанный комментарий С. М. Бонди, стр. 583.

¹⁰ См. IV, 471 (примечание Г. О. Винокура).

¹¹ См. указанную монографию Б. В. Томашевского, стр. 469—473.

¹² Тетрадь ЛБ № 2365, теперь ИРЛИ (ПД) № 831, л. 49 об. Впервые воспроизведено во втором томе сочинений Пушкина издания Брокгауза—Ефрона (СПб., 1908, стр. 86) С. А. Венгеровым, сопроводившим публикацию рисунков заметкой (см. ее ниже), в которой он уже был близок к этой мысли. «Пригорюнившийся большой черт, может быть, страдает от любви», — писал он (стр. 87); но Венгеров не связывал своей догадки с «Влюбленным бесом», — этот замысел Пушкина еще не был замечен исследователями. Отчетливо сопоставил рисунок Пушкина с замыслом поэта С. М. Бонди: «Что у Пушкина мог быть не единственный вариант темы о влюбленном бесе, показывает его рисунок, относящийся к 1821 году и изображающий беса, сидящего в задумчивости, и в облаках над ним — витающий образ красавицы» (С. Бонди. Драматургия

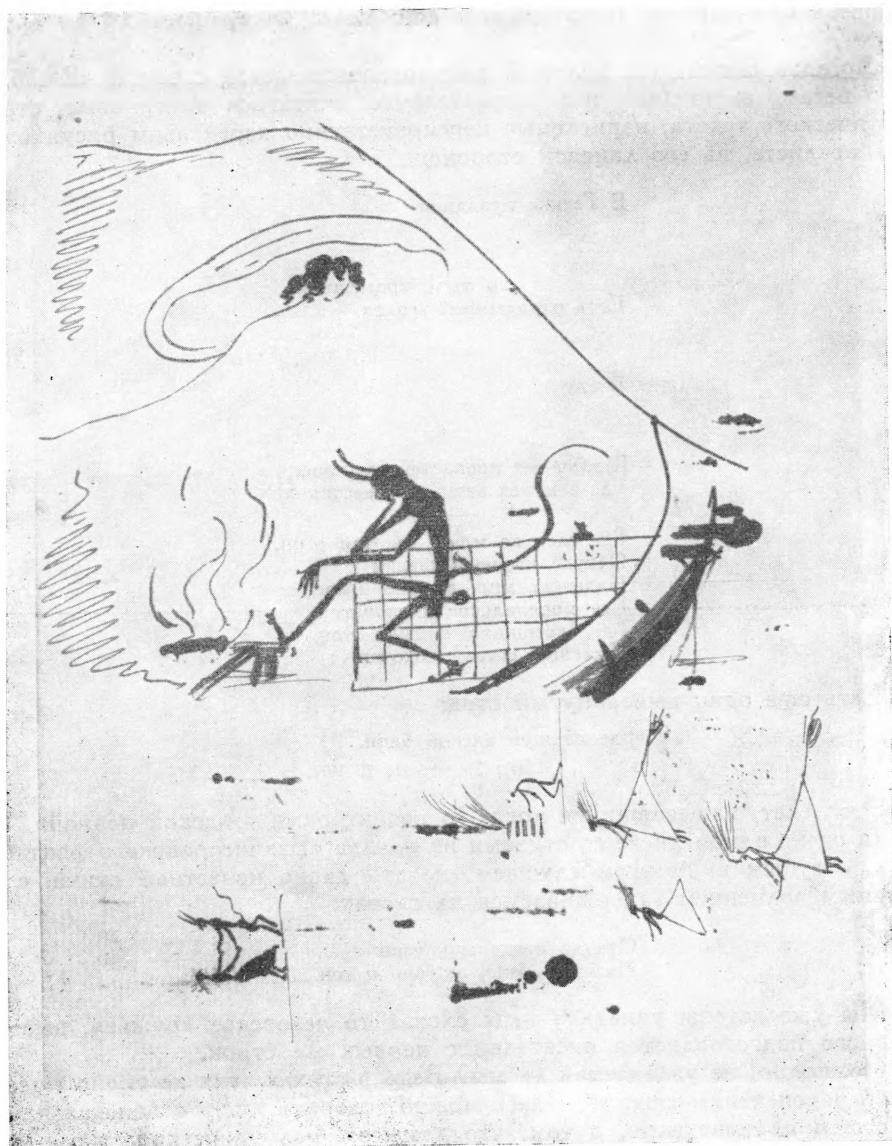


Рис. 1.

Рисунок этот является одним лишь звеном цепи, в которую входят и рисунки и стихотворные тексты. Все они находятся тут же.

На том же листе, но в другом направлении зарисованы силуэты танцующего черта с ведьмой, сделаны наброски ведьмы на помеле и фигура человека или черта в напряженном движении: не вращает ли он орудие пытки?

Догадка о том, что большой рисунок связывается с темой «Влюбленного беса», заставляет нас внимательнее вчитаться в черновые строки поэтического текста, написанные непосредственно перед этим рисунком на том же листе, на его лицевой стороне.

В Геенне праздник

*

во тьме крошечной
Есть отдаленный уголок

*

В аду

.

[Вдали тех пропастей глубоких,
Где в муках вечных и жестоких]

Где слез во мраке льются реки,
Откуда изгнаны навеки
Надежда, мир, любовь и сон,
Где море адское клокочет,
Где, [грешника] внимая стон,
Ужасный сатана хохочет...

Есть еще один вычеркнутый стих:

Где свищут адские бичи...¹³
(II, 2, 989; II, 1, 469).

Это текст, называвшийся когда-то редакторами «Адской поэмой». Написан он на одном листе со стихами из начала «Бахчисарайского фонтана».

С сугубым вниманием слушаем мы эти давно известные стихи, с невольным волнением задерживаемся на словах:

Откуда изгнаны навеки
Надежда, мир, любовь и сон...

Мы уже готовы узнать в этих словах то чеховское «ружье», выстрел которого подготавливается писателем с первых же строк.

Но, полно! не увлекаемся ли мы? Ведь в стихах этих не видно еще никакой перспективы сюжета. Здесь можно говорить лишь о поисках начала какого-то произведения, о том, что замысел был эпический, что поэтом начиналась новая романтическая поэма, что действие ее протекало в аду... и — больше ничего.

Можно ли, однако, серьезно допустить мысль, чтобы художник работал одновременно над двумя произведениями, которые оба были бы романтическими поэмами (иллюстрация не допускает иной возможности), в обоих

Пушкина и русская драматургия XIX века. Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1941, стр. 398).

¹³ Тетрадь ЛБ № 2365, теперь ИРЛИ (ПД) № 831, л. 49.

изображался бы ад с его обитателями, но их сюжеты были бы различны?!) Нелепость такого построения очевидна. Подобная постановка вопроса показывает со всей ясностью, что попытка разделения текста «В Геенне праздник» и рисунка «Влюбленный бес» не плодотворна. Текст и рисунок — элементы одного и того же замысла — романтической поэмы «Влюбленный бес».

Между тем нам никогда не пришла бы в голову мысль, что стихи «В Геенне праздник» представляют собой начало поэмы о влюбленном бесе, если бы перед нами не было совершенно очевидной «портретной» зарисовки образа главного героя этой поэмы, рисунка, сделанного непосредственно вслед за приведенным текстом.

Гипотеза эта, предложенная без демонстрации рисунка, была бы заведомо обречена на провал. Теперь же я выдвигаю свое утверждение без всяких колебаний.¹⁴

Догадка о связи текста с замыслом «Влюбленного беса» заставляет нас внимательнее рассмотреть и другие рисунки, находящиеся на листе, смежном с приведенным текстом.

Перед нами рисунок — сложная композиция, состоящая из ряда сцен (рис. 2). Первая являет ужасную фантазмагорию. Путник в шляпе и с дорожным посохом сидит на камне под деревом, на котором висит повешенный человек.

Вторая сцена. Какое-то дикое человекоподобное чудовище, с птичьей головой, одетое в балахон, выволакивает как будто из могилы лежащий навзничь скелет человека. По другую сторону могилы изображены орудия пыток — виселица или дыба и колесо (все эти рисунки обильно штрихованы).

Выше в овале на белом фоне изображены силуэтом ведьма и три черта; они танцуют под игру на скрипке четвертого черта. Ведьма в женском платье. Волосы ее развеваются. Черты не одеты. Одна лишь фигура скрипача производит впечатление одетой — может быть, во что-то вроде фрака.¹⁵

¹⁴ Вполне принимая положение автора о связи рисунков и соседствующих с ними текстов с замыслом «Влюбленного беса», мы сомневаемся, однако, в правильности определения замысла как романтической (т. е. лирико-героической) поэмы. Судя по характеру рисунков, по смыслу и стилю набросков текста, это мог быть замысел сатирической поэмы, связанный в какой-то мере с «Гавриилиадой»; самый термин «бес» (а не «демон») указывает скорее на ироническую, чем на лирико-героическую трактовку сюжета. — *Ред.*

¹⁵ Тетрадь ЛБ № 2365, теперь ИРЛИ (ПД) № 831, л. 48 об. Впервые воспроизведено С. А. Венгеровым во втором томе сочинений Пушкина издания Брокгауза—Ефрона (стр. 87). Под текстом следует аннотация публикатора: «„Адский“, как их можно обозначить, рисунки Пушкина представляют собою существенное дополнение к тем отрывкам из „адской“ поэмы, которые помещены на стр. 85. (Под отрывками из „адской“ поэмы в издании были объединены приведенный нами набросок «В Геенне праздник» и отрывки «Что козырь? — Черви. — Мне ходить», «Кто там? — Здорово, господа», «Так вот детей земных изгнанье» и «Сегодня бал у Сатаны»; эти четыре последних отрывка вместе с другими аналогичными отрывками напечатаны мною в Академическом издании в качестве набросков к замыслу о Фаусте; II, 1, 380—382, — Т. Ц.). В творческом воображении Пушкина несомненно бродило много отдельных деталей будущей поэмы, часть которых он набросал в стихотворной форме, а часть только зарисовал. Так, верхнюю половину рисунка, помещенного на настоящей странице, можно, конечно, считать иллюстрацией к теме „Сегодня бал у Сатаны“. Но загадочная нижняя часть рисунка, затем почти все рисунки на стр. 86 (рис. 1, — Т. Ц.) и некоторые другие рисунки тетради № 2365 изображают совсем другие моменты, а всё вместе указывает, что замысел был большой и сложный. Ряд ведьм на рис. странице 86, может быть, указывает на намерение изобразить Вальпургиеву ночь, шабаш на Лысой горе; пригорюнившийся большой черт (стр. 86), может быть, страдает от

Вариант фигуры черта, тянущего скелет (из большой композиции), повторен на смежном листе, на котором написан текст приведенных стихов.

Но изображен здесь черт один, без скелета; нет на нем и балахона; движение его энергичнее; яснее обозначена несколько птичья голова его. Выше сделан изящный рисунок беса, танцующего с цепью, внизу зарисовка ведьмы верхом на помеле (рис. 3).¹⁶

Так как рис. 1 безусловно является автоиллюстрацией к «Влюбленному бесу», а рис. 2 и 3 сделаны в одно время с ним, так сказать, в едином творческом порыве, то естественно думать, что вся сюита иллюстрирует этот замысел Пушкина.

Вместе с тем некоторые рисунки в сложной композиции (рис. 2) напоминают эпизоды другого литературного произведения.

Роман известного немецкого писателя XVIII века Фридриха Клингера «Жизнь, деяния и гибель Фауста» Пушкин мог читать или перечитывать, вероятно, уже в ссылке.¹⁷

Особенное впечатление должны были на него произвести последние главы книги. Разочарованный в своих безнадежных странствиях по свету в поисках идеала, в конце своего жизненного пути, возвращается Фауст на родину. Подъезжая к своему родному городу, Фауст видит виселицу, на которой висит... его сын. Дьявольская сила не дает ему выйти из-под виселицы (кн. V, гл. 4—6).¹⁸

Этот страшный рассказ мы узнаем в пушкинском рисунке — в ситуации путника, сидящего под трупом повешенного. Изображение орудий пыток в правой части композиции навеяно, вероятно, также рассказом Клингера о колесованном, спасенном и предавшем своего спасителя преступнике, вновь приговоренном к колесованию (кн. IV, гл. 4).

Может быть, и танцующие фигуры в овале — реминисценция празднества у Сатаны в романе Клингера (кн. I, гл. 4—7). Среди других увеселений на этом празднестве, данном по случаю изобретения книгопечатания, исполнялся балет, в котором «Мораль вели под руку Добродетель и Порок, и она танцевала с ними трио. Голый дикарь играл при этом на

любви и т. д. Довольно правдоподобно приводя в связь „сатанинское“ настроение „адской“ поэмы и „Гавриилиады“, Анненков («Пушкин в Александровскую эпоху», стр. 174) так характеризует „адские“ рисунки Пушкина: „Здесь является впервые тот цикл художественных шалостей, которому французы дают название *diableries* — чертовщины. Этот род изображений отличается у Пушкина, однако же, совсем, не шуткой: некоторые эскизы обнаруживают такую дикую изобретательность, такое горячее, свирепое состояние фантазии, что приобретают просто значение симптомов какой-то душевной болезни, несомненно завладевшей их рисовальщиком“. С этой характеристикой очень трудно согласиться. В „чертовщине“ Пушкина нет ничего мрачного или патологического; за ничтожными исключениями, рисунки веселые и забавные, вольтериански-фивольные. Извлеченные нами рисунки принадлежат к лучшим образчикам несомненного художественного таланта Пушкина» и т. д.

¹⁶ Тетрадь ЛБ № 2365, теперь ИРЛИ (ПД) № 831, л. 49. Впервые воспроизведено П. О. Морозовым в третьем томе сочинений Пушкина издания Академии наук (СПб., 1912, между стр. 86 и 87 второй пагинации).

¹⁷ Роман был издан на немецком языке в 1791 году. Французский перевод, по которому Пушкин, по-видимому, ознакомился с романом Клингера, издан в 1802 году под заглавием «*Aventures du docteur Faust et sa descente aux enfers*».

¹⁸ Связь с романом Клингера пушкинских набросков сцен в аду (т. е. замысла о путешествии Фауста в ад) уже была замечена в нашем литературоведении. Она установлена независимо друг от друга Н. С. Ашукиным, которому выражаю благодарность за сообщение его наблюдения, а затем и М. Б. Загорским в книге «Пушкин и театр» (М.—Л., 1940, стр. 329). М. Б. Загорский заметил также вскользь: «Возможно, что цикл „адских рисунков“ Пушкина был сделан при чтении этого романа Клингера» (там же, стр. 328).

флейте из тростника, европейский философ — на скрипке, а азиат бил в барабан».¹⁹

Центральный рисунок внизу композиции — дьявол, вытаскивающий из могилы человеческий скелет, — не приурочивается к роману Клингера.

Как же понимать связь рисунков Пушкина с «Фаустом» Клингера? Имеем ли мы дело с иллюстрациями чужого произведения? Чем тогда объяснить посторонние Клингеру сцены в той же композиции? Или же можно высказать предположение, что из длинного немецкого романа



Рис. 2.

в прозе Пушкин думал ввести в свою романтическую поэму взволновавшие его воображение некоторые яркие картины и отдельные ситуации?

Думается, что именно о поэме, посвященной аду, или, как мы теперь можем называть ее, о поэме «Влюбленный бес» рассказывал московским знакомым Денис Давыдов, вернувшись из Киева, где он в начале 1821 года встретился с Пушкиным на так называемых «контрактах», т. е. на ежегодной ярмарке.²⁰ Можно предположить, что поэт говорил Давыдову о своем замысле, может быть, показывал ему отрывки. На это наводит запись М. П. Погодина со слов Давыдова: «Пишет стихи записест, однако марает много» (он говорил о писательской манере Пушкина, которую он, значит, имел случай близко видеть). «Который час, спрашивают адских теней — вечность», — записал далее Погодин,²¹ очевидно, приводя в передаче Дениса Давыдова какую-то цитату из Пушкина. Не думал

¹⁹ Ф. М. Клингер. Жизнь, деяния и гибель Фауста. Перевод с немецкого со вступительной статьей и примечаниями А. Лютера. М., 1913, стр. 88.

²⁰ См.: М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина, т. I. М., 1951, стр. 275, 757—758.

²¹ М. А. Цявловский. Пушкин по документам Погодинского архива. «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX, 1914, стр. 68.

ли Пушкин ввести этот образ бесконечности в свою поэму об адском мире? В другом произведении Пушкина черти в аду играют в карты «не из денег, А только б вечность проводить!» («Наброски к замыслу о Фаусте»; II, 1, 382).²²

Итак, перед нами наброски текста и несомненно связанные с ними рисунки — разрозненные части единого целого. Мы должны со всей осторожностью попробовать произвести опыт реконструкции, хотя бы приближительной и неполной, хотя бы только в схеме, замысла поэмы Пушкина или части ее.

Вчитаемся в написанные Пушкиным стихи:

[Вдали тех пропастей глубоких,
Где в муках вечных и жестоких]

Где слез во мраке льются реки,
Откуда изгнаны навеки
Надежда, мир, любовь и сон,
Где море адское клокочет,
Где, [грешника] внимая стон,
Ужасный сатана хохочет...

(II, 1. 469).

Мы понимаем, что многократные «где» ведут, напряженно и неуклонно, к чему-то более важному, что должно поразить воображение читателя. Но он уже находится под впечатлением этих ужасающих картин ада. Что еще может затмить силу и яркость этих поэтических описаний ада?

По законам искусства — только контраст, картина, внезапно сменяющая ужасы, доведенные до предела, что-то тихое, мирное и неожиданное.

И эту картину поэт нарисовал, он только еще не выразил ее словами, картину поэзии предварил авторский рисунок. Но именно эта картина, и только она, может разрешить ту дисгармонию, которая овладела душой читателя.

Образ беса, не лукавого, искушающего, не жестокого, мучающего свою жертву, а затихшего, погруженного в себя, мечтательного, пораженного чувством любви. Вот то неожиданное, что заставляет нас мгновенно сторваться от страшного зрелища преисподней и со всей свежестью восприятия переключиться на новые впечатления.

Попробуем восстановить мысль поэта, ход ее, представить себе последовательность развития текста:

Вдали тех пропастей глубоких...
Где слез во мраке льются реки...

²² Образ этот довольно распространен в литературе. Например, у мадам Некер (m-me Necker) в «Nouveaux mélanges» (t. II, Paris, An X — 1801, стр. 138—139): «Le père Bridène disait: le damné a sous les yeux une pendule dont le balancier répète en allant et venant: *Toujours, jamais, toujours, jamais*. Lorsque las de souffrir il s'écrie en soupirant: *Quelle heure est-il?* — on lui répond *L'éternité*» (Отец Бридэн говорил: у осужденного перед глазами всегда висят часы, маятник которых повторяет, идя туда и обратно: «Всегда — никогда — всегда — никогда». Когда же, истомленный страданием, он восклицает со вздохом: «Который час?» — ему отвечают: «Вечность»). У Альфреда Мюссе в «Ballade à la lune» («Балладе, обращенной к луне», 1829) находятся слова: «Qui sonne l'heure aux damnés d'enfer... Quel âge A leur éternité» (который пробил час грешникам в аду... Сколько лет их вечности). Батюшков, уже в состоянии безумия, «сам себя спрашивал», глядя на врача «с насмешливой улыбкой и делаю движение, точно достаю часы из кармана: „Который час?“ и сам себе отвечал: „Вечность“» (Записка доктора Антона Дитриха о душевной болезни К. Н. Батюшкова. В кн.: К. Н. Батюшков, Сочинения, т. I, кн. 1, СПб., 1887, стр. 342; подлинник на немецком языке). Эти цитаты в числе других аналогичных сообщены мне покойным Т. М. Левитом.

Следует описание ужасов ада.

И далее поэт должен был, по-видимому, вернуться к записанному первоначально наброску:

во тьме крошечной
Есть отдаленный уголок...

Далее текст стихов оборван, но мы можем на основании рисунков угадать смысл продолжения: «Есть отдаленный уголок», в котором уединяется бес, впервые познавший чувство любви. Он погружен в свои мечтанья, он равно далек от мрачной жизни ада с муками грешников и от развлечений чертей — бала, устроенного для них повелителем их, Сатаной (бал тоже изображен на рисунке).

Это — начало поэмы, не написанное, но обдуманное, с запечатлевшимся в рисунке образом героя, предваряющим стихи, только незначительная часть которых была поэтом написана.

2

Параллельно с романтическими поэмами, которые Пушкин с таким подъемом писал в кишиневские годы своей жизни, он думал и о том, чтобы попробовать заняться прозой. «С прозой — беда! — вспоминал слова Пушкина И. П. Липранди. — Хочу попробовать этот первый опыт».²³ (Речь шла о двух молдавских преданиях, записанных Пушкиным, но до сих пор не отысканных в архивах).²⁴

К 1822 году следует отнести и план повести, намечавшейся, по-видимому, в прозе.²⁵

²³ Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди. «Русский архив», 1866, № 10, стлб. 1410.

²⁴ См.: Г. Ф. Богач. Молдавские предания, записанные Пушкиным. Сб. «Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции». М.—Л., 1953, стр. 213—240, а также в указанной монографии Б. В. Томашевского, стр. 467—469.

²⁵ Первый публикатор этого плана Н. В. Измайлов (в сборнике «Неизданный Пушкин», 1922, стр. 147) датировал его: «по всей вероятности, 1822 год» — на том основании, что он написан на обороте записки к Пушкину его кишиневского знакомого А. Балша. «С датировкой этой, однако, трудно согласиться, — писал Ю. Г. Оксман в заметке «Может ли быть раскрыт пушкинский план „Влюбленного беса“?», — если даже связывать записку Балша с Кишиновом (хотя этот кишиневский знакомый Пушкина мог разыскивать Пушкина в 1826 году в Москве), — план „Влюбленного беса“ мог быть набросан Пушкиным на записке Балша через несколько лет после ее получения, и согласнее с другими данными о хронологии произведений, вошедших в известный реестр, было бы отнести план „Влюбленного беса“ к 1826—1828 годам» («Атеней», кн. I—II, Л., 1924, стр. 167). Поддержала датировку Ю. Г. Оксмана В. Н. Писная: в статье «Фабула „Уединенного домика на Васильевском“»: «... нет ничего невероятного в наброске программы на обороте случайно сохранившейся записки, долгое время спустя после ее получения. По характеру программы, скорее можно отнести ее ко второй половине двадцатых годов, именно к московскому периоду жизни Пушкина, после возвращения из Михайловского. Это период возникновения прозаических произведений, к которым по духу вполне подходит дошедший до нас отрывок. (Непонятно, что имеет в виду автор в этом глухом и категоричном утверждении, — Т. Ц.). Таким образом, первым наброском данной фабулы является программа Онегинского собрания, возникшая в 1826—27 г.» («Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, 1927, стр. 22—23). Аргументируя тем, что кишиневец А. Балш жил в 1826—1827 годах в Москве и в Петербурге, Ю. Г. Оксман писал: «Предположительная дата плана — 1826—1828 гг.» (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах, т. IV, Изд. «Academia», М.—Л., 1936, стр. 781). С этой датировкой план входит во все собрания сочинений Пушкина, начиная с первого издания, в которое он был включен (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах, т. IV, ГИЗ, М.—Л., 1930, стр. 535 (Приложение к журналу «Красная нива» на 1930 год)), до Академического. В последнем же, на основании настоящей работы и приняв во внимание мое определение почерка плана.

Приведем текст плана (VIII, 1, 429):

⟨Влюбленный бес⟩

Москва в 1811 году.

Старуха, две дочери, одна невинная, другая романическая — два приятеля к ним ходят. Один развратный; другой В⟨любленный⟩ б⟨ес⟩. В⟨любленный⟩ б⟨ес⟩ любит меньшую и хочет погубить молодого человека — Он достает ему деньги, водит его повсюду — [бордель]. *Наст⟨асья⟩ — вдова ч⟨ертовка⟩ <?>*. Ночь. Извозчик. Молод⟨ой⟩ человек⟨ек⟩. Ссорится с ним — старшая дочь сходит с ума от любви к В⟨любленному⟩ б⟨есу⟩.²⁶

Название «Влюбленный бес» является переводом заглавия известной повести Ж. Казотта «Le diable amoureux» (1772).²⁷ Судя по плану Пушкина, его замысел не имел ничего общего с повестью Казотта, кроме одного основного момента: и здесь и там изображался действующий на земле бес и его любовь к смертному человеку (у Казотта — бесовка, влюбленная в мужчину).

Уже по приведенному плану мы видим, как круто повернул Пушкин — за один год — поэтическую систему, форму трактовки темы о влюбленном бесе. Вместо страшной картины преисподней, «Где море адское клокочет, Где, грешника внимая стон, Ужасный сатана хохочет», мы видим обыденный человеческий мир, с картинами русской действительности, ограниченными определенными историческими рамками: «Москва в 1811 году», «деньги», «бордель» (это французское слово зачеркнуто и заменено русским именем: «Настасья»), «извозчик».

О повести Пушкина, о сюжете ее мы имеем возможность довольно точно судить по косвенным данным, в передаче А. П. Керн и В. П. Титова.

«Когда же он решался быть любезным, — вспоминала о Пушкине А. П. Керн, — то ничто не могло сравниться с блеском, острою и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров».²⁸

как раннего, «южного», Б. В. Томашевский датировал план «предположительно 1821—1823 гг.» (VIII, 2, 1062). Эта датировка оказалась, впрочем, не согласованной с датировкой записки А. Балша к Пушкину, которая в том же издании датирована: «Май 1821 г.—июнь 1823 г. Кишинев или около 10 сентября 1826 г.—1827 г. Москва—Петербург» (XIII, 351). Первоначальную датировку плана повести 1822 годом поддержал и С. М. Бонди: «Слова „влюбленный бес“, вернее — инициалы этих слов («в. б.»), находятся в раннем (еще 1822 года) плане этой повести» (Пушкин — родоначальник новой русской литературы, стр. 398).

²⁶ Расшифровка инициалов «В. б.» как «Влюбленный бес» принадлежит Ю. Г. Оксману, сопоставившему план с записью заглавия в перечне драм Пушкина, опубликованном П. В. Анненковым (см.: «Атеней», кн. I—II, 1924, стр. 166—168).

²⁷ Отмечено Ю. Г. Оксманом там же. Широко популярная повесть Казотта была, конечно, прекрасно знакома Пушкину. Отметим, что в безымянном переводе-переложке на русский язык она напечатана в 1794 году под заглавием «Влюбленный дух, или приключение дон Альвара» и включена в издание «Старая погудка на новый лад, или полное собрание древних простонародных сказок» (М., 1795). Это издание, как и четырехтомное издание Казотта на французском языке (1816—1817), имелось в библиотеке Пушкина (см.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина (Библиографическое описание). «Пушкин и его современники», вып. IX—X, 1910, стр. 99—100, 187, №№ 367, 716).

²⁸ «А. П. Керн». Воспоминания о Пушкине (Сообщено П. В. Анненковым). «Библиотека для чтения», 1859, т. 154, № 4, стр. 117; то же: А. П. Керн. Воспоминания. Изд. «Academia», Л., 1929, стр. 253.

Керн заканчивает свое воспоминание о рассказе Пушкина следующим сообщением: «Эту сказку с его же слов записал некто Титов²⁹ и поместил, кажется, в „Подснежнике“».

Как известно, А. П. Керн имела в виду повесть «Уединенный домик на Васильевском», напечатанную в альманахе «Северные цветы на 1829 год» с подписью-псевдонимом «Тит Космократов».³⁰

Подробное рассказал много позднее всю историю о повести, напечатанной им, сам Титов:

«В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове, поздно вечером, у Карамзиных, к тайному трепету всех дам и в том числе обожаемой тогда самим Пушкиным и всеми нами Екат<ерины> Никол<аевны>, позже бывшей женою кн. Петра Ив<ановича> Мещерского. Апокалипсическое число 666, игроки-черты, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под высокие парики, — честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником ветхозаветной заповеди „не укради“, пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками, и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в „Северные цветы“».³¹

Напомним фабулу повести.

Молодой человек, Павел, ведет в Петербурге распутный образ жизни, вовлекаемый в него своим приятелем Варфоломеем, бесом, принявшим образ человека. Родственница Павла, старая вдова, живет в «уединенном домике на Васильевском» вместе с дочерью Верой. За девушкой начинает ухаживать Павел, но Варфоломей добивается от него, чтобы тот ввел его в дом вдовы, и постепенно увлекает Веру. Сам же знакомит Павла с красавицей графиней, молодой вдовой, у которой собирается по вечерам общество, играющее в карты на человеческие души. Позднее выясняется, что вдова-графиня — чертовка, а ее гости — общество чертей. Забыв Веру, Павел влюбляется в графиню. Он вымалывает у нее любовное свидание. Последнее не удается — его трижды прерывает являющийся за Павлом и тут же исчезающий человек. Павел гонится за ним и оказывается на пустынной окраине города, в глубоком снегу, один. Неожиданно появляется извозчик. Павел нанимает его. Едут долго и выезжают за город. При

²⁹ Владимир Павлович Титов (1807—1891), тогда «архивный юноша», позднее иронически выведенный Пушкиным в набросках повести о Клеопатре («Мы проводили вечер на даче...», 1835) под фамилией Вершнева (VIII, 1, 421, 980, 990). Впоследствии В. П. Титов был дипломатом, русским послом в Константинополе и членом Государственного совета (см. о нем: И. И. Бикерман. Пушкинские заметки. 1. Кто такой Вершнев? «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX, 1914, стр. 49—55).

³⁰ Псевдоним Владимира Титова «Тит Космократов» составлен из перемешанных между собой имени и фамилии автора и перевода его имени на греческий язык. В изданном письме к цензору альманаха К. С. Сербиновичу от 27 ноября 1828 года помощник Дельвига по редакции «Северных цветов» О. М. Сомов сообщал, что посылает «довольно большую повесть в прозе, сочиненную В. П. (в письме: В. Д., — Т. Ц.) Титовым, племянником Д. В. Дашкова», и добавлял: «Подпись под нею есть греческая перифраза его имени, или анаграмма» (ЦГИА, личный фонд К. С. Сербиновича, № 1066, оп. 1, ед. хр. 1521, л. 11).

³¹ Письмо Титова от 29 августа 1879 года к А. В. Головнину, напечатанное в приложении к второй главе «Моих воспоминаний» барона А. И. Дельвига (т. I, М., 1912, стр. 158).

лунном свете Павел всматривается в жестяной билет извозчика. На нем «не было означено ни части, ни квартала; но крупными цифрами странной формы и отлива написан был № 666, число Апокалипсиса». Павел взывает к страшному извозчику, тот оборачивается, и — вместо живого лица Павел видит череп. «Ты не с своим братом связался», — произносит он. Эти слова Павел уже слышал — от Варфоломея. Он крестится. Раздается дикий хохот, проносится вихрь. Извозчик исчезает, и Павел остается один в снегу... Павел лежит больной. Он мечется, бредит Верой, зовет на помощь, никого не узнает. Во время начинающегося выздоровления ему сообщают о смерти вериной матери, о пожаре в ее доме, о болезни Веры. Старуха умерла без причастия — из-за козней Варфоломея. Страстно влюбленный в Веру Варфоломей покушался соблазнить ее. Дьявольской властью он заставил покойницу махнуть Вере рукой в его сторону. Тут Вера поняла, с кем имеет дело. «Да воскреснет бог! и ты исчезни, окаянный!» — восклицает она и теряет сознание. В доме вспыхивает огонь. Пожарному, пытавшемуся спасти тело умершей, является в пламени «образина сатанинская... со хвостом, рогами и большим горбатым носом, которым он раздувал полымя, как мехами в кузнице». Подозрение в поджоге падает на Варфоломея, но он исчез. Кончается повесть описанием смерти постепенно угасающей Веры и состояния Павла, близкого к умопомешательству.

Самый замысел и ряд деталей, несомненно, принадлежат Пушкину, они повторяются и в воспоминаниях А. П. Керн.³² Но о более или менее серьезном участии Пушкина в исправлении текста и даже развитии сюжета повести Титова нет никаких точных данных. С стремительной, лаконичной прозой Пушкина, развивающейся всегда неожиданными и быстрыми поворотами, не вяжется длинная и вялая повесть Титова, и недаром осудил Жуковский ее слабость в художественном отношении.

«Вскоре по выходе означенной книжки («Северных цветов на 1829 год», — Т. Ц.) гуляли по Невскому проспекту Жуковский и Дельвиг, — вспоминал двоюродный брат последнего А. И. Дельвиг, — им встретился Титов. Дельвиг рекомендовал его, как молодого литератора, Жуковскому, который, вслед за этой рекомендацией, не подозревая, что вышеупомянутая повесть сочинена Титовым, сказал Дельвигу: „охота тебе, любезный Дельвиг, помещать в альманах такие длинные и бездарные повести какого-то псевдонима“. Это тем более было неловко, что Жуковский отличался особым добродушием и ко всем благоволил».³³

Однако то, что рассказ «Уединенный домик на Васильевском» имеет в своей основе подлинный рассказ Пушкина, косвенно, но убедительно подтверждается и рукописями поэта. В них рассеяны свидетельства, документирующие его работу и над этим вторым этапом замысла. Мы привели пушкинский план повести о «влюбленном бесе», а теперь обратимся вновь к графике Пушкина.

Не раз привлекала внимание исследователей большая, сложная композиция, занимающая весь лист большой тетради (рис. 4).³⁴ Необычный для

³² Слова А. П. Керн кое в чем противоречат передаче Титова: у нее чертом является ездок, а не извозчик. Едва ли, однако, Керн слышала иной вариант. Скорее, конечно, это было запямятованием мемуаристки, писавшей свои воспоминания лет тридцать спустя после рассказа Пушкина.

³³ Барон А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, т. I, стр. 58.

³⁴ Рисунок этот находится в так называемой «Лицейской тетради» (ЛБ № 2364, теперь ИРЛИ (ПД) № 829, л. 54а). Впервые воспроизведен С. А. Венгервым в первом томе сочинений Пушкина издания Брокгауза—Ефрона (1907, стр. 569). Рисунок

Пушкина рисунок этот выделяется многофигурностью композиции и эксцентрическим сюжетом.

Вот попытка толкования его П. В. Анненковым:

«В одной из тетрадей поэта, принадлежащих к этой эпохе (от лица до ссылки, — Т. Ц.), встречается замечательный рисунок карандашом, набросанный им вообще не без искусства. Рисунок изображает мужчину за столом, обремененным бутылками; вблизи какая-то женщина, имеющая подобие фурии или вакханки в последней степени винного экстаза, сбивает балетным движением ноги одну из бутылок со стола на пол; другой мужчина, отягченный винными парами, прислонясь к стене, закуривает трубку; всей группе прислуживает „смерть“ в образе старого слуги, пробирающегося осторожно между остатками пиршества. Рисунок этот имеет теперь почти что символическое значение относительно тогдашней жизни Пушкина в Петербурге, да он же, по всем вероятностям, передает и какое-либо действительное событие».

К этому примечание Анненкова: «Покойный Я. И. Сабуров, свидетель эпохи, узнавал в фигуре мужчины за столом того же Каверина, о котором сейчас говорили. Известно, что Каверин был секундантом у гусара Завадовского в дуэли, наделавшей тогда много шума и стоившей жизни противнику Завадовского — Шереметеву. Дуэль возникла из ссоры обоих соперников за танцовщицу Истомину, согласившуюся принять вечер у одного из них».³⁵

Анненкову возражал В. Е. Якушкин: «Рисунок: кутеж, двое мужчин за столом и полураздетая женщина, пляшущая с бутылками; тут же гуляет маленький скелет в плаще и со шпагой. Г. Анненков («А. С. Пушкин», стр. 65) уверяет, что это представлены Каверин и, может быть, Завадовский и Истомина, которым *служит* смерть. Не могу судить о сходстве мужских лиц, но, несомненно, фигура грубой, пьяной женщины не имеет ничего общего с воздушной Истоминой, воспетой поэтом; смерть, скелет, тоже не *служит*, а подбоченясь идет от стола; на *старого слугу* этот скелет вовсе не похож».³⁶

Поддержал Анненкова С. А. Венгеров: «Изображается характерный для периода „Зеленой лампы“ кутеж петербургской золотой молодежи. В сидящей фигуре узнавали приятеля Пушкина Каверина. Смерть, которая тут вертится, дала Анненкову повод предполагать в неистовой плясунье Истому, из-за которой состоялась трагическая дуэль между Шереметевым и Завадовским».³⁷

Исследователь рисунков Пушкина А. М. Эфрос, назвав композицию: «Сцена дебоша», писал о ней: «Рисунок носит полужанровый, полусимволический характер, соединяя в одной композиции реалистические фигуры (растрепанной, швыряющей графиньи женщины в дезабилье; сидящего за столом мужчины; прислонившегося к стене, курящего юноши) с отвлеченными образами: скелета в плаще и с саблей на боку, черепа, лежащего на полу, и т. п.

Это дает основание предположить, что рисунок представляет собой не столько воспроизведение натуры, сколько „графическую новеллу“, символический рассказ о скандальном происшествии, которое получило норма-

назван здесь: «Рисунок Пушкина 1818—1819 гг.». Следует небольшая аннотация, которую мы приведем в своем месте.

³⁵ П. Анненков. А. С. Пушкин в александровскую эпоху. СПб., 1874, стр. 65.

³⁶ В. Е. Якушкин. Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцовском музее в Москве. «Русская старина», 1884, т. 41, март, стр. 653.

³⁷ Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова, т. I. СПб., 1907, стр. 569.

тивный характер в кругу, „где веселье — председатель“, по формуле молодого Пушкина.

Этот набросок близко соприкасается с аналогичными стихотворными проявлениями пушкинской связи с „рыцарями лихими любви, свободы и вина“, героями вольнолюбивой и пьянолюбивой „Зеленой лампы“



Рис. 4.

(«Здорово, молодость и счастье — Застольный кубок и б... — Где с громким смехом сладострастье — Ведет нас пьяных на постель»; «Милый мой, сегодня — Ожидает сводня — Бешеных повес»; «Мы пили и Венера с нами — Сидела преля за столом; — Когда ж вновь сядем вчетвером — с б..., вином и чубуками?» и т. п.). Фигура сидящего за столом мужчины носит, видимо, портретный характер; для точного отождествления ее данных нет, однако следует отметить указание Анненкова, что бывший лейб-гусар Сабуров „узнавал в фигуре мужчины за столом Каверина“, который был секундантом гусара Завадовского в дуэли с Шереметевым из-за танцовщицы Истоминой... Датируется рисунок приблизительно.

по общей совокупности листов, среди которых он расположен, — 1819 годом, в Петербурге».³⁸

В рассматриваемом рисунке мы в свою очередь видим иное, нежели все его комментаторы; это — иллюстрация Пушкина к одному из моментов, намеченных в приведенном выше плане повести: «Влюбленный» бес любит меньшую и хочет погубить молодого человека. — Он достает ему деньги, водит его повсюду — [бордель]. Настасья».

Рисунок изображает эту сцену: бес, приведший молодого человека к публичной женщине. Сидящий за столом с вином бес озирается через плечо. Молодой человек стоит опершись о стену и курит трубку. Пьяная полураздетая женщина руками и ногами расширяет бутылки. Забавная деталь рисунка — вылетевшая пробка от шампанского и льющееся из бутылки вино. На переднем плане скелет в плаще со шпагой, невдалеке череп. Скелет нарисован в гораздо меньшем масштабе, чем остальные фигуры, и стоит за чертой, ограничивающей место действия, т. е. непосредственно к сцене не относится. Может быть, он и не входит в композицию.

Прежние толкования рисунка были ошибочны потому, что исследователи недостаточно внимательно рассматривали центральную фигуру и поэтому не поняли, что она изображает беса: они не заметили, что из-под полы платья полуобернувшегося мужчины выбивается длинный хвост, под рисунком башмака его, кажется, была нарисована лапа с когтями или копыто.³⁹

Как резко изменилась трактовка образа беса в новом рисунке Пушкина! Вместо прежних легких фигурок тоненьких человечков с изящными рожками и декоративными хвостами, нарисованных шаловливо, в условной манере, мы видим усталого мужчину с потасканным лицом, с зачесами волос вперед, может быть скрывающими рога, в штатском костюме, с подчеркнутой линией спинного хребта, продолжающейся хвостом. Хвост — тугой, опущенный на землю, как у иного пса, но непомерной длины и с невиданным у собаки изгибом, напоминающим змею.

Композиция исполнена в реалистической манере. Лишь символы смерти, нарисованные тут же, — череп и скелет — показывают глубоко трагический оборот простой жизни, когда в нее входят «инфернальные» силы.

Эволюция характера иллюстраций Пушкина к «Влюбленному бесу», и в первую очередь перерождение графического образа самого беса на протяжении одного года, произошла в духе эволюции литературного жанра «Влюбленного беса» — от романтической поэмы 1821 года к бытовой повести 1822 года. Новый рисунок сделан в том же ключе, как и план повести, в единой с ним художественной системе.

Переосмысление рисунка влечет за собой и ревизию датировки его; он должен быть связан с планом «Влюбленного беса» и по датам. Рисунок сделан в «Лицейской тетради» Пушкина, которой пользовался он и

³⁸ А. Эфрос. Рисунки поэта. Изд. «Academia», М.—Л., 1933, стр. 196—198. К Анненкову, Венгеру и Эфросу присоединился и М. Б. Загорский в своей книге «Пушкин и театр» (1940, стр. 64).

³⁹ Заметим, что и при нашей трактовке рисунка возможно, конечно, сходство центральной фигуры с Кавериним, о котором говорил Сабуров. Мы вправе допустить, что в пушкинской игре воображения, материализуемой в рисунке, бес мог воплотиться во вполне реальный образ. Но в двух известных нам портретах П. П. Каверина (см.: Ю. Н. Щербачев. Приятели Пушкина Михаил Андреевич Щербинин и Петр Павлович Каверин. М., 1912, между стр. 154 и 155) сходства с фигурой влюбленного беса в рисунке Пушкина мы не видим.

на юге, вернувшись к ней со второй половины 1822 года. Предположительно второй половиной 1822 года мы и датируем описанный рисунок.⁴⁰



Рис. 5.

⁴⁰ «Лицейская тетрадь», в которой сделан рисунок, служила Пушкину весной перед окончанием лицея для переписывания туда лучших неопубликованных стихотворений его для предполагавшегося издания. Позднее поэт обратил тетрадь в рабочую — в ней создавал он «Руслана и Людмилу», в ней записан ряд черновиков стихотворений раннепетербургского периода (1817—1820). Именно по этому-то признаку и датировали исследователи интересующий нас рисунок этим периодом. Однако рисунок сделан на листе, до которого и после которого ряд листов остался незаполненным (лишь на предыдущем листе тогда же, тоже карандашом, сделан вариант фигуры беса — рис. 5), поэтому изолированное местоположение его среди смежных листов оснований для датировки не дает. Он мог быть нарисован в свободном месте тетради в любое время. Таким образом, твердость обоснований общепринятой датировки оказывается мнимой. К тому же в тетради находятся еще и позднейшие рисунки и несколько текстов: среди них черновик одного из южных писем Пушкина времени после Гетерии, письма, предположительно обращенного к В. Л. Давыдову, датированного июнем 1823 — июлем 1824 года (XIII, 104). Причина такого перерыва в пользовании тетрадью выясняется из рассказа И. П. Липранди о его поездке в Петербург в 1822 году. Описывая свой отъезд из столицы в Кишинев и встречи с семьей Пушкина, он сообщает: «Сергей Львович вместе с сыном <Львом> передали мне огромный пакет с письмами, с какою-то тетрадью и включавший в себе пятьсот рублей» («Русский архив», 1866, № 10, стлб. 1484). Эта тетрадь и есть «Лицейская тетрадь» (ЛБ № 2364, теперь ИРЛИ (ПД) № 829). Вернулся Липранди в Кишинев после четырехмесячной отлучки в июле 1822 года (там же, стлб. 1480). Итак, Пушкин получил оставленную в Петербурге «Лицейскую тетрадь» лишь в июле 1822 года в Кишиневе.

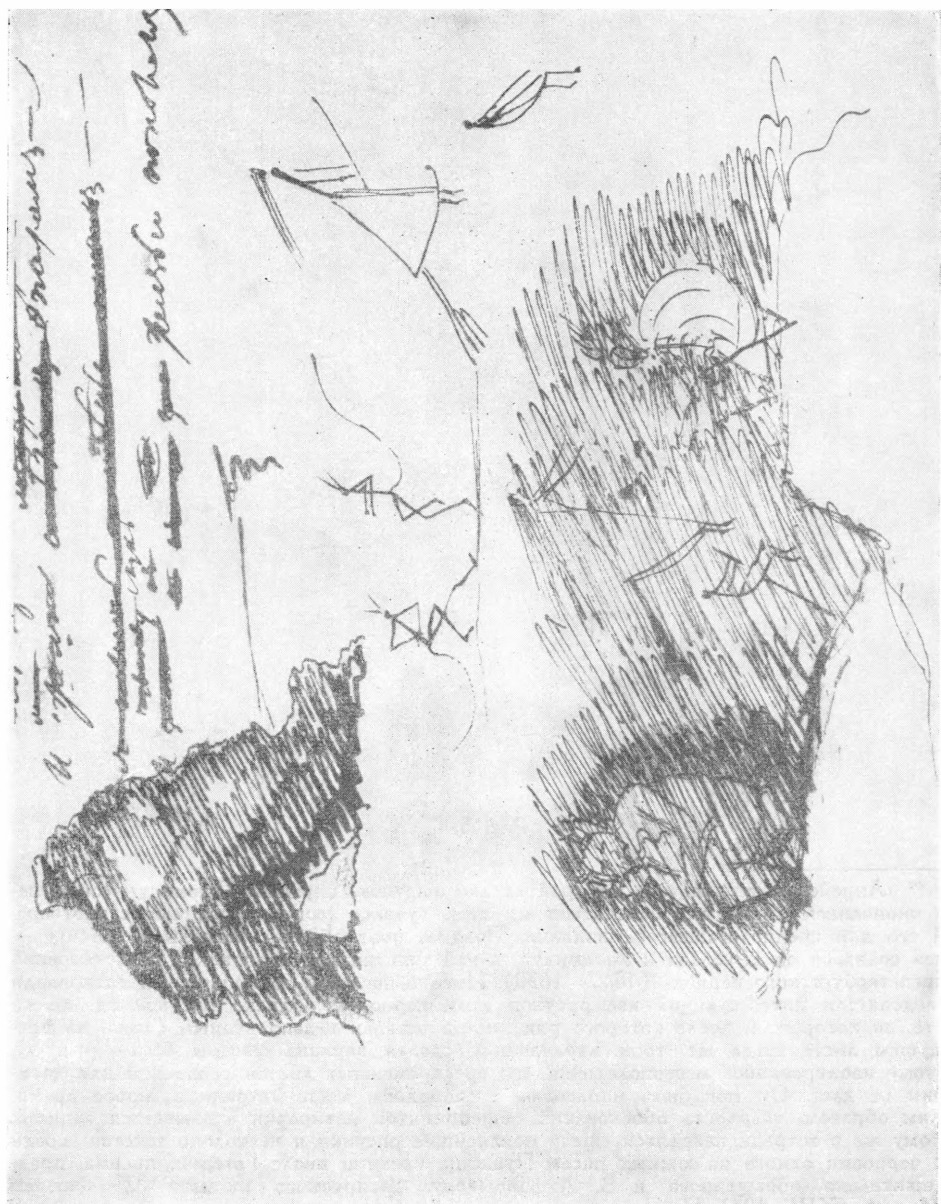


Рис. 6.

На предыдущем листе нарисован мужчина, сидящий спиной к зрителю; это вариант фигуры беса к сцене из «Влюбленного беса» (рис. 5).⁴¹

Описанные два последних рисунка, так же как и последующие рисунки бесов, не связаны по местоположению в тетрадах с сохранившимися текстами «Влюбленного беса», как то было с первыми тремя рисунками. Исделаны они в других тетрадах. Но мы знаем, что Пушкин постоянно пользовался одновременно несколькими тетрадами; кроме того, он вырывал листы



Рис. 7.

из тетрадей, и поэтому не исключено, что и в так называемой «Лицейской тетради», так же как и в первой «Масонской тетради» (ЛБ № 2369, теперь ИРЛИ (ПД) № 834), уничтожены листы, на которых могли быть и фрагменты текстов «Влюбленного беса».

Еще четыре рисунка к этому произведению находятся возле последних строф первой главы и последних строф второй главы «Евгения Онегина» (тем самым они датируются октябрём 1823—январем 1824 года).

На одном из этих новых рисунков (рис. 6) снова изображены пляшущие черти, ведьма на помеле, вновь появляется фигура при шпаге и в уже знакомом нам балахоне или плаще, надутым ветром; новое же здесь — реалистически нарисованный жирный старый бес, сидящий в меланхолической позе, подперев голову.⁴²

В той же тетради (в декабре 1823 года) сделан рисунок головы беса с пышащим из ноздрей дымом, связанный, быть может, с бесом, явившимся пожарному в рассказе, записанном впоследствии Титовым (рис. 7).⁴³

⁴¹ Тетрадь ЛБ № 2364, теперь ИРЛИ (ПД) № 829, л. 53. Воспроизводится впервые.

⁴² Тетрадь ЛБ № 2369, теперь ИРЛИ (ПД) № 834, л. 18. Впервые воспроизведено А. М. Эфросом в его книге «Рисунки поэта» (Изд. «Федерация», М., 1930, стр. 61).

⁴³ Там же, л. 42. Впервые воспроизведено А. М. Эфросом во втором издании его книги «Рисунки поэта» (1933, стр. 189).

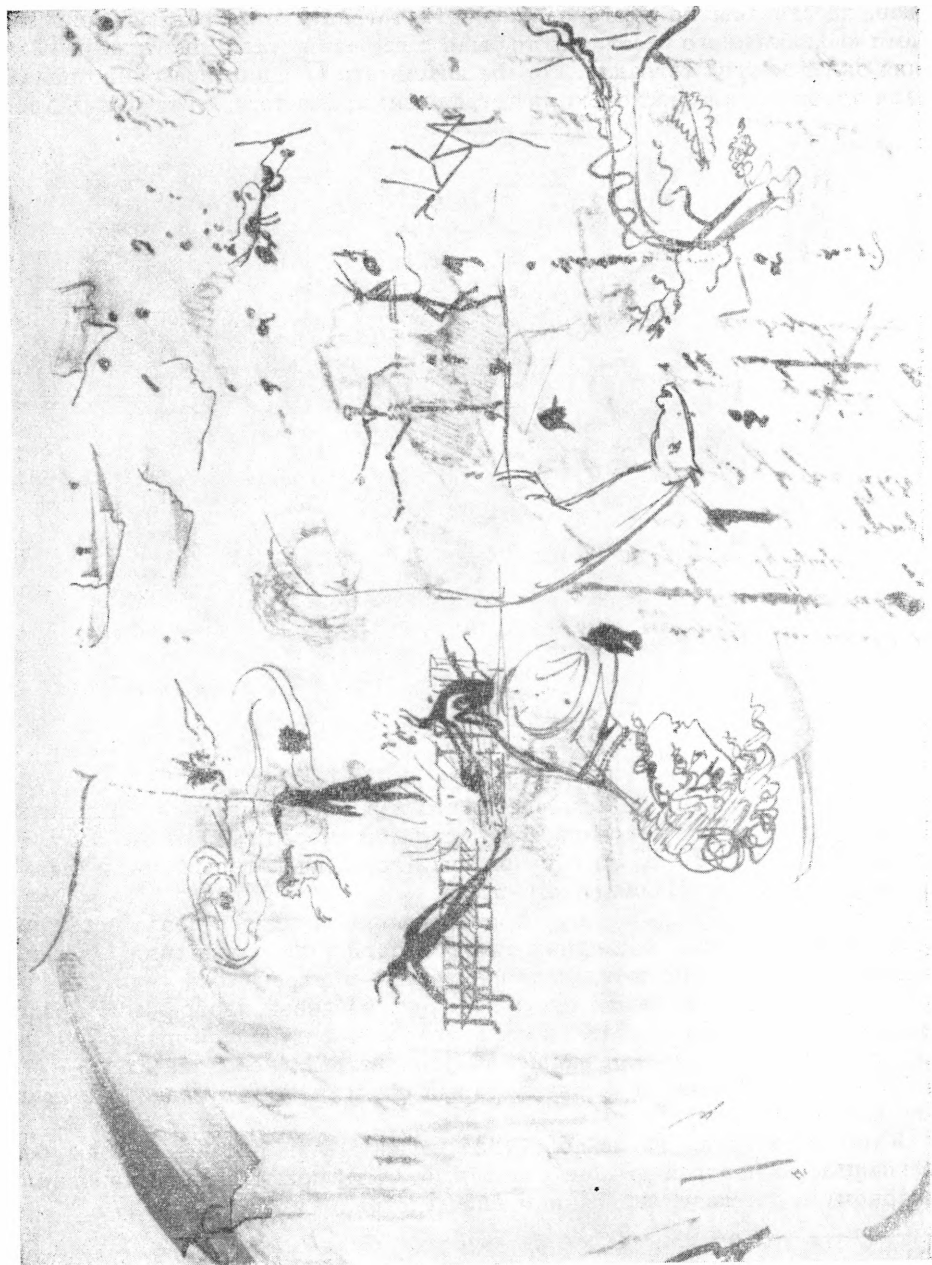


Рис. 8.

На обороте листа с этим рисунком находятся новые зарисовки, сделанные, по-видимому, в самом конце 1823 года, и почти все относящиеся к сюжету «Влюбленного беса» (рис. 8).⁴⁴ Прежде всего мы узнаем композицию 1821 года, повторенную с некоторыми вариантами: дьявол возлежит у жаровни, над которой повешен грешник в колпаке висельника;



Рис. 9.

череп его искажен пытками; но дьявол не видит ни грешника, ни хлопчущего у огня беса: он поглощен видениями женщины. Поодаль Пушкин попробовал нарисовать его в измененной позе, но смазал рисунок. Здесь же зарисованы танцующие: скелет с неправильно опущенными на место таза ребрами (что, однако, не мешает большой выразительности рисунка) и черти. Один из них обращает на себя внимание тем, что у него мохнатые, покрытые шерстью бедра, плечи, копыта. В том же направлении, как и этот последний рисунок, в ином, нежели две описанные композиции, нарисован вариант позы черта, подправляющего огонь; он сделан линиями, условно передающими движение, как на втором из рисунков этой сюиты 1821 года.

Рискованно было бы утверждать, на основании некоторых из этих рисунков (рис. 6 и 8), в особенности воскрешенной композиции 1821 года, что Пушкин возвращался к мысли о романтической поэме. Отметим лишь осторожно непогасшее воспоминание поэта о его старом замысле, обогащенное творческими вариантами.

Образ ведьмы на помеле повторен позже менее схематично на полях перебеленного текста «Цыган» (около 8 октября 1824 года). Как и в пре-

⁴⁴ Там же, л. 42 об. Впервые воспроизведено А. М. Эфросом в его книге «Рисунки поэта» (1930, стр. 85).

дыдущих изображениях, ведьма нарисована в виде женщины с развевающимися волосами, в широкой юбке.⁴⁵

Едва ли не самым замечательным в художественном отношении рисунком из всех пушкинских рисунков бесов является изображение Мефистофеля в плаще и при шпаге (рис. 9).⁴⁶ Однако рисунок этот (датируемый декабрем 1826 года) сделан на полях чернового текста XXVIII—XXX строф четвертой главы «Евгения Онегина» и связывается, может быть, со стихами XXX строфы:

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей...

(VI, 86).

Не наваян ли он образом Мефистофеля в «Фаусте» Гете:

Смотри, как расфрантился я пестро,
Из кармазина с золотою ниткой
Камзол в обтяжку, на плечах накидка,
На шляпе петушиное перо,
А сбоку шпага с выгнутым эфесом.⁴⁷

Впрочем, этот вид дьявола на рисунке Пушкина соответствует и тому «шутовскому костюму», который (по словам дьявола в романе Клингера) приписывают чертям монахи: «Красный плащ, отвратительная маска, огромные рога, козлиная нога и длинный хвост» (кн. III, гл. 9).⁴⁸

3

Мысль о «Влюбленном бесе» не оставляла Пушкина и после отъезда с юга в Михайловское. Это заглавие читаем мы в известном списке задуманных и отчасти начатых драматических произведений, составленном поэтом:

Скупой
Ромул и Рем
Моцарт и Сальери
Д. Жуан
Иисус
Беральд Савойский
Павел I
Влюбленный бес
Димитрий и Марина
Курбский.⁴⁹

⁴⁵ Тетрадь ЛБ № 2368, теперь ИРЛИ (ПД) № 836, л. 7.

⁴⁶ Тетрадь ЛБ № 2370, теперь ИРЛИ (ПД) № 835, л. 74. Воспроизведено впервые А. М. Эфросом при его статье «Рисунки поэта» в журнале «Русский современник» (1924, № 2, стр. 199).

⁴⁷ Гете. Фауст. Перевод с немецкого Б. Пастернака. Гослитиздат, М., 1957, стр. 100. В подлиннике:

Bin ich als edler Junker hier,
In rotem, goldverbrämtem Kleide,
Das Mäntelchen von starrer Seide,
Die Hahnenfeder auf dem Hut,
Mit einem langen, spitzen Degen...

(Goethe. Faust, Teil I. 1938, стр. 63—64).

⁴⁸ Ф. М. Клингер. Жизнь, деяния и гибель Фауста, стр. 219.

⁴⁹ См.: П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. В кн.: Пушкин, Сочинения, т. I, 1855, стр. 285. Традиционное толкование списка как программы драматических произведений не вызывает сомнений: все известные нам произведения из названных в списке осуществлены в драматической форме или замышлялись как драмы.

Список этот датируется, по-видимому, августом 1826 года.⁵⁰

Итак, среди ряда других драматических замыслов, Пушкин, изведавший силу трагедийных выражений идей, после создания «Бориса Годунова» обдумывал новое, более адекватное воплощение своей давнишней идеи о влюбленном бесе.

Интереснейшая попытка проникнуть в содержание задуманных и ненаписанных «небольших драматических этюдов» Пушкина, заключающихся в приведенном списке, сделана С. М. Бонди. Относительно «Влюбленного беса» исследователь высказывает очень тонкие и убедительные соображения:

«Заглавие мало что говорит. Можно почти с уверенностью утверждать только одно — что это не тот сюжет о влюбленном бесе, который рассказан был Пушкиным гостям Дельвига и пересказан с разрешения Пушкина в печати В. П. Титовым (псевдоним — Тит Космократов) под заглавием „Уединенный домик на Васильевском острове“. Нечего и говорить, что этот сюжет, чисто новеллистический, совершенно не пригоден для драматического произведения. Слова „Влюбленный бес“, вернее — инициалы этих слов («в. б.»), находятся в раннем (еще 1822 года) плане этой повести. Что у Пушкина мог быть не единственный вариант темы о влюбленном бесе, показывает его рисунок, относящийся к 1821 году и изображающий беса, сидящего в задумчивости, и в облаках над ним — витающий образ красавицы.

«Итак, если не отождествлять это заглавие списка с сюжетом „Уединенного домика“, то можно вообразить себе крайне интересный замысел драмы, находящийся, может быть, в какой-то связи с аналогичными темами Байрона, Т. Мура и А. де Виньи и близкий к лермонтовскому „Демону“».⁵¹

Пушкина влекла эта тема — любви злого духа к существу другого мира. Но не в плане чего-то запретного, чудовищного, противоестественного, как это было у того же Казотта, где искусительница-бесовка обращается в объятиях любовника в ужасного верблюда. (Вспомним, что второстепенный персонаж в повести Титова, восходящей к изустному рассказу Пушкина, чертовка, тоже соглашается на свидание с влюбившимся в нее молодым человеком, но свидание их роковым образом трижды прерывается.

⁵⁰ Список комментирован и датирован одновременно тремя исследователями: М. А. Цявловским (в сборнике «Рукою Пушкина», М., 1935, стр. 276—278), Д. П. Якубовичем (в Академическом издании сочинений Пушкина, т. VII (1-е изд.), 1935, стр. 376) и Б. В. Томашевским (там же, стр. 550). Датировали его вразем после 29 июля 1826 и до 20 октября 1828 года. Уточнение датировки сделано М. А. Цявловским (в «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина», т. I, стр. 720), который предложил ограничить датировку июлем—августом 1826 года (под июлем следует разуметь только последние три дня месяца — после доказательств М. А. Цявловского и Б. В. Томашевского, что список составлен после 29 июля). За 1826 год говорит то, что здесь записана тема «Беральд Савойский»; выписки об этом средневековом легендарном герое Пушкин делал в июле 1826 года и больше к нему не возвращался (см.: Рукою Пушкина, стр. 497—501); о замыслах драм «Ромул и Рем», «Дон Жуан», о Лжедмитрии и Василии Шуйском Пушкин говорил в Москве С. П. Шевыреву осенью 1826 года (см.: «Москвитянин», 1841, ч. V, № 9, стр. 245; Л. Майков. Пушкин. СПб., 1899, стр. 351); о том, что у Пушкина, кроме «Бориса», есть еще «Самозванец» и «Моцарт и Сальери», записал со слов Д. В. Веневитинова М. П. Погодин в своем дневнике 11 сентября 1826 года (см.: «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX, 1914, стр. 73); о «трагедии Павла», наконец, говорил Пушкин в обществе Мицкевича, Дмитриева и других на вечере у Полевых 19 февраля 1827 года (см.: Т. Цявловская. Пушкин в дневнике Франтишка Малевского. «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 266, 264, 268).

⁵¹ С. Бонди. Драматургия Пушкина и русская драматургия XIX века. Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», стр. 398—399.

Пушкин не опускался до дешевых ухищрений несложной фантастики французского прототипа).

Пушкина интересовала психологическая задача: что происходит в душе носителя всего злого, когда он испытывает чувство, ему чуждое, — любовь? Как раскрывается любовь (момент кульминации всех лучших чувств в человеке), когда это чувство западает в сердце исчадия ада? Как сочетаются противоречивые страсти — любовь и ненависть?

В ранних набросках поэмы будущий герой ее еще не показан. (Нет, конечно, никаких решительно оснований видеть его в образе «ужасного сатаны», хохочущего при столах грешников).

В повести реалистического жанра «Влюбленный бес» герой является олицетворением эгоизма, коварства, бездушия, насколько можно судить по тем скромнейшим данным, которыми мы располагаем (авторский план повести и отражение ее в повести Титова).

Вслед за планом повести (1822) Пушкин в конце 1823 года написал стихотворение «Демон», в котором раскрыл характернейшие черты холодного скептицизма, охлаждающего юношеское вдохновение.

Заметка об этом стихотворении, написанная поэтом в 1825 году, развивает в прозе его мысли о влиянии на «нравственность нашего века» этих осуждающих юношескую душу сомнений:

«В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало по малу вечные противуречия сущности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души. Недаром великий Гете называет вечного врага человечества *духом отрицающим*. И Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения? и в сжатой картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оно на нравственность нашего века» (XI, 30).⁵²

Следующей ступенью размышлений поэта было, по-видимому, рассмотрение состояния души скептика, пораженного любовью. Именно этот психологический конфликт, столкновение чувств противоборствующих, и требовал драматургического раскрытия.

В основу движущего драму героя должны были быть, очевидно, положены черты образа стихотворения «Демон».

Самое заглавие «Влюбленный бес», помещенное Пушкиным в список задуманных им драматических произведений, органически входит в круг аналогичных заглавий так называемых «маленьких трагедий».

Антитеза понятий, трагическое столкновение несовместимых начал — вот основа драматических этюдов Пушкина: «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», преклонение и зависть — в «Моцарте и Сальери».

Четвертая пьеса названа «Каменный гость». Но не в противоречии этих двух несочетаемых представлений, названных в заглавии, — драматический узел пьесы. Пушкин показывает внутренний мир героя, вчера еще беспечно игравшего чувствами оставляемых им женщин и бездумно

⁵² Заметка эта, как видно по тексту, готовилась к печати. Пушкин от имени постороннего писателя хотел опровергнуть распространившуюся и проникшую в печать молву о том, что в стихотворении «Демон» автор дал портрет Александра Раевского. Заметка так и начинается: «Думаю, что критик ошибся. Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в „Демоне“ цель иную, более нравственную». Возможно, что поэт хотел поручить напечатать заметку самому в ту пору близкому ему писателю — Вяземскому, за его подписью.

убивавшего своих противников, — а сегодня полюбившего подлинной, настоящей любовью. (Пьеса и называлась в перечне 1826 года по имени героя — «Дон Жуан»). Столкновение противоборствующих, неуживающихся начал в психике человека неминуемо ведет к катастрофе.

Мы вправе поставить вопрос: не оставил ли Пушкин свой замысел драматургического осуществления «Влюбленного беса» потому, что трагическая сущность заложенного в нем конфликта после многолетних исканий нашла свое разрешение в гениальном «Каменном госте»?

Противоречивое сочетание чувства ненависти и любви в одном существе Пушкин изобразил. Но не в многообразном трагедийном раскрытии страсти, а в небольшом лирическом стихотворении-картине, где ради еще сильнейшей антитезы демон представлен полюбившим не женщину земную, а одного из антиподов своих, «чистого духа», ангела.

Стихотворение это, родившееся вместо задуманной драмы (спустя несколько месяцев после записи этой темы в списке драм), является своего рода полемикой со стихотворением «Демон», неожиданным освещением новой, контрастной, светлой стороны темного образа.

А н г е л

В дверях эдема ангел нежный
 Главой поникшею сиял,
 А демон мрачный и мятежный
 Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
 На духа чистого взирал
 И жар невольный умиленья
 Впервые смутно познавал.

«Прости, он рек, тебя я видел,
 И ты недаром мне сиял:
 Не всё я в небе ненавидел,
 Не всё я в мире презирал».

Как видим, тема, волновавшая Пушкина шесть лет, с 1821 года, властно требовавшая своего осуществления, завершилась картиной, статическим изображением мгновения, когда демон понял, что он полюбил и что пошатнулась основа его существа.

4

Нам следует рассмотреть вопрос о связи рассказанной Пушкиным в обществе повести с сложной историей вариаций многолетнего его замысла «Влюбленный бес».

Но прежде чем перейти к этому вопросу, я позволю себе коснуться того, как отнеслась критика к повести «Уединенный домик на Васильевском», критика, современная первой публикации (1829), и критика времени второго рождения повести (1912—1913), открытой как произведение, связанное с именем Пушкина.

Пресса пушкинского времени единодушно осудила повесть. Три рецензии, все анонимные, выступили в одном роде.

«„Уединенный домик на Васильевском острове“, — писал рецензент «Северной пчелы», — повесть соч. автора, скрывшего свое имя под вымышленным прозвищем *Тита Космократова*. Рассказ не дурен, но с боль-

шими слишком подробностями, по примеру немецких отчетистых повестей; проишествие довольно занимательно».⁵³

«„Уединенный домик на Васильевском острове“ (Тита Космократова), — читаем мы в статье «Московского телеграфа», — повесть в роде новых немецких повестей: в ней лица русские, но нет ничего русского, да мало и складу. Признаемся, что нам и у немцев надоели все эти *Fantasiestücke*, где путают бедного черта небывальщиною, все эти шалости воображения, где не говорят ни с умом, ни с сердцем читателей».⁵⁴

Наиболее подробный отзыв дала «Галатей»: «„Уединенный домик на Васильевском“, соч. Тита Космократова. Эта повесть, которую гораздо приличнее было бы назвать сказкою, показалась нам самую худшую прозаическую статью в альманахе. Сочинитель, изучивший, как видно, все подобного рода немецкие бредни последней четверти прошедшего столетия, вздумал и у нас на Руси вывести на сцену сатану и приманивать читателей нескладною бесовщиною. Скажем откровенно, что попытка и выдумка его самые неудачные. Изобретение вялое, не обнаруживающее в изобретателе ни тени художественного таланта, лишено всякого, даже поэтического, вероятно, и на каждой строчке бросается в глаза своими несообразностями. Способ изложения сухой и утомительный; язык неровный, педантический и часто грешный против грамматики. Заметим еще, что в этой повести попадаются выходки довольно грубые, не свойственные общепринятому тону образованного общества и которых весьма не хотелось бы встречать в одном из лучших наших альманахов. Приглашаем любопытных взглянуть на страницы 183, 186, 187: там увидят они, как отличился почтенный Тит Космократов. Но довольно о бездарном».⁵⁵

Таким образом, органы Булгарина, Полевого и Раича укоряли повесть за немецкий характер ее, за длинноты, сухое изложение, педантический и неровный язык.

Выше было приведено и решительное осуждение повести большим художником — Жуковским.

Совершенно иное читаем мы в прессе начала XX века, когда целая плеяда русских писателей и литературоведов триумфально встретила появление «новой пушкинской повести». Это был ответ на сенсационное сообщение В. П. Титова о том, что его повесть «в строгом историческом смысле... вовсе не продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина».⁵⁶

Все наперерыв стали писать о повести, все увидели в ней прямые связи с другими произведениями Пушкина.⁵⁷

⁵³ Новые альманахи на 1829 год. «Северная пчела», 1829, № 6, 12 января.

⁵⁴ «Московский телеграф», 1829, ч. 25, № 1, стр. 106.

⁵⁵ «Галатей», 1829, ч. I, № 5, стр. 272—273.

⁵⁶ Барон А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, т. I, стр. 158.

⁵⁷ Повесть была тотчас же перепечатана, с предисловием П. Е. Щеголева, под заглавием «Уединенный домик на Васильевском. Рассказ А. С. Пушкина, записанный В. П. Титовым», в газете «День» (1912, №№ 81—83, 22—24 декабря). Через несколько дней повесть появилась и в первой книжке журнала «Северные записки» за 1913 год со статьей Н. О. Лернера «Забывтая повесть Пушкина» (стр. 184—188). В 1914 году была написана статья В. Ф. Ходасевича «Петербургские повести Пушкина» (она была напечатана в журнале «Аполлон», 1915, № 3, стр. 33—50, и вошла в его книгу «Статьи о русской поэзии», Изд. «Эпоха», Пгр., 1922, стр. 58—96). Трижды вышла повесть и отдельными изданиями: 1) Уединенный домик на Васильевском. Рассказ А. С. Пушкина по записи В. П. Титова. С послесловием П. Е. Щеголева и Федора Сологуба, изд. товарищества писателей, СПб., 1913; 2) А. С. Пушкин. Уединенный домик на Васильевском. Повесть. Изд. «Освобождение», Пгр.—М., 1914; 3) Пушкин—Титов. Уединенный домик на Васильевском. Повесть. Вступительная статья В. Ходасевича. Изд.

Н. О. Лернер отмечал, что «бытовыми чертами повесть роднится с „Домиком в Коломне“ и „Медным всадником“». ⁵⁸ В. Ф. Ходасевич писал уже о сходстве «Уединенного домика» с «Домиком в Коломне», «Медным всадником», «Пиковой дамой». «Основанием всей группы» он считал «Уединенный домик на Васильевском», «основной темой» их — «столкновение человека с темными силами, его окружающими». ⁵⁹ Но Ходасевич настолько был во власти мистических настроений определенной группы русской дореволюционной интеллигенции, что, будучи сам поэтом, он не понял, что темные силы у поэта Пушкина — образ, что большое искусство многопланово, что не «темными силами» определяются важнейшие идеи Пушкина в его «петербургских повестях».

Так обстояло дело в предреволюционном пушкиноведении. Но и позднее, уже в наши дни, исследовательница, свободная от мистических настроений, В. Писная укоряла В. Ф. Ходасевича в том, что, «обратив усиленное внимание на установление черт сходства и поиски бесовских сил в этих повестях (причем даже неизвестный молодой человек, пробравшийся под видом кухарки в «Домике в Коломне» был пожалован в бесы), Ходасевич упустил из виду различие, заключающееся в любви беса к женщине, — мотив, кстати сказать, очень излюбленный романтической литературой; у Пушкина он больше не встречается». Далее В. Писная указывает, что «сюжет дает прекрасный материал» для обработки его в драматической форме: «... здесь, как и в маленьких трагедиях, основная тема — развитие страсти, только не в человеческой, а в дьявольской душе» (1). Наконец, исследовательница приходит к выводу, что «„Домик в Коломне“ является... по отношению к „Влюбленному бесу“ тем же, чем „Повести Белкина“ в отношении маленьких трагедий: разработкой того же сюжета, только в обыденной обстановке». ⁶⁰ Все эти домыслы остаются лишь декларированными, но недоказанными и рушатся при более глубоком изучении материалов.

Я не собираюсь осуждать названных выше ученых и писателей за их преувеличенные оценки повести «Уединенный домик на Васильевском». Но в настоящее время, кажется мне, нужно отказаться от безоговорочных восхищений слабой повестью Тита Космокротова, от мысли о включении ее в собрание сочинений Пушкина, хотя бы и в приложении, ⁶¹ и удовлетвориться констатацией, что замысел повести и ряд интересных деталей ее отражают замысел молодого Пушкина и некоторые живые черты условно-

«Универсальная библиотека», М., 1915; изд. 2, 1916. В издании «Освобождения» не сказано ни слова о Титове, нет ни введения, ни послесловия. Это было уже предпринятое спекулятивное. Наконец, повесть была даже введена в собрание сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова (т. VI, Пгр., 1915), в отдел «Новые приобретения пушкинского текста», со статьей Н. О. Лернера (стр. 192—194), почти без изменений повторяющей его статью 1913 года. Издания эти вызвали живой отклик в рецензиях, среди которых выделяется трезвое суждение критика, подошедшего к повести Титова с точки зрения ее художественной формы: «...сквозь тяжеловесную структуру ее (записи Титова) стиля почти совсем не пробивается классически простая, изящная пушкинская речь. И до тех пор, пока наши пушкинисты не проделают над рассказом сложного стилистического анализа, пока не вскроют, что от Пушкина и что от Титова, вводить его в инвентарь пушкинских произведений было бы слишком преждевременно» (Н. Бродский. Новое о Пушкине. «Голос минувшего», 1913, № 4, стр. 271).

⁵⁸ «Северные записки», 1913, № 1, стр. 187.

⁵⁹ «Аполлон», 1915, № 3, стр. 48.

⁶⁰ В. Писная. Фабула «Уединенного домика на Васильевском». «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, 1927, стр. 24. Основной задачей автора было сравнить программу повести «Влюбленный бес» с «Уединенным домиком».

⁶¹ Рассказ «Уединенный домик на Васильевском» в советское время не перепеча-

литературной фантастики, вплетающейся в повседневную жизнь, нарисованную реалистически.

Вернемся к вопросу о рассказанной Пушкиным новелле и о ее отношении к раннему замыслу поэта.

Новеллу о влюбленном бесе Пушкин рассказывал в обществе в период между весной 1827 и осенью 1828 года.⁶²

Чем объяснить этот внезапный поворот творческой мысли писателя, это возвращение к давно, казалось бы, оставленному замыслу?

Отказавшись от поэмы о влюбленном бесе с романтическим изображением ужасов ада, «Где море адское клокочет, Где, грешника внимая стон, Ужасный сатана хохочет», отказавшись от бытовой повести («Москва в 1811 году...») с введением в нее «потусторонних сил», придя к решению о драматургическом изображении чувства любви у духа зла, изображении, так и оставшемся неосуществленным, как мог художник вновь вернуться к новелле с дьявольскими силами, извозчиком-скелетом, пожаром, с видением и прочей нехитрой фантастикой?

И как же объяснить факт рассказывания Пушкиным в обществе новеллы, записанной Титовым?

Напомню строки одного из ранних биографов Пушкина, писавшего со слов лиц, знавших поэта: «Прекрасная среда, его окружавшая, красота и любезность молодых хозяек действовали на нашего поэта весьма возбуждительно, и он, проводя почти каждый вечер у князя Урусова, бывал весьма весел, остер и словоохотлив. В рассказах, импровизациях и шутках бывал в это время неистощим. Между прочим, он увлекал присутствовавших прелестною передачей русских сказок. Бывало, всё общество соберется вечерком кругом большого круглого стола, и Пушкин поразительно увлекательно

тывался в собраниях сочинений Пушкина вплоть до второго малого Академического издания в десяти томах (1956—1958), где редактор Б. В. Томашевский поместил рассказ в девятом томе, вышедшем уже после его кончины. Рассказ здесь дан в «Приложении» (стр. 507—540), и его включение мотивировано тем, что «данная повесть является записью устного рассказа Пушкина, просмотренною им самим; самый рассказ — не случайная импровизация, а изложение давнего замысла, над которым Пушкин, видимо, не раз размышлял» (стр. 549). Редакция настоящего сборника, соглашаясь с этой мотивировкой, считает вполне целесообразным помещение повести в приложении к полному собранию сочинений Пушкина. — *Ред.*

⁶² Это было не ранее приезда Пушкина, впервые после ссылки, в Петербург, где он мог встречаться с В. П. Титовым у Карамзиных. Титов переехал из Москвы в Петербург в конце апреля—начале мая 1827 года (определяется письмами В. Ф. Одоевского и Титова к М. П. Погодину, хранящимися в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина в Москве). Пушкин же приехал в Петербург после ссылки числа 22 мая 1827 года. Последний срок, когда Пушкин мог рассказать свою повесть, — середина октября 1828 года. 19 октября он был вечером на праздновании лицейской годовщины, откуда и уехал в Малинники. 27 ноября 1828 года повесть поступила в цензуру (см. выше), а к возвращению поэта в Петербург — в январе 1829 года — альманах с повестью «Уединенный домик на Васильевском» уже вышел в свет. Из этого периода исключается время поездки Пушкина в Михайловское в 1827 году (с конца июля по 16 октября). Таким образом, датировка эпизода рассказывания Пушкиным у Карамзиных «Влюбленного беса» сводится к двум возможным периодам: 1) с конца мая по конец июля 1827 года или 2) с конца октября 1827 по середину октября 1828 года. Мы должны были бы учесть и замечание Титова, что Екатерина Николаевна Карамзина не была еще тогда замужем (вышла она замуж 27 апреля 1828 года). Мы могли бы прибавить к этому и то соображение, что в письмах Вяземского к жене из дома Карамзиных в Петербурге, где он прожил в связи со свадьбой племянницы с 27 февраля по 6 июня 1828 года, о рассказе Пушкина упомянутый не находится, а Вяземский писал жене ежедневные подробные реляции о своем времяпрепровождении. Но на этих данных настаивать не приходится, потому что мы знаем о характернейших для мемуаристов абберациях памяти, особенно часто сдвигающих события, фактически разделенные во времени.

переносит слушателей своих в фантастический мир, населенный ведьмами, домовыми, лешими, русалками и всякими созданиями народного эпоса».⁶³ (Имеется в виду почти то же время — весна 1827 года в Москве).

Так и здесь. Пушкин вдохновлялся в обществе юных слушателей и в особенности слушательниц, среди которых находилась Екатерина Николаевна Карамзина, «обожаемая» Пушкиным, по выражению Титова; именно ей, восемнадцатилетней девушке, Пушкин писал в это время свое почти молитвенное стихотворение, так и названное «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной».

И вот, чтобы увлечь ее, завладеть ее воображением, Пушкину нужно было рассказать что-то необыкновенно интересное. Изображение сильной страсти влюбленного беса не было написано, драмы не существовало. И для рассказа в обществе требуется другое: нужна занимательность, фантастика, врывающаяся в реальную жизнь, страшные моменты.

Импровизация Пушкину не была свойственна. Недаром еще в детстве, состязаясь с товарищами в рассказах, он пересказал изумленным своим слушателям «Громобоя» Жуковского.⁶⁴

Уже вернувшись из ссылки, как мы только что видели, он рассказывал в обществе русские сказки. Точно так же и тут — у Карамзиных, у Дельвигов в обществе А. П. Керн — поэт извлек из запаса своей памяти давно сочиненную и брошенную вещь — новеллу о влюбленном бесе.⁶⁵

Варианты, возникавшие в рассказе, слышанном Титовым, не говорят о том, что Пушкин вновь работал в это время над новеллой и вносил в нее исправления. Варианты, введенные по сравнению с планом повести, — лишь случайные видоизменения эпизодов, отчасти вынужденные обстановкой рассказа в обществе молодых девушек. Именно это и заставило, например, Пушкина опустить эпизод с веселой женщиной, к которому он когда-то нарисовал иллюстрацию.

Некоторые детали, появившиеся в изустном рассказе, взяты Пушкиным из другого оставленного поэтом произведения — замысла поэмы о Фаусте.⁶⁶

И так легко позволил Пушкин Титову напечатать услышанную от него новеллу и даже сам прикоснулся как-то к его рукописи потому, что не жаль было поэту своей старой, брошенной вещи. Он был уже к ней равнодушен. Она не была ему больше нужна.

Несколько слов в заключение.

Первоначальной задачей моей было расширить узкий круг наших представлений об одном замысле Пушкина, от которого дошло много разрозненных текстовых материалов, путем привлечения в сферу наших изучений материалов иного рода, остававшихся до сих пор в стороне. Я говорю об авторских рисунках Пушкина, иллюстрирующих его замысел.

Литературовед, изучающий рукописи художественного произведения писателя, обычно игнорирует авторские рисунки, сопровождающие текст,

⁶³ М. Семевский. К биографии Пушкина. «Русский вестник», 1869, т. 84, № 11, стр. 82.

⁶⁴ См.: П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. В кн.: Пушкин, Сочинения, т. I, стр. 19.

⁶⁵ Соображение, что в 1827—1828 годах, т. е. уже после замысла драмы о влюбленном бесе, повесть с чертовщиной уже не могла жить в творческом сознании Пушкина и что рассказывание ее в обществе объясняется побуждением занять слушателей чем-то интересным, принадлежит С. М. Бонди.

⁶⁶ Связи эти двух замыслов обнаруживаются и в отдельных эпизодах текста, и в обильном иллюстрировании произведения, и в первоначальном увлечении представлением картин ада, и в постепенном освобождении поэта от «адской» темы, в переводе образа Мефистофеля — исчадия ада — в психологический тип глубокого скептика и циника.

считаю, что изучение рисунков — не его задача. Разделение это неправомерно.

Разобщенное изучение литературного произведения по рукописям, без привлечения рисунков поэта, представляется мне теперь пройденным этапом пушкиноведения, когда исследователь еще не решался думать о поэтическом творчестве Пушкина, разглядывая его рисунки; когда он считал, что его дело — изучать литературное произведение, а дело искусствоведа — изучать рисунки; когда он не отдавал себе отчета в том, что психическая творческая организация писателя едина: она создает его поэтические творения и она же направляет его руку, якобы бездумно набрасывающую рисунки.

Но пользоваться этим методом надо очень осторожно, не поддаваясь искушению безответственной фантазии, которая, как мы видели, легко может повести по ложному следу.

Мне хотелось показать, что только благодаря совместному анализу стихотворного наброска Пушкина и рисунков, сопровождающих его черновики, удастся установить, что отрывок «Вдали тех пропастей глубоких» является фрагментом романтической поэмы о влюбленном бесе.

Точно так же выясняется, что известный многофигурный рисунок Пушкина, постоянно связывавшийся с жизненными впечатлениями поэта, является автоиллюстрацией к следующему этапу работы Пушкина над его замыслом, когда поэт думал осуществить «Влюбленного беса» в жанре реалистической повести.

Метод совместного изучения литературных и графических набросков поэта оказался плодотворным и существенно продвинул изучаемую тему.

Он приводит к установлению единственной в своем роде в творчестве Пушкина сюиты метаморфоз замысла в виде подступов к романтической поэме, к повести в прозе, к драматическому этюду, к лирическому стихотворению, которое было поэтом завершено и даже напечатано.

Важны и выводы об изменении художественного выражения образа героя, в существе своем оставшегося почти неизменным на протяжении многих лет, пока тема сопутствовала Пушкину.

В начале работы над замыслом Пушкин воплощал, как мы видели, образ влюбленного беса в самом первом его смысле — в виде беса (и место действия протекало в аду).

В следующем этапе герой оказывался перенесенным в обыденную реальную жизнь на земле; соответственно он принимал вид человека, но сохранял свои традиционные приметы — рога, хвост и, главное, потустороннюю дьявольскую силу; он не отрывался еще от своего первозданного образа.

Однако мысль поэта развивалась и требовала воплощения в искусстве. Поэт обращался к новой форме раскрытия своей идеи — к драматическому этюду с его богатейшими возможностями показа противоборствующих страстей — любви и ненависти — в психике героя (названного еще «влюбленным бесом»). Но и эта форма художественного выражения отпала, как отпадали предшествующие.

Замысел Пушкина ищет и обретает всё новые формы для выражения его сущности, его идеи. Но эти этапы его воплощения требуют для своего обоснования специального исследования.



Ю. М. ЛОТМАН

К ЭВОЛЮЦИИ ПОСТРОЕНИЯ ХАРАКТЕРОВ В РОМАНЕ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Вопрос о возникновении замысла «Евгения Онегина» — один из наименее ясных. Исследовательская литература ограничивается обычно общим указанием на эволюцию от сатиры к социально-бытовому роману и на связь с идейно-тематической установкой «южных» поэм (образ «молодежи XIX века»)¹.

Зарождение замысла романа в стихах не может быть понято вне учета своеобразия художественных тенденций творчества Пушкина кишиневского периода.

Близость к кишиневской ячейке декабристской организации отразилась на всем строе произведений этого периода. Одной из характерных сторон пушкинского творчества 1822—1823 годов наряду с тяготением к гражданской тематике, ростом критического отношения к карамзинизму является обострение интереса к сатире. Б. В. Томашевский, реконструируя кишиневское послание к Вяземскому, содержащее характерный стих:

Но Феб во гневе мне промолвил: будь сатирик, —
(II, 2, 680)²

с полным основанием заключает: «Эти строки свидетельствуют о сатирическом настроении Пушкина в кишиневскую эпоху».³

Интерес к сатире соответствовал программным установкам декабристской поэзии. Бич сатиры «В руке суровой Ювенала»⁴ — устойчивый образ декабристской политической жизни. Сатирический метод вытекал из аги-

¹ Последнее см., например, в статьях Г. Поспелова «„Евгений Онегин“ как реалистический роман» (Пушкин. Сборник статей. Под редакцией А. Еголина. Гослитиздат, М., 1941, стр. 79—80) и А. Н. Соколова «От комической поэмы к социально-политическому роману (О композиции «Евгения Онегина»)» (Труды Орехово-Зуевского педагогического института. Кафедра языка и литературы, М., 1936, стр. 68—94). В последней по времени работе — статье Н. Н. Фатова «О „Евгении Онегине“ А. С. Пушкина (К вопросу об истории создания романа)» («Ученые записки Черновицкого государственного университета», т. XIV, серия филологическая, вып. 2, 1955, стр. 75—129) — автор стремится рассматривать художественный текст Пушкина лишь в качестве цензурной ширмы. Предвзятое мнение о необходимости «вычитать» другой, «потаенный» смысл приводит автора к ряду спорных построений, малоплодотворных для анализа пушкинского текста.

² Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии наук СССР, 1937—1949.

³ Б. Томашевский. Из пушкинских рукописей. «Литературное наследство», кн. 16—18, 1934, стр. 290.

⁴ В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I. Изд. «Советский писатель», Л., 1939, стр. 45; ср. его же «розги Ювенала» (там же, стр. LIX).

тационной направленности искусства и был второй стороной требования создания «высоких» положительных образов, выражающих авторские идеи и чувства. В раннем послании Пушкина, уже на пороге гражданской поэзии декабристской поры, рядом с героизированным образом сурового республиканца-римлянина находим:

Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.

(«Лицинию», 1815—1825).⁵

Однако, если обличительный пафос при характеристике современности был неотъемлемой чертой декабристской поэзии, то сама природа сатирических жанров существенно влияла при этом на весь строй стихотворения. Гражданственно-героическая лирика создавала один образ — образ, равный авторскому сознанию. При этом, если поэтический мир подобного произведения был един в своей субъективности, то сатира вносила антитезу обличающему авторскому сознанию — мир объективных жизненных явлений. Рядом с обличающим авторским «я» появляется «изнеженное племя переродившихся славян», «надменный временщик»⁶ — объект обличения.

Союз благоденствия проявляет живую заинтересованность в деятельности литературы. «В это время главные члены Союза благоденствия вполне ценили предоставленный им способ действия посредством слова истины, они верили в его силу и орудовали им успешно», — писал И. Д. Якушкин.⁷ Это предъявляло особые требования и к сатире. Произведение типа послания «Лицинию» давало возможность в условно-римских образах осудить современность и прославить республику. Политическую мысль подобной остроты выразить на современном материале в приемлемом для цензуры виде было невозможно. Однако, выигрывая в широте политической перспективы, стихотворение такого типа теряло в конкретности сатирического обличения, что было неизбежно при условно-античной системе образов. Между тем установка Союза благоденствия, не требуя непосредственных призывов к республике и революции, подразумевала обличение вполне конкретных противников: аракчеевщины, придворной мистики, антинационального воспитания, увлечения легкой поэзией, цензурного гнета и т. д., причем подразумевалось не только обличение современных пороков, но и конкретных их носителей. В этих условиях особую важность приобретала эпиграмма, которая теряла значение периферийного литературного жанра. Эпиграмма не только сама по себе привлекала писателей скрытыми в ней сатирическими возможностями, но и оказывала влияние на другие жанры. В этом отношении любопытно сравнить два стихотворных послания Пушкина: написанное в более ранней стилистической манере (хотя и датированное 1822 годом) послание к Ф. Н. Глинке, в котором положительному образу Гражданина, Аристиды, противопоставляются условные «Венки пиров и блеск Афин» (II, 1, 273), и послание «Чадаеву» (1821). Система отрицательных персонажей в последнем не только прямо связана с современностью, но и распадается на ряд недвусмысленно пор-

⁵ Цитируется по тексту, напечатанному в «Стихотворениях Александра Пушкина» издания 1826 года (II, 1, 12). Текст «Российского музеума» 1815 года (I, 113) имеет незначительные варианты («Свой дух воспламеню Петроном, Ювеналом, В гремящей сатире...»).

⁶ Выражения К. Ф. Рылеева в стихотворениях «Гражданин» и «К временщику».

⁷ И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма. Редакция и комментарии С. Я. Штрайха. Изд. Академии наук СССР, М., 1951, стр. 24.

третних образов (Ф. И. Толстой-американец, М. Т. Каченовский и пр.). Достаточно сравнить текст послания с эпиграммой на Толстого-американца («В жизни мрачной и презренной»; 1820), чтобы убедиться в их явной стилистической взаимозависимости. Еще более показательно послание к Вяземскому («Язвительный поэт, остряк замысловатый»; 1821). Насколько позволяет судить фрагментарный текст, стихотворение представляет собой демонстративный отказ от культивировавшейся в кругу карамзинистов изящной и отвлеченной сатиры и отстаивает право сатирика на оскорбительную «личность». Послание, видимо, связано с эпистолярной полемикой между Пушкиным и Вяземским. 1 сентября 1822 года Пушкин писал: «Уголовное обвинение, по твоим словам, выходит из пределов поэзии; я не согласен. Куда не достягает меч законов, туда достает бич сатиры. Горацианская сатира, тонкая, легкая и веселая, не устоит против угрюмой злости тяжелого пасквиля» (XIII, 43). Если в письме речь идет об одной эпиграмме, то в послании поэт склонен трактовать вопрос более расширительно, требуя персональной сатиры и резких характеристик конкретных литературных и политических противников:

И в глупом бешенстве кричу я наконец
Хвостову ты дурак — а Стурдэе ты подлец.

(II, 2, 677).

Подобные споры имели значение и для теории комедии как сатирической картины современного общества, осуждаемого с позиции высоких политических идеалов автора. Созданная еще Шаховским комедия-карикатура сыграла при этом ту же роль, что и эпиграмма в поэзии, явившись средством приближения сатиры к современности (ср. в письме Грибоедова к П. А. Катенину: «портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии»⁸).

Захвативший Пушкина в Кишиневе интерес к сатире находился в русле развития передовой литературы той эпохи и в общих чертах совпадал с литературными установками Союза благоденствия. Сказанное может объяснить возникновение одного пушкинского замысла.

Отрывок комедии Пушкина «Скажи, какой судьбой...» привлекал уже неоднократно внимание исследователей. Еще П. В. Анненков считал, что «Пушкин хотел написать... комедию или драму потрясающего содержания... выставить в позорном свете безобразия крепостничества».⁹ Эта точка зрения в последнее время была поддержана С. М. Бонди¹⁰ и Б. В. Томашевским,¹¹ справедливо указавшими на несостоятельность точки зрения Н. О. Лернера¹² и А. Л. Слонимского,¹³ считавших, что этот замысел — набросок «легкой комедии» в духе Н. И. Хмельницкого, и явно недооценивавших серьезность темы крепостного права для Пушкина кишинев-

⁸ Грибоедов, Сочинения, Гослитиздат, Л., 1945, стр. 482.

⁹ П. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, СПб., 1874, стр. 160.

¹⁰ С. Бонди, Драматургия Пушкина и русская драматургия XIX века. Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1941, стр. 374—376. Среди ряда других тонких наблюдений С. М. Бонди отмечает «эпиграмматически построенные фразы» комедии (там же, стр. 375).

¹¹ Б. В. Томашевский, Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1953, стр. 179—183; Б. Томашевский, Пушкин, кн. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 444—447.

¹² Пушкин, Под редакцией С. А. Венгерова, т. II. СПб., 1908, стр. 587.

¹³ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VII, Изд. Академии наук СССР, 1935, стр. 667.

ского периода. Однако А. Л. Слонимскому принадлежит ценное сопоставление героя комедии с образом Репетилова.

В беседе брата и сестры рисуется общество, в котором проводит время герой. Это люди, которые, «пустясь в шестнадцать лет на волю, Привыкли в трех войнах лишь к лагерю да к полю» (VII, 246, 365), т. е. участники походов 1812, 1813 и 1815 годов. В «шестнадцать лет» (в окончательном тексте — «пятнадцать») — деталь также выразительная: речь идет о молодежи, добровольно вступившей в армию в 1812 году. Бежавший в 1812 году из дому в армию Н. М. Муравьев на следствии показывал: «Имея от роду 16 лет, когда поход 1812 года прекратил мое учение, я не имел образа мыслей, кроме пламенной любви к отечеству».¹⁴ Пример Муравьева в данном случае, конечно, не исключение. Шестнадцати лет принял участие в военных действиях С. И. Муравьев-Апостол и И. Д. Якушкин, семнадцати лет вступил в армию Грибоедов, пятнадцати лет «пустился на волю» гардемарин гвардейского экипажа князь Д. А. Щепин-Ростовский и т. д. В комедии рисуется определенный общественный тип молодежи, которая не ездит на балы, не танцует (о значении этой детали см. ниже), «В кругу своем они О дельном говорят» (VII, 246). Облик общества без карт и танцев достаточно красноречив. Следует иметь в виду, что понятие «дела» и «дельного» в околодекабристской литературе имело определенный смысл. Вспомним характеристику вечеров у И. П. Липранди в его мемуарах: «Здесь не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским».¹⁵ Анонимный автор, составивший явно с декабристских позиций биографию В. Д. Вальховского (по предположению Ю. Н. Тынянова — Е. А. Розен), осуждая «светские» ноты поэзии Пушкина, считал, что, если бы Малиновский «довел первый выпуск до конца», «в его (Пушкина, — Ю. Л.) поэзии просвечивал бы более дельный и, главное, нравственный характер».¹⁶ Наконец, в словах сестры содержится и прямая характеристика людей этого круга: «Добро <бы> либералы» (VII, 366). Термин «либерал» был уже совершенно недвусмысленным. Доносчик А. И. Майборода писал: «В России назад тому уже десять лет, как родилось и время от времени значительным образом увеличивается тайное общество под именем общество либералов».¹⁷ Булгарин в доносе на лицейскую молодежь писал: «Верноподданный значит укоризну на их языке, *европеец* и *либерал* — почетные названия».¹⁸

Однако сам герой не похож на такую молодежь. На это указывают и слова сестры, противопоставляющей его «либералам» — «да ты-то что?» (VII, 366). Он «не видал походной пыли сроду» (VII, 246), он — картежник, способный проиграть крепостного слугу. М. И. Муравьев-Апостол в письме к И. Д. Якушкину, многозначительно намекая на связь интереса

¹⁴ Восстание декабристов, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1925, стр. 294.

¹⁵ «Русский архив», 1866, № 7, стлб. 1255.

¹⁶ Цитируется по статье Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер» («Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 327). Ср. комическое для Грибоедова сочетание в речи Репетилова:

... дельный разговор зашел про водевиль.

(Д. IV, явл. 6).

¹⁷ Восстание декабристов, т. IV, 1927, стр. 8.

¹⁸ «Былое», 1918, № 1, стр. 16; ср.: В. Виноградов. Из истории русской литературной лексики. «Ученые записки Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина», т. XLII, кафедра русского языка, 1947, стр. 6—7.

к картам с атмосферой реакции и упадком политических интересов, писал: «После войны 1814 года страсть к игре, так мне казалось, исчезла среди молодежи. Чему же приписать возвращение к этому столь презренному занятию».¹⁹

Комедия должна была, видимо, не только осудить крепостничество, но и создать сатирический образ представителя «изнеженного племени переродившихся славян».

Сопоставление с кругом молодежи декабристского типа должно было резко оттенить сатирический образ самого героя. Это связывает набросок не только с рассуждениями декабристов об оригинальной комедии, но и с замыслом романа в стихах «Евгений Онегин».

Эволюция пушкинских оценок «Евгения Онегина» в письмах хорошо известна и неоднократно прослеживалась в исследовательской литературе. Не представляет чего-либо нового и мысль об общем характере перехода Пушкина от идеи сатирической поэмы к социально-бытовому роману. Гораздо сложнее вопрос, происходило ли за годы работы над романом только изменение в деталях сюжетной схемы, тоне авторского повествования или дело идет о гораздо более глубоких сдвигах, захватывающих самый характер художественного метода? На каком моменте работы поэта этот метод может быть определен как реалистический и был ли сам этот момент завершением эволюции художественного метода поэта, или внутри истории создания «Евгения Онегина» как реалистического произведения также можно наметить определенные этапы?

Замысел «Евгения Онегина» первоначально намечался в плане сатирического противопоставления высокому авторскому идеалу светского общества и светского героя. Круг тем и вопросов, которые Пушкин, судя по черновикам первой главы, собирался поместить в поле зрения героя, оценивался иногда в исследовательской литературе как «намек на активное свободомыслие, сближающие Онегина с Чацким».²⁰ Как мы увидим, замысел Пушкина был прямо противоположен. Обратимся к черновому тексту V строфы первой главы, приведенному в цитированном исследовании для доказательства «активного свободомыслия» Онегина. Герою приписывается интерес к спорам

О Байроне, о Манюэле,
О карбонарах, о Парни,
Об генерале Жомини.
(VI, 217).

Упоминания Байрона, «карбонаров» (в вариантах — гетерии) говорят сами за себя. Не менее показателен вариант:

О Benjamin, о Манюэле.

Имена эти в 20-е годы, видимо, ассоциировались с тем же кругом идей, что и карбонаризм и гетерия, — с подпольным революционным движением в Европе. В. С. Толстой на «дополнительные вопросные пункты» показывал: «Действительно мне Аниньков говорил, что наше общество соединено с польским, в котором не знаю, кто начальники, и с французским,

¹⁹ Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Предисловие и примечания С. Я. Штрайха. Изд. «Былое», Пгр., 1922, стр. 85; см. также: И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма, стр. 246.

²⁰ История русской литературы, т. VI. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1953, стр. 246.

в котором начальники Manuel и Binjamin-Constant».²¹ Однако подобная тематика бесед ни в какой степени не сближает героя с кругом «высоких» авторских идеалов (хотя то, что Байрон и европейское революционное движение были для Пушкина в Кишиневе вполне серьезными, идеологически значимыми темами, бесспорно). Вся строфа приобретает иронический оттенок, поскольку собеседниками героя оказываются светские дамы:

В нем дамы видели талант —
И мог он с ними в «самом деле»
Вести [ученый разговор]
И [даже] мужественный спор...

(VI, 217).

«Мужественный спор» в подобном контексте звучит явно иронически.²²

Авторская ирония проявляется и в том, что в одном ряду с политически острыми именами и темами оказываются Парни, магнетизм (см. там же — вариант). Вся беседа приобретает характер светской болтовни. Интерес к «генералу Жомини» у Онегина, конечно, не более глубок, чем у героя наброска комедии, который «век в биваке не живал» (VII, 365).

Противоречие между предметом беседы и политико-интеллектуальным обликом собеседников придает тону повествования характер иронии. Прием этот устойчиво характеризует Онегина в первой главе. С одной стороны, перечисляются черты, как бы сближающие героя с людьми декабристского круга, с другой — резко им противоположные, раскрывающие внешний, поверхностный характер этого сближения. Онегин не имеет «высокой страсти» к стихам, бранит Гомера, Феокрита и увлекается политической экономией. В контексте политических настроений 1818—1819 годов отрицательное отношение к поэзии не менее типично для передовой молодежи, чем увлечение Адамом Смитом. Стихи воспринимаются как нечто противоположное «дельным», т. е. общественно значимым занятиям. Н. И. Тургенев в проспекте «Общества 19 года XIX века» писал: «Где русский может почерпнуть нужные для сего общие правила гражданственности? Наша словесность ограничивается доньше почти одною поэзией. Сочинения в прозе не касаются до предметов политики». И далее: «Поэзия и вообще изящная литература не может наполнить души нашей, открытой для впечатлений важных, решительных».²³ В письме к брату Сергею Ивановичу (от 14 ноября 1817 года) Николай Тургенев жаловался на исключительно литературное направление «Арзамаса». Противопоставляя нововступивших членов-декабристов карамзинистам, он писал: «Другие члены наши лучше нас пишут, но не лучше думают, т. е. думают более всего о литературе».²⁴ Подобные настроения характеризовали и кишиневскую ячейку Союза благоденствия. Восклициание майора в «Вечере в Кишиневе» В. Ф. Раевского: «Я стихов терпеть не могу!»²⁵ — в высшей мере показательно. М. Ф. Орлов в письме Вяземскому от 9 сентября 1821 года писал: «Займися прозою, вот чего не достает у нас. Стихов уже довольно».²⁶

²¹ В. С. Толстой. Воспоминания. Публикация, вступительная статья и примечания С. В. Житомирской. В кн.: Декабристы. Новые материалы. Под редакцией М. К. Азадовского. М., 1955, стр. 131 (приложение — судное дело «О прапорщике Толстом Московского полка»).

²² Ср. в «Горе от ума» этот же прием для характеристики Репетилова.

²³ «Русский библиофил», 1914, № 5, стр. 17.

²⁴ Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1936, стр. 238—239.

²⁵ «Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 661.

²⁶ Там же, т. 60, кн. I, 1956, стр. 33.

Повлияла эта точка зрения и на Пушкина (ср. его набросок рассуждения о прозе — XI, 18—19; письмо Вяземскому от 1 сентября 1822 года — XIII, 44). Не случайно в черновиках «Послания цензору» (1822) появляется жалоба на то, что «прозы нет».²⁷ Нарастание оппозиционных настроений в среде передовой молодежи в период формирования декабристской идеологии сопровождалось усилением интереса к политической экономии. Н. И. Тургенев в предисловии к «Опыту теории налогов» писал: «Кроме существенных выгод, которые доставляет политическая экономия, научая, например, не делать вреда, когда стремишься к пользе, она благотворна в своих действиях на нравственность политическую», так как учит «ненавидеть всякое насилие», «любить правоту, свободу, уважать класс земледельцев», «верить одним только исследованиям и соображениям рас-судка».²⁸ По мнению А. И. Чернышева и П. Д. Киселева, разбиравших бумаги деятелей Южного общества, Пестель, «занимаясь умозрительными положениями политической экономии, в особенности же имея у себя рассу-ждения и мнения о упадке торговли, финансов и кредита в России, показы-вает ум, стремящийся к преобразованию существующего порядка вещей».²⁹ Интерес к политической экономии, как и вообще к политическим наукам, был оборотной стороной отрицания легкой поэзии.

Неоднократно комментируемое место из VII строфы первой главы сопоставлялось с отрывком из «Романа в письмах»: «...ты отстал от своего века — и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рас-суждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и поли-тическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг — нам было неприлично танцовать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это всё переменилось. Французский кадрили заменил Адама Смита... Охота тебе сидеть одному на скамеечке оппози-ционной стороны» (VIII, 1, 55).³⁰

Однако эта же цитата позволяет увидеть и вторую сторону в трактовке образа Онегина в первой главе. Политические науки мыслятся здесь как нечто противоположное пустому светскому времяпрепровождению, и в пер-вую очередь танцам. У Онегина то и другое совмещается. Это резко отде-

²⁷ Характерно противопоставление легкой поэзии, воспевающей «рощи да поля», «дельному» чтению: он хочет, может быть,

Проведать дельное иль сердце освежить
И чтемь обновить его существованье,
А должен он <терять> бесплодное <вниманье>
На <бредни новые какого-то враля>

(II, 2, 784).

(см.: Б. В. Томашевский. Из пушкинских рукописей. «Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 285). Любопытен другой пример, рисующий, явно под влиянием декабристов, весьма характерное отношение к поэзии. На заданный слуге Пестеля, крепостному Илье Митюрину, вопрос: «Не писал ли чего твой господин и когда именно» — последний, упорно, часто вопреки очевидности, стремившийся отвести обвинения от своего господина, ответил: «Ничего, кроме стихов, не писал» (Восстание декабристов, т. IV, стр. 30).

²⁸ Н. Тургенев. Опыт теории налогов. Изд. 2, СПб., 1819, стр. IV, V. Выход в свет второго издания книги Н. Тургенева совпадает с моментом действия первой главы «Евгения Онегина» и, следовательно, с рассуждениями Онегина об Адаме Смита.

²⁹ Восстание декабристов, т. IV, стр. 41.

³⁰ Намек на декабристов в черновом тексте был более явным: «оставаться на опустелых лавках оппозиционной стороны», «сидеть одному на опустелой лавочке левой стороны» (VIII, 2, 577).

ляет Онегина от свободолюбивой молодежи 1818—1819 годов и раскрывает поверхностный характер его увлечения новыми идеями. Перечисляемые Пушкиным качества раскрывают «модный» (этот эпитет часто повторяется), светский характер героя. Онегин скачет на бал (в черновых вариантах) «с бомондом всей столицы» (VI, 236), в театре «лорнет... наводит На ложи самых модных дам» (VI, 230). Он принадлежит к тому обществу, где, по характеристике поэта,

... говорят нерусским словом,
Святую ненавидят Русь.³¹

Увлечение балами и танцами («Легко мазурку танцевал») — важная черта в характеристике героя. Вспомним вечера у И. П. Липранди, где не было «карт (которыми увлекался герой наброска комедии, — Ю. Л.) и танцев».³² Н. И. Тургенев писал брату Сергею (25 марта 1819 года): «Ты, я слышу, танцуешь. Графу Головину дочь его писала, что с тобою танцевала. И так я с некоторым удивлением узнал, что теперь во Франции еще и танцуют! Une écossaise constitutionnelle, indépendante, ou une contredanse monarchique ou une danse contremonarchique».³³ Новыми интересами молодежи объясняется жалоба княгини Тугоуховской: «Танцовщики ужасно стали редки». Не случайно монолог Чацкого, знаменующий кульминацию столкновения его с враждебным обществом, заканчивается ремаркой: «Оглядывается: все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбредлись по карточным столам».³⁴

Главное занятие Онегина — «Наука страсти нежной». Ей посвящены VIII, X, XI, XII и пропущенные IX, XIII, XIV строфы первой главы. Вспомним рылеевское: «Любовь никак нейдет на ум: Увы! моя отчизна страждет».³⁵ И. Д. Якушкин 21 октября 1821 года писал П. Х. Граббе:

«Большую часть моей молодости я пролюбил; любовь сменило какое-то стремление исполнить некоторые обязанности; любовь исчезла и оставила за собой одни только воспоминания, сколько ни приятные, но недостаточные, чтобы наполнить жизнь, стремление к исполнению обязанностей».³⁶

Показательно, что сами любовные увлечения Онегина первоначально мыслились автором в резко «сниженном» плане. Характерны эпитеты: «Среди бесстыдных наслаждений», «Любви нас не природа учит, А первый пакостный роман» (VI, 243, 226).

Итак, идеологический облик героя весьма определен. Он представляется нам как общественный тип, далекий от декабристских идеалов и от позиции самого автора. Герой отделен от автора политическим водоразделом. Однако политические идеи, по убеждению декабристов, тесно связаны с умственным уровнем. В основе человеческого характера лежит ум, образование. Сторонник просвещения, «умный человек», неизбежно будет и свободолюбом, враг наук, считающий, что «Ученье — вот чума, учность — вот причина»,³⁷ неизбежно и защитник реакции. Такая поста-

³¹ Цитируется по изданию: Поэзия декабристов. Изд. «Советский писатель», Л., 1950, стр. 299.

³² «Русский архив», 1866, № 7, стлб. 1255.

³³ «Конституционный, независимый экосез, или монархический контрданс, или противомонархический танец» (франц.) (Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, стр. 280).

³⁴ «Горе от ума», д. III, явл. 7, 22.

³⁵ К. Ф. Рылеев. Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки, письма. Гослитиздат, М., 1956, стр. 66.

³⁶ И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма, стр. 235.

³⁷ «Горе от ума», д. III, явл. 21.

новка вопроса вела к рассмотрению проблемы воспитания и обучения как ключа к пониманию характера. Поверхностность образования — основная черта образа Онегина. «Мосье швейцарец очень умный» заменен «французом убогим» (VI, 215, 6). Строфа VI, посвященная латинскому языку, не только указывала на уровень школьной образованности, но и на степень политической просвещенности героя. В черновом варианте подчеркивалось: «Не мог он Тацит *читать*» (VI, 219). Достаточно вспомнить, какое внимание уделяли декабристы и Пушкин Тациту как обличителю тиранов, чтобы понять многозначительность этих слов.³⁸ Особенно показательна мысль о равнодушии Онегина к истории и интересе его к «анекдотам». Любопытным комментарием к этому могут быть слова из «Вечера в Кишиневе» В. Ф. Раевского. В ответ на обещание собеседника прочесть «прекрасное произведение» майор восклицает: «Верно опять г-жа Дирто или Воп-пот камердинера Людовика XV? — Я терпеть не могу тех анекдотов [которые для тебя новость], которые давно забыты в кофейнях в Париже».³⁹

Декабристы искали в истории высоких гражданственных идей и отрицательно относились к культуре анекдота, процветавшему в мемуарной литературе дореволюционной Франции. Вместе с тем им было чуждо и вырвавшееся на почве исторического мышления стремление увидеть в анекдоте отражение живого быта и психологии, истории не в ее абстрактно-идеологическом, а жизненно-реальном содержании. Именно последнее заставляло Пушкина в 30-е годы проявлять интерес к мемуарам и анекдотам (ср. запись П. А. Вяземским высказывания Мериме: «В истории любви одни анекдоты»⁴⁰). Однако в момент работы над первой главой Пушкин смотрел на историю еще с декабристских позиций. Онегин «знал немецкую словесность По книге госпожи де Сталь»; принявшись за книги, «Читал глазами неумело» (VI, 219, 246).⁴¹ Страсть к учению и увлечение светской жизнью взаимно друг друга исключают:

Мой друг пылал от нетерпенья
Избавиться навек ученья,
Большого света блеск и шум
Давно пленяли юный ум.

(VI, 218).

Таким образом, герой противопоставлен автору, причем противопоставление это имеет идеолого-интеллектуальный характер. Между Онегиным и автором, стремящимся «в просвещении стать с веком наравне» (II, 1, 187), — резкая грань. Интеллектуальное отличие в свою очередь является основой политического противопоставления. Политический индифферентизм Онегина для Пушкина кишиневского периода глубоко враждебен.

Итак, принцип сатиры, подразумеваемая осудительное отношение автора к объекту,⁴² неизбежно приводил к отделению описываемого от описываю-

³⁸ Ср.: И. Д. А м у с и н. Пушкин и Тацит. «Временник Пушкинской комиссии», т. 6, М.—Л., 1941, стр. 160—180.

³⁹ «Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 661.

⁴⁰ П. В я з е м с к и й. Старая записная книжка. Редакция и примечания Л. Гинзбург. Л., 1929, стр. 126.

⁴¹ Ср. в наброске комедии: «Да ты не читывал с тех пор, как ты родился» (VII, 247).

⁴² В этом отношении сатира отличается от иронии, которая допускает не только насмешку над объектом, но и романтическую насмешку над самой идеей объективности мира. Об этом с романтических позиций четко писал Кюхельбекер: «Сатирик — сар-

щего; однако само по себе подобное противопоставление еще не приводило к разрыву с романтизмом.

Связанное с установками Союза благоденствия стремление к конкретизации обличения, к действительному осуждению окружающего обусловило другой шаг в этом направлении: и обличаемый герой и обличающий автор помещались в бытовую обстановку современного общества. В связи с этим необходимо остановиться на значении широко представленных в первой главе бытовых картин. Вопрос этот уже привлекал внимание исследователей. Г. А. Гуковский, очень тонко проанализировав функцию описаний быта в произведениях классицизма и романтизма, заключает: «Быт дан у Пушкина не в порядке моральных назиданий, а в порядке объяснения людей, как база формирования их характеров».⁴³ Это положение вытекает из мысли о том, что уже в первой главе в основу характера героя положена идея о зависимости человека от среды, о том, что «изображению, истолкованию, а затем и суду подлежал теперь не столько человек, сколько среда».⁴⁴

Анализ материала приводит несколько к иным выводам: в основе образа в первой главе романа лежит не социальная характеристика среды, а интеллектуально-политическая (вторая рассматривается как следствие первой) оценка героя. Для решения этого вопроса необходимо остановиться на понимании причин формирования характера человека в декабристской литературе.

Субъективно-элегической поэтике карамзинистов декабристы противопоставляли свою программу. «Ум народов, вследствие самих происшествий, оставил бесплодные поля мрачной мечтательности и обратился к важной действительности», — писал Н. И. Тургенев.⁴⁵ Приведенная цитата переключается с многочисленными высказываниями декабристов о «духе времени».⁴⁶ П. Г. Каховский писал: «Начало и корень общества должно искать в духе времени».⁴⁷ О «духе времени» писали и А. И. Якубович,⁴⁸ П. И. Пестель⁴⁹ и ряд других деятелей тайных обществ. Означало ли это, однако, возникновение идей историзма, представления об истории как о закономерной смене взаимообусловленных этапов развития, пусть даже и духовного? Видимо, нет. Речь шла об ином: о вечной борьбе знания и невежества, свободы и деспотизма; «нынешний» (т. е. XIX) век ознаменован победой первого. Именно поэтому деятели иного интеллектуально-политического типа рассматривались как принадлежащие к прошлому веку. В этом смысле монологов Чацкого о «веке нынешнем и веке минувшем». И. Д. Якушкину «было невыносимо смотреть на пустую петербургскую

кастик; Ювенал, Персий ограничиваются одним чувством — негодованием, гневом. Юморист, напротив, доступен всем возможным чувствам; он не раб их, — не они им, он ими властвует, он играет ими, вот чем, с другой стороны, отличается он от элегика и лирика, совершенно увлекаемых, поработанных чувствами. Юморист забавляется ими и даже над ними» (В. К. Кюхельбекер. Дневник. Изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 40).

⁴³ Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. Гослитиздат, М., 1957, стр. 154.

⁴⁴ Там же, стр. 170.

⁴⁵ «Русский библиофил», 1914, № 5, стр. 18.

⁴⁶ См.: М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. I. Изд. Академии наук СССР, М., 1955, стр. 139, 194 и др.

⁴⁷ Из писем и показаний декабристов. Под редакцией А. К. Бороздина. СПб., 1906, стр. 10.

⁴⁸ Там же, стр. 76.

⁴⁹ Восстание декабристов, т. IV, стр. 91.

жизнь и слушать болтовню стариков». «Мы ушли от них на 100 лет вперед», — писал он.⁵⁰

Таким образом, речь идет не о зависимости умов людей от объективных, закономерно развивающихся исторических условий, а, наоборот, об обуславливающем «дух времени» успехе политического просвещения и свободомыслия. Не случайно, противопоставляя «мечтательность» «действительности», Н. И. Тургенев подразумевал под этим масонство, мистицизм, карамзинскую «легкую поэзию», с одной стороны, и «предметы политики», с другой. «Действительность» в литературе не есть верное воспроизведение жизни, а обращение к «важному» политическому содержанию. В этом понимании в стихотворении типа «Деревня» более «действительности», чем в реалистических произведениях, например, в стихотворении «Румяный критик мой. . .».

В период начала работы над первой главой «Евгения Онегина» Пушкин вполне разделял эти воззрения декабристов. Как мы видели, основным в образе Онегина являлось определение интеллектуального уровня героя. Разница в образовании и глубине политических интересов определяла возможность иронического подхода к персонажу, что в свою очередь вызывало «отделение» героя от автора. Таким образом, формирующим характер фактором оказывалась не среда, а сознание героя. Вопрос сводился к тому, стоит ли герой «в просвещении» наравне с веком или нет. То или иное решение вопроса определяло и героический или сатирический тон повествования. Всё сказанное определяет и оценку бытового материала. Стремление к конкретности сатиры, вызвавшее, о чем уже было сказано, обращение от условно-античных образов к современности, требовало и современного быта. Однако по отношению к характеру героя быт был не первичен, а вторичен. Он не определял характера, а определялся им. Одежда, бытовое окружение, времяпрепровождение героя раскрывали читателю его интеллектуальный облик, показывали, принадлежит ли герой к «умным» людям или к «25 глупцам», изображающим «общество, его <умного человека> окружающее».⁵¹ Очевидно, что в этом известном высказывании Грибоедова «общество» — еще не социальная, а политико-интеллектуальная категория.

Таким образом, если в отношении тона авторского повествования роман был задуман как сатирический, то по характеру построения образов он может быть условно определен как политический, понимая под этим то же, что позволяет определить «Горе от ума» как «политическую комедию».

Работа над первой главой еще не была завершена, а в воззрениях автора успели произойти важные перемены.

Образ разочарованного героя, проникший в литературу вместе с отголосками байронизма и отразившийся в «южных» поэмах, вызвал со стороны декабристов критику. М. И. Муравьев-Апостол писал И. Д. Якушкину: «Байрон наделал много зла, введя в моду искусственную разочарованность, которую не обманешь того, кто умеет мыслить. Воображают, будто скукою показывают свою глубину, — ну, пусть это будет так для Англии, но у нас, где так много дела, даже если живешь в деревне, где всегда возможно хоть несколько облегчить участь бедного селянина, лучше пусть избегают эти попытки на опыте, а потом уж рассуждают о скуке».⁵²

⁵⁰ И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма, стр. 9.

⁵¹ Грибоедов, Сочинения, 1945, стр. 481, 482.

⁵² Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма, стр. 85; И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма, стр. 246.

В момент возникновения замысла подобный разоблачительный пафос, видимо, не был чужд Пушкину. Первоначально разочарованность Онегина не должна была, видимо, выходить за рамки «светской причуды» и вызвана была причинами чисто внешними:

Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и страсбургский пирог
 Шампанской обливать бутылкой
 И сыпать острые слова,
 Когда болела голова...

(VI, 21).

Однако в дальнейшем замысел изменился.

Лето и осень 1823 года — период окончания первой и начала работы над второй главой — время сложного идейного перелома в творчестве поэта. Оно совпадает с работой над стихотворениями «Демон» и «Свободы сеятель пустынный» (июнь—ноябрь 1823 года).⁵³

Кризис и распад Союза благоденствия повлек дальнейшее идейно-организационное развитие декабристского движения. Общее направление эволюции связано было с прояснением сознания неизбежности тех или иных форм революции. Это в свою очередь вызвало двойные следствия. С одной стороны, переход от пропагандистских приемов к подготовке военной революции отпугивал умеренных членов, которые в весьма значительном количестве отсеивались; с другой — перед наиболее решительным крылом декабристов идея неизбежности революции ставила в полный рост вопрос о необходимости политического контакта с социально чуждой средой — народной и солдатской. Боязнь революционной энергии крестьянства сложно сочеталась при этом с горьким сознанием политической инертности народа. Сознание того, что, «Как истукан, немой народ Под игмом дремлет в тайном страхе»,⁵⁴ что «Народы тишины хотят» (II, 1, 179), не покидало наиболее «левых» декабристов в период высшего расцвета их политической активности. Идея обращения к народу ставила совершенно новый круг вопросов, для решения которых идеология дворянской революционности подготовлена не была. Если первоначально эти раздумья облекались в форму горьких упреков «мирным народам», которым не нужны «дары свободы» (II, 1, 302), то вскоре они обернулись сомнением в правильности принятой дворянскими революционерами тактики. Пушкин не был одинок в подобных сомнениях — их разделял Грибоедов, в 1825 году ими были охвачены Пестель,⁵⁵ Н. С. Бобрищев-Пушкин.⁵⁶ Это был неизбежный и глубоко плодотворный кризис — этап на пути перерастания дворянской революционности в иную, исторически более высокую стадию. Процесс этот оборвался 14 декабря 1825 года и завершен был уже поколением Герцена. И тем не менее для переживающих его деятелей этот кризис переоценки ценностей был глубоко драматичен, а порой и трагичен, так как сопровождался временным настроением неверия и пессимизма. С этих позиций представление об «умном» человеке ассоциировалось уже не с образом энтузиаста Чацкого, а с фигурой сомневающегося Демона. Новое обоснование получила и тема скуки. Весной

⁵³ См.: И. Н. Медведева. Пушкинская элегия 1820-х годов и «Демон». «Временник Пушкинской комиссии», т. 6, стр. 51—71.

⁵⁴ В. Раевский. Стихотворения. Изд. «Советский писатель», Л., 1952, стр. 152.

⁵⁵ См.: Восстание декабристов, т. IV, стр. 92.

⁵⁶ См.: Хрестоматия по истории СССР, т. II. Изд. 3, Учпедгиз, М., 1953, стр. 576—577.

1825 года Пушкин писал Рылееву: «Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа» (XIII, 176).

Такой подход заставил по-иному оценить и скуку Онегина. Образ светского льва, бесконечно удаленного от положительных идеалов поэта, при переоценке образа скептического героя вырос в серьезную фигуру, достойную встать рядом с автором. Строфы XLV—XLVIII первой главы дают совершенно новый характер взаимоотношений героя и автора. Устанавливается единство взглядов:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас...⁵⁷

(VI, 23).

Строфа XLVI говорит об Онегине языком лирического отступления. Поскольку интеллектуально герой стал рядом с автором, тон иронии, отделявший одного от другого, оказался снятым. Однако изменение оценки героя создало угрозу возвращения к характерному для романтической поэмы слиянию героя и автора, что было для Пушкина уже пройденным этапом. Пока герой был отгорожен от автора ироническим тоном повествования, подобной опасности не существовало. Характерно, что именно в конце первой главы, когда мир героя и мир повествователя сблизились, Пушкину пришлось прибегнуть к знаменитому декларативному противопоставлению себя Онегину в строфе LVI.

Работа над второй главой приходится на одесский период. В конце XXXIX (по первоначальным планам — последней) строфы стоит дата: 8 декабря 1823 года. Строфы XL, XLа и XXXV дописывались в декабре 1823—марте 1824 года. В январе—феврале 1824 года Пушкин начал работу над «Цыганами», замыслом, тесно связанным с элегией «Демон».

Дальнейшее сюжетное развитие романа в этот период еще не было ясно самому поэту. На то, что образу Татьяны (первоначально Наташи) на этом этапе работы не отводилась еще роль антипода главному герою, второго идейно-сюжетного полюса романа, указывает не только характеристика героини, но и то, что даже в период работы над третьей главой для Пушкина не была исключена возможность ответного чувства Онегина к Татьяне (см. строфу Va третьей главы). В качестве идейно-значимой, сопоставляемой с Онегиным фигуры во второй главе выступает Ленский. Не случайно в Болдине Пушкин назвал эту главу «Поэт».

Изучение работы Пушкина над текстом второй главы подводит к выводу о том, что образ Ленского пережил от черновых вариантов к окончательному тексту существенную эволюцию. Значительно большая политическая острота первоначального облика Ленского давно уже отмечалась. Так, например, тематика его разговоров с Онегиным детально комментировалась Ю. Н. Тыняновым, односторонне подчеркивавшим, однако, черты сходства Ленского и Кюхельбекера.⁵⁸ Он «Душою школьник Геттинген-

⁵⁷ Курсив мой, — Ю. Л.

⁵⁸ См.: Ю. Тынянов. Пушкин и Кюхельбекер. «Литературное наследство» кн. 16—18, стр. 356—370.

ской...⁵⁹ Крикун, мятежник и поэт», привезший из «Германии свободной... Вольнолюбивые мечты» (вариант: «Неосторожные мечты»; VI, 267). Стихи «Негодование, сожаленье, Ко благу чистая любовь» начала IX строфы первоначально имели гораздо более определенный в политическом отношении вид: «Несправедливость, угнетенье», «И жажда мщенья» — вот предметы мыслей и чувств Ленского; «Любовь и месть кипели в нем» (вариант: «И к людям пылкая любовь»); картины общественного зла «Рождали в нем негодование», «В нем сильно волновали кровь» (VI, 269). В связи с этим определился и поэтический облик Ленского: «Не пел порочной он забавы, Не пел презрительных цирцей» (VI, 270; ср. у В. Ф. Раевского: ⁶⁰ «Оставь другим певцам любовь! Любовь ли петь, где брызжет кровь»). Хотя X строфа и дает иную характеристику поэзии Ленского («Он пел любовь, любви послушный»), но следующую, XI строфу Пушкин сначала задумал так, чтобы подчеркнуть второстепенный характер любовной темы в поэзии Ленского: «Но чаще гневною сатирой Одушевлялся стих его» (VI, 273). С этим же, видимо, связано развернутое противопоставление Ленскому (который «Не пел презрительных цирцей»; вариант: «Армид») «Певцов слепого упоенья» (VI, 270, 271). Не всякая любовная, а лишь «благая», «нечистая» поэзия противопоставляется высокой политической лирике. В этом смысле поразительно недвусмысленную характеристику аудитории, к которой обращена «чистая» муза Ленского, дает строфа XVIIд. Это «добрый юноша, готовый Высокий подвиг совершить», и «праведник изнеможенный, К цепям неправдой присужденный» (VI, 282, 283). Оба образа для Пушкина этих дней были бесспорно не условными поэтическими схемами. «Высокий подвиг» — слова, полные для автора глубокого смысла. Б. В. Томашевский отмечает: «У Пушкина была потребность в гражданском подвиге».⁶¹ Чтобы понять реальное жизненное наполнение этих образов, достаточно вспомнить атмосферу разговоров о царубийстве, окружавшую Пушкина в Кишиневе и определившую появление таких стихотворений, как «Кинжал». Учитывая гипотетический характер подобных догадок, можно предположить, однако, что с планами личного участия поэта в героическом тираноубийстве связано стихотворение «Не тем горжусь я, мой певец», обращенное, как это установлено М. А. Цявловским, к В. Ф. Раевскому. Отмечая, что в нем «нельзя не видеть одного из самых значительных, глубоко интимных признаний поэта», исследователь полагает, «что зачеркнутые последние два стиха намечают тему бессмертия поэта в потомстве».⁶² Возможно, однако, и иное толкова-

⁵⁹ Геттингенский университет выделялся среди других учебных заведений Германии либеральным направлением преподавания и интересом к политическим наукам. Воспитанниками его были А. С. Кайсаров, Н. И. Тургенев, А. П. Куницын (см.: В. М. Истрин. Русские студенты в Геттингене в 1802—1804 годах. «Журнал Министерства народного просвещения», 1910, № 7, стр. 80—144; см. также суммировавший печатные материалы, но неоригинальный по концепции труд: M. Wischnitzer. Die Universität Göttingen und die Entwicklung der liberalen Ideen in Russland im ersten Viertel des XIX Jahrhunderts. «Historische Studien», Heft LVIII, Berlin, 1907). Следует не упускать из виду, что имеющаяся в вариантах формула «Душой мечтатель Геттингенской» (VI, 267) в контексте черновой характеристики Ленского воспринималась как указание на политическое свободомыслие. Ср. в доносе П. Д. Киселева: «Охотников — мечтатель политический» (В. Г. Базанов. В. Ф. Раевский. Л.—М., 1949, стр. 39). Можно было бы привести и другие случаи подобного словупотребления (ср. здесь же «Еольнолюбивые мечты»; VI, 267).

⁶⁰ В. Ф. Раевский. Стихотворения, стр. 149.

⁶¹ Б. Томашевский. Из пушкинских рукописей. «Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 300.

⁶² М. А. Цявловский. Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому. «Временник Пушкинской комиссии», т. 6, стр. 45.

ние. Достаточно прочитать стихотворение, чтобы убедиться, что основой своего права на гордость Пушкин считает не поэзию. Последовательно отвергаются и любовная лирика, и сатира, голос которой «Тирана в ужас приводил» (II, 2, 766), и даже политическая поэзия, послужившая причиной ссылки, — то, чем поэт «стал известен меж людей» (II, 1, 260). Праву на литературную известность противопоставлена «Иная, высшая награда» (II, 1, 260). Вероятнее всего, подразумевался именно «высокий подвиг». Не менее конкретным содержанием был наполнен и образ томящегося в тюрьме узника: Пушкин, конечно, помнил В. Ф. Раевского, заключенного в Тираспольской крепости.⁶³

С образом Ленского связан еще один «сугубо неясный период», по справедливому замечанию Ю. Н. Тынянова.⁶⁴ Это последние шесть стихов VIII строфы второй главы.

В черновом тексте:

Что мало избранных судьбами,
 Что жизнь их лучший неба дар...
 (Вариант: Он верил избранным судьбою
 Мужам, которым тайный дар)
 И сердца [неподкупный] жар
 И гений власти над умами
 [Любви], добру посвящены
 И силе доблестью равны.
 (VI, 269).

В окончательном тексте:

Что есть избранные судьбами,
 Людей священные друзья;
 Что их бессмертная семья
 Неотразимыми лучами,
 Когда-нибудь, нас озарит
 И мир блаженством одарит.
 (VI, 34).

Истолковывая этот текст, Ю. Н. Тынянов полагал, что сопоставление его с стихотворением Кюхельбекера «Поэты» «до конца объясняет приведенные выше „темные“ стихи».⁶⁵ Без каких-либо изменений пересказал его доводы Н. Л. Бродский в известном комментарии к «Евгению Онегину». Однако толкование Ю. Н. Тынянова не объясняет, почему Пушкину пришлось заменить в печатном тексте точками стихи, которыми он, видимо, дорожил. А что Пушкин дорожил этими стихами настолько, что, не имея возможности их опубликовать, счел необходимым намекнуть на содержание опущенных строк, указывает сделанное еще М. Л. Гофманом наблюдение о том, что в изданиях 1833 и 1837 годов поэт восстановил один

⁶³ В подобном контексте особый смысл получало выражение «полурусский сосед»; ср. в послании Дельвигу:

Бывало, что ни напишу,
 Всё для иных не Русью пахнет...
 (II, 1, 168).

Отметим, что автохарактеристика в первой редакции этого послания: «Поклонник правды и свободы» (II, 2, 644) — очень близка к характеристике Ленского в XXXIV строфе четвертой главы: «Поклонник славы и свободы» (VI, 87).

⁶⁴ «Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 360.

⁶⁵ Там же, стр. 361.

стих («Что есть избранные судьбами»), заменив точками не шесть, а пять последних стихов.⁶⁶ Г. А. Гуковский справедливо отметил многозначительность точек, «намекающих на политическое назначение этих избранных». ⁶⁷ Известный свет на комментируемый текст, возможно, может пролить сопоставление с отрывком, связанным с элегическим циклом «Демона», работа над которым хронологически близка к работе над второй главой:⁶⁸

Бывало в сладком ослеплень
Я верил избранным душам,
Я мнил — их тайное рожденье
Угодно [властным] небесам,
На них указывало мнеенье —
Едва приблизился я к ним

(II, 1, 294).

Текст обрывается. Достаточно сравнить оба текста, чтобы увидеть, что при нарочито туманной форме изложения речь идет о близких предметах. В тексте «Евгения Онегина»: «избранные судьбами» «Мужи, которых тайный дар» (в варианте: «жизнь их лучший неба дар»). В тексте отрывка: «избранные души», «тайное рожденье» которых «Угодно властным небесам». Вместе с тем тон повествования, отражающий отношение лирического героя и Ленского к предмету, о котором идет речь, различен: Ленский «верил избранным судьбою» в момент действия романа, автор «бывало верил». Обстоятельство образа действия «в сладком ослеплень» и обрванная фраза «Едва приблизился я к ним» еще более сгущают атмосферу авторского скептицизма.⁶⁹

О ком же идет речь? Объектом завуалированных рассуждений, очевидно, является тайное братство людей (не случайно повторение «тайный дар», «тайное рожденье»), считающих себя друзьями человечества («Людей священные друзья») и готовящих всеобщее преобразование общества:

... их бессмертная семья...
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

(VI, 34).

В контексте первоначальной характеристики Ленского и набросков «Демона», где тема разочарования имеет явный политический подтекст, все эти намеки делаются понятными. Речь бесспорно идет о масонской ложе или о политическом тайном обществе. Вероятнее всего, для Пушкина, ма-

⁶⁶ См.: М. Л. Гофман. Пропущенные строфы «Евгения Онегина». «Пушкин и его современники», вып. 33—35, 1922, стр. 44.

⁶⁷ Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля, стр. 233.

⁶⁸ «[Мое] беспечное незнанье» — 13 июня—1 ноября 1823 года, вторая глава — ноябрь—декабрь того же года. О взаимоотношении отрывка с элегией «[Мое] беспечное незнанье» см.: И. Н. Медведева. 1) Два стихотворения Пушкина. «Литературная газета», 1938, № 8, 10 февраля; 2) Пушкинская элегия 1820-х годов и «Демон». «Временник Пушкинской комиссии», т. 6, стр. 57—59; Пушкин, II, 2, 1129.

⁶⁹ В сопоставлении с общей темой элегического цикла — мыслью о непонимании, отгораживающем народ от передовых деятелей, возможно, должны быть истолкованы и стихи:

Я думал их укажет нам
Народное, святое мнеенье —

(II, 2, 809)

поскольку форма «Я думал» подготавливает дальнейший ход развития сюжета как разоблачения «сладкого ослепленья».

сона ложи Овидий, пребывающего в атмосфере бесед о карбонариях, оба эти понятия сливались в некое нерасчлененное представление о конспиративной антиправительственной организации.

Введение в повествование образа Ленского создавало возможность нового освещения центрального героя. Образ Онегина по отношению к первой главе значительно усложнен. В XIV строфе мы находим критику героического романтизма Ленского с позиций бездушного светского эгоизма, считающего

... всех нулями
А единицею — себя...
Собою жертвовать смешно
Иметь восторженное чувство ⁷⁰
Простительно в 17 лет...

(VI, 276).

Однако подобная точка зрения отгораживается от онегинской («Сноснее впрочем [был] Евгений»; VI, 276). Скептицизм Онегина не распространяется на те прогрессивные идеалы, вне уважения к которым невозможна была наметившаяся во второй главе положительная оценка героя автором. Онегин

Не думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права
Для оды звучные слова...
Он очень уважал решимость...
Гонимой славы нищету,
Восторг <?> и сердца правоту...

(VI, 276—277).

Скептицизм Онегина направлен на восторженную веру Ленского в легкую и быструю осуществимость его идеалов. Онегин «понимал необходимость» ⁷¹ и «слушал Ленского с улыбкой» (VI, 277). Если в первой главе герой, оцененный с декабристских позиций, был осужден за неспособность «в просвещении стать с веком наравне», то теперь интеллектуальное превосходство явно на стороне скептика, а в Ленском подчеркивается «ум его в сужденях зыбкий» (VI, 277). В строфе XVIa в уста Онегина вкладываются авторские суждения по вопросам литературы. Новая характеристика героя привела к значительному сближению его с внутренним миром самого автора. Не случайно строфы XVIb и XVIIa дают характеристику героя стихами, ведущими к «Демону» и «Цыганам» и имеющими явно автобиографический характер. В строфе XVIb мир героя и мир автора как бы вновь сливаются: «Я стал взирать его глазами» (VI, 280). Угроза возврата к принципам романтической поэмы заставила Пушкина пойти на резкое снижение образа повествователя для того, чтобы хотя бы этой ценой отделить себя от героя. В первой главе Онегин — объект иронии автора. Во второй Ленский дается в освещении онегинской и авторской иронии (поскольку речь идет не об идеалах, а о путях их достижения); образ Онегина не подвергается иронической оценке, а в строфах XVIb и XVIIa

⁷⁰ Вариант: Иметь возвышенное мнение

⁷¹ Формула «понимал необходимость» уже содержит в потенции знаменитое требование взглянуть «на трагедию (14 декабря 1825 года, — Ю. Л.) взглядом Шекспира» (XIII, 259). Она дословно повторена Пушкиным в записке «О народном воспитании»: «Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших (Пушкин, бесспорно, имеет в первую очередь в виду себя самого; ср. известные слова из письма к Вяземскому от 14 августа 1826 года, — Ю. Л.) успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей» (XI, 43).

лирически приподнят, зато объектом иронии становится условный образ повествователя, который подменяет подлинный авторский образ.

После характеристики Онегина:

Какие страсти ни кипели
В его измученной груди...

идет самооценка:

Что до меня, то мне на часть
Досталась пламенная страсть.

Страсть к банку! ни любовь свободы,
Ни Феб, ни дружба, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры...

(VI, 280, 281).

Итак, первоначальный замысел второй главы, который, как мы увидим в дальнейшем, существенно отличается от ее окончательного текста, внес много нового в характеристику центрального героя; решительно изменилась авторская оценка, определяющая тон повествования, однако сам принцип построения образа остался прежним: в основу изображения и оценки героя, как и раньше, кладется интеллектуальная характеристика. Однако эволюция характеров романа на этом не закончилась.

Глубокие изменения, произошедшие в творчестве Пушкина в михайловский период, отразились и на структуре образов «Евгения Онегина». Изменения эти, наметившиеся в третьей и четвертой главах, весьма резко проявились в пятой. Переходом к новым художественным принципам обусловлена и коренная переработка, которой подверглась вторая глава. Сложность творческих переделок второй главы уже отмечалась в литературе. «В то время как в первой главе Пушкин обозначал римскими цифрами пропуск нескольких строф (и недописанных и ненаписанных) и не было ни одной строфы, бесследно исчезнувшей из романа, во второй главе нет обозначения пропущенных строф (кроме обозначения в двух случаях многоточиями нескольких стихов в строфе), между тем как по меньшей мере *одинадцать* строф были исключены из второй главы».⁷²

Центральным вопросом всего творчества Пушкина михайловского периода явилась проблема народности. Сложный идейный кризис, породивший недоверие к тактическим приемам дворянских революционеров, вылился в стремление понять внутреннюю жизнь народа и соразмерить с этой жизнью чувства и переживания передового человека из дворянской среды.

Не касаясь всех сторон сложного вопроса понимания Пушкиным в 1824—1826 годах проблемы народности,⁷³ отметим лишь одну особенность позиции поэта в этом вопросе: народность воспринимается Пушкиным в этот период как определенный, исторически сложившийся в сознании народной массы психологический строй, определенное нравственное миросозерцание. В таком понимании наличествовало исторически неизбежное противоречие. С одной стороны, толкование народности как начала исторически сложившегося, объективного толкало к изучению подлинной народной жизни; с другой — вопрос о реальных условиях бытия как пер-

⁷² М. Л. Гофман. Пропущенные строфы «Евгения Онегина». «Пушкин и его современники», вып. 33—35, стр. 43.

⁷³ См.: Б. В. Томашевский. Пушкин и народность. Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», стр. 67—100.

вопричине народного сознания еще не поднимался. Хотя в наброске статьи о народности в литературе Пушкин и указывает на «климат», «образ правления», определяющие «особенную физиономию» народа, но всё же самую народность он толкует как комплекс нравственно-психологических представлений, «образ мыслей и чувствований», «тму обычаев, поверий и привычек» (XI, 40). Это заставляло его обращаться в первую очередь к фольклору — «зеркалу поэзии», легендам и поверьям как отражению народного духа.⁷⁴

Значительно позже, изучая историю восстания Пугачева, Пушкин пришел к известному выводу: «Весь черный народ был за Пугачева... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны» (IX, 1, 375).

Представление о том, что «выгоды», материальные интересы делят людей в обществе на четкие группы, с таким блеском проявившееся в поздних произведениях Пушкина — «Капитанской дочке» и «Сценах из рыцарских времен», — не имело, да и не могло иметь, места в более ранних произведениях писателя. Еще в начале 30-х годов Пушкин полагал, что передовое дворянство в борьбе с самодержавием может оказаться союзником народа, т. е. что место людей в общественной борьбе выводится из идей, а не из «интересов». Антитеза строилась не социально (дворяне — крестьяне), а идеологически (сторонники свободы и ее противники). Старинное дворянство интересовало Пушкина в этот период не как социальная, а как политическая сила, носитель духа свободомыслия. Стоило поэту взглянуть на старинное дворянство с социальной стороны, как ему сейчас же стало ясно, что основное — это не то, что разъединяет дворянство с самодержавием, а то, что обусловлено единством их интересов. Замысел о Шванвиче был отброшен. Гринев — потомок старинного мятежного рода: отец его вышел в отставку и удалился в деревню после переворота 1762 года («Попали в честь тогда Орловы, А дед мой в крепость, в карантин»; III, 1, 262) — выступает как представитель дворянства в целом и свою сословную честь видит в верности дворянскому правительству. При таком подходе этико-эстетический идеал фольклора не может быть доступен человеку, социально чуждому народу. Мир народной поэзии — удел Пугачева, Гринев окружен эпитафиями и литературными реминисценциями, заимствованными из поэзии XVIII века или стилизованными под нее. Однако четкость социального анализа, явившаяся в последние годы творчества Пушкина результатом размышлений и наблюдений над ходом исторического развития предшествующего периода и действительно 30-х годов, чтения трудов историков эпохи Реставрации и т. д., в 1825—1826 годах Пушкину была еще недоступна. Народность осознавалась им как определенный этико-психологический комплекс, вне зависимости от социальной характеристики героя, поскольку сам подход к герою с точки зрения «интересов» был еще делом будущего.

С позиций центральных глав романа достоинство героя измеряется уже не интеллектуальной высотой, а нравственными качествами, соотносимыми

⁷⁴ Непонимание этого отражается в наивных рассуждениях вроде: «Пушкин поэтически изображает народные суеверия в своей героине («Татьяна верила преданьям»). Учащихся следует предостеречь от положительной оценки этой черты народности: надо им объяснить, что черта эта в народе не основная, а временная и переходящая — следствие темноты и бесправия народа. И Татьяна в дальнейшем, по мере расширения ее умственного кругозора освобождается от этой детской наивности» (Л. А. Соколова. Татьяна Ларина (Опыт изучения образа). Сб. «Пушкин в школе», под редакцией Н. Л. Бродского и В. В. Голубкова, М., 1951, стр. 301).

с морально-психологическим обликом народа. Это вызвало решительную переоценку главного героя. Скептицизм, выступавший как форма преодоления слабых сторон дворянской революционности, в свою очередь оказался преодоленным во имя нравственного сближения с народом. Если при «интеллектуальном» критерии образ героя-скептика мог предстать в поэтическом ореоле, то применение этической оценки неизбежно вело к его разоблачению. Противопоставление энтузиазма Ленского сомнениям Онегина потеряло характер центральной проблемы. Черты политического бунтарства были в облике Ленского сглажены, романтическая мечтательность подчеркнута. Поскольку обаяние демона-скептика в глазах автора померкло, а сам образ «отрицателя» из судьбы обратился в подсыдимого, лирически звучащие строфы XVIб и XVIIа были сняты. Одновременно исчезла опасность слияния героя и автора, и Пушкин снял лирическое отступление о карточной игре, необходимость в котором отпала.

Для дальнейшего развития действия Онегину должен был быть противопоставлен герой нового типа. Пока конфликт строился на основе политико-интеллектуальной оценки героя, роль Татьяны не могла быть значительна. Она оставалась «барышней», как озаглавил сам Пушкин третью главу, читательницей устарелых романов, которая «по-русски плохо знала» (VI, 63). Право на читательский интерес было мотивировано тем, что героиня

... одарена
 Воображением мятежным,
 Умом и волею живой,
 И своенравной головой,
 И сердцем пламенным и нежным...

(VI, 62).

С новых авторских позиций Татьяна, выступая как носитель народной психологии, вырастала в центральную фигуру, сравнением с которой определялось нравственное достоинство героя. Специфика понимания Пушкиным в эти годы сущности народности как строя чувств и мыслей определила возможность того, что носителем народного сознания оказывается героиня из чуждой народу общественной среды. Представление об общественной среде как об определяющем характер героя факторе в эти годы Пушкину еще чуждо. В основе конфликта лежит не социальное, а психологическое противопоставление образов. Как тонко было отмечено Г. А. Гукковским, «социальное начало в образе Татьяны Лариной, как и в образах Ленского и даже самого Онегина, не является определяющим».⁷⁵ Тем более нельзя согласиться, когда тот же автор пишет: «Татьяна чужда семье Лариных, но она сформирована средой, только эта среда — не семья Лариных, а русская деревня, народная поэзия, няня — с одной стороны, и именно эти самые романтические книжки — с другой».⁷⁶ Совершенно ясно, что ни народная поэзия, ни романтическая литература не подходят под понятие социальной среды, так же как не подходит под него и образ няни. Если ставить вопрос о социальной определенности образа Татьяны, то ответ может быть двоякий: помещичий дом или крепостная деревня. Однако самой постановки вопроса достаточно, чтобы убедиться в неприемлемости ни того, ни другого решения. Понятие социальной среды подразумевает материальную сторону общественной жизни — систему общественных взаимоотношений, общественные интересы людей — и не может подменяться суммой идеологических влияний.

⁷⁵ Г. А. Гукковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля, стр. 205.

⁷⁶ Там же, стр. 170.

Идея воздействия среды на человека отчетливо была сформулирована философами XVIII века именно как идея воспитания человеческой личности общественными институтами. «Мы родимся чувствительными и с самого рождения подвергаемся разнообразным действиям со стороны окружающих нас предметов», — писал Руссо, и среди этих предметов в первую очередь имелись в виду «все социальные учреждения, в которые мы погружены». ⁷⁷ В том же духе писал и Радищев. Сущность учения о воздействии среды на человека, в частности, состояла и в неизбежном, обязательном характере подобного влияния. Поскольку люди оказываются в окружении одних и тех же предметов и явлений, они неизбежно должны приобрести сходные качества. «Люди зависят от обстоятельств, в коих они находятся. . . Если он <человек> повинуетя предметам, его окружающим, и если соитие внешних причин приводит его в заблуждение, то ясно, что, отъема причину, другие воспоследуют действию», — писал Ф. В. Ушаков (перевод А. Н. Радищева). ⁷⁸

Карамзинистская и тесно связанная с ней романтическая эстетика декларативно отрицали воздействие внешней среды на человека. В очерке «Чувствительный и холодный» Карамзин объявил «нелепостью» мысль о том, «что наши природные способности и свойства одинаковы, что обстоятельства. . . дают характер человеку». ⁷⁹ Романтизм, изъяв героя из среды, заменил противоречие между человеком и обществом идеей вечного боления роковых страстей в сердце героя.

Утверждение принципов реализма в литературе XIX века снова поставило вопрос о взаимоотношении человека с окружающей его действительностью. Однако это осознание зависимости героя от среды пришло не сразу и связано было с определенными историческими этапами становления реализма. Следует отметить и то, что именно ранняя стадия в развитии русского реализма XIX века — 40-е годы — связана была с стремлением подчеркнуть фатальную зависимость героя от среды. Вопрос о сложной диалектике этих взаимоотношений, о переходе героя с одних позиций на другие возник в литературе лишь во вторую половину XIX века. Но и здесь (как это, например, было у Толстого) идея перехода героя на позиции защитника народных интересов неизменно связывалась с обязательностью изменения его личного бытия, отказа от барской жизни, от личного участия в угнетении, с приобщением к жизни народной.

Сложная диалектика отражения народных интересов в сознании людей, своим личным образом жизни с народом не связанных, позволившая В. И. Ленину увидеть в произведениях Белинского отражение чаяний крепостных крестьян, была классическому реализму XIX века недоступна. В тех случаях, когда социально чуждый народу персонаж выступает как выразитель дум и чувств всей России, в том числе и народной (например, героини Тургенева, Гончарова), писатель явно отходит от принципа определения героя общественной средой, выводя его характеристику из определенной суммы заданных идейно-этических качеств. Тем труднее согласиться с мыслью о том, что Пушкин у порога русского реализма XIX века, не пережив еще собственного творческого опыта 30-х годов, задолго до гоголевской школы, физиологического очерка, социально-психологического романа середины века, мог поставить и решить вопрос о сложной диалектике изображения героини-дворянки и как представительницы определенной социальной

⁷⁷ Жан Жак Руссо. Эмиль или о воспитании. СПб., 1913, стр. 13, 11.

⁷⁸ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1938, стр. 191.

⁷⁹ Карамзин, Сочинения, т. III, СПб., 1848, стр. 618.

среды и как выразительницы народного строя чувств и мыслей одновременно. Образ Татьяны построен иначе, и сама идея социальной его определенности является следствием ретроспективного перенесения принципов зрелого реализма на более ранний исторический этап.

Пока образ героя строился на чисто интеллектуальной основе и женский персонаж не мог ему быть достойным антагонистом, Пушкин планировал начать четвертую главу с пространного рассуждения о ничтожности любовного чувства:

Дознался я, что дамы сами,
 Душевной тайне изменя,
 Не могут надивиться нами,
 Себя по совести ценя.
 Восторги наши своенравны
 Им очень кажутся забавны;
 И право, с нашей стороны
 Мы непростительно смешны.

О женщинах говорится в иронически-презрительном тоне:

Как будто требовать возможно
 От мотыльков иль от лилей
 И чувств глубоких и страстей.

(VI, 592, 593).

В политическом конфликте (в рамках литературы 20-х годов) женскому образу места не было. Перенесение противоречия в интеллектуально-политический план, стремление за противоречиями между героями увидеть борьбу идейно-политических сил вытесняло из произведений и любовную интригу и женские образы.⁸⁰ Любопытно, что одновременно Пушкин работал над «Борисом Годуновым» — политической драмой, задуманной как «трагедия без любовной интриги» (XIV, 46, 395).

Новый подход к построению образа, при котором в основу был положен нравственный, а не интеллектуальный облик, позволил сделать героиню фигурой, могущей противостоять центральному персонажу, а любовный конфликт (как это имело место в дальнейшем в романах Тургенева) приобрел характер нравственного суда над героем. Теперь автор не боится подчеркнуть детскую наивность Татьяны («Татьяна верила преданьям Простонародной старины», «Ее тревожили приметы» и т. д.; VI, 99). Героиню нельзя отнести к кружку «умных людей»,⁸¹ но это не препятствует высокой ее оценке.

Мир мыслей Татьяны не равен авторскому пониманию жизни. Это проявляется, например, в осмыслении ею характера Онегина. В конце третьей главы Онегин в ее глазах был наделен чертами романтического героя ее «возлюбленных творцов» («Блестая взорами, Евгений Стоит подобно грозной тени»; VI, 72), — теперь он приобретает черты героя волшебной сказки и фольклорного разбойника одновременно. Связь сна Татьяны с «Женихом» уже указывалась в литературе. Характеристики героинь этих произ-

⁸⁰ Нечто аналогичное, но на иной основе, явилось следствием стремления литературы гоголевского направления строить произведение на основе социального конфликта. Любовное противоречие вытеснялось социальным, «электричеством чина, денежного капитала» (Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 142). Известное сходство явлений не снижает их глубокого отличия.

⁸¹ Для Грибоедова отрицательное отношение Софьи к уму Чацкого (ср. слова ее о Молчалине: «нет в нем этого ума, Что гений для иных, а для иных чума»; д. III, явл. 1) — признак того, что и она принадлежит к «25 глупцам», миру Фамусовых.

ведений не только сближаются, но порой и переплетаются (ср. в черновике «Жениха» фразу: «Татьяна задрожала»; II, 2, 963).⁸²

Если в третьей главе Пушкин знал, что Онегин «Уж верно был не Грандисон», не «коварный искуситель», «Мельмот, бродяга мрачный», не «корсар» (VI, 55, 56), то в пятой главе он был далек от осмысления Онегина как песенного атамана разбойников. Но ко времени работы над пятой главой существенным уже является не это различие, а нечто иное, сближающее героиню и автора, — нравственная оценка ими Онегина.

Переходный характер четвертой главы вызвал ее переработки. В окончательный текст не были включены начальные строфы о женщинах, оказавшиеся излишними при переоценке женских персонажей. Изменение соотношения героя и автора также повлияло на окончательный текст. В начале Онегин четвертой главы воспроизводил с портретной точностью облик самого автора. 27 мая 1826 года Пушкин писал Вяземскому: «В 4-ой песне Онегина я изобразил свою жизнь» (XIII, 280). Однако в дальней-

⁸² См. об этом в статьях А. М. Кукулевича и Л. М. Лотман «Из творческой истории баллады Пушкина „Жених“» («Временник Пушкинской комиссии», т. 6, стр. 79—80), Н. Ф. Сумцова «Исследования о Пушкине» (Харьковский университетский сборник. В память А. С. Пушкина. 1799—1899. Харьков, 1900, стр. 276—236), М. П. Самарина «Из маргиналий к „Евгению Онегину“» («Наукові записки Науково-дослідчої кафедри історії української культури», № 6, Харьков, 1927, стр. 307—314). Настойчиво повторяющиеся попытки найти в «сне» Татьяны политические намеки или завуалированную социальную сатиру лишены оснований: Пушкин не стремится довести до читателя некие зашифрованные собственные мысли (это было уместно в философском романе XVIII века, встречается как прием, например, у Чернышевского, но решительно противоречит всей художественной структуре «Евгения Онегина»). Задача поэта — раскрыть внутренний мир героини, ее взгляд на жизнь и на Онегина. «Сном» Пушкин показывает читателю, что Татьяна разделяет с народом «образ мыслей и чувствований», «тьму обычаев, псверий и привычек». В этом смысле даже наивное суеверие героини — средство ее положительной нравственной оценки. Если в предшествующих главах сознание Татьяны наделяло героя романа чертами, заимствованными из книг ее «возлюбленных творцов», то Онегин в «сне» вбирает в себя одновременно черты атамана из «Жениха» и Степана Разина из поэтического цикла, над которым Пушкин работал в близкие ко времени создания «сна» хронологические сроки (о датировке песен о Разине см.: Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1950, стр. 517). Описание дома Онегина в «сне» текстуально близко к этим двум произведениям. Ср.: «Вдруг слышу крик и конский топ... Я поскорее дверью хлоп... Крик, хохот, песни, шум и звон, Разгульное похмелье» («Жених»; II, 1, 413); «Что не конский топ, не людская мольва» («Песни о Стеньке Разине»; III, 1, 24); «Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, Людская мольва и конский топ» («сон» Татьяны; VI, 104). В примечании 31 к роману Пушкин подчеркивал, что «слова: хлоп, мольва и топ... коренные русские», приводя параллель из фольклорных произведений (VI, 193). В поисках слова, определяющего отношение Онегина к «шайке домовых», Пушкин отверг книжное «господин» и обратился к заимствованному из «разбойничих песен» — «хозяин»: «Он там хозяин, это ясно» (VI, 105; ср. в «Песнях о Стеньке Разине»: «На корме сидит сам хозяин, Сам хозяин, грозен Стенька Разин»; III, 1, 23). Стремление Н. Н. Фатова (в статье «О „Евгении Онегине“ А. С. Пушкина» — «Ученые записки Черновицкого государственного университета», т. XIV, серия филологическая, вып. II, 1955, стр. 99—100) увидеть в чудовищах «сна» политические аллегории («усы» — жандармы, «кравовые языки» — повешенные) не более убедительно, чем толкование Д. Чижевским и Е. Танглем «сна» как аллегорического предвосхищения дальнейшего развития сюжета. «Под снежным полем, — пишет Тангль, — через которое одиноко бредет Татьяна, подразумевается московская бальная зала..., снежные сугробы — группы сидящих и стоящих гостей». Далее поясняется, что «две жердочки» — это две тетки Татьяны, а медведь — генерал (Е. Tangl. Tatjanas Traum. «Zeitschrift für slavische Philologie», Band XXV, Heft 1. Heidelberg, 1956, стр. 231, 232—233). Д. Чижевский (A. S. Pushkin. Evgenij Onegin. A Novel in Verse. The russian text, edited with introduction and commentary by D. Cizevsky. «Harvard University Press», Cambridge, 1953, стр. 257—259) толкует «сон» Татьяны как смесь проникновения в подсознательный (с ссылкой на немецких романтиков и Фрейда) внутренний мир героини и символического изображения ее будущей судьбы.

шем наиболее портретные строфы (например, описание костюма Онегина) были сняты.

Шестая глава, писавшаяся в трудное для поэта время и характеризующаяся трагическим тоном повествования, в отношении метода построения характеров продолжает пятую. Представляет интерес новый персонаж — Зарецкий, характеризующийся как умный, но бесчестный человек:

Он был не глуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нем,
Любил и дух его суждений,
И здравый толк. . .

(VI, 120).

Подобная характеристика была решительно невозможна в произведениях типа «Горе от ума». То, что Онегин, «не уважая сердца» Зарецкого, в своем поведении в шестой главе руководствуется моралью Зарецких (см. XI строфу), служит средством дальнейшей этической дискредитации героя.

Новым этапом в эволюции метода построения образов является седьмая глава.

Неудача восстания на Сенатской площади, заставив Пушкина снова остро пережить чувство близости к «братьям, друзьям, товарищам», вместе с тем явилась дальнейшим толчком для размышлений над причинами исторической слабости дворянских революционеров. Стремление взглянуть «на трагедию взглядом Шекспира» (XIII, 259) подводило к идее закономерности исторических событий.

Однако, как ни значительны были для Пушкина впечатления от событий 14 декабря 1825 года, причины, обусловившие выработку принципов историзма в мировоззрении, лежали значительно глубже: это был шаг в сложном процессе формирования того нового сознания, которое в дальнейшем обусловило и реализм Гоголя и диалектику Белинского. Характерно, что еще до получения известий из Петербурга Пушкин написал поэму «Граф Нулин», толчком к созданию которой послужили размышления о случайном и закономерном в истории (XI, 188).⁸³ Процесс выработки исторического сознания был сложен. Историзм как «понимание исторической изменчивости действительности, поступательного хода развития общественного уклада»⁸⁴ оформился в творчестве Пушкина не ранее 1830 года. Однако в подготовке этого периода литературный труд 1827—

⁸³ См.: Б. Эйхенбаум. О замысле «Графа Нулина». «Временник Пушкинской комиссии», т. 3, 1937, стр. 349—357. Не лишено интереса, что именно эпизод с Лукрецией избрал Мабли для размышлений о случайном и закономерном в истории и о неизбежности падения деспотизма в Риме. Мабли писал: «Однако совсем не оскорбление, причиненное Лукреции молодым Тарквинием, вселяло в римлян любовь к свободе. Они уже давно были утомлены тиранией его отца; они краснели за себя, презирали свое терпение. Мера исполнилась. И без Лукреции и Тарквиния тирания была бы низвергнута и иное происшествие вызвало бы революцию» (Mably. De l'étude de l'histoire. Collection complète des oeuvres, t. XII. A Paris, l'an III (1794 à 1795), стр. 286). Вполне вероятно, что истолкование Пушкиным поэмы Шекспира в связи с злободневными размышлениями над случайным и закономерным в истории и неизбежностью падения деспотизма было подготовлено чтением весьма популярного произведения Мабли.

⁸⁴ Б. В. Томашевский. Историзм Пушкина. «Ученые записки Ленинградского государственного университета», № 173, серия филологических наук, вып. 20, 1954, стр. 42. Интересные наблюдения, несмотря на устаревший уже налет социологизма, см. в статье И. Виноградова «Путь Пушкина к реализму» («Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 79).

1829 годов занимает значительное место. История еще не осознается как ряд последовательных социально-культурных этапов, но уже выработалось представление об исторической неизбежности, о железной объективности исторических законов. Ближайшим следствием из этих предпосылок был вывод о примате исторической неизбежности над правами человеческой личности, требование по отношению к этой личности отказаться от всех интересов, кроме осознанного интереса исторической необходимости. Любая попытка человека действовать, не соизмеряя себя с историей, третируется как эгоизм. Человеческая личность теперь судится судом истории. Типична в этом отношении «Полтава» с ее конфликтом между эгоистическими устремлениями героев, чьи поступки обусловлены субъективными намерениями (тут и Карл, который «Как полк, вертеться он судьбу Принудить хочет барабаном», и эгоист Мазепа, готовый «кровь» «лить как воду»; V, 54, 25) и историей, персонифицированной в образе Петра.

Однако под влиянием событий 14 декабря мысль Пушкина работала и в ином направлении. После казней и ссылок в 1826 году Пушкин остро пережил новую вспышку чувства солидарности с декабристами. 16 июля 1827 года (дата, стоящая под автографом «Ариона») всего несколькими месяцами отделено от начала работы над седьмой главой. Глубокое чувство близости к жертвам правительственного террора в известной мере противостояло стремлению «взглянуть на трагедию взглядом Шекспира». Становление этих противоречивых тенденций, вероятно, объясняет резкие колебания поэта в определении дальнейшей характеристики героя в пределах седьмой главы, а также, вероятно, и большие перерывы в процессе ее написания.

Пушкин, как немногие из его современников, был связан с литературно-философской традицией XVIII века, с высоким представлением о человеке и его правах, которое составляло характерную черту просветительской идеологии «философского столетия». Это повлияло и на своеобразие пушкинского перехода к новой форме общественного сознания — историзму. Белинскому, для того чтобы признать (с характерной ссылкой на «Вакхическую песню» Пушкина), что «человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества»,⁸⁵ потребовалось пройти через мучительный период выработки идеи закономерного характера истории, понятой первоначально как оправдание безусловного господства абсолюта над личностью, ее правами и интересами, отвлеченной идеи над живым человеческим существом. Пушкин даже в период, когда идея закономерного и всеобщего вставала перед ним в наиболее острой форме (размышления над итогами 14 декабря 1825 года, мысли периода польского восстания), никогда не доходил до крайних форм примирения. Вопрос о вечности истории (т. е. «абсолюта», в терминологии 30-х годов) как мериле ее прогрессивности всё время стоял перед ним одновременно с требованием «шекспировского взгляда». Так, в итоге последекабрьских размышлений появилась формула: «Герой, будь прежде человек» (VI, 411), развитая в канун событий в Польше в «Герое»:

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тирани.

(III, 1, 253).

В этом смысле самая первоначальная формула конфликта «Медного всадника» прослеживается уже в этом периоде. Правда, оба названных

⁸⁵ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI. Изд. Академии наук СССР, М., 1956, стр. 556.

аспекта (сознание закономерности истории и идея прав личности) еще не слиты в единой диалектически противоречивой системе. Они сосуществуют пока как две самостоятельные и взаимоисключающие тенденции, определяя характерные колебания авторской точки зрения.

Анализ черновых вариантов заставляет полагать, что первоначальный замысел седьмой главы должен был вновь измениться в сторону более положительной оценки героя. Характер Онегина должен был быть раскрыт его дневником и описанием книг библиотеки. Вырисовывающийся на основании этих источников облик героя во многом возвращал роман к концепции второй главы. К герою оказывается вполне применима характеристика Грибоедовым Чацкого как «здравомыслящего человека», который «разумеется в противуречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает».⁸⁶ Библиотека Онегина, в ее первоначальном варианте, рисовала картину разносторонних научных интересов. Широко представлены философы и политические писатели: Локк, Юм, Вольтер, Руссо, Гельвеций, Гольбах (д'Ольбах), Дидро, Кант. Интересуют Онегина и другие области знания: в его библиотеке хранятся Фонтенель, Робертсон. Обращает внимание то, что Онегин, который в первой главе «Бранил Гомера, Феокрита» (VI, 8), в черновике седьмой проявлял интерес к античной литературе: в списке его книг находим Горация, Лукреция, Цицерона. Любопытна еще одна деталь: в первой главе Онегин настолько не знал латыни, что «Не мог он *tabula* спрягать» (VI, 219; как известно, *tabula* не спрягается, а склоняется). Между тем в седьмой главе Онегин, видимо, читает Цицерона в оригинале, а не во французском переводе. На это указывает, как кажется, необычное для Пушкина написание «Кикерон», хотя в других случаях, даже в пределах романа («Цицерона не читал», «Цицероновы авгуры»; VI, 438, 165, 491), поэт пользуется общепринятым.

Еще значительнее материал «Альбома Онегина». Запись беседы Онегина с Л. С. противопоставляет светской оценке героя как насмешника и эгоиста мысль о его природной доброте:

А знали вы до сей поры,
Что просто очень вы добры?
(VI, 435).

Эта уникальная в романе характеристика героя в вариантах уточняется, с тем чтобы подчеркнуть доброту как природное, но утраченное качество: «Что просто были вы добры», «Что очень были вы добры», «Что были добры» (VI, 435). В связи с этим разъясняется смысл и другой записи в альбоме:

Цветок полей, листок дубрав
В ручьях кавказских — камнеет
В волненьи жизни так мертвеет⁸⁷
И резвый ум, и легкий нрав.
(VI, 433).

Особенно многозначительно начало «Альбома Онегина», рисующее взаимоотношения его и общества («Меня не любят и клеветуют»; VI, 431).

Эта запись, содержащая горячее оправдание Онегина, при изменении концепции главы оказалась вместе со всем альбомом изъятой; однако, как мы увидим, при новом изменении в оценке героя она пригодилась поэту

⁸⁶ Грибоедов, Сочинения, стр. 481—482.

⁸⁷ Вариант: В потоке общества мертвеет

для IX строфы восьмой главы. Известная «реабилитация» героя вызывала новое сближение его с автором. Заметки в альбоме Онегина ведут нас к сокровенным мыслям самого поэта. Приведем для примера отрывок:

Чего же так хотелось ей
Сказать ли первые три буквы
К-Л-Ю-Клю... возможно ль клюквы!

(VI, 433).

Пушкин бесспорно имел в виду эпизод, известный в пересказе П. В. Анненкова, сообщившего, как «Мусина-Пушкина... жившая долго в Италии... капризничала и раз спросила себе клюквы в большом собрании».⁸⁸ Эпизод этот оказался сложно связанным в сознании поэта с ассоциациями отнюдь не шуточного порядка. Связанный с этим цикл поэтических набросков был изучен Б. В. Томашевским, заметившим, что загадочное стихотворение «Когда порой воспоминанье» «едва ли не так же красноречиво, как известная строка „И я бы мог как шут“ под рисунком пяти повешенных».⁸⁹ Характер альбомных записей Онегина подводит Пушкина к новому принципу построения образа: добрый по природе герой «мертвеет» «в потоке общества». Однако подобное построение характера еще не созрело в творчестве Пушкина. Приведенные строки остались в черновике, не повлияв на окончательный текст главы.

Намеченный в первоначальном замысле седьмой главы образ Евгения Онегина как противопоставленного обществу мыслящего человека, возможно, разъяснит и столь часто цитируемое место из воспоминаний М. В. Юзефовича.⁹⁰ Поездка Пушкина на Кавказ приходится на лето 1829 года. Работа над седьмой главой, конченной 4 ноября 1828 года, была еще свежа в памяти. Разные варианты развития сюжета в седьмой главе, которая еще недавно «была в пьльцах», — вот наиболее вероятное содержание бесед поэта о характере его «романа в стихах». Запись Юзефовича оставляет возможность двоякого толкования: Пушкин «объяснял нам довольно подробно всё, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе или попасть в число декабристов».⁹¹ О каком «первоначальном замысле» идет речь? Первоначальном замысле написанной седьмой главы или восьмой, девятой, десятой, существовавших лишь в воображении поэта? Обычно понимают второе, говоря, с ссылкой на Юзефовича, что Онегин в десятой

⁸⁸ Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 341, 342.

⁸⁹ Б. Томашевский. Из пушкинских рукописей. «Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 313. Состояние дошедших отрывков не дает оснований для сколь угодно категорических выводов, однако некоторые гипотетические очертания замысла всё же возникают. Возможно, что антитеза Италии, страны апельсинов, покрытому тундрой северному острову, стране клюквы, была вместе с тем противопоставлением возможной цели «гоэтического побега» («Адриатические волны, О Брента! нет, увижу вас»; VI, 25) возможному месту новой ссылки (ср. упоминание Соловецкого монастыря в письме к Жуковскому от 31 октября 1824 года; XIII, 116). Не случайно третий отрывок этого цикла, по всей вероятности, воспроизводит обстановку южной ссылки (ср. «Дубрав не видно — степь нагая Над морем стелется одна» (III, 1, 86) и описание Одессы в «Путешествии Онегина»: «но дело в том, Что степь нагая там кругом»; VI, 202). Время написания наброска «Когда порой воспоминанье», видимо, близко к работе Пушкина над описанием жизни в Одессе, предназначавшимся, кстати, для седьмой главы.

⁹⁰ Ряд интересных, хотя и не всегда бесспорных соображений по этому вопросу см. в работе В. Глухова «Из творческой истории романа Пушкина „Евгений Онегин“» («На берегах Великой». Псковский литературный альманах, вып. 8, 1957, стр. 226—243; вып. 10, 1958, стр. 140—156).

⁹¹ «Русский архив», 1880, кн. III, № 2, стр. 443.

главе должен сделаться декабристом. Можно предположить, что первое вернее. На это указывает то, что в своих мемуарах Юзефович вообще не касается последних глав романа, который для него кончается на седьмой главе: «... речь зашла о прочтении нам еще не напечатанных „Бориса Годунова“ и последней песни „Онегина“». ⁹² Речь идет, конечно, о седьмой главе. Можно легче себе представить, что Пушкин делился уже оставленными замыслами, чем неясными еще ему самому поэтическими идеалами. На возможность такого развития судьбы героя намекает и зачеркнутая строка, согласно которой в «Альбоме Онегина»

Среди бессвязного маранья
Мелькали мысли, примечанья,
[Портреты], буквы, имена
[И чисел] [тайных] [письмена].

(VI, 430).

Указание на «тайные письма» в «Альбоме Онегина» имело в обстановке последекабрьского террора настолько ясный смысл, что Пушкин предпочел замарать всю строку. Не менее ясен был и смысл первоначального описания библиотеки. Имена Мабли, Руссо, Гельвеция, Гольбаха и Дидро были весьма многозначительны в период, когда состав личной библиотеки был одним из пунктов, обращавших первостепенное внимание властей в период последекабрьских обысков и арестов. Характерно письмо Грибоедова к А. В. Всеволожскому, написанное в тревожную пору весны 1827 года. Сообщив о слухах об аресте его, Всеволожского (письмо было отправлено «с оказией»), Грибоедов продолжал: «... впрочем, в душе моей я так же был за тебя уверен, как некогда ты за меня... зная тихую твою семейную жизнь, дела хозяйственные и несколько не политические, выбор друзей и книг самый безвредный». ⁹³ Онегин, владелец альбома, страницы которого украшали «Портреты, буквы, имена» (напрашивается аналогия с уничтоженным пушкинским дневником; характерно, что «портреты» Пушкин также поспешил зачеркнуть), не был так счастлив в выборе друзей и книг.

Из сказанного можно сделать вывод, что свидетельство Юзефовича не может привлекаться как материал для истолкования десятой главы (к ней мы обратимся в дальнейшем) и интересно лишь для изучения замыслов, которые уже летом 1829 года могли характеризоваться как «первоначальные», т. е. оставленные. Однако окончательный облик седьмой главы сложился иначе. Не случайно работа над ней хронологически совпадает с написанием «Полтавы».

Размышления о случайном и закономерном в истории подвели Пушкина к идее объективности и закономерности исторического процесса, независимости его от произвола личности. Подобный подход заставил поэта обратиться вновь к критике романтизма, причем даже в более резкой форме, чем в тот период, когда ему самому приходилось преодолевать в себе романтические представления.

В 1828—1829 годах идея закономерности исторического процесса не вылилась еще в творчестве Пушкина в подлинный историзм. В основе построения образа лежала не зависимость чувств и мыслей героя от определенных исторических условий, а идея способности или неспособности

⁹² Там же, стр. 441.

⁹³ С. В. Шостакович. Неизвестное письмо А. С. Грибоедова А. В. Всеволожскому. «Груды Иркутского государственного университета им. А. А. Жданова», т. XVI, серия историко-филологическая, вып. 3, 1956, стр. 163.

его подчиниться объективному ходу событий. Герой рассматривается, таким образом, еще не исторически, а психологически.⁹⁴ Его воззрения еще не объясняются историей, но уже оцениваются ее судом как соответствующие или не соответствующие объективному ходу событий. Центральным вопросом является не изучение условий формирования характера, а суд над ним с позиций истории, осуждение тех моральных качеств (в первую очередь эгоизма), которые заставляют человека искать цель своей деятельности в себе, а не вне себя, в субъективном, а не в объективном. Характерными чертами авторского подхода делаются отрицание эгоистического индивидуализма и резкая оценочность произведения. Оба эти принципа могут быть отмечены в «Полтаве» и в седьмой главе «Евгения Онегина» в ее окончательном варианте. Достаточно проследить системы эпитетов, характеризующих Мазепу и Онегина, чтобы убедиться в подчеркнутой тенденции к осуждению героя.

Седьмая глава была коренным образом перестроена. Альбом изъят, изменилась библиотека. Теперь она должна раскрыть не умственный кругозор, а нравственный облик героя. Подбор книг отражает не интересы ума, а картину сердца:

Везде Онегина душа
Себя невольно выражает. . .
(VI, 149).

Знаменитые строки XXII строфы становятся одновременно и нравственным портретом героя:

. . . современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой.
Себялюбивой и сухой. . .
(VI, 148).

Эгоизм как основу характера Онегина подчеркивает и убранство его комнаты:

. . . лорда Байрона портрет
И столбик с куклою чугунной. . .⁹⁵
(VI, 147).

⁹⁴ Правда, в «Полтаве» намечен уже и другой аспект. Изобразив Мазепу романтическим эгоистом, Пушкин в одном месте поэмы дает понять, что данное психологическое состояние — плод феодально-рыцарской эпохи. Эпизод с усами, детально разъясненный поэтом в примечании, рисует Мазепу не байроническим злодеем, а мятежным феодалом. При таком подходе конфликт преобразуется в столкновение между героем, выражающим идею феодальной раздробленности, и Петром I как представителем новой государственности. Однако ясно, что в основе поэмы лежит не историческое, а психологическое противопоставление личности мятежного индивидуалиста облику человека, растворившего свое «я» в объективном поступательном ходе истории. Элементы исторического подхода к характеру Онегина содержатся уже в седьмой главе. Однако историческое мышление Пушкина в этот период еще только формировалось. Об этом говорит такая характерная черта стиля «Полтавы» и седьмой главы, как системы субъективно-оценочных эпитетов (см. об этом ниже).

⁹⁵ Напрашивается сравнение с кабинетом П. Я. Чаадаева, в котором «справа находится портрет Наполеона, с левой Байрона» (Ф. Ф. Вигель. Записки, т. II. Изд. «Круг», М., 1928, стр. 163). Обстановка жилища Чаадаева была Пушкину хорошо знакома. В Кишиневе он мечтал увидеть

кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель.
(II, 1, 189).

Стоящий вне объективного хода действительности, чуждый жизни, его окружающей, Онегин подвергается резкому осуждению. Если еще недавно Пушкин был склонен объяснять «демонизм» героя «вечными противоречиями сущности» (XI, 30), то теперь он ближе к точке зрения Киреевского, считавшего, что «время Чильд-Гарольдов... еще не настало для нашего отечества»⁹⁶ и, следовательно, основа характера Онегина — подражательность.⁹⁷ Именно так оценивается Онегин в самой резкой для всего романа XXIV строфе седьмой главы. Страдания героя — лишь «Чужих причуд истолкованье» (ср. в LV строфе: «Пою приятеля младого И множество его причуд»; VI, 149, 163). Онегин — «подражанье», «пародия», «ничтожный призрак», «Москвич в Гарольдовом плаще». В черновых вариантах еще резче: «Он тень» (VI, 149, 441). Содержащаяся в черновых вариантах характеристика Онегина как «полурусского героя» имеет бесспорно иной смысл, чем применительно к Ленскому в XII строфе второй главы (ср.: «Татьяна русская душою»).

Изменение общей концепции главы повлекло и появление новых черт в облике героини. Народность понималась Пушкиным в период работы над пятой главой как стихийное непроизвольное чувство. Суд истории требует понимания ее законов и сознательного им подчинения. Для того чтобы выступить в качестве судьи героя, Татьяна должна теперь стать в интеллектуальном отношении на один уровень с автором, она должна «разгадать» Онегина, т. е. в умственном отношении возвыситься над ним.

В соответствии с этим, нарисованный в предыдущих главах нравственный облик героини восполняется картиной ее умственного возмужания. Пятая глава, подчеркивая наивность Татьяны, «душой», правдой народной этики сближала героиню с нравственным идеалом автора.

С седьмой главы начинается интеллектуальное сближение образа Татьяны с идеалом Пушкина. Здесь Татьяна «Чтенью предалася... И ей открылся мир иной», она «начинает... понимать» (VI, 148, 149). Эпизод с посещением библиотеки не только нужен для моральной характеристики Онегина, но и знаменует быстрый рост сознания героини. В Москве она уже судит об умственном убожестве общества языком лирических отступлений автора:

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор:
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Всё в них так бледно, равнодушно;
Они клеветуют даже скучно...
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум...

(VI, 159—160).

Ср. в повести М. Н. Загоскина «Три жениха» явно памфлетное описание кабинета князя Верхоглядова, в образ которого, по всей вероятности, введены грубо шаржированные черты Чаадаева. Повесть была написана незадолго до создания им направленной против Чаадаева комедии «Недовольные». В кабинете на стенах рядом с портретами Лафайета, Манюэля и других — портрет Байрона. «Веаде, на окнах, в простенках, на столах, бюсты и статуи Наполеона» («Библиотека для чтения», 1835, т. X, отд. I, стр. 57). Всё это, конечно, не дает никаких оснований для истолкования образа Онегина как выступления против Чаадаева и уж, конечно, не указывает на какую-либо солидарность Пушкина с Загоскиным.

⁹⁶ И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений, т. II, М., 1911, стр. 10.

⁹⁷ На параллельность в оценке Онегина в седьмой главе и в статье Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина» было указано еще Л. И. Поливановым (см.: А. С. Пушкин. Сочинения, т. IV, изд. Л. Поливанова, М., 1887, стр. 103—108).

Неблагодарные отзывы «архивных юношей» благодаря эпитету «чопорно» бросают иронический ответ не на героиню, а на самих любомудров.⁹⁸ На уровне Татьяны оказывается только Вяземский:

У скучной тетки Таню встреть,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.

(VI, 160).

То обстоятельство, что, для того чтобы «занять душу» героини, требуется беседа не менее, как Вяземского, говорит об облике, не похожем на «девочку несмелую» предыдущих глав. Образ Вяземского нужен здесь для сближения внутреннего мира героини и автора. Приблизительно в то же время в «Романе в письмах», желая подчеркнуть широту умственных интересов провинциальных дворянских девушек, Пушкин писал:

«Маша хорошо знает русскую литературу — вообще здесь занимаются словесностью, чем в Петербурге... Теперь я понимаю, за что Вяземский и Пушкин так любят уездных барышен. Они их истинная публика» (VIII, 1, 50).

Если в конце первой главы Онегин «подружился» с автором, то теперь в пушкинский круг вступила героиня. Седьмая глава подготавливает ту расстановку сил, которую чрезвычайно тонко, хотя и в характерно парадоксальной форме, отметил Кюхельбекер:

«Поэт в своей 8-й главе похож сам на Татьяну. Для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин преисполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет».⁹⁹

Однако и седьмая глава — не конечный этап эволюции центральных образов романа. Задуманное в качестве самостоятельной восьмой главы, «Путешествие Онегина» первоначально продолжало наметившуюся в седьмой главе характеристику героя. Тоска Онегина — лишь маска («Иль маской щегольнет иной»; VI, 168), а его стремление путешествовать объясняется как новая «причуда». Резкая ирония авторского повествования подчеркнута подбором лексики: «Проснулся раз он патриотом В Hotel de Londres, что в Морской»; «Россией только бредит он, Уж он Европу ненавидит» (VI, 476). Подробность: «Коляска венская¹⁰⁰ в дорогу Его по почте понесла» (VI, 476) — бросает иронический ответ на скороспелый патриотизм Онегина.

В дальнейшей работе над «Путешествием» отношение автора к герою пережило еще одну трансформацию, и на этот раз органически вытекающую из общей творческой эволюции поэта. Идея закономерности истории неизбежно подвела поэта на рубеже 1829 и 1830 годов к историзму — к взгляду на историю человечества как на взаимосвязанную цепь качественно различных периодов, каждый из которых порождает своеобразную культуру, свой тип человека. Теперь уже недостаточно было осудить героя

⁹⁸ Первоначально Пушкин наметил иное отношение «архивных юношей» к Тане:

Архивны юноши толпою
На Таню издали глядят,
О милой деве меж собою
Они с восторгом говорят.

(VI, 457).

Однако поэт отказался от этого замысла, поскольку изображение Татьяны как идеала любомудров могло дать читателю основание для поисков в ее образе черт романтической «милой девы».

⁹⁹ В. К. Кюхельбекер. Дневник, стр. 42.

¹⁰⁰ Курсив мой, — Ю. Л.

за субъективизм, надо было объяснить это условиями времени. «Путешествие» было закончено 18 сентября 1830 года, а датой «23 апреля 1830 года» помечен белой автограф стихотворения «К вельможе» — одного из первых произведений Пушкина, в которых ярко отразился взгляд на характер современного человека как на закономерное выражение сменяющихся исторических эпох.

Характер Онегина теперь выводится из современной ему эпохи. Это потребовало введения в поэму гораздо более широкой картины действительности, чем в предыдущих главах. Облик эпохи раскрывается из контраста между ничтожной действительностью современной Онегину России и героическим прошлым, некогда предоставлявшим возможности для приложения великих сил. Новгород, Москва, Нижний Новгород, Волга, Астрахань, Кавказ даются в указанных двух планах. «Мятежный колокол» Новгорода (VI, 496), «башня Годунова, Дворцы и площади Кремля» (VI, 478), «Отчизна Минина» (VI, 498), Волга, где «Стенька Разин («единственное поэтическое лицо русской истории»; XIII, 121) в старину Кровавил волжскую волну» (VI, 499), Астрахань, где Онегин «углубился В воспоминанья прошлых дней» (VI, 499), с одной стороны, и современность: военные поселения (по свидетельству П. А. Катенина), палаты «Английского клуба (Народных заседаний проба)» в Москве, Макарьевская ярмарка в Нижнем Новгороде, унылые голоса бурлаков, «торговый Астрахань» (VI, 497, 498, 499), с другой стороны. Тоска Онегина, проходящая как рефрен через всё «Путешествие», теперь получает новое, гораздо более глубокое обоснование. Разочарованный, скучающий герой — закономерное следствие эпохи, убивающей лучшие силы человека. Тоска теперь уже не вина, а беда героя. Поскольку герой — порождение исторических условий, то резко оценочный критерий седьмой главы и «Полтавы» к нему уже не применим. Иронический тон повествования не соответствовал новому замыслу. При переработке черногого наброска было убрано упоминание о «Hotel de Londres», а «венская коляска» заменена «легкой» (VI, 495, 496). Поскольку характер героя ставился теперь в зависимость от облика эпохи, упрек в подражательности отпадал сам собой. Теперь этот упрек высказывался не от лица автора, а как голос «светской черни». Строфа эта была перенесена в текст восьмой главы и легла в основу чрезвычайно существенной характеристики героя. VIII строфа восьмой главы возникла на основе V строфы «Путешествия» («Наскуча слыть или Мельмотом...»; VI, 475—476). В ней вновь повторяется упрек в подражательности, чудачестве, позерстве героя. Онегин «корчит чудака». Следует перечисление «масок», которыми он может «щегольнуть»; всё заключается советом «Отстать от моды обветшалой» и сделаться «добрым малым», «Как вы да я, как целый свет» (VI, 168). Однако сейчас это уже не авторская точка зрения. Поэт не присоединяется к «целому свету». Следующая IX строфа содержит горячее оправдание героя. Стихи, в свое время задуманные в первоначальном варианте «Путешествия Онегина» как выражение авторской оценки героя, теперь звучат как мнение «светской черни» и резко отвергаются в непосредственно идущей от лица поэта IX строфе, посвященной оправданию Онегина. В основу ее лег текст из «Альбома Онегина» («Меня не любят и клеветуют...»; VI, 431). Тот факт, что самооправдание героя автор теперь высказывает от своего имени, достаточно красноречиво. Обвинение героя в эгоизме — следствие того,

Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет иль смешит...
(VI, 169).

Мысль эта развивается в XII строфе. Прежде сам поэт считал разочарованность лишь маской, которой «щеголяет» герой. Теперь Онегин «притворным чудачком» слывет «Между людей благоразумных» (VI, 170). Прежде сам поэт считал его «Москвичем в Гарольдовом плаще» (VI, 149), теперь «доморощенным Байроном» (VI, 495) (в окончательном тексте: «сатаническим уродом»; VI, 170) его именует «чинная толпа». Строфы X, XI, XIII раскрывают трагедию героя как типичную судьбу человека, возвысившегося над современным ему обществом и этим обществом порожденного. Судьба Онегина связана с судьбой его поколения. В XI строфе Пушкин сливает размышления о герое с авторским отступлением:

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана...

(VI, 169).

Но теперь это, как и в «Думе» Лермонтова («наше поколение»), не порождает уже угрозы романтического сближения автора и героя, ибо сходство их определено объективными причинами — они дети одной эпохи.

«Путешествие Онегина» и восьмая глава писались в сложной обстановке. Быстрое развитие Пушкина в сторону реализма, само по себе представлявшее процесс отнюдь не прямолинейный, осложнялось обострившейся в этот период борьбой литературных группировок, борьбой, которая отразилась на позиции Пушкина. Будучи связана с целым рядом тактических вопросов, полемика 1829—1830 годов накладывала своеобразный рисунок на общую канву идейно-художественной эволюции поэта.

Пушкинский реализм второй половины 20-х годов связан был с осуждением романтического субъективизма (см. заметку о драмах Байрона,¹⁰¹ 1827; XI, 51) и предполагал объективный, независимый от произвола автора характер героя. Задача писателя состояла в том, чтобы придать характеру героя психологическое правдоподобие. Герой ставится в подчеркнутую обыденные ситуации. Поведение его не определяется авторским произволом, но закономерно вытекает из психологической природы его характера. Сама же эта психологическая природа мыслится еще как нечто первичное, вопрос о ее обусловленности пока не ставится. В связи с этим бытовой фон произведения, развертываясь как бы параллельно с психологическим рисунком, обеспечивая герою жизненно-реальные ситуации для проявления его характера, не выступает еще как сила, формирующая этот характер, т. е. еще не возводится на степень социального фактора. Так возникает, с одной стороны, необходимость точности бытовых деталей, воспринимаемых, однако, как нечто внешнее по отношению к характеру героя, а с другой — сосредоточение внимания на психологическом анализе.¹⁰² Условия литературной борьбы объединили в этот период Пуш-

¹⁰¹ В 1831 году почти дословно ее повторил Баратынский. В письме к И. В. Киреевскому от 6 августа 1831 года он писал: «Руссо знал, понимал одного себя, наблюдал за одним собою, и все его лица Жан-Жаки, кто в штанах, кто в юбке». И в другом письме к нему же от 21 сентября 1831 года: «Когда-то сравнивали Байрона с Руссо, и это сравнение я нахожу весьма справедливым. В творениях того и другого не должно искать независимой фантазии, а только выражения их индивидуальности. Оба — поэты самости» (Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма. Гослитиздат, М., 1951, стр. 499, 502).

¹⁰² Мысль о параллельном развитии двух планов повествования, бытового и психологического, терминологически облекая ее, в тон собеседнику, в формулы шеллингианской эстетики, по сути дела самому ему весьма далекой, детально изложил Баратынский в письме к И. В. Киреевскому. Летом 1831 года он писал: «Кстати о романе: я много думал о нем это время, и вот что я о нем думаю. Все прежние романисты

кина, Вяземского и Баратынского. Однако в рамках общего требования «психологического реализма» позиция каждого включала и элементы своеобразия. Так, для Вяземского характерно было «психологическое», а не сатирическое изображение «света» и перенесение внимания на «метафизику страстей» за счет интереса к бытовой стороне повествования. Вяземский в 1830 году писал: «Безжизненность, так сказать, безличность большей части светских картин нашей литературной живописной школы происходит именно от неверности подробностей. Страсти, пороки, глупости людские почти везде одни и те же: одна обставка оных придает им краски местности и времени».¹⁰³ Характер героя в рамках «психологической» повести конца 20-х годов рассматривался, сходно с системой романтизма, как порождение борьбы страстей. Однако этот, еще романтический по существу, образ рисовался как объективный, от автора независимый, чувствующий и действующий в строгом соответствии с законами психологического правдоподобия. Подобная позиция вызывала два следствия: с одной стороны, наметилась тенденция создавать образы, отмеченные печатью сходства с «вечными» литературными типами («страсти... почти везде одни и те же») — Фаустом, Клеопатрой и т. д.; с другой стороны, поскольку интерес сосредоточивался не на интриге, не на событиях, не на быте, а на психологии, писатель стремился найти героя там, где душевная жизнь отличалась особым богатством и сложностью, — в кругу образованного светского общества. «Светский» характер сюжета отнюдь не означал апологетического отношения к «свету».¹⁰⁴ Последний чаще всего выступал как царство пошлости и лицемерия, сила, враждебная подлинной человечности центрального героя. В этом смысле характерны такие произведения, как «Гости съезжались на дачу» Пушкина, «Бал» Баратынского, перевод «Адольфа» Вяземского, а для более позднего времени — «Княгиня Лиговская» Лермонтова и «светские» повести В. Ф. Одоевского. Именно в этот период у Пушкина определился принцип — по старой канве вышивать новые узоры. Это означало ставить романтического героя (и вообще традиционный литературный образ) в ситуацию, исполненную жизненной и психологической правды. Так, в отрывке «Гости съезжались на дачу» на фоне сатирически изображаемого света, где «все стараются быть ничтожными со вкусом и приличием» (VIII, 1, 37), появляется образ «беззаконной кометы» — Вольской.

«Психологическая» повесть в стихах и прозе 1829—1830 годов бесспорно была этапом на пути к реализму, поскольку в качестве главного

неудовлетворительны для нашего времени по той причине, что все они придерживались какой-нибудь системы. Одни — спиритуалисты (имеется в виду карамзинская проза в новом ее варианте, пропагандировавшемся Вяземским, — Ю. Л.), другие — материалисты (т. е. «бытовая проза» типа романов В. Т. Нарезного, — Ю. Л.). Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только ее духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем и другим образом. Хотя всё сказано, но всё сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете» (Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма, стр. 497).

¹⁰³ «Литературная газета», 1830, № 23, 21 апреля, стр. 183.

¹⁰⁴ Апологетический характер «светская» повесть приобрела у некоторой части консервативно настроенных авторов с середины 30-х годов как антипод социальной повести гоголевской школы. В конце 20-х годов, до возникновения этого направления, «светская» повесть играла иную роль. Характерно, что Баратынский подчеркивал личную отчужденность от света: «... хотя мы заглядываем в свет, мы — не светские люди. Наш ум иначе образован, привычки его иные. Светский разговор для нас ученый труд, драматическое создание, ибо мы чужды настоящей жизни, настоящих страстей светского общества» (Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма, стр. 505—506).

критерия эстетического достоинства она выдвигала требование психологической правды, борясь и против неестественности романтизма и против «нравственных» повестей Булгарина. В программном предисловии к «Цыганке» Баратынский писал, что от литературы не следует требовать «положительных нравственных поучений», должно «видеть в ней науку, подобную другим наукам, искать в ней *сведений*... , требуйте от них <поэтов> того же, чего от ученых: истины показаний». Вместе с тем первоосновой характера человека считается противоречивое сочетание страстей (в этом смысле приводится отрывок из стихотворения Панара), о связи страстей с эпохой или социальной средой речи не идет. Поэтому литература, объявляемая одной из наук, это не наука об обществе, а наука о страстях. «Читайте романистов, поэтов, и вы узнаете страсти, вами или не вполне, или совсем не испытанные».¹⁰⁵

Прозаические замыслы Пушкина 1829—1830 годов, связанные многими нитями с широким кругом пушкинских произведений, могут пролить известный свет и на заключительный этап работы Пушкина над романом. Дело даже не в отдельных текстовых и ситуационных совпадениях, хотя и они имеют место,¹⁰⁶ — вопрос идет об известной общности идейно-художественных принципов.

В начале восьмой главы Пушкин проследил путь своей музы от чтения стихов на лицейском экзамене до южных поэм, «Цыган» и центральных глав «Евгения Онегина». Приведя музу в VI строфе белой рукописи «на светский раут», поэт тем самым связал дальнейшее развитие романа с теми вопросами, которые стояли перед ним при работе над незавершенными прозаическими отрывками и которые в конечном итоге сводились к созданию «психологической» повести на фоне сатирически изображаемого светского общества. Характерно, что, приступая к работе над изображением «света», поэт предполагал первоначально ввести в текст образ, представляющий своеобразную параллель к образу Зинаиды Вольской:

[Смотрите] в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей.¹⁰⁷
В волненьи перси — плечи блещут,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана [вьются] и трепещат

¹⁰⁵ Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма, стр. 430.

¹⁰⁶ Так, характеристика Вольской напоминает известное размышление Пушкина о «неприличии» письма Татьяны Онегину. Ср.: «Страсти! какое громкое слово! что такое страсти? Не воображаете ли вы, что у ней пылкое сердце, романическая голова? Просто она дурно воспитана» (VIII, 1, 38). Татьяна

... от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным.
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

(VI, 62).

В «Романе в письмах» Лиза в книгах обнаруживает пометки Владимира **, в которого она влюблена («нахожу на полях его замечания»; VIII, 1, 49).

¹⁰⁷ Ср. сцену появления Вольской (VIII, 1, 37—38).

Прозрачной сетью кружева,
И шолк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах...¹⁰⁸

(VI, 515).

Задуманный образ, вероятно, приближался к характеру героини поэмы Баратынского «Бал», «бедной, страстной героини», по характеристике Пушкина (XI, 76), к «демоническому характеру в женском образе», в оценке Белинского.¹⁰⁹ Образы Нины из восьмой главы и Нины в «Бале», возможно, сближались и общностью реальных прототипов.¹¹⁰

Известные колебания испытывал Пушкин и в вопросе характеристики светского общества. Традиция, идущая от романтических повестей и «Горя от ума» (ср. упоминание Грибоедова в LIб строфе седьмой главы; VI, 461), закрепляла сатирическое отношение к «светской черни». Однако спор 1829—1830 годов о литературной аристократии заставлял поэта полемически подчеркнуть сочувствие свету, противопоставляя его простоту, естественность и свободу от предрассудков чопорному суду журнальной критики:

В гостиной истинно дворянской
Чуждались щегольства речей
И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных суждений.
[В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою страстностью своей:
(Чему наверно удивится,
Готова свой разборный лист,
Иной глубокий журналист;
Но в свете мало ль что творится,
О чем у нас не помышлял,
Быть может, ни один журнал!)]

(VI, 626—627).

Ср.: «Я было заглянула в журналы и принялась за критики Вестника Европы, но их плоскость и лакейство показали мне отвратительны — смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безразличности и неблагопристойности сочинения, которые прочли мы все, мы — Санктпетербургские недотроги!» («Роман в письмах»; VIII, 1, 50).

В более позднем отрывке:

«Полно-те, вскричала хозяйка с нетерпением Qui est-ce donc que l'on trompe ici?»¹¹¹ Вчера мы смотрели Anthony, а вон там у меня на камине валяется La Physiologie du mariage.¹¹² Неблагопристойно! Нашли чем нас пугать! Перестаньте нас морочить, Алексей Иванович! Вы не журналист» («Мы проводили вечер на даче»; VIII, 1, 421).

Демонстративно полемический характер имела V строфа белой рукописи восьмой главы: в обстановке острой полемики по вопросу о литературном аристократизме Пушкин в обширном обозрении своего творческого пути в качестве первых ценителей своего таланта рядом с Державиным назвал Дмитриева, Карамзина и Жуковского:

¹⁰⁸ Пушкин подчеркивал «бурный» облик героини; так, стих «Волшебный вид: в алмазах блещет» был заменен значительно более динамическим: «В волненьи перси — плечи блещут».

¹⁰⁹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VI, 1955, стр. 483.

¹¹⁰ См.: «Звенья», т. III—IV, Изд. «Academia», М.—Л., 1934, стр. 172—179.

¹¹¹ «Кого здесь обманывают?» (франц.).

¹¹² «Физиология брака» (франц.).

И Дмитриев не был наш хулитель,
 И быта русского хранитель,
 Скрижаль оставя, нам внимал
 И Музу робкую ласкал,
 И ты, глубоко вдохновенный,
 Всего прекрасного певец,
 Ты, идол девственных сердец . .

(VI, 621).

Подобный подбор имен был не только нарочито односторонен, но и фактически не соответствовал реальному положению вещей. Как известно, Дмитриев очень резко высказался против «Руслана и Людмилы». Оценка эта была известна поэту и болезненно им воспринималась (см. перефразировку слов Дмитриева в письме Пушкина к Гнедичу из Кишинева от 27 июня 1822 года; XIII, 39—40). Еще в 1828 году во втором издании «Руслана и Людмилы» Пушкин в совершенно иных тонах, чем в беловой рукописи восьмой главы, характеризовал отношение Дмитриева к первым шагам своего творчества (IV, 284):

«Долг искренности требует также упомянуть и о мнении одного из увенчанных, первоклассных отечественных писателей, который, прочитав Руслана и Людмилу, сказал: я тут не вижу ни мыслей, ни чувства; вижу только чувственность. Другой (а может быть, и тот же) увенчанный, первоклассный отечественный писатель приветствовал сей первый опыт молодого поэта следующим стихом:

Мать дочери велит на эту сказку плюнуть».

Не случайно, что в печатном тексте восьмой главы, во II строфе (соответствует V белового) Пушкин сохранил лишь первые четыре стиха, содержащие упоминание о Державине, заменив остальные точками. Poleмические соображения не могли играть решающей роли в структуре главы, и строки, сочувственно рисующие «свет», были из беловой рукописи вычеркнуты. Однако и в окончательном тексте восьмая глава сохранила своеобразный облик. В отличие от большинства глав, отчетливо сюжетных, содержащих описание событий (приезд Онегина в деревню, поездка к Лариным, именины, дуэль, приезд Татьяны в Москву, путешествие Онегина по России), заключительная глава романа имеет психологический характер. Это приближение ее к программным требованиям Вяземского, сформулированным в предисловии к переводу «Адольфа» Бенжамена Констана. Вяземский одобрял то, что в «Адольфе» нет «приключений, неожиданных переломов, одним словом, всей кукольной комедии романов». Задача романа — «выказать сердце человеческое, перевернуть его на все стороны, вывернуть до дна и обнажить наголо, во всей жалости и во всем ужасе холодной истины».¹¹³ Не случайно восьмая глава вызвала высокую оценку Вяземского, который в письме к жене писал: «Есть много прелестных подробностей в этой песне и вообще больше романтического интереса, нежели во многих песнях».¹¹⁴

¹¹³ Бенжамен Констан. Адольф. СПб., 1831, стр. XII—XIII. Характерно резкое возражение против этих тезисов Н. А. Полевого (см.: «Московский телеграф», 1831, ч. 41, № 20, стр. 534—535).

¹¹⁴ «Звенья», т. IX, М., 1951, стр. 264. «Евгений Онегин» повлиял и на «Цыганку» Баратынского, вплоть до включения в текст поэмы прямых цитат: «Своим пенатам возвращенный». Характеристика Елецкого:

И от людей благоразумных
 Чудовищем со всех сторон
 Елецкий был провозглашен

Однако совпадение позиции Пушкина и Вяземского было отнюдь не безусловным. Система Вяземского, по сути дела, так и осталась позицией карамзиниста. Требование исключительного внимания к внутреннему миру человека при равнодушии к миру «внешней» действительности — это была всё та же, восхитившая когда-то Вяземского формула Карамзина: «всё для души». ¹¹⁵ Правда, теперь Вяземский истолковывал ее не в духе романтического бунтарства, а в смысле того понимания психологизма, которое заставило Карамзина еще в «Московском журнале» назвать писателя «*сердце-наблюдателем по профессии*». ¹¹⁶ Для Пушкина же интерес к психологии и к внешнему миру представлял собой параллельно развивающиеся, а не взаимоисключающие тенденции творчества. Одновременно с эволюцией творчества от шестой к седьмой главе шло развитие от «Графа Нулина» к «Домику в Коломне». Органически связать их в единой художественной системе оказалось возможно лишь с момента выработки историзма как новой формы художественного сознания.

Если первый шаг в выработке историзма состоял, как мы уже отмечали, в признании объективности законов истории и стремлении взглянуть на человека с точки зрения этих законов, то второй заключался в осознании того, что современная жизнь представляет собой некий определенный исторический момент, качественно отличный от предыдущей и последующей эпох. Это заставляло искать в окружающем единства. Современная действительность в ее идеологически-нравственных и материально-бытовых проявлениях складывалась в некую единую картину эпохи. Это своеобразие эпохи, определяющее ее единство, было охарактеризовано И. В. Киреевским (переживавшим в 1829—1832 годах отход от единомышленников по кружку «любомудров» и сближение с пушкинским окружением) как понятие «особенности текущей минуты». В статье «Девятнадцатый век» Киреевский писал:

«В чем же состоит эта особенность текущей минуты?»

«Ответ на этот вопрос должен служить основанием наших суждений обо всем современном; ибо одно понятие текущей минуты, связывая общие мысли с частными явлениями, определяет в уме нашем место, порядок и степень важности для всех событий нравственного и физического мира». ¹¹⁷

Подобный подход вызвал глубокие изменения в структуре образа: психологический облик героя брался не как данность, определенное сочетание страстей, а выводился из характера эпохи, «особенности текущей минуты». Необходимо отметить, что эта последняя понимается не как сумма материальных факторов (от самого примитивного: материальное это быт — до более глубокого: материальное как сумма общественных отношений), а как дух времени, некая идейно-психологическая специфика.

Дух времени определяет его «общий цвет». ¹¹⁸ Описание быта, внешних условий жизни героя и его психологический облик связываются этим воедино, причем быт не выступает еще как фактор, формирующий характер, как его причина. Он вместе с характером определен общим духом времени

(Е. Баратынский. Стихотворения, ч. II, М., 1835, стр. 113) — ведет к известной оценке Онегина в XII строфе восьмой главы. Во второй редакции поэмы Баратынский снял эти стихи.

¹¹⁵ Карамзин. Речь, произнесенная на торжественном собрании Российской академии 5 декабря 1818 года. Сочинения, т. III, СПб., 1848, стр. 654.

¹¹⁶ «Московский журнал», 1791, ч. II, апрель, стр. 85.

¹¹⁷ И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений, т. I, М., 1911, стр. 85.

¹¹⁸ Там же, стр. 86.

и является внешним выражением «особенности текущей минуты».¹¹⁹ Этот новый взгляд заставил по-новому взглянуть на героя. Последний начал восприниматься как «сын века», его трагедия — не как психологический (так осмыслял Вяземский, отрывая восьмую главу от всего текста романа), а как эпохальный конфликт. Именно на этом этапе «собрание пестрых глав» связалось в единую картину эпохи (вплоть до бытовых описаний первой главы) и порожденного ею героя; роман получил единство.

Основой характера, таким образом, являются не материальные условия существования, а век как некая сумма черт духовного своеобразия. Баратынский писал И. В. Киреевскому: «Каждый из нас почерпнул... мнения в своем веке. Но это — не только мнения, это — чувства. Органы наши образовались соответственно понятиям, которыми питался наш ум».¹²⁰ Таким образом, не понятия человека вытекают из чувственно постигаемой действительности, но сами эти чувства формируются ведущими понятиями века. Если бы в основу характера поэт уже на этом этапе положил влияние общественной среды как материального фактора, он неизбежно бы пришел, как это имело место в «Капитанской дочке», к социальной дифференциации героев. Понимание эпохи как некоей идейной сущности заставляло подчеркивать не антагонизм общественных групп внутри ее, а общность всех героев, принадлежащих данному времени. Даже в исключительном, выдающемся герое автор стремится найти черты эпохи. Киреевский писал: «Все воспитаны одномысленными обстоятельствами (из контекста ясно, что материальная сторона «обстоятельств» для Киреевского лишь проявление идейной, — Ю. Л.), образованы одинаким духом времени. И те умы, которые в борьбе с направлением своего века, и те, которые покорствуют ему, всё равно обнаруживают его господство: оно служит общим центром, к которому примыкают направления частные, как правая и левая сторона в палате депутатов».¹²¹ В связи с этим находится и стремление Киреевского истолковать «Горе от ума» как историческую картину нравов, подчеркивая общее между Чацким и его временем: «„На всех московских есть особый отпечаток“. Вот в чем состоит главная мысль комедии Грибоедова».¹²²

При таком подходе конфликт менял свой характер: он уже не мог заключаться в борьбе героя со средой, обстоятельствами, эпохой — конфликт заключался в губительном воздействии эпохи на человека, не только пошлого, обыденного, но и самого передового, в невозможности для героя вырваться из-под влияния духа времени. Конфликт порождал трагедию бездействия: герой не мог бороться, ибо противник заключался в нем самом. Однако дух времени мыслился как захватывающий только образованную часть общества. Поэтому оказывалось возможным противопоставить герою — «сыну века» — образ героини, воплощающей народно-этическое начало. Следующим этапом развития историзма явилось построение произведения, в котором конфликт состоит в столкновении людей двух эпох. Социальная борьба объяснялась не разницей в «интересах» внутри одного времени, как это имело место в дальнейшем, в «Капитанской дочке»,

¹¹⁹ Мысль эту отчетливо выразил Баратынский в письме к И. В. Киреевскому от 28 ноября 1833 года. Предлагая последнему превратить в журнальную статью «Теорию туалета» и сравнивая Киреевского с Бальзаком, Баратынский заключал: «У тебя, как у него, потребность генерализировать понятия, желание указать сочувствие и ответственность каждого предмета и каждого факта с целюю системою мира» (Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма, стр. 522).

¹²⁰ Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма, стр. 523.

¹²¹ И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 86.

¹²² Там же, т. II, стр. 60.

а сменой эпох (Альбер — барон, Германн — старуха). «Взгляните на европейское общество нашего времени: не разногласные мнения одного века найдете вы в нем, нет! Вы встретите отголоски нескольких веков, не столько *противные друг другу*, сколько *разнородные между собою*. Подле человека *старого времени* найдете вы человека, образованного духом *Французской революции*; там человека, воспитанного обстоятельствами и мнениями, *последовавшими непосредственно за Французскою революцією*», — писал Киреевский.¹²³

К последнему этапу развития образа героя складывается художественная характеристика его, отраженная в восьмой статье Белинского о Пушкине: «Зло скрывается не в человеке, но в обществе».¹²⁴ Подобный подход определяет намеченную еще в «Путешествии Онегина» мысль об отсутствии в окружающей Онегина действительности дела, достойного его. Именно это имел в виду Белинский, определяя Онегина как «*эгоиста поневоле*». Недвусмысленно рассуждение критика о том, почему Онегин не предался «полезной деятельности».¹²⁵ Поскольку в основе нового подхода к построению образа оказывается зависимость характера героя от условий эпохи, оправданным делается определение Белинского: «„Евгений Онегин“ есть поэма *историческая* в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица».¹²⁶

Подчеркнутый историзм подхода, заставивший поэта заботиться о хронологической выдержанности романа, оформился не сразу. Так, например, работая над седьмой главой (так же как и в одновременно создаваемой «Полтаве»), Пушкин еще не исключал системы «намёков», переключки с современностью. Действие седьмой главы происходит до декабрьского восстания, но отразившаяся в ней обстановка «опустелой» Москвы, где фигура Чацкого заменена чопорно стоящими в стороне любомудрами и одиноками П. А. Вяземским, переносит читателя в атмосферу 1827—1828 годов.

Оформление пушкинского историзма обусловило и появление замысла десятой главы. Мысль о том, что замысел десятой главы знаменует сближение Онегина и декабристов и что, следовательно, она должна была не столько разъяснить характер героя, сколько оформить сюжетное завершение романа, широко распространена. Но как ни заманчива подобная интерпретация образа Онегина, с ней трудно согласиться. Этому противоречат как весь облик героя, так и понимание Пушкиным в конце 20-х годов характера движения декабристов.

Зачем же введена десятая глава? Для того чтобы понять это, вспомним, что дальнейшее развитие пушкинского историзма привело поэта от мысли об эпохе, как о факторе, определяющем характер, к идее закономерности смены эпох. Основываясь на этом, Пушкин пересматривает свой творческий метод. Исторический обзор делается главным жанром.¹²⁷

Ограничимся одним примером. В 1831 году Пушкин пишет лирическое стихотворение «Чем чаще празднует лицей», посвященное традиционной дате 19 октября. Для того чтобы раскрыть свои чувства, поэт обращается не к интимным, индивидуальным переживаниям, а к типичным чувствам

¹²³ Там же, т. I, стр. 86—87.

¹²⁴ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, 1955, стр. 466.

¹²⁵ Там же, стр. 458.

¹²⁶ Там же, стр. 432.

¹²⁷ Это отражается на всей художественной структуре произведений. Резкая оценочность и связанное с ней обилие эпитетов в произведениях 1828—1829 годов заменяется исторически сжатым и подчеркнуто беспристрастным, «научным» повествованием.

эпохи. Печаль поэта и его друзей («Тем глуше звон задравных чаш И наши песни тем грустнее»; III, 1, 277) объясняется обширным историческим экскурсом, охватывающим жизнь Европы и России за два десятка лет:

...но 20 лет
Тому прошло; и что же вижу?
Того царя в живых уж нет,
Мы жгли Москву, был плен Парижу,
Угас в тюрьме Наполеон,
Воскресла греков древних слава,
С престола пал другой Бурбон,
Отбунтовала вновь Варшава.

(III, 2, 879—880).

Третья строфа белого текста недвусмысленно намекает, говоря о «шести друзьях», и на декабристов. Лирический герой стихотворения не связан «сюжетно» с цепью перечисленных исторических событий, не является их непосредственным участником. Они нужны не для того, чтобы описать участие автора и его друзей в событиях 1812—1815 годов, европейских революциях или польском восстании, а для объяснения душевного мира современного человека. Обращает на себя внимание тот факт, что хорошо осведомленный о характере десятой главы Вяземский называл ее «хроникой»,¹²⁸ а А. И. Тургенев, говоря, что в центре главы — «русские и Россия»,¹²⁹ ни словом не упомянул о месте в ней Онегина. Вполне может быть, что широкая хроника русской жизни за четверть века вообще не оставяла Онегину места. Вероятно, она должна была разъяснить не индивидуальную судьбу героя (т. е. завершить сюжетно линию Онегина — «По крайней мере уморить», как иронически писал Пушкин; III, 1, 397), а объяснить его характер исторической судьбой России.

В этом отношении десятая глава может быть сопоставлена с известной второй главой «Исповеди сына века» Мюссе. Если бы Мюссе творил в цензурных условиях России 30-х годов XIX века и по несчастливой случайности до нас дошли бы лишь отрывки широкой картины Европы эпохи Империи и Реставрации, исследователям также предоставилась бы возможность решить: как сюжетно соотносится судьба героя романа с широким историческим полотном, нарисованным автором. Однако текст сохранился, и нам ясно, что его следует соотносить не с фактической участью героя, а с его характером. Нечто аналогичное, видимо, имеем мы в десятой главе «Евгения Онегина».

Идея сюжетного завершения была чужда самой природе «свободного романа». Не случайно сам процесс работы над романом устойчиво характеризовался автором как «набирание строф». «Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Онегина», — писал Пушкин Дельвигу 26 ноября 1828 года (XIV, 35).

Роман мог быть оборван на любой точке сюжетного развития, как только раскрытие образа оказывалось исчерпано, и, наоборот, продолжен, если в авторском понимании героя наступали перемены. Не случайно поворот характера Онегина неизменно совпадает с границами глав.

Вполне оправданной представляется точка зрения Белинского, подчеркивавшего сознательный отказ Пушкина от искусно обдуманного композиционного построения. «Роман ничем не кончается...», — писал Белинский и глубоко обосновывал свою мысль. — Мы думаем, что есть романы, кото-

¹²⁸ П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. IX, СПб., 1884, стр. 152.

¹²⁹ «Журнал Министерства народного просвещения», 1913, № 3, отд. II, стр. 17.

рых мысль в том и заключается, что в них нет конца, потому что в самой действительности бывают события без развязки, существования без цели».¹³⁰

Одним из следствий этого принципа является и то, что любые построения возможного «конца» романа представляются не только шаткими в своей субъективности, но и противоречащими художественному построению произведения. Если же считать, что участие Онегина в декабристском движении нужно было Пушкину не для того, чтобы «убить» героя на Кавказе, а для раскрытия новых аспектов его характера, то окажется, что известный нам текст романа, изданный самим автором в качестве законченного произведения и вошедший в сокровищницу русской и мировой культуры, — незавершенный отрывок, в котором о герое не сказано главное и, более того, то, что сказано, — лишь ширма для прикрытия не известного нам «сокровенного» текста. Подобный метод порочен, ибо переносит внимание исследователя с реального и художественно полноценного текста на воображаемый замысел, существование которого невозможно документально подтвердить. Наиболее далеко по этому пути пошел Н. Н. Фатов, видящий в тексте «Евгения Онегина» лишь легальное прикрытие, ценное главным образом тем, что в нем «имеется ряд намеков на то, что сказано далеко не всё, что автору хотелось бы сказать, и что в романе есть еще что-то, что не попало в печатный текст».¹³¹

Таким образом, изменение построения образа в романе Пушкина развивалось по следующим основным этапам. Вначале образ героя строится на основе оценки его политико-интеллектуальных свойств. Образ «умного человека» ассоциируется с деятелем декабристского лагеря, а противоположная оценка одновременно означает и отсталость политических воззрений. Образ центрального героя на этом этапе является единственным персонажем произведения, противопоставлен ему только положительный идеал автора, выступающий из всей системы оценок и тона авторского повествования. В сложных условиях идейного развития 1823 года содержание представления об «умном человеке» изменилось, что обусловило противопоставление скептическому герою восторженного Ленского, но сам принцип построения характера остается еще прежним: в основе его лежит представление об уме как определяющем облик человека качестве. Новый этап в построении образов связан с выработкой в сознании автора идеи народности. Как мы видели, это привело к тому, что в основу характера героев теперь кладутся этические, а не умственные качества, а критерием нравственности является степень психологической близости данного персонажа к народному сознанию. Онегину противопоставляется Татьяна. На этом этапе известная ограниченность умственного кругозора не только не препятствует положительной оценке героини, но в известной мере рассматривается как условие душевной непосредственности и нравственной чистоты. Подобное противопоставление непосредственного чувства логической рациональности характерно прозвучало в пушкинском письме Вяземскому (весна 1826 года): «Твои стихи... слишком умны. — А поэзия, прости господи, должна быть глуповата» (XIII, 278—279).

Суд над героем с позиции народности был в дальнейшем развитии романа не отменен, но дополнен оценкой его моральных качеств с позиции

¹³⁰ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 444, 469.

¹³¹ Н. Н. Фатов. О «Евгении Онегине» А. С. Пушкина. «Ученые записки Черновицкого государственного университета», т. XIV, серия филологическая, вып. 2, 1955, стр. 127.

историзма. Как мы видели, на материале романа это проявилось в резкой критике бунтарского субъективизма героя, а также в повышении требований, предъявляемых к умственному горизонту героини. Следующим этапом явилось стремление не только оценить героя с позиций объективных законов истории, но и объяснить его ими. Это послужило основой для нового коренного пересмотра основ характера. Образ теперь выводится не из нравственно-психологических качеств данной личности или данного вечного человеческого типа, а из конкретной исторической ситуации. Герой определен эпохой, и в свою очередь судьба героя делается судьбой поколения.

Принцип историзма в характеристике героев, новый в момент завершения романа, не был проведен в нем последовательно. Если характер Онегина выводится из эпохи, то облик Татьяны определен нравственными идеалами Пушкина. Этим и обусловлено то слияние героини и автора в восьмой главе, которое пронципально отметил Кюхельбекер. При последовательно-историческом подходе герою может быть противопоставлен лишь человек другой эпохи (Германн — старуха), при социальном построении образа — иного общественного круга (Гринев — Пугачев). Не случайно Маша Миронова не оказалась антагонистом героя. В «Евгении Онегине» сочетание принципа историзма с еще не изжитым нравственно-психологическим построением образа позволило превратить Татьяну в судью, выносящую вместе с автором приговор герою.

Сочетание двух принципов построения характеров в романе обусловило и двоякую судьбу его в историко-литературной традиции. От него шла дорога к социальному роману — к произведениям самого Пушкина в 30-е годы, «Герою нашего времени», романам Герцена. Именно эту предметность подчеркивал Белинский: «... без „Онегина“ был бы невозможен „Герой нашего времени“». ¹³² Образ героини-судьи в произведениях Лермонтова и Герцена снят.

Поскольку действующие лица непосредственно и прямолинейно выводились из условий эпохи, а эпоха мыслилась как однородно-отрицательная, герой не мог иметь равноценного себе антипода. Ему противопоставлялось авторское отношение. В дальнейшем женский образ появляется в произведениях типа «Саши» Некрасова, но уже в качестве воплощения социально и эпохально новой силы. Интересно, что Тургенев, вырабатывая свой тип романа, обратился не к художественной системе зрелого Пушкина и его последователей, а, минуя их, к более раннему «Евгению Онегину». Стремление Тургенева соединить социальный конфликт с противопоставлением героев как представителей противоположных «вечных» психологических типов заставило его обратиться к пушкинскому роману. Не случайно связь эта особенно ощущается в связанном с повестями 50-х годов «Дворянском гнезде». Если Наталья в какой-то мере еще может быть социально противопоставлена Рудину (новые люди), то Лиза воплощает нравственную потребность эпохи и, как и Татьяна, является мерилom этической полноценности героя.

Сложность пушкинского реализма в романе «Евгений Онегин» определила и место произведения, которое не может быть связано узко с какой-либо одной тенденцией в последующей литературе, но определяет развитие русского романа XIX века в целом.

¹³² В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 442.

Н. К. ПИКСАНОВ

ПУШКИН И ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЕДНОТА¹

В связи с 250-летним юбилеем Ленинграда Девятая Всесоюзная Пушкинская конференция посвящена была теме: «Пушкин и Петербург». Эта тема необычайно популярна. Напечатано множество статей и даже целые книги на эту тему. Напомню только одну: «Пушкинский Петербург», вышедшую к юбилею 1949 года под редакцией Б. В. Томашевского.

В своей статье я ставлю вопрос, не разработанный в пушкиноведении и даже не поставленный со всею остротой и принципиальностью, — «Пушкин и петербургская беднота».

1

Поразителен неугасимый интерес Пушкина к Петербургу и любовь поэта к великому городу.

В 1834 году, т. е. почти через четверть века после того, как Пушкин-лицеист впервые увидел столицу, печатая Вступление к «Медному всаднику» и подводя итоги своим впечатлениям и размышлениям, поэт писал:

Люблю тебя, Петра творенье...

И в ближайших строфах, без особого логизированного плана, но в едином лирическом подъеме, Пушкин дает характеристику Петербурга.

Поэт воспевал зримую красоту города:

Полнощных стран краса и диво...
Вознесся пышно, горделиво...
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный...
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен...

Со всею силою слова и убеждения поэт говорит о «кумире» — монументе Петра I, гениальном создании Фальконета, «Медном всаднике» — зодческом центре города.

Поэт мыслит Петербург как оплот военной мощи страны:

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,

¹ Из цикла «Простые люди в творчестве Пушкина». Доклад прочитан 5 июня 1957 года на Девятой Всесоюзной Пушкинской конференции в Институте русской литературы Академии наук СССР.

когда

... победу над врагом
Россия снова торжествует...
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей...
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.

Поэта пленяет пышный столичный барский быт —

И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Поэта радует богатство города, мысль, что в русскую столицу корабли

Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся...

Пушкин охвачен высокой мыслью, что с основанием северной столицы
Родине суждено

В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.

— тем самым утвердить свое всемирно-историческое значение.

В патриотическом одушевлении поэт обращается к великому городу:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...

2

В этой патетической характеристике, созданной в пору наибольшей зрелости разума и гения, — всё ли сказал Пушкин, что мог и хотел бы сказать о Петербурге?

Ответ нетруден: поэт сказал далеко не всё, что мог и что хотел бы сказать. До 1833 года, когда Пушкин писал «Медного всадника», до 1835 года, когда он смог провести через цензуру в печать Вступление к поэме, он успел сказать многое такое, что никак не вместились бы в печатный текст после уже состоявшегося однажды цензорского вмешательства царя Николая.

Ведь еще в Лицее, в 1815 году, было написано замечательное стихотворение «Лицинию» — первое произведение декабристской поэзии, где о царской столице, условно именуемой Римом, было сказано:

О Рим, о гордый край разврата, злодеянья!
Придет ужасный день, день мщенья, наказанья...
Свободой Рим возрос, а рабством погублен.

В оде «Вольность» (1817) Пушкин вспоминает одну из архитектурных ценностей Петербурга — Михайловский (Инженерный) замок —

Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец,

где «погиб увенчанный злодей» — царь Павел.

Пушкину, конечно, памятно было его послание «К Чаадаеву» 1818 года, созданное как живой отклик на современное политическое движение; здесь ярко сказались тогдашние антицаристские настроения Пушкина, в результате которых вскоре он оказался надолго оторванным от любимого города.

Поэту не менее памятно было десятилетие (1815—1825), когда возникло и развивалось в Петербурге революционное движение декабристов, окончившееся попыткой восстания на площади у Медного всадника; это движение дворянских революционеров многообразно и многократно отобразилось в творчестве Пушкина.

Поэт с увлечением говорит о пышном петербургском великосветском быте и пирушках так называемой «золотой молодежи». В «Онегине» об этом сказано еще ярче и горячее. Тяга к аристократии, к ее роскошному артистическому быту с его «книгохранилищами, кумирами, картинами и стройными садами» («К вельможе», 1830) явственно ощутима в настроениях Пушкина. Отзвуки личных связей с придворным, великосветским бытом слышатся и в «Медном всаднике»; Пушкин не забывает упомянуть салюты с Петропавловской крепости,

Когда полнощная царица,
Дарует сына в царский дом...

Переходя к описанию наводнения 1824 года, Пушкин упоминает об Александре I:

В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил.

И не преминет поэт отметить, что царь Александр в день наводнения распорядился, чтобы его генералы (граф Милорадович и Бенкендорф) пустились спасать «страхом обуялый» народ (хотя ясно, что вместо двух придворных генералов этим делом лучше бы заняться брандмейстерам и полицейским чинам). Допустим, что такая учтивость поэта вынуждена тем, что печатаемый текст будет опять читать коронованный цензор, царь Николай I. Но и в таком случае остается фактом влияние царистского Петербурга на поэтический текст.

Историческая объективность требует сказать, что Пушкин долгие годы, с лицейской поры, испытывал обаяние и власть «державного», царского Петербурга, мощной феодальной аристократии.

3

Однако с той же объективностью следует тотчас оговориться, что с давних же времен в социально-политическом и поэтическом сознании Пушкина возникала и зрела вражда к этому миру. Здесь сказались внутренние противоречия в Пушкине, имевшие объективные, исторические основания в противоречивости самой социальной структуры тогдашнего общества.

Выше сказано, какие дерзновенные, суровые инвективы обращал Пушкин к царизму. Напомню теперь обличения, направленные поэтом-гражданином против аристократии.

В том же романе «Евгений Онегин», где Пушкин так нарядно изображает высший свет, вдруг неожиданно поэт обращается к своему вдохновению с мольбой:

Не дай остыть душе поэта,
 Ожесточиться, очерстветь
 И наконец окаменеть
 В мертвящем упоении света,
 Среди бездушных гордецов,
 Среди блистательных глупцов,
 Среди лукавых, малодушных,
 Шальных, балованных детей,
 Злодеев и смешных и скучных,
 Тупых, привязчивых судей,
 Среди кокеток богомольных,
 Среди холопов добровольных...

(Первоначальное заключение шестой главы).

В стихотворении «Когда твои молодые лета» (1829) о высшем свете сказано:

Достойны равно презренья
 Его тщеславная любовь
 И лицемерные гоненья...

4

Так проявляется у Пушкина «борьба противоположностей» в мыслях, настроениях, образах, оценках; борьба скажется и на тех двух поэмах, какие будут предметом моего анализа.

Но контрастность, антагонистичность, противоречивость наличествовали не только в сознании Пушкина, но и в самой петербургской действительности.

В восьмистишии 1828 года Пушкин сказал:

Город пышный, город бедный,
 Дух неволи, стройный вид...

Богатство и бедность, красота и неволя — таковы антиномии большого, мирового города. Пушкин видел их своим зорким взглядом, чувствовал своим большим сердцем. Он много думал о них, и ему предстояло не раз стать на ту или другую сторону.

В дальнейшем я попытаюсь раскрыть пушкинскую тему «города бедного», тему петербургской бедноты.

5

Считают, что первым замыслом Пушкина создать повесть о бедных людях Петербурга был его изустный фантастический рассказ в доме Карамзиных в 1828 году, с бытовыми подробностями, с местом действия в домике бедной вдовы чиновника, живущей с дочерью; эту сказку напечатал в своем пересказе В. П. Титов («Уединенный домик на Васильевском») в «Северных цветах» (1829).

Но если принять за бесспорное, что в комплекс Большого Петербурга тогда включались и окраины, и пригороды, и такие города, как Царское Село, Петергоф, Гатчина — подобно тому, как теперь в Большой Ленинград включается, скажем, Курортный район, — то вереницу образов бедных, простых людей Петербурга у Пушкина следует начинать с лицейской поры.

Поразительно, как рано мысль лицейста-поэта уже останавливается на избрании и осмыслении образов простых, бедных людей Царского Села — той царской резиденции, где в двух шагах от Лицея возвышался

пышный дворец. В 1815 году лицеист Пушкин собирался написать «Картину Царского Села», куда шестой главой включал тему «Жители Царского Села». Юноша набрасывает в прозе портрет лицейского гувернера А. Н. Иконникова:

«Вчера провел я вечер с Иконниковым.

Хотите ли видеть странного человека, чудака, — посмотрите на Иконникова». Он «говорит о своем бедном положении. Он не имеет ни денег, ни места, ни покровительства, ходит пешком из Петербурга в Царское Село, чтобы осведомиться о каком-то месте, которое обещал ему какой-то шарлатан. Он беден, горд и дерзок, рассыпается в благодареньях за ничтожную услугу или простую учтивость, неблагодарен и даже сердит за благодеянье, ему оказанное... Его любят — иногда, смеши он часто, а жалок почти всегда» (XII, 298, 301, 302).

В том же 1815 году Пушкин пишет прославленный «Городок», где много книжных условностей, отзвуков классицизма, сентиментализма, литературной злободневности и где, однако, неожиданно блеснет реалистическая зарисовка простой «добренькой старушки», которая угостит чаем и «вестей... пропасть наболтает», — это предшественница старушки — матери Параша из «Домика в Коломне».

В том же «Городке» с теплотой охарактеризован «добрый... сосед, семидесяти лет», «майором отставным» «уволенный от службы», «с очковской медалью на раненой груди» — прообраз капитана Миронова.

Для лицейской поэзии Пушкина очень характерен образ бедного поэта. Он мелькает в послании «К сестре» (1814); в более обширной характеристике он дан в послании «К другу стихотворцу» (1814). Здесь читаем:

Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.

Пушкинисты находят, что в этих двух стихотворениях образ бедного поэта условен, традиционен, восходит к западным (например, французским) и русским образцам (у Карамзина, у Жуковского, Батюшкова, Милонова). Но характерно уже и то, что молодой поэт прочно включил в свой репертуар литературный образ бедного поэта. Однако надо учесть, что Пушкин веско говорит о подлинных исторических лицах.

Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камозэнс с нищими постелю разделет...

А затем пятнадцатилетний Пушкин говорит уже о русском писателе XVIII века Кострове, из крестьян:

Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он...

Такие суждения и образы укрепляли в юноше сочувствие к бедным, простым людям, растили в нем гуманизм и демократизм.

И совершенно не случайно, что создаются Пушкиным две поэмы с образами петербургских бедняков — «Домик в Коломне» (1830) и «Медный всадник» (1833). В обоих произведениях имеются аристократические образы и образы плебейские; последним автор отдает преимущественное внимание. На них и мы сосредоточимся.

«Домик в Коломне» написан в Болдине, в 1830 году, но напечатан Пушкиным только в 1833 году (в альманахе «Новоселье»), т. е. в том году, когда писался «Медный всадник»; перепечатан «Домик» в 1835 году, т. е.

вскоре после того, как было опубликовано Пушкиным Вступление к «Всаднику». Таким образом, обе поэмы неизбежно передумывались автором одновременно, в одном идейно-художественном комплексе.

6

«Домик в Коломне» принадлежит к жанру «шутливых поэм» (сам Пушкин сказал: «шуточных»), и этот стиль последовательно осуществлялся во всем произведении: и во вступительных рассуждениях об октавах, и в отступлениях (порой интимно-лирических), и в самом сюжете. В основу сюжета положен анекдот о мужчине-любовнике, переодетом женщиной (мотив, известный и до Пушкина в европейской литературе). Эта скользкая тема (трактованная впрочем с большой сдержанностью) может дезориентировать читателя и исследователя, может обеднить подлинное значение поэмы. И надо сразу заявить, что не следует придавать любовному элементу в сюжете «Домика» большого веса.

Воздав хвалу октавам с их «тройным созвучием», Пушкин в том же шутливом тоне ставит тему об угасании классицизма: «Пегас стар», «порос крапивою Парнас», «в отставке Феб живет», «старушки музы уж не прельщают нас» и, наконец, договаривает шутливо, но значительно:

И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок.

Так делается заявка на бытовой реализм.

Поэт в соседней же строфе начинает осуществлять свою заявку:

Жила-была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка...

И дальше следует образец реалистической живописи:

Старушка (я стократ видал точь-в-точь
В картинах Рембрандта такие лица)
Носила чепчик и очки.

Прерву изложение и на минуту остановлюсь на упоминании о Рембрандте. Оно как-то не вызвало внимания комментаторов «Домика в Коломне». Между тем оно существенно. Знакомство Пушкина с картинами Рембрандта в Эрмитаже несомненно («я стократ видал», — утверждает он сам), значит — несомненно и влияние на творческую мысль поэта великого реализма Рембрандта, его гуманизма, его правдивых и ярких изображений бытовых сцен и типов, картин народной жизни, тенденций его демократизма.² Та теплота, с какою Рембрандт изображал старческие лица, отозвалась и у Пушкина. Читаем:

Старушка мать, бывало, под окном
Сидела; днем она чулок вязала,
А вечерком за маленьким столом
Раскладывала карты и гадала.

С замечательной правдивостью языка и интонаций Пушкин передает размышления и разговоры вдовы-старушки:

² Ср.: И. Е. Вердман. Рембрандт в оценке русских художников и критиков 19 века. «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 3.

Старушка кличет дочь: «Параша!» — «Я!»
 — «Где взять кухарку? Сведай у соседки,
 Не знает ли. Дешевые так редки». —

Разговор с новой кухаркой:

«А как зовут?» — «А Маврой» — «Ну, Мавруша,
 Живи у нас; ты молода, мой свет;
 Гоняй мужчин. Покойница Феклуша
 Служила мне в кухарках десять лет...
 Усердна будь; присчитывать не смей».

Вот размышления о Мавруше в церкви, во время воскресной службы:

«Не вздумала ль она нас обокрасть
 Да улизнуть? Вот будем мы с обновкой
 Для праздника! Ахти, какая страсть!»

А про прежнюю кухарку Феклушу и ее отношения с хозяйкой и Парашей Пушкин пишет:

Стряпуха Фекла, добрая старуха,
 Давно лишенная чутья и слуха.

И дальше:

Но горе вдруг их посетило дом:
 Стряпуха, возвратясь из бани жаркой,
 Слегла. Напрасно чаем и вином,
 И уксусом, и мятною припаркой
 Ее лечили. В ночь пред рождеством
 Она скончалась. С бедною кухаркой
 Они простились...
 Об ней жалели в доме...

Так тепло говорит поэт не только о хозяйке, но и о стряпухе; они обе — «бедные»; мать, дочь и кухарка сливаются в одну семейную группу.

7

Но из этой группы выделяется юная Параша, героиня поэмы. О ней Пушкин пишет с особой теплотой. Читателям может показаться преувеличением, но я всё же скажу: почти с такой же теплотой, как о Татьяне Лариной. Вот цитаты. О Татьяне: «Простите мне: я так люблю Татьяну милую мою!». О Параше: «Простая, добрая моя Параша».

И еще раз повторю: пусть нас не сбивает с толку любовный финал поэмы: он неожидан после всего, что сказано о Параше, он кажется внешним придатком, какой-то отрывочкой традиции XVIII века, и кончается этот анекдотический эпизод как-то неясно, словно автору не хотелось довести его до конца:

... но Маврушки
 С тех пор как не было, — простыл и след!
 Ушла, не взяв в уплату ни полушки
 И не успев надеть важных бед.
 У красной девушки и у старушки
 Кто заступил Маврушу? признаюсь,
 Не ведаю и кончить тороплюсь.

Зато сама Параша охарактеризована подробно, с явным сочувствием и даже с лиризмом:

Но дочь
 Была, ей-ей, прекрасная девица:
 Глаза и брови — темные как ночь,
 Сама бела, нежна, как голубица...

Коса змией на гребне роговом,
Из-за ушей змиею кудри русы,
Косыночка крест-накрест иль узлом,
На тонкой шее восковые бусы —
Наряд простой...

И дальше, опять прибегая к шутивому тону, принятому для поэмы, но с бытовой правдивостью, Пушкин продолжает:

В ней вкус был образованный. Она
Читала сочиненья Эмина,
Играть умела также на гитаре
И пела: *Стонет сизый голубок,*
И *Выду ль я,* и то, что уж постаре,
Всё, что у печки в зимний вечерок,
Иль скучной осенью при самоваре,
Или весною, обходя лесок,
Поет уныло русская девица,
Как музы наши грустная певица.

Следует прославленная строфа XV, вовсе не шутивная, очень искренняя и лиричная, о том, что

Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев,
Но нравится их жалобный напев.

Дальше продолжается простая, правдивая, без прикрас, бытовая и психологическая характеристика Параши. Она

Умела мыть и гладить, шить и плести;
Всем домом правила одна Параша,
Поручено ей было счеты вести,
При ней варилась гречневая каша...
Дочь, между тем, весь обегала дом,
То у окна, то на дворе мелькала,
И кто бы ни проехал иль ни шел,
Всё успевала видеть (зоркий пол!).

А еще дальше, в духе «фламандской школы», — черточки мещанского быта:

Зимую ставни закрывались рано,
Но летом до ночи растворено
Всё было в доме...
Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка — на луну еще смотрела
И слушала мяуканье котов...
Да стражи дальный крик, да бой часов...
По воскресеньям, летом и зимю,
Вдова ходила с нею к Покрову
И становилася перед толпою
У крылоса налево.

А дальше — авторская лирема:

Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

8

Отсюда начинается многозначительный поворот сюжета: сопоставление, вернее — противопоставление бедной Парашаи знатной графине:

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право)
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!)...
Параша перед ней
Казалась, бедная, еще бедней.
Порой графиня на нее небрежно
Бросала важный взор свой. Но она
Молилась богу тихо и прилежно
И не казалась им развлечена.
Смиренье в ней изображалось нежно;
Графиня же была погружена
В самой себе, в волшебстве моды новой,
В своей красе надменной и суровой.
Она казалась хладный идеал
Тщеславия.

«Жизнь ее текла в роскошной неге», «была подвластна фортуна ей», «мода ей несла свой фимиам».

Так смелой, твердой рукой поэт набрасывает характеристику знатной, надменной аристократки. Это было ему привычно. Ведь около того времени, когда создавался и потом печатался «Домик в Коломне», сам Пушкин вновь после ссылки вошел в петербургский свет. Есть целый цикл стихотворений, посвященных поэтом великосветским красавицам. Он воспевает фрейлин Александру Россет и А. А. Оленину. У него мы находим такие стихотворения, как «Княгине З. А. Волконской», «Княжне С. А. Урусовой». В черновой XXVIа строфе VIII главы «Онегина» дается яркий образ одной из светских львиц Нины Воронской.

Увлечение этим миром сказалось у Пушкина и в «Домике в Коломне». Описав появление в церкви графини, поэт продолжает:

Бывало, грешен! всё гляжу направо,
Всё на нее.

Поэт раскрывает перед читателем не только внешнюю красоту и барственный облик своей героини, но и ее внутреннюю драму:

Но сквозь надменность эту я читал
Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб... В них-то я вникал...
Она страдала, хоть была прекрасна...
...она была несчастна.

Однако и при такой существенной оговорке поэт оставляет в силе всю суровую социально-психологическую характеристику аристократки: гордость, власть, тщеславие, надменность — все те черты характера и воли, какие накопились целыми поколениями в представителях «правлящего сословия», в феодальной аристократии, и враждебно обращались к простым, бедным людям.

Так возникает в поэме социальная антитеза. Поэма перестает быть «шутливой». От традиции она переходит к новаторству, становится предшественницей литературы «натуральной школы». Б. В. Томашевский, детально изучивший влияние «Домика в Коломне» на позднейшую литературу, утверждает, что «ни одна из поэм Пушкина не отразилась так в рус-

ской литературе, как „Домик в Коломне“». ³ Исследователь называет Лермонтова, Фета, А. Майкова, Огарева, Полонского, А. К. Толстого и других. Правда, продолжателей Пушкина, поэтов (как и некоторых литературоведов) пугала шутливость, анекдотичность в пушкинской поэме; так, Б. В. Томашевский отмечает, что поэма Тургенева «Поп» «обнажена до анекдота, не вполне благопристойного». Но социальная тема и реалистический метод «Домика» восприняты и освоены были в демократической литературе 40-х и позднейших годов в таких изданиях, как «Физиология Петербурга», «Петербургский сборник». Достоевский, напечатавший в «Петербургском сборнике» (1846) свою повесть «Бедные люди», впоследствии (в 1876 году) сделал замечательное признание: «У нас всё ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримерен и удивителен, представляя для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь если не чудом, то необычайною величиною гения».⁴

Следует лишь оговориться, что в этом определении Достоевский разумел, конечно, не только «Домик в Коломне», но и «Станционного смотрителя», которого так высоко ценил. Учтем и мы, что и поэма о Параше, и повесть о Вырине созданы Пушкиным в том же 1830 году, в одном творческом подъеме. Кстати, напомним, что действие в повести о станционном смотрителе происходит частью в том же Петербурге (Измайловский полк, Демутов трактир, Литейная).

Я далек от мысли преувеличивать полноту, сложность и глубину социальной тематики «Домика в Коломне». И компактная форма стихотворной поэмы, и ее «шутливый» жанр, и ее неорганический придаток — любовный эпизод, — всё это связывало поэта. Будь это прозаический рассказ, освободи автор композицию от указанного эпизода, произведение могло бы стать на уровень «Станционного смотрителя», написанного в те же дни.

Показательно, что ту же тему коломенской бедноты вскоре затронул ближайший ученик и последователь Пушкина Гоголь. В конце 1832 года, т. е. года через два после написания «Домика», Гоголь писал «Портрет», а напечатал его в 1835 году (в первой части «Арабесок»), т. е. в те дни, когда в руках читателей уже был «Домик в Коломне». Трудно отрицать известное влияние «Домика» на «Портрет» в эпизоде описания старой петербургской Коломны. Но Гоголь, который в свои молодые петербургские годы так же, как Пушкин, натерпелся нужды и связанных с нею унижений, сам знал подлинную Коломну, многое писал с натуры. Во второй части «Портрета» устами молодого живописца Гоголь говорил о Коломне: «Тут всё непохоже на другие части Петербурга. . . Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди. . . , выслужившиеся кухарки. . . , забирающие каждый день на пять копеек кофю да на четыре сахару. . . Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. . . Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц даже с кофеем поутру. . . Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами. . . , словом, часто самый несчастный осадок человечества. . .»

³ Б. Томашевский. Поэтическое наследие Пушкина. Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1941, стр. 298.

⁴ Ф. М. Достоевский, Полное собрание художественных произведений, т. XI, ГИЗ, М.—Л., 1929, стр. 185 (Дневник писателя за 1876 год, февраль).

Приведенные цитаты как бы восполняют беглые, сжатые строки «Домика в Коломне». Вот еще одна, близкая к поэме Пушкина: «Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо».

Но дальше идут строки, каких не найдем в пушкинской поэме; упомянув о «самом несчастном осадке человечества», Гоголь продолжает: «часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам, и тогда поселяются между ними осолобого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев».⁵

Но и у Гоголя тема «бледной нищеты» оказалась только поставленной, но не раскрытой. Писателя увлекала иная тема: фантастика, изображение таинственных сил, вмешивающихся в судьбу человека (тема, раздражавшая Белинского). Более глубоко судьбу бедного человека Гоголь раскроет позже, в «Шинели» — тоже «петербургской повести», где, кроме прославленного образа Акакия Акакиевича, создан замечательный образ портного для бедных Петровича.

9

Теперь обратимся к другой поэме Пушкина — «Медный всадник».

Так же, как относительно «Домика в Коломне», необходимо сразу отметить некоторые неправильности в понимании «Медного всадника». Для «Домика в Коломне» неорганичен эпизод с гвардейцем, переряженным кухаркою. Для «Медного всадника» следует признать неорганичными те стихи, где автор говорит о генеалогии своего героя Евгения:

Прозванья нам его не нужно.
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто.

И дальше: «Наш герой... не тужит ни о почившей родне, ни о забытой старине».

Темой о происхождении Евгения поэма «Медный всадник» связана с другой поэмой — «Езерский» (1832—1833) — и с обособившейся из этой последней «Родословной моего героя»; к этой же теме примыкает «Моя родословная» (1830), как и целый ряд высказываний Пушкина о своем «шестисотлетнем дворянстве». Это целый литературно-идеологический цикл.

Он имеет огромное значение для понимания социально-политических воззрений и колебаний Пушкина. Но не следует преувеличивать значения генеалогической темы в идейной концепции «Медного всадника». Среди литературоведов под влиянием сопоставлений с названным циклом укоренилось понимание героя поэмы, Евгения, как «деклассированного дворя-

⁵ Н. В. Гоголь, Собрание художественных произведений в пяти томах, т. III, Изд. Академии наук СССР, М., 1952, стр. 148, 149, 150, 151.

нина», именно этой деклассацией обреченного на гибель (Б. В. Томашевский, Л. Н. Назарова). Между тем приведенные выше стихи о генеалогии Евгения — просто осколок, омертвелый рудимент совсем иной концепции — из цикла о распре между шестисотлетним дворянином и новой знатью.

В «Медном всаднике» возгласы Евгения:

«Добро, строитель чудотворный!..
Ужо тебе!..»

являются неорганическим рефлексом из темы о «деклассированном дворянине». У бедного, темного Евгения это — просто бессодержательная угроза, бессвязный ропот страдания. Евгений — разночинец, бедный мелкий чиновник, простой человек, лишенный политической сознательности. Такого понимания требует сам текст поэмы.

Правда, выработка окончательного текста «Медного всадника» давалась поэту не без труда — и именно там, где речь шла о Евгении. Случалось, что ранний вариант заменялся новым, явно ухудшенным. В дальнейшем изложении мы будем пользоваться разновременными вариантами: они отличаются лишь во второстепенном, в частности, но исходят из одного целостного в замысле образа.

Впрочем, был один момент в творческой предыстории поэмы, когда мысль автора сделала крутой поворот.

В одном из автографов предшествовавшего «Медному всаднику» произведения, условно называемого «Езерским», начало его изложено так:

В своем роскошном кабинете
В то время Рулин молодой
Сидел один при бледном свете
Одной лампы — вихря вой,
Волнение города глухое
Да бой дождя в окно двойное,
Всё мысли усыпляло в нем.
Согретый дремлющим огнем,
Он перед бронзовым камином
Потупя голову мечтал.
Косматый Барс его лежал
Лениво перед господином.

Приведя этот текст, Н. В. Измайлов правильно утверждает: «... всё описание обстановки подчеркивает, что герой — светский человек, богатый и независимый, далекий от мелочных тревог. Перед нами начало „светской повести“». ⁶ Но вот создается иной вариант:

Порой сей поздней и печальной
(В том доме, где стоял и я)
Один при свете свечи сальной
В конурке пятого жилья
Писал младой чиновник — смело
Перо привычное скрипело —
Как видно малый был делец —
Работу конча наконец
Он встал и начал раздеваться,
Задул огарок — лег в постель
Под заслуженную шинель
И стал мечтать...

⁶ «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, 1930, стр. 176. Все варианты к «Езерскому» и «Медному всаднику» опубликованы в пятом томе Академического издания сочинений Пушкина (1948).

Сальная свеча-огарок, конурка пятого этажа, привычная переписка канцелярских бумаг (как у Акакия Акакиевича), старая шинель вместо одеяла — этот образ контрастен образу молодого барина Рулина.

А более поздний текст в начале «Медного всадника» гласил:

Итак, домой пришел, Евгений
 Позвал слугу, разделся, лег,
 Но долго он заснуть не мог
 В волненьи тайных размышлений.
 О чем же мыслил он: о том,
 Что был он беден, что трудом
 Он должен был себе доставить
 И независимость и честь,
 Что мог бы бог ему прибавить
 Ума и денег, что ведь есть
 На свете гордые счастливицы,
 Вельможи, богачи, ленивцы,
 Которым жизнь куда легка...
 Что может быть через полгода
 Он чин получит...

В этом варианте за Евгением еще сохраняется барская черта: позвал слугу, очевидно, с его помощью разделся. Но роскошный кабинет с бронзовым камином уже не упоминается, наоборот: неожиданно оказывается, что Евгений беден, что он должен трудиться, что он нуждается в деньгах, что он только через полгода получит чин, что он вовсе не таков, как богачи-ленивцы. После этого упоминание о слуге-камердинере становится непонятным.

В одном из вариантов еще сказано про Евгения:

Он был [чиновник] небогатый,
 Безродный, круглый [сирота,]
 Собою бледен, рябоватый...⁷

Так начинается «повесть о бедном чиновнике», — справедливо говорит Н. В. Измайлов.

Борение двух образов, как бы их состязание в творческом сознании поэта, засвидетельствовано еще некоторыми вариантами рукописей; приводить их излишне, ибо и того, что сказано, достаточно, чтобы сделать вывод: победа осталась за образом бедного человека.

И уже не следует осложнять этот победивший образ чертами «деклассированного дворянина», фатально обреченного на гибель. Это пусть отойдет в комплекс темы Езерского.

10

Что же касается Евгения, то, наоборот, следует выбрать из текста «Медного всадника» и осознать всё то, что там говорится в противопоставление Евгения богатым людям.

Выше уже цитировался тот вариант, где ясно недоброжелательство Евгения к гордым вельможам, богачам, ленивцам, к их легкой жизни.

В окончательном тексте несколько иначе, но в сущности то же:

... есть
 Такие праздные счастливицы,
 Ума недалёкого, ленивцы,
 Которым жизнь куда легка!

⁷ В «Шинели» при описании наружности Акакия Акакиевича: «несколько рябоват».

Там же про Евгения сказано:

Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных...

Из вариантов добавим, что в своих мечтах о женитьбе на бедной девушке Евгений с ропотом думал:

Ужель одним лишь богачам
Жениться можно...

Роптание Евгения напоминает нам Макара Девушкина из «Бедных людей» Достоевского.

Жениться Евгений мечтал на Параше, про которую знал, что — «у Параша нет имения», что «она бедна». Жениться — думал Евгений:

«Оно и тяжело, конечно;
Но что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою».

И дальше мечталось «препоручить» Параше «воспитание ребят» —

«И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...»

Образ невесты Евгения, Параша, не разработан в «Медном всаднике» сравнительно с образом героя или хотя бы с образом Параша из «Домика в Коломне». Но ясно, что Пушкин мыслил в каком-то бытовом и психологическом единстве парные и родственные образы двух поэм: две Параша и две матери-вдовы; это такие же бедные люди, как и Евгений. Если в «Домике» говорится о «лачужке» в бедняцкой Коломне, где живут мать и дочь, то и во «Всаднике» Евгений думает о том, что

... близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша...

«У залива» — это в самой отдаленной, самой бедной части Галерной гавани, где ютилась неприкрытая петербургская беднота. Парашин «домишко бедный», сообщает потом автор, был снесен наводнением, и вместе с ним погибли мать и дочь.

Больше ничего в поэме не сказано о Параше и ее матери. Зато сам Евгений в своих душевных переживаниях охарактеризован щедро и с замечательной теплотой.

Мы знаем, с какой самоотверженностью готов был Евгений устроить свою трудовую жизнь, обеспечить спокойный, хотя бы скромный, быт любимой жены, воспитывать детей. Но вот случилось стихийное бедствие — наводнение; после вечерних мечтаний о семейном счастье наутро появ-

ляется Евгений «на площади Петровой», вблизи от Медного всадника, «недвижный, страшно бледный».

Он страшился, бедный,
 Не за себя. Он не слышал,
 Как подымался жадный вал,
 Ему подошвы подмывая,
 Как дождь ему в лицо хлестал,
 Как ветер, буйно завывая,
 С него и шляпу вдруг сорвал.
 Его отчаянные взоры
 На край один наведены
 Недвижно были...

... там оне,
 Вдова и дочь, его Параша,
 Его мечта... Или во сне
 Он это видит? или вся наша
 И жизнь ничто, как сон пустой,
 Насмешка неба над землей?

Наверно, Евгений в тот момент не думал именно такими словами о жизни, земле и небе. Но важно и знаменательно, что эта лирема как-то сближает автора и героя.

На другой день Евгений бросается в Гавань на поиски Параша:

Несчастный
 Знакомой улицей бежит
 В места знакомые. Глядит,
 Узнать не может. Вид ужасный!
 Всё перед ним завалено...
 кругом.
 Как будто в поле боевом,
 Тела валяются. Евгений
 Стремглав, не помня ничего,
 Изнемогая от мучений,
 Бежит туда, где ждет его
 Судьба...

Где же дом?
 И, полон сумрачной заботы,
 Всё ходит, ходит он кругом,
 Толкует громко сам с собою —
 И вдруг, удара в лоб рукою,
 Захохотал.

Евгений сходит с ума. С теплотой, с каким-то нравственным проникновением, с человечностью Пушкин воссоздает душевное состояние своего героя:

Но бедный, бедный мой Евгений...
 Увы! его смятенный ум
 Против ужасных потрясений
 Не устоял...
 Ужасных дум
 Безмолвно полон, он скитался,
 Его терзал какой-то сон.

Евгений

весь день бродил пешком,
 А спал на пристани; питался
 В окошко поданным куском.
 Одежда ветхая на нем
 Рвалась и тлела...

Он оглушен
 Был шумом внутренней тревоги.
 И так он свой несчастный век
 Влачил, ни зверь ни человек...

И далее Пушкин приводит читателя к последнему акту, к финалу драмы. Повредившийся в уме Евгений однажды «вспомнил живо... прошлый ужас», «проснулись в нем... мысли». Они обратились к тому,

Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой...

И дальше — новая лирема, в которой как-то своеобразно переплетаются мысли и чувства автора и героя:

О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Опять очевидно, что бедный, темный, ныне уже сумасшедший Евгений не мог так думать о Медном всаднике, о царе Петре I, о Петербурге, о России, о будущности родины. Так думал автор, великий поэт Пушкин. Это он избрал монумент царя Петра, «державца полумира», символом новой русской государственности. Это автор погружался в глубокие думы об исторической закономерности строительства Петербурга как оплота новой государственности, это он ставил и решал проблему о соотношении судеб народных и судеб человеческих. Он решал эту тяжбу в пользу государственности, в интересах судеб народных.

И если поэт символизировал судьбы государственные в образе «строителя чудотворного царя Петра», то ему предстояло избрать еще некий образ как символ, как представительство судеб человеческих.

12

Мы знаем, поэт колебался в выборе. Ему одно время представлялось возможным избрать героем-символом богатого молодого аристократа. Это как будто имело основания. Почти ровно через год после наводнения 7 ноября 1824 года, 14 декабря 1825 года, на той же Петровской площади произойдет восстание дворянских революционеров-декабристов против царистской государственности. И в пушкиноведении была попытка связать поэму с декабристами (Д. Д. Благой). Однако подлинный текст «Медного всадника» не поддается такому истолкованию.⁸

Но и в более узком, так сказать, бытовом круге, в подлинных житейских, фактических условиях петербургского наводнения сделать богатого аристократа жертвою наводнения и вызвать его ропот было неправдоподобно, нереально. Ведь от наводнения непосредственно пострадала именно петербургская беднота, обитатели окраин, нижних и подвальных этажей. Рисуя широкую картину наводнения и причиненных им бедствий, Пушкин нигде не упоминает о богатых жителях, об обитателях бельэтажей, барских особняков. Но много раз говорит о бедноте: в предместьях «скривились домики, другие совсем обрушились», «тела валяются», «ограблены подвалы», по улицам плывут «пожитки бледной нищеты», народ в ужасе «казни ждет».

Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?

⁸ Не поддается он и новейшему истолкованию: «... если масса покорна своей участи, в словах Евгения звучит протест, граничащий с богоборчеством» (П. Мезенцев. Поэма Пушкина «Медный всадник» (К вопросу об идейном содержании). «Русская литература», 1958, № 2, стр. 64).

Гибель «ветхого домишки» и Параши с матерью — только эпизод в тех бедствиях, какие пережила тогда петербургская беднота.

Здесь разрешу себе один вспомогательный литературно-исторический экскурс. В 1824 году Пушкин не жил в Петербурге; наводнение 7 ноября он описывает по заимствованиям «из тогдашних журналов», по данным книги В. Н. Берха, по рассказам современников; только «дар ясновидения» помог поэту шире и глубже понять и изобразить народное бедствие.

Но случилось, что в дни наводнения в Петербурге жил другой поэт, единомышленник и соратник Пушкина — Грибоедов. До нас дошла его статья «Частные случаи петербургского наводнения»; она опубликована только в 1859 году, но написана вслед за наводнением со всюю живостью впечатлений очевидца.

Грибоедов не берется создать полную картину наводнения; он описывает только «частные случаи». Но он сообщает факты, укрепляющие формулу «народное бедствие». Говоря о положении на Торговой улице (всё в той же Коломне) в первый день наводнения, Грибоедов пишет: «Гибнущих людей я не видал, но... узнал, что пятнадцать детей, цепляясь, перелезали по кровлям и еще непрокинутым загородкам, спаслись в людскую, к хозяину дома, в форточку, также одна <девушка>, которая на этот раз одарена была необыкновенною упругостию членов. Всё это осиротело. Где отцы их, матери!». В районе Невы «суда гибли и с ними люди, иные истощавшие последние силы поверх зыбей, другие на деревьях бульвара висели над клокочущей бездною». В другом месте, под кровельными досками — «скот домашний и люди мертвые». На Мясной, в нижнем этаже одного дома, Грибоедов видел трех покойников: «...пожилая женщина и девочка с открытыми глазами, с оскаленными белыми зубами... До третьего тела я не мог добраться от ужаснейшей наносной грязи». В заключительных замечаниях читаем: «Я наскоро собрал некоторые черты, поразившие меня наиболее в картине гнева расшвырявшейся природы и гибели человек... Но бедствия народа уже получают возможное уврачевание; впечатления ужаса мало-помалу ослабевают...»⁹

Итак, Грибоедов говорит о «бедствиях народа», о «гибели человек».

Возвращаясь к «Медному всаднику» и к выбору героя, устанавливаем, что Пушкин отверг образ богатого аристократа и избрал образ бедняка.

Теряет ли в таком случае силу сопоставление образа строителя Петербурга, царя Петра, с образом петербургского бедняка, пострадавшего от наводнения?

Нет, не теряет.

При некоторых известных нам колебаниях Пушкина в оценке Петра I та высокая оценка его, какая дана во Вступлении к поэме, — оценка зрелая, убежденная, исполненная глубокого историзма. По Пушкину, было исторически закономерно, неизбежно построить новую столицу Петербург, «в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море», создать новый этап военной, экономической, политической истории.

Пушкин знал, какой дорогой ценой куплено было строительство новой столицы «из тьмы лесов, из топи блат», сколько страданий принесло оно трудовому народу. Одно из этих бедствий — наводнение 1824 года — Пушкин взял мерилom для проверки исторического значения новой, северной столицы. Следует принять, что в «Медном всаднике» изображено бедствие не только одного Евгения. Пушкин говорит о петербургской бедноте: гибнут «пожитки бледной нищеты», тонет «страхом обуялый» народ.

⁹ «Русское слово», 1859, № 5, стр. 71, 72, 73, 74.

беднота в отчаянии: «Увы! всё гибнет: кров и пища! Где будет взять?»¹⁰

И всё же строительство Петербурга, по Пушкину, закономерно, исторически необходимо, неизбежно.

13

Однако, если бы мы свели смысл «Медного всадника» к теме об исторической оценке учреждения Петербурга, мы недооценили бы всей значимости поэмы. Повествование о петербургском бедняке Евгении и о петербургской бедноте заметно обособляется в поэме, поэма приобретает содержание и значение социальное. И если некоторая, рудиментарная доля «Медного всадника» включается в тему о «деклассированном дворянине» в цикл Езерского, а Вступление — в историческую тему о Петре I, то большая доля поэмы примыкает к теме бедных людей, включается в цикл «Домика в Коломне», «Станционного смотрителя», «Гробовщика», вернее — замыкает (хронологически) этот цикл.

Тогда неизбежен следующий вопрос: как возник у Пушкина этот цикл с бедных людях? В чем здесь литературно-историческая закономерность?

Гоголь предложил замечательную формулу: «дар ясновидения» у писателя. Сильный ум, чуткое сердце великого поэта помогли ему ставить и решать новые проблемы творчества. И писатель, вышедший из богатой среды, мог изображать бедноту. Однако этот дар ясновидения может обращаться в ту или иную сторону. Почему чудесный пушкинский дар обратился в сторону бедных людей?

Горький предложил другую формулу: «личный опыт» писателя. О Пушкине Горький в каприйских лекциях сказал: «его личный опыт был шире и глубже опыта дворянского класса».

На этом необходимо остановиться. Личные переживания бедности у Пушкина были длительны, многообразны, тягостны.

В статье Д. Д. Благого «Пушкин в 1817 году»¹¹ собраны выразительные данные о том, какую нужду испытывал в этом году молодой Пушкин. Его семья жила тогда как раз в той бедной окраинной Коломне, где жили и Параша из «Домика в Коломне», и Евгений. Дом Пушкиных в Коломне «представлял всегда какой-то хаос». Дочь-невеста, Ольга Сергеевна, для своей комнаты покупала одну салютную свечу на собственные сбережения. Самому Пушкину приходилось мерзнуть в зимние холода в нетопленной комнате. Избегая посещения знакомых, юноша скрывал от них свой адрес. Когда Пушкин, «больной, в осеннюю грязь или в трескучие морозы, брал извозчика» из центра, отец «бранился за восемьдесят копеек». Товарищ Пушкина по Лицею барон Корф свидетельствует: «Вечно он без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака».

Но 1817 год был только началом скитаний по путям бедности. В 1822 году С. И. Тургенев записывает в дневник, что, по словам полковника Липранди, Пушкин в Кишиневе «делает долги и весь в рубище». Сам Пушкин из Одессы в Кишинев пишет в 1824 году Инзову: «Я посылаю вам, генерал, 360 рублей, которые я вам должен уже так давно. Чувствую себя сконфуженным и униженным, что не мог до сих пор заплатить этого долга, причина, — что я подыхал от нищеты». В 1824 году княгиня В. Ф. Вяземская сообщает мужу из Одессы: «Пушкин сидит без гроша». В 1833 году сам Пушкин пишет жене из деревни в Петербург: «Меня

¹⁰ Ср.: Г. Ленобл. К истории создания «Медного всадника». «Ленинградский альманах», № 12, 1957, стр. 323.

¹¹ «Известия Академии наук СССР. Отделение общественных наук», 1937, № 2—3.

очень беспокоят твои обстоятельства, денег у тебя слишком мало. Того и гляди сделаешь новые долги, не расплатясь со старыми».

Обрывая этот тягостный перечень, сошлюсь еще только на свидетельство близкого знакомого Пушкина, Н. М. Смирнова, о том, что Пушкин с юности и до гроба находился вечно в стесненном материальном положении, которое «убило бы все мысли человека с менее твердым характером».

Таков был «личный опыт» поэта Пушкина.

Многочисленны автобиографические отклики переживаний бедности в творчестве Пушкина. Напомню только слова Альбера из «Скупого рыцаря»: «терпел я долго стыд горькой бедности»; еще: «О, бедность, бедность! Как унижает сердце нам она!».

Сам испытывавший горькую бедность, Пушкин становится тем более чуток к бедноте. Здесь — социальная основа обширного цикла созданных им поэтических образов и целых произведений, посвященных бедным людям. И как характерно то, что в «Медном всаднике» сказано о бедняке Евгении:

Его пустынный уголок
Отдал в наймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.

14

В пушкиноведении уже установлено (назову А. М. Горького), что в изображении бедных людей, в частности петербургской бедноты, Пушкин явился предшественником и наставником Гоголя и натуральной школы. Это было великой заслугой Пушкина.

Но были известные ограничения, наложенные на творчество Пушкина его временем. Его творческое сознание осваивало жизнь бедноты обывательской, мещанской, мелкочиновничьей, крестьянской, но оно еще не охватило жизни бедноты рабочей, заводской, фабричной. А ведь Петербург при жизни Пушкина был уже опоясан заводами, и в них и вокруг них уже кипела своеобразная жизнь рабочих. В 1816 году уже имело место волнение рабочих Петербургского литейного завода. 14 декабря 1825 года строительные рабочие Исаакиевского собора, жившие в каторжных условиях, горячо поддержали войска, выступавшие на Сенатской площади.

Зато вскоре, в 40-х годах, ученик Пушкина, представитель натуральной школы, И. С. Тургенев, уже ставил задачей описать одну из петербургских фабрик. А в 1861 году Некрасов напечатал стихотворение «Плач детей», посвященное фабричным малолетним рабочим. От имени детей, закабаленных фабричной неволей, поэт говорит:

Целый день на фабриках колеса
Мы вертим — вертим — вертим! —
Колесо чугунное вертится
И гудит, и ветром обдаёт,
Голова пылает и кружится,
Сердце бьется, всё кругом идет...
Бесполезно плакать и молиться,
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри — проклятое вертится,
Хоть умри — гудит — гудит — гудит! —

Это было новым, дальнейшим достижением русской гуманистической, демократической литературы. Но такие достижения были облегчены и преуказаны творческими завоеваниями и открытиями Пушкина.

Л. С. СИДЯКОВ

ПУШКИН И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ПОВЕСТИ В НАЧАЛЕ 30-х ГОДОВ XIX ВЕКА¹

30-е годы XIX века, — по определению Белинского, «критические для русской литературы»,² — характеризуются интенсивным ростом прозаических жанров. Поэзия, еще недавно определявшая лицо русской литературы, вынуждена была потесниться и уступить место прозе, которая постепенно приобрела господствующее положение.

В 30-е годы закладывается основа тех процессов, которые приведут впоследствии к небывалому расцвету русского романа, принесшего русской литературе мировую славу.

Однако если роман характерен для русской прозы последующего периода, то в 30-е годы XIX века на первое место в ней выдвигается повесть — наиболее распространенный и популярный в читательских кругах того времени жанр. «Если есть идеи времени, то есть и формы времени», — писал в 1835 году Белинский.³ Такой «формой времени» и явилась в 30-х годах русская повесть. К начальному этапу этого периода относятся и наиболее значительные достижения Пушкина в области повествовательной прозы. При всей их неповторимости и даже исключительности повести Пушкина связаны с процессом развития русской повести в целом.

1

Первые свои законченные прозаические произведения Пушкин не случайно создал именно на рубеже 30-х годов в жанре повести. Они представляли собой явление первостепенной важности и сыграли существенную роль в развитии русской прозы, особенно повести 30-х годов.

«Повести Белкина» (1830) вышли в свет без обозначения имени Пушкина; используя широко распространенный в то время литературный прием (исследователи связывали его с Вальтер Скоттом;⁴ в современной Пушкину прозе мы встречаемся с ним у В. Ф. Одоевского и Н. В. Гоголя), поэт приписал свои повести вымышленному автору, а себе отвел скромную роль их издателя, ограничившись к тому же инициалами. Однако и сам

¹ Статья является извлечением из работы, посвященной исследованию связей и взаимоотношений повестей Пушкина и русской повести конца 20—30-х годов XIX века.

² В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. Академии наук СССР, М., 1955, стр. 448.

³ Там же, т. I, 1953, стр. 276.

⁴ См.: Д. Якубович. Предисловие к «Повестям Белкина» и повествовательные приемы Вальтер Скотта. В кн.: Пушкин в мировой литературе. Сборник статей. ГИЗ, Л., 1926, стр. 160—187.

Пушкин отнюдь не стремился к сокрытию тайны своего авторства; читатели, близкие к литературным кругам, были широко осведомлены об этом, а критики усердно намекали на авторство Пушкина в своих отзывах на «Повести Белкина». Через три года Пушкин переиздал повести, включив их в сборник своих произведений в прозе.

«Повести Белкина» читались охотно и были достаточно известны в читательских кругах того времени; однако серьезного успеха они не имели, и если критика оказалась единодушной в недооценке их, то она отражала и недооценку их публикой.

«Итак, знаменитый Белкин — Пушкин! — разочарованно писал в 1832 году А. А. Бестужев (Марлинский) К. А. Полевому. — Никогда бы не ждал я этого, хотя повести эти знаю лишь по слуху. Впрочем, и не мудрено». ⁵ Это суждение свидетельствует о бытовавшей в то время неблагоприятной оценке пушкинских повестей.

Конечно, находились читатели, которые отнеслись к «Повестям Белкина» сочувственно: внимательным и восторженным слушателем их был Е. А. Баратынский; ⁶ положительную, хотя и более сдержанную оценку их находим и в дневнике В. К. Кюхельбекера; ⁷ среди их ценителей можно назвать и других ссыльных декабристов, хотя и оторванных от литературной жизни своего времени, но не потерявших способности чутко реагировать на подлинно значительные явления отечественной литературы.

«Повести Пушкина, так называемого Белкина, — сообщила М. Н. Волконская в 1832 году в письме к С. Н. Раевской, — являются здесь настоящим событием. Нет ничего привлекательнее и гармоничнее этой прозы. Всё в ней картина. Он открыл новые пути нашим писателям». ⁸ Однако не эти и подобные им отзывы определяли общее мнение о «Повестях Белкина».

В момент их появления современная Пушкину критика не смогла подняться до подлинно исторического взгляда на них; впоследствии, закрепленная авторитетом Белинского, недооценка «Повестей Белкина» на долгое время станет чуть ли не общим местом даже в трудах, специально посвященных пушкинской прозе. И лишь в последнее время эта точка зрения оказалась заметно поколебленной.

Конечно, рассматривая оценку «Повестей Белкина» современной Пушкину критикой, следует разграничивать злобные, хотя и прикрытые показной доброжелательностью отзывы Ф. В. Булгарина от порою не менее резких оценок в рецензиях «Телескопа» и «Московского телеграфа», тем более от горестных сетований Белинского, глубоко переживавшего мнимый кризис пушкинского творчества; и всё же можно говорить об известном единстве критиков, сходящихся на том, что в новых произведениях Пушкина нельзя увидеть ничего значительного и заслуживающего серьезного внимания.

Булгарин, внешне довольно благосклонно принявший «Повести Белкина» в посвященной им рецензии в «Северной пчеле» (1831, № 255),

⁵ «Русский вестник», 1861, т. 32, стр. 327.

⁶ См. письмо Пушкина П. А. Плетневу от 9 декабря 1830 года. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIV, Изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 133. В дальнейшем цитируется по этому изданию (тт. I—XVI, 1937—1949).

⁷ В. К. Кюхельбекер. Дневник. Изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 49, 106—107.

⁸ Цитирую по сообщению М. П. Султан-Шах «М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830—1832 годов» (Пушкин. Исследования и материалы, т. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 267).

в другой статье, однако, откровенно определяет их как «несколько анекдотцев», в которых «нет главного — *вымысла*» и «основной идеи».⁹

Столь же решительно от «Повестей Белкина» отмахнулся и рецензент «Московского телеграфа»; они показались ему лишь «сказочками», написанными в подражание произведениям В. Ирвинга: «Но как *Евгений Онегин* далек от *Дон Жуана*, так *Повести Белкина* далеки от созданий В. Ирвинга».¹⁰

Обстоятельная рецензия «Телескопа», подписанная «N. N.» (вполне вероятно, что под этим псевдонимом скрывался Н. И. Надеждин), отмечает, что «Повести Белкина» «отличаются, кроме легкого живого слога, истиною и каким-то особенным бесстрастием, которое граничит иногда даже с холодностью г. *Булгарина*. Г. *Белкин* как будто не принимал ни малейшего участия в своих героях»; далее автор рецензии пишет: «Но подметив многое в сердце человеческом, он умеет при случае взволновать читателей, возбуждать и щекотать любопытство, не прибегая ни к каким вычурам. Читая его повести, иногда задумаешься, иногда рассмеешься, и сии движения бывают тем приятнее, что причины их всегда неожиданны, хотя и естественны; и вот в чем заключается талант автора».¹¹

Однако, перейдя к конкретному разбору повестей, рецензент всё время подчеркивает (вопреки признанию «истины» и «естественности») неоправданность многих, часто основных сюжетных положений «Выстрела» и «Барышни-крестьянки», «Гробовщика» и «Станционного смотрителя». Наконец, совсем в духе критики 20-х годов рецензию завершает длинный список допущенных Пушкиным «грамматических небрежностей».

С придирчивой критикой «Телескопа» сближается и рецензия «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» (1831, № 93). Ограничившись вялыми похвалами «Повестям Белкина», ее автор молчаливо признавал их рядовой, ничем не примечательной книгой, занимательно и точно излагающей рассказы знаменитых Ивана Петровича Белкина.

Даже молодой Белинский, в то время исходивший из предпосылки об упадке творчества Пушкина в 30-е годы, рецензируя в «Молве» (1834) пушкинские повести, присоединился к неодобрительной их оценке. По его мнению, и на «Повестях Белкина» отразилось увядание творческого гения Пушкина («осень, осень, холодная, дождливая осень после прекрасной, роскошной, благоуханной весны»).¹²

В этих суждениях нельзя не видеть одного из проявлений общего охлаждения к зрелому творчеству Пушкина, в 30-е годы находившего наиболее яркое отражение в грустных размышлениях Белинского в «Литературных мечтаниях» (1834).

«Повести Белкина» не явились чем-то неожиданным в творчестве Пушкина. Они были подготовлены развитием пушкинской поэзии и сопутствовали таким стихотворным произведениям, как «Румяный критик мой...», «Домик в Коломне» и завершенная осенью 1830 года в Болдине восьмая

⁹ Ф. Б. Петербургские записки. «Северная пчела», 1831, № 288, 18 декабря, стр. 4.

¹⁰ «Московский телеграф», 1831, ч. 42, стр. 255, 256.

¹¹ «Телескоп», 1831, ч. VI, № 21, стр. 118.

¹² В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 140. Пересмотрев впоследствии свое отношение к зрелому периоду поэзии Пушкина, Белинский в отношении его прозы остался при старом мнении. Признавая «Повести Белкина» «замечательными произведениями русской литературы», он тем не менее утверждал, что «эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина», считал даже, что они были «ниже своего времени» (там же, т. VII, 1955, стр. 576, 577).

глава «Евгения Онегина». Знаменательно, что и эти произведения Пушкина постигла судьба, подобная судьбе его прозаических повестей. По свидетельству Л. С. Пушкина, при появлении поэмы «Домик в Коломне» «публика увидела в ней... полный упадок его таланта».¹³ В заключительных строфах своей поэмы сам Пушкин, предвидя подобную реакцию на нее, писал:

— «Как, разве все тут? шутите!» — «Ей-богу».

— «Так вот куда октавы нас вели!

К чему ж такую подняли тревогу,

Скликнули рать и с похвалюбою шли?

Завидную ж вы избрали дорогу!

Ужель иных предметов не нашли?

Да нет ли хоть у вас нравоученья?»

(V, 93).

Сопоставляя с этими пушкинскими строками содержание большинства критических отзывов современников на «Повести Белкина», можно удивляться пронизательности Пушкина: именно к сюжетам его повестей и предъявлялись главные претензии критики. Не найдя в повестях Пушкина «нравоученья» и осудив выбор «предметов», большинство критиков на основании этого отказывалось видеть в них более нежели пустые «анекдотцы» и «сказочки».

2

«Повести Белкина» писались Пушкиным в период начавшегося интенсивного развития русской прозы, поэтому естественно, что, создавая их, поэт ориентировался на современную ему литературу, принимая или отвергая те или иные черты складывавшейся литературной традиции. Современниками повести Пушкина воспринимались, с одной стороны, как возвращение будто бы к традициям повести карамзинского периода, с другой же стороны — как нечто совершенно необычное в литературных условиях конца 20-х—начала 30-х годов. Эта кажущаяся двойственность «Повестей Белкина» послужила впоследствии одной из причин возникновения и широкого бытования в пушкиноведении точки зрения (наиболее отчетливо она выражена в работах В. Ф. Боцяновского¹⁴ и Н. Любович;¹⁵ примыкает к ней и интерпретация «Повестей Белкина» В. В. Гиппиуса¹⁶), будто, создавая свои повести, Пушкин пародировал произведения своих предшественников, определенные литературные шаблоны. «Повести Белкина» рассматривались в связи с этим как «пародии на ходячие мотивы и сюжеты русской и переводной прозы первой трети XIX века».¹⁷ Замыкая таким образом «Повести Белкина» в чисто литературную сферу, утверждение их так называемой пародийности на деле сближается с другой не менее ошибочной точкой зрения, будто Пушкин разрешал здесь лишь чисто

¹³ Пушкин в воспоминаниях современников. Гослитиздат, Л., 1950, стр. 39.

¹⁴ В. Ф. Боцяновский. К характеристике работы Пушкина над новым романом. В кн.: Sertum bibliologicum в честь... проф. А. И. Маленина. ГИЗ, Пгр., 1922, стр. 183—193.

¹⁵ Н. Любович. «Повести Белкина» как полемический этап в развитии пушкинской прозы. «Новый мир», 1937, № 2, стр. 260—274.

¹⁶ В. Гиппиус. Повести Белкина. «Литературный критик», 1937, № 2, стр. 19—55.

¹⁷ Н. Любович — «Новый мир», 1937, № 2, стр. 261.

формальные задачи,¹⁸ или же с мнением о якобы «добровольной и сознательной стилизации» в «Повестях Белкина».¹⁹

Конечно, «Повести Белкина» внутренне полемичны; Пушкин сознательно противопоставлял их прозе своих современников, указывая ими пути, по которым, по его мнению, должна пойти русская проза. Повести Пушкина являются первым по времени решительным проникновением реализма в русскую прозу; и в этом в первую очередь заключается их значение в истории русской литературы. С другой стороны, в «Повестях Белкина» были, без сомнения, и традиционные моменты; многое, в чем исследователи видели пародийное начало в них, объясняется скорее традицией, как русской,²⁰ так и западноевропейской.

В своих повестях Пушкин обращается к широко распространенной в то время форме прозаического повествования, заключающего в себе не столько прямое изображение событий, сколько рассказ об этих событиях. Эта форма, связанная с устным повествованием, предполагает определенного рассказчика, независимо от того, совпадает он с автором или нет, назван или не назван он в самом произведении. То, что Пушкин в предисловии к «Повестям Белкина» каждую из них приписывает определенному рассказчику, является своего рода данью избранной им традиционной манере; однако эти рассказчики имеют преимущественно условное значение, оказывая минимальное влияние на построение и характер самих повестей. Только в «Выстреле» и «Станционном смотрителе» повествование ведется непосредственно от первого лица, которое само является свидетелем и участником событий; композиционное же решение этих повестей осложнено тем, что основные персонажи их также выступают в качестве рассказчиков. В «Выстреле» это Сильвио и граф, рассказы которых взаимно дополняют друг друга; в «Станционном смотрителе» — Самсон Вырин, повествование которого о своей горестной судьбе, начатое в форме прямой речи, затем передается основным рассказчиком (в предисловии к «Повестям Белкина» он назван титулярным советником А. Г. Н.).

В остальных трех повестях авторское повествование доминирует: диалог в них (как и в повестях, упомянутых выше) играет незначительную роль и является лишь одним из второстепенных элементов описания действия и состояния героев, там, где это необходимо, сопровождая речь условного рассказчика и подчиняясь ей. Более самостоятелен диалог в «Барышне-крестьянке», но и здесь он не является еще способом непосредственного изображения событий. Однако, даже сохраняя эту традиционную форму повествования, Пушкин в отличие от других писателей, у которых она способствует вмешательству автора в повествование, субъективной его окраске, стремится и здесь к объективности в рассказе о событиях, составляющих сюжет его повестей. Это в свою очередь сказывается и на характере этих сюжетов.

¹⁸ См., например: П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., 1873, стр. 283. Исходя из мнения о пародийности «Повестей Белкина», новейший западный исследователь В. Ледницкий приходит к явно ложному выводу о том, что пушкинские повести «представляют собой чисто литературную игру. Это своего рода литературные шахматы, абстрактная спекуляция, рассчитанная на литературных „гурманов“» (W. Lednicki. The Prose of Pushkin. «The Slavonic and East European Review», 1949, vol. XXVIII, № 70, стр. 117).

¹⁹ M. Hoffmann. Introduction. В кн.: Pouchkine. Romans et nouvelles. Les Récits de Belkine. Le Nègre de Pierre le Grand. Ed. Du Chêne, Paris, 1947, стр. 10.

²⁰ «Зачем писателю, — писал Пушкин в 1828 году, — не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка?» (XI, 66).

Пушкин отнюдь не ищет сюжетов, способствующих дидактической направленности повестей или же рассчитанных на то, чтобы либо поразить читателя необыкновенностью лиц и событий, либо воздействовать на его чувствительность. Для него важнее и интереснее будничная сторона жизни, он стремится к отражению повседневного в ней, но и в этой кажущейся обыденности он находит типические стороны современной ему действительности. В этом и заключается противопоставленность «Повестей Белкина» аналогичным произведениям современных Пушкину авторов. Сюжеты же или отдельные стороны пушкинских повестей действительно напоминают иногда некоторые положения, типичные для ряда произведений предшествовавших и современных Пушкину писателей. Так, например, обстоит дело с широко распространенной темой тайного брака вопреки воле родителей в «Метели» или со своеобразной обработкой популярной темы об обольщении девушки в «Станционном смотрителе». Наконец, «Барышня-крестьянка» построена на интриге, не раз встречавшейся в литературе, большей частью западноевропейской, причем прием этот (переодевание барышни и недоразумения, связанные с этим) встречается как в прозе, так и в драматургии (комедия, водевиль).²¹ Однако всё это вовсе не говорит в пользу мнимой пародийности повестей; дело здесь гораздо сложнее и связано с самим методом Пушкина.

Сопоставляя «Повести Белкина» с современными им повестями, мы убеждаемся, что Пушкин сознательно отвергает возможность идти в них по пути, который привел бы к преувеличениям в духе сентиментализма либо же к романтической трактовке действительности, хотя многие положения в его повестях могли, казалось, этому способствовать. Противопоставляя реалистическое изображение жизни в своих повестях творческим принципам своих современников, Пушкин неоднократно иронизирует над ними.

Тонкой пушкинской иронией проникнуты все «Повести Белкина». Именно эту иронию и пытались подчас истолковать как пародийное начало в них. В шестом томе академической «Истории русской литературы» говорится даже, будто «Метель» «написана в тоне, пародирующем не столько русские сентиментальные повести, сколько черты сентиментального уклада самой жизни».²² Но это тем более неверно. В том-то и заключается принципиальное новаторство Пушкина, что он брал обыденную сторону жизни, стремясь правдиво, «без романтических затей» изобразить ее.

Вместе с тем многие исследователи не могли примириться с этой кажущейся «незначительностью» «Повестей Белкина», признание которой и повлекло за собой попытки истолковать их как пародию или даже как автопародию.²³ В таком случае либо на помощь приходил образ Белкина,

²¹ В литературе не раз указывались случаи подобного совпадения сюжета «Барышни-крестьянки» с произведениями западноевропейских авторов, в частности с повестями И. Монтолье «Урок любви» (см.: М. Сперанский. «Барышня-крестьянка» Пушкина и «Урок любви» г-жи Монтолье. Харьков, 1910) и А. Лафонтена «Миниатюрный портрет» (см.: Н. Любвиич — «Новый мир», 1937, № 2, стр. 266), а также с комедией П. Мариво «Игра любви и случая» (см.: В. Гиппиус — «Литературный критик», 1937, № 2, стр. 40). Однако выводы, которые делались из этих сопоставлений, большей частью ошибочны.

²² История русской литературы, т. VI. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1953, стр. 263.

²³ См.: Н. И. Черняев. О сродстве «Каменного гостя» с «Гробовщиком» и «Медным всадником». В его книге: Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900, стр. 81—91; А. Искроз «А. С. Долинин». Повести Белкина. В кн.: Пушкин. Под редакцией С. А. Венгерова, т. VI. СПб., 1910, стр. 184—200. С их выводами впоследствии солидаризировались и другие авторы, писавшие о «Повестях Белкина».

вокруг которого выросла целая литература,²⁴ либо же в повестях Пушкина вынуждалось решение отсутствующих в них проблем.²⁵ Однако всё это отнюдь не способствует раскрытию подлинного смысла «Повестей Белкина». Их оригинальность и своеобразие как раз и заключаются в том, что Пушкин противопоставил в них простое и безыскусственное на первый взгляд отношение к жизни «дидактической» повести своих современников.

Отмеченные печатью своего времени, «Повести Белкина» могут быть правильно истолкованы лишь при учете конкретной литературной обстановки, в которой они возникли. Реалистический метод Пушкина-прозаика складывался в условиях, требовавших подчеркнутого противопоставления его повестей сентиментальной и романтической традиции, занимавшей господствующее положение в прозе этого периода.

Сказалось это и в стремлении Пушкина изобразить жизнь такой, какой он ее находил в действительности, объективно отразить типические ее стороны, воссоздать образы рядовых людей своего времени. Обращение к жизни поместного дворянства средней руки («Метель», «Барышня-крестьянка»), армейской среды («Выстрел»), внимание к судьбе «мученика четырнадцатого класса» («Станционный смотритель»), наконец, к быту мелких московских ремесленников («Гробовщик») наглядно свидетельствует об этой устремленности «Повестей Белкина». Воссоздавая жизнь своих ничем не примечательных героев, Пушкин не приукрашивает ее и не скрывает тех ее сторон, которые представлялись подлежащими преодолению. В качестве орудия критики действительности поэт избирает иронию.

«Повестями Белкина» Пушкин несомненно разрушал сентиментальную традицию в русской повести, но осуществлял это не средствами литературной пародии, но реалистическим изображением типических сторон действительной жизни. Однако в отличие от нравоописательной прозы, натуралистически копировавшей отдельные стороны жизни, Пушкин избирает действительность во всей ее простоте и сложности. Герои «Повестей Белкина» — это люди, повседневно встречающиеся в жизни, чувства и страсти их (а именно они подвергались особому преувеличению в повестях современных Пушкину писателей) нарочито снижены и опрощены поэтом.

Даже Сильвио из «Выстрела», наиболее «романтический» из героев «Повестей Белкина», — типичный для того времени представитель военной среды. Его приключение с графом, несмотря на кажущуюся исключительность, принадлежит к числу обычных среди офицерства того времени дуэльных историй. Подымать Сильвио до героев байронического склада, как это не раз делалось, нет, по-видимому, никаких оснований; в то же время он и не пародия на таких героев. Сопоставление с ними показывает, что как образ центрального героя повести, так и ситуация, обычная для

²⁴ См., например: Д. Н. Овсянко-Куликовский. Художественные «мистификации» Пушкина. Собрание сочинений, т. IV, Пушкин, СПб., 1909, стр. 57—59. И. Виноградов утверждал, что «Пушкин, уже достигший вершин реалистического письма, здесь забавляется „невероятными“ и „пустыми“ историями. Но между Пушкиным и этими „историями“ есть двойная преломляющая среда» (И. Виноградов. Путь Пушкина к реализму. «Литературное наследство», кн. 16—18, 1934, стр. 86). Имеются в виду образы Белкина и рассказчиков отдельных повестей.

²⁵ Очень показательны в этом отношении статьи М. О. Гершензона о «Станционном смотрителе» и «Метели» в его книге «Мудрость Пушкина» (М., 1919, стр. 122—137), а также статьи Н. И. Черняева о «Выстреле» и «Метели» в его книге «Критические статьи и заметки о Пушкине» (стр. 92—143, 233—292); ср.: В. С. Узин. О повестях Белкина. Из комментариев читателя. Изд. «Аквилон», Пгр., 1924. Наконец, в последнее время с попытками подобного истолкования повестей, хотя часто по-иному, мы встречаемся и в книге А. Г. Гукасовой «„Повести Белкина“ А. С. Пушкина» (М., 1949).

многих повестей того времени, представлены Пушкиным в их реальных, жизненных масштабах, не осложненных романтическими представлениями.

Реализм «Повестей Белкина» был подготовлен всем развитием русской прозы XVIII—начала XIX века и опирался на достижения литератур Запаदा, в первую очередь французской; самое обращение Пушкина к прозе было вызвано углублением и усилением реализма его творчества в целом. Пушкин опередил прозу своего времени; однако то, что он сделал, отвечало тенденциям литературного развития конца 20-х—начала 30-х годов XIX века. «Повести Белкина» сыграли значительную роль в истории русской литературы; современникам же они показали столь неожиданными и необычными, что критика, а вместе с ней и читатели оказались на первых порах бессильными оценить новизну и свежесть пушкинских повестей: проглядев в них самое главное, критика поспешила объявить их произведениями ничтожными и недостойными гения Пушкина-романтика.

3

Выяснению своеобразия «Повестей Белкина» и их места в развитии русской повести 30-х годов способствует обращение к литературному фону, на котором они появились. Лишь внимательное его изучение позволяет поставить вопрос о значении «Повестей Белкина» на твердую историческую почву, а в перспективе — раскрыть особенности нового этапа в развитии пушкинской прозы.

Русская повесть начала XIX века, именно как повесть, более всего обязана Карамзину, который в свое время превратил этот недавно еще «низший» в литературной иерархии классицизма жанр в один из наиболее значительных в русской прозе. Естественно поэтому, что традиции Карамзина еще надолго сохраняют значительное влияние на развитие русской повести; в той или иной форме они продолжают ощущаться и в повести начала 30-х годов.

Однако следование традициям Карамзина далеко не всегда носило творческий характер, чаще мы встречаемся здесь с явлениями эпигонского характера: то, что у Карамзина и ближайших его последователей было новым и имевшим определенный исторический смысл, будучи перенесенным в условия 30-х годов, представляло собой наивный анахронизм.²⁶

Весьма симптоматично при этом, что русского читателя 30-х годов не удовлетворяли уже и переводные произведения такого рода: если еще недавно чувствительные повести западноевропейских писателей были весьма популярны и широко распространялись в русских переводах (повести Х. Клаурена, А. Лафонтена и др.), то в начале 30-х годов они постепенно исчезают со страниц русских журналов. Более того, следование некоторых русских писателей традициям подобных произведений вызывает отпор и ироническое отношение критики.²⁷

²⁶ Так, в 1830 году одновременно появляются две повести: «Преступница» М. П. Погодина («Московский вестник», 1830, ч. I, стр. 10—41) и «Наталья» В. П. П—ва («Денница». Альманах на 1830 год, М., стр. 10—63), повторявшие сюжет вышедшей в 1803 году анонимной повести «Несчастная Маргарита», типичного для эпигонов Карамзина 1800-х годов произведения. Критика («Московский телеграф», 1830, ч. 31, стр. 84—85) с удивлением отмечала этот необычный, с ее точки зрения, факт.

²⁷ В этом отношении характерна судьба произведений Е. Ф. Розена, плодовитого писателя с весьма неумеренными претензиями; критика уверенно называла А. Лафонтена в качестве его литературного образца. Повести барона Розена часто оказывались предметом насмешек критики, особенно из-за свойственной им своего рода сентиментальной патетики.

Переводная повесть начала 30-х годов являла собой довольно пеструю картину: здесь и фантастические произведения немецких романтиков (Э. Т. А. Гофмана, Л. Тика) и новеллы В. Ирвинга, чрезвычайно в то время популярного, бытовые повести немецко-швейцарского писателя Г. Цшюкке и первые произведения Поль де Кока. В это же время в поле зрения русских читателей попадают и произведения французских романтиков, вызвавшие вскоре оживленную полемику в литературных кругах. Романы и повести Ж. Жанена, В. Гюго и других широко распространяются как в оригинале, так и в переводах и возбуждают пристальный к себе интерес.

Намечая в 1832 году план статьи о французских романах, Пушкин перечисляет здесь имена Ж. Жанена, Э. Сю, А. де Виньи, В. Гюго, А. Мюссе и, наконец, О. Бальзака (см. XII, 204).²⁸

Если прежде, отбирая для перевода произведения европейских писателей в прозе, русская журналистика, учитывая требования и вкусы своих читателей, отражала по преимуществу вчерашний день зарубежных литератур или же их периферию, то проявленный журналами начала 30-х годов интерес к публикации произведений Бальзака и других французских писателей того времени свидетельствует уже о соответствии литературного развития России современным веяниям на Западе.

Тем более необходимой и актуальной оказывалась в этих условиях задача преодоления сентиментальной традиции, которая, хотя и представляла собой явление отживающее, оставалась еще достаточно влиятельной в русской повести конца 20-х—начала 30-х годов. На эту задачу сознательно ориентировался Пушкин в «Повестях Белкина». Пушкинское решение ее соответствовало тенденциям литературного развития того времени, несмотря на то, что на первых порах в области прозы Пушкин не имел достаточного числа последователей.

Но они всё же были. Так, например, исследователи справедливо отмечают, что влияние «Повестей Белкина» сказалось в повестях О. М. Сомова.²⁹ Творчество этого писателя несомненно более всего связано с традицией бытовой и нравоописательной прозы XVIII—начала XIX века, представленной в свое время произведениями А. Е. Измайлова и В. Т. Нарезного; с последним Сомова сближает также и украинская тема. В «малороссийских» повестях Сомова изображение своеобразного быта Украины тесно переплетается с мотивами народных легенд и сказаний. Характерна в этом отношении большая повесть «Сказки о кладах», заслужившая одобрительный отзыв Пушкина.³⁰

Однако творчеству Сомова, как правило, присуще лишь натуралистическое воспроизведение отдельных жизненных явлений, сущность которых от него скрыта; в отличие от Пушкина, отразившего типические стороны современной действительности, он остается в пределах эмпирического под-

²⁸ Об отношении Пушкина к французской прозе того времени свидетельствуют его письма к В. Ф. Вяземской 1830 года (XIV, 81) и особенно к Е. М. Хитрово 1831—1832 годов (XIV, 166, 172; XV, 38). См. об этом в статье Б. В. Томашевского «Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово» (Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Изд. Академии наук СССР, Л., 1927, стр. 215—252).

²⁹ См.: Б. С. Мейлах. О. М. Сомов (Биографическая справка). В кн.: Русские повести XIX века 20—30-х годов, т. I. Гослитиздат, М.—Л., 1950, стр. 571; ср.: История русской литературы, т. VI, стр. 516.

³⁰ В рецензии на «Невский альманах» на 1830 год, помещенной в «Литературной газете», Пушкин заметил, что «Сказки о кладах суть лучшее из произведений Байского (Порфирий Байский — псевдоним Сомова, — Л. С.), донныне известных» (XI, 117).

хода к ней. Сопоставление повестей Сомова и Пушкина наиболее отчетливо вскрывает недостатки, свойственные произведениям Сомова: поверхностное изображение жизни, грубоватый юмор, подчас неумение расположить сюжет и необработанный, натуралистический язык. С другой стороны, именно на этих произведениях наиболее отчетливо сказывается влияние «Повестей Белкина» на современную Пушкину прозу.

Сомов прежде всего усвоил у Пушкина критическое отношение к современной литературе, сказавшееся в ироническом подтексте его повестей. В повести Сомова «Матушка и сынок» («Альциона» на 1833 год) ирония, как и у Пушкина в «Метели», направлена против людей, строящих свою жизнь по образу и подобию героев сентиментальных романов. Однако ирония и юмор Сомова значительно грубее и самая фабула его повести, произведения в целом довольно слабого, явно надумана. Гораздо более удачна другая повесть — «Роман в двух письмах» («Альциона» на 1832 год);³¹ изображение в ней поместной жизни несомненно навеяно пушкинскими «Метелью» и «Барышней-крестьянкой». Это относится и к общему колориту повести и к образам ее героев: в «болотном мужичке» Авдее Гавриловиче есть черты, напоминающие Ивана Петровича Берестова.

Однако влияние Пушкина не пошло дальше отдельных деталей; в целом Сомов остался на прежних своих позициях, помешавших ему подняться до того целостного представления о жизни, которое свойственно «Повестям Белкина». В то же время самый факт движения Сомова к более полному воспроизведению действительности, которым ознаменованы его повести последних лет жизни (Сомов умер в 1833 году), свидетельствует о новых тенденциях, наметившихся в развитии русской прозы и определивших направление пушкинских «Повестей Белкина». Этим определялась и возможность их воздействия на дальнейшее развитие русской литературы, хотя эта возможность и не нашла на первых порах достаточного претворения в действительность.

Если и были случаи непосредственного влияния пушкинских повестей, то они, как и у Сомова, ограничивались лишь отдельными сторонами, не затрагивая художественной системы произведения в целом.

Это можно проследить на примере повести Баратынского «Перстень». В частности, уже первые строки повести близко напоминают зачины повестей Пушкина «Метель» и «Барышня-крестьянка».

Восторженно встретивший «Повести Белкина», с которыми ему довелось познакомиться еще до их появления в печати, Баратынский, возможно, под непосредственным влиянием примера Пушкина, сам обратился к прозе; однако этот первый его опыт оказался неудачным и единственным. В целом автор «Перстня» отправляется от довольно избитой основы, связанной с архаической традицией «романа тайн», а также с некритическим усвоением слабых сторон немецкого романтизма. Влияние же «Повестей Белкина» ограничилось преимущественно лишь стилистической системой повести, где оно несомненно.³² Сказалось оно также и на изобра-

³¹ Повесть была перепечатана в издании: Русские повести XIX века 20—30-х годов, т. I, стр. 499—519.

³² Например: «Поместье Опальского было верстах в пятнадцать от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского» (Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма. Гослитиздат, М., 1951, стр. 447). Здесь особенно видна близость синтаксиса повести Баратынского к синтаксису «Повестей Белкина», построенному преимущественно на простых предложениях (см. об этом:

жении в повести поместной жизни. Однако это относится лишь к бытовой стороне повести; важнее же в ней другое — загадочная история, в которой фантастический бред безумца сочетается с реальным обоснованием действительных событий.

В основном свободная от карамзинского влияния, повесть Баратынского примыкает к другому направлению русской прозы, по-разному представлявшему романтическую традицию в ней.

Поскольку именно последняя в это время начинает постепенно завоевывать умы читателей, «Повести Белкина», противостоящие ей своим реализмом, не находят должного сочувствия в читательской среде. В этом отношении знаменательно, что повести А. А. Бестужева (Марлинского) неизменно сопровождаются в 30-е годы шумным успехом у читателей и совершенно неумеренно превозносятся критикой. Естественно в этих условиях, что сравнение его произведений с повестями Пушкина приводит современников к неблагоприятным выводам относительно «Повестей Белкина».

Сочувствие публики к повестям Марлинского разделял, однако, и сам Пушкин. Еще в 20-е годы внимательно следивший за творческим развитием Бестужева и ободрявший его,³³ он и в 30-е годы продолжает ценить «его прелестные повести» («ses charmantes nouvelles»; XV, 39).³⁴ И это не случайно.

Несмотря на всё расхождение творческих принципов обоих писателей, Марлинский, по справедливому замечанию В. Г. Базанова, «не только не антагонист, но и принципиальный союзник великого Пушкина в борьбе с сентиментальной литературой».³⁵

Идейно Бестужев с самого начала расходится с Карамзиным; однако в 20-е годы он еще преодолевает творческое влияние последнего и только в своих произведениях 30-х годов уже решительно разрушает поэтику чувствительных повестей. В то же время творчество Марлинского резко отличается и от трезвого реализма пушкинской прозы с ее точным и простым языком, лишенным присущих поэзии словесных украшений.

Всё же и это соображение едва ли подтверждает встречающуюся в пушкиноведении мысль, будто в «Выстреле» Пушкин пародирует произведения Марлинского (конкретно его «Вечер на Кавказских водах в 1824 году»)³⁶. Помимо того, что сходство «венгерского дворянина» из повести Бестужева и пушкинского Сильвио весьма проблематично, трудно предположить, что осенью 1830 года, когда создавались «Повести Белкина», Пуш-

С. И. Абакумов. Из наблюдений над языком «Повестей Белкина». В кн.: *Стиль и язык А. С. Пушкина*. Учпедгиз, М., 1937, стр. 70—74).

³³ Пушкин приветствовал первые прозаические опыты Бестужева, хотя и критиковал его за отдельные недостатки. Неоднократно призывая его взяться за роман, поэт подчеркивал «истинный талант» молодого писателя (XIII, 156), отличающийся своеобразием и оригинальностью («умом и чудесной живостью», по словам Пушкина; XIII, 64).

³⁴ Из письма Бестужева К. А. Полевому (1833) следует, что писатель знал о высокой оценке его произведений 30-х годов Пушкиным.

³⁵ В. Базанов. *Очерки декабристской литературы*. Гослитиздат, М., 1953, стр. 423.

³⁶ Об этом писал, в частности, Н. О. Лернер (см. его статью «К генезису „Выстрела“» — «Звенья», т. V, Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 130; ср.: Н. Степанов. *Романтические повести А. Марлинского*. «Литературная учеба», 1937, № 9, стр. 57—58). В последнее время точку зрения о близости «Выстрела» к «Вечеру на Кавказских водах в 1824 году» поддержал редактор собрания сочинений Пушкина на французском языке А. Меньё (см.: А. М е у н i e u x. Notice sur «Les Récits de Belkine». В кн.: P o u s h k i n e. Oeuvres complètes. Drames. Romans. Nouvelles. Éd. André Bonne, Paris, 1953, стр. 295).

кин счел необходимым пародировать Марлинского. Первые после длительного вынужденного перерыва повести Бестужева появились в печати лишь летом того же 1830 года («Испытание», «Вечер на Кавказских водах в 1824 году»), и он, таким образом, не мог еще стать объектом литературной борьбы. Эпиграф же из «Вечера на бивуаке» Марлинского, на который обычно ссылаются, был предпослан «Выстрелу» только в 1831 году, при выходе «Повестей Белкина» в свет, т. е. значительно позже их создания. Сопоставление «Выстрела» и вообще «Повестей Белкина» с произведениями Марлинского, в том числе и с ранними его повестями, конечно, возможно, но оно отнюдь не подтверждает представления о «Выстреле» как непосредственном отклике на произведения Бестужева.

Прежде всего при таком сопоставлении обнаруживаются существенные различия в построении обоими писателями образов героев. Герои Марлинского — это необыкновенные, сильные, мужественные люди, наделенные бурными страстями и высокими чувствами: они противостоят современному обществу и возвышаются над ним (тема обличения света красной нитью проходит через всё творчество писателя). Этим Марлинский обнаруживает одновременно сильную и слабую стороны своего метода, сильную потому, что здесь прежде всего сказалась верность Бестужева идеалам декабризма и традициям декабристского романтизма (его проза и по своим мотивам и даже по форме сохраняет непосредственную связь с поэзией 20-х годов).

Однако подобная трактовка героя всецело противоречит пушкинской: в отличие от повестей Марлинского в «Повестях Белкина» (не исключая и «Выстрела») мы встречаем обыкновенных людей с обыкновенными судьбами; столь же обыкновенны и естественны их чувства и даже страсти, изображая которые, поэт нередко прибегает к иронии.

Но в отличие от Пушкина как автора «Повестей Белкина» Марлинский большее внимание уделяет внутреннему миру своих героев. Отсюда особый интерес его к любовным переживаниям и конфликтам. Хотя в повестях Марлинского изображение психологии не занимает еще значительного места, уступая описанию (именно описанию, а не изображению) действий и поступков героев (повести Марлинского очень динамичны, Пушкин в свое время определил их как «быстрые повести с романтическими переходами»; XIII, 180), тенденция к психологизму очевидна в них и составляет одно из значительных художественных достижений Бестужева. Однако Марлинский исходит при этом не из объективного анализа действительности, на котором основывается в своих повестях Пушкин, но из своего представления о ней. В жизни привлекают его в первую очередь не типические ее стороны, но исключительные в определенном их проявлении, при этом и оно подвергается преувеличению в духе романтической поэтики. Таким образом, Марлинский в отличие от Пушкина не воссоздает типические стороны действительности, но, отражая свой взгляд на нее, изображает особый мир со своими законами и со своей художественной логикой. Конечно, герои Марлинского имеют своих прототипов в действительности, но, преломленные сквозь призму авторского отношения к ней, они изменяют свой реальный облик; их чувства и страсти, естественные в жизни, в повестях Марлинского предстают в ином, гиперболизированном виде.

Субъективная основа творчества Марлинского проявляется и в многочисленных лирических отступлениях; и в этом снова он расходится с Пушкиным, который, хотя и широко применяет их в стихотворном эпосе («Евгений Онегин»), в прозе крайне редко и осторожно вводит их, причем в его

повестях отступления эти носят совершенно иной характер, чем у Бестужева.³⁷

В повестях Марлинского авторское начало неотделимо от образов его героев: эту особенность отмечала и сочувственная ему критика. Отсутствие индивидуальной характеристики персонажей связано, таким образом, с творческими принципами Марлинского и отражается в свою очередь на многих других сторонах его произведений. В частности, их стилистическая система, наиболее отчетливо обнаруживающая слабые стороны творчества Марлинского, также характеризуется односторонностью художественных средств. Будучи и в прозе связан с поэтической традицией (его «орнаментальная» проза сближается в этом отношении с поэтикой французского «неистового» романтизма), Марлинский увлекается метафорами, носящими подчас совершенно неумеренный характер, риторической фразеологией,³⁸ причем распространяет индивидуальные особенности своего слога как на авторское повествование, так и на язык своих персонажей. Это в свою очередь ведет к отсутствию в его повестях речевой характеристики персонажей.³⁹

Говоря о ранних повестях Бестужева, Пушкин подчеркивал в них «чуждую живость», «необыкновенную живость» (XIII, 64, 180); однако злоупотребление этой чертой его авторской индивидуальности привело Марлинского к тупику. Дальнейшее развитие русской прозы в направлении, намеченном его повестями, не могло быть долговечным и плодотворным; следовало искать иной выход, и именно Пушкин указывал его современной прозе своими «Повестями Белкина».

Стиль пушкинской прозы был лишь одной из сторон его реалистической системы; ее простота была той необходимой основой, на которой впоследствии могла развиваться русская проза; следование же традиции Марлинского неизбежно уводило бы ее в сторону от того основного пути, по которому шло развитие русской литературы. В творческом соревновании Пушкина и Марлинского, — несмотря на то, что первое время явный перевес был на стороне последнего, — победителем вышел Пушкин; и если в дальнейшем развитии русской прозы не было прямого возврата к лаконичности и простоте его прозаического стиля, то это означало лишь то, что, опираясь на достигнутое Пушкиным, писатели пошли далее по пути, впервые проложенному «Повестями Белкина» и пушкинской прозой в целом. Однако и литературная деятельность А. Бестужева отнюдь не была бесплодной, и не в отрицательном только смысле, о котором писал Бе-

³⁷ В то время как у Марлинского такие отступления чаще всего представляют собой развернутые лирические монологи, не всегда непосредственно связанные с повествованием, Пушкин обращается к ним лишь в том случае, когда они необходимы для более ясного представления о героях или событиях, о которых идет речь в его повестях. Таково, например, рассуждение о горестной судьбе «мучеников 14-го класса» в «Стационарном зрителе»; однако одновременно Пушкин исключает из этой же повести другое отступление — о различных родах любви.

³⁸ Герой «Страшного гадания» так, например, описывает свое объяснение с любимой женщиной: «Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд, перед любимой женщиною; я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце» (Русские повести и рассказы, ч. II, СПб., 1832, стр. 209).

³⁹ Если Марлинский и старается иногда путем введения тех или иных приемов несколько охарактеризовать речь того или иного персонажа, то делает это в слишком общих чертах, не достигая поэтому должного впечатления (например, морские сравнения в речи капитана Правина в повести «Фрегат Надежда», легкий налет просторечия на языке горничной в «Испытании» и т. п.).

линский;⁴⁰ многие художественные задачи, поставленные в его творчестве, были решены в последующем развитии прозы. В литературе 30-х годов повести Марлинского занимают особое и важное место; будучи одним из наиболее крупных явлений русской прозы того времени, они свидетельствовали о ее росте и обогащали ее новыми и нередко значительными достижениями. На опыт Марлинского в той или иной мере опирались последующие русские писатели; не прошел мимо него и Пушкин. Создавая «Пиковую даму», он несомненно учитывал всё то ценное, что этот талантливый писатель внес в русскую повествовательную традицию, и, подчас творчески с ним полемизируя, открывал новые перспективы развития русской прозы.

4

«Пиковая дама» написана осенью 1833 года в Болдине и напечатана в «Библиотеке для чтения» в начале 1834 года. Момент ее появления оказался благоприятным, и «Пиковая дама» в отличие от «Повестей Белкина» была восторженно встречена читателями.

«Моя Пиковая дама в большой моде», — записывал в свой дневник Пушкин 7 апреля 1834 года (XII, 324). А П. В. Анненков, основываясь на воспоминаниях своей молодости, утверждал, что «Пиковая дама» «произвела при появлении своем в 1834 году всеобщий говор и перечитывалась, от пышных чертогов до скромных жилищ, с одинаковым наслаждением».⁴¹

Журнальная критика, однако, отнеслась к новой повести Пушкина более сдержанно, чем читатели. Одобряя верность деталей в «Пиковой даме» («подробности этой повести превосходны»), Булгарин одновременно отмечал в ней и «важный недостаток, общий всем Повестям Белкина, — недостаток идеи».⁴²

Иронически отозвался о «Пиковой даме» в своей рецензии о повестях Пушкина («Молва», 1835, ч. IX) и Белинский.⁴³

В то же время О. И. Сенковский, в журнале которого была помещена повесть Пушкина, ознакомившись с первыми главами ее, написал автору восторженное письмо, в котором выразил свою точку зрения на «Пиковую даму» как на образцовую русскую повесть («Вот как нужно писать повести по-русски!»). «Вы создаете нечто новое, — писал он, — вы начинаете новую эпоху в литературе, которую вы уже прославили в другой отрасли... вы положили начало новой прозе, — можете в этом не сомневаться». Сопоставляя пушкинскую повесть с прозой Марлинского, к которому он отнесся скептически («не ему создать прозу, которую все, от гра-

⁴⁰ См., например, статью 1842 года «Стихотворения Аполлона Майкова» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 8).

⁴¹ П. В. Анненков. А. С. Пушкин, Материалы для его биографии и оценки произведений, стр. 387.

⁴² «Северная пчела», 1834, № 192, 27 августа, стр. 767.

⁴³ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 140. И впоследствии Белинский, видя в «Пиковой даме» «собственно не повесть, а мастерской рассказ», так как, по его мнению, «для повести содержание „Пиковой дамы“ слишком исключительно и случайно», ценил в ней преимущественно мастерство подачи материала («но рассказ — повторяем — верх мастерства») (там же, т. VII, стр. 577). Вслед за Белинским и Чернышевский говорил, что «никто не сомневается в том, что эта небольшая пьеса написана прекрасно, но также никто не припишет ей особенной важности» (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, М., 1947, стр. 17). Аналогичную мысль проводил и М. Е. Салтыков-Щедрин, утверждая, что, «живи Пушкин теперь, он наверное не потратил бы себя на писание „Пиковой дамы“» (М. Е. Салтыков-Щедрин, Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, Л., 1936, стр. 460).

фини до купца 2-й гильдии, могли бы читать с одинаковым удовольствием»), Сенковский чрезвычайно высоко отозвался о языке «Пиковой дамы» (Пушкин, XV, 110, 322).

Следует отдать должное уму Сенковского; на этот раз он справедливо увидел в повести Пушкина произведение, значение которого в истории русской литературы огромно, и подметил в ней черты, ставящие ее много выше всей современной прозы, включая и кумира читающей публики — Марлинского.⁴⁴ «Пиковая дама» явилась как бы кульминационным пунктом творческого соревнования обоих писателей, причем успех ее среди читателей, совпавший с первыми признаками заката славы Марлинского,⁴⁵ предопределял исход этой борьбы.

Создавая «Пиковую даму», Пушкин, естественно, должен был учитывать не только результаты своих собственных творческих исканий, но и опыт западноевропейской прозы.

В западноевропейской прозе того времени психологические искания были свойственны прежде всего романтизму. Писатели-романтики (Гофман, Гюго и др.) стремились проникнуть во внутренний мир человека и отобразить его в своих произведениях; однако и их попытки оставались в общем безрезультатными. Больших успехов в этом отношении добились реализма во французской литературе 30-х годов XIX века. Характерно, что творчество последнего из них вызвало к себе пристальный интерес Пушкина, одобрительно о нем отзывавшегося. По словам поэта, Мериме — «острый и оригинальный писатель, автор Театра Клэры Газюль, Хроники времен Карла IX, Двойной Ошибки и других произведений, чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы» (Предисловие к «Песням западных славян»; III, 1, 334).

В качестве примера углубления психологии в творчестве Мериме могут быть приведены повести «Этрусская ваза» и упоминаемая Пушкиным «Двойная ошибка», которая появилась, кстати, почти одновременно с «Пиковой дамой» (1833). Внимательный наблюдатель нравов современного ему светского общества, Мериме тонко анализирует чувства своих героев, причем его метод чрезвычайно близок к творческим приемам Пушкина в «Пиковой даме».

Пушкин в своей повести также становится на путь проникновения в психологию своих героев; в «Повестях Белкина» эта задача перед ним еще не стояла. Но в отличие от Марлинского Пушкин глубже проникает во внутренний мир своих героев и, правдиво отражая его в повести, впервые в русской прозе вплотную подходит к психологическому анализу, являясь в этом отношении прямым предшественником Лермонтова.

Как отметил один из комментаторов «Пиковой дамы», образ Германна «обещает будущие психологические этюды новейшего романа, которые со-

⁴⁴ Ср. с положительным отзывом Сенковского оценку «Пиковой дамы» А. А. Краевским: «В „Пиковой даме“ герой повести — создание истинно-оригинальное, плод глубокой наблюдательности и познания сердца человеческого; он обставлен лицами, рассмотренными в самом обществе, как бы списанными с самой природы мастерскою рукою художника; рассказ простой, отличающийся изящностью» («Журнал Министерства народного просвещения», 1834, ч. IV, № 10, стр. 145).

⁴⁵ В своих «Литературных мечтаниях» (1834) Белинский говорит о том, что его точка зрения на Марлинского не одиночна: «... общественное мнение начинает малопомалу приходить в память от оглушительного удара, произведенного на него полным изданием „Русских повестей и рассказов“ г. Марлинского; начинают ходить темные толки о каких-то натяжках, о скучном однообразии и тому подобном. Итак, я решаюсь быть органом нового общественного мнения» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 83).

ставляют силу Достоевского. Недаром он так любил и высоко ценил эту повесть».⁴⁶

Действительно, для Достоевского «Пиковая дама» была одним из наиболее близких ему произведений Пушкина, о котором он неоднократно отзывался с восхищением.⁴⁷

Внутренний мир героев, зарождение и развитие их чувств и страстей занимают важнейшее место в «Пиковой даме». События, изображенные в повести, — а «Пиковая дама», подобно «Повестям Белкина», очень динамична, — психологически обоснованы переживаниями героев, проистекающими из тех или иных черт их характера. Самый характер повести обусловлен личностью Германна, центрального ее героя, и потому она неоднократно вызывала споры и сомнения.

Прежде всего следует отметить, что «Пиковая дама», развивая принципы пушкинского реализма, намеченные в «Повестях Белкина», в то же время в большей мере, чем последние, «романтична». Образ героя повести, человека, наделенного «сильными страстями и огненным воображением», таинственная история о трех картах, безумие Германна — всё это как будто бы отмечено печатью романтизма. Однако и герои повести и события, в ней изображенные, взяты из самой жизни, основной конфликт повести отражает важнейшие черты современной Пушкину действительности, и даже фантастическое в ней остается в пределах реального.

«Фантастическое, — писал Достоевский в связи с «Пиковой дамой», — должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему... И Вы верите, что Германн действительно имел видение и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, т. е. прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром... Вот это искусство!»⁴⁸

Образ Германна как бы раздваивается в повести; с одной стороны, это человек совершенно незначительный с точки зрения того высшего круга, который так привлекает его. С другой же стороны, одержимый своей маниакальной идеей, обуреваемый страстями, которые он принужден поминутно сдерживать, он даже близким своим друзьям представляется загадочной фигурой: в их воображении предстает облик некоего романтического злодея, «лицо истинно романтическое», человек, у которого «профиль Наполеона, а душа Мефистофеля», на севести же его «по крайней мере три злодейства» (VIII, 1, 244).

Именно таким аттестует Германна заинтригованной им Лизавете Ивановне Томский, и этот образ, говорит Пушкин, «сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам,⁴⁹ это, уже пошлое лицо, пугало и пленяло ее воображение» (VIII, 1, 244).

⁴⁶ Л. И. Поливанов. Вступительная заметка к «Пиковой даме». В кн.: А. С. Пушкин, Сочинения, С объяснениями их и сводом критики, т. IV, изд. Л. Поливанова, М., 1887, стр. 337 (вторая пагинация).

⁴⁷ В романе «Подросток» Достоевский устами своего героя говорит, что Германн из «Пиковой дамы» — «колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, — тип из петербургского периода!» (Ф. М. Достоевский, Полное собрание художественных произведений, т. VIII, ГИЗ, М.—Л., 1927, стр. 116). См. также: Запись о посещении Ф. М. Достоевского М. А. Поливановой (9 июня 1880 года). «Голос минувшего», 1923, № 3, стр. 31—33.

⁴⁸ Из письма Достоевского к Ю. Абаза 15 июня 1880 года. Русские писатели XIX века о Пушкине. Гослитиздат, Л., 1938, стр. 351.

⁴⁹ Во второй главе «Пиковой дамы» Пушкин вкладывает в уста старой графини своего рода эпиграмму, живо раскрывающую смысл, вложенный им в это определение:

Таким образом, в «Пиковой даме» мы встречаемся с случаем творческой полемики Пушкина с принципами «неистового» романтизма 30-х годов, нашедшего известное распространение, правда, чаще всего в вульгаризованной форме, и в русской повести того времени; реальный облик Германа сливается с «романическим» представлением о нем, и, поскольку в повести он часто предстает через восприятие Лизаветы Ивановны, известный романтический колорит его образа оказывается вполне объяснимым.⁵⁰

С романтической традицией «Пиковую даму» сближает также и введение элементов фантастики.⁵¹

И в этом Пушкин внешне следует распространенной в литературе его времени традиции. Фантастическое начало занимает важнейшее место в произведениях немецких романтиков: на нем, в частности, основано творчество Гофмана, повести которого пользовались огромной популярностью в России как в 20-е, так и особенно в 30-е годы. Таинственная фабула его произведений, причудливое переплетение реального и фантастического интриговали и увлекали читателей.

В произведениях Гофмана и писателей, близких ему, фантастическое входит составной частью в реальную жизнь, является неотъемлемой ее частью; утверждение фантастики как существующей, но потустороннего начала в мире составляет основу мировоззрения этих писателей. Так, в повести Гофмана «Майорат» не вызывает никаких сомнений реальность призрака старого управителя Даниэля, убийцы своего господина (ср. в повести Л. Тика «Незнакомец»⁵²).

Ш. Нодье, французский писатель, испытавший значительное влияние немецкого романтизма, даже тогда, когда он становится на путь реального обоснования сверхъестественных на первый взгляд явлений, не снимает вопроса об их возможности в действительности (см. его новеллу «Инес де лас Сьерас»).

Преодоление фантастики на основе переосмысления традиционных сюжетов свойственно другому широко популярному в то время в России писателю — В. Ирвингу (с его произведениями, как мы видели, сопоставлял «Повести Белкина», в невыгодном для них плане, рецензент «Московского телеграфа»). В одних случаях он изображает фантастическое иронически, подает его как шутку; в других — использует его как элемент фольклора; в третьих — прямо разоблачает подлинную сущность якобы сверхъестественных явлений («Легенда о Сонной Лощине»). В повести «Приключе-

«— Paul! — закричала графиня из-за ширмов: — пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

«— Как это, grand'maman?

«— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленных!»

«— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?» (VIII, 1, 232).

⁵⁰ Кюхельбекер, например, находил, что пушкинский Германн «сбивается на модных героев» (В. К. Кюхельбекер. Дневник, стр. 214).

⁵¹ Можно предположить, что публику в «Пиковой даме» часто привлекала более всего именно эта сторона повести. Так, В. Плаксин, говоря о том, что «А. С. Пушкин... подарил нам чудную „Пиковую даму“», тут же сопоставлял ее с «Черной женщиной» Н. И. Греча; единственной точкой соприкосновения между этими произведениями могло быть использование фантастики, у Греча поданной банально и служащей общим назидательным целям романа (см.: В. Плаксин. Взгляд на последние успехи русской словесности 1833 и 1834 годов. «Летопись факультетов на 1835 год», кн. I, СПб., 1835, стр. 30).

⁵² Перевод ее опубликован в «Литературной газете» (1830, № 47, 19 августа, стр. 81—85).

ние немецкого студента» он лишает фантастическое какого-либо обоснования, приписывая в конце ее всё рассказанное сумасшедшему.

В «Пиковой даме» Пушкин, правда, не становится на путь прямого опровержения фантастического в своей повести; однако логика событий, в ней изображенных, подсказывает реальную трактовку их. Конечно, видение Германна не сон, как в «Гробовщике», где фантастика поначалу также выступает в виде действительных событий; в то же время это и не фантастическое начало в той его трактовке, какую мы встречаем у Гофмана. Психологически обосновывая возможность его появления, Пушкин ничем прямо не опровергает истинности видения Германна: если бы он сделал это, был бы нарушен художественный замысел повести.

Сложный и противоречивый характер имеют описываемые в повести взаимоотношения Германна и Лизаветы Ивановны. Пылкие признания Германна быстро нашли отклик в доверчивом сердце бедной воспитанницы; видя в нем возможного избавителя от гнета графини и от двусмысленного положения в ее доме, Лизавета Ивановна искренне полюбила его, и разочарование в нем, последовавшее за трагическими событиями, оказалось для нее тяжелым ударом. Однако она вскоре утешилась; указанием на ее счастливое замужество Пушкин подчеркивает обыденность натуры Лизаветы Ивановны.

Не так обстоит дело с Германном. Начав ухаживание за Лизаветой Ивановной из холодного расчета, он, казалось бы, затем полюбил ее, и некоторые исследователи, ссылаясь на текст повести,⁵³ именно так и интерпретировали их отношения, утверждая, что лишь в борьбе между чувством к ней и жаждой обогащения последняя берет верх.⁵⁴ Свидание, назначенное ему Лизаветой Ивановной, Германн использует для другой цели, и в то время, когда она, возвратившись с бала, «с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его» (VIII, 1, 243), он оказывается невольным убийцей «старой ее благодетельницы» и сам приходит к ней с вестью об этом.

«Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, всё это было не любовь! Деньги, — вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его!» (VIII, 1, 244—245).

Таков вывод, который делает Лизавета Ивановна, и он подкрепляется подчеркнутым равнодушием Германна во время свидания с ней.⁵⁵ Страсть его была страстью к обогащению, желания направлены к обладанию богатством. Страсть Германна вызвала из небытия призрак старой графини, желание обладать богатством заставило его поставить на карту все свои сбережения; трагический исход последней игры означал

⁵³ Если первое письмо Германна к Лизавете Ивановне, говорит Пушкин, «было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа» (VIII, 1, 237) (факт сам по себе знаменательный!), то последующие «уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстью, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения» (VIII, 1, 238).

⁵⁴ См.: М. Гершензон. Пиковая дама. В кн.: Пушкин, Под редакцией С. А. Венгерова, т. IV, 1910, стр. 329. Впоследствии Гершензон пересмотрел свою точку зрения. См. об этом: А. Дерман. Пушкин и пушкинисты. «Тридцать дней», 1935, № 5, стр. 78—80; ср.: Н. О. Лернер. История «Пиковой дамы». В его книге: Рассказы о Пушкине. Изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 143—144.

⁵⁵ «Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения» (VIII, 1, 245).

для него крушение всех его честолюбивых надежд — и Германн сходит с ума.

Интерпретируя «Пиковую даму», исследователи обычно подчеркивают лишь одну ее сторону, которая едва ли является главной в повести. Такая односторонне социологическая трактовка повести очень распространена (наряду с нею имели место также попытки связать замысел повести с поисками законов человеческого духа⁵⁶ или найти в ней идею борьбы человека с судьбой⁵⁷). В сумасшествии Германна видят осуждение Пушкиным капиталистического города, буржуазного Петербурга,⁵⁸ в его образе ищут отражения противоречий капиталистического общества⁵⁹ и т. д. Будучи чрезмерно категоричными и прямолинейными, подобные попытки привнесения в «Пиковую даму» прямой социальной идеи, на наш взгляд, едва ли состоятельны.

Конечно, образами разночинца Германна и противостоящей ему в повести старой графини Пушкин проводит мысль о борьбе нового человека за его утверждение в привилегированном, аристократическом обществе. Понимая власть и силу денег, Германн именно их надеется заставить служить орудием достижения его заветной цели; отсюда его бережливость и девиз невозможности «жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» (VIII, 1, 235).

Германн — это сын своего века, новый человек, стремящийся стать наравне с сильными мира и гибнущий в борьбе за свое самоопределение в старом обществе. Это своего рода русский вариант Растиньяка или Жюльена Сореля — с этими образами пушкинский Германн сравнивался неоднократно; Пушкин, таким образом, соприкасается здесь с западноевропейской традицией, внося, однако, в трактовку образа своего героя черты, свойственные именно русской действительности его времени. Очевидно, не случайно Пушкин делает своего героя, во-первых, «сыном обрусевшего немца», во-вторых, инженером по профессии.⁶⁰ Этим подчеркивается его особое положение в том обществе, которое его привлекает. Сохраняя черты сходства с героями романов Бальзака и Стендаля, Германн в то же время и глубоко от них отличен, это не буржуазный герой в том облике, в каком его знала европейская литература; русская жизнь не давала еще материала для появления такого героя. Кроме того, — и это следует особенно учитывать, говоря о «Пиковой даме», — для Пушкина важна не столько социальная природа Германна, которая едва ли могла быть ему вполне ясна, сколько стремление проникнуть во внутренний мир человека нового склада, понять его характер и стремления, движущие им,

⁵⁶ См.: М. Гершензон. Мудрость Пушкина, стр. 99.

⁵⁷ См.: Н. О. Лернер. Рассказы о Пушкине, стр. 145; ср. у В. В. Виноградова в статье «Стиль „Пиковой дамы“», где автор связывает повесть с идеей рока, отраженной в мотиве карточной игры («Временник Пушкинской комиссии», т. 2, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1936, стр. 90, 93, 103).

⁵⁸ См.: А. Грушкин. К вопросу о классовой сущности пушкинского творчества. Гослитиздат, Л., 1931, стр. 70.

⁵⁹ См.: Н. А. Степанов. Проза Пушкина. «Ученые записки Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина», т. LXX, Кафедра русской литературы, вып. 4, 1954, стр. 47—50.

⁶⁰ В статье М. П. Алексеева «Пушкин и наука его времени» на широком материале раскрываются черты, связывающие облик Германна с его инженерной профессией. Кроме того, здесь приведены интересные данные о той среде, из которой мог выйти и к которой принадлежал герой пушкинской повести: по мнению автора статьи, он — слушатель офицерских классов Института путей сообщения (см.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I, стр. 76—88).

показать этого человека в действии. Главное в «Пиковой даме» — это проблема характера, и Пушкин именно ее ставит и разрешает в своей повести.

Весь текст повести говорит об отрицательном отношении Пушкина к своему герою, однако он видит в нем необычного, сильного, волевого человека, одержимого своей идеей и твердо идущего по пути к определенной цели. Германн — не «маленький человек» в обычном смысле этого слова (а именно так порой трактовался его образ⁶¹); правда, он небогат и скром, но одновременно это и честолюбец, пробивающий дорогу к независимости. Эта черта его характера оказывается сильнее. Германн не восстает против общества и его условий, не протестует против них, как это делают Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» и Евгений в «Медном всаднике»; напротив, он сам стремится занять место в этом обществе, обеспечить себе положение в нем. Он уверен в своем праве на это и хочет доказать его любыми средствами, но в столкновении с старым миром он терпит крушение.

Показывая гибель Германна, Пушкин задумывается и над судьбой того общества, которое в его повести представляет старая графиня.

В повести Пушкина графиня предстает впервые в анекдоте, рассказанном Томским; но черты прекрасной *Vénus moscovite*, ставшей благодаря графу Сен-Жермену обладательницей тайны трех карт, узнаются в образе деспотичной и своенравной старухи, какой она стала ко времени действия повести. Графиня вся обращена в прошлое. Пушкин подчеркивает это целым рядом характерных деталей: здесь и следование ее моде 70-х годов XVIII века, и ее воспоминания о молодых годах, и описание обстановки ее дома. Графиня, таким образом, олицетворяет в повести русскую сановную аристократию эпохи ее расцвета, недаром прототипом ее послужила известная во времена Пушкина законодательница высшего светского круга престарелая княгиня Н. П. Голицына.⁶² Противопоставление Германну именно характернейшей представительницы блестящей знати того времени, его столкновение с нею еще более подчеркивало контраст между положением бедного инженера и его честолюбивыми мечтами, обусловило неизбежность трагической развязки повести.

Заключительная глава «Пиковой дамы», вводящая читателя в один из великосветских игорных домов, логически завершает повесть. И Чекалинский с его неизменной ласковой улыбкой, и «общество богатых игроков», собирающихся у него в доме, проявляют огромный интерес к необычайной игре Германна; однако все они остаются совершенно равнодушными к его гибели. «Славно спонтировал! говорили игроки. — Чекалинский снова ставил карты: игра пошла своим чередом» (VIII, 1, 252).

Описывая светское общество, Пушкин не прибегает к средствам сатиры или морализации и сохраняет тон трезвой объективности, свойственной его прозе. Но его критическое отношение к свету проявляется и в этой

⁶¹ См., например, статьи Д. П. Якубовича «О „Пиковой даме“» (Пушкин. 1833 год. Л., 1933, стр. 63) и «Пиковая дама» (А. Пушкин. Пиковая дама. Редакция текста, статья и комментарии Д. П. Якубовича. Гослитиздат, Л., 1936, стр. 69).

⁶² Об этом свидетельствовал в своем дневнике сам Пушкин (запись от 7 апреля 1834 года): «При дворе наши сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся», — писал он (XII, 324). О Н. П. Голицыной см. в статье Н. О. Лернера «История „Пиковой дамы“» в его книге «Рассказы о Пушкине» (стр. 147—158). Кроме того, по свидетельству П. В. Нащокина, самая завязка повести (история трех карт) связана с именем Н. П. Голицыной, вместе с тем, по мнению Нащокина, с которым согласился и Пушкин, в образе старой графини отразились также черты близкой знакомой Пушкина, родственницы его жены Н. К. Загряжской (см.: Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. М.—Л., 1925, стр. 46—47).

заключительной главе повести, и во внимании к судьбе бедной воспитанницы старой графини (именно в ее отношении к Лизавете Ивановне и раскрывается непосредственно образ графини), и в изображении легкомысленного, хотя и не глупого молодого повесы Томского, и, наконец, в отмеченной исследователями сцене отпевания старой графини.⁶³

Пушкин не сочувствует Германну, напротив, он осуждает его; однако для него чужды идеалы того общества, ради права стать членом которого жертвует всем и гибнет герой его повести. Такое решение проблемы характерно для Пушкина 30-х годов с его размышлениями о судьбах русского дворянства и о будущем России.

Художественная система «Пиковой дамы», будучи связана с достижениями русской и западноевропейской прозы начала 30-х годов, в то же время свидетельствует и о значительном совершенствовании метода Пушкина-прозаика. Принципы, положенные им в основу создания повести, складывались еще в конце 20-х годов, в период работы над незавершенными прозаическими отрывками «Гости съезжались на дачу...» и «На углу маленькой площади...»; не прошел бесследно и опыт «Повестей Белкина», многое, в первую очередь стилистическая система «Пиковой дамы», сближает ее с ними. Тем не менее «Пиковая дама» знаменует собой новый этап в прозе Пушкина. Позади оставалась работа над «Дубровским»; одновременно с созданием «Пиковой дамы» поэт обдумывал первые планы «Капитанской дочки»; таким образом, повесть Пушкина относится к наиболее зрелому периоду его прозаического творчества. Значительную роль в формировании и совершенствовании творческого метода Пушкина-прозаика, нашедшего в «Пиковой даме» свое наиболее законченное выражение, сыграла и его работа над стихотворными произведениями, такими, как создававшиеся в это же время поэмы «Езерский» и «Медный всадник», а также «Анджело».

Сложность художественных задач, стоявших перед Пушкиным в «Пиковой даме» в отличие от «Повестей Белкина», обусловила и обращение к иным средствам и методам повествования. Как показывают немногие дошедшие до нас отрывки, характеризующие подготовительный этап в работе Пушкина над повестью,⁶⁴ он и здесь предполагал вначале вести повествование от первого лица; однако впоследствии он оставил этот прием, так как — это справедливо отмечено М. О. Гершензоном — «было бы слишком трудно от лица рассказчика обрисовать сложную психологию героя, изобразить его безумные переживания и его поступки».⁶⁵ Психологическая задача, поставленная Пушкиным в «Пиковой даме», требовала иного решения, и поэт избрал авторское повествование, как наиболее отвечающее его замыслу.

⁶³ См.: Д. Якубович. Пиковая дама. В кн.: А. Пушкин. Пиковая дама, 1936, стр. 66.

⁶⁴ Это наброски начала 30-х годов, носящие следы несомненной связи с замыслом «Пиковой дамы». По ним трудно установить связь первой редакции повести с окончательной, тем не менее следует отметить, что введение романтического мотива любви Германна и его молодой соседки Шарлоты («...они полюбили друг друга, как только немцы могут еще любить в наше время»; VIII, 2, 835) вносило новые черты в его образ, хотя и неизвестно, в какой мере он соответствовал Германну окончательной редакции. Широкое привлечение этих отрывков к анализу «Пиковой дамы», — а это делают некоторые исследователи, — на наш взгляд, является необоснованным (см.: M. Hoffmann. «Introduction». В кн.: Pouchkine. Romans et nouvelles. Doubrovsky. La Dame de pique. Les Nuits égyptiennes. Ed. Du Chêne, Paris, 1947, стр. 145; ср.: М. Гершензон. Мудрость Пушкина, стр. 106—108).

⁶⁵ М. Гершензон. Мудрость Пушкина, стр. 106.

С этим принципом авторского повествования связана и композиция «Пиковой дамы», несмотря на всю свою сложность сохраняющая гармонию, обеспечивающую простое и естественное развертывание событий.

Шаг за шагом описывая события, составляющие сюжет «Пиковой дамы», Пушкин развертывает перед читателем картину душевных переживаний своих героев, связанных с совершенными ими поступками.

Композиционная сложность «Пиковой дамы» при сравнении ее с повестями Марлинского, также прибегавшего к сложным композиционным приемам, еще более обнаруживает свою естественность. Марлинскому не всегда удавалось добиваться стройности целого; некоторые его повести лишены связи отдельных частей и воспринимаются как соединение разрозненных эпизодов («Вечер на Кавказских водах в 1824 году», «Латник»). В «Пиковой даме» также имеется и вставной рассказ и неожиданные переходы от одного эпизода к другому, но все они тесно связаны между собой и не нарушают действия повести.

Композиционная роль диалога в «Пиковой даме» также связана с психологической направленностью повести и подчинена ей. На диалоге построена завязка повести; даже рассказ Томского дан не в традиционной манере «рассказа в рассказе», а органически включен в непринужденную беседу друзей за бокалом шампанского. Решающую роль играет диалог и во второй главе повести: характер графини раскрывается преимущественно в ее разговоре с Томским и особенно с Лизаветой Ивановной. Во всех случаях, когда диалог определяет повествование, авторское описание отступает на второй план; в этом отношении «Пиковая дама» особенно резко отличается от «Повестей Белкина» и развивает приемы, примененные Пушкиным в незавершенных отрывках конца 20-х годов.

В то же время и авторское описание в равной мере играет значительную роль в повести; будучи лишено того, что самим Пушкиным было определено как «близорукая мелочность нынешних французских романистов» (XII, 9; здесь он ближайшим образом имел в виду повествовательную манеру Бальзака), оно, как и другие художественные средства «Пиковой дамы», направлено на достижение наиболее полной и отчетливой характеристики. Деталь, сравнительно редкая в прозе Пушкина, в «Пиковой даме» выступает как средство характеристики. Таково, например, подробное описание спальни графини или же краткое — комнаты ее воспитанницы.

В «Пиковой даме» нашла свое развитие и пушкинская стилистическая манера, которую определяет ее лаконизм. Пушкин по-прежнему точен и краток в своем языке, и в этом отношении вновь проявляется решительное отличие его от приемов Марлинского. Там, где последний несомненно широко привлек бы разнообразные поэтические средства, Пушкин и в кратком, скупом на первый взгляд, описании, достигает полной и яркой характеристики душевного состояния своего героя.

Язык персонажей в «Пиковой даме» служит важным средством характеристики героев; в отличие от языка Марлинского он всегда индивидуализирован. Речь Германна, обычно сдержанная и сухая, вполне соответствует его характеристике внешне скромного и скрытного человека; вместе с тем его мольбы, обращенные к графине, раскрывают в нем человека, наделенного сильными страстями. Определенный характерный отпечаток, отражающий ее робкий и скромный характер, носит на себе и речь Лизаветы Ивановны; напротив, ярко индивидуализированный великолепный русский язык старой графини (речь ее отрывиста и энергична) отчетливо выражает ее властную и своеобразную натуру.

Таким образом, художественные средства «Пиковой дамы» направлены преимущественно на достижение главной ее цели — раскрытие характеров героев повести. Говоря о прозе Пушкина, молодой Л. Н. Толстой отмечал, что она «стара — не слогом, — но манерой изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы как-то» (запись в дневнике 1 ноября 1853 года).⁶⁶

Известно, что впоследствии, уже в 70-х годах, обратив преимущественное внимание на слог повестей Пушкина, Толстой, напротив, восторженно отзывался о пушкинской прозе. Противоречия здесь нет: в разное время Толстой лишь с разных сторон подошел к прозе Пушкина. Однако, если применительно к «Повестям Белкина» и даже к «Капитанской дочке» оценка Толстого в общем справедлива, то «манера изложения», о которой здесь идет речь, представляет собой не индивидуальную особенность прозы Пушкина, она сближает его с другими прозаиками 20—30-х годов. Что же касается «Пиковой дамы», то положение это относится к ней в меньшей степени, так как Пушкин уделяет здесь гораздо больше внимания «подробностям чувства», нежели в «Повестях Белкина». Однако — и в этом наиболее важное отличие пушкинского психологизма от психологического анализа в последующей русской прозе — и в «Пиковой даме» тем не менее «интерес самых событий» если и не заменяет собой «интерес подробностей чувства», то во всяком случае психология героев определяется не столько путем их внутреннего самораскрытия (хотя, особенно в образе Лизаветы Ивановны и отчасти Германна, мы встречаемся и с этим), сколько из их поступков. (Подобным образом раскрывает психологию своих героев и Мериме). Характер героев раскрывается преимущественно через их действия; однако самая ориентация Пушкина на психологию предвосхищает путь развития позднейшей русской прозы.

Толстой, подобно Достоевскому, высоко оценивал «Пиковую даму», считая ее «chef d'oeuvre» Пушкина. По свидетельству А. Б. Гольденвейзера, он так отзывался о повести: «Так умеренно, верно, скромными средствами, ничего лишнего. Удивительно! Чудесно!»⁶⁷ Действительно, система художественных средств «Пиковой дамы» свидетельствует о всё большем совершенствовании мастерства Пушкина-прозаика и о развитии в его творчестве реализма, определившего дальнейший путь русской прозы.

Мы ограничились здесь только первым этапом развития русской повести 30-х годов; однако, поскольку именно в это время создаются наиболее значительные и завершенные повести Пушкина, их рассмотрение позволяет сделать некоторые общие выводы, касающиеся этого вопроса в целом и намечающие перспективу его дальнейшего исследования.

Прежде всего следует отметить, что, вопреки мнению некоторых исследователей, полагающих, что прозаический стиль был раз и навсегда выработан поэтом,⁶⁸ его индивидуальная творческая манера, свойственная всем прозаическим произведениям Пушкина, претерпела изменения.⁶⁹ Эти изменения, хотя и могут быть объяснены естественным разви-

⁶⁶ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 46, Гослитиздат, М.—Л., 1934, стр. 188.

⁶⁷ А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, М., 1922, стр. 217.

⁶⁸ См.: Н. О. Лернер. Проза Пушкина. Изд. 2. Изд. «Книга», Пг.—М., <1923>, стр. 27; ср.: А. Лежнев. Проза Пушкина. Опыт стилистического исследования. Гослитиздат, М., 1937, стр. 17—19.

⁶⁹ На это правильно указал А. В. Чичерин (см.: А. В. Чичерин. Роман-эпопея в литературе критического реализма. Автореферат диссертации. Львов, 1957, стр. 9).

тием мастерства Пушкина как прозаика, связаны и с развитием русской повести в 30-е годы XIX века. И если при внимательном рассмотрении его повестей мы можем убедиться в том, что «Пиковая дама» значительно отличается от «Повестей Белкина», написана в другой манере и превосходит последние по глубине изображения характеров, то это свидетельствует о внимании поэта к тем процессам, с которыми была связана эволюция русской повествовательной прозы 30-х годов.

Совершенствуя художественную систему своих повестей и углубляя их содержание, Пушкин отвечал задачам современного литературного развития, и то новое, что поэт внес в русскую повесть, выросло на основе ее предшествующей эволюции.

В этом отношении «Пиковая дама», будучи наиболее совершенным произведением среди русских повестей 30-х годов, в то же время включалась в определенный круг литературных явлений, возникновение которых по времени почти совпадает с появлением повести Пушкина. Если «Повести Белкина» и через несколько лет после их появления продолжали стоять особняком, то рядом с «Пиковой дамой» можно назвать уже такие произведения, как повести В. Ф. Одоевского «Княжна Мими» (1834) и «Княжна Зизи» (1839) и «Три повести» Н. Ф. Павлова (1835). Как бы они ни уступали «Пиковой даме» Пушкина и как бы ни различествовали с нею по методу, всё же повести Одоевского и Павлова, а также некоторые другие произведения представляли собой явления, свидетельствовавшие о качественном росте русской повести и движении ее в том же направлении, в котором развивалась и пушкинская повесть.

Наконец, в середине 30-х годов возникают и наиболее значительные повести Гоголя. Наряду с повестями Пушкина они наиболее отчетливо отражают процесс становления реализма в русской прозе. Вместе с Пушкиным Гоголь оказывается зачинателем реалистической традиции в русской прозе. И если Белинский в 30-е годы склонен был игнорировать достижения пушкинской прозы, то творчество Гоголя послужило для него отправной точкой в формировании его теории реализма.

На рубеже 40-х годов Лермонтов создает роман «Герой нашего времени», связь которого с повестью 30-х годов, отраженная в самой композиции произведения, несомненна. В то же время именно здесь закладываются основы классического русского романа XIX века, определяющую роль в котором играет психологический анализ. Без учета развития русской повести 30-х годов и особенно пушкинской традиции Лермонтов не мог бы достигнуть того, что ему удалось совершить в «Герое нашего времени».

В отличие от современников Пушкина с 40-х годов XIX века русские писатели начинают осознавать роль, которую сыграли его повести в развитии русской прозы и шире — русской литературы; соответственно возрастает и их влияние. (Критика же, вслед за Белинским, длительное время продолжает считать исключительно Гоголя зачинателем новой русской прозы). О значении «Повестей Белкина» скажет в «Бедных людях» Достоевский; роль повестей Пушкина признают и другие великие русские писатели.

М. Горький отметил, что повести Пушкина «положили основание новой русской прозе, смело ввели в литературу новизну тем и, освободив русский язык от влияний французского, немецкого, освободили и литературу от славянского сентиментализма, которым болели предшественники Пушкина».⁷⁰

⁷⁰ М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, Гослитиздат, М., 1953, стр. 256.

Значение повестей Пушкина в развитии последующей русской литературы очень велико; для того чтобы правильно оценить его, необходимо определить их место и в развитии современной поэту литературы. То, что, опередив развитие прозы своего времени, Пушкин не оказал сколько-нибудь значительного непосредственного влияния на повесть 30-х годов, не должно смущать исследователя. Значение их заключается в другом: определив направление современной ему литературы, Пушкин создал произведения, предопределившие дальнейший путь развития русской прозы, и в первую очередь классического русского романа XIX века.

Б. П. ГОРОДЕЦКИЙ

«ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ» А. С. ПУШКИНА

1

Одно из самых сложных публицистических произведений Пушкина последнего периода его жизни — оставшаяся незаконченной большая статья, печатающаяся ныне под условным редакторским заглавием «Путешествие из Москвы в Петербург», равно как и связанная с ней по материалу, но отличная от нее по замыслу, не пропущенная цензурой статья «Александр Радищев» не могут быть поняты вне учета сложнейшей и противоречивой обстановки 30-х годов XIX века в России и особенностей творческой и мировоззренческой эволюции самого Пушкина в тот период.

Последекабрьская действительность выдвигала ряд совершенно новых задач. «Мы знаем, — писал Ленин о революционизирующей роли периодов реакции, — что форма общественного движения меняется, что периоды непосредственного политического творчества народных масс сменяются в истории периодами, когда царит внешнее спокойствие, когда молчат или спят (повидимому, спят) забитые и задавленные каторжной работой и нуждой массы, когда революционизируются особенно быстро способы производства, когда мысль передовых представителей человеческого разума подводит итоги прошлому, строит новые системы и новые методы исследования».¹

Таким периодом подведения итогов прошлому и поисков нового содержания и новых форм жизни и деятельности и был период, наступивший после разгрома декабристского движения.

Замечательна по своей глубине и смелости пушкинская оценка причин поражения декабристов, данная им в записке «О народном воспитании», написанной по заказу Николая I (1826). Пушкин отнюдь не порицает декабристов, а тем более не чернит их дела. Он говорит только о «ничтожности средств» восставших по сравнению с «необъятной силой правительства» как основной причине катастрофы 14 декабря. «Вероятно, — писал он, — братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей».² Нельзя понять последнюю фразу иначе, как утверждение Пушкиным справедливости дела декабристов, с одной стороны, и признание им исторической неизбежности поражения их в связи с ограниченностью средств и несвоевременностью выступления, с другой стороны.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 10, стр. 230.

² Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XI, Изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 43. В дальнейшем тексты Пушкина цитируются по этому изданию (тт. I—XVI, 1937—1949).

В этом отношении путь заговоров и тайных обществ, на который снова безрезультатно пыталась вступить после разгрома декабрьского восстания демократически настроенная молодежь, давно уж потерял для Пушкина свою привлекательность и перестал реально существовать после 14 декабря 1825 года. В «Подписке», данной им 11 мая 1826 года, Пушкин обязывался «впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать» (XIII, 284).

Если демократически настроенная молодежь в последекабрьские годы видела в Пушкине символ движения вперед, то и представители старшего поколения дворянских революционеров, уцелевшие после 14 декабря 1825 года и пытавшиеся определить свое место в новых условиях общественной жизни, также имели свои виды на Пушкина.

«Я убежден, что вы можете принести бесконечную пользу несчастной, сбившейся с пути России, — писал Пушкину Чаадаев в 1829 году. — Не измените своему предназначению, друг мой» (XIV, 44, 394).

Однако поиски Чаадаевым новых путей духовной жизни и общественной деятельности, направленные по линии признания возможности некоей социальной религии, и увлечение западноевропейским католицизмом закономерно приводили к полному отрицанию смысла русской жизни и русской истории, к отрицанию народности, а вследствие этого к потере национальной почвы и полной безнадежности.

Такой путь не мог быть путем Пушкина. В своем письме к Чаадаеву, помеченном знаменательным днем 19 октября 1836 года, он писал: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться... А Петр Великий, который один есть целая всемирная история!.. я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал» (XVI, 172, 393).

Целый комплекс важнейших проблем и задач, выдвигавшихся современностью и требовавших своего осмысления, как бы концентрировался в сознании передовых людей того времени в образе Петра I как монарха-преобразователя. Для дворянских революционеров проблема Петра I была важна в двух отношениях — как проблема возможности революционных преобразований сверху и как проблема существования самого дворянства и его роли в самодержавном государстве.

Проблема Петра I как проблема революционных преобразований, осуществляемых непосредственно самодержавной властью, была особенно актуальна в первые годы после разгрома декабристов. Отдал ей дань и Пушкин в кратковременный период своих иллюзий в отношении нового императора.

Позднее, особенно к 30-м годам, когда подобные иллюзии в передовых кругах русского общества развеялись окончательно, проблема Петра I приобрела иную остроту в связи с вопросом о судьбе старинного родовитого дворянства в новых условиях капитализирующейся России. Начало упадка старого дворянства Пушкин непосредственно связывал с некоторыми реформами Петра I, унизившими старое дворянство и возвысившими новую, служилую, дворянскую «аристокрацию».

Объективно выступая борцами за новые пути развития русской жизни, многие дворянские революционеры, в том числе Пушкин и Герцен, субъективно расценивали — в духе дворянской классовой ограниченности — события на Сенатской площади как следствие процессов, превращавших ста-

рое дворянство в своеобразную «стихию мятежей» (XII, 335). «Петр, — писал Пушкин в своих заметках о дворянстве (1830). — Уничтожение дворянства чинами... Падение постепенное дворянства; что из того следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.» (XII, 206). Насколько устойчивыми были эти представления, показывают впечатления Герцена, приехавшего в Петербург спустя три года после гибели Пушкина. «Всё было покрыто глубоким снегом, — рассказывает об этом своем приезде Герцен в «Былом и думах», — только Петр I на коне мрачно и грозно вырезывался среди ночной темноты на сером фоне... Отчего битва 14 декабря была именно на этой площади, отчего именно с пьедестала этой площади раздался первый крик русского освобождения, зачем каре жалось к Петру I — награда ли это ему?.. или наказание? Четырнадцатое декабря 1825 было следствием дела, прерванного двадцать первого января 1725 года».³

Не доверяя дворянству после 14 декабря, правительство выдвинуло лозунг «православие, самодержавие, народность», острием своим направленный главным образом против той среды прогрессивного дворянства, из которой выходили деятели 14 декабря.

В этих условиях специфически пушкинская постановка проблемы дворянства была не чем иным, как своеобразным выражением политической оппозиции по отношению и к самодержавной власти, и к новой дворянской «аристократии», и к растущей и крепнувшей российской буржуазии.

Вместе с тем — и в этом особенно ярко проявились сложность и противоречивость социально-политических позиций Пушкина — гениальное стихотворение «К вельможе» является свидетельством зрелого и отчетливого признания им уже в 1830 году непоправимого конца эпохи дворянского господства и заката пышной дворянской культуры.

Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной,
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римские встречали свой закат.

Та же самая сложность, глубина и в то же время противоречивость в оценке соотношения сил в стране сказались и в самом гениальном творении этого периода — поэме «Медный всадник» (1833).

Продолжая углублять и развивать свою оценку современности, к какой он пришел еще в 1826 году («ничтожность средств» борцов за новое, с одной стороны, и «необъятная сила правительства» — с другой), Пушкин вновь в этой поэме, уже средствами художественных образов, утверждал свой взгляд на существующий порядок как на «историческую необходимость», которую надо «понять» и «простить оной в душе своей», но которая в то же время и в данных обстоятельствах исторически призвана ограждать национальное единство и величие России:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия...

Одновременно Пушкин создает в лице Петра I и его ожившего «кумира» образ такой эмоционально гнетущей, подавляющей и преследующей

³ А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. IX, Изд. Академии наук СССР, М., 1956, стр. 48. Герцен имеет в виду дату смерти Петра I. В действительности Петр I умер не 21 января, а 28 января 1725 года.

человека силы, что одного этого было бы достаточно для запрещения поэмы:

И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

В забитой и неподвижной России после катастрофы на Сенатской площади происходили сложные процессы. Непрерывно нараставший стихийный протест крестьянства, еще недостаточно зрелый, чтобы проявить себя в формах широкого крестьянского движения наподобие пугачевского или революционной ситуации 1859—1861 годов, давал себя знать в начале 30-х годов неорганизованными холерными бунтами, захватившими значительную часть территории России. Одновременно вспыхивали восстания в военных поселениях.

Эти события наводили Пушкина на соответствующие аналогии не только в русской истории («История Пугачева»), но и в истории Западной Европы («Сцены из рыцарских времен»). Пристально наблюдая за развертыванием событий в России, Пушкин с неменьшим вниманием всматривался и в то, что происходило в условиях капитализировавшегося Запада. Он был прекрасно осведомлен в западноевропейских делах. Помимо сведений о западной жизни, содержащихся в русских и иностранных газетах и журналах, и личной информации, какую Пушкин получал от своих знакомых, бывавших за границей, он, более чем вероятно, пользовался и некоторыми первоисточниками, например печатными отчетами английского парламента, получавшимися В. Ф. Одоевским.⁴

События во Франции приковывали всеобщее внимание, вызывая различные отклики в различных слоях русского общества. В аспекте революционной романтики встретили первые вести об июльских событиях в Париже представители второго поколения дворянских революционеров, к которому принадлежали и Герцен, и Огарев, и Лермонтов, и многие другие из тех, кто в 30-е годы переступали порог аудиторий Московского университета с мыслью, «что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылевым».⁵ «Мы следили, — писал Герцен об этих днях, — шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами... Мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется, радикальных, и хранили у себя их портреты».⁶ В ореоле революционной романтики воспринимал эти события и шестнадцатилетний Лермонтов.⁷

Далеко не таким было отношение к этим событиям Пушкина. Имел в виду происходившие во Франции во второй половине октября 1830 года дополнительные выборы в Палату депутатов на основе временного избирательного закона, понижавшего возрастной ценз для избирателей и избираемых, и предвидя, вследствие этого обстоятельства, возможность победы на выборах левого республиканского направления, Пушкин писал Е. М. Хитрово 11 декабря 1830 года: «Я боюсь, как бы по-

⁴ См.: «Временник Пушкинской комиссии», т. 4—5, М.—Л., 1939, стр. 275.

⁵ А. И. Герцен. Собрание сочинений, т. VIII, 1956, стр. 117.

⁶ Там же, стр. 134.

⁷ См. стихотворения: «10 июля 1830 г.», «30 июля 1830 г. Париж».

бедители⁸ не увлеклись чрезмерно и как бы Луи-Филипп не оказался королем-чурбаном.⁹ Новый избирательный закон посадит на депутатские скамьи молодое, необузданное поколение, не уstraшенное эксцессами республиканской революции, которую оно знает только по мемуарам и которую само не переживало» (XIV, 134, 422).

Такое отношение к «эксцессам республиканской революции» не свидетельствовало о каком-либо радикальном изменении политических взглядов Пушкина. Отрицательное отношение к тактике якобинского террора было устойчивым на протяжении всей его жизни.¹⁰ В этом плане Пушкин и опасался, как бы Луи-Филипп, оказавшись «королем-чурбаном», не сподобился своей слабостью развязыванию «эксцессов республиканской революции» со стороны «молодого поколения»: «Они хотя республику и добьются ее, — писал он, — но что скажет Европа и где найдут они Наполеона?» (XIV, 148, 423). «Французы почти перестали меня интересоваться», — пишет Пушкин в январе 1831 года тому же адресату (там же). Наблюдения за событиями на Западе укрепляли резко отрицательное отношение Пушкина к буржуазному характеру западноевропейского общественного развития:

... вокруг тебя
 Всё новое кипит, бывшее истребя.
 Свидетелями быв вчерашнего паденья,
 Едва опомнились младые поколения.
 Жестоких опытов собирая поздний плод,
 Они торопятся с расходом свесть приход.
 Им некогда шутить, обедать у Темиры,
 Иль спорить о стихах.

(«К вельможе»).

Та же сложность общественно-политических позиций Пушкина этого периода наблюдается и в его отношении к польским событиям 1830—1831 годов. Известно, с какой восторженностью встретило первые известия о варшавском восстании молодое, демократически настроенное поколение Герцена, Огарева, Лермонтова, связывавшее эти события с общеполитическим положением Европы в 1830 году и с надеждами на близкую революцию в самой России: «... вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании, — рассказывает Герцен. — Это уж недалеко, это дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах... Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспехам поляков».¹¹

Симпатии к польскому восстанию 1830—1831 годов со стороны демократически настроенных кругов русского общества были вызваны тем, что оно действительно явилось одним из проявлений польского национально-освободительного движения против русского царизма.¹² Однако в связи со слабостью и незрелостью польской буржуазии руководство в восстании скоро захватила консервативная польская аристократия, которая воспрепятствовала превращению восстания в революцию.

⁸ Т. е. умеренные, сторонники Луи-Филиппа.

⁹ Лягушки в басне Крылова «Лягушки, просящие царя» (1809) скоро привыкли к данному им в качестве царя осиновому чурбану, не возбуждавшему в них страха, и стали просить нового. Юпитер посадил им на царство Журавля, при котором «в лягушках каждый день великий недочет», и т. д.

¹⁰ Ср.: «Вольность» (1817), «Кинжал» (1821), «Андрей Шенье» (1825), «К вельможе» (1830) и др.

¹¹ А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. VIII, стр. 134.

¹² См.: Большая советская энциклопедия, изд. 2, т. 33, стр. 664—665; т. 34 стр. 33.

На этом его этапе, как говорил Ф. Энгельс, «... восстание 1830 г. не было ни национальной революцией... ни социальной или политической революцией; оно ничего не изменяло во внутреннем положении народа; это была консервативная революция».¹³ Созданное захватившей власть шляхтой консервативное правительство Адама Чарторыйского стремилось свести всё восстание к задаче восстановления Польского государства в границах Речи Посполитой 1772 года путем отделения Польши от России и захвата украинских, белорусских и литовских земель.

Только учитывая все эти обстоятельства, можно правильно понять позицию, занятую Пушкиным в отношении развертывавшихся в Польше событий. «Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения, — писал он в 1834—1835 годах в черновых набросках «Путешествия из Москвы в Петербург». — Гадко было видеть бездушного читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах» (XI, 482). Пушкин сознательно стремился при этом встать на общенациональную точку зрения, совпадавшую, кстати сказать, и с взглядами декабристов по польскому вопросу.¹⁴

Стремясь встать на точку зрения, защищавшую национальные интересы России, Пушкин утверждал необходимость этих позиций даже при наличии иного, чем официальный, образа мыслей. «Всё это хорошо в поэтическом отношении, — писал он П. А. Вяземскому в июне 1831 года. — Но всё-таки... наша медленность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей» (XIV, 169).

Говоря о том, что взаимоотношения России и Польши есть «дело семейственное», Пушкин не противоречил тем самым идее всеславянского единения, которая была близка идеологии дворянской революционности от декабристов до Герцена и нашла свое выражение в создании самостоятельной декабристской организации — Общества соединенных славян.¹⁵ «Намерение наше, — показывал на допросе один из руководителей этого общества поляк Юлиан Люблинский, — было соединить все славянские народы и составить федеративную республику».¹⁶

Идею будущего демократического всеславянского объединения имел в виду и Адам Мицкевич, говоривший, по словам Пушкина,

... о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

(«Он между нами жил»).

Польское восстание 1830—1831 годов, преследовавшее, как уже было сказано, в конечном счете, отделение Польши от России и отторжение от последней украинских, белорусских и литовских земель, вызывало сочувственное отношение к себе со стороны западноевропейских реакционных

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 4, изд. 2, стр. 492.

¹⁴ См., например, суждения по этому вопросу Н. И. Тургенева в его «Теории политики» (Архив братьев Тургеневых, вып. 5. Пгр., 1921, стр. 396—397).

¹⁵ См.: М. В. Нечкина. 1) Общество соединенных славян. ГИЗ, М.—Л., 1927; 2) Движение декабристов, т. II. Изд. Академии наук СССР, М., 1955, стр. 133—182.

¹⁶ М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, стр. 151. «Сюз славянских республик, — пишет М. В. Нечкина, — представлялся основателям Славянского общества оживленной федерацией с бурно растущей промышленностью, кипучей торговлей, мощными торговыми портами на берегах четырех морей — Черного, Белого, Балтийского и Адриатического» (там же, стр. 149).

правительство. «Польша восстает противу России, — вспоминал об этом Пушкин в 1834—1835 годах в черновой редакции главы «Москва» «Путешествия из Москвы в Петербург». — Европа завистливо принимает ее сторону, не имеющая понятия ни о России, ни о Польше» (XI, 483). В этом отношении показательно, что те же самые правительства Западной Европы, которые в течение всего последовавшего после падения Наполеона периода неуклонно проводили политику Священного союза по подавлению национально-освободительных и революционных движений на западе и юге Европы, намеревались, наоборот, активно поддержать польское восстание, рассчитывая при благоприятном его исходе на политическое и военное ослабление России. В письме к П. А. Вяземскому 1 июня 1831 года Пушкин писал, оценивая создавшееся международное положение: «Того и гляди, навяжется на нас Европа» (XIV, 169).

Из этого комплекса мыслей, представлений и переживаний Пушкина 1830—1831 годов и возникал замысел стихотворения «Клеветникам России» как утверждение идеи всеславянского единения, с одной стороны, и национального величия, славы и могущества России — с другой.

Сложность общественно-политических позиций Пушкина в 30-е годы приводила к тому, что это стихотворение равно приветствовалось такими различными людьми, как П. Я. Чаадаев и С. С. Уваров, одинаково находившими его (разумеется, с диаметрально противоположных политических позиций) «национальным» (Чаадаев)¹⁷ и «народным» (Уваров).¹⁸

Политической же основой этого стихотворения явилось утверждение Пушкиным того «принципа невмешательства» (*le principe de la non-intervention*), который, противостоя в международных отношениях основанной на принципе легитимизма и декларированной Священным союзом политике вмешательства во внутренние дела других государств, являлся, по Пушкину, следствием июльской революции 1830 года. «Из недр революций 1830 года, — писал Пушкин в феврале 1831 года Е. М. Хитрово, — возник великий принцип — принцип невмешательства, который заменит принцип легитимизма, нарушенный от одного конца Европы до другого» (XIV, 150, 424).

В такой сложной обстановке — на фоне крестьянских холерных волнений и бунтов в всенных поселениях, упадка помещного землевладения и возвышения торговой и промышленной буржуазии в России, обострения социальных противоречий в западноевропейской жизни, июльской революции во Франции, восстания в Польше — развивалось творчество Пушкина в 30-е годы. Жизнь народа, продолжавшего изнывать под крепостническим ярмом, по-прежнему оставалась основной темой Пушкина.

Однако задача немедленного освобождения крестьян, в прямой ее постановке, как она понималась Пушкиным до разгрома декабрьского восстания, звучит более приглушенно в его творчестве последнего периода. В этом отношении особое значение приобретает многозначительная параллель автобиографического характера, отчетливо проведенная Пушкиным между собой и Радищевым в статье о последнем.

«Император Павел I, — писал Пушкин, — взошел на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, обошелся с ним

¹⁷ «Я только что прочел ваши два стихотворения («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», — *Б. Г.*) ... Вот вы, наконец, и национальный поэт» (*Enfin, vous voilà poète national*) (Пушкин, XIV, 228, 439).

¹⁸ «Восхищенный прекрасными, истинно народными стихами Вашими» (Пушкин, XIV, 232).

милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово» (XII, 33—34).

Достаточно здесь проставить вместо «Павел I» «Николай I» и вместо «Радищев» «Пушкин», чтобы получилась страничка из биографии Пушкина, очень точно характеризующая обстоятельства его возвращения из ссылки в 1826 году,¹⁹ разговор с Николаем I по приезду в Москву²⁰ и последствия этого разговора, отчетливо дававшие себя знать на всем протяжении последующей жизни Пушкина.²¹

Это сказалось, в частности, на том, что целый ряд значительнейших произведений Пушкина последнего периода его жизни, затрагивавших острейшие проблемы современности, не был закончен из-за полной невозможности увидеть их напечатанными. В то же время совсем не откликаться на тревожные события окружавшей его действительности Пушкин не мог. Так, в холерную и беспокойную болдинскую осень 1830 года он пишет «Историю села Горюхина», оставшуюся незаконченной, и стихотворение «Румяный критик мой...», не печатавшееся при его жизни.

Впечатления Пушкина от полыхавших по всей России крестьянских волнений сказались, в частности, на образе кузнеца Архипа с топором и трижды повторенными злобными словами «как не так» из начатого в 1832 году и оставшегося незаконченным «Дубровского». Эти же впечатления легли в основу задуманных в начале 1833 года «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» с глубоко знаменательным сном Петруши о мужике, который «вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны» (VIII, 1, 289).

В эти же годы под пером Пушкина вновь оживает имя Радищева в незаконченном «Путешествии из Москвы в Петербург» (1833—1835) и в не увидевшей света при жизни поэта статье «Александр Радищев» (1836).

2

1833—1835 годы были особенно тяжелыми годами в жизни России. После недавних холерных волнений страна переживала сильнейший неурожай и голод 1833 года. «Почти от 53 градуса широты, к югу, сухая весна и знойное лето иссушили пастбища и засеянные поля. Скот на юге гиб стадами... Рожь дошла у нас к концу 1833 года до 28 рублей» за четверть против 5 р. 50 к.—8 руб. в 1830 году и 14 руб. в конце 1832 года.²²

¹⁹ В прошении на имя Николая I от 11 мая того же года Пушкин обязывался: «Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему императорскому величеству со всеподданнейшею моею просьбою» (XIII, 283).

²⁰ Декабрист Н. И. Лорер со слов А. С. Пушкина рассказывает в своих «Записках»: «... царь встретил поэта словами: „Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню, я же освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства“» (Записки декабриста Н. И. Лорера. Соцэкгиз, М., 1931, стр. 200).

²¹ Ср. аналогичные выводы Б. В. Томашевского в отношении результатов следствия по делу о «Гавриилиаде»: «Можно думать, что признание Пушкина обошлось ему не легко. „Прощение“, данное ему Николаем, было одним из звеньев той цепи, которую царь оковал поэта в последние годы его жизни» (Б. Томашевский, Пушкин, кн. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 432).

²² И. Сабуров. Взгляд на цены хлеба, бывшие в Пензенской губернии с 1830 по 1835 год, и на последствия этих цен. «Московский наблюдатель», 1835, ч. II, стр. 430—431, 429.

«Северная пчела» в специальных прибавлениях печатала советы помещикам: «О веществах, удобозаменяющих для народа ныне существующий недостаток в хлебе» — как приготовить для прокормления голодающих крестьян хлеб из соломы, барды, дубовых желудей и пр.²³ В январе 1834 года был обнародован манифест Николая I о выпуске специального займа на сумму 40 млн руб.

Голодало, однако, лишь одно крестьянство. Жизнь царского двора и дворянского общества шла своим чередом. «Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?» — записывал Пушкин в своем дневнике в марте 1834 года, имея в виду сверхщедрые ассигнования из государственных средств на придворные балы в честь совершеннолетия наследника (XII, 322).

Напряженной была и внешнеполитическая обстановка. Газеты и журналы уделяли исключительное внимание политической жизни на Западе: лионским событиям 1831 года,²⁴ движению сен-симонистов во Франции,²⁵ волнениям в Бельгии и Ирландии,²⁶ колониалистской деятельности английской Ост-Индской торговой компании,²⁷ состоянию общества в Соединенных Штатах Америки и рабству американских негров²⁸ и в особенности рабочему движению в Англии и положению английских и французских рабочих в условиях роста фабричного производства.

«Московский телеграф» в 1833 году в статье, перепечатанной, как указывалось, «из английского журнала», рисовал тяжелую картину положения английских ткачей: «Лондон будет долго помнить торжественное шествие спитафильдских ткачей, несколько лет тому оставивших свою родную землю и отправившихся в Нижний парламент требовать правосудия, т. е. хлеба. Эта армия бедных пигмеев в лохмотьях, эти лица, истощенные и преждевременно дряхлые, эта общая худоба, этот цвет лиц, страшный, свинцовый, были гораздо красноречивее, нежели когда-нибудь будут все речи наших сплетателей фраз».²⁹

Чрезвычайно сложным было и собственное общественное положение Пушкина в 1833—1835 годах, накладывавшее свой отпечаток на многие его действия и начинания этих лет.

Искусственно раздувавшаяся некоторыми русскими и зарубежными, в особенности эмигрантско-польскими, кругами близость Пушкина ко двору, приравнивавшаяся чуть ли не к ренегатству, на деле оборачивалась откровенной неприязнью к поэту со стороны правящих кругов и полицейским надзором за каждым его шагом.

Недоверие к Пушкину и настороженность в отношении каждого его шага сказались, например, даже на поведении внешне расположенного к поэту М. М. Сперанского в вопросе о разрешении выпуска из типографии II Отделения собственной е. и. в. канцелярии тиража полностью отпечатанной «Истории Пугачевского бунта». 16 декабря 1834 года Бенкендорф направляет Сперанскому просьбу о выпуске книги из типографии. Однако уже на следующий день Пушкин сообщает Бенкендорфу о после-

²³ «Северная пчела», 1833, Прибавление к №№ 276, 277 и 278, 4 декабря.

²⁴ Там же, 1832, № 8, 12 января; № 27, 3 февраля, и др.

²⁵ Там же, № 1, 2 января.

²⁶ Там же, № 2, 4 января.

²⁷ Там же, 1833, № 200, 6 сентября; «Московский телеграф», 1833, ч. 53, стр. 3—31.

²⁸ «Литературная газета», 1830, т. II, №№ 45, 46, 9, 14 августа, стр. 65—68, 73—77; «Московский наблюдатель», 1835, ч. II, стр. 124—147; «Северная пчела», 1833, № 133, 16 июня, и др.

²⁹ «Московский телеграф», 1833, ч. 53, стр. 34.

довавшем отказе Сперанского выполнить эту просьбу. 18 декабря А. Н. Мордвинов подтверждает разрешение выпуска книги. Несмотря на это, Сперанский уведомляет А. Н. Мордвинова, что до выпуска книги из типографии следует еще сверить печатный текст с рукописным оригиналом, читанным самим Николаем I. И только после личного указания царя Сперанский решился, наконец, выпустить из типографии тираж пушкинской книги о Пугачеве.³⁰ Конечно, в этом эпизоде отчетливо сказалось и то обстоятельство, что умный и осторожный Сперанский уже тогда разглядывал в исследовании Пушкина то, чего не увидели ни сам Николай I, ни его приближенные.

Несомненно, что атмосфера этого недоверия и настороженности, окружавшая Пушкина, сказывалась и на отдельных его действиях тех лет. В этом отношении, например, следует обратить внимание на нарочитый характер некоторых материалов, печатавшихся Пушкиным в его «Современнике», и понять смысл действий поэта. В № 1 «Современника» Пушкин помещает отзыв о собрании сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского, изданном протоиереем Иоанном Григоровичем. В № 3 печатается пушкинский отзыв о «Словаре о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местно-чтимых». Примечательна пушкинская характеристика последнего издания, печатавшегося в той же типографии, что и его книга об истории Пугачева:

«Издатель „Словаря о святых“ оказал важную услугу истории. Между тем книга его имеет и общую занимательность: есть люди, не имеющие никакого понятия о жизни того св. угодника, чье имя носят они от купели до могилы и чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, не можем, по крайней мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству.

«Наконец, и библиофилы будут благодарны за типографическую изящность издания: „Словарь“ напечатан в большую осьмушку на лучшей веленовой бумаге, и есть отличное произведение типографии Второго отделения собственной канцелярии е. и. в.» (XII, 102—103).

Во второй половине 1833 года Пушкин совершил большое путешествие почти по всей центральной России — в Нижегородскую, Казанскую, Симбирскую и Оренбургскую губернии, причем непрерывная полицейская слежка сопутствовала ему на всем протяжении этого путешествия.

На обратном пути поэт около полутора месяцев прожил в нижегородском имении Пушкиных — Болдине, почти полностью разоренном хозяйничаньем Сергея Львовича и его ставленника М. И. Калашникова. О степени разорения болдинских крестьян дает достаточное представление их прошение, поданное ими Пушкину во время его пребывания в Болдине: «Осмеливаемся донести вашей милости в том, что присланный от вашего родителя милостивого государя Сергея Львовича человек в его имении управляющим Михайла Иванов, от которого мы, батюшка Александр Сергеевич, в великое разорение пришли... Когда Михайла Иванов вступил во управление имения, стал заводить барщину незаконну..., пришли старики к Михайле Иванову просить, чтобы он нас допустил к господину милостивому государю Сергею Львовичу дойти лично просить от него милости, и Михайла Иванов нам позволил и дал нам бумагу в том, чтобы идти в С. Питербург. — А после того на другой день Михайла Иванов призвал к себе стариков и взял от них им данную бумагу назад и сказал,

³⁰ См.: Дела III Отделения собственной е. и. в. канцелярии об А. С. Пушкине. СПб., 1906, стр. 141—146; Пушкин, XV, 201, 203, 331.

что не ходите вы старики к барину, а мы ему сказали, что мы пойдём. Михайла Иванов опять мужиков собрал к себе и сказал им, что вы бунтовщики, я на вас попрошу городскую команду, чтобы нас наказать. А после того Михайла Иванов послал своего сына Гаврилу за исправником, чтобы наказать стариков секущей командой — и наказали стариков розгами» (XV, 91—92).

В первой половине ноября 1833 года Пушкин выехал из Болдина с законченными «Историей Пугачева» и «Медным всадником» и, прожив неделю в Москве, 20 ноября был уже в Петербурге. Через несколько дней по возвращении он принимается за работу над «Путешествием из Москвы в Петербург». Первая хронологическая дата в рукописях «Путешествия» — «2 дек<абра> 1833 С. П. Б.» стоит в конце вводной главы «Шоссе» после слов: «...заставил Рад<ищева> путешествовать со мною из М<осквы> в П<етербург>» (XI, 458).

Тяжелые впечатления от болдинской действительности и от поездки по России в соединении с мыслями о только что законченной истории Пугачевского восстания и о Радищеве, естественными в связи с недавним приобретением уникального экземпляра радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву»,³¹ того самого, который побывал в Тайной канцелярии, легли в основу этого произведения Пушкина, который, как бы выполняя пожелание Радищева, высказанное им читателю в конце книги — «подожждать его у околицы», чтобы вновь «повидаться на возвратном пути», «начал книгу с последней главы» и тем самым действительно заставил Радищева путешествовать с ним из Москвы в Петербург.

3

В чем состояла основная, очень сложная и в высшей степени своеобразная задача, какую ставил перед собой, хотя и не до конца выполнил Пушкин в этом незаконченном произведении, так легко и естественно принявшем впоследствии приданное ему позднейшими публикаторами — по прямой аналогии с радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву» — название: «Путешествие из Москвы в Петербург»?

Конечно, не в том, чтобы просто напомнить русскому обществу имя Радищева и перепечатать некоторые страницы из его уничтоженной книги под завесой якобы притворной полемики с ним, как думали некоторые исследователи, и не в том, чтобы вступать с автором «Путешествия из Петербурга в Москву» в подлинную полемику с каких-то новых, якобы «антирадищевских», позиций последекабрьского времени, как думали другие.³²

Более серьезные и общественно важные задачи ставил перед собой Пушкин в этом своем совершенно беспрецедентном опыте.

³¹ По мнению Ю. Г. Оксмана, это приобретение состоялось «не раньше июня—июля 1833 года» (Научный ежегодник за 1954 год Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, Саратов, 1955, стр. 149).

³² Ср.: П. Н. Сакулин. Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса. Изд. «Альциона», М., 1920. О характере различных суждений по поводу пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург» см.: Б. С. Мейлах. «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкина. «Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», 1949, т. VIII, вып. 3, стр. 216—217; Ю. Г. Оксман. Проблематика «Истории Пугачева» Пушкина в свете «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. «Научный ежегодник за 1954 год Саратовского государственного университета», стр. 149—154; Вл. Орлов. Радищев и русская литература. Гослитиздат, М., 1949, стр. 85—95.

В этом отношении необходимо в первую очередь установить самый характер высказываний Пушкина о Радищеве как в этом произведении, так и в близкой ему по материалу и времени написания статье «Александр Радищев».

В самом начале главки о Ломоносове своего «Путешествия» Пушкин пишет: Радищев «более двадцати страниц наполнил пошлыми похвалами стихотворцу, ритору и грамматикку, чтоб в конце своего слова поместить следующие мятежные строки:

«„Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он вошёл во храм не мог... Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всеисилие, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? и мы не почтем Ломоносова, для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопеи, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда пронизателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей“» (XI, 248—249).

Прежде всего останавливают внимание слова: «мятежные строки». Какие строки в приведенной им цитате из Радищева Пушкин называет «мятежными»? В нарочито выделенных самим Пушкиным словах Радищева о Ломоносове нет, разумеется, ничего «мятежного». Почти так же думал о Ломоносове и сам Пушкин, который тут же писал, что «в Ломоносове нет ни чувства, ни воображения» (XI, 249). Остается предположить, что, выделив несколько совершенно безобидных строк, Пушкин сделал это, может быть, и для того, чтобы отвести внимание от непосредственно предшествующих строк, являющихся действительно «мятежными» со всех точек зрения: «Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всеисилие, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения?». Кстати, на полях против этих слов в пушкинском экземпляре радищевского «Путешествия» имеется отметка красным карандашом.

Нет особой нужды доказывать, что эти строки Радищева едва ли относились к Ломоносову, которого, несмотря на его гениальность, вряд ли можно назвать писателем, «восстающим на губительство и всеисилие» для того, чтобы «избавить человечество из оков и пленения». Не вдаваясь здесь в исследование вопроса, к кому именно отнесены эти слова под пером Радищева, отмечу, что для меня нет никакого сомнения в том, что Пушкин под словами «мятежные строки» имел в виду именно эту фразу Радищева, и предполагаю, что с этой фразой в сознании Пушкина связывалось представление и о самом Радищеве.

О необходимости раскрывать для современников значение выдающихся писателей прошлого Пушкин писал еще в 1830 году в заметке о журнальной критике: «Не говоря уже о живых писателях, Ломоносов, Державин, Фон-Визин ожидают еще египетского суда. Высокопарные прозвища, безсловные похвалы, пошлые восклицания уже не могут удовлетворить людей здравомыслящих (XI, 89). В приведенном Пушкиным списке старых писателей, ожидающих своей справедливой оценки, он, еще в 1823 году упрекавший А. А. Бестужева в том, что тот в статье о русской словесности забыл Радищева («кого же мы будем помнить?» — писал Пушкин; XIII, 64), безусловно, поставил бы и имя автора «Путешествия из Петербурга в Москву», если бы это было возможно по цензурным условиям.

Такую попытку в отношении Радищева Пушкин сделал в глубоко знаменательном эпиграфе к своей статье «Александр Радищев»: «Il ne faut pas

qu'un honnête homme mérite d'être pendu.³³ Слова Карамзина в 1819 году» (XII, 30). Легализованное высоким авторитетом Карамзина,³⁴ это суждение о Радищеве утверждало его моральное право на общественное уважение.

Показательно, что именно так этот эпитаф и понял цензор А. Л. Крылов, которому Пушкин послал в 1836 году на рассмотрение рукопись статьи. Статья была возвращена Пушкину с запретительной надписью А. Л. Крылова, написанной чернилами, причем эпитаф был подчеркнут карандашом цензора и сбоку подписано карандашом же: «А. Крылов».

Истинное отношение Пушкина к Радищеву этих лет проступает из следующей завуалированной его характеристики в той же статье: «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а *Путешествие в Москву* весьма посредственной книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию» (XII, 32—33).

Если отбросить некоторые слова, привнесенные сюда явно по цензурным соображениям («казался нам преступлением», «весьма посредственной книгою», «заблуждающегося конечно»), то всё остальное отчетливо раскрывает подлинное отношение Пушкина к Радищеву: и немислимая в рамках охранительной идеологии постановка вопроса о том, является или нет Радищев великим человеком, и признание в нем человека «с духом необыкновенным», «действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию». Напомним в этой связи устойчивый у Пушкина в целом ряде характеристик Радищева этого времени эпитет «горький» («горькие возмутительные сатиры», «горькие полуистины»), в данном контексте ассоциирующийся с дополнением: «но справедливый» (ср.: «горькая правда»).

Истинное отношение Пушкина к Радищеву сквозит и в следующей знаменательной фразе: «Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера... Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют» (XII, 34). Разберемся в существе этой фразы. Укорять кого-либо в данном контексте можно лишь за отход от верного и правильного. За отход от ложного и ошибочного, наоборот, надо только приветствовать. Таким образом, в этой фразе заключено утверждение истинности дела Радищева, за которое он пострадал.

Реминисценции из Радищева особенно часты у Пушкина именно в эти годы. Возможно, что самый характер пушкинской публикации отдельных строф и отрывков из «Путешествия Онегина» в какой-то мере был подсказан аналогичной публикацией строф и отрывков радищевской оды «Вольность» в сопровождении прозаических связывающих пояснений к ним в «Путешествии из Петербурга в Москву».

В судьбе Радищева Пушкин неоднократно отмечал сходство со своей и

³³ «Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения» (франц.).

³⁴ Поиски этой или подобной ей фразы в сочинениях и письмах Карамзина и в воспоминаниях о нем не дали результатов. Возможно, что Пушкин слышал эту фразу в личной беседе с Карамзиным, при этом вовсе не обязательно, чтобы Карамзин говорил именно о Радищеве. Не исключена возможность и того, что Пушкин просто приписал эти слова Карамзину, наподобие того, как он это сделал с некоторыми эпитафами к «Капитанской дочке». Ссылка на 1819 год должна была, вероятно, напомнить читателям о другом одиночном выступлении — об убийстве Августа Коцебу Карлом Зандом 11 (23) марта 1819 года. За указание на возможность последнего сопоставления приношу благодарность Н. В. Измайлову.

даже, как уже было отмечено выше, довольно открыто намекал на возможность некоторых многозначительных автобиографических параллелей.

В то же время отношение Пушкина к книге Радищева в целом было достаточно сложным. Признавая в ней многое практически полезным и нужным, Пушкин считал, что это общественно полезное у Радищева показано в столь резкой форме и в таких неприемлемых «для верховной власти» (по словам Пушкина) выражениях, что этим самым почти полностью парализуется и возможность принесения пользы книгой.

«Какую цель имел Радищев?.. — спрашивает Пушкин в конце статьи «Александр Радищев». — Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения... Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» (XII, 36).

Здесь же Пушкин продуманно, подробно и точно излагает свои мысли о том, как бы должен был поступить Радищев, дабы сделать свою книгу практически общественно полезной, не поступаясь основными положениями ее. Он пишет: Радищев «как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян; он злится на цензуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель». «Всё это, — добавляет Пушкин, — было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна» (XII, 36).

В этом, по-видимому, и состояла одна из характерных особенностей интереснейшего замысла Пушкина, поскольку можно судить об этом по незаконченному произведению: взяв из книги Радищева всё полезное и нужное, что сохранило значение для современности, сделать его достоянием общества, не производя, по выражению Пушкина, «ни шума, ни соблазна» и внося в те или иные положения радищевского труда необходимые коррективы, вызванные разностью общественного содержания эпох.

Отсюда и довольно легко выделяющиеся опорные пункты содержания пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург»: о путях развития России, о судьбах крепостного крестьянства, о свободе печати и о цензуре.

В своей работе над «Путешествием» Пушкин следовал довольно точно за основным содержанием и последовательностью глав радищевской книги в обратном их порядке (Пушкин прекратил работу на главе «Шлюзы», соответствующей главе «Вышний Волочок» — одиннадцатой по счету с конца из двадцати шести глав радищевского «Путешествия»), однако не связывая себя кругом вопросов, поставленных Радищевым, выделяя некоторые, с его точки зрения, наиболее важные проблемы, что нашло отражение в названиях глав, которые у Пушкина озаглавлены не по названиям станций, как у Радищева, а по проблемам, в них разрабатываемым: «Браки», «Русская изба», «Рекрутство», «Рабство», «О цензуре» и др.

В относительной свободе повествования, какую Пушкин принял в этом произведении, он, по-видимому, сознательно следовал за манерой Радищева, которую охарактеризовал так: «Радищев написал несколько отрывков, дав каждому в заглавие название одной из станций, находящихся на дороге из Петербурга в Москву. В них излил он свои мысли безо всякой связи и порядка» (XI, 245).

Не лишено интереса любопытное свидетельство Гоголя о работе Пушкина над некоторыми своими статьями. В письме к С. Т. Аксакову 1844 года, давая советы К. С. Аксакову, как лучше писать статьи, Гоголь говорил: «... нужно, чтобы они писаны были слишком просто и в таком же порядке, как у него выходили изустно в разговоре, без всякой мысли о том, чтобы дать им целостность и полноту...», словом, как делал Пушкин, который, нарезавши из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить. На одном писал: *Русская изба*, на другом: *Державин*, на третьем имя тоже какого-нибудь замечательного предмета, и так далее. Все эти ярлыки накладывал он целую кучею в вазу, которая стояла на его рабочем столе, и потом, когда случилось ему свободное время, он вынимал на удачу первый билет; при имени, на нем написанном, он вспоминал вдруг всё, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на том же билете всё, что знал. Из этого составились те статьи, которые напечатались потом в посмертном издании его сочинений и которые так интересны именно тем, что всякая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы».³⁵ В 1833—1835 годах Гоголь особенно часто общался с Пушкиным. Упоминаю о статье под названием «Русская изба», Гоголь имел в виду, как он сам сказал, «те статьи, которые напечатались потом в посмертном издании его сочинений», т. е. отдельные главы «Путешествия из Москвы в Петербург», открывающие XI том посмертного собрания сочинений Пушкина: «Шоссе» (стр. 3—9), «Москва» (стр. 11—18), «Ломоносов» (стр. 19—37), «О цензуре» (стр. 39—44), «Русская изба» (стр. 45—50) и «Этикет» (стр. 51—54). Если это свидетельство Гоголя и не характеризует всю работу Пушкина над «Путешествием из Москвы в Петербург», то всё же полностью игнорировать его также нельзя.

По замыслу Пушкина, повествование в его «Путешествии», в окончательной редакции, должно было быть объединено образом рассказчика-путешественника. Однако в связи с тем, что Пушкин не только не довел начатого произведения до окончательной редакции, но и оставил большинство глав в форме самых первоначальных, неразработанных и весьма кратких заметок-набросков (см., например, «Браки», «Слепой», «Рекрутство», «Медное (Рабство)», «Этикет» и др.), образ этого пушкинского путешественника-рассказчика присутствует еще не во всех главах. Явным образом (хотя далеко не везде с одинаковой полнотой) он замечен в главах «Шоссе», «Москва» и «О цензуре». Это простоватый, но отнюдь не невежественный московский дворянин, старожил и домосед, к тому же большой любитель отечественной словесности, от лица которого и начинается неторопливый рассказ о выезде из Москвы.

Самый первый набросок этого очень цельного и своеобразного образа Пушкин дал еще в 1827 году в небольшом критическом отрывке: «Если звание любителя отечественной литературы само по себе достойно уважения и что-нибудь да значит, то и я во мнении публики, не взвизывая на убожество дарований, имею право на некоторое ее внимание... Успехи нашей словесности всегда радовали мое сердце и я не мог без негодования слышать в нынешних журналах нападки, столь же безумные, как и несправедливые, на произведения писателей, делающих честь не только России, но и всему человечеству, и вообще на состояние просвещения в любезнейшем нашем отечестве... Сии-то несправедливые и безумные нападения

³⁵ Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. XII, Изд. Академии наук СССР, 1952, стр. 406—407.

принудили меня в первый раз выступить на поприще писателей, надеясь быть полезным любезным моим соотечественникам» (XI, 62—63).

Спустя некоторое время от этого первоначального образа, отнюдь не умаляя его самостоятельности и цельности, отпочковались образы незабвенного Ивана Петровича Белкина (1830) и отважного Феофилакта Косичкина (1831), столь самоотверженно выступившего на защиту почтенного Александра Анфимовича Орлова от нападок Булгарина.

Впоследствии этот образ претерпел еще некоторые изменения. Одно временно с «Путешествием из Москвы в Петербург» Пушкин пишет в 1835 году и «Путешествие в Арзрум». Рассказчика, от лица которого ведется повествование (и одновременно героя произведения), Ю. Н. Тынянов метко охарактеризовал следующим образом:

«Герой „Путешествия в Арзрум“, авторское лицо, от имени которого ведутся записки, — никак не „поэт“, а русский дворянин, путешествующий по архаическому праву „вольности дворянской“ и вовсе не собирающийся „воспевать“ чьи бы то ни было подвиги».³⁶

От органического соединения первоначального образа простоватого москвича-домоседа, любителя отечественной словесности, с образом просвещенного русского несудорожного дворянина, путешествующего не по «казенной надобности», но «по архаическому праву „вольности дворянской“», и создавался образ рассказчика пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург».

На всем протяжении чернового текста «Путешествия» заметно сознательное и настойчивое стремление Пушкина, в соответствии с характером вымышленного повествователя, усилить впечатление о суровом осуждении рассказчиком антиправительственных нападков Радищева. Так, в главе о Ломоносове, написал: «Достоинно замечания и то, что *Радишев*... обошлась со славою Ломоносова гораздо осторожнее, нежели с Верховной властью», — Пушкин приписывает на полях: «на которую напал с такой безумной дерзостью» (XI, 225, 458). В главе «Москва» сначала было написано: «Москва! Москва!.. восклицает Радишев в конце своей книги и бросает перо», затем появляется вставка: «желчью напитанное» (XI, 238, 478).

Предпринимая эту рискованную и совершенно беспрецедентную попытку вторичного, после трагического опыта Радищева, введения в общественный обиход «нескольких благоразумных мыслей» и «благонамеренных предположений», Пушкин, по существу, делал это почти открыто, проводя и в данном случае свою постоянную тактику воздействия на верховную власть путем убеждения ее в политической целесообразности и пользе большего внимания к голосу общественности, и в особенности к голосу просвещенных и честных писателей. Призывая к этому современное ему правительство, Пушкин — не совсем, впрочем, обоснованно — ставил в качестве примера и образца Екатерину II, при которой, по его словам, «само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы — чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью» (XII, 36).

Что Пушкин здесь явно лукавил и что приведенный им пример «мягких нравов» царствования Екатерины II, отнюдь не отражая подлинных

³⁶ Ю. Тынянов. О «Путешествии в Арзрум». «Временник Пушкинской комиссии», т. 2, 1936, стр. 67—68.

его взглядов,³⁷ играл чисто служебную роль своеобразного «урока царям», свидетельствует его ранняя убийственная характеристика «любви» Екатерины II к просвещению и писателям. В своих «Заметках по русской истории XVIII века» Пушкин писал еще в 1822 году: «...Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шишковского³⁸ в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фон-Визин, которого она боялась, не избежал бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность» (XI, 16).

4

Первая главка пушкинского «Путешествия» («Шоссе») соответствует аналогичной главке («Выезд») у Радищева. Она вводит в повествование образ москвича-путешественника и впервые называет имя Радищева в качестве «дорожного товарища».³⁹ Эта вступительная главка «Путешествия» в пушкинской литературе, как справедливо указал М. П. Алексеев,⁴⁰ почти не подвергалась комментарию.

Начиная от имени своего путешественника-москвича неторопливый рассказ об обстоятельствах его выезда из Москвы, Пушкин широко использует многочисленные официозные высказывания о высоких качествах только что открытого московского шоссе, начатого еще по повелению Александра I, и о роли частной инициативы в его эксплуатации.

«Катаясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже», — так начинает пушкинский путешественник свой рассказ, почти в точности перефразируя соответствующее место из напечатанного в том же 1833 году в «Северной пчеле» очерка Н. И. Греча «Поездка в Москву». «Я выехал из Петербурга... в дилижансе...», — пишет Н. Греч. — Лошадей переменили мигом, и мы, как из лука стрела, летели по прекрасному шоссе».⁴¹ «Путешествие по гладкому шоссе невыразимо приятно», — соглашается с ними обоими и автор «Путеводителя от Москвы до С.-Петербурга и обратно».⁴²

«Великолепное московское шоссе начато по повелению императора Александра», — напоминает читателю пушкинский путешественник (XI, 244). «Московское шоссе...», — восклицает и Н. И. Греч, — должно съездить в Москву, чтоб вполне почувствовать всю цену сего... благодеяния, оказанного Александром Первым своему народу».⁴³

«Так должно быть и во всем: правительство открывает дорогу: частные люди находят удобнейшие способы ею пользоваться», — размышляет пушкинский путешественник (XI, 244). «Правительство сделало и делает в пользу проезжих всё, что можно, — полностью соглашается с ним

³⁷ Ср.: П. Н. Берков. Пушкин и Екатерина II. «Ученые записки Ленинградского государственного университета», № 200, серия филологических наук, вып. 25, 1955.

³⁸ Домашний палач кроткой Екатерины. (Примечание Пушкина).

³⁹ Так («Дорожный товарищ») первоначально называлась вся главка (см.: ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1067 (ЛБ № 2385 Б), л. 17).

⁴⁰ См.: М. П. Алексеев. Пушкин и наука его времени. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. т. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 90.

⁴¹ «Северная пчела», 1833, № 124, 6 июня, стр. 494. Пушкин, пристально следивший за повременной печатью, мог обратить внимание на этот очерк Н. И. Греча, начинающийся эниграфом из В. Л. Пушкина («Ах! дайте отдохнуть и с силами собраться!») и заканчивающийся (в этом номере) цитатой из «Евгения Онегина» («И заведет крещеный мир На каждой станции трактир»; VI, 153).

⁴² Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно... Составил и издал И. Д. Митрнев, М., 1839, стр. 20.

⁴³ «Северная пчела». 1833, № 124, 6 июня, стр. 494.

Н. И. Греч, — но улучшения, требуемые удобством и прихотями роскоши, зависят от умножения числа жителей, от усиления проезде и от соровнования промышленности»⁴⁴ и т. д.

Все эти сопоставления приведены только для того, чтобы подчеркнуть сознательное стремление Пушкина всемерно усилить впечатление общности суждений своего путешественника с суждениями самых «благонамеренных» общественных кругов. Что это именно так, доказывается рядом разительных противоречий в оценках вымышленного пушкинского путешественника и собственных, пушкинских (особенно в его письмах к жене), по вопросу о скорости и качестве езды в «поспешных дилижансах».⁴⁵

Наибольшие трудности для исследователей, писавших о «Путешествии из Москвы в Петербург», представляло, как известно, следующее суждение:

«Не могу не заметить, что со времен восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и не охотно» (XI, 244).

В том, что данное суждение вложено Пушкиным в уста своего путешественника, не может быть сомнения, ибо всё повествование этой первой главы от начальной фразы ее и до самой последней ведется от первого лица.

Однако вопрос этот сложнее, чем представляется, уже по одному тому, что подобные суждения о «передовой роли» русского правительства неоднократно высказывались в те годы многими видными деятелями русской культуры, о которых никак нельзя сказать, что они полностью разделяли правительственную точку зрения. Так, например, В. Ф. Одоевский в статье «Петербургские письма», напечатанной в «Московском наблюдателе» в 1835 году, писал: «...у нас нет врожденного, произвольного стремления к просвещению. — Скажи, кто у нас заводит школы? правительство; кто заводит фабрики, машины? правительство; кто дает ход открытиям? правительство; кто поддерживает компании? правительство и одно правительство».⁴⁶ Высказывал подобные суждения и сам Пушкин, при этом в записях, не предназначенных к опубликованию. Так, в 1836 году в черновых заметках при чтении «Нестора» Шлецера он писал: «Екатерина II много сделала для истории, но Академия ничего. Доказательство, как правительство у нас всегда впереди» (XII, 208). В том же году молодой Герцен, комментируя какое-то неизвестное нам сочинение по истории русского законодательства, писал: «В гражданском обществе (dans le fait social) прогрессивное начало есть правительство, а не народ. Правительство есть формула движения (du progrès), выражение идеи общества, форма его историческая, факт непреложный. Нигде правительство не становилось настолько перед народом, как в России; может, от этого оно не всегда было исторически справедливо».⁴⁷

Представляется вероятным, что в приведенных выше утверждениях Пушкина и молодого Герцена общим и для того и для другого источником этих идеализирующих роль русского самодержавного правления суждений являлась преувеличенная оценка значения реформаторской деятель-

⁴⁴ Там же, стр. 496.

⁴⁵ Ср., например, из письма Пушкина к жене о поездке в Москву на «поспешном дилижансе»: «Я приехал в Москву вчера в среду. Велосифер, по-русски поспешный дилижанс, несмотря на плеоназм, поспешал как черепаха, а иногда даже как рак» (XV, 30).

⁴⁶ «Московский наблюдатель», 1835, ч. I, стр. 57 (подпись: В. Безгласный).

⁴⁷ А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. I, 1954, стр. 320.

ности Петра I и влияния идей великого преобразователя на действия его наследников.

К этой мысли об исключительном значении петровского положительного начала в деятельности его «ничтожных наследников» Пушкин пришел еще в начале 20-х годов, когда писал в уже цитированных «Заметках по русской истории XVIII века»:

«По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, всё еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного... Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе» (XI, 14).

Не избегал, как известно, преувеличения роли правительства в деле распространения просвещения в России и молодой разночинец Белинский, заканчивая в 1834 году свои «Литературные мечтания».⁴⁸

Таким образом, вкладывая в уста своего путешественника эту оценку роли правительства «на поприще образованности и просвещения», Пушкин отнюдь не преследовал при этом цели представить его ярким и махровым реакционером вроде Булгарина. Нет, это опять тот же образ просвещенного и обеспеченного московского дворянина-домоседа, путешествующего не по «казенной надобности», типичнейшего представителя неслужилого дворянства («людей независимых, беспечных, страстных к безвредному злоречию»; XI, 246), уважающего правительство, что не исключает и достаточно критического отношения к нему, когда это бывает надо, и не путающегося опальной книжки Радищева, случайно попавшей ему в руки.

5

В главе «Москва» Пушкин с исключительной исторической проницательностью характеризует процесс постепенного превращения Москвы из центра и средоточия российского дворянства в центр и средоточие российской промышленности и российского купечества.

В «Статистической записке о Москве» В. Андросова говорится: «Москва перестает быть сборным местом провинциального дворянства, куда оно съезжалось некогда прожить зимы; а с этим вместе мало-помалу теряет и старинный свой характер».⁴⁹ Достаточно сравнить этот отрывок с соответствующими строками Пушкина в главе «Москва» («... некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое из всех провинций съезжалось в нее на зиму»; XI, 246), чтобы стало очевидным прекрасное знакомство Пушкина с литературой вопроса, а также возможный круг использованных им материалов.⁵⁰

Вместе с тем, воссоздавая образ Москвы прежней и Москвы новой, Пушкин широко привлекал и свои собственные впечатления, вынесенные из многократных посещений старой столицы в 1830—1835 годах. В письмах Пушкина к жене мы то и дело встречаем отдельные черты московской

⁴⁸ См.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, Изд. Академии наук СССР, М., 1953, стр. 102.

⁴⁹ В. Андросов. Статистическая записка о Москве. М., 1832, стр. 45—46.

⁵⁰ На близость некоторых рассуждений Андросова к отдельным местам пушкинского «Путешествия» обратила внимание В. С. Нечаева (см.: В. С. Нечаева. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 1829—1836. Изд. Академии наук СССР, М., 1954, стр. 15—16).

жизни, отдельные наблюдения, которые потом войдут составными частями в чудесную картину «присмирившей» Москвы.

«Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиком мало на ее скучных улицах», — пишет Пушкин в письме в августе 1833 года. Та же картина запустения наблюдается и в дворянских поместьях. «Назад тому 5 лет, — пишет Пушкин в другом письме, — Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями; но уланы переведены, а барышни развехались... в Малинниках вместо всех Анет, Евпраксий, Саш, Маш etc. живет управитель... Рейхман». «Красавец Безобразов, — пишет Пушкин в третьем письме о московских балах, — кружит здешние головки, причесанные à la Ninon домашними парикмахерами» (XV, 75, 72, 34).

Эти отдельные штрихи жизни, схваченные острым глазом художника, найдут свое место в общей картине «присмирившей» Москвы: «Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты... Подмосковные деревни также пусты и печальны... Во флигеле живет немец управитель и хлопочет о проволочном заводе... Московские балы... Увы! посмотрите на эти домашние прически» (XI, 246—247).

Кроме управителя Рейхмана, которого Пушкин застал живущим в Малинниках, вместо всех уланов и барышень в его поле зрения в эти годы попадали и другие «немцы управители» типа гончаровских отца и сына Штольцев, являвшихся характерным знаменем времени. Одному из них — механику и купцу второй гильдии А. Х. Кнерцера Пушкин даже помогал в приобретении для его предприятия участка земли в Туфулях под Москвой (см. XV, 5—6, №№ 723, 725, 726).⁵¹

Характерную деталь, свидетельствующую о пристальном внимании Пушкина к процессу промышленного развития России, дает один из черновых набросков главы «Москва», из которого видно, что пушкинский «немец управитель» первоначально хлопотал о «полотняном» заводе. «Полотняный» завод Пушкин заменил «проволочным», вероятно потому, что первое определение слишком напоминало Полотняный завод Гончаровых.

Несомненно под воздействием личных впечатлений Пушкина создавались и картины упадка подмосковных имений. Варварская вырубка заповедных рощ и парков дворянского Подмосковья началась еще в 30-х годах XIX века и привлекала внимание всех проезжавших по московскому шоссе. Обратил на это внимание и Н. И. Греч, совершивший уже отмеченную нами поездку в 1833 году по только что открытому московскому шоссе из Петербурга в Москву. «Подъезжая к Москве, — пишет Н. И. Греч, — увидел я влево от дороги громады древесных ветвей на большом пространстве, и между ими кучи дров. Это что? спросил я. — „Здесь, отвечали мне, стояла до нынешнего года заповедная роща, принадлежавшая к подмосковному селению Петровскому-Разумовскому. Помещик продал ее... и варвар вырубил ее на дрова!!!“». ⁵² Процесс упадка подмосковных дворянских усадеб, и в частности отмеченного Н. И. Гречем имения графа Л. К. Разумовского Петровское, ⁵³ специально освещен и в «Путево-

⁵¹ Сохранилась также расписка А. Х. Кнерцера от 28 января 1832 года на немецком языке о получении им «vom Herrn von Puschkin Tausend Rubel Assignation» («Литературное наследство», кн. 16—18, 1934, стр. 582).

⁵² «Северная пчела», 1833, № 124, 6 июня, стр. 495.

⁵³ Именне графа Разумовского Петровское отмечено и Пушкиным в вариантах черновой редакции главы «Москва»: «Подмосковные дачи некогда оживленные, балы, театры, фейворки... в рощах Свирлова, Марфина — Петровского, Останкина» (XI, 481—482).

дителе от Москвы до С.-Петербурга и обратно»: «...направо село Петровское, принадлежавшее графу А. К. Разумовскому, а ныне г-ну Шульцу. В Петровское, как и в Кусково..., недавно, лет за 15, съезжалась вся Москва на великолепное гулянье, памятное вельможескою роскошью и угощением, привлекательное сельским устройством, регулярным садом, цветниками, фейерверками, оранжереями, прудами и проч.... С большой дороги сквозь редяющие деревья вы увидите Петровское-Разумовское, вздохнете о прежнем его великолепии и пожалеете об истреблении заповедной рощи, вырубленной и вырубаемой на дрова».⁵⁴

Великолепная пушкинская характеристика упадка российского дворянства и разорения родовых помещичьих гнезд намечала тему огромной значимости для последующей русской литературы. Вот нарисованная Пушкиным картина оскудения дворянских помещичьих семей, намечающая пути к изображению звериного быта вконец опустившегося поместного дворянства в «Господах Головлевых» и других произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина: «...обеднение Москвы есть доказательство обеднения русского дворянства, происшедшее от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою..., правнук богача делается бедняком потому только, что дед его имел четверо сыновей, а отец его столько же. Он уже не может жить в этом огромном доме (в Москве, — Б. Г.), который не в состоянии он освещать даже и отапливать. Он продает его в казну или отдает за бесценок старым заимодавцам и едет в свою деревушку — заложенную и перезаложенную, где живет в скуке и в нужде, мало заботясь о судьбе детей, которых на досуге рождает ему жена и которые будут совершенно нищими» (XI, 241).⁵⁵

Вот другая пушкинская картина, намечающая пути к изображению уходящей пышной дворянской культуры и скудеющих дворянских гнезд в творчестве Тургенева, Бунина и А. Н. Толстого: «Ныне в присмирившей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травой, и садом, запущенным и одичалым... Подмосковные деревни также пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в рощах Свирилова и Останкина; плоские и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травой, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями. Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале, оставленной после последнего представления французской комедии. Барский дом дряхлеет» (XI, 246).

Но, охарактеризовав с таким совершенством упадок дворянской Москвы и дворянского Подмосковья, Пушкин с таким же блеском характеризует и другую сторону московской жизни своего времени: «...Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою» (XI, 247). Когда Пушкин писал эти строки, были еще свежи в памяти впечатления от московской промышленной и мануфактурной выставки 1831 года.⁵⁶ «Москва, — писал П. А. Вяземский в статье того же года «Взгляд на московскую выставку», — более

⁵⁴ И. Дмитриев. Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно, стр. 16—17.

⁵⁵ Ср. те же размышления в писавшейся почти одновременно (в 1832—1833 годах) поэме, печатающейся под названием «Езерский» — строфы VIII и IX (V, 100—101; черновые — 407—410, 414—416).

⁵⁶ «Теперь в Москве, — писал В. Г. Белинский в письме к родителям в мае 1831 года, — открыта выставка произведений русских фабрик и мануфактур. Зрелище великолепное и сладостно для всякого русского!» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, 1956, стр. 54).

нежели когда-нибудь столица мануфактурная». ⁵⁷ «Промышленность, — продолжает он, — как и все науки и искусства, не может оставаться неподвижною: она должна подвигаться или отступать, возвышаться или падать. . . Разноцветность, блеск, обилие шелковых изделий придают радужную яркость зале, содержащей в себе богатства фабрик князя Юсупова, Кондрашева, Майкова-Доброхотова, Щеглова, Рогожиных. . . Зала, обставленная фарфорами с императорского С.-Петербургского завода, с заводов Попова, братьев Гарднеров, хрусталами с императорских стеклянных заводов, с заводов Мальцевых, Орлова, цветными стеклами Амелунга, переносит воображение в область волшебства, застроенную чертогами зеркальными и хрустальными». ⁵⁸

Показательна в этом отношении и другая статья П. А. Вяземского 1834 года — «Тариф 1822 года, или: поощрение развития промышленности в отношении к благосостоянию государств и особенно России». Эта статья — настоящий гимн промышленному развитию России.

«Промышленность, — пишет Вяземский, — водружает свое благовещающее знамя: под сению его разгорается светильник полезных сведений, образуется общежитие, возникает просвещение, развиваются умственные силы человека и указывается им цель, достойная их испытаний и стремлений. В сем отношении действует она и на самую нравственность общества, признавшего власть ее. . .

«Промышленность есть наука преимущественно общественная и человеколюбивая. В ней частная польза есть неотдельное звено пользы общей, рычаг, которым можно действовать на благосостояние народное». ⁵⁹

Более того, в этой же статье утверждается не только право, но и обязанность России быть страной не только земледельческой, но и промышленной:

«Вопрос: такой-то державе не лучше ли быть исключительно земледельскою, другой мануфактурною, третьей торговою? — давно разрешен на деле. . . Во всяком случае сей вопрос уже никак нейдет к России. В ней есть время и место для всего, определительные, готовые системы ей, благодарение богу, не по росту. Как ни растягивай их, они ее не обхватят. Все с какого-нибудь края, но выдается она из положенной мерки. Земледельческая в одной полосе своей, мануфактурная в другой, торговая по рубежам своим, сухопутным и водяным, опоясывающим полмира, она стоит лицом на все четыре стороны, сеет и жнет, кует и тчет в обе руки и, сидя у моря, ждет ветра, куда послать свои запасы». ⁶⁰

Эта точка зрения резко расходилась с мнением наиболее реакционных кругов правящей верхушки, заключавшимся в том, что Россия была, есть и останется навсегда державой военной и земледельческой. Взгляды этих кругов наиболее откровенно были высказаны «Северной пчелой» в статье Булгарина «Несколько мыслей о деле общем».

«Первая выставка отечественных изделий разбудила нас. . . — писал Булгарин. — Все мы, публика и журналы, заговорили мануфактурным языком! Если извлечь результат из всего того, что было говорено и писано о сем предмете со времени первой ⁶¹ до последней выставки, то должно заключить, что всё богатство России основано на мануфактурной промышленности и что она должна быть краеугольным камнем нашего нравствен-

⁵⁷ П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. II, СПб., 1879, стр. 175.

⁵⁸ Там же, стр. 177—178.

⁵⁹ Там же, стр. 189, 190.

⁶⁰ Там же, стр. 192—193.

⁶¹ 1829 года.

ного существования. Я не того мнения».⁶² И далее: «Может ли быть Россия мануфактурною державою? — Никогда! Россия, по географическому своему положению, есть держава военная и земледельческая. Мануфактурною державою может быть только то государство, которое избыточествует народонаселением, которое не обширно в объеме и многими пунктами прикасается к морю, открытому во все времена года».⁶³

В последней фразе подразумевалась Англия. Утверждение за Англией преимущественно промышленного значения — в противовес России, стране исключительно земледельческой, усиленно насаждалось в печати тех лет. «Не надобно забывать, что Англия не Россия, — писал И. Сабуров, — механизм сил Англии, богатства ее и благосостояния поддерживаются не хлебопашеством, а фабричною промышленностью. Не надобно забывать, что там фабричное народонаселение одною третью превышает хлебопашцев».⁶⁴

В этой полемике о путях развития России Пушкин занимал самую прогрессивную в то время позицию. Он приветствовал московскую промышленность, которая «оживилась и развилась с необыкновенною силою» (XI, 247). Как естественное следствие этого процесса он отмечал оживление всех сторон русской жизни, в том числе просвещения, литературы и науки, особенно свободно развивавшихся именно в Москве, и утверждал, что по сравнению с официальным и чиновным Петербургом «ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы» (XI, 247—248).

Противопоставление Москвы Петербургу у Пушкина объективно имело глубочайший смысл, так как тот процесс обновления всех сторон русской жизни, какой Пушкин наблюдал именно в Москве 30-х годов, являлся закономерным следствием важных исторических особенностей последекабрьского периода.

Этот процесс особенно сильно давал себя знать именно в Москве, которая после окончания Отечественной войны всё более и более становилась подлинным центром хозяйственной, общественной и культурной жизни России, ее народной столицей в отличие от официальной военной столицы — Петербурга. «Народ догадался, — писал Герцен, — по боли, которую чувствовал, при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвою. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя».⁶⁵

Процесс экономического и культурного развития Москвы стал особенно бурным в последекабрьский период. Основной удар реакции после 14 декабря был нанесен по Петербургу, и общественно-культурная жизнь в военной столице была надолго парализована.

«Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабря, — писал Герцен. — Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.

«Всё пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана».⁶⁶

⁶² «Северная пчела», 1833, № 267, 23 ноября, стр. 1068.

⁶³ Там же, № 268, 24 ноября, стр. 1070.

⁶⁴ «Московский наблюдатель», 1835, ч. II, стр. 440.

⁶⁵ А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. VIII, стр. 106.

⁶⁶ Там же, стр. 107.

Именно в Москве происходил интенсивный рост кадров разночинной демократической интеллигенции. В 1824 году переехали из Курска в Москву братья Н. А. и К. А. Полевые. В 1828 году из Серпухова — купцы Солодовниковы. В 1835 году приписался к московскому купечеству житомирский купец Г. Рубинштейн — отец двух композиторов. В том же году в Москву из Зарайска переехали купцы Бахрушины и т. д.⁶⁷ В этот последекабрьский период особенно заметно разворачивается литературно-общественная, журнальная и критическая деятельность блестящего отряда московских литераторов-разночинцев в лице братьев Н. А. и К. А. Полевых, М. П. Погодина, Н. И. Надеждина, В. Г. Белинского и многих других. Именно об этом процессе качественного и количественного роста московской разночинной журналистики писал Пушкин в своем «Путешествии», сравнивая в главе «Москва» журнализм московский и петербургский.

«Литераторы петербургские, — писал он, — по большей части, не литераторы, но предприимчивые и смысленные литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургской».

«Московская критика с честью отличается от петербургской» (XI, 247—248).⁶⁸

Поэтому далеко не случайным является и тот факт, что в борьбе с петербургскими реакционными грече-булгаринскими журналами «Сын отечества» и «Северная пчела» Пушкин в 1831 году нашел возможным опереться именно на московский журнал разночинца Надеждина «Телескоп», где и появились его статьи «Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем». Не случайно то обстоятельство, что именно московская журналистика выдвинула разночинца Белинского, которому Пушкин в последний свой приезд в Москву в 1836 году послал «тихонько от Наблюдателей» экземпляр своего «Современника».

Теряя надежду на правительство и на тех представителей передового дворянства, которые уцелели после катастрофы 1825 года, в отношении скорого освобождения крестьян и возможности других общественных преобразований Пушкин пылливо и напряженно всматривался в этот новый общественный слой, всё более и более крепнувший в связи с складывавшимися в стране новыми экономическими и общественными отношениями, пытаясь угадать в нем силу, какая окажется способной возглавить движение общества по пути прогресса.

⁶⁷ См.: История Москвы, т. III. Изд. Академии наук СССР, М., 1954, стр. 293.

⁶⁸ В 1836 году, уже после того как Пушкин оставил работу над своим «Путешествием», Гоголь писал в статье «Петербургские записки 1836 года», первая часть которой в рукописи озаглавлена «Петербург и Москва»: «Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч. и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности... В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются» (Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, 1952, стр. 178). Вопрос о том, имеет ли в виду запись Пушкина, заканчивающая главу «Москва» («Кстати: я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости. Москва и Петербург»), именно эту статью Гоголя, в настоящее время может считаться окончательно решенным в отрицательном смысле (см.: В. Гиппиус. Литературное общение Гоголя с Пушкиным. 2. Два мнимых отзыва Пушкина о Гоголе. «Ученые записки Пермского государственного университета. Отдел общественных наук», вып. II, 1931, стр. 81—89; см. также: Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 769).

Отмечая пока еще относительную немногочисленность «писателей, не принадлежащих к дворянскому сословию», Пушкин вместе с тем констатировал, что, «несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими», и утверждал, что «это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия» (XI, 229).

Пушкин еще в 1830 году приветствовал эту «дружину ученых и писателей, какого б <рода?> они ни были», которая «всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности» (XI, 163). Этой «аристократии» независимой мысли и смелой деятельности во имя общественного развития он в своем «Путешествии» отдавал безусловное предпочтение перед «аристократией породы и богатства». «Никакое богатство, — утверждал он, — не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда» (XI, 264). Ту же точку зрения на исключительную важность культурного и экономического обновления России Пушкин будет проводить и в своем журнале «Современник».

6

Острейшему в то время вопросу о судьбах русского крепостного крестьянства посвящены основные главы пушкинского «Путешествия»: «Браки», «Русская изба», «Слепой», «Рекрутство» и «Медное (Работно)».

Примечательно сходство суждений о русском крестьянине Пушкина (1833—1835) и Герцена (1849).

«Он многое перенес, — писал Герцен о русском крестьянине, — многое выстрадал, он сильно страдает и теперь, но он остался самим собой... вот почему, несмотря на свое положение, русский крестьянин обладает такой силой, такой ловкостью, таким умом и красотой, что возбудил в этом отношении изумление Кюстина и Гакстаузена.

«Все путешественники отдают должное русским крестьянам».⁶⁹

«Взгляните на русского крестьянина, — пишет Пушкин в главе «Русская изба», — есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия» (XI, 258).

О смысленности русского крестьянина Пушкин заговорил еще в первой главе «Путешествия» — «Шоссе», в связи с наблюдениями над состоянием дорог в России. «Возьмите первого мужика, хотя крошечку смысленного, — говорит Пушкин, — и заставьте его провести новую дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророев два параллельные рва для стечения дождевой воды. Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, подделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи.⁷⁰ Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге⁷¹... Таких воевод на Руси весьма довольно» (XI, 243—244). Смысл

⁶⁹ А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. VI, 1955, стр. 172—173, 209—210.

⁷⁰ Ср. такой же рассказ и то же выражение «ящик для грязи» (*une boîte à boue*) в письме Пушкина к Н. Н. Гончаровой от 30 сентября 1830 года (XIV, 114, 416).

⁷¹ Ср.: «Еще в 15-м году император <Александр I> принялся с страстью за устройство дорог... но дороги эти так были устроены, что в последнее десятилетие его царствования ни по одной из них в скверную погоду не было проезда. В 18-м году...

всего этого таков, что мужик умнее губернаторов⁷² и всех прочих «мудрых воевод». Тема, непосредственно подготавливающая щедринские иносказания об умном мужике и глупых генералах.

О путешественниках-иностранцах, которые «езды из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски», и не испытывают при этом какого-либо затруднения, Пушкин мог слышать от Александра Гумбольдта, путешествовавшего по России в конце 20-х годов и очень интересовавшегося русским языком. В «Литературной газете» за 1830 год в публикации о Гумбольдте в связи с его интересом к русскому языку говорилось: «Язык, сие живое знамение бытия народа..., должен был обратить на себя внимание ученого путешественника..., в краткое пребывание свое у нас он учился ему».⁷³ Весьма вероятны личные встречи Пушкина с А. Гумбольдтом в 1829 году.⁷⁴ Возможно, что аналогичные сведения Пушкин мог услышать в 1831 году и от английского капитана Кольвиля Фрэнкленда.⁷⁵

Так высоко расценив личные духовные и физические качества русского крестьянина, Пушкин, разумеется, решительно расходился с официальной точкой зрения на существующее положение крестьянства в России.

Картина повседневной жизни русского крепостного крестьянина под пером официальных литераторов рисовалась всегда в самых радужных тонах, например: «Посмотрите: здесь святки и масленица; гулянье и маскарад; золотые кички, разноцветные сарафаны и вывороченные наизнанку шубы и тулупы... Жизнь русского поселянина от рождения до кончины — богатый источник для искусного пера: сколько живописных, образцовых картин для наблюдательного ума и сердца! Изображение одних забав, трудов и забот, свойственных разным возрастам поселянина, — достаточно для эпопеи! одна печь дымной избы, по уверению П. П. Свинына, может составить поэму!.. всё показывает вид довольства и благосостояния».⁷⁶

Так рисовалась жизнь русского крепостного крестьянства с официальной точки зрения. Совершенно иной — тяжелой, скудной и голодной — она была на самом деле. О крестьянской избе и печи в ней, которая, по словам П. П. Свинына, одна «может составить поэму», Радищев писал: «Четыре стены, до половины покрытые, так как и весь потолок, сажено; пол в щелях, на вершок по крайней мере поросшей грязью; печь без трубы... и дым, всякое утро зимою и летом наполняющей избу... Корыто кормить свиней, или телят, будет есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется».⁷⁷ Приведа полностью

он назначил князя Хованского витебским генерал-губернатором и приказал ему отправиться в Ярославль поучиться у тамошнего губернатора Безобразова, как устраивать большие дороги. Император остался очень доволен дорогой в Ярославской губернии, проехавши по ней в самую сухую погоду; но Хованскому пришлось ехать по этой дороге в проливные дожди, вязнуть во многих местах; он едва дотащился до Ярославля и обратно» (И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма. Изд. Академии наук СССР, М., 1951, стр. 22).

⁷² Что под словом «воевод» Пушкин имел в виду губернаторов, видно из вариантов, например: «Лет 40 тому назад один из воевод обезобразил всю свою губернию» (XI, 484).

⁷³ «Литературная газета», 1830, № 22, 16 апреля, стр. 173.

⁷⁴ См.: Л. А. Черейский. Пушкин и Александр Гумбольдт. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I, стр. 249—256.

⁷⁵ См.: Б. Казанский. Разговор с англичанином. «Временник Пушкинской комиссии», т. 2, стр. 302—314.

⁷⁶ И. Дмитриев. Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно, стр. 47—48.

⁷⁷ А. Н. Радищев, Полное собрание сочинений, т. I. Изд. Академии наук СССР, 1938, стр. 377. В дальнейшем цитируется по этому изданию.

эту выписку из Радищева, Пушкин как бы вскользь заметил, что «наружный вид русской избы мало переменялся со времен Мейерберга... Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году... ничто, кажется, не изменилось» (XI, 256). О некоторых незначительных улучшениях внутри изб Пушкин говорит с такими оговорками, которые, по существу, полностью снимают какое бы то ни было значение этих улучшений для характеристики жизни русского крестьянства в целом: «Внутри жилищ, думаю, произошли улучшения, по крайней мере на больших дорогах» (XI, 256, 489).

Замечательны это осторожное «думая» и знаменательная оговорка, что не везде, но «по крайней мере на больших дорогах», т. е. только в наиболее благоприятных условиях, способствующих некоторым мелким заработкам за оказываемые проезжающим те или иные незначительные дорожные услуги — постой, мелкий кузнечный ремонт экипажей, ковка лошадей, торговля немудреным продовольствием и пр.

Слово *comfort*, каким Пушкин определяет эти улучшения в крестьянском быту («труба в каждой избе; стекла заменили натянутый пузырь; вообще более чистоты, удобства, того, что англичане называют *comfort*»; XI, 256), звучит явно нарочито. Оно лишь резко подчеркивает разительное несоответствие между этим словом, рожденным для характеристики условий жизни обеспеченной английской буржуазной среды, и убогостью быта русского крепостного крестьянина. Впечатление этой нарочитости усугубляется тут же приведенными радищевскими строками о «кадке с квасом, на укус похожим», и о «бане, в коей, коли не парятся, то спит скотина», как наиболее характерных вершинах «довольства» крестьянской жизни. И наконец, последняя фраза Пушкина этого абзаца полностью снимает все возможные сомнения в умышленной нарочитости пушкинских оценок.

Пушкин пишет: «Замечательно⁷⁸ и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою: и начала сажать хлебы в печь» (XI, 256—257).

Но какие хлебы? Приведем эти слова о хлебах, которые хозяйка сажает в печь, в радищевском же контексте: «Не слезы ли ты крестьян своих пьешь, когда они едят такой же хлеб, как и мы? — Говоря сие, показывала она мне состав своего хлеба. Он состоял из трех четвертей мякины и одной части несаяной муки... У многих соседей наших, и того хуже... Ребята мрут, мрут и взрослые. Но как быть, потужишь, потужишь, а делай то, что господин велит. — И начала сажать хлебы в печь» (стр. 377).

Здесь мы подходим к одному чрезвычайно сложному и важному моменту работы Пушкина над «Путешествием». Дело в том, что непосредственно после только что приведенных слов «и начала сажать хлебы в печь» у Пушкина и в черновом и в беловом вариантах следуют размышления о положении русского крепостного крестьянина сравнительно с положением французского земледельца и особенно английского рабочего. Разница между черновой и белой редакциями настолько существенна, что именно это место может служить наиболее ярким примером особого характера работы Пушкина над «Путешествием из Москвы в Петербург». В черновой редакции Пушкин воспроизводит разговор своего вымышленного путешественника с вымышленным же соседом его по карете — англичанином. Явные совпадения некоторых из суждений этого пушкинского англичанина с записями впечатлений от трех бесед с Пушкиным в мае 1831 года в Москве английского капитана Кольвиля Фрэнкланда свидетель-

⁷⁸ В черновой редакции: Забавно.

ствуют, как это впервые установил опубликовавший в 1936 году выдержки из книги Фрэнкланда Б. В. Казанский,⁷⁹ что, набрасывая разговор своего путешественника с вымышленным соседом-англичанином, Пушкин воспроизводил некоторые фрэнкландовские оценки русской действительности, вкладывая их в уста своего англичанина. Книга Фрэнкланда о посещении им в 1830—1831 годах Швеции и России вышла в свет в Лондоне в 1832 году и, по-видимому, вскоре же поступила в библиотеку Пушкина.

Важно отметить, что Фрэнклэнд отнюдь не может быть назван сторонником передовых, прогрессивных воззрений на крестьянство, наоборот, его суждения о судьбе русского крестьянина полностью соответствуют общепринятым взглядам русских реакционных кругов.

Консервативный характер этих суждений и оценок и воспроизведен Пушкиным в ответах дорожного английского соседа на взволнованные вопросы русского собеседника о положении крестьян в России. Например: «Вообще повинности в России не очень тягостны для народа... Оброк не разорителен... Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он хочет... [И это называете вы рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать]» (XI, 231—232).

Именно поэтому при переходе от черногого текста к беловому варианту в связи с переработкой данного места из диалогической в монологическую форму оказались естественно уничтоженными краткие вопросы русского собеседника и остались лишь сведенными воедино распространенные ответы на них. Между тем подлинное отношение Пушкина к положению и судьбе русского крестьянина заключено было именно в этих вопросах, задававшихся русским собеседником англичанину в черновой редакции и отсутствующих в беловом тексте. Характер этих вопросов не оставляет в том никакого сомнения: «что может быть несчастнее русского крестьянина?»; «Как? Свободный англичанин, по вашему мнению, несчастнее русского раба?»; «неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?» и т. д. (XI, 231, 232). Особенно остро поставлен и четко сформулирован вопрос: «что может быть несчастнее русского крестьянина?.. несчастнее русского раба?».

Содержание и характер этих вопросов почти в точности соответствуют вопросу Радищева в главе «Хотиллов»: «Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России? Ненасытец кровей один скажет, что он блажен» (стр. 315). Это место в пушкинском экземпляре радищевского «Путешествия» отмечено красным карандашом двумя чертами и тремя крестами по обе стороны текста.

Примечательно, что глава пушкинского «Путешествия» «Медное» — единственная глава, сохраняющая радищевское наименование, — сопровождается у Пушкина отсутствующим у Радищева подзаголовком, заключенным в скобки и раскрывающим подлинное содержание главы: «Рабство». Это и есть подлинная пушкинская формула, соответствующая состоянию крестьян в России того времени. Сказанное подтверждается и пушкинской концовкой, завершающей эту главу. Выписав из радищевского «Путешествия» известное описание продажи крепостных с аукционного торга, Пушкин заканчивает эту выписку словами:

«Следует картина, ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле» (XI, 263).

⁷⁹ Б. К а з а н с к и й. — «Временник Пушкинской комиссии», т. 2, стр. 302—314.

Для того чтобы установить, с какими «искренними мечтаниями» Радищева Пушкин «соглашался поневоле», необходимо сделать довольно длинную выписку, содержащую заключительные строки радищевской главы «Медное», чтобы интересующее нас место привести в соответствующем контексте. После описания результатов аукционного торга, когда «четверо несчастных узнали свою участь — слезы, рыдание, стон пронзили уши всего собрания», повествователь рассказывает: «Сердце мое столь было стеснено, что, выскочив из среды собрания и отдав несчастным последнюю гривну из кошелька, побежал вон. На лестнице встретился мне один чужестранец, мой друг. — Что тебе сделалось? ты плачешь! Возвратись, сказал я ему; не будь свидетелем срамного позорища. Ты проклял некогда обычай, варварской в продаже черных невольников в отдаленных селениях твоего отечества; возвратись, повторил я, не будь свидетелем нашего затмения, и да не возвестиши стыда нашего твоим согражданам, беседуя с ними о наших нравах. — Не могу сему я верить, сказал мне мой друг; невозможно, что бы там, где мыслить и верить дозволяется всякому, кто как хочет, столь постыдное существовало обыкновение. — Не дивись, сказал я ему, установление свободы в исповедании обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо. Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения» (стр. 351—352. Курсив мой, — Б. Г.).

Смысл выделенных слов не может быть истолкован двояко. Закрепощенному крестьянству никоим образом нельзя ожидать освобождения от своих владельцев — помещиков-отчинников; ему необходимо рассчитывать только на свои собственные силы, приумноженные «тяжестью порабощения», причем невозможность освобождения крестьян самими помещиками Радищев обосновывает правом собственности последних над крестьянами, т. е. прямым ущемлением их имущественных интересов.

Продумывая вопрос о соотношении взглядов Радищева на коренное противоречие интересов помещиков и крестьянства со взглядами Пушкина 1833—1835 годов, не следует забывать, что к работе над «Путешествием из Москвы в Петербург» Пушкин приступил почти тотчас же после завершения «Истории Пугачева».⁸⁰ Следует учитывать и то, что в самый разгар работы над «Путешествием» Пушкин в декабре 1834 года пишет Николаю I свои «Замечания о бунте», в которых четко и недвусмысленно говорит о непримиримом противоречии интересов дворянства и крестьянства. «Весь черный народ, — пишет он, — был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны» (IX, 1, 375).

Пушкин был современником и свидетелем продажи крепостных крестьян с аукционного торга не только в годы своей юности, когда эти факты были бытовым явлением. Например, П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу 7 января 1824 года из Москвы: «Кстати о девстве: рязанский Ржевский привез сюда на продажу дюжины две (девственниц; у Вяземского несколько иное слово, — Б. Г.) и к тому же танцовщиц. Они пляшут здесь

⁸⁰ 2 ноября 1833 года — дата завершения работы над «Историей Пугачева». 2 декабря того же года — дата, стоящая в конце главки «Шоссе» «Путешествия из Москвы в Петербург».

на показ на итальянском театре: Россини и Россияда вместе! Хорошо, если купила бы их императорская дирекция».⁸¹

Отвратительные гримасы крепостничества глядели на Пушкина и из письма его бывшей крепостной возлюбленной Ольги Калашниковой, в замужестве Ключаревой, писавшей Пушкину в январе 1833 года из Болдина: «Теперича срок наступил в продаже, с аукционного торгу, крестьян моего мужа, за которых должно мне взнести 2000 тысячи (sic!) рублей, за 15-ть душ мужеска пола. . . Одна только и есть надежда на Вас, милостивый государь, Александр Сергеевич. . . Могу Вас смело уверить, тем, что есть свято, когда я их выкуплю на свое имя, потому что мой муж отдал их мне в полное распоряжение, и когда Вам случится надобность в деньгах, то я тогда их заложу в Опекунский совет и, получа деньги, могу Вам с благодарностию доставить» (Пушкин, XV, 41).

Противопоставление русского крепостного крестьянина английскому свободному рабочему было чрезвычайно распространено в журналистике того времени, преимущественно в целях ограждения от нападков и критики русской правительственной системы, при этом всячески восхвалялось якобы безбедное существование русских крестьян и, наоборот, в самых черных красках изображалось действительно тяжелое положение английских рабочих.⁸²

Вот как выглядела русская крестьянская жизнь в официозном ее освещении: «У всех лица веселые, ни одного угрюмого, ни одного нищего — ничего прячущегося: нет никаких признаков несчастья, удручения и зломыслия. . . Русские живут в спокойствии, в избытке, а от избытка глаголят уста их радость и веселие».⁸³

А вот картина жизни английских ткачей, как она представлена в 1833 году в лучшем журнале того времени — «Московском телеграфе»:

«Я тридцать лет прожил около Гейд-Парка, и во всё это время нога моя не бывала вблизи Спитафильда, части города, обитаемой ремесленниками и людьми бедными. Наконец, мне припала охота совершить путешествие в эти австралийские, неведомые земли. . . Прежде всего меня поразили уменьшенные размеры этих людей: они были мелки, тщедушны, изнурены, болезненны, безобразны. . . Непомерная работа и бедность гибнут в Спитафильде под рановременную старость молодого, двадцатилетнего человека, который кажется сорокалетним. Там вы не увидите старика не изувеченного, не искривленного, у которого к дряхлости лет не присоединилось бы какое-нибудь отвратительное уродство: это горбуны с выдающимися плечами, это чудовища с дугообразными ногами и длинными руками, это люди, у которых голова, долго приклонявшаяся к груди, сохраняет облическое положение. Таковы следствия рабочей жизни! Несчастные сгорбились над ткацким станком своим, истинным орудием мучения, которое едва дает им хлеб и уничтожает их с первого возраста».⁸⁴

⁸¹ Остафьевский архив, т. III, СПб., 1899, стр. 1—2.

⁸² Этот вопрос освещен в работе Н. К. Козмина «Английский пролетариат в изображении Пушкина и его современников» («Временник Пушкинской комиссии», т. 4—5, стр. 257—299).

⁸³ И. Дмитриев. Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно, стр. 48, 49.

⁸⁴ Физиогномия различных частей города Лондона. «Московский телеграф», 1833, ч. 53, № XVII, сентябрь, стр. 33—34. В конце очерка сделана помета: «Из английского журнала». Эта статья была также напечатана в феврале 1834 года в «Северной пчеле», №№ 40, 41, 42, с пометой: «New Monthly Magazine»; см. также: «Московский наблюдатель», 1835, ч. III, стр. 307—339 («О домах убежища и благотворительных заведениях и влиянии их на низшие классы народа»).

Нечто похожее появлялось в те годы и в русской жизни. В своем дневнике за 1818 год Н. И. Тургенев подробно описывает свое посещение родового имения Тургенево Симбирской губернии, куда он приехал 21 июля 1818 года. 24 июля Н. И. Тургенев записывает в своем дневнике: «Девки, работающие на фабрике,⁸⁵ были сегодня посланы на сенокос: они рады были перемене их работы. Все жалуются, т. е. не хвалят фабрику; и подлинно нельзя не жаловаться. Многие из девок не выдаются замуж, потому что фабрика требует их работы... Работа фабричная изнуряет людей еще в самом младенчестве. Мальчиков и девочек бьют, когда учат. Некоторые из них, и все принадлежащие к ткачам, носят на лицах своих докзательство трудной, сидячей работы. Бледность есть расписка в доходе... Фабрика лежит у меня на сердце, и я заплачу большой долг моей совести в тот день, когда фабрика уничтожится».⁸⁶

Положение английских рабочих действительно казалось Пушкину почти безнадежным. Но из этого отнюдь не следовало его представление об идиллии русского крепостничества. В этом отношении следует иметь в виду, что в «Путешествии из Москвы в Петербург» собственно пушкинская оценка положения русского крестьянина почти всегда, как правило, замаскирована, она как бы просвечивает сквозь явно реакционные суждения о крестьянстве его вымышленного путешественника.

Достаточно сравнить хотя бы прекрасно известные Пушкину действительные обстоятельства жизни болдинских крестьян с высказываниями его воображаемого путешественника, чтобы стало очевидным, где Пушкин высказывает собственные мысли и где он вкладывает в уста своего путешественника суждения, соответствующие официальной точке зрения.

О повинностях, барщине и оброке воображаемый пушкинский путешественник говорит так: «Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен» (XI, 257).

Повседневная же действительность болдинского имения, где Пушкин подолгу жил и в 1830, и в 1833, и в 1834 годах и которую он прекрасно знал, представляла разительно противоположную картину. Во время пребывания Пушкина в Болдине в сентябре 1834 года крестьяне подали ему челобитную, в которой просили перевести их с ежедневной на трехдневную барщину. Крестьяне писали: «... у нас барщина находится ежедневная, потому что у нас крестьяне многие не имеют лошадей, а у которых крестьян свои лошади имеют на барщине, тем очень тягостно. — Батюшка Александр Сергеевич, припадаем к стопам ног ваших и просим вас сердечно в том, чтобы вы нас определили на тридневную барщину, потому чтобы мы стали иметь дни для засева во время своей земли и для заработка казенного платежа, а мы теперь имеем на себе подушную недоимку от того, что заработать некогда» (Пушкин, XV, 191).

Очевидно, что, приводя слова своего путешественника о барщине, «определенной законом», Пушкин вкладывал в его уста суждение, не соответствовавшее действительному положению вещей. Так же обстоит дело и с вопросом об оброке.

«Оброк не разорителен», — заявляет пушкинский путешественник. Официальными данными о размерах оброка пользовался уже упомянутый выше английский капитан Фрэнкленд, писавший в своей книге: «Оброк ни в каком случае не превышает двадцати пяти рублей в год, а в большинстве случаев бесконечно ниже этой суммы».⁸⁷

⁸⁵ В имении Тургеневых была ткацкая фабрика.

⁸⁶ Архив братьев Тургеневых, вып. 5, стр. 140.

⁸⁷ «Временник Пушкинской комиссии», т. 2, стр. 310.

Как же обстояло дело с размером оброка и выполнением его в болдинском имении Пушкиных? ⁸⁸ В 1833 году в Болдине 140 тягол было на барщине и 103 — на оброке. В Кистеневе в связи с малоземельем все были на оброке (116 тягол). ⁸⁹ В декабре 1833 года управляющий Болдина И. М. Пеньковский доносил С. А. Пушкину: «Оброчные крестьяне, которые ходят на заработки в Уральск, являются без денег или очень мало приносят, от многих я получил вместо 60 руб. 10 р. и 20 р. — за весь год, на первый случай строго поступил с этими для примеру другим. Очень многие крестьяне не имеют ни зерна хлеба». ⁹⁰

Учитывая малую прибыльность оброчной системы, И. М. Пеньковский обращается к Пушкину, уже принявшему на себя управление всем имением, с планом перевода всех болдинских крестьян с оброка на барщину. В письме от 9 апреля 1835 года он пишет: «Позвольте Александр Сергеевич Вам предложить на счет барщины, по моему мнению гораздо полезней было бы для Вас, если бы в селе Болдине совсем уничтожить оброчные тяглы, а всех определить на барщину» (Пушкин, XVI, 17).

Разительные противоречия между утверждениями пушкинского путешественника о том, что «судьба крестьянина улучшается со дня на день», и реальной действительностью в том же болдинском имении выявляются всё глубже и обнаженнее по мере ознакомления с документальным материалом.

«В России, — заявляет пушкинский путешественник, — нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу» (XI, 258). Это утверждение решительно противоречило фактам болдинской жизни, прекрасно известным Пушкину именно в период его работы над «Путешествием из Москвы в Петербург». В сентябре 1834 года кистеневские крестьяне лично подали ему челобитную, в которой говорилось о бездомности и нищете крестьянской жизни: «Еще просим вашего высокоблагородия, — писали крестьяне, — старосту и земского от должности отменить, потому они нас до того довели, в одну избу сходятся по две семьи жить и которые продали свои дома и ушли жить на сторону... многие пошли по миру» (Пушкин, XV, 194).

«Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности», — так утверждает пушкинский путешественник (XI, 258). По подворной же описи на 1 января 1834 года в Болдине из 152 семейств числились бескоровными 62 семейства, т. е. 40%. ⁹¹ По Кистеневу по той же описи из 80 семейств числились бескоровными 28 семейств, т. е. 30%. ⁹² Что же касается лошадей, то по Болдину числилось 25% безлошадных семейств (39 из 152), а по Кистеневу — 40% (32 из 80). ⁹³

Хлеба у многих крестьянских семейств не было совсем. По данным той же описи, на 1 января 1834 года совсем без хлеба числилось по Болдину около 30% семейств (41 из 152) и по Кистеневу — 20% (17 из 80). ⁹⁴ Зерна не было даже и на засев полей весной этого года, что создавало

⁸⁸ По восьмой ревизии к началу 1834 года по Болдину числилось 1116 человек крестьян (564 — мужского пола, 552 — женского) и по Кистеневу — 624 человека (297 — мужского пола, 327 — женского) (см.: Пушкин, XV, 148).

⁸⁹ См.: Летописи Государственного литературного музея, т. I, Пушкин, М., 1936, стр. 130, 132.

⁹⁰ Там же, стр. 117.

⁹¹ Там же, стр. 127—130.

⁹² Там же, стр. 130—132.

⁹³ Там же, стр. 127—132.

⁹⁴ Там же.

чрезвычайно мрачные перспективы на будущее. В январе 1834 года И. М. Пеньковский по этому поводу писал С. Л. Пушкину: «Я Вам истинно доношу, что в будущее лето надо опять ожидать неурожаю, по причине той, поля крестьян многих не засеяны, по большей части запроданы чужим крестьянам и своим... за самую малую цену».⁹⁵

В следующем письме Пеньковский уточняет сведения о продаже беднейшими крестьянами своей земли, на что они, конечно, не имели права. «Я в моем донесении... ошибся, что крестьяне чужим землю продают в вечное владение, — разъяснял он, — они только продают на один год и не делают никаких крепостей».⁹⁶ Так в болдинском имении Пушкиных давало себя знать начавшееся расслоение деревни, процесс обнищания части крестьян за счет скупки у них права на засев их земли зажиточными крестьянами, будущими кулаками — своими и чужими.

Данные подворных описей дают возможность выявить наличие таких крестьян-богатеев и в Болдине и в Кистеневе. В Болдине, например, крестьяне Игнатий Сягин, Михаила Васильев, Кузьма Сергеев, Михаила Иванов имели каждый по 5—6 лошадей, от 2 до 4 коров, по 10—15 овец и по 2—6 свиней. В Кистеневе крестьянин Гаврила Яковлев имел 8 лошадей, 2 коровы, 16 овец, 4 свиньи.⁹⁷ Нередки были случаи, что такие крестьяне-богатеи предоставляли довольно крупные денежные займы своим же помещикам. Так, в письме к С. Л. Пушкину И. М. Пеньковский писал в 1834 году: «... занято Михаилом Ивановым (т. е. Калашниковым, — Б. Г.) у Вашего крестьянина кистеневского Михайлы Гаврилова 700 руб. монетою в уплату процентов в Опекунский совет; он же крестьянин многократно у меня требует своей суммы».⁹⁸

В то же время всё более и более нараставшими темпами шел неоднократно отмечавшийся Пушкиным процесс катастрофического разорения самих дворянских поместий. В этих условиях утверждение пушкинского путешественника о том, что «благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков» (XI, 258), являлось не чем иным, как прямым и почти дословным повторением официозной точки зрения, усердно распространявшейся правительством, крайне обеспокоенным состоянием дворянских имений. Так, в статье «Об обязанностях российских дворян в отношении к их имениям» «Северная пчела» писала в 1834 году:

«При таковом гражданском учреждении России, когда миллионы людей вверены отеческому попечению дворянства, — когда взаимные их отношения так тесно соединены между собою, что от довольства или бедности крестьян зависит благосостояние или бедствие помещиков, позволено ли управление имений оставлять на произвол часто корыстолюбивых и неопытных наемников или невежественных управляющих из дворовых людей и крестьян!».⁹⁹ И далее: «... ясно видно, что выгоды российских дворян тесно соединены с выгодами их крестьян и что благосостояние сих последних есть богатство первых».¹⁰⁰

Между тем утверждение пушкинского путешественника о том, что «судьба крестьянина улучшается со дня на день» в связи с тем, что «благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков», да еще

⁹⁵ Там же, стр. 124.

⁹⁶ Там же, стр. 138.

⁹⁷ Там же, стр. 127—132.

⁹⁸ Там же, стр. 137.

⁹⁹ «Северная пчела», 1834, № 168, 27 июля, стр. 672.

¹⁰⁰ Там же, № 170, 30 июля, стр. 680. Ср.: «Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого» (XI, 258).

с оговоркой, что «это очевидно для всякого», в контексте пушкинского «Путешествия» было совсем не таким безобидным, как это может показаться с первого взгляда. Своей оговоркой Пушкин придал совершенно иную тональность всему утверждению, ибо говорить в те годы, что благосостояние помещиков вообще способно как-то улучшаться, значило утверждать факты, явно не соответствовавшие действительности. Процесс неоправдываемого упадка дворянских поместий, происходивший на глазах у всех, был той реальностью, которая свидетельствовала о неумолимом ходе истории, о чем с такой пронизательностью говорил Пушкин в черновом варианте «Путешествия», рассматривая разорение дворянства как тяжелое, но неотвратимое следствие процесса социально-экономического развития России.

7

В беловом списке «Путешествия» глава «Русская изба» завершается следующим утверждением по вопросу о сроках и возможностях освобождения крестьян: «Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (XI, 258).

Это место всегда давало повод к наибольшему количеству спорных суждений о характере мировоззрения Пушкина 30-х годов.

Конечно, самым простым ответом на этот вопрос было бы утверждение, что данные слова вложены Пушкиным в уста своего воображаемого путешественника, а автор, как неоднократно говорил о том сам Пушкин, не ответственен за мысли, речи и действия своих героев. Однако аналогичное приведенному утверждение имеется и в тексте «Капитанской дочки».¹⁰¹ И там и тут речь идет о путях, возможностях и сроках освобождения крестьян в России.

Уже для Радищева была очевидна малая производительность подневольного труда, являвшаяся основной экономической предпосылкой социальной необходимости раскрепощения крестьян. В своем «Проекте в будущем» («Хотилово») он писал:

«Человек, в начинаниях своих двигаемый корыстию, предпринимлет то, что ему служить может на пользу, ближайшую или дальнюю, и удаляется того, в чем он не обретае пользы, ближайшей или дальновидной. Следуя сему естественному побуждению, всё начинаемое для себя, всё, что делаем без принуждения, делаем с прилежанием, рачением, хорошо. Напротив того, всё то, на что несвободно подвизаемся, всё то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледельцев в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оныя им не принадлежит. И для того обрабатывают ее лениво; и не радуют о том, не запустеет ли среди делания...

«Но если принужденная работа дает меньше плода, то не достигающие своей цели земные произведения, толико же препятствуют размножению народа. Где есть нечего, там хотя бы и было кому есть, не будет; умрут от истощения. Тако нива рабства, не полный давая плод, мертвит граждан, им же определены были природою избытки ея» (стр. 318—319).

¹⁰¹ Ср.: «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (VIII, 1, 318—319).

Вслед за Радищевым и Пушкин разделял эти воззрения. В главе «Шлюзы» он писал:

«В Вышнем Волочке Радищев любитесь шлюзами..., он видит тут истинное земли изобилие, избытки земледельца и во всем его блеске мощного пробудителя человеческих деяний, *корыстолюбие*» (XI, 265, 266).

Установив неэффективность подневольного труда, Радищев в том же «Проекте в будущем» утверждает не только закономерность, но и неизбежность в дальнейшем следующих после Пугачевского восстания попыток крестьянства к освобождению, отчетливо сознавая, что чем мучительнее гнет, тем сильнее разгорается желание освобождения. Он пишет: «Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможно. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет» (стр. 320).

Однако Радищев отнюдь не закрывает глаза на то, что это стихийное крестьянское восстание, неся с собой освобождение рабов, будет страшно для остальной части общества своей разрушительной силой. Описывая характер возможного будущего крестьянского восстания, он говорит:

«И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже оболщенье, колико яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему во след и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз.

«Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горé постепенно, и опасность уже возвращается над главами нашими. Уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникший на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитесь» (стр. 320—321).

Нарисовав такую страшную для дворянства картину будущих общественных потрясений, которые явятся неизбежным и обязательным последствием исторически оправданной будущей борьбы крестьянства за свое раскрепощение, Радищев призывает помещиков, дабы избежать всех этих потрясений, добровольно освободить своих крестьян. Он пишет:

«Но если ужас гибели и опасность потрясения стяжаний подвигнуть может слабого из вас, неужели не будем мы толико мужественны в побеждении наших предрассуждений, в поправлении нашего корыстолюбия и не освободим братию нашу из оков рабства, и не восстановим природное всех рабство?.. Не медлите, возлюбленные мои» (стр. 321).

Радищев стремился к полному раскрепощению крестьянства, утверждая историческую неизбежность этого и полностью оправдывая все возможные последствия крестьянского восстания вплоть до насильственного умерщвления значительной части дворянства. «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, — писал он, — яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашу обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени» (стр. 368).

Страстный призыв Радищева весь устремлен в будущее («Не мечта сие, но взор пронизает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие»; стр. 368—369), до которого сам автор может быть и не доживет. «О! горестная участь многих миллионов! — восклицает он, — конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих» (стр. 379).

Теперь же — и не медля ни одного часа — необходимо положить хотя бы начало освобождению крестьян любыми средствами. При этом Радищев отнюдь не преуменьшал трудностей этого дела. Он знал, что на пути осуществления его идеи стоит страшная в своей слепой мощи сила — «чудшие обло, озорно, огромно, стозевно, и лайя!» (стр. 227).

Об этих самых первых шагах, которые уже теперь положили бы начало раскрепощению крестьянства, Радищев и размышлял, разбирая на станции «Хотилово» доставшиеся ему бумаги «искреннего его друга», содержащие знаменитый «Проект в будущем». «Везде я обретал расположения человеколюбивого сердца, везде видел гражданина будущих времен...», — писал он об этих бумагах. — Целая связка бумаг и начертаний законоположений, относилась к уничтожению рабства в России. Но друг мой, ведая, что высшая власть недостаточна в силах своих на претворение мнений мгновенно, начертал путь повременным законоположениям к постепенному освобождению земледельцев в России. Я здесь покажу шестие его мыслей. Первое положение относится к разделению сельского рабства и рабства домашнего. Сие последнее уничтожается прежде всего, и запрещается поселян и всех, по деревням в ревизии написанных, брать в дома. Буде помещик возьмет земледельца в дом свой для услуг или работы, то земледелец становится свободен. Дозволить крестьянам вступать в супружество, не требуя на то согласия своего господина... Второе положение относится к собственности и защите земледельцев. Удел в земле, ими обрабатываемой, должны они иметь собственностию... Восстановление земледельца во звании гражданина... Дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. Дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произвольное наказание без суда. — Исчезни варварское обыкновение, разрушь власть тигров! вещает наш законодатель... За сим следует совершенное уничтожение рабства» (стр. 322).

В глухую пору последекабрьской реакции, когда вся крепостная Россия была «забита и неподвижна»,¹⁰² Пушкин, признавая по-прежнему полное раскрепощение крестьянства назревшей исторической потребностью, не видел в русской действительности общественной силы, которая способна была бы возглавить борьбу за освобождение крестьян; тем более не возлагал он никаких надежд и на усилия в этом отношении передовых людей из дворян, переживших вместе с ним страшную катастрофу 1825 года.

В этих условиях наиболее реальным ему должен был казаться «путь повременных законоположений к постепенному освобождению земледельцев в России», начертанный рукой «гражданина будущих времен» и «искреннего друга» Радищева в «Проекте в будущем» радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву».

Следует учесть, что о неизбежности в будущем освобождения крестьян говорили почти открыто в дворянских кругах, не ставя, однако, этого вопроса в повестку сегодняшнего дня, и искренно не веря в возможность ско-

¹⁰² В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 294.

рого его разрешения, так как претворение его в жизнь непосредственно затрагивало имущественные интересы помещиков.

Основным, с точки зрения дворянства, препятствием к освобождению крестьян было наделение их хотя бы минимальным количеством земли, отрезаемой от помещичьей земельной собственности. Это условие казалось помещикам не только невыполнимым, но и вообще невозможным. Оно и повлекло за собой то, что безрезультатные разговоры об освобождении крестьян велись вплоть до того времени, когда сложившаяся в конце 50-х—начале 60-х годов революционная ситуация вырвала из рук крепостников эту реформу, обезображенную и урезанную до минимума крепостническим правительством.

Общеизвестна чрезвычайная осведомленность Пушкина во всех основных государственных, политических и общественных вопросах его времени. «Мы знаем, — писал П. В. Анненков о среде, в которой вращался Пушкин в 1833—1835 годах, — что в это время находился он в сношениях почти со всеми знаменитостями светского, дипломатического, военного и административного круга».¹⁰³

Пушкин знал, что вопрос о некоторых предварительных мероприятиях, связанных с возможным в будущем освобождением крестьян, уже привлекал к себе внимание высших правительственных сфер, но он отдавал себе полный отчет в трудности этого дела и не обольщался в сроках его осуществления.

Насколько этот вопрос широко дебатировался в высших правительственных кругах и до какой степени осторожно к нему подходили, свидетельствует, например, то, что А. Х. Бенкендорф в своем очередном политическом докладе Николаю I за 1834 год доносил:

«Благомыслящие люди... понимают всю трудность сего дела и с какою крайнею осмотрительностью надлежит в сем случае действовать, дабы не возбудить пагубного между крестьянами волнения, ибо крестьянин наш не имеет точного еще понятия о свободе и волю смешивает с своевольством. А потому, сколько, с одной стороны, признается необходимым, дабы правительство исподволь приближалось к цели освобождения крестьян от крепостного владения, столько, с другой, все уверены, что всякая неосторожность, слишком поспешная в сем деле мера, должна иметь вредные последствия для общественного спокойствия. Многие, размышляющие о сем предмете, полагают самым лучшим средством — дать делу сему такое направление, чтобы освобождение крестьян происходило от самих помещиков. Впрочем, высшее наблюдение имело обязанность указать лишь на сие обстоятельство, важное для будущего счастья России, но какими мерами может быть достигнута благотворная цель уничтожения крепостного права, — это подлежит уже соображениям мудрого правительства».¹⁰⁴

Однако то обстоятельство, что в самых высших сферах уже признавалось необходимым, «дабы правительство исподволь приближалось к цели освобождения крестьян от крепостного владения», ставило Пушкина, при исключительной его осведомленности, в необходимость, подготовляя к печати ответственный свое выступление об основных общеполитических задачах своего времени, завершить раздел о современном состоянии вопроса об освобождении крестьян осторожными словами, что «должны еще произойти великие перемены», что «не должно торопить времени и без

¹⁰³ П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. В кн.: Пушкин, Сочинения, т. I, СПб., 1855, стр. 401.

¹⁰⁴ Крестьянское движение. 1827—1869. Подготовил к печати Е. А. Мороховец. вып. I. Соцэкгиз, М., 1931, стр. 16.

того уже довольно деятельного» и что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (XI, 258), тем более, что эти слова он вкладывал в уста своего путешественника, для которого они были вполне естественны. Насколько Пушкин был осторожен в этом своем шаге и до какой степени он отдавал себе отчет в ответственности подобных утверждений и возможности всяческих нежелательных кривотолков, какие они могли, несомненно, вызвать в обществе и близких к нему кругах, говорит то, что он сильно колебался, включать ли данные строки в окончательный текст главы. Сначала он решительно вычеркнул всё это место (от слов «Но не должно торопить времени» до конца) сплошной чернильной чертой сверху вниз и лишь в последний момент, просмотривая рукопись перед отдачей ее переписчику, восстановил зачеркнутое, приписав сбоку карандашом: «Переписать».¹⁰⁵

Что же касается до возникавших в некоторых либеральных кругах предположений о том, что сам по себе процесс упадка и раздробления дворянских поместий может явиться естественной предпосылкой улучшения положения крестьян, так как заложенные и не выкупленные помещиками крестьяне могут быть переводимы правительством в вольные хлебопашцы, то Пушкин считал эти предположения решительно несостоятельными, как он об этом писал в черновой редакции «Путешествия».

«Но, говорят некоторые, — писал Пушкин, — раздробление имений способствует к освобождению крестьян. Помещики, не получая достаточных доходов, принуждены заложить своих крестьян в Опекунский Совет, и разорив их, приходят в невозможность платить проценты. Имение тогда поступает в ведомство правительства, которое может их обратить в вольные хлебопашцы или в экономические крестьяне. Расчет ошибочный. Помещик, пришедший в крайность, спешает продать своих крестьян, на что всегда найдет охотников, а долг дворянства связывает руки правительству, и не допускает его освободить крестьян — ибо в таком случае дворянство справедливо почтет свой долг угашенным уничтожением залога» (XI, 241—242).

Несомненным и недвусмысленным ответом Пушкина на всевозможные проекты возложения инициативы в деле улучшения судьбы крестьян на самих помещиков, что, кстати говоря, нашло отражение и в цитированном выше «Обозрении» Бенкендорфа, является история помещика-«филантропа», рассказанная Пушкиным в конце главы «Шлюзы» и полностью соответствующая серьезным предостережениям Радищева в адрес дворянства, не желавшего расстаться со своими крепостническими правами.

История помещика-«филантропа», завершающая весь известный нам текст пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург», кончается — в полном соответствии с предостережениями Радищева — убийством этого помещика его же собственными крестьянами. Помещик этот, пишет Пушкин, «имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возвратить им их собственность, даровать им права! — Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара» (XI, 267).¹⁰⁶

¹⁰⁵ ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1071, л. 5 (ЛБ № 2385Б, л. 30). В Академическом издании (XI, 490) зачеркивание и восстановление этих слов не отмечены.

¹⁰⁶ Герцен пишет, что на основании «документов, публикуемых министерством внутренних дел, видно, что ежегодно, еще до последней революции 1848 года, от 60 до 70 помещиков оказывались убитыми своими крестьянами» (А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. VI, стр. 166, 203).

8

Небольшая главка «Рекрутство» производит впечатление явно недоработанного наброска. Она начинается длинной выпиской из главы «Городня» радищевского «Путешествия», занимающей более половины всего пушкинского текста; далее идет запись ряда мыслей и положений, имеющих характер скорее заготовок для последующей разработки данной темы.

Уже первая фраза выписки из Радищева дает тон всему последующему тексту:

«Городня. — Въезжая в сию деревню, пишет Радищев, не стихотворческим пением слух мой был ударяем, но пронзающим сердца воплем жен, детей и старцев. Встав из моей кибитки, отпустил я ее к почтовому двору, любопытствуя узнать причину приметного на улице смятения.

«Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутской набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся» (XI, 259).

Рекрутская повинность была введена Петром I как средство создания большой, однородной по национальному составу, подготовленной и дисциплинированной армии, необходимой для борьбы с внешними врагами. Рекрутская система носила явно выраженный классовый характер, преследуя цель создания послушной и оторванной от народа армии, способной в случае необходимости выступать и против так называемых «внутренних врагов».

Всей своей тяжестью рекрутчина ложилась на крепостное крестьянство. Введенная в 1705 году, она до 1793 года предусматривала для рекрутов пожизненную солдатскую службу. В 1793 году срок солдатской службы был сокращен до двадцати пяти лет. Двадцатипятилетний срок службы просуществовал до 1834 года, когда был заменен двадцатилетним, и т. д.

С военной точки зрения русская рекрутская система была для того времени несравненно более совершенной, чем западноевропейские наемно-вербовочные системы. Она обеспечивала постоянную и широкую базу для комплектования большой армии достаточным количеством однородного личного состава и в высокой степени способствовала усилению военной и политической мощи России.

Пышная и торжественная литература русского классицизма XVIII века в бесчисленных одах и высказываниях прославляла блеск российского самодержавия и военную мощь непобедимой монархии. Отзвуками этого было еще полно и начало XIX века.

О громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страхась дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир —

писал Пушкин в «Воспоминаниях в Царском Селе» (1814).

Утверждением военного могущества России была полна передовая литература и пушкинского времени. За этой поэтизацией военной славы России, находившей разнообразное выражение — от «Пезца во стане русских воинов» Жуковского до обаятельных образов забубенных гусар-рубак — офицеров и солдат — в поэзии Дениса Давыдова, — более приглушенно давало себя знать то, что вся эта военная слава и мощь куплены ценой тяжчайшей рекрутчины.

В то же время тяжесть рекрутчины была ясна всем — от деятелей тайных декабристских организаций до самого Александра I, лицемерно оправдывавшего, как известно, введение военных поселений желанием отменить рекрутскую систему.¹⁰⁷

Уничтожение рекрутчины и преобразование армии на новых началах было одним из важных предположений декабристских организаций. В проекте «Манифеста к русскому народу», составленном К. Ф. Рылеевым и С. П. Трубецким¹⁰⁸ и предназначенном для обнародования в случае благоприятного исхода восстания, предусматривалось «уничтожение рекрутства и военных поселений», «убавление срока службы всею для нижних чинов», «уравнение рекрутской повинности между всеми сословиями», «отставка всех без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет», т. е. немедленное после победы восстания сокращение срока службы на десять лет.¹⁰⁹

Критикуя совершенно абсурдное заявление Александра I о возможности уничтожения тяжелой рекрутчины посредством несравненно более тяжелых для крестьянства военных поселений, деятели декабризма выдвигали в качестве единственно возможного, впредь до полного уничтожения рекрутской повинности, средства облегчения солдатской службы значительное сокращение ее срока. Суммируя воззрения по этому вопросу декабристов, А. Д. Боровков писал в своем «Своде показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства»: «Насильственная мера водворения поселений принята была с изумлением и ропотом. Потом объявлена цель их — освобождение России от тяжелой рекрутской повинности. Но уменьшение срока службы до 8 или 12 лет удовлетворило бы сей цели справедливее, прочнее и безопаснее, ибо тогда во всей России разлился бы дух военный, а крестьяне столь же легко стали бы расставаться с детьми, как дворяне. Возвратившиеся в семейство могли бы жениться, заниматься крестьянским бытом и, наживая детей, воспитывали бы их заранее быть солдатами, а сами были бы готовые ландверы».¹¹⁰

Правительство, может быть, и пошло бы на эту меру. Дело в том, что содержание в мирное время весьма значительной армии тяжело отзывалось на государственном бюджете и военное министерство несколько раз делало попытки создания запаса обученных резервов путем того или иного сокращения срока службы. Однако каждый раз эти попытки встречали решительное сопротивление помещиков, не желавших принимать в свои деревни возвращавшихся в запас солдат, рассматривая их в качестве возможных зачинщиков крестьянских волнений. Следует иметь в виду, что отдача в рекруты была немаловажным средством борьбы помещиков с нежелательными им элементами из среды крестьянства.

Случаи расправы помещиков с возвращавшимися из армии неугодными им людьми были нередки. Об одном из них рассказывает Н. И. Тургенев:

¹⁰⁷ И. Д. Якушкин рассказывает: «... в Тульчине за обедом... император обратился к генералу Киселеву с вопросом, примиряется ли он, наконец, с военными поселениями... „Как же ты не понимаешь, — возразил император Александр, — что при теперешнем порядке всякий раз, что объявляется рекрутский набор, вся Россия плачет и рыдает; когда же окончательно устроятся военные поселения, не будет рекрутских наборов“» (И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма, стр. 15).

¹⁰⁸ См.: М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, стр. 231.

¹⁰⁹ Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. I. Госполитиздат, 1951, стр. 363, 364.

¹¹⁰ Там же, стр. 574.

«Один отставной солдат после 30 лет службы возвратился на родину, был избит своим бывшим баринном... помещик хотел выжить солдата из деревни и для того велел разломать печь в его доме».¹¹¹

Опасения помещиков имели под собой известные основания. Возвращавшиеся солдаты вносили много нового в жизнь деревни. Тот же Н. И. Тургенев записывал в дневнике: «Я иногда удивляюсь, и с некоторою жалостию, ограниченности познаний крестьян касательно всего, что происходит за околицею... Пусть подумают после сего о средствах распространения идей и вообще образованности. Возвратившиеся ратники однако же, думаю, пустили в оборот много идей».¹¹²

Об особой роли возвращавшихся в свои деревни из армии солдат писал и Герцен в конце 40-х годов: «...правительство глядит с унылым беспокойством на мрачное и злое настроение своих полков, не зная, как поправить дело. Если оно уменьшит численность армии, оно не сможет более удержать страну; если оно сократит непомерный срок службы и будет отправлять ежегодно в деревню множество молодых людей, владеющих оружием, крестьяне подымутся сплошной массой, это будет сигналом к *Жакемии*».¹¹³

Именно это объединение солдат с народом против правительства имел в виду Пушкин в главе «Рекрутство», основываясь на материалах своих изучений истории французской революции.¹¹⁴ «Конскрипция, — писал Пушкин в черновом тексте этой главы, — по краткости времени службы в течение 15 лет, делает из всего народа одних солдат, и тогда смотрите, что делается во Франции во время народных мятежей. Мещане дерутся, как солдаты, а солдаты рассуждают, как мещане. Обе стороны, одна с другой тесно связанные, вскоре мирятся и обнимаются, и обращаются против правительства» (XI, 233).

Случаи единения солдат с крестьянами неоднократно имели место и в самой России во время холерных бунтов 1830—1831 годов, когда, например, в новгородских военных поселениях, как о том писал сам Пушкин П. А. Вяземскому, «действовали мужики, которым полки выдали своих начальников» (XIV, 205).¹¹⁵

¹¹¹ Архив братьев Тургеневых, вып. 5, стр. 158. Следует напомнить, что солдат, отбывший весь срок службы и отпущенный «в чистую», выходил из крепостной зависимости и становился вольным (отсюда и выражение Н. И. Тургенева «своим бывшим баринном»). Что же касается ратников ополчения, то они по окончании похода возвращались в крепостное состояние. Так было после Отечественной войны 1812 года, и на этом основана задуманная А. С. Грибоедовым драма о крепостном герое-ополченце, кончающаяся его самоубийством после возвращения к «прежним мерзостям».

¹¹² Там же, стр. 139. Н. И. Тургенев имеет здесь в виду русских солдат, возвратившихся после заграничных походов 1814—1815 годов на родину. Ср. в его книге «Россия и русские, т. I, Воспоминания изгнанника» (перевод Н. И. Соболевского, М., 1915): «Всейка, возвратившиеся к своим очагам, занесли из-за границы ряд либеральных идей; казалось, в России близилось наступление новой эры» (стр. VI). И далее: «Кроме регулярных войск, большие массы народного ополчения также видели заграничные страны: эти ополченцы всех рангов, переходя границу, возвращались к своим очагам и рассказывали о том, что они видели в Европе. Сами события говорили громче, чем любой человеческий голос. Это была настоящая пропаганда» (стр. 59).

¹¹³ А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. VI, стр. 228, 235—236.

¹¹⁴ См.: Б. В. Томашевский. Французские дела 1830—1831 годов в письмах Пушкина к Е. М. Хитрову. В кн.: Письма Пушкина к Е. М. Хитрову, Л., 1927, стр. 301—361.

¹¹⁵ Участие помещичьих крестьян в восстании военных поселений было, однако, незначительно и не обратилось в общее крестьянское движение. Это с удовлетворением отметил Николай I, обращаясь с речью к депутации новгородского дворянства, явившейся благодарить его после усмирения восстания: «Приятно мне было слышать, —

Видимо, учитывая и русский опыт в этом отношении, Пушкин в беловом варианте значительно обобщает приведенную выше фразу чернового текста, выбрасывает из нее ссылку на Францию и устанавливает тем самым некую общую закономерность: «Конскрипция по кратковременности службы, в течение 15 лет, делает из всего народа одних солдат. В случае народных мятежей, мещане бьются, как солдаты; солдаты плачут и толкуют, как мещане. Обе стороны одна с другой тесно связаны» (XI, 260).

Однако, устанавливая эту закономерность, Пушкин тотчас же становится на общегосударственную точку зрения. Полностью признавая тяжесть для народа рекрутские повинности, но в то же время учитывая сложные внешние и внутренние обстоятельства, в которых в то время находилась Россия, он решительно отрицает целесообразность в данный момент каких-либо изменений, если они повлекут за собой ослабление обороноспособности страны. При этом Пушкин поднимается до очень больших философских обобщений, связывая воедино государственные и народные общенациональные интересы.

«Рекрутство наше тяжело; лицемерить нечего, — записывает он в черновом тексте главы, — довольно упомянуть о законах противу крестьян, изувечивающихся во избежание оного. По крайней мере представляет оно выгоды правительству, следственно и народу» (XI, 233). Эта фраза в беловом тексте заменена более обобщенной: «Но может ли государство обойтись без постоянного войска? Полумеры ни к чему доброму не ведут» (XI, 260).

В то же время сложность общественно-политических позиций Пушкина 30-х годов особенно ярко выявилась в следующих фразах, характеризующих самый процесс рекрутчины и возвращения солдата в родную деревню после завершения полного срока службы. «Русский солдат, — пишет Пушкин, — на 24 года отторженный от среды своих сограждан, делается чужд всему, кроме своему долгу. Он возвращается на родину уже в старости. Самое его возвращение уже есть порука за его добрую нравственность; ибо отставка дается только за беспорочную службу. Он жаждет одного спокойствия. На родине находит он только несколько знакомых стариков. Новое поколение его не знает и с ним не братается» (XI, 260—261).

Не кажется ли это описание судьбы ставшего солдатом крестьянина страшной картиной духовной и гражданской смерти человека еще при его жизни? Весь эмоциональный пафос этого чрезвычайно сильного в своей простоте и скупости отрывка направлен в сторону протеста против условий и обстоятельств, так калечащих человека. О той же «чудовищной несправедливости» писал позднее (1849) и Герцен:

«Русский солдат вынужден служить пятнадцать и даже семнадцать лет, и этим хотят добиться того, чтоб он перестал быть человеком, сделался орудием в руках правительства. Он начинает однако понимать эту чудовищную несправедливость».¹¹⁶

Следующая в черновом тексте и выброшенная в беловом варианте фраза говорит о сложности и трудности проведения в деревнях рекрутских наборов, для успеха в выполнении которых необходимо вмешательство в это дело власти помещика.

сказал царь, — что крестьяне ваши не присоединились к моим поселянам: это доказывает ваше хорошее с ними обращение; но, к сожалению, не везде так обращаются. Я должен сказать вам, господа, что положение дел весьма нехорошо, подобно времени бывшей французской революции» («Русская старина», 1873, т. VIII, сентябрь, стр. 413).

¹¹⁶ А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. VI, стр. 228, 235.

«Власть помещиков, — пишет Пушкин, — в том виде, какова она теперь существует, необходима для рекрутства. Без нее правительство в губернии не могло бы собрать и четвертой доли требуемого числа рекрут. Вот одна из тысячи причин, повелевающих нам присутствовать в наших деревнях, а не разоряться в столицах под предлогом усердия к службе, но в самом деле из единой детской любви к рассеяниям и к чинам» (XI, 234).¹¹⁷

Замечательна эта пушкинская оговорка о помещичьей власти: «в том виде, какова она теперь существует». Привычки и обычаи помещиков в отношении своих крестьян и в 30-е годы оставались теми же, какими показал их Пушкин в своей «Деревне». Признание того, что без власти крепостников невозможно существование и рекрутской системы, неизбежно влечет за собой признание незаконности и несправедливости всей рекрутской системы, как незаконна и несправедлива вся крепостническая система в целом.

Что же касается до утверждения желательности постоянного пребывания помещиков в своих деревнях, дабы они могли вкладывать и свою долю участия в проведение рекрутских наборов, без чего «правительство в губернии не могло бы собрать и четвертой доли требуемого числа рекрут», то это заявление имеет как бы две стороны. То, что присутствие помещика, как бы хорош он ни был, неизбежно влечет за собой, в силу самого существа крепостнической системы, возможность неограниченного господского произвола и что поэтому крестьянам лучше жить одним, отметил еще Н. И. Тургенев, посетивший летом 1818 года свое родовое имение Тургенево в Симбирской губернии.

«Я заметил. . . — записывает он в дневнике, — что присутствие в деревне даже одного грамотного человека полезно для крестьян, защищая их от нечестивых подьячих и солдат, проезжающих на подводах. Сколь полезнее было бы присутствие истинно хорошего помещика? Но не тут то было! Кажется, что крестьянам лучше жить совсем без защиты, нежели с защитой помещиков, которая, конечно, действительна против приказных, но не против произвола господского».¹¹⁸

С другой стороны, в условиях продолжавшего существовать крепостничества как системы, лишавшей крестьян каких бы то ни было, даже самых элементарных прав и оставлявшей их совершенно беззащитными и перед лицом закона и от притеснений всякого рода, сами крестьяне порой имели нужду в какой-то защите, исходившей даже и от помещика, если он был в достаточной степени справедлив. О подобном случае рассказывает в своих «Записках» декабрист И. Д. Якушкин.

«В 19-м году, — пишет он, — поехав из Москвы повидаться с своими, я заехал в смоленское свое имение. Крестьяне, собравшись, стали просить меня, что так как я не служу и ничего не делаю, то мне бы приехать пожить с ними, и уверяли, что я буду им уже тем полезен, что при мне будут менее притеснять их. Я убедился, что в словах их много правды, и переехал на житье в деревню. . .

«Вскоре по приезде моем в Жуково я пришел в столкновение с земской полицией».¹¹⁹

Именно поэтому не следует слишком прямолинейно понимать суждение

¹¹⁷ Ср. те же мысли в строфе IX и других неоконченной поэмы, известной под названием «Езерский» (V, 100—101, 407, 409, 415—416), а также в более раннем «Романе в письмах» (1829; VIII, 1, 52—53).

¹¹⁸ Архив братьев Тургеневых, вып. 5, стр. 131.

¹¹⁹ И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма, стр. 25.

в главе «Рекрутство» пушкинского «Путешествия» о нецелесообразности, «пока существуют наши дворянские права», совсем не вмешиваться в практику проведения рекрутских наборов, руководствуясь только установленной очередью. Весь этот абзац в черновом тексте отличается значительной эмоциональностью: «Очередь в рекрутстве, которой придерживаются некоторые слабоумные филантропы, не должна существовать, пока существуют наши дворянские права. Преступная леность! детское легкомыслие! Не лучше ли употребить сии права в пользу ваших крестьян, удаляя от среды их вредных негодяев, людей, заслуживших наказание, и делая из них полезных членов обществу?» (XI, 234). В беловом тексте эти мысли изложены более спокойно: «Очередь, к которой придерживаются некоторые помещики-филантропы, не должна существовать, пока существуют наши дворянские права. Лучше...» и т. д. (XI, 261). В основном речь здесь идет о случаях внеочередной отдачи в рекруты.

В письме к С. А. Пушкину И. М. Пеньковский в 1833 году передавал следующую просьбу стариков села Болдина: «... все старики села Болдина лично меня просили отнестись к Вам, милостивый государь Сергей Львович, дабы их избавить от людей дурного поведения, которые разоряют лучших хозяев, и что многие, по несколько раз ограбленные, пришли до нищеты... Я ничего не мог предпринять без Вашего повеления, если Вам угодно будет освободить своих крестьян от разорителей. — Средство одно, которое может послужить в пример другим, — повелеть без зачета отдать в солдаты».¹²⁰

Во время пребывания самого Пушкина в Болдине в октябре—ноябре того же года болдинские крестьяне подали ему прошение такого же характера: «При сем прошении представляем вам, милостивый государь батюшка Александр Сергеевич, 5 человек лично, которые не способны при вотчине находиться, воры именно — 1-й Тимофей Пядашев, 2-й Ефим Захаров, 3-й Агафон Солдатов, 4-й Егор Иванов, 5-й Яков Семенов, которого вы лично приказали управляющему Иосифу Матвееву <Пеньковскому> отдать в солдаты» (Пушкин, XV, 92).

И. М. Пеньковскому не удалось отдать в солдаты Якова Семенова по причине родства последнего с М. И. Калашниковым, вследствие чего, как писал Пеньковский Пушкину в августе 1834 года, пришлось отдать в рекруты парня «из хорошего дому» (XV, 188). Дабы избежать в дальнейшем подобных случаев, Пушкин, уже принявший на себя управление болдинским имением, в официальной доверенности на имя Пеньковского специально оговаривал: «... буде окажутся дурного поведения и вредные вотчине крестьяне и дворовые люди, таковых отдавать во всякое время в зачет будущего рекрутства; если окажутся неспособными, то отдавать без зачета, предварительно меня о том уведомив» (XV, 212).

В этих действиях Пушкина не было ничего предосудительного даже с декабристской точки зрения. Так же поступали до 1825 года многие члены тайных обществ, владевшие крестьянами. Упомянутый выше Н. И. Тургенев на другой день по своем приезде в Тургеневе записывает в дневнике:

«Сегодня я был у обедни. Ничто меня не веселило, потому что я не замечал на крестьянах и на дворовых людях вида благоденствия. Я беспрестанно думаю об улучшении порядка, здесь существующего... Мне пришло теперь на мысль сделать предложения, которые я могу сделать известными крестьянам предварительно, до общего нашего утверждения...

¹²⁰ Летописи Государственного литературного музея, т. I, стр. 116.

«14. За легкие проступки виновного заставляют исправить подводку¹²¹ ... или берется денежный штраф в пользу казны мирской.

«15. За большие преступления, как-то: озорничество, воровство... , определяется такое же наказание, и сверх того имя провинившегося вписывается в штрафную книгу.

«16. При рекрутском наборе, записанные в книге, отдаются предпочтительно другим в рекруты.

«17. Есть ли же и угрозы наказания не действуют, то управитель, по приговору выборных, представляет господину о переводе виновных в другую вотчину, или даже об отдаче в рекруты в зачет, или о сослании на поселение».¹²²

Учитывая всё это, приходится сделать вывод, что в сложных условиях продолжавшего существовать крепостного права положения и мысли, сформулированные в главе «Рекрутство» пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург», равно как и личная практика в этом отношении самого Пушкина отнюдь не заключали в себе какого-либо оттенка реакционности, но в ряде случаев соответствовали и интересам самих крестьян.

Что же касается до возможных злоупотреблений со стороны помещиков правом отдачи в рекруты без очереди, для того чтобы избавиться от неугодных им элементов, то Пушкин ответил на это фразой англичанина в его разговоре с пушкинским путешественником в черновом тексте «Путешествия»: «Злоупотреблений везде много» (XI, 232).

Следует отметить, что глава «Рекрутство», не только в части большой цитаты из Радищева, но и в остальной своей части, не была опубликована среди некоторых других глав пушкинского «Путешествия» в посмертном собрании сочинений Пушкина.

9

Главу о свободе книгопечатания и о цензуре («Торжок») Пушкин считал «самой замечательной из всей книги Радищева» (XI, 471).

Разбирая эту главу, Пушкин писал: «В сей статье Радищев говорит, что *цензура* была в первый раз установлена инквизицией. Радищев не знал, что новейшее судопроизводство основано во всей Европе по образу судопроизводства инквизиционного... *Инквизиция* была потребностью века. То, что в ней отвратительно, есть необходимое следствие нравов и духа времени» (XI, 238)

Проследим за ходом развития пушкинской мысли.¹²³ Говоря о том, что инквизиция в свое время «была потребностью века», Пушкин тем самым утверждал, что сейчас она, разумеется, уже не является потребностью современности. То, что в ней было отвратительно, всецело объясняется особенностями «нравов и духа» того времени. Если же отвратительные стороны некоторых институтов, порожденных инквизицией, дают себя знать и по сие время, то

¹²¹ Т. е. поехать с подводой куда-либо, выполняя внеочередную гужевую повинность.

¹²² Архив братьев Тургеневых, вып. 5, стр. 136—137. В написанном им на основании этих предварительных набросков «Приказе» (1820) соответствующий пункт сформулирован так: «Заранее должны знать каждый из крестьян, что есть ли кто подвергнется пороку в третий раз, то оштрафуется втрое противу прежнего и потом, как ненадежный к домоводству и вредный для всей вотчины поселянин, молодой отдается без очереди в рекруты, а пожилкой и неспособный к солдатской службе переведется из селения в дальние места от дома, что, однако, исполнять не иначе, как с моего особенного приказа» (там же, стр. 439).

¹²³ В основном суждения в черновом тексте главы «О цензуре» несомненно принадлежат самому Пушкину, хотя присутствует и образ путешественника.

они суть пережитки прошлого, с которыми надо бороться. Это касается отдельных сторон и цензуры, первоначально возникшей как порождение инквизиции.

По поводу радищевской статьи о происхождении цензуры, включенной в главу «Торжок», Пушкин заметил: «Если бы вся книга была так написана, как этот отрывок, то, вероятно, она бы не навлекла грозы на автора» (XI, 238). А в заключительных строках статьи «Александр Радищев», говоря о многом справедливом и нужном, что имеется в книге Радищева, Пушкин писал: «... он <Радищев> злится на цензуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой — чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но всё это было бы просто полезно, и не произвело бы ни шума, ни соблазна» (XII, 36).

Это Пушкин и делает в главе «О цензуре», где он устами своего путешественника, с суждениями которого более часто, чем когда-либо, в этой главе сливаются и его собственные мысли, не только утверждает многое, о чем говорил в других выражениях Радищев, но и полемизирует с ним по важнейшим вопросам свободы книгопечатания и предварительной цензуры.

Радищев, как известно, настаивал на необходимости введения полной свободы книгопечатания и полного уничтожения предварительной цензуры.¹²⁴

Может показаться странным, что утверждения пушкинского путешественника (ибо повествование здесь ведется от первого лица, как и в первых двух главах) о нецелесообразности введения полной свободы книгопечатания и о нежелательности уничтожения предварительной цензуры в какой-то степени разделяются и самим Пушкиным, когда-то закончившим письмо к Гнедичу (1823) фразой: «Vale, sed delenda est censura»¹²⁵ (XIII, 63). Между тем такое впечатление данной главой безусловно создается. Однако не следует упрощать вопроса. Необходимо выяснить, какие нежелательные стороны и последствия полной свободы бесцензурного книгопечатания имеются здесь в виду.

Еще в 1830 году Пушкин писал: «Я заметил, что самое неосновательное суждение, глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам всё еще *печатный лист кажется святым*. Мы всё думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!» (XI, 167). О необходимости борьбы с растлевающими общественное сознание безнравственными сочинениями Пушкин писал и в 1822 году в своем послании к цензору, и в 1830 году в «Опровержении на критики». В своих заготовках к «Посланию цензору» Пушкин писал (II, 2, 783):

Потребности Ума не всюду таковы,
Сегодня разреши свободу нам тисненья,
Что завтра выдет в свет: Баркова сочиненья.

¹²⁴ «Цензура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного. Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помочах, от чего нередко бывают кривые ноги; где есть опекуны, следует, что есть малолетные, незрелые разумы, которые собою править не могут. Если же всегда пребудут няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помочах и совершенной на возрасте будет калыка» (стр. 330).

¹²⁵ «Прощайте, цензуру же должно уничтожить» (лат.).

Были мотивы и другого порядка. В 1830 году, имея в виду клеветнические выпады в печати против него Булгарина, Пушкин писал в «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений»: «Не узнавать себя в пасквиле безыменном, но явно направленном, было бы малодушием. Тот, с которым напечатают, что человек такого-то звания, таких-то лет, таких-то примет — крадет например платки из карманов — все-таки должен отозваться и вступить за себя, конечно не из уважения к газетчику, но из уважения к публике» (XI, 168). В том же «Опыте», имея в виду выпады Булгарина и его клики уже не только против него самого, но и против всех писателей, зачислившихся тогда в так называемую «литературную аристократию», Пушкин с горечью писал: «Уж если существует у нас цензура, то не худо оградить и сословия, как ограждены частные лица, от явных нападений злонамеренности» (XI, 173).

Именно в данной связи, имея в виду легкость безответственной клеветы в печати, Пушкин в том же «Опыте» и говорил об этой стороне свободы книгопечатания:

«Один из великих наших сограждан¹²⁶ сказал однажды мне (он удостоивал меня своего внимания и часто оспаривал мои мнения), что если у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь. Всё имеет свою злую сторону — и неуважение к чести граждан и удобность клеветы суть одни из главнейших невыгод свободы тиснения» (XI, 167—168).

Пушкин был решительным противником насаждения в русской журналистике и критике так называемых «американских нравов», как их тогда называли журналисты. Об этих нравах и обычаях американской печати журналы в то время упоминали довольно часто. В «Московском наблюдателе», например, за 1835 год в обзоре «Сочинения об Америке» после характеристики некоторых сторон американской жизни, говорилось: «При таких обстоятельствах нельзя дивиться и злоупотреблениям свободы книгопечатания». При этом приводилась цитата из сочинения полковника Гамильтона «Люди и нравы в Соединенных Штатах»: «Издатели этих газет знают по опыту, что человек, которого закидывают грязью, всегда хоть немного будет замаран. Никто не безопасен от их клеветы».¹²⁷

Обосновывая общественную пользу полной свободы книгопечатания и безопасность уничтожения предварительной цензуры, Радищев писал: «... цензура печатаемого принадлежит обществу, оно дает сочинителю венец, или употребит листы на обертки. Равно как ободрение феатральному сочинению дает публика, а не директор феатра. Так и выпускаемому в мир сочинению цензор ни славы не даст, ни бесславия... Наистрожайшая полиция не возможет так запретить дряни мыслей, как негодующая на нее публика» (стр. 335).

«Нет, — возражает пушкинский путешественник, — мысль уже стала гражданином, ответствен за себя, как скоро она родилась и выразилась... мысль есть уже действие книги...»

«Законы (противу злоупотребления книгою) не достигают истинной цели закона, и не предупреждают зла, и не пресекают оного. Одна цензура может исполнить то и другое» (XI, 235—236).

Поэтому основное внимание в этой главе обращено не на уничтожение цензуры, разумеется абсолютно невозможное в пушкинское время, но на

¹²⁶ Н. М. Карамзин.

¹²⁷ «Московский наблюдатель», 1835, ч. II, стр. 145, 146 (с пометой: Morgenblatt).

совершенствование цензурного дела, «дабы, — как говорилось в уже приведенной цитате, — с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой — чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной» (XII, 36).

Глава «О цензуре» в черновом ее варианте гораздо более распространена, чем беловая ее редакция (превышает последнюю более чем в два раза). При окончательной доработке главы было выброшено имевшееся в самом начале длинное прямолинейное и еще никак не мотивированное утверждение: «...долгом считаю сказать, что я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось» (XI, 235). К утверждению этого положения путешественник приходит позднее в результате обоснования его несовершенством современного ему общества. Также выброшено и рассуждение о правах и обязанностях цензора в просвещенном государстве, в основном совпадающее с первым пушкинским посланием к цензору (1822). Не вошло в беловой текст и подробное обоснование необходимости уничтожения всех слишком обременительных и стеснительных цензурных требований, мешающих нормальной развитию литературы: «Если запретительною системою будете вы мешать словесности в ее торговой промышленности, то она предается в глухую рукописную оппозицию» (XI, 237), — мысль, уже достаточно подробно обоснованная и в первом послании к цензору и в записке «О народном воспитании» (1826).

В черновом тексте утверждалась и необходимость решительного разделения «земской», т. е. обычной, светской, цензуры и «духовной»: «Что было бы верхом неприличия в книге феолической, то разве лицемер или глупец может осудить в комедии или в романе» (XI, 237).

Что касается до «светской» цензуры, то, за исключением безнравственных моментов, во всем остальном цензор должен проявлять величайшую терпимость: «Не должен он забывать, что большая часть мыслей не подлежит ответственности, как те дела человеческие, которые закон оставляет каждому на произвол его совести» (XI, 238). В другой своей статье этих же лет Пушкин проводил ту же мысль. «Нельзя требовать, — писал он, — от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других. Мысли, как и действия, разделяются на *преступные* и на *неподлежащие никакой ответственности*. Закон не вмешивается в привычки частного человека..., закон также не вмешивается в предметы, избираемые писателем» (XII, 69).

Полемизируя в этой статье с М. Е. Лобановым, утверждавшим, что «по множеству сочиняемых ныне безнравственных книг, цензуре предстоит непреодолимый труд проникнуть все ухищрения пишущих», Пушкин решительно возражает против этого суждения: «Вопреки мнению г. Лобанова, ценсура не должна проникать все ухищрения пишущих». В обоснование этого Пушкин приводит тут же § 6 устава о цензуре: «„Ценсура долженствует обращать особенное внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора, и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не позволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону“ (Устав о Цензуре § 6)» (XII, 73).

Возможности же превратного истолкования произведений, в те годы особенно, были весьма широки и давали себя знать на каждом шагу.

В письме к Бенкендорфу (черновом) от 18—24 февраля 1832 года Пушкин писал: «... обвинения в применениях и подразумеваемых не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом *дерево* будет разуметь конституцию, а под словом *стрела* самодержавие» (XV, 14).

Первый цензурный устав был утвержден 9 июля 1804 года. В нем говорилось: «Цензура в запрещении печатания или пропуска книг и сочинений руководствуется благоразумным снисхождением, удаляясь всякого пристрастного толкования сочинений или мест в оных, которые по каким-либо мнимым причинам кажутся подлежащими запрещению. Когда место, подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, в таком случае лучше истолковать оное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать» (статья 21).¹²⁸

Такого рода цензуру¹²⁹ и имел в виду Пушкин, когда писал в цитированной выше статье: «Цензура есть установление благодетельное, а не притеснительное; она есть верный страж благоденствия частного и государственного, а не докучливая нянька, следующая по пятам шалливых ребят» (XII, 74).

В результате рассмотрения главы «О цензуре» можно прийти к следующим выводам.

Основные мысли пушкинского путешественника о книгопечатании и цензуре, высказанные им в этой главе, в той или иной мере разделялись и самими Пушкиными.

Несмотря на содержащуюся в этой главе принципиальную полемику с Радищевым по вопросам свободы книгопечатания и предварительной цензуры, в суждениях по этим вопросам в данной главе нет ни малейшего оттенка охранительной идеологии, ибо в утверждении нецелесообразности полной свободы книгопечатания в условиях современного Пушкину социально несовершенного общества, без какого бы то ни было контроля со стороны государства, преследуется цель не только защиты индивидуальной чести и достоинства отдельных граждан от посягательств грязной клеветы, но и утверждается общенациональная и общегосударственная целесообразность.

Суждения о задачах цензуры в данной главе безусловно соответствуют самым передовым и прогрессивным позициям того времени.

Пушкинское «Путешествие из Москвы в Петербург» не могло увидеть свет при жизни автора по цензурным условиям. Однако напоминание о Радищеве и название его бессмертной книги Пушкин все-таки сумел довести до читателя, хотя и посмертно.

Как уже указывалось выше, несколько глав пушкинского «Путешествия» с цензурными изъятиями было напечатано в XI томе посмертного собрания сочинений Пушкина. Главка «Шоссе» в этой публикации кончается так: «„Постой, сказал мне **, есть у меня для тебя книжка“. С этим словом вынул он из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михайлы Хераскова книгу, повидимому изданную в конце прошлого столетия. „Прошу беречь ее, сказал он таинственным голосом. На-

¹²⁸ Цитируется по изданию: Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862, стр. 89.

¹²⁹ Первый цензурный устав действовал до 1826 года и был заменен новым, составленным А. С. Шишковым и получившим название «чугунного». Третий устав был утвержден в 1828 году.

деюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность". Я раскрыл ее и прочел заглавие: *Путешествие из Петербурга в Москву*; с эпиграфом:

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.

Телемахида. Книга XVIII, стр. 514.¹³⁰

Достаточно вспомнить, какой совершенно определенный смысл вкладывал Радищев в этот эпиграф, давая в нем огромной силы собирательный образ русского самодержавия, чтобы в полной мере оценить смелость подобной публикации вскоре же после гибели Пушкина.

¹³⁰ А. Пушкин, Сочинения, т. XI, СПб., 1841, стр. 9.



О. С. СОЛОВЬЕВА

«ЕЗЕРСКИЙ» И «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

История текста¹

1

«Медный всадник» не был напечатан при жизни Пушкина. Николай I, цензуравший поэму, отметил важнейшие места ее как неприемлемые для печати и тем самым наложил на нее запрет. Чтобы напечатать «Медного всадника» после смерти Пушкина, Жуковский должен был выполнить требования царя, и текст поэмы появился в «Современнике», а затем и в посмертном издании с очень существенными цензурными исключениями и переделками. Особенно пострадала при этом сцена бунта. Так же, по цензурным условиям начала 50-х годов, печатал «Медного всадника» и П. В. Анненков, сумевший лишь в примечании указать на постороннее вмешательство в текст поэмы. Назвать имя Жуковского и хотя бы частично привести подлинный пушкинский текст Анненков смог только в седьмом, дополнительном томе Сочинений Пушкина (1857).

Так как долгое время «Медный всадник» печатался в искаженном виде, особый интерес в глазах исследователей приобретали его рукописи. И первым начал их изучать, первым напечатал несколько отрывков из разных редакций «Медного всадника», первым заинтересовался историей этого замысла П. В. Анненков. Но Анненков отнес к замыслу «Медного всадника» — по общности описания петербургского осеннего вечера и по сходству героев — и найденные им в рукописях наброски другой, незаконченной строфической поэмы, из которой восемь строф в переработанном виде были напечатаны самим Пушкиным в третьем томе «Современника» под названием «Родословная моего героя». И начиная с Анненкова все, кто имел возможность обращаться к пушкинским рукописям (П. И. Бартенев, В. Е. Якушкин, Я. К. Грот, П. О. Морозов, П. А. Ефремов и др.),² главным образом стремились «пополнить» текст «Медного всадника» новыми «вариантами», значительная часть которых относилась к «Езерскому»,³ —

¹ Статья представляет собой главу из готовящейся монографии о «Медном всаднике», работа над которой, начатая в 1952 году, велась под руководством Бориса Викторовича Томашевского. Идейно-художественный замысел «Медного всадника», его место в творчестве Пушкина, общественно-политическая и литературная обстановка, в которой он создавался, а также история изучения и интерпретации поэмы рассматриваются в других главах. Основные положения статьи были изложены в докладе на заседании Сектора пушкиноведения Института русской литературы в апреле 1957 года.

² После Анненкова до 80-х годов рукописи Пушкина были недоступны для изучения.

³ Хотя это условное название было дано еще Жуковским, написавшим его на обложке рукописи, незавершенную поэму о Езерском прежде называли обычно так же, как и сделанное из нее извлечение, «Родословной моего героя».

так, по имени героя принято теперь называть эту неоконченную поэму, — но замысел Пушкина не становился от того более ясным.

Отчасти по той причине, что текст «Медного всадника» долгое время был известен в искаженном цензурными поправками виде, а восстановление его, по цензурным же условиям, сопровождалось разного рода недомолвками, отчасти из-за смещения его замысла с замыслом «Езерского», отчасти благодаря собственным усилиям некоторых исследователей за «Медным всадником» прочно установилась репутация загадочного произведения. Изучение поэмы нередко сводилось к разгадке ее «скрытого смысла», и отгадки предлагались самые различные, в том числе и прямо противоположные. К интерпретации «Медного всадника» подходили если не с предвзятым мнением, то в большей или меньшей степени отвлеченно, в то время как рукописи Пушкина, из которых без всякой связи и порядка было извлечено множество вариантов, оставались неизученными.

Между тем к началу 1920-х годов процесс восстановления пушкинского текста в основном закончился. По автографу, точнее по авторизованной писарской копии, со всеми поправками Пушкина, за исключением цензурных, «Медный всадник» впервые был напечатан в 1919 году отдельным выпуском в серии «Народная библиотека».⁴ Здесь текст поэмы был освобожден от всех цензурных и редакторских искажений, кроме одного, устранившего Б. В. Томашевским в 1924 году в одностороннем издании сочинений Пушкина.

Иначе напечатал «Медного всадника» в 1923 году П. Е. Щеголев. Он воспроизвел текст белового автографа 1833 года, который был в свое время представлен Пушкиным на цензуру Николаю I и который Щеголев считал окончательным. Доказательству этой своей идеи он посвятил обширную статью,⁵ но никем из исследователей его аргументация не была принята.⁶

Тогда же, в 20-е годы, усилиями виднейших советских пушкинистов вырабатываются и утверждаются основные принципы пушкинской текстологии. Это позволило по-новому взяться и за изучение «Медного всадника». Новый путь был намечен в статье Н. В. Измайлова «Из истории замысла и создания „Медного всадника“».⁷

В силу особых обстоятельств, сопровождавших и осложнявших изучение поэмы, нельзя было разобраться в разногласии существующих относительно «Медного всадника» мнений и понять действительный замысел Пушкина, не проследив эволюцию этого замысла по рукописям — от первоначальных набросков до окончательного воплощения. Нужно было начать с систематического и тщательного изучения истории текста (и не только «Медного всадника», но и предшествующего ему «Езерского»). Именно эту задачу и выдвинул в своем исследовании Н. В. Измайлов. Наряду с чертами сходства он указал на существенные различия между «Езерским» и «Медным всадником» в жанровом и метрическом отношениях и путем сравнительного анализа всех набросков первых строф «Езер-

⁴ В подготовке пушкинских изданий этой серии участвовали С. М. Бонди, А. Л. Слонимский, К. И. Халабаев и Б. М. Эйхенбаум.

⁵ П. Е. Щеголев. Текст «Медного всадника». В кн.: Медный всадник. Петербургская повесть А. С. Пушкина. Изд. Комитета популяризации художественных изданий при Российской Академии истории материальной культуры, Пб., 1923, стр. 63—74.

⁶ По цензурному беловому автографу «Медный всадник» был напечатан лишь в Полном собрании сочинений Пушкина. ГИЗ, приложение к журналу «Красная нива» на 1830 год (для которого текст поэмы подготовил П. Е. Щеголев), а оттуда еще раз перепечатан в первом гослитиздатовском издании 1931 года.

⁷ «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, Л., 1930, стр. 169—190.

ского» и начальных стихов первой части «Медного всадника» установил, что строфическая поэма о Езерском и «Медный всадник» представляют собой два разных замысла,⁸ что хронологически «Езерский» предшествовал «Медному всаднику», а имеющиеся в текстах, особенно в черновых, совпадения объясняются тем, что при создании «Медного всадника» Пушкин пользовался как материалом некоторыми элементами предыдущего замысла. Н. В. Измайлов прослеживал, в общих чертах, весь ход работы Пушкина над обоими замыслами, но подробно останавливался лишь на вступительных строфах «Езерского» и на том отрывке из «Медного всадника», где поэт описывал вечер накануне наводнения и вводил в рассказ героя.

В 1939 году появилась вторая работа, посвященная творческой истории «Езерского» и «Медного всадника»: статья С. М. Бонди в «Комментарии» к фототипическому изданию альбома Пушкина 1833—1835 годов.⁹ Кроме текстологического комментария к находящимся в этом альбоме черновикам «Езерского» и «Медного всадника», исследователь дал беглый очерк истории их создания в целом. С. М. Бонди продолжил то, о чем говорилось в статье Н. В. Измайлова,¹⁰ но, опираясь на нее, некоторые положения своего предшественника он оспаривал. Если Н. В. Измайлов детально рассматривал первую стадию работы Пушкина над «Езерским», то С. М. Бонди обратил преимущественное внимание на ту часть истории текста, которая была представлена в альбоме ЛБ № 2374: частью перебеленный, частью черновой текст «Езерского» и черновик «Медного всадника», включающий вступление к поэме и большую долю первой ее части. Существенным дополнением к намеченной в статье 1939 года истории текста «Медного всадника» явилась публикация найденных в 1948 году тринадцати вставных строк (о мечтах Евгения накануне наводнения), в комментарии к которым С. М. Бонди детально проследил по всем рукописям процесс обработки этого отрывка, определил его значение в замысле «Медного всадника» и попутно коснулся некоторых поправок художественного порядка в других местах писарской копии поэмы.¹¹

⁸ В 1909 году это соображение высказал, ничем, однако, не мотивировав его, С. Н. Браиловский («Журнал Министерства народного просвещения», 1909, ч. XX, март, стр. 168).

⁹ Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. Тетрадь № 2374 Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Гослитиздат, М., 1939, Комментарий, стр. 35—51. В подготовке этого чрезвычайно ценного труда, заманного как первый опыт в серии подобного рода изданий рукописей Пушкина, участвовал большой коллектив исследователей, возглавлявшийся С. М. Бонди. Издание состоит из трех отдельных альбомов: фототипического воспроизведения рукописей («Фототипии»), транскрипции всех записей («Транскрипции») и очень обстоятельного комментария к ним, вводящего в творческую историю каждого текста («Комментарий»). В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: Комментарий, Фототипии.

¹⁰ Напечатанная в 1930 году статья являлась частью большого исследования о творческой истории «Медного всадника», упоминания о котором имеются в статьях Б. В. Томашевского («Литературное наследство», кн. 16—18, 1934, стр. 1090) и С. М. Бонди (Комментарий, стр. 35, 43). Рукопись этой еще не завершенной работы была утрачена в годы Великой Отечественной войны.

¹¹ С. М. Бонди. Новый автограф Пушкина. «Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина», вып. XI, М., 1950, стр. 134—146. К сожалению, сравнивая различные редакции отдельных строк, исследователь не всегда точно их цитирует. В составе поэмы отрывок о мечтах Евгения был впервые напечатан в 1948 году в пятом томе Академического издания Полного собрания сочинений Пушкина (стихи 47—59 и 60—62 первой части; последние три стиха, заканчивающие абзац, были восстановлены по авторизованной писарской копии); таким образом, подлинный текст «Медного всадника» стал известен полностью лишь через сто с лишним лет после первой его публикации.

О беловых рукописях «Медного всадника» говорилось в названной выше статье П. Е. Щеголева, который очень обстоятельно описал все пометы и все слои исправлений в писарской копии (приняв, правда, несколько поправок Пушкина за поправки Жуковского), но в силу своей ошибочной концепции окончательного текста поэмы поправки художественного порядка прокомментировал весьма неубедительно.

Характеризуя то, что уже было сделано для изучения истории текста «Езерского» и «Медного всадника», иногда приходится учитывать даже краткие комментарии при публикациях отдельных автографов, но перечень специальных работ на эту тему ограничивается указанными выше.¹² В каждой из этих статей, в соответствии с выдвигающимися в них задачами, более детально рассматривалась какая-нибудь одна стадия творческой истории «Медного всадника» и «Езерского»; если же речь заходила об истории текста в целом, ограничивались беглым обзором, отдельными суждениями и предположениями, пусть даже верными, но не подкрепленными анализом рукописей. Даже взятые в совокупности, эти статьи не давали полного представления об истории создания «Езерского» и «Медного всадника». Не говоря уже о различном освещении одних и тех же вопросов, из поля зрения исследователей выпадал целый ряд звеньев, и потому, как бы ни были важны и интересны результаты проделанной ими работы, некоторые выводы и многие догадки требовали проверки и дальнейших разысканий. Эта задача значительно облегчилась после выхода в свет в 1948 году пятого тома Академического Полного собрания сочинений Пушкина, где впервые были полностью напечатаны все — как беловые, так и черновые — тексты «Медного всадника» (редакторы С. М. Бонди и Н. В. Измайлов) и «Езерского» (редактор Н. В. Измайлов).¹³ Отсутствие комментария, к сожалению, во многом обесценивает громадную работу, проделанную при подготовке этих текстов к печати, и делает неизбежным обращение к рукописям всякий раз, когда дело касается мотивировки дат, композиции черновых набросков или чтения отдельных мест.

Из сказанного выше следует, что задачей дальнейшего исследования текстов было восстановить историю создания «Езерского» и «Медного всадника» полностью — от первых черновых набросков до последних беловых редакций. Именно эта задача и стояла перед нами с самого начала работы. Для этого недостаточно оказалось воспользоваться пробелы в изучении данной темы. Опираясь на имеющиеся уже исследования и на Академическое издание, пришлось заново проследить по рукописям весь ход работы над обоими замыслами. Восстановив творческий процесс в возможно большей полноте и сопоставляя данные от обследования всех набросков и редакций, удастся устранить некоторые противоречия, разрешить возникающие в ряде случаев сомнения, проверить отдельные догадки.

Сравнительное изучение рукописей позволяет более точно определить хронологию замысла «Езерского» и последовательность отдельных его набросков, а также соотношение его рукописей с рукописями «Медного всадника». Для «Медного всадника» оказывается возможным полнее и точнее

¹² Кроме них, следует упомянуть еще статью Т. Г. Зенгер-Цявловской «Николай I — редактор Пушкина», часть которой посвящена выяснению и уточнению некоторых моментов цензурной истории текста «Медного всадника» («Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 521—524, 534—536).

¹³ Как отдельное произведение «Езерский» впервые был напечатан, в составе пятнадцати строф, в издании: А. С. Пушкин. Поэмы. Сказки, т. II. Изд. «Советский писатель», Л., 1939, стр. 255—261 (Библиотека поэта).

восстановить картину его создания, а из рукописей «Езерского» удается извлечь его первоначальную, свободную от позднейших цензурных переделок редакцию. Вместе с тем в основном, в основном предлагаемая здесь работа продолжает и отчасти повторяет то, что уже было сделано другими исследователями.

Что касается принципов изложения материала, то порядок его расположения в статье отражает творческую хронологию замыслов, а история текста по возможности раскрывается как история постепенного становления замысла вплоть до окончательного его формирования. Наибольшее внимание уделяется при этом тем стадиям творческой эволюции, когда замысел произведения еще не вполне оформился, и тем моментам, когда в развитии замысла намечается тот или иной поворот.

2

В пятом томе Академического Полного собрания сочинений Пушкина основной текст «Езерского» печатается по белой, с несколькими слоями поправок, рукописи. Кроме нее, до нас дошли черновые (частично перебеленные) записи «Езерского», разбросанные в разных местах: Пушкин делал их в четырех тетрадах и на отдельных листах.

Прежде чем приняться за родословную героя, которая станет основной темой всей написанной им части «Езерского», Пушкин набрасывает и несколько раз перерабатывает две первые строфы, пробуя дать своему замыслу то одно, то другое направление — в зависимости от того, какого он выбирал героя. Эта первоначальная стадия работы закрепилась в трех рукописях: в записной книжке 1828—1835 годов,¹⁴ в Плетневско-Гротовской тетради (ПД № 421) и на отдельном листе, шитом позднее в одну из так называемых «жандармских тетрадей».¹⁵ Все эти записи были изучены и довольно подробно описаны, но последовательность их в разных работах и в разное время намечалась по-разному.

Публикуя текст Плетневско-Гротовской тетради, Б. Л. Модзалевский назвал ее наброски самыми ранними на том основании, что вторая строфа в ней очень исчеркана, а имя героя еще не определилось (автограф дает несколько вариантов).¹⁶ Н. В. Измайлова сравнительный анализ набросков записной книжки и Плетневско-Гротовской тетради привел к иному выводу: работа над обеими рукописями велась так, как будто поэт попеременно обращался то к одной, то к другой.¹⁷ Но если в принципе это наблюдение было верным, то в отношении последовательности набросков исследователь ошибался. Позднее, в пятом томе Академического издания Полного собрания сочинений Пушкина Н. В. Измайлов расположил на-

¹⁴ ПБЛ № 43; новый шифр: ПД, ф. 244, оп. 1, № 840 (сокращенно: ПД № 840); в дальнейшем новый шифр указывается только при первом упоминании автографа, в остальных случаях мы будем пользоваться старыми обозначениями, принятыми как во всех прежних работах, так и в Академическом издании. Л. Б. Модзалевский датировал записную книжку 1828—1833 годами (Рукописи Пушкина в собрании Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде. Изд. «Academia», Л., 1929, стр. 24). Первые записи в ней, действительно, делались в 1828 году, последние же (запись расходов на л. 81) относятся к 1835 (см.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 381—382).

¹⁵ ЛБ № 2375, л. 60 (ПД № 931).

¹⁶ Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. ГИЗ, Пгр., 1922, стр. 3—5. Б. Л. Модзалевский отнес эти наброски к «Медному всаднику»: замыслы «Езерского» и «Медного всадника» тогда еще не разделяли.

¹⁷ «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, стр. 174—175 и сл.

броски начала уже по-иному. Но в Академическом издании расположение текста отражает последовательность его частей в пределах каждой отдельной рукописи, поэтому более поздняя черновая переработка нескольких строк первой строфы и поздний черновой вариант второй строфы из записной книжки ПБЛ № 43 помещены в пятом томе раньше текста тех же строф по записям Плетневско-Гротовской тетради.¹⁸ Кроме того, в Академическом издании варианты для стихотворного текста в большинстве случаев приводятся отдельно к каждой строке (иногда в виде нескольких связанных между собой стихов). Позволяя полностью воспроизвести черновик, такой способ подачи текста дает представление и о процессе работы над каждым стихом. В сочетании с печатающимся тут же сводным текстом, т. е. извлеченным из рукописи последним творческим слоем, этот прием публикации черновиков оказывается наиболее удобным, простым и точным. Однако при изучении творческой истории текста важно бывает выделить в наброске слои работы начиная с первого. Местами Академическое издание передает ход черновой работы путем последовательного воспроизведения слоев текста, но такие случаи сравнительно редки. В частности, в первых набросках «Езерского» слои работы не выделены. Их можно установить, лишь обратившись к самой рукописи.¹⁹ Только внимательное обследование рукописей может помочь и в тех случаях, когда последовательность написания тех или иных отрывков оказывается спорной, сомнительной. А для ранних набросков это может быть существенно потому, что именно в первых записях отражается первоначальное состояние замысла: Пушкин творил с пером в руке и обычно начинал писать сразу же, как только у него возникал новый замысел.

Первый набросок «Езерского» был сделан в записной книжке 1828—1835 годов (ПБЛ № 43) на л. 13.²⁰ Приводим первый слой записи:

Над П.<етер> Б.<ургом> омраченном²¹
 Осенний ветер тучи гнал
 Нева в течении смущенном
 тяжелый вал

¹⁸ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. Академии наук СССР, 1948, стр. 388—391. В дальнейшем цитируется по этому изданию (тт. I—XVI, 1937—1949).

¹⁹ Вот почему, хотя во всех случаях мы даем ссылки на страницы пятого тома, далеко не всегда можно искать полное соответствие между тем, как напечатан тот или иной набросок в Академическом издании, и тем, как он приводится в нашей статье.

²⁰ В пятом томе (стр. 387—388) это л. 12. Дело в том, что в записной книжке ПБЛ № 43 было три нумерации — одна чернилами и две карандашом. Н. В. Измайлов выбрал ту из них, которая обозначена чернилами; но цифры этой пагинации выставлены только на трех листах (7, 8 и 11 — в правом верхнем углу) и счет при ней нужно начинать со второго листа, хотя на первом листе тоже имеется запись Пушкина. Мы будем придерживаться другой нумерации, которой пользовался в своем описании рукописей Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде Л. Б. Модзалевский и которая принята как в издании «Рукою Пушкина», так и в третьем томе Академического издания сочинений Пушкина. Эта нумерация (совпадающая с нынешней архивной) была проставлена начиная с первого листа в правом нижнем углу карандашом. Она не включала в счет корешки двух вырванных (после л. 7) листов и этим отличалась от предшествовавшей карандашной нумерации (в том же правом нижнем углу), при которой обрывки вырванных листов засчитывались. Таким образом, внизу оказались две карандашные нумерации и разница в счете составляла между ними два листа. Проставляя последнюю из них (ту, которой пользовался Л. Б. Модзалевский), ограничились тем, что переправили прежние начертания цифр. Но так как кое-где цифры остались неисправленными, местами эти две нумерации перебивали друг друга, что создавало еще большую путаницу с обозначением листов.

²¹ Во всех рукописях «Езерского» и «Медного всадника» Пушкин пишет «омраченном»; Академическое издание этой особенности написания не сохраняет.

Как бы проситель беспокойный
 Плескал в гранит ограды стройной
 Ее широких берегов
 Среди вечерних облаков
 Рогов луны не видно было;
 [Вдоль темных улиц фон<ари>]

И буйный ветер выл уныло
 Клубя капот сирен ночных
 И заглушая часовых

Этот набросок уже дает онегинскую строфу, хотя и не совсем еще полную.²² В четвертом стихе нет начала; оставив для него место, Пушкин наметил лишь окончание.²³ Десятый стих он написал было, но тут же зачеркнул, перейдя к окончанию строфы — к стихам 12, 13 и 14.²⁴ В первоначальную запись поэт внес некоторые исправления²⁵ и вписал выше и ниже зачеркнутой строки пропущенные стихи 10 и 11:

Вдоль темных улиц до зари
 Уже <?>²⁶ све<тились> фо<ари>

А как только наметились эти стихи, говорившие не о вечернем, а о ночном уже времени (фонари на улицах светились «до зари», т. е. всю ночь до рассвета), так, по-видимому, понадобилось заменить слово «вечерних» в восьмом стихе словом «ненастных». Однако подобное чтение стихов 10 и 11 лишь варьировало первоначальный, сразу же отброшенный стих «Вдоль темных улиц фон<ари>». И Пушкин зачеркнул обе строки, ничем пока не заменив их. Это — первый слой поправок.

Одновременно с исправлениями в первой строфе на обороте листа поэт записал начало следующей, вводящей героя:

В своем безмолвном кабинете
 В то время Э — молодой
 Сидел при слабом свете
 Одной лампы —

Пушкин дописал фамилию героя («Зорин»), сделал кое-какие поправки в следующих двух строчках (см. V, 388) и на этом остановился: должно быть, новый замысел во многом был ему еще неясен.

Вернувшись к нему, Пушкин без существенных изменений переписал первую строфу в другую, так называемую Плетневско-Гротовскую тетрадь (ПД № 421, л. 92 об.),²⁷ оставив место для стихов 10 и 11. Вначале

²² Возможно, этой записи предшествовал не дошедший до нас черновой набросок.

²³ Слово «Приподымалась» вписано позже — более убористым почерком и несколько ниже и левее. Чтобы сохранить при этом размер стиха, Пушкин изменил эпитет («тяжкой вал» вместо «тяжелый»).

²⁴ Если бы Пушкин зачеркнул этот стих не сразу, то, вероятно, оставил бы ниже место еще для одной строки и двенадцатый стих написал бы несколько отступя; он этого не сделал, потому что место для двух пропущенных стихов оставалось выше и ниже зачеркнутого.

²⁵ В стихи 3, 4, 9 и 12 («возмущенном» вместо «смущенном»; «Шумела глухо» вместо «Приподымалась»; «Серпа луны» вместо «Рогов луны»; «вихорь» вместо «ветер»).

²⁶ Ср. V, 387, где помета, свидетельствующая о предположительном чтении — <?>, отнесена к слову «све<тились>». В дальнейшем подобного рода незначительные уточнения, внесенные нами в текст Академического издания, особо не оговариваются.

²⁷ Воспроизведение этого листа см. в названной выше статье Н. В. Измайлова («Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, между стр. 180 и 181).

пятый стих («Как бы проситель беспокойный») при переписывании был опущен, очевидно, по недосмотру. Обнаружив пропуск, Пушкин приписал эту строку сбоку и скобкой обозначил ее место. Тогда же он вписал стихи 10 и 11, восстановив отброшенные прежде варианты:

Вдоль темных улиц фонари
Светились тускло до зари
(V, 390)

и опять заменил в восьмом стихе восстановленный при переписывании эпитет «вечерних облаков» словом «ненастных» (вариант: «дождливых»). Но строфа не надолго становится полной: поэт снова зачеркнул оба стиха.²⁸

На обороте листа (л. 92)²⁹ Пушкин стал разрабатывать вторую строфу, продолжая набросок ПБЛ № 43. Ненастным, дождливым вечером герой поэмы, светский молодой человек, сидит «В своем роскошном кабинете» у камина, погруженный в сонные мечтания. Таково содержание этой строфы, имеющей в рукописи еще самый черновой вид (V, 390—391). Работа над ней не ладилась: каждая строка, кроме двух первых, многократно переделывалась, сбоку появился рисунок сидящего на раздвижном кресле человека.³⁰ Пушкин бросил строфу на двенадцатом стихе, так и не доведя ее до конца; в работе опять наступил перерыв.

Поэт долго не мог подыскать фамилии своему герою. В первом наброске он был назван Зориным. Второй черновик дает несколько вариантов: Герман (?), Гермин, Чацкий, Минский, Рульский и, наконец, Рулин. Позже все они были отброшены.

В Плетневско-Гротовской тетради Пушкин не написал больше ни одной строчки, хотя почти вся тетрадь с этой стороны была чистой. Дальнейшая работа над первыми двумя строфами продолжалась на отдельном листе (ЛБ № 2375, л. 60) и в той же записной книжке ПБЛ № 43.

В записной книжке Пушкин написал новый черновой вариант второй строфы и продолжил обработку первой. Что же касается записи на отдельном листе, то она представляет собой первоначальную беловую редакцию обеих строф с последующей черновой переработкой второй из них. Принято считать, что беловая эта была составлена после всех набросков

²⁸ Если сравнить набросок первой строфы в Плетневско-Гротовской тетради с первоначальным слоем записи ее в записной книжке (ПБЛ № 43, л. 13), мы убедимся, что первый был написан позже, ибо стих 4 в нем полный, стихи 10 и 11 вписаны гораздо более уверенно, учтен ряд поправок к раннему наброску, а стих 9 вносит новый, уточняющий штрих в картину ненастного вечера: «Луны ни звезд не видно было» (вместо «Серпа луны не видно было»; курсив мой, — О. С.).

²⁹ Плетневско-Гротовская тетрадь, как и многие другие рабочие тетради Пушкина, заполнялась с двух сторон. Более ранние записи («Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве» и «Богородицыны дочери») были сделаны в 1830—1831 годах, и с той стороны, где они находятся, ведется счет листов в тетради. «Езерского» Пушкин набросал с другой стороны (вслед за первоначальным планом «Капитанской дочери»). Так как при этом тетрадь была перевернута и заполнялась от конца к середине, счет листов становится обратным (см.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание. Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1937, стр. 175—176, № 421; наброски «Езерского» обозначены здесь как отрывки из «Медного всадника»).

³⁰ Б. Л. Модзалевский не без оснований допускал возможность связи между этим рисунком и текстом (Сборник Пушкинского Дома на 1923 год, стр. 5). Чаще всего, однако, такой связи не существует, и появление рисунков свидетельствует лишь о заминках в работе (таковы рисунки на лицевой стороне этого листа, под текстом первой строфы).

записной книжки и Плетневско-Гротовской тетради и, таким образом, является итогом предшествующей работы. В самом деле, первая строфа в белой редакции (V, 391—392) существенно не отличалась от остальных набросков, но в ней не был учтен второй слой поправок, сделанных в записной книжке. Там эти поправки частью были вставлены в текст первой строфы на л. 13, частью намечены на обороте предыдущего, 12-го листа в виде черного наброска к первым шести стихам (V, 388—л. 11 об.), в структуру которых Пушкин вносил некоторые изменения.³¹ Исправления на л. 13 Пушкин сделал одновременно с записью на л. 12 об.,³² вернее сразу же после нее, потому что некоторые поправки связаны с вариантами черного наброска.³³ Часть поправок второго слоя Пушкин учел в дальнейшем при работе над первой строфой в тетради ЛБ № 2373 (ПД № 842).³⁴ Этим близость текстов записной книжки и названной тетради не ограничивается: в тетради ЛБ № 2373 (л. 19) четвертую строку Пушкин первоначально начал так же, как она читалась в наброске записной книжки, а фраза:

— фонари
В замен угаснувшей зари
Светили тускло —

в точности соответствовала стихам 10 и 11 этого наброска (ср. V, 394, 387). Между перебеленной записью первой строфы (ЛБ № 2375, л. 60) и

³¹ В первой строке рифмующим словом стало «Петроградом», по-новому был написан стих 3 («Дышало небо влажным хладом»), в стих 4 было сведено содержание двух строк. К стихам 5 и 6 Пушкин наметил несколько вариантов, но почти все их зачеркнул. Набросок на л. 12 об. несомненно появился после записи на л. 13, и горизонтальная черта на месте второй строки означала, что стих этот повторялся без всяких изменений, как в записи справа.

³² Как эти поправки, так и набросок на л. 12 об. написаны более темными чернилами. Такими же чернилами была сделана запись второй строфы на л. 14 и рисунок на обороте л. 13.

³³ Таковы исправления в стихах 5 и 7 (курсив мой, — О. С.):

Как челобитчик беспокойный
Толкался у ограды стройной
Ее *границных* берегов
(V, 387).

Тогда же были сделаны поправки в стихах 3 («смущенном» вместо «возмущенном»), 6 («Толкался у» вместо «Плескал в гранит»), 9 (зачеркнуто «Серпа луны», вписано «вечерних» <?> звезд), 12 (зачеркнуто «И буйный», вписано «Дождь капал» и восстановлено «ветер») (V, 387—388 — л. 12). Такими же темными чернилами исправлен и стих 11 (сначала зачеркнуто, а потом восстановлено слово «тускло»), вместе со стихом 10 приписанный внизу на л. 13 (он написан более светлыми чернилами и появился здесь раньше последнего слоя поправок, но позже записи в Плетневско-Гротовской тетради). На исправлении в стихе 9 следует остановиться особо. Академическое издание предлагает читать неясно написанное слово перед словом «звезд» как союз «и» (V, 387). Судя по начертанию, это скорее недописанное слово «вечерних». Пушкин наметил его в тот момент, когда зачеркнул слова «Серпа луны», и едва ли в результате исправления должно было получиться такое чтение, как «[Луны] и <?> звезд не видно было». Что же касается предложенного нами («вечерних» <?> звезд не видно было), то Пушкин мог перенести его в последний слой первой строфы (ПЕЛ № 43, л. 13) из перебеленного ее текста на отдельном листе (ЛБ № 2375, л. 60; см. V, 391). А для таких именно случаев неразборчиво, сокращенно написанные слова — обычное явление. Точно так же обычны в черновиках Пушкина случаи, когда слово, начинающее строку, оказывается написанным со строчной буквы.

³⁴ См. V, 394: стих 6 («Как челобитчик беспокойный») и переработка первого четверостишия (ср. V, 387, 388 — лл. 12, 11 об.).

черновиком в тетради ЛБ № 2373 такой близкой связи установить не удается.

Тексты второй строфы в беловой редакции (ЛБ № 2375, л. 60) и в черновой записи (ПБЛ № 43, л. 14) по содержанию в основном совпали. И в той и в другой героем оказывался не светский денди, как в первом варианте, а бедный чиновник, живущий в «конурке» на пятом этаже. Только в черновике сообщалось, что он сидя дома занимался перепиской бумаг, а в беловой рассказ начинался с возвращения молодого чиновника в свой «чулан», причем описание комнаты подавалось как осмотр ее самим героем. Характеристика героя и обстановки, его окружающей, в беловой рукописи занимала всю строфу; композиция черновика была несколько иной. Последние строки его:

Но может статься
Захочет знать читатель мой
Кто сей чиновник молодой —

(V, 389)

намечали дальнейший ход повествования, подводили к родословной героя. Но как раз эта концовка и напоминает окончание первой строфы в тетради ЛБ № 2373. Кроме того, именно в наброске записной книжки, в первоначальном варианте пятого стиха второй строфы, впервые встречается имя героя «Ив.<ан> Езерский», имя, которое будет окончательно закреплено за ним в рукописи ЛБ № 2373 (см. V, 389, 395).

Всё это вместе со сказанным выше о первой строфе заставляет предположить, что беловой автограф первых двух строф был написан не после второго слоя поправок в первоначальном тексте первой строфы и чернового наброска второй в записной книжке ПБЛ № 43, а ранее их, хотя и позже набросков Плетневско-Гротовской тетради. То, что в черновой записи ПБЛ № 43 характеристика чиновника и описание его жилища давались более сдержанно, более лаконично, чем в перебеленном тексте, не только не противоречит такому предположению, но, наоборот, подкрепляет его, ибо при переходе от первых разрозненных набросков к связанной и более полной рукописи работа над текстом велась как раз в направлении сокращения описаний (так, две первые строфы были сжаты в тетради ЛБ № 2373 в одну). Перебеляя первую строфу (ЛБ № 2375, л. 60), Пушкин мог пользоваться записью ее в Плетневско-Гротовской тетради.³⁵ Текст второй строфы был переписан, очевидно, с не дошедшего до нас черновика. А беловая запись позднее сама послужила основой для черновой переработки второй строфы в записной книжке.³⁶

Итак, чистовую запись первых двух строф следует признать промежуточной между текстом Плетневско-Гротовской тетради и последним слоем записей в ПБЛ № 43. Но прежде чем приняться за переделку второй строфы в записной книжке, Пушкин попытался переработать ее на обороте того же листа, где находилась беловая запись. Он внес несколько исправ-

³⁵ Стих 4 («Шумя, неслась. Упрямый вал»; V, 391) почти точно повторял первоначальный вариант этой строки в Плетневско-Гротовской тетради (V, 390); впрочем, в первом варианте стиха 13 встречается слово «сирен», как в наброске записной книжки, правда, замененное потом словом «дев» (опять как в Плетневско-Гротовской тетради).

³⁶ Первые стихи были написаны здесь сразу, с очень незначительными пометками в стихах 3 и 4; вторая строка («В том доме, где стоял и я»), видимо с целью смыслового ее выделения, заключена в скобки, которых не было в беловой; запись становилась черновой со второго четверостишия, с которого собственно и начиналась переделка текста (V, 388—389).

лений в текст первой строфы и, перечеркнув всю вторую, начал писать ее заново:

Взбежав по ступеням отлогим
Гранитной лестницы своей
В то время Волин с видом строгим
Звонил у запертых дверей...

(V, 392).

Снова герой — светский человек, богатый барин, как и в первых набросках, с той лишь разницей, что он не дремлет в своем кабинете, а возвращается домой, чем-то озабоченный, раздраженный нерасторопностью слуги. Больше мы ничего не узнаем о Волине, так как и этот черновик был брошен.

Таким образом, начав работу над новой поэмой в записной книжке ПБЛ № 43, Пушкин продолжал ее в Плетневско-Гротовской тетради, затем (предварительно где-то набросав вчерне новый вариант второй строфы) переписал обе строфы на отдельный лист, потом вторую строфу еще раз переработал на обороте листа и снова вернулся к записной книжке.

Каждый раз переход от одной рукописи к другой сопровождался более или менее длительным перерывом в работе. Пушкин неоднократно возвращался к тексту первой строфы, дополняя его и изменяя, уточняя отдельные штрихи картины. Трижды подвергалась коренной переработке вторая строфа, и это было вызвано колебаниями поэта в выборе: сделать ли героем светского молодого человека типа Онегина или бедного чиновника.

В первых набросках Пушкин намечает светский вариант замысла, потом делает героем повествования бедного петербургского чиновника, вновь возвращается к герою-аристократу и, наконец, останавливается на мелком чиновнике. Самые эти колебания свидетельствуют, что новый замысел еще не успел определиться.

Так заканчивается первый этап работы Пушкина над замыслом поэмы в онегинских строфах.

3

Пушкин возобновил работу над поэмой в тетради ЛБ № 2373,³⁷ где черновики «Езерского» занимают более шести страниц большого формата (лл. 18 об.—21 об.).³⁸ К этому времени выбор героя был уже сделан: это мелкий чиновник, обедневший потомок некогда знатного боярского рода.

³⁷ С. М. Бонди называет ее второй синей (считая, очевидно, первой синей тетрадь ЛБ № 2382 (ПД № 841), тоже из бумаги темно-голубого цвета, in folio). Название это не совсем удачно, так как среди дошедших до нас рабочих тетрадей Пушкина еще две тетради (ЛБ № 2365 и ЛБ № 2367) имеют бумагу голубого цвета. Тетрадь ЛБ № 2373 записывалась в 1829—1833 годах; она известна также под названием второй арзрумской (первой арзрумской считается тетрадь ЛБ № 2382, в которой Пушкин делал путевые заметки во время путешествия в Арзрум). Однако едва ли можно называть ее так только потому, что в ней находится черновик «Тазита» — поэмы, навеянной впечатлениями поездки на Кавказ.

³⁸ См. V, 394—404. Как здесь, так и в большинстве других случаев для обозначения листов приходится пользоваться, когда она есть, жандармской нумерацией (красными чернилами), которая, при всей ее неполноте и неточности, остается пока общепринятой. Правда, в тетради ЛБ № 2373, которую Пушкин заполнял с двух сторон, оказалось две красные нумерации, но, учитывая последовательность записей, счет листов следует вести с того конца, где на первом листе чернилами, по-видимому рукой самого Пушкина, написан номер тетради («б»), а записи начинаются с черновика стихотворения «Медок».

Родословная Езерских, развернутая на фоне русской истории и доведенная до отца героя, занимала здесь семь строф из восьми.

Содержание прежних первых двух строф (описание ненастного петербургского вечера и возвращение героя) теперь было сведено в одну. Хотя I строфа создавалась на основе прежних набросков, целиком она не сразу удалась поэту, и, оставив место для ее окончания, Пушкин перешел к II строфе, открывающей родословную («Начнем *ab ovo*, мой Езерский»); затем он снова вернулся к I, внес в нее несколько поправок, переработал первое четверостишие и после целого ряда черновых вариантов нашел к ней заключительные стихи.³⁹ Они прямо подводили к родословной героя.

Третья строфа («Ондрей, по прозвищу Езерский») писалась так же легко, как и II: вероятно, ранее к ним уже были сделаны черновые наброски. Более значительной работы потребовали две следующие строфы — IV («В архивах и в летописаньях») и особенно V («Во дни крамолы безначальной»), где каждый стих, кроме первого и третьего, перерабатывался неоднократно. Хотя в черновике строфа доведена до конца, Пушкин перерчеркнул ее.⁴⁰

Как правило, в работе над каждой строфой поэт шел последовательно от четверостишия к четверостишию. Заминки в работе, как это обычно бывало у Пушкина, сопровождаются цифровыми подсчетами и рисунками пером. Они встречаются на каждой странице: на полях, среди текста и по самому тексту (секира, скачущие лошади, куст, холмы, лодка с парусом, профили голов), но на занятых черновиками «Езерского» шести страницах нет ни одной посторонней записи. Ничто не отвлекало Пушкина от начатой поэмы, и все восемь строф были написаны быстро, не более чем в два или три приема.⁴¹

Наброски последней, VIII строфы («И тут Езерские возились») обрываются на обороте л. 21. В ней родословная Езерских кончается дедом героя. Следующий лист из тетради вырван, а далее идет лист почти совсем чистый (и потому, видно, оставшийся без жандармской пометы).⁴² С. М. Бонди допускал, что на вырванном листе текст «Езерского» мог продолжаться еще строфы на три-четыре.⁴³ Это предположение не оправдилось. Вырванный лист нашелся; он сохранился в бумагах Пушкина и был вшит в одну из жандармских тетрадей (ЛБ № 2386А, л. 15 (ПД № 1021)),⁴⁴ но на нем нет ни одной строчки «Езерского». На лицевой его

³⁹ Что они были написаны последними на этой странице, видно по отпечатку, который получился на обороте предшествующего листа.

⁴⁰ Правда, сам же Пушкин не считался с этим зачеркиванием: позже, просматривая черновик с карандашом в руке, он начал переделывать в V строфе восьмой стих, а затем вместе с другими переписал ее набело.

⁴¹ Небольшая остановка была, вероятно, после VI строфы («Когда ж средь Думы величавой»; л. 20 об): последние строки ее отпечатались на следующем, 21-м листе, на котором написана VII строфа («[Петра] не стало; государство»). Отпечатки с лицевой стороны листа на оборот предыдущего могли получаться всякий раз, когда исписанная страница переворачивалась. Но отпечатки с оборота листа появлялись лишь в том случае, если работа приостанавливалась и тетрадь сразу же закрывалась. Приведенный выше первый стих VI строфы в Академическом издании напечатан неправильно: «Когда от Думы величавой» (V, 399). Нами он исправлен по рукописи, где слово «средь» в первом варианте стиха («Когда средь Думы величавой») Пушкин сначала зачеркнул, но потом восстановил и над строкой приписал «ж» (а не «от»).

⁴² Сверху на лицевой стороне его чернилами начато и зачеркнуто: «Я посету»; пониже нарисована карандашом женская голова в профиль.

⁴³ См.: Комментарий, стр. 37.

⁴⁴ В отличие от дошедших до нас восемнадцати переплетенных тетрадей, альбомов и записных книжек Пушкина (так называемых «органических»), эти тетради были шиты жандармскими писцами — при разборе бумаг поэта после его смерти — из от-

стороне, кроме рисунков пером (голова старухи в чепце и клинок без рукоятки), находится прозаический набросок — об одной из неприятностей стихотворческого ремесла (VIII, 2, 961), который, по-видимому, Пушкин предполагал ввести в написанный ранее «Отрывок» («Не смотря на великие преимущества»). оборот листа занят черновиком письма к М. П. Погодину, где речь идет о программе задуманной Пушкиным политической газеты (XV, 220). Обе записи сделаны карандашом.

Рисунки на лицевой стороне листа появились несомненно тогда же, когда на обороте предшествующего листа (л. 21 об.) Пушкин набрасывал VIII строфу «Езерского».⁴⁵ Записи карандашом были сделаны позже: они обходят рисунки. Черновик письма Погодину, судя по расположению концов строк относительно края обрыва, писался на листе уже вырванном. Видимо, Пушкин для того и вырвал лист из тетради, чтобы написать этот черновик, и тут же переписал его на отдельный листок (ПД № 584),⁴⁶ наполовину сократив черновой текст и добавив несколько строк о своем желании подготовить для будущей газеты критический обзор современной французской литературы (XV, 29). Письмо не было отослано: в нем нет ни подписи, ни даты, ни адреса.⁴⁷ Оно заканчивалось словами: «На днях еду в Москву и надеюсь с Вами увидеться». Об издании политической газеты Пушкин усиленно хлопотал в 1832 году,⁴⁸ тогда же он ездил и в Москву. 10 сентября 1832 года датировано его прошение об отпуске (XV, 206), 17 сентября он выехал из Петербурга. Очевидно, письмо было написано незадолго до отъезда (отчего Пушкин и не отправил его), скорее всего около 10 сентября.⁴⁹ Это письмо позволяет более точно датировать черновую «Езерского».

Принято считать, что работу над «Езерским» Пушкин начал в самом конце 1832 года, а черновую восьмью строфу в тетради ЛБ № 2373 относят даже к январю 1833 года.⁵⁰ Письмо к Погодину заставляет отодвинуть эти даты примерно на полгода назад. Черновой текст «Езерского» в тетради ЛБ № 2373 несомненно был написан раньше письма, т. е. до сентября 1832 года. К весне 1832 года приходится отнести и сделанные в разных местах записи двух первых строф.

Можно предполагать, что первые наброски «Езерского» в записной книжке 1828—1835 годов (ПБЛ № 43) появились в то же примерно время, когда Пушкин стал заполнять книжку с обратной стороны. С одной она уже была занята записями 1828 (отрывок из VII главы «Евгения Онегина» и «Каков я прежде был, таков и ныне я») и 1830 годов («Слышу

дельных пачек и листов. Все исписанные листы в них, так же как и в «органических» тетрадях, были перенумерованы красными чернилами.

⁴⁵ Две верхние строки с л. 21 об. отпечатались на вырванном листе. Рисунки на этом последнем сделаны чернилами, так же как и записи «Езерского» и рисунки среди текста VIII строфы на л. 21 об. (где, между прочим, тоже были нарисованы кинжал и клинок без рукоятки).

⁴⁶ Всё это было сделано сразу: вырван лист, набросан черновик письма, написан его чистовой вариант. И когда Пушкин переписывал письмо набело, листок лежал на раскрытой тетради: на следующем (после вырванного) листе остался отпечаток последних строк первой страницы письма.

⁴⁷ В нем нет и обращения; адресат впервые был указан В. И. Саитовым в 1908 году во втором томе «Переписки» Пушкина.

⁴⁸ 11 июля 1832 года он сообщил Погодину, что газету ему разрешили (XV, 27).

⁴⁹ Ср. XV, 247, где оно датируется первой половиной сентября 1832 года.

⁵⁰ См.: Комментарий, стр. 38; V, 515. В указанной статье 1930 года (стр. 180) Н. В. Измайлов предлагал отнести начало работы над «Езерским» к осени 1830 года, однако другими исследователями эта датировка не была принята (см. статьи Б. В. Томашевского — «Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 1090, и С. М. Бонди — Комментарий, стр. 37—38), да и сам автор впоследствии от нее отказался.

умолкнувший звук божественной эллинской речи»); наброски первых двух строф «Езерского» примыкают к ним. С другой стороны, в обратном направлении, книжка заполнялась начиная с 10 марта 1832 года. Помеченные этой датой записи связаны с посещением и первым осмотром библиотеки Вольтера в Эрмитаже. Тогда Пушкин зарисовал стоявшую в библиотеке статую Вольтера работы Гудона и на нескольких листах сделал выписки из каталога библиотеки. Надо думать, что ограничиваться этим посещением Пушкин не собирался и, вероятно, намерен был продолжать выписки на соседних листах. Но в ближайшие дни это не удалось, и 16 марта он уже занял несколько следующих страниц записью букв еврейского алфавита. Далее с этой стороны идут наброски стихотворений «В тревоге пестрой и бесплодной» и «Когда-то (помню с умилением)»,⁵¹ перевод «Цыганочки» Сервантеса (с испанского на французский и обратно) и некоторые другие записи, не поддающиеся сколько-нибудь точной датировке,⁵² в числе их текст, занимающий одиннадцать страниц, — перевод со старофранцузского языка на новофранцузский начала сатирической поэмы «Le Roman du Renard».⁵³

Вероятнее всего, первоначальный набросок «Езерского» появился в записной книжке вскоре после 10 и не позднее 16 марта. Если бы Пушкин сделал его до 10-го, то, наверное, написал бы его на первых же чистых листах с обратной стороны, где книжка тогда была еще свободной; если бы он принялся за этот замысел позже 16 марта, наброски поэмы могли быть написаны после любой из тех коротких записей, которые он делал 16, 18 марта и 9 апреля: чистых листов впереди было много и оставлять их ни для чего не требовалось. Такая необходимость могла ощущаться лишь в ближайшие дни после 10 марта, и если допустить, что замысел новой поэмы возник именно в этот момент, станет понятным, почему наброски к нему Пушкин начал делать после записей 1830 года.⁵⁴

Как бы то ни было, датой начала работы над «Езерским» предположительно может быть принято 10—16 марта 1832 года. Вероятно, работа над первыми двумя строфами в Плетневско-Гротовской тетради, на отдельном листе и в записной книжке ПБЛ № 43 продолжалась с перерывами во второй половине марта—первой половине апреля. А затем, в промежуток с апреля до сентября, был написан черновой текст восьми строф в тетради ЛБ № 2373.

Черновик «Езерского» в тетради ЛБ № 2373 содержит самый полный текст родословной, в других рукописях она либо не вся сохранилась, либо была сокращена самим поэтом.

Не всё отделано здесь до конца, но характерные очертания онегинской строфы отчетливо проступают даже в самых черновых записях. Все строфы объединены одним замыслом, но каждая из них развивает свою мысль. Касаясь важнейших событий русской истории, поэт приурочивал каждую строфу к определенному историческому периоду (Киевская Русь, борьба с татарами, местничество, смутное время, воцарение Романовых, царствова-

⁵¹ В беловых рукописях первое датировано 18 марта, второе — 9 апреля 1832 года.

⁵² Исключение составляет запись расходов на л. 81, которая датируется 4 и 5 сентября 1835 года.

⁵³ Состав записной книжки описан Л. Б. Модзалевским (см.: Рукописи Пушкина в собрании Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде, стр. 24—26), и большая часть записей опубликована в книге «Рукою Пушкина».

⁵⁴ Впрочем, не исключено, что «Езерский» был начат и во время работы над переводом «Le Roman du Renard», если только перевод этот делался не в 1835 году, а весной или летом 1832 года.

ние Петра I, боярская оппозиция после его смерти, правление Екатерины II). И на этом фоне один за другим проходили отдельные представители и целые поколения рода Езерских, очерченные двумя-тремя беглыми, но чрезвычайно выразительными штрихами.

В тетради ЛБ № 2373 весь черновик «Езерского» написан чернилами. Однако в нем имеется довольно много исправлений карандашом (кроме IV, во всех строфах). Часть поправок осталась, правда, незаконченной, зато ряд других подчеркивал, усиливал в тексте такие моменты, которые официальная история старалась обойти или сгладить.⁵⁵ Этот слой поправок был учтен при составлении белой сводки; возможно, что и появился он незадолго до переписывания черновика набело.⁵⁶

4

Из тетради ЛБ № 2373 Пушкин переписал «Езерского» в альбом ЛБ № 2374 (ПД № 845), где эта белая стала одной из первых записей. Тут же он продолжил и черновую работу над поэмой. Записи «Езерского» находились по меньшей мере на одиннадцати листах. В альбоме их осталось только два, остальные были вырваны, но большая часть листов сохранилась и была найдена Т. Г. Зенгер-Цявловской и Н. В. Измайловым. Место вырванных листов, состав альбома в целом, история его заполнения и ход работы над «Езерским» — все эти вопросы освещены в статьях С. М. Бонди «История заполнения „Альбома 1833—1835 годов“» и «„Езерский“ и „Медный всадник“» в «Комментарии» к фототипическому изданию альбома (стр. 16—21, 35—45).

С тем, что говорится в этих статьях, в большинстве случаев нельзя не согласиться. Правда, некоторые положения С. М. Бонди могут быть уточнены или развернуты, одни его предположения (а исследователь в каждом почти случае стремился упомянуть обо всех могущих возникнуть

⁵⁵ Во II строфе: «Чей дух воинственный и зверской» вместо «Чей тяжкой меч и парус держай»; в VI строфе: «За связь с царевичем» вместо «За связь с стрельцами»; в VIII строфе: «Хитрили с злоб(ным) <?> Трубецким» вместо «Шептали с хитрым Трубецким»;

[И] Бирон, деспот непреклонный
Смирал их род неугомонный

вместо

И Бирон, [твердый] непреклонный
Ласкал их род неугомонный

(V, 395, 400, 402—403).

В Академическом издании отмеченная выше поправка в тексте VI строфы напечатана среди вариантов как недовершенная (V, 400, примеч. 2з), тогда как в сводный текст введен стих с ошибочной конъектурой: «За связь с царев(ною) <?> — другой». Если считать поправку карандашом незаконченной, надо печатать стих таким, каким он был до исправления: «За связь с стрельцами, а другой» (см. у С. М. Бонди — Комментарий, стр. 37). Но недоконченной переделка осталась не в этом стихе, а ниже, поэтому поправка «царевичем» может быть включена в сводку, как это и было сделано Б. В. Томашевским (см.: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. IV, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1949 и 1950, стр. 518; изд. 2, т. IV, 1957, стр. 534).

⁵⁶ Не вошел в беловую последний вариант стихов 7—9 I строфы, написанный карандашом на л. 18 об.:

ветер выл
Дождь капал крупный — мрачен был
Ненастный вечер — в это время

(V, 395).

предположениях) должны быть приняты, другие — отклонены. Но дело не в частных расхождениях, а в тех выводах, к которым приходит исследователь в отношении последовательности и хронологии текстов, в отношении того, что нужно считать основной редакцией «Езерского». С. М. Бонди в силу тех задач, которыми определялось его исследование, представил в большей степени внешнюю сторону работы над текстом (полистное описание его с указанием, где работа шла легче, где труднее, и публикация почти всего чернового текста, тогда еще не напечатанного), чем внутреннюю эволюцию замысла; внимание исследователя было сосредоточено на записях в альбоме ЛБ № 2374, общая же картина движения замысла осталась за пределами его непосредственных наблюдений. Между тем полное и систематическое обследование всего хода работы над «Езерским» и того, как шла переделка текста «Езерского» в черновике «Медного всадника», заставляет отказаться от утвердившегося представления, будто бы печатающиеся теперь пятнадцать строф — это окончательная беловая редакция начала «Езерского», написанная в первой половине 1833 года, вскоре после прекращения черновой работы над этим замыслом.

Восстанавливая тот этап создания «Езерского» (а также и «Медного всадника»), который нашел отражение в альбоме ЛБ № 2374, в ряде случаев приходится повторять то, что уже было сказано. Иногда такие повторения нужны, чтобы сохранить связность изложения, а иногда это необходимо потому, что, несмотря на сходство отдельных наблюдений, выводы в результате сравнительного обследования рукописей делаются другие.

Не все перебеленные Пушкиным строфы (здесь они были занумерованы) дошли до нас; сохранился лист с текстом первых пяти строф (без двух последних стихов V строфы; ЛБ № 2375, л. 33/20),⁵⁷ а также окончание беловой сводки (на половинке листа — ЛБ № 2375, л. 32) — девять последних стихов, под которыми стоит написанная чернилами, как и весь перебеленный текст, римская цифра XI. Хотя одиннадцатой строфы в рукописи нет, цифра указывает, что беловик состоял из десяти строф. Отсутствующие VI—IX строфы, конец V и начало X строфы занимали второй, утраченный, лист.⁵⁸

Сравнение первых пяти строф с соответствующими строфами черновика обнаруживает почти полное совпадение текста (разночтения очень незначительны). Можно думать, что и следующие три строфы родословной (VI—VIII) были целиком переписаны из тетради ЛБ № 2373.⁵⁹ Неизвестно содержание полутора строф: IX и начала X (черновые наброски их до нас не дошли). Но большую часть X мы знаем, она совпадает с текстом X строфы в позднейшем беловом автографе «Езерского». Естественно предположить, что начальные их стихи также были сходны между собой. Что же касается IX строфы, то, судя по характеру дальнейшей черновой работы в альбоме ЛБ № 2374 и по позднейшей беловой рукописи поэмы, она представляла собой краткое отступление на тему об упадке старинного дворянства.

⁵⁷ Это один из тех листов, которые были вырваны из альбома. Об особенностях их нумерации будет сказано ниже.

⁵⁸ См.: Комментарий, стр. 38—39.

⁵⁹ Высказывая различные догадки насчет содержания утерянного листа, С. М. Бонди склоняется именно к этому предположению, тем более вероятно, что среди черновых записей на одном из листов альбома (ЛБ № 2375, л. 36 об./16) встречаются наброски позднейшей переделки окончания VI строфы (см.: Комментарий, стр. 39; Фототипии, стр. 80; V, 400).

Другое предположение, что IX строфа служила продолжением родословной, ничем не подтверждается.

В черновике родословная заканчивалась очень выразительной характеристикой деда героя, вельможи екатерининского времени:

Матвей Арсеньевич Езерский
Случайный, знатный человек
Был [очень] славен в прош⟨лый век⟩⁶⁰
[Своим] умом и злобой зверской
Имел он сына одного
(Отца героя моего)⁶¹

Помимо того, что рассказывать о событиях недавнего прошлого, особенно в том тоне скрытой иронии, в каком выдержана вся родословная, оказывалось более чем затруднительным, читателя необходимо было подвести к началу X строфы («Вот почему, архивы роя»), т. е. объяснить ему причину особого интереса, проявляемого автором к родословной Езерских. Такое объяснение как раз и содержалось в строфе отступления о дворянстве.

Да и нуждалась ли родословная Езерских в каком-либо продолжении? Конец X строфы:

Но сам Езерский только ведал
Что дед его, великой муж
Имел 15 тысяч душ.
Из них отцу его досталась
Осьмая часть — и та сполна
Была давно заложена
Потом дробями продавалась —
А сам он жалованьем жил
И регистратором служил —

— пометки

(V, 405)

достаточно выразительно завершал картину и с предельной ясностью выражал мысль поэта.

Беловую в альбоме 1833—1835 годов Пушкин писал чернилами. Но тон чернил и почерк, каким написаны первые пять строф и окончание десятой, неодинаковы. Видимо, не все десять строф были перебелены одновременно. Скорее всего, сначала Пушкин переписал те восемь строф, которые были почти совсем уже обработаны в черновике, затем сделал черновые наброски двух следующих строф и лишь тогда дописал беловую. Тогда же, просматривая прежнюю запись, он внес в нее некоторые исправления (чернила и почерк такие же, какими написано окончание X строфы). Эти поправки

⁶⁰ В вариантах находим — сначала:

Елисаветой сослан был
В свои поместья —

потом:

Екатериной сослан был
В свои поместья — там он жил

Затем намечается иная судьба:

В Екатеринин славный век
Был очень знатный человек
С умом душою зверской

Усиление отрицательной характеристики Езерского-деда при одновременном упоминании о его положении фаворита («Случайный, знатный человек») потребовало замены слишком определенного: «В Екатеринин славный век» более расплывчатым: «в прошлый век».

⁶¹ ЛБ № 2373, л. 21 об; ср. V, 403—404, где окончание строфы представлено в виде разрозненных набросков.

представляют собой второй слой работы над текстом. Среди них есть и существенные.

Таковы, например, исправления в V строфе. Речь в ней шла о смутном времени, когда многие представители старого боярства, не исключая и Езерских, не только покорно приняли власть иноземцев, но подчас становились на путь прямого предательства. Первоначальный вариант стихов 10—11:

И князь да твердый мещанин
Спасали нас среди дружин

Пушкин заменил здесь следующим:

И за отчину стал один
Нижегородской мещанин
(V, 405).

Производя такую замену, поэт еще сильнее подчеркивал истинно народный характер борьбы с польской интервенцией.⁶² Но строфа и без того звучала слишком резко и была явно неприемлемой для цензуры; Пушкин почувствовал это сразу, как только написал ее в черновике (потому, очевидно, и зачеркнул ее там). Теперь, совершенно отделанная, она стала еще более «нецензурной», и в позднейшую беловую рукопись «Езерского» Пушкин ее не включил, а перебеленный текст перечеркнул карандашом.

Вероятно, после правки белого текста чернилами работа над поэмой приостановилась. Далее черновые записи делались карандашом. Карандашные поправки составляют и следующую строфу работы над перебеленным текстом (вернее не один, а по меньшей мере два одновременных слоя).

Черновые наброски начинались на том же полулисте, на котором оканчивалась X строфа, и продолжались еще на восьми листах. Кроме двух, все листы были вырваны; два листа Пушкин оставил, видимо, потому, что к этому времени другая их сторона была занята иными набросками, имевшими в альбоме продолжение.⁶³ Вырванные листы впоследствии оказались в составе тетради ЛБ № 2375, которую жандармы сшили из отдельных листов, согнув их пополам и вложив друг в друга.⁶⁴ Так как все листы этой тетради были перенумерованы, каждый альбомный лист получил в ней два цифровых обозначения соответственно тому, какое место занимали та и другая его половины.⁶⁵ В альбоме ЛБ № 2374 сохранившиеся

⁶² Между прочим, и в черновой записи этих строк в тетради ЛБ № 2373 гораздо больше места занимают варианты, в которых упоминается один только Минин — «великой мещанин», хотя в последнем чтении видим: «И русский князь да мещанин» (V, 398, 399). Одновременно с переработкой стихов 10—11 Пушкин исправил в беловом тексте V строфы стих 6: «А с Крулем вел переговоры» (вместо «с ляхом»; V, 405). Остальные поправки на дошедшем до нас листке были сделаны в стихах 11, 12 и 14 I строфы и в стихе 6 II строфы (см.: Фототипии, стр. 71—73).

⁶³ Стихотворением «Французских рифмачей суровый судия» и одним из планов «Капитанской дочки». Очевидно, листы из альбома Пушкин вырвал в октябре 1833 года, поэтому более правильной является та датировка стихотворения, которую дает Н. В. Измайлов: февраль—начало октября 1833 года (см. III, 2, 1244; ср. у С. М. Бонди: после октября 1833 года и до 10 августа 1834 года; Комментарий, стр. 20).

⁶⁴ Сюда же попали позднейшая беловая «Езерского» и первая беловая рукопись «Медного всадника».

⁶⁵ Подробнее об этом см.: В. Е. Якушкин. Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве. «Русская старина», 1884, т. 41, февраль, стр. 414; т. 43, сентябрь, стр. 645, 648 и сл. В Академическом издании вырванные листы, в соответствии с жандармской их нумерацией, обозначаются как два листа

с текстом «Езерского» листы располагались в таком порядке: лл. 33/20 (беловая пяти строф), 32 (половина листа), 31/21 — по нумерации ЛБ № 2375; два листа — 3 и 4, оставшиеся в альбоме ЛБ № 2374, и л. 32, вырванный из альбома, но подложенный в конец его и там занумерованный; лл. 36/16, 34/19 — оба по нумерации ЛБ № 2375.⁶⁶ Кроме того, три листа потеряны: на одном продолжался перебеленный текст (с конца V строфы), два других были заняты черновыми набросками и в альбоме ЛБ № 2374 располагались между лл. 3 и 4.⁶⁷

Черновая работа над текстом не была здесь так интенсивна, как в тетради ЛБ № 2373. В альбоме ЛБ № 2374 листы с набросками «Езерского» перебивались страницами и целыми листами постороннего текста. Пушкин много раз возвращался к одному и тому же, намечая различные композиционные перестановки, переделывая отдельные строфы, но так и не приступив к развитию сюжета; его внимание сосредоточилось на двух отступлениях: об упадке старинного дворянства и о праве поэта на выбор героя.

С разработки строф первого отступления, которое, как видно, поэт задумал расширить, и начинаются черновые записи в альбоме (лл. 32 — 32 об., 21 об./31; V, 407—409). Правда, сделанную на л. 32 запись строфы «Мне жаль что мы руке наемной» нельзя назвать черновой: весь текст был написан сразу и очень чисто; вероятно, он представлял собой переработку иной, не дошедшей до нас редакции, в которой эта строфа, в качестве IX, входила в состав первоначальной беловой.⁶⁸ К первому четверостишию следующей строфы «Мне жаль что дома наши новы» Пушкин предварительно сделал черновые наброски, но в целом она осталась не вполне обработанной,⁶⁹ так как от двухстрофного варианта отступления поэт отказался. Наметив неполные три строки, в которых упоминалось

(притом разными способами). Мы тоже вынуждены пользоваться жандармскими номерами, но у нас речь идет не о листах жандармской тетради, а о листах пушкинского альбома. Ввиду того, что в тетрадь ЛБ № 2375 эти листы были вшиты лицевой стороной вовнутрь, то при нумерации больший номер приходился на правую половину лицевой стороны листа, а меньший — на оборот левой половины листа. Поэтому каждый из вырванных листов мы будем обозначать двойной цифрой, например: л. 33/20 (полный лист), л. 20 об./33 (лицевая его сторона), л. 33 об./20 (оборотная сторона).

⁶⁶ Новые шифры вырванных листов: ПД №№ 930, 929А, 929Б, 845, 928, 927.

⁶⁷ См. схему состава альбома — Комментарий, стр. 21. Лист 32 (по нумерации ЛБ № 2374) каким-то образом попал в тетрадь ЛБ № 2375 и был включен В. Е. Якушкиным в ее описание («Русская старина», 1884, сентябрь, стр. 653). В Академическом издании этот лист обозначается по-разному (ср. V, 412, 416, 514). В фототипическом издании альбома ЛБ № 2374 вырванные листы воспроизведены и описаны в виде приложения.

⁶⁸ См.: Комментарий, стр. 38, 39.

⁶⁹ В Академическом издании (V, 408—409) последние четыре стиха представлены в виде двух набросков, не связанных с предшествующими десятью стихами рифмой. Однако черновая рукопись позволяет восстановить связанный текст строфы в целом:

Мне жаль что дома наши новы
 Что выставляют стены их
 Не льва с мечем не щит гербовый
 А ряд лишь вывесок цветных
 Что [наши] бабушки и деды
 Для назидательной беседы
 С жезлами, розами в звездах
 В роброндах, в латах париках
 У нас не блещут в старых рамах
 Мне жаль что шайка торгащей
 <Бранить> <?> дворянство преж<них> дней
 [Дерзает] в плоских эпиграммах
 И геральдического <льва>
 Лгать присвоила права

о Байроне («Поэту-лорду подражая»),⁷⁰ Пушкин на этой же странице стал переделывать отступление о дворянстве по-новому. Из двух строф он составил одну, взяв первое четверостишие («Мне жаль что дома наши новы») из второй, а все остальные стихи из первой строфы; второе четверостишие было при этом изменено лишь незначительно, третье же переделано из первого (первой строфы) путем перестановки рифмующих строк (замена перекрестной рифмы опоясывающей). Видимо, на этой редакции отступления Пушкин пока и остановился, перечеркнув обе написанные прежде строфы.⁷¹

На время работа была прервана. Обратную сторону листа занимают рисунки и посторонний текст (набросок сказки «Царь увидел пред собою»). Должно быть, Пушкин не очень скоро вернулся к поэме, так как на следующем листе альбома (ЛБ № 2374, л. 2) начал упражняться в переводе с греческого.⁷²

Записи «Езерского» возобновляются на л. 3 об. (ЛБ № 2374). Поэт намечает здесь два варианта стиха: «[Езерский] [с сим] [соображая]» и «[Езерских род пришел в упадок]». Возможно, по мысли они были связаны с карандашными исправлениями конца X строфы (ЛБ № 2375, л. 32):

Ез.ерский сам же твердо ведал
 Что дед его, великой муж
 Имел 15 тысяч душ
 А что из них отцу досталась⁷³
 Осьмая часть — и та сполна
 В ломб.кард была заложена
 Потом дробями продавалась —
 И что не много их отец⁷⁴
 Ему оставил наконец —

Вероятно, просматривая записи «Езерского» после некоторого перерыва в работе, поэт внес эти поправки в текст X строфы и, продолжая мысль, начал новую строфу: «Езерский с сим соображая», но сразу же отказался от такого композиционного хода и, зачеркнув оба варианта строки, переписал на л. 3 об. окончание X строфы в том виде, какой она имела до исправления.⁷⁵ По-видимому, такое повторение понадобилось, чтобы обозначить, что строфа отступления о дворянстве должна стоять перед X, а дальнейшие наброски непосредственно следовать за стихами:

⟨А⟩ сам он жалованьем жил
 И регистратором служил
 (V, 410).

(см.: Фототипии, стр. 76). Лист 31/21 воспроизведен здесь в перевернутом виде, так же и описан: лицевая его сторона названа оборотной, а оборотная — лицевой (см.: Комментарий, стр. 14; ср. там же стр. 18, 40, где положение листа указано правильно).

⁷⁰ Быть может, появление этих строк связано с попыткой переработать начало X строфы. Они были написаны сверху на правой половине л. 21 об./31 после черновика приведенной выше строфы. В «Комментарии» положение этого наброска на листе в одном случае указано неверно (стр. 40, примеч. 3; ср. стр. 14).

⁷¹ Вряд ли стихи 5—12 первой строфы могли быть зачеркнуты раньше (как это сказано в примеч. 4 — V, 407).

⁷² См.: Комментарий, стр. 18, 40.

⁷³ Ср. V, 406: «Его отцу из них досталась»; исправить это чтение удалось после того, как левый край л. 32, прежде подклеенный к л. 31/21, был отклеен.

⁷⁴ В Академическом издании (V, 407) ошибочно напечатано «немного». Предшествующий вариант:

И что одни долги отец

⁷⁵ См.: Фототипии, стр. 6; ср. стр. 73.

На той же странице Пушкин как раз и начал разрабатывать прямо связанное с заключительными строками X строфы второе отступление — о праве поэта избирать себе героя. Ему предшествовал беглый набросок плана (V, 410):

Зачем ничтожных героев?
Что делать я видел Ипс.<иланти>, Паске<вича>
Ермолова⁷⁶

В альбоме сохранилось только начало первой и на л. 4 окончание последней строфы отступления (V, 410—411). Они совпадают с соответствующими стихами второго отступления в позднейшей белой рукописи, где отступление состоит из четырех строф. Как уже упоминалось выше, в альбоме ЛБ № 2374 в этом месте вырвано два листа, на которых, очевидно, и находился черновик недостающей части отступления.⁷⁷

Кроме упомянутых набросков и после них, Пушкин написал на л. 3 об. следующее четверостишие (судя по характеру рифмовки, первое):

Но о прошедшем очень мало
Ив<ан> Ез<ерский> помышлял
Лишь настоящего алкало
В нем сердце — он гулял
(V, 410).

По первым словам наброска можно заключить, что перед начинающейся этими стихами строфой — каково бы ни было ее продолжение — речь должна была идти о прошлом. Эти стихи могли бы следовать или прямо за родословной или за отступлением об упадке дворянских родов; но продолжения их написано не было.⁷⁸

Во втором отступлении поэт утверждал свое право на выбор любого, даже «ничтожного» героя. Начало следующей строфы продолжало ту же мысль:

А посему — имею право
Воспеть соседа моего
(V, 411).

Пушкин написал эту строфу не сразу за отступлением, а через четыре страницы, потому что ближайшие листы альбома (л. 4 об., л. 5 целиком и часть лицевой стороны л. 32) уже были заняты набросками планов «Капитанской дочки».⁷⁹

Переставив в первом четверостишии пары стихов и связав его таким образом со следующим, Пушкин продолжил — путем отрицательного перечисления ряда трафаретных романтических персонажей — защиту своего героя, коллежского регистратора:

Свищите мне, кричите, bravo
Не буду слушать ничего
Я в том стою — име<л> я право⁸⁰
Избрать соседа моего —
В герои нового [романа],

⁷⁶ Набросок перечеркнут (вероятно, после того как строфы отступления были написаны).

⁷⁷ См.: Комментарий, стр. 41.

⁷⁸ Возможно, эти стихи свидетельствуют о попытке переделать начало X строфы (см.: Комментарий, стр. 40), но они никак не вяжутся с тем ее окончанием, которое написано на этой же странице и которое, кстати, вовсе не является новым.

⁷⁹ См.: Комментарий, стр. 18.

⁸⁰ В Академическом издании допущена неточность: «Я в том стою имею право» (V, 411).

[Хоть не похож он на Цыгана
Хоть он [совсем] не Басурман,
Не второклассный Дон-Жуан]
Гонитель дам и кровопийца
С разочарованной душой
С полудевичьей <?> красотой
[Не Демон даже не убийца
Не чернокнижник молодой]
[А малой добрый и простой]⁸¹

Почти все стихи, относящиеся ко второй половине строфы, были вычеркнуты: на следующей странице альбома (ЛБ № 2375, л. 16 об./36) Пушкин переделал их по-новому.⁸² Сильно сократив перечень героев романтического толка, он переходил к характеристике своего героя, скромного молодого чиновника, каких много в Петербурге. Первое четверостишие осталось прежним, далее строфа приобрела такой вид:

В герои повести смиренной
Хоть человек он не военный⁸³
Не бунтовщ<ик> не Басурман
Не Демон даже не Цыган —
А просто гражданин столичный
Каких встречаем [всюду] тьму⁸⁴
Ни по лицу ни по уму
От нашей братьи не отличный
[Довольно] смиренный и простой
А впрочем малой деловой —
(V, 412).

В ходе работы сперва намечался иной вариант третьего четверостишия, в котором характеристика героя ограничивалась перечислением его индивидуальных особенностей:

А просто молодой чиновник
Довольно смиренный и простой
А впрочем малой деловой —⁸⁵
Хоть сочинитель и любовник
(V, 412).

Вместо этого приведенный выше сводный текст дает стихи, где на первый план выдвинута и особо подчеркнута типичность героя. Знаменательно, что и себя, хоть и с оттенком иронии, поэт причисляет к той же «братье» «граждан столичных», которые своим трудом зарабатывают себе на жизнь.

Как и «тьма» ему подобных, Иван Езерский своим лишь «жалованьем жил». Но о служебных занятиях «делового малого» поэт говорит с легкой, едва уловимой усмешкой:

Он каждый день [бывал на службе]⁸⁶
И сев смиренно у бюро —
До трех часов в смелом⁸⁷
Чинил и пробовал <перо>

⁸¹ ЛБ № 2374, л. 32 об. Список подобного рода героев может быть значительно увеличен за счет вариантов (см. V, 411—412; Фототипии, стр. 78).

⁸² См.: Фототипии, стр. 79; стих 5 был исправлен на предыдущей странице (л. 32 об.).

⁸³ Вариант: Хоть малой он обыкновенный

⁸⁴ Варианты: а. Каких встречаем мы толпы б. Каких встречаем [ныне] много мы

⁸⁵ Первоначально было: Ленивый телом и душой

⁸⁶ Другой вариант: Он каждый день сидел за делом

⁸⁷ Вариант: И в размышленьи зрелом

Б. В. Томашевский, печатая эту строфу в десятитомнике, соединил оба неполных варианта с помощью конъектуры «в раздумьи» (вместо написанного в черновике «в размышленьи»): «До трех часов в раздумьи зрелом» (т. IV, 1949, стр. 519).

Особого рвения к службе «юный чиновник» не проявлял; мысли его были заняты совсем другим:

Вам должно зн(ать) что м(ой) чин(овник)
 Был сочи(нитель) и люб(овник)
 Свои статьи⁸⁸ печатал он
 В Соревнователе — Влюблен
 Он был в Коломне, по соседству
 В младую немочку —⁸⁹

Много позже в карандашном тексте Пушкин сделал поправки чернилами, заменив «Коломну» «Мещанской»(?), а «младую немочку» «одной лифляночкой» (V, 413).

Хотя к началу строфы было намечено множество вариантов, первое четверостишие так и осталось недоработанным. Первый, нерифмующий, стих его поэт изменил: «Во фраке очень устарелом»;⁹⁰ по этим скупым словам, относящимся к внешности героя, нужно было догадываться о трудной жизни молодого чиновника. В последних стихах строфы упоминалось о той, в которую был «смертельно» влюблен Езерский:

Она
 С своею матерью одна
 Жила в домишке — по наследству
 Доставшемся недавно [ей]
 От дяди Франца. Дядя сей —⁹¹

Оборвав мысль, поэт переходил к следующей строфе:

Но от мещанской родословной
 Я вас избавляю — и займусь
 Своею повестью любовной
 Покаместь вновь не занесусь —
 [Ез(ерский) был влюблен]
 (V, 413, 414).

Однако, вместо того чтобы приступить к обещанной «повести любовной», Пушкин займется переделкой ранее написанного и попробует изменить композицию поэмы, сократив ее текст за счет строф второго отступления. Но эта переработка не будет последней. Позже Пушкин вернется к незаконченной поэме и вновь — уже применительно к требованиям цензуры — переработает ее текст, наполовину сократив родословную Езерских. Так появится беловая редакция в пятнадцать строф, которую принято считать окончательной. Между тем по сохранившимся черновикам и уцелевшим частям перебеленного текста можно восстановить иную, первоначальную редакцию «Езерского». Правда, в ней имеются кое-какие недоработки, неизбежные для всякой черновой записи, зато текст ее еще не успел пройти того строгого пересмотра — с оглядкой на цензуру, которому сам Пушкин в силу необходимости подвергал в некоторых случаях то, что готовил к печати.

⁸⁸ Вариант: Свои стихи

⁸⁹ Вариант: [В Лауру] В Христину немочку

⁹⁰ Варианты: а. Во фраке побелелом б. В зеленом фраке побелелом в. Во фраке в жилете белом

⁹¹ Вариант:

Доставшемся недавно им
 [От дяди слесаря —] От дяди — мир да будет с ним —

Черновики «Езерского» дают собственно две редакции. Первая из них, ход работы над которой мы проследили выше, является наиболее полной. Она включает шестнадцать полных строф и начало семнадцатой; в это число входят общая всем редакциям вступительная строфа, семь строф родословной, одна строфа отступления о дворянстве («Мне жаль что дома наши новы»), переходная строфа «Вот почему архивы роя» (почти во всех редакциях она остается десятой), четыре строфы второго отступления — о свободе поэтического творчества — и две с небольшим строфы, содержащие краткий перечень романтических героев, характеристику Езерского и упоминание о героине той «повести любовной», которую поэт собирался рассказать.⁹² Вторая редакция является результатом переработки строф первого отступления и окончания X строфы.

Вернувшись к тем черновым наброскам, в которых говорилось о падении стареющего дворянства, поэт снова восстанавливает вторую строфу отступления, которую ранее соединил с первой. В прежнем наброске последние стихи второй строфы были лишь вчерне намечены. Теперь Пушкин взялся за обработку как раз этих строк, полемически направленных против «шайки торгашей» — Булгарина, Полевого и всех тех, кто под флагом борьбы с «аристократическим» направлением в литературе нападал на лучшую, передовую часть дворянства. После ряда исправлений поэт пришел к предельно ясному, афористически сжатому выражению своей мысли:

Что уж на гробе <по>забытом
 Растет пустынная трава
 Что геральдического льва
 Демократ.<ическим> копытом
 Лягает ныне и осел:
 Дух века вот куда зашел!⁹³

(V, 414).

Эта запись заняла верхнюю левую четверть л. 19 об./34. Наверху справа уместились последние стихи другой строфы («Мне жаль что мы руке наемной»), по-видимому написанные сюда позже. Нижнюю половину страницы Пушкин занял переделкой X строфы.

Очевидно, мысль о переработке X строфы появилась у него тогда же, когда он задумал расширить первое отступление. Но то, как переделать этот кусок, выяснилось лишь в процессе работы. В черновом наброске намечаются два пути, и это связано с возникшими опять колебаниями по части определения социального положения героя. В общих чертах социальный облик героя к этому времени уже прояснился: это молодой чиновник, обедневший потомок прежде знатного боярского рода. Однако при попытках более точно определить место Езерского на ступенях социальной лестницы, его служебные занятия, круг его знакомств и степень его материальной неустроенности поэт снова принужден был выбирать между двумя возможными направлениями в развитии замысла.

⁹² Текст этой редакции см. ниже, в приложении.

⁹³ Вот некоторые варианты:

- а. Лягает немощным копытом
 Демократический осел!
- б. Лягает немощным копытом
 Демократический журнал
 [Четвероногий] Ушами славный либерал
- в. В журналах немощным копытом
 Лягает бешеный осел:
 Дух века вот куда зашел — —

Подобного рода колебания можно обнаружить и в других местах. Ими вызваны, например, поиски определения к слову «кабинет» в первой строфе сначала черногового, а потом и перебеленного текста. Так, неопределенное «тихой», «мирный» <?> Пушкин заменяет эпитетом «скромный» (V, 394). То же повторится в белой рукописи, где «мирный» кабинет станет «тесным» (V, 404). Еще дальше пошел Пушкин в карандашных исправлениях этих стихов (ЛБ № 2375, л. 20 об./33):

... в это время
Иван Езерской, мой чудак
[Вошел] <i> отпер свой чердак⁹⁴
(V, 406).

Интересно проследить также ход работы над текстом окончания X строфы, которую Пушкин пробовал переделывать неоднократно и по-разному. И хотя в большинстве случаев герой оставался «регистратором», в ходе переработки намечались и некоторые другие пути.

Переписывая конец X строфы набело, поэт попытался изменить последнюю строку: «И камер-юнкером служил», но сразу отказался от этой неудачной в данном контексте поправки и восстановил «регистратором» (V, 405). Позже, исправляя текст карандашом, Пушкин снова переделал два последних стиха:

И что не много их отец⁹⁵
Ему оставил наконец —
(V, 407).

Речь шла о тех самых душах, которых у деда Ивана Езерского было пятнадцать тысяч, а у отца уже «осьмая часть». Быть может, в этих стихах Езерский предстал уже в новом качестве: мелкопоместным дворянином, душевладельцем. Но измененное таким образом окончание строфы требовало продолжения в виде характеристики героя и никак не могло бы быть связано с отступлением о свободе поэтического творчества. По всей вероятности, эти поправки Пушкин внес в текст X строфы еще до того, как у него возник план второго отступления. А когда мысль о нем появилась, прежде чем набросать этот план на бумаге, поэт снова переписал несколько последних строк X строфы, какими они были до поправок, и тем самым отменил сделанные ранее исправления.

В общей композиции поэмы X строфа являлась связующим звеном между родословной Езерских и характеристикой героя. Непосредственно к ней, правда, примыкали два отступления, поэтому сколько-нибудь существенные изменения в тексте X строфы требовали тех или иных переделок прежде всего в отступлениях (и наоборот). В отмеченных выше вариантах окончания X строфы возможность иного композиционного развития замысла только намечалась, так как после каждой из этих проб поэт возвра-

⁹⁴ Этот неожиданно появляющийся здесь «чердак» заставляет вспомнить «конурку пятого жилья» в ранних набросках первой строфы (V, 388, 392). В позднейшем белом автографе поэт отказался от этого варианта, восстановив предыдущий:

В это время
Иван Езерский, мой сосед,
Вошел в свой тесный кабинет...
(V, 97).

⁹⁵ Один из вариантов: И что не много душ отец —

щался к тому тексту, который он вписал в альбом первоначально и который завершился двустишием:

А сам он жалованьем жил
И регистратором служил

Но та переработка X строфы, о которой пойдет речь ниже, действительно привела к важным композиционным переменам.

Как уже было сказано, наметив характеристику героя, поэт вернулся к первому отступлению с намерением расширить его. В таком случае два отступления должны были бы следовать одно за другим, перемежаясь лишь несколькими строками в окончании X строфы. Авторские отступления подавляли бы собой остальной текст. Но если первое было тесно сплетено с родословной, то второе, примыкая к последним стихам X строфы, представляло собой в значительной степени самостоятельное развитие темы о свободе поэтического творчества, о праве поэта на выбор героя. Составляющие его четыре строфы легко можно было убрать отсюда. Именно так Пушкин и поступил. Он откинул строфы второго отступления и стал перерабатывать конец X таким образом, чтобы непосредственно связать ее с характеристикой героя (при этом выпадала еще одна строфа, следующая за отступлением и содержащая перечень романтических героев).

Поэт не сразу переделал всю строфу до конца, сначала он наметил одно (третье) четверостишие:

15 000 душ
Из коих шиш ему достался —
А сам жил
И при Т—<ургеневе> <?> служил —
Обедал

Затем эти строки приняли такой вид (две первые не изменились):

Он на углу Галерной жил
При гр.<афе> Нулине служил —
У Андрие обедал

Изменив последний стих, Пушкин одновременно наметил два новых, которые должны были заключать строфу:

С утра до вечера таскался
То здесь то там — и
Со всем был городом знаком —

(V. 415).

Несмотря на энергичную выразительность второго стиха, не оставившего никаких сомнений насчет имущественного состояния Езерского, последующие строки заставляют думать, что в данном случае смысл поправок сводился к тому, чтобы представить служебное и общественное положение героя несколько лучшим. Но, избрав такой путь, Пушкин должен был соответственно изменить и прежнюю характеристику Езерского. Он этого не сделал. И в этот, последний, раз поэт предпочел героя самого скромного, незаметного, заурядного. Зачеркнув намеченные ранее варианты, он написал новое окончание строфы, которое не только подводило к созданной ранее характеристике бедного чиновника, но частично и включало ее:

<Имел> 15 000 душ
Из коих шиш ему достался —
Он регистратором служил

И малым жалованьем жил
 На службу каждый день таскался
 И сев смиренно у бюро
 Чинил да пробовал перо —

(V, 414—415).

Последние два стиха Пушкин взял из первого четверостишия прежней строфы «Во фраке очень устарелом». Но этой строфе, которая теперь должна была следовать за измененной десятой (она становилась по счету одиннадцатой), надо было придать новое начало. Разработкой недостающих начальных строк Пушкин занял верхнюю часть оборотной стороны листа (л. 34 об./19):

Он одевался нерадиво
 На нем сидело всё не так
 Всегда бывал застегнут криво
 Его зеленый узкий фрак —⁹⁶

К ним были приписаны еще три строки, повторявшие ранее сделанные наброски:

Но должно знать что мой чиновник
 Был сочинитель и любовник
 Не только мал<ый> деловой —

(V, 415).

Однако поэт перечеркнул их, решив, по-видимому, оставить продолжение строфы без перемен.

В результате переработки выпадала строфа, в которой говорилось о типичности героя.⁹⁷ Зато в самом облике Езерского Пушкин еще сильнее подчеркнул его бедность, неказистость, неприхотливость в одежде. Это делало еще более осязаемым контраст между блестящим прошлым и незавидным настоящим рода Езерских (что и входило в намерения поэта) и в то же время превращало образ Ивана Езерского, незначительного чиновника, в образ более широкого обобщения.

Все другие переделки касались первого отступления.

Нижнюю половину л. 34 об./19 занимают восемь начальных стихов строфы «Мне жаль что мы руке наемной». Пушкин переписал их сюда почти без всяких изменений (ср. V, 415—416, 407). Но он не просто восстанавливал прежние две строфы — он перестроил их. Прежнее окончание названной строфы начиная со стиха 9: «Что исторические звуки» (который один только и был изменен) — было написано на лицевой стороне листа. Те же самые строки (со стиха «Что исторические звуки») повторялись еще раз на лицевой стороне л. 32 (ЛБ № 2374), где они были намечены уже в составе новой строфы отступления, начинавшейся здесь со второго четверостишия:

Что их поносит шут Фиглярин
 Что русской ветреный боярин
 Теряет грамоты царей
 Как старый сбор календарей . .

(V, 416).

⁹⁶ Эти стихи, в которых внешность героя была представлена несколько даже комичной, могли быть связаны с отмеченной уже поправкой в I строфе:

Иван Езерской, мой чудак
 [Взошел] <i> отпер свой чердак
 (V, 406).

⁹⁷ В первоначальной редакции это XV строфа («Свищите мне, кричите, bravo»; V, 411—412).

Первые четыре стиха ее в черновике отсутствуют. С. М. Бонди полагает, что это было не прежнее («Мне жаль что дома наши новы»), а новое четверостишие, совпадающее с начальными стихами этой строфы в позднейшем беловом автографе:

Мне жаль, что сих родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух.
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух. . .⁹⁸

(V, 100).

О правильности такого предположения свидетельствует тесная смысловая связь между первым четверостишием в данной его редакции и первой строкой второго четверостишия: «Что их поносит шут Фиглярин» («их», т. е. боярские или княжеские роды), тогда как прежняя редакция первого четверостишия такой связи с дальнейшим текстом строфы не имеет.

Что касается нового окончания строфы «Мне жаль что мы руке наемной», то им, скорее всего, мог быть написанный на л. 19 об./34 отрывок «Что уж на гробе <по>забытом». Как раз эти стихи (с поправкой в первом) намечены сбоку от записи начальных восьми строк строфы на обороте листа (л. 34 об./19):

Что [деда] в нашем те<реме> за<бытом>
Растет <пустынная трава>

(V, 416).

О том же, видимо, говорит и помета «Дозволя г<рабить>» на лицевой стороне листа против последней строки наброска «Что уж на гробе <по>забытом». Именно так заканчивается строфа и в последней беловой рукописи (V, 100—101).

Итак, результатом переработки явилась новая редакция «Езерского» в двенадцать с лишним строф; первые восемь строф не изменились,⁹⁹ но к родословной вместо одной присоединялись две строфы отступления о дворянстве, прежняя десятая строфа («Вот почему архивы роя») становилась одиннадцатой, к ней добавлялось еще около полутора строф — характеристика героя («Он одевался нерадиво») и то же, что и раньше, начало строфы с обещанием заняться «повестью любовной».¹⁰⁰

Позже, просматривая черновые записи с пером в руке, кое-где по карандашному тексту Пушкин сделал исправления и рисунки чернилами, а на л. 36 об./16 наметил новые варианты к двум местам текста. Первый из набросков («Один из них был четвертован») варьирует последние стихи VI строфы, в которых речь шла о петровском царствовании (V, 400). Второй набросок («[Довольно] важный литератор») связан с попыткой переделать начало первой строфы отступления о выборе героя (V, 416).¹⁰¹

⁹⁸ См.: Комментарий, стр. 42; там же говорится и о других переделках в тексте первого отступления.

⁹⁹ Исключение, может быть, составляют лишь стихи 10 и 11 I строфы (об их переделке см. выше, стр. 293, 295).

¹⁰⁰ См. приложение.

¹⁰¹ Очевидно, в одно время с этими поправками (на той же странице, теми же чернилами) Пушкин наметил — очень сокращенно и неразборчиво — небольшой перечень царствований (V, 401). Другой список царей, более полный и более точный — от Ивана Грозного до Петра, написан на л. 16 об. альбома ЛБ № 2374 возле черновых набросков «Медного всадника», относящихся к описанию наводнения и к «Вступлению» (см. там же). Вероятно, второй из них был составлен на основе первого, который дол-

В пятом томе Академического издания (стр. 417) далее напечатан отрывок «Какой вы строгий литератор!». Эта полубеловая запись (на отдельном небольшом листке, подклеенном жандармами в тетрадь ЛБ № 2375) представляет собой значительно более позднюю переработку белового текста второго отступления. Однако это относится к последующей стадии работы над «Езерским», о которой впереди будет особая речь.

Напечатанный следующим набросок о Байроне («К тому-же это подражанье»; V, 417), надо думать, к «Езерскому» отнесен ошибочно. В альбоме ЛБ № 2374 он находится на л. 10 об. среди черновых записей «Медного всадника», и его появление там вполне объяснимо. Но и об этом также будет сказано в своем месте.

5

В альбоме ЛБ № 2374, как и во всех остальных рукописях, записи «Езерского» не датированы. Время их появления устанавливается по положению в альбоме. Для беловой первых десяти строф оно определяется довольно точно. Это январь 1833 года: дата «31 января 1833» выставлена под наброском плана «Капитанской дочки» («Шванвич за буйство сослан в гарнизон»), который Пушкин вписал в альбом вскоре после беловой «Езерского». ¹⁰² Черновые записи на следующих листах делались в феврале, может быть, в самом начале марта 1833 года, но едва ли позже (с марта Пушкин вплотную занялся «Историей Пугачева»).

Кроме черновых набросков и отрывков беловой сводки, до нас дошла так называемая окончательная беловая рукопись «Езерского», текст которой печатается в качестве основного текста поэмы (V, 97—103). ¹⁰³ По сравнению с первоначальной редакцией родословная в этой беловой сокращена до трех с половиной строф и обрывается в V строфе ¹⁰⁴ на стихе «При императоре Петре». Зато в первом отступлении прибавилось две строфы («Кто б ни был ваш родоначалник» и «Я сам — хоть в книжках и словесно»), так что вместе с двумя строфами, уже известными по последней переработке чернового текста в альбоме ЛБ № 2374, и вместе с окончанием V строфы оно стало насчитывать четыре с половиной строфы. Поэтому строфа «Вот почему архивы роя» осталась десятой. Далее шли четыре строфы второго отступления, а за ними та же строфа, что и в черновике («Скажите: экой вздор, иль bravo»; ср. V, 411—412), здесь она тоже была пятнадцатой. ¹⁰⁵

Принято считать, что Пушкин написал эту беловую в 1833 году, вскоре после того как прекратил работу над замыслом «Езерского» и не позднее середины июля, т. е. до обращения к «Медному всаднику». Следовательно, когда он принялся за новую поэму, в его руках были переписанные набело пятнадцать строф «Езерского», которые послужили ему материалом при

жен был попасться Пушкину на глаза, когда он просматривал вырванные из альбома листы с черновиками «Езерского». Возможно, что именно тогда первый список был зачеркнут; читается он лишь предположительно. Цель, с которой были написаны оба перечня, неясна, и попытка связать их с замыслом «Езерского» (см.: Комментарий, стр. 51; Рукою Пушкина, стр. 343) не представляется убедительной.

¹⁰² См.: Комментарий, стр. 17.

¹⁰³ Это сложенные тетрадкой и частью подклеенные жандармами листы — ЛБ № 2375, лл. 23—28 об. (ПД № 936), и отделившийся от них листок — ПД № 194.

¹⁰⁴ В черновике (ЛБ № 2373) и в первой беловой это была VI строфа, но пятую Пушкин потом вычеркнул.

¹⁰⁵ Таким образом, от композиционных перемен, намеченных в альбоме ЛБ № 2374, Пушкин отказался.

создании «Медного всадника». Этот взгляд является общепризнанным и, очевидно потому, никакими доказательствами не подкрепляется.

В 1836 году восемь строф (из имеющихся в рукописи пятнадцати) были напечатаны в третьей книжке «Современника». Им было дано название «Родословная моего героя» и подзаголовок «Отрывок из сатирической поэмы». «Отрывок» начинался со второй строфы («Начнем ab ovo: Мой Езерский») и заканчивался десятой (по счету строф в последней беловой). Помимо родословной героя в собственном смысле (три с половиной строфы), сюда вошло в сокращенном, смягченном по сравнению с беловой рукописью виде полемически окрашенное рассуждение об оскудении древних боярских родов, о забвении «славы, чести и прав» «отцов».

Внимательное изучение белового автографа «Езерского», сопоставление его с предшествующими набросками, с «Родословной моего героя» и с черновиками «Медного всадника» заставляет взять под сомнение существующую точку зрения, противопоставив ей иное представление о времени и обстоятельствах создания пятнадцатистрофной беловой редакции. По-видимому, эта редакция появилась уже после того, как был запрещен «Медный всадник», и именно потому, что он был запрещен, Пушкин обратился к записям «Езерского», как к готовому тексту, который можно было напечатать. С этой целью он и перебелил их, с очень существенными сокращениями и поправками цензурного характера.

Сравнение «Родословной моего героя» с соответствующими строфами беловой рукописи обнаруживает, что последняя гораздо ближе к «Родословной», чем к черновым записям «Езерского». Текст «Родословной моего героя» представляет собой лишь дальнейшую цензурную обработку беловой редакции «Езерского». Принадлежность беловой «Езерского» к более позднему, чем принято думать, хронологическому периоду подтверждается также и рядом косвенных данных.¹⁰⁶

Проследив по рукописям, как возник и развивался замысел «Езерского», подведем нашим наблюдениям некоторый итог.

Мы видели, что Пушкин долго не мог решить, сделать ли ему героем новой поэмы молодого аристократа или бедного чиновника, и, прежде чем остановиться на последнем, много раз переделывал первые две строфы. Только тогда, когда выбор был сделан, работа двинулась вперед.

Поэт осложнил социальную физиономию Езерского тем, что сделал коллежского регистратора обнищавшим потомком древнего боярского рода. Прошлое Езерских было представлено в виде особой родословной, которая еще резче оттеняла незначительность Ивана Езерского. Пушкин почувствовал даже необходимость защиты такого, «ничтожного», героя и отвел ей целые четыре строфы отступления, второго по счету, так как первое — лирико-публицистическое рассуждение об упадке дворянских родов — заканчивало собой родословную. Далее поэт переходил к прямой характеристике героя, снова проявив при этом известные колебания: оставить ли героя смиренным регистратором, живущим на одно «малое жалованье», или, сделав его служащим «при графе Нулине», ввести в круг тех молодых людей, которые обедают в одном из лучших ресторанов («у Андрие») и знакомы «со всем городом». Но и на этот раз Пушкин отказался от подобного варианта и снял указание на возможность для своего героя каких-то наследственных доходов. Он наделил Езерского весьма неприятной внешностью и оставил ему единственное средство — пером зарабатывать себе на жизнь, правда не только на служебном, но, может быть,

¹⁰⁶ Подробнее вопрос о датировке белового автографа рассматривается ниже.

и на литературном поприще, ибо чиновник Иван Езерский был также и «сочинителем». Подобная демократизация образа героя придавала ему смысл широкого социального обобщения. Да и любовь к скромной мещаночке была гораздо более подстать именно такому герою. Но, дав обещание заняться «повестью любовной», упомянув уже и о героине этой повести, дальше в осуществлении своего замысла Пушкин не пошел. Работа оборвалась как раз на таком месте, откуда, казалось бы, только и могло по-настоящему начаться развитие сюжета. Объяснение этому нужно искать в общем характере работы над замыслом. Частые перерывы, постоянные возвращения к написанному, переделки его, изменения в композиции — всё говорит о том, что самому Пушкину замысел этой строфической поэмы во многом был неясен.¹⁰⁷

История текста дает возможность говорить лишь о той или иной степени определенности замысла в разное время, в целом же творческий план «Езерского», по всей вероятности, так и не определился до конца, и этого одного могло быть достаточно, чтобы поэма была брошена в самом начале.

Разумеется, неотчетливость, расплывчатость замысла вовсе не означают его отсутствия. Даже самый первый набросок к поэме, при всей его неполноте и незавершенности, выражал определенную мысль и намечал путь, по которому могло пойти развитие большой темы. Уже здесь был введен герой — светский молодой человек; сразу же избрана и своеобразная строфическая форма.

Дошедшие до нас рукописи «Езерского» позволяют предположить, что поэт задумывал значительное по объему произведение: написанные им шестнадцать строф представляют собой лишь расширенную экспозицию, которая подводила к «повести любовной». Даже если допустить, что содержание поэмы должно было исчерпываться этой «повестью», то и тогда, принимая во внимание уже усвоенную Пушкиным неторопливую манеру повествования, постоянно прерываемого авторскими отступлениями, нельзя было ожидать близкого конца.¹⁰⁸

Онегинская строфа, лирические отступления, непринужденность тона заставляют вспомнить пушкинский «роман в стихах». Связь его с замыслом «Езерского» совсем не случайна.

В 1830 году Пушкин окончил «Евгения Онегина». Последние переделки в романе были завершены осенью 1831 года. В 1832 году в печати появилась VIII глава, заканчивавшаяся словами: «Конец осьмой и последней главы», а в следующем, 1833 году вышло в свет первое полное издание романа. С грустью расставался поэт с многолетним своим трудом, но не считал возможным продолжать дальше историю Онегина, ибо поэтический замысел был доведен им до конца. Оставался другой путь: приняться за новый роман или поэму, избрав для них ту же строфическую форму, которая так хорошо оправдала себя в «Евгении Онегине». Именно так и поступил Пушкин, принявшись весной 1832 года за «Езерского».

Не случайны были и колебания Пушкина в выборе героя.

Появление в ранних набросках героя-денди говорит о тематической связи нового замысла с тем же «Евгением Онегиным», а также с прозаическими набросками «светских повестей» 1828—1830 годов («Гости съезжа-

¹⁰⁷ См. статью Н. В. Измайлова («Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, стр. 173, 178—182), с которым в данном случае напрасно спорил С. М. Бонди (см.: Комментарий, стр. 36).

¹⁰⁸ См. об этом у С. М. Бонди (Комментарий, стр. 44).

лись на дачу», «Роман в письмах», «На углу маленькой площади»). Очень может быть, что отказ от героя типа Онегина отчасти был вызван нежеланием Пушкина повторяться.

Связи совсем иного порядка намечаются в отношении тех набросков «Езерского», которые вводят в рассказ бедного петербургского чиновника. Отсюда тянутся нити к таким произведениям, в которых сказался интерес Пушкина к жизни городского мещанства, к участи незаметных тружеников вообще: это прежде всего «Домик в Коломне», «Гробовщик» и «Станционный смотритель» из «Повестей Белкина». К ним можно добавить еще замысел «Уединенного домика на Васильевском», который мы знаем в пересказе В. П. Титова. Тематические связи этого рода представляют особый интерес не только потому, что в «Езерском» Пушкин остановил свой выбор на скромном чиновнике, но еще и потому, что они распространяются также на замысел «Медного всадника».

Итак, начиная «Езерского», Пушкин задумывал, очевидно, большую поэму или роман в стихах. Но о возможном содержании этого замысла приходится говорить очень условно, так как он был брошен в самом начале и никаких планов, дальнейших набросков, косвенных намеков насчет его продолжения до нас не дошло. Иное дело, например, «Тазит», «Русалка» и целый ряд других незаконченных вещей. О них можно судить и по планам, и по тому, что уже сделано: сама логика развития образов может иногда подсказать возможный конец или продолжение. Относительно «Езерского» можно высказывать лишь весьма гадательные предположения.

Несомненно то, что дальше должна была развиваться «повесть любовная» — история любви героя к простой девушке. Но вряд ли содержание поэмы могло исчерпываться только этим. Немалую роль, вероятно, должна была играть принадлежность героя к старинному обедневшему дворянскому роду. Возможно, сказалось бы на развитии сюжета и то, что Езерский был «сочинителем». Правда, судя по тому, как об этом говорилось в XVI строфе («Во фраке очень устарелом»; V, 413), к «сочинительству» своего героя поэт относился иронически, но это отвечало общему тону повествования, пронизанного легкой иронией (что, очевидно, и давало Пушкину основание назвать свою поэму сатирической). Любопытно упоминание о «Соревнователе», журнале, в котором Езерский «Свои статьи печатал» (V, 413). Этот журнал являлся органом Вольного общества любителей русской словесности, председателем которого с конца 1821 года был Ф. Н. Глинка. Кроме Глинки, в журнале принимали участие Рылеев, Кюхельбекер, братья А. и Н. Бестужевы и некоторые другие писатели-декабристы. Однако одного лишь названия журнала еще недостаточно для сколько-нибудь определенных предположений на этот счет.

Входило ли в замысел «Езерского» наводнение? Ссылаясь на близость тематического вступления в «Езерском» и в «Медном всаднике» (описание бурного осеннего вечера), С. М. Бонди полагает это возможным. Думается, что этой догадке можно найти подтверждение в самом тексте первых черновых набросков к «Езерскому» (ПБЛ № 43, л. 13), где буря на Неве описывалась теми же словами, какими в «Медном всаднике» говорилось об угрозе наводнения:

Нева в течении смущенном¹⁰⁹
Приподымалась —

(V. 387).

¹⁰⁹ Вариант: Нева в теченьи возмущенном

То же самое видим в первом слое записи в тетради ЛБ № 2373 (л. 19):

Нева в волнении возмущенном
Приподымалась —¹¹⁰
(V, 394).

В дошедших до нас черновиках «Езерского» тема наводнения развития не получила. Но если она должна была входить в этот замысел, тем легче было Пушкину перейти от него к «Медному всаднику».

Быть может, с замыслом «Езерского» связана еще одна запись в тетради ЛБ № 2373: набросок двух строк чернилами на л. 23, ниже карандашной заметки о книге А. Н. Муравьева «Путешествие к святым местам».¹¹¹ Сначала Пушкин написал:

На красных берегах Невы
Кипят шумят толпы народа —

затем исправил:

На [об<а>]¹¹² берега Невы
Шумя сперлись толпы народа —

потом, не зачеркивая первой строки, выше нее приписал:

На царственной Неве

Тетрадь тут же была закрыта: на обороте л. 22 получились яркие отпечатки.

В. Е. Якушкин, впервые напечатавший эти строки при описании тетради ЛБ № 2373, отнес их к «Медному всаднику» (тогда «Езерского» не отделяли от «Медного всадника»)¹¹³ Позднее они нигде не печатались и не комментировались.

Вряд ли это могло быть началом какого-то ненаписанного стихотворения. Скорее всего, этот беглый набросок был сделан для «Езерского» во время работы над черновиком родословной, а так как относился он к дальнейшему повествованию, Пушкин набросал его, перевернув несколько листов вперед.¹¹⁴

Какие бы причины ни заставили Пушкина отказаться от замысла поэмы о Езерском — предвидение ли цензурных затруднений, несоответствие ли между дальнейшим содержанием (если бы им стало описание бедствий, вызванных наводнением) и избранной формой повествования, или просто неясность замысла, — к весне 1833 года работа над ним была оставлена.

¹¹⁰ Ср. с черновиком «Медного всадника» (ЛБ № 2374, л. 11 об.):

Он также [думал] что река
Приподнялася —
(V, 447).

¹¹¹ Заметка занимала л. 22 (с обеих сторон) и половину лицевой стороны л. 23.

¹¹² В рукописи, видимо, описка: обоих

¹¹³ «Русская старина», 1884, т. 43, август, стр. 327.

¹¹⁴ Т. Г. Цявловская указывала мне на возможность связи этого наброска с неоконченным стихотворением «Чу, пушки грянули!..», в котором описывается торжество спуска на воду нового корабля. Но это стихотворение, судя по его положению в рукописи (ЛБ № 2374, л. 10), писалось в середине октября 1833 года, т. е. более чем год спустя после наброска в тетради ЛБ № 2373 (который датируется тоже по положению в рукописи). Оно отличается и своим размером (шестистопный ямб), тогда как на л. 23 тетради ЛБ № 2373 Пушкин наметил два четырехстопных ямбических стиха.

А тем, что у него уже было написано, поэт воспользовался как творческим материалом при работе над другими замыслами, прежде всего при работе над «Медным всадником».

6

Работа над «Медным всадником» носила совсем иной характер, чем работа над «Езерским». Начав поэму 6 октября 1833 года, 31 октября поэт уже закончил переписывать ее набело.

В это время Пушкин жил в Болдине, куда возвратился 1 октября из поездки по пугачевским местам. Вторая болдинская осень оказалась менее «урожайной», чем первая — 1830 года, но и она отмечена значительным творческим подъемом. Кроме «Медного всадника», в Болдине Пушкин написал поэму «Анжело», «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне», «Пиковую даму», ряд стихотворений — среди них такие, как «Осень» («Октябрь уж наступил...»), «Будрыс и его сыновья» и «Воевода», закончил «Историю Пугачева».

Путешествие обогатило его множеством впечатлений, встреч, помогло ближе узнать жизнь простого народа. Еще с дороги 12 сентября Пушкин сообщал жене: «Я путешествую кажется с пользою, но еще не на месте и ничего не написал. И сплю и вижу приехать в Болдино и там запереться» (XV, 80). Добравшись до места, он прежде всего занялся обработкой своих дорожных заметок к «Истории Пугачева». «Теперь надеюсь многое привести в порядок, многое написать и потом к тебе с добычею... Прости — оставляю тебя для Пугачева», — пишет он жене 2 октября (XV, 83, 84). Через несколько дней Пушкин начал «Медного всадника».

Черновики поэмы находятся в двух тетрадях: в альбоме ЛБ № 2374 (ПД № 845), где ранее писался «Езерский», и в тетради ЛБ № 2372 (ПД № 844). В них нет еще ни заглавия, ни обозначения частей, но текст почти целиком соответствует тому, который дает первый беловой автограф.

Пушкин начал черновые записи с того самого «Вступления», которым открывается окончательный беловой текст «Медного всадника». Первые наброски поэмы находятся в альбоме ЛБ № 2374 на л. 7 об. Первоначально Пушкин написал неполные четыре строки:

На берегу варяжских волн
Стоял глубокой думы полн
Великий Петр. Пред ним катилась
Уединенная

По-видимому, последняя фраза не дописана («Нева») потому, что поэт сразу изменил ее:

Пред ним широко
Неслась пустынная Нева —
(V. 436).

Развивая мысль, Пушкин набрасывает дальше строку за строкой. Одним-двумя словами наметив стих, он зачеркивает, подбирает другие варианты и снова, недовольный, вычеркивает их. Так постепенно создается унылая, однообразная картина, представшая некогда взгляду Петра: одинокий рыбацкий челн на реке, поросшие соснами низкие болотистые берега, чернеющие кое-где убогие избы. Поэт изобразил Петра в момент, когда тот замышляет построить город на отвоеванных у шведов берегах Невы и, уносясь думами в будущее, видит эти места уже преобразенными.

Сравнивая первые двадцать стихов черновика с белой их редакцией, мы не обнаружим между ними существенного различия. Весь отрывок сложился уже в черновой рукописи, а некоторые его строки без всяких изменений вошли потом в окончательный текст «Медного всадника». Однако этому предшествовала большая черновая работа, когда каждый стих, почти каждое слово по многу раз исправлялись. О затруднениях, заминках в работе говорит и множество рисунков на первой странице черновика. Правда, кусты, профили голов встретятся и на других листах альбома, но здесь, кроме них, можно увидеть тщательно вырисованный портрет Натальи Николаевны (справа) и ее же профиль (слева).¹¹⁵ Видимо, поэт не оставляло беспокойство о доме, о жене, от которой он около месяца не получал писем.¹¹⁶ К тому же в первые дни пребывания в Болдине Пушкин усиленно занимался пугачевскими материалами. «Вот уж неделю как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачеве, а стихи пока еще спят», — писал он жене 8 октября (XV, 85). Согласно собственноручной помете Пушкина, «Медный всадник» был начат 6 октября, поэтому слова его нужно понимать в том смысле, что в самом начале работа над поэмой не ладилась и на время была оставлена.

Подобная точка зрения уже была высказана С. М. Бонди в его полемике с Н. В. Измайловым о том, мог ли Пушкин сочинять «Медного всадника» заранее — «в коляске».¹¹⁷ В этом споре С. М. Бонди был безусловно прав, но кое-что в его предположении может быть уточнено. Так, он считает, что 6 октября Пушкин написал в черновике все двадцать начальных стихов «Вступления». Между тем внимательный осмотр записей на л. 7 об. позволяет заметить разницу в почерке, свидетельствующую о том, что Пушкин сделал их не в один прием.

Сначала на левой половине страницы он написал одиннадцать строк кончая стихом «И думал царь»; немного ниже и правее — еще две строки:

Да лес неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца

и тогда же наверху справа наметил несколько следующих (думы царя):

Всемирны флаги придут к нам —
Из Ливерпуля и Сардама
[И вам,] [и вскоре]
[И] [горе горе]
решено —

В Европу прорубить <окно>

(V, 437).

Одновременно с этими набросками сделаны все рисунки. Остальные записи (и некоторые поправки к ранее написанному) делались уже в другой раз и были продолжены на следующей странице альбома.¹¹⁸

Должно быть, поэт вернулся к началу поэмы в ближайшие дни после того, когда признавался жене в безуспешности своей первой попытки. Из следующего письма Пушкина, от 11 октября, мы узнаем, что, не переставая

¹¹⁵ См.: Фототипии, стр. 16.

¹¹⁶ Причины для беспокойства были: Пушкин оставил Наталью Николаевну не совсем здоровой, с двумя маленькими детьми; денег было мало, долгов много, а она еще затеяла переезд на новую квартиру. По приезде в Болдино тревога усилилась: Пушкин ожидал найти здесь письма от жены — их не было; они были получены только 8 октября.

¹¹⁷ См.: Комментарий, стр. 45—46.

¹¹⁸ См.: Фототипии, стр. 16.

думать о Пугачеве, он принялся уже за другие вещи и полон творческих планов. «Не жди меня в нынешний месяц, жди меня в конце ноября. . . , — сообщает он жене. — Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу — и привезу тебе пропасть всякой всячины» (XV, 87). Кроме «Медного всадника», Пушкин писал в это время «Сказку о рыбаке и рыбке». Черновой автограф ее помечен 14 октября, и, вероятно, в ближайшие к этому сроку дни поэт занимался ее обработкой. Возможно, тогда же начал он и другое.

Мы видели, что первый черновой набросок «Вступления» уже содержал зерно большой мысли (думы Петра о построении нового города и о будущем России). Пушкин и занялся ее развитием. Закончив первый отрывок — нечто вроде исторического пролога, поэт переходил к картине современного Петербурга:

Прошло сто лет — и юный град
 Полнощных стран краса и диво
 Из тьмы лесов, из топи блат
 Вознесся пышно, горделиво —
 Громады тесные дворцов
 Воздвиглись вдоль Невы широкой
 С ее гранитных берегов
 Мосты повисли —

(V, 437—438).

Весь этот набросок был написан сразу. Первое четверостишие без поправок вошло в беловой текст, следующие стихи подверглись дальнейшей обработке.

Чтобы сильнее подчеркнуть разительную противоположность между прежней дикостью невских берегов и великолепием города, созданного Петром, поэт прибегал к контрастному сопоставлению:

И где бывало рыболов¹¹⁹
 <Угрюмый пасынок природы>
 Плыва вдоль низких берегов
 Бросал в неизвестные воды
 Свой ветхий невод —
 Ныне там
 По оживленным берегам
 Теснится стройная громада
 Дворцов и зданий; корабли
 Толпой со всех концов земли
 Теснятся в пристань Петрограда

(V, 438—439).

В беловой редакции, после того как некоторые стихи были отшлифованы, а формула «И где бывало. . .» — «Ныне там. . .» уточнена и усилена («Где прежде. . .» — «ныне там. . .»), противопоставление стало еще более выразительным.

В этом черновом наброске картина Петербурга была еще не совсем полной; четверостишие «В гранит оделася Нева» Пушкин написал позже, на обороте следующего, 9-го листа (V, 442). Здесь же отрывок завершился новым символическим сопоставлением:

И ты Москва, страны родной
 Глава сияющая золотом
 И ты уже пред младшим братом
 Поникла в зависти немой

(V, 439—440).

¹¹⁹ Ранний вариант строки «И там где финский рыболов» Пушкин изменил так, чтобы сильнее подчеркнуть признак времени.

Первоначально в черновой редакции «Вступления» отсутствовало лирическое обращение поэта к городу Петра — оно также появится позднее. Вместо него вслед за приведенными стихами шел набросок:

Красуйся, юный град! и стой
 Неколебимо, как Россия —
 Но побежденная стихия¹²⁰
 Врагов доселе видит в нас
 И волны финские не раз —
 На грозный приступ шли бунтуя
 И потрясали, негодуя,
 Гранит подножия Петра! —

(V. 440).

Так уже во «Вступлении» намечалась тема наводнения. Но в черновой редакции отрывка слишком много говорилось о грозной мощи стихии, поэтому мысль первых строк оказывалась скомканной, подавленной. Тон большей части стихов, тон простого сообщения, резко отличался от приподнято-императивного тона двух первых, и потому неудачной была попытка связать их при помощи противительного союза «но» в начале третьей строки. Такая чисто внешняя связь не подкреплялась связью внутренней. Звучание двух первых стихов приглушалось, наконец, отсутствием рифмы к первой строке, а мысль, в них вложенная, по своей значимости требовала особого акцента. Если учесть всё это, понятно будет, почему Пушкин отверг первоначальную редакцию отрывка и в белой рукописи переделал его по-иному.

Вступительная часть заканчивалась стихами, которые, подхватывая тему наводнения, подводили непосредственно к «петербургской повести»:

Послало небо испытанье.
 Об нем начну простой рассказ — —
 Давно когда я в первый «раз»
 Услышал мрачное преданье
 Смутясь, я сердцем приуныл
 И на минуту позабыл
 Свое сердечное страданье

(V, 440—441).

Вернувшись к работе после небольшого, видимо, перерыва,¹²¹ Пушкин занялся доработкой «Вступления». На той же странице (л. 9) он написал новый вариант окончания, значительно усилив в нем первую строку («Была ужасная пора...») и изменив три последние таким образом, чтобы они, не навязывая заранее впечатлений автора читателю, подготовили его к восприятию «грустного преданья». Связь с дальнейшим повествованием становилась при этом еще более отчетливой:

Тогда же дал я обещанье
 Стихам поверить сей рассказ

(V, 441).

Судя по черновым вариантам этого наброска, во время работы над «Вступлением» поэт уже представлял себе содержание будущего «рассказа»: в его сознании оно во многом было предопределено замыслом

¹²⁰ Вначале эта строка имела иное продолжение (варианты): а. [Державной] Ужасной волею Петра — б. Петра железною рукой

¹²¹ О том, что перерыв был, свидетельствуют отпечатки на обороте л. 8 (тетрадь была закрыта) (см.: Фототипии, стр. 18).

поэмы о Езерском. Может быть, именно потому, что начало повести о петербургском чиновнике уже было однажды закреплено в онегинских строфах «Езерского», Пушкин не спеша дорабатывал вступительную часть поэмы.

Написав заключительные стихи, он дополняет первоначальный текст «Вступления» двумя вставками. Одна из них — четверостишие «В гранит оделась Нева» — делала картину современного Петербурга лишь более развернутой.¹²² Другая представляла собой совершенно новый по мысли, лирически приподнятый по тону отрывок («Люблю тебя, Петра творенье»). Первый его набросок имел еще совсем черновой вид (V, 442—443) и состоял из двенадцати строк (менее одной трети окончательного текста; ср. стихи 43—49). Вводя этот отрывок, Пушкин особо подчеркивал тему родины, придавал ей высокое, торжественное и в то же время лирическое звучание. В дальнейшем эта тема получит более полное и глубокое развитие (окончательно завершена она будет лишь во второй белой рукописи), но даже в первом кратком наброске основная мысль отрывка была выражена достаточно ясно.

Проследивая ход работы над текстом «Вступления», мы не найдем между вариантами таких расхождений, которые отражали бы сколько-нибудь существенные колебания замысла, с чем постоянно приходилось сталкиваться в «Езерском». Позже поэт еще вернется к стихам «Вступления», а пока оно было оставлено. К этому времени композиция «Вступления» определилась, текст же большей его части был обработан настолько, что при переписке набело не потребовал переделки; исключение составляли лирические отрывки «Люблю тебя, Петра творенье» и «Красуйся, юный град!...».

Набросав «Вступление», Пушкин не спешил приступить к «повествованию» об «ужасной поре». Отчасти это можно объяснить тем, что он работал над несколькими замыслами параллельно и должен был попеременно обращаться то к одному, то к другому. Однако на этот раз перерыв затянулся: что-то отвлекало поэта от начатой работы; даже раскрыв альбом в том месте, где кончались наброски «Вступления», он занялся не продолжением поэмы, а набросал черновик стихотворения «Чу, пушки грянули!...». Но и этот черновой набросок, в котором описывался спуск на воду нового корабля, остался незаконченным. По-видимому, то была полуса некоторого спада творческой энергии. В письме от 21 октября поэт как раз жаловался жене на охватившую его хандру: «О себе тебе скажу, что я работаю лениво, через пень колоду валю. Все эти дни голова болела, хандра грызла меня; нынче легче. Начал многое, но ни к чему нет охоты; бог знает, что со мною делается... Но не жди меня прежде конца ноября; не хочу к тебе с пустыми руками явиться, взялся за гуж, не скажу, что не дуж» (XV, 88).

Принимая во внимание это свидетельство самого поэта, вероятнее всего предположить, что работа над «Медным всадником» была прервана за несколько дней до 21 октября.¹²³ Можно было бы думать, что Пушкин занялся «петербургской повестью» сразу после 21-го. Однако в это время

¹²² В альбоме эти четыре стиха записаны дважды (V, 442), причем одни и те же строки лишь зарифмованы по-разному. (Окончательный текст дает иной, третий вариант рифмовки; ср. V, 136, стихи 35—38).

¹²³ С. М. Бонди относит перерыв в этом месте (по его мнению, небольшой) ко времени около 10—11 октября. Если следовать его предположениям, эту дату пришлось бы отнести и к стихотворению «Чу, пушки грянули!...» (см.: Комментарий, стр. 19, 47, 52). Н. В. Измайлов датирует стихотворение 6—20 октября (III, 2. 1245).

Как и в «Езерском», рассказ начинался с возвращения героя. Кто же этот герой?

Среди вариантов к десятой строке находим: «добрый мой сосед», «молодой поэт», «мой сосед» и, наконец, «молодой сосед» — «Вошел в свой тихой кабинет». Эти пока очень скудные сведения совпадают с тем, что давал текст первой строфы «Езерского». При обработке первоначальной записи седьмой и восьмой стихи Пушкин поменял местами, а девятый исправил: «И ветер дул с ожесточеньем». Тогда (при неизменных десятой и одиннадцатой строках) набросок получал такое окончание:

Мы будем звать его Евгением
За тем что мой язык
Ко звуку этому привык

(V, 444).

Здесь впервые названо имя героя, выбранное сразу, без колебаний. Но едва лишь наметив указанные три строки, Пушкин сразу же зачеркнул их, а ниже написал другой вариант последних пяти стихов, где не упоминалось уже ни о соседе, ни о кабинете. При этом девятая строка восставливалась в прежнем своем виде: «И ветер дул печально воя», а дальше следовало:

В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой
(Так будем нашего героя
Мы звать — затем что мой <язык>
Уж [к] звуку этому привык)

(V, 444).

Вторая строфа «Езерского» открывала родословную героя. Ее Пушкин тоже начал переделывать для «Медного всадника». На л. 10 об. имеется ряд незаконченных и большей частью зачеркнутых набросков, которые свидетельствуют, что работа шла не очень успешно. Пушкин начинает и зачеркивает: «Евгений был», пробует иначе:

— мой Евгений
Происходил от тех вождей
Чей парус

и опять переделывает, изменяя самый характер рифмовки:

— мой Евгений
Происходил от поколений
Чей дерзкий парус средь морей
Был ужасом минувших дней

(V, 444).

Очевидно, дальнейшей переработки не предполагалось, так как под всей этой записью проведена горизонтальная черта, а ниже находятся едва намеченные разрозненные наброски строк, не имеющих ничего общего с продолжением родословной: «Угодно», «Ев<гений>», «Он был столичный», «Домой пришел» — всё было сразу зачеркнуто.

Должно быть, поэт еще не решил, как продолжать рассказ, и тем временем обратился к уже написанному. Он не мог не заметить, что между четырнадцатью начальными стихами и последним четверостишием, в котором говорилось о происхождении Евгения, существовал разрыв. И, очевидно потому, сверху на правой половине страницы он написал два вставных стиха:

Угодно знать происхождение
И род и племя и года¹²⁶
(V, 444).

Предшествующие наброски дают основание думать, что Пушкин хотел отметить родовитость своего героя, но вряд ли собирался вдаваться в подробности его родословной, как это было в «Езерском». И вот, начав разговор о далеких предках Евгения, поэт остановился в раздумье: каким образом перейти от этой темы к непосредственной характеристике героя или к повествованию о нем (ведь именно так приходится понимать наброски «Он был столичный» и «Домой пришел»). Возможно, его навела на мысль попавшаяся в это время на глаза запись в черновиках Езерского:

Поэту-лорду подражая
Он был большой аристократ
Т.<о> е<сть> — он помнил
(V, 409).

Как бы то ни было, один из мотивов отказа от генеалогических разысканий был найден, и внизу на левой половине страницы Пушкин записал:

К тому-же это подражанье
Поэту Б—<айрону> наш лорд
(Как говорит о нем преданье)
Не то<лько> был огненно горд
Высо<ким> даром песноп<енья>
Но и рожденья
Ламартин
(Я слышал) также дворянин
Юго, не знаю.
В России же мы все дворяне
Все кроме двух иль трех — зато
Мы их и ставим ни во что —
(V, 417).

С. М. Бонди не признает связи этого отрывка с черновым текстом «Медного всадника», видя в нем незаконченную онегинскую строфу. В «Комментарии» (стр. 48) для большей убедительности «недостающие» строки обозначены двумя рядами точек. В самом деле, два первых четверостишия и две последние строки наброска (состоящего из двенадцати стихов) рифмуют так же, как в онегинской строфе. Но после недописанного десятого стиха никакого пропуска (который позволял бы утверждать, что мы имеем дело с незаконченным третьим четверостишием онегинской строфы) в рукописи нет.¹²⁷ Частичное же сходство могло быть случайным, и одно оно еще не решает вопроса. А ход работы в этом месте черновика свидетельствует, что отрывок «К тому же это подражанье» не мог быть онегинской строфой, предназначенной для «Езерского», но отражал определенный момент развития замысла «Медного всадника» и потому должен печататься среди его черновиков.

До сих пор речь шла об отношении наброска о Байроне к предшествующим ему; что же касается следующих записей, то с ними этот набросок связи не имеет. Увлечшись развитием мысли, которая должна была лишь мотивировать отказ от продолжения родословной, поэт придал ей известную самостоятельность, отвлекся в сторону и снова должен был искать путей к дальнейшему повествованию. Но тут его мысли приняли другой

¹²⁶ Пушкин писал в два столбца; когда он набрасывал эти стихи, левая нижняя четверть страницы (л. 10 об.) была еще свободной, он оставил ее для продолжения.

¹²⁷ См.: Фототипии, стр. 72.

поворот: Пушкин решил совсем отказаться от родословной Евгения. При этом существенно менялись как первоначальный план, так и социальное лицо героя:

Он был [чиновник] небогатый
Безродный, круглый [сирота]
Собою бледен, рябоватый¹²⁸

И далее:

Без роду племени связей
[Без денег — т. е. без друзей]

(V, 444, 445).

Продолжая характеристику, Пушкин всемерно подчеркивал типичность героя:

А впрочем гражданин столичный
Каких встречаете вы тьму
От вас нисколько неотличный
Ни по лицу ни по уму —
Как все он вел себя нестрого
Как вы о деньгах думал много¹²⁹
Как вы сгрустнув курил табак —
Как вы носил мундирный фрак — — —¹³⁰

(V, 445).

С подобной характеристикой героя, хотя и менее развернутой, нам уже приходилось встречаться в черновиках «Езерского» (ср. V, 412).

Несколько следующих набросков представляют собой переработку строф второго отступления; как и в поэме о Езерском, поэт защищал в них свое право избрать «ничтожного» героя:

Запросом музу беспокоя
Мне скажут м.<ожет> б.<ыть> опять
[Зачем] ничтожного героя
Взялся я снова воспевать
Как будто нет уж перевода
Великим людям, что они
Так расплодились в наши <дни> —
Что нет от них уж нам прохода
Ужель и средь моих друзей
Дву<х> т<рех> вел<ких> нет людей?

(V, 445—446).

Здесь Пушкин пытался соединить некоторые строки из первой и второй строф отступления, в двух других набросках («Таков поэт! — Угрюм и нем» и «Куда ты, госп.<один> певец?») переделывал стихи из четвертой строфы его.¹³¹ Они совсем не отделаны и не связаны между собой, первый

¹²⁸ Вот некоторые варианты к этому наброску: а. Он был чиновник очень бедный б. Отменно молод в. Безродный холостой г. Лицом немного [рябоватый] смугловатый д. Высокой бледный худощавый <?>

¹²⁹ Вариант: Как вы писал отменно много

¹³⁰ Этим наброском начинались записи на л. 11. Первое четверостишие первоначально было написано на л. 10 об., там оно в точности повторяло черновой текст «Езерского». Переписывая его вторично, Пушкин переставил две строки и заменил первое лицо множественного числа вторым (при этом смысл обобщения расширялся).

¹³¹ Еще один набросок:

И <нрзб> Что за мода!
Не лучше ль ежели поэт
Возьмет возвышенный предмет...

(V, 446)

дает лишь новый вариант окончания первого.

из них («Запросом музу беспокоя») целиком зачеркнут.¹³² Так как поэт больше не возвращался к их обработке, можно думать, что он сразу же отказался от неудавшейся переделки.

Позже Пушкин не раз еще попытается приспособить некоторые строки «Езерского» для «Медного всадника» — пока эти попытки были оставлены.

Какими же рукописями «Езерского» пользовался Пушкин при переработке текста?

Принято считать, что, принимаясь за «Медного всадника», Пушкин имел в своем распоряжении «окончательный» беловой автограф «Езерского». С. М. Бонди высказал предположение, что при переделке «Езерского» для «Медного всадника» Пушкин хотел воспользоваться не только беловиком, но и черновиками строфической поэмы, находящимися в том же альбоме, где он начал писать «Медного всадника», и, чтобы иметь их перед собой, вырвал нужные листы.¹³³ Но эта гипотеза понадобилась исследователю лишь для того, чтобы объяснить, почему листы с текстом «Езерского» были вырваны из альбома. Объяснив этот случай, он упустил из виду другое обстоятельство: если Пушкин располагал вполне отделанным беловым текстом, зачем понадобилось ему обращаться к черновым записям? А что Пушкин к ним обращался, можно было бы утверждать с полной уверенностью уже потому, что перенесенное в черновик «Медного всадника» четверостишие «А впрочем гражданин столичный» в беловом автографе «Езерского» отсутствует.

Таким образом, предположение С. М. Бонди настоятельно требовало сравнительного изучения рукописей, да и вопрос при этом приходилось ставить уже по-другому: какая именно рукопись «Езерского» послужила основой для черновых записей «Медного всадника»? Чтобы установить это, надлежало сравнить переработанные куски черновой «Медного всадника» с соответствующими местами как черновой, так и беловой рукописи «Езерского».

К сожалению, возможность сравнения ограничена тем, что черновик второго отступления сохранился далеко не полностью. Кроме того, бесполезно сравнивать наброски к «Медному всаднику» с текстом «Езерского» в тех случаях, когда и в черновой и в беловой рукописях последнего он в точности совпадает (начало II строфы, отдельные строки в других местах). Важно учесть как раз другие случаи (их немного), когда благодаря некоторому различию между черновым и беловым текстами «Езерского» можно определить, к какому из них ближе переработка.¹³⁴ Внимательное сопоставление отдельных строк позволяет в ряде случаев установить прямую зависимость набросков «Медного всадника» от черновой рукописи «Езерского».

В «окончательном» беловом автографе «Езерского» стихи 3 и 5 первой строфы читаются так: «Дышало небо влажным хладом» и «О пристань набережной стройной» (V, 97). Но в первом слое черновой записи «Медного всадника» близкие к ним по значению строки наменены иначе: «Дышал осен<ний> вет<ер> хладом» и «О плиты набережной строй<ной>» (V, 443; курсив мой, — О. С.) — так же, как и в раннем беловом тексте

¹³² Два последних стиха остались незачеркнутыми только потому, что были написаны на другой половине страницы — сверху.

¹³³ См.: Комментарий, стр. 48.

¹³⁴ В данном случае, говоря о беловом тексте, я имею в виду текст «окончательного» белового автографа, к черновым же отношу все записи «Езерского» в альбоме ЛБ № 2374.

«Езерского».¹³⁵ Даже поправка в первом из приведенных здесь стихов «Медного всадника»: «Дышал *ненас<тный>* ветер хладом» — могла появиться под влиянием одного из чтений второй строки той же первой строфы: «*Ненас<тный>* ветер тучи гнал».

Сравнивая первые строки наброска «Запросом музу беспокойя» из черновой «Медного всадника» с началом второго отступления в рукописях «Езерского», мы увидим, что и эти строки ближе к черновому тексту строфической поэмы. В черновике «Медного всадника» второй и третий стихи сначала были намечены так (курсив мой, — О. С.):

Зачем ничтожного героя
[Опя<ть>] Вы вновь воспевать —
(V, 445).

Сходные варианты этих строк находятся в черновой записи «Езерского» (первый слой):

Зачем ничтожного героя
Вам [избирать] *воспевать?* — на свой покров? —¹³⁶
(V, 410).

В «окончательной» беловой они читаются иначе:

«Куда завидного героя
Избрали вы! Кто ваш герой?»¹³⁷
(V, 101).

Если обратиться к переработке тех мест отступления, черновики которых в составе «Езерского» отсутствуют, то, даже сопоставив эти наброски «Медного всадника» (продолжение наброска «Запросом музу беспокойя» и набросок «И <нрзб> Что за мода!»¹³⁸) с одним только беловым автографом «Езерского» (стихи 7—14 XII строфы¹³⁹), можно заметить, что стихи, приближающиеся к «окончательной» редакции, поэт нашел не сразу, а лишь после ряда черновых вариантов. Будь у Пушкина под рукой беловой текст, подобная черновая работа значительно облегчилась бы и сократилась.

Хотя и сделанные на ограниченном материале, эти наблюдения позволяют заключить, что каждый раз в основе переработки лежал черновой текст «Езерского». С другими случаями переработки еще придется встретиться дальше, и все они подтвердят, что при создании «Медного всадника» Пушкин пользовался только черновиком строфической поэмы. Причина же тому была одна: «окончательного» белового автографа в пятнадцати строфах в то время еще не существовало.

¹³⁵ В стихе 3 есть незначительное расхождение: «Дышал осенний вечер хладом» (л. 20 об./33); см. приведенную выше (стр. 307) схему переработки текста первой строфы «Езерского» для «Медного всадника», а также Фототипии, стр. 21; ср. стр. 71.

¹³⁶ См.: Фототипии, стр. 6.

¹³⁷ Обе эти строки после ряда исправлений приняли почти законченный вид уже в черновой рукописи «Езерского», но при начале их переработки для «Медного всадника» (а в данном случае это самый показательный момент) поэт воспользовался самым ранним из черновых вариантов, приведенным выше.

¹³⁸ См. V, 446; Фототипии, стр. 23.

¹³⁹ Нужно учесть первоначальный вариант стиха 12:

Куда! нам нет от них прохода —
(V, 418).

Но обратимся к дальнейшему развитию замысла «Медного всадника». Оставив недовершенной переработку строф «Езерского» (и частично отказавшись уже от нее), Пушкин перешел непосредственно к повествованию:

Итак, домой пришед, Евгений
 Позвал слугу раздел<ся> — лег
 Но долго он заснуть не мог
 В волненьи тайн<ых> размышлений...
 (V, 446—447).

Здесь можно обнаружить новый след колебаний Пушкина в отношении героя: одним лишь упоминанием о слуге поэт отменял разработанную выше характеристику («чиновник очень бедный, Безродный, круглый сирота»; V, 444), возвращаясь к тому, что было намечено раньше. Теперь характеристика Евгения давалась иным способом: через его размышления о своей судьбе, через мечты о скромном семейном счастье (V, 447—449).¹⁴⁰ Работа шла здесь легко. Делая один набросок за другим, поэт быстро двигал вперед свой рассказ.

Смутно намеченная в самом начале повести тема наводнения теперь выдвигается на первый план.

[Нева] всю ночь
 Рвалас<я> к морю против бури
 И спорить стало ей не в мочь
 И вспять от их [союзной] дури
 Пошла, клопоча и клубясь —
 И вдруг — как зверь, остервенясь,
 Через гранитную ограду
 [Волнами] хлынула
 И море потекло по граду — —
 *
 Навстречу [волнам] <?> [из] <?> Невы
 Каналы хлынули — [слилися]
 (V, 450—451).

Описание наводнения, очень сокращенно данное в этих первых записях, будет развернуто и дополнено в ряде следующих черновых набросков (V, 451—455). В них Пушкин много раз возвращается к одному и тому же, зачеркивает, переставляет, варьирует стихи, намечает новые. Но работа двигается безостановочно.

На фоне всеобщего бедствия поэт рисует отдельные эпизоды, так или иначе связанные с наводнением. Вслед за наброском:

Ужасный вид — средь улиц челны
 Стремясь в окна бьют кормой — — —
 Из погребов выносят волны
 Весь быт см<иренной> нищеты
 Плывут разбитые <?> амбары
 Плывут снесенные мосты —

Пушкин наметил другой, в котором изобразил царя Александра на балконе дворца, в полной безопасности и в бездействии:

На балкон
 Печален смутен вышел он
 И м<олвил> — с божией стихией
 Царям не сладить — Он глядел
 На злое бедствие —
 (V, 454—455).

¹⁴⁰ В основном тексте это соответствует стихам 31—62.

Вначале продолжением этих строк служило напоминание о последнем наводнении — в тот год, когда «порфиородный младенец», будущий Александр I, появился на свет:

— такого
Уже не помн⟨ил⟩ град Пе⟨тра⟩
От лета семьдесят седьмого —
[Заметная пора]
Тогда еще Екатерина
Была жива и Па⟨влу сына⟩
В тот ⟨год всевышний даровал⟩
И гимн младен⟨цу⟩
Бряцал Держ⟨авин⟩
(V, 456).

Однако это обращение к прошлому, связанное с личностью «покойного царя», не только не вносило ничего нового в развитие основной темы, но уходило в сторону от нее. Поэтому несколько позже (л. 16 об.) Пушкин написал другое продолжение. В нем была представлена картина затопленного города, каким мог видеть его с балкона царь:

Стояли стогны озерами
И в них — ¹⁴¹реками
Вливались улицы —
(V, 459).

Эпизод с царем заканчивался так же, как и в белой:

Царь молвил — из конца в конец
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь [бурных] вод
Его пустились генералы
Спасать от страх⟨а⟩ одичалый
И дома тонущий народ —¹⁴²
(V, 460).

Эта запись являлась сводкой предыдущего чернового наброска (на том же л. 16 об.), первые же черновые наброски к приведенным стихам были сделаны гораздо раньше (на л. 14 об.), вслед за отрывком, в котором упоминалось о рождении Александра I. Но там это были лишь отрывочные наброски отдельных строк. Зачеркнув их, Пушкин стал разрабатывать новый эпизод: о курьезном происшествии с сенатором Толстым (V, 457—458). В следующем, третьем эпизоде рассказывалось о гибели солдата на своем посту:

Часовой
Стоял у сада! Караула
Снять не успели — Той порой
Верхи деревьев [буря] гнула
И рыла корни [их] [волна]¹⁴³

Набросок остался незаконченным и в беловую рукопись не попал.

¹⁴¹ Первые два стиха ранее входили в другой набросок:

И [стали] стогны озерами
Помчались улицы реками
И всп⟨лыл⟩ П — ⟨етрополь как тритон⟩
По п⟨ояс в воду погружен⟩

(V, 454).

¹⁴² В Академическом издании этот набросок напечатан без первого стиха.

¹⁴³ Ср. V, 458, где этот стих напечатан неточно: «И рыло ⟨?⟩ корни их волной».

На л. 15 Пушкин наметил еще несколько строк, дополнявших описание наводнения, после чего в работе наступил некоторый перерыв.

Наброски «Медного всадника» занимают лишь левую половину лицевой стороны л. 15, на правой половине страницы находится запись первых стихов третьей части «Анджело» (черновик третьей части писался где-то в другом месте). Должно быть, она появилась здесь в связи с доработкой чернового текста поэмы перед составлением беловой, около (но не позднее) 27 октября: в этот день Пушкин переписал третью часть набелэ. А так как черновые записи первой части «Медного всадника» на л. 15 и на предшествующих листах альбома были сделаны прежде наброска к «Анджело»,¹⁴⁴ их можно датировать промежутком после 21 и до 27 октября.

Черновики «Медного всадника» продолжались на обороте л. 16 и на лицевой стороне л. 17 — через две страницы. Пушкин пропустил их потому, что оборот л. 15 был занят стихотворением «Сват Иван, как пить мы станем», а соседняя страница — рисунком к нему. В двух набросках на л. 16 об. Пушкин заканчивал эпизод с царем (стихи 114—123 основного текста), три других (на л. 17) относились к «Вступлению». Это новая, окончательная редакция строк 39—42 («И перед младшею столицей») и дополнение к отрывку «Люблю тебя, Петра творенье» (стихи 48—58). Продолжение черновых «Медного всадника» находится в другой тетради — ЛБ № 2372 (ПД № 839; так называемый Сафьяновый альбом).

Но почему Пушкин не стал продолжать работу в альбоме ЛБ № 2374, где было написано «Вступление» и большая часть первой главы, где после этого шли чистые листы большей части альбома? Почему вдруг после стиха 123 первой части он возвратился к «Вступлению»? С. М. Бонди полагает, что отрывочность последних записей в альбоме ЛБ № 2374, неоднократные возвращения к одному и тому же, наконец то, что Пушкин вовсе бросил тетрадь, — всё говорит не более как о временном заторе в работе (при этом исследователь ссылается на письмо Пушкина от 21 октября). Быть может, потому, что при подготовке фототипического издания С. М. Бонди занимался главным образом черновым текстом альбома ЛБ № 2374, в отношении датировки «Медного всадника» он допустил ошибку: основываясь на помете в беловике «Вступления» — «29 октября», он заключил, что к этому времени вся поэма вчерне была окончена. Отсюда и его датировка черновиков в альбоме ЛБ № 2374: от 6 до 15—20 октября.¹⁴⁵

Между тем среди черновых записей тетради ЛБ № 2372 (л. 52 об.) после стиха 154 первой части¹⁴⁶ имеется дата: 30 октября. Значит, Пушкин стал переписывать «Вступление», когда черновик поэмы был далеко еще не закончен, и, чтобы не прерывать черновой работы, перешел в другую тетрадь — так он мог работать параллельно. Последние наброски стихов «Вступления» на л. 17 альбома ЛБ № 2374 делались, вероятно, или непосредственно перед переписыванием вступительной части или в самом начале его. Как бы то ни было, можно с уверенностью сказать, что к 29 ок-

¹⁴⁴ На л. 14 об. строки «Анджело» отпечатались поверх черновой записи «Медного всадника» (см.: Фототипии, стр. 30, 31).

¹⁴⁵ См.: Комментарий, стр. 19, 50.

¹⁴⁶ В примечании к тексту «Медного всадника» (V, 518) этот стих неправильно назван 138. Дело в том, что листок с переработанными Пушкиным стихами о мечтах Евгения был найден, когда пятый том находился в печати, и, хотя в основной текст эти шестнадцать дополнительных строк были вставлены (после стиха 46 первой части), в примечании и в разделе беловых редакций нумерация стихов осталась прежней. Поэтому на стр. 489—491 пятого тома к порядковому номеру каждого стиха, начиная со стиха 62, следует прибавлять число шестнадцать.

тября все записи, относящиеся к «Медному всаднику», в этом альбоме были закончены.

Тетрадь ЛБ № 2372, куда Пушкин перенес черновую работу над поэмой, с обеих сторон была уже занята записями различного характера. Больше половины тетради (сорок четыре листа) занимал беловик «Полтавы». Найдя с другой стороны чистые листы, Пушкин стал писать на них «Медного всадника». Черновики его занимают здесь восемнадцать страниц подряд (лл. 54 об.—46).¹⁴⁷

Занимаясь перепиской «Вступления», Пушкин просматривал, очевидно, и следующие записи. И прежде чем перейти к дальнейшему развитию сюжета, он сделал в тетради ЛБ № 2372 несколько набросков, дополняющих записи первого альбома.

Судя по предшествующим черновым наброскам, характеристика героя не была еще завершена. В последнем из них, где упоминалось о слуге Евгения, поэт возвращался примерно к тому облику героя, который наметился с самого начала. Но вопрос о происхождении, о родословной героя оставался нерешенным. В поисках ответа Пушкин снова обратился к черновику строфической поэмы: в первых набросках тетради ЛБ № 2372 мы найдем следы новых переделок текста «Езерского».

Первый набросок на л. 54 об. («Мы будем нашего героя») начинался с переработки стихов 13—16 первой части.¹⁴⁸ Отказавшись от какой бы то ни было родословной героя, поэт оставил лишь намек — не совсем определенный, но от того не менее многозначительный — на его знатное происхождение:

Прозванья ж нам его не нужно —
Хот<я> в минувши време<на>
Оно быть может и блистало
И под пером Кар<амзина>
В родных преданьях прозвучало
[Но ныне светом] и молвой
Оно забыто —

О самом же Евгении говорилось:

— наш герой
Живет в чулане — где-то служит¹⁴⁹
Дичится знатных — и не тужит¹⁵⁰
[Что дед его великий <муж>].
Имел 16 т<ысяч> душ!..]
(V. 461—462).

Два последних стиха в рукописи зачеркнуты, быть может, в связи с попыткой разработать ниже (л. 53 об.) другой их вариант:

¹⁴⁷ Счет листов идет в обратном порядке.

¹⁴⁸ Между л. 54 и предшествующим ему с этой, т. е. с задней, стороны тетради л. 55 один лист вырван. Так как на л. 55 имеются отпечатки некоторых строк с л. 54 об., надо думать, что наброски «Медного всадника» на л. 54 об. появились позже, чем лист был вырван. Учитывая это, едва ли можно допустить, что черновые записи «Медного всадника» в тетради ЛБ № 2372 Пушкин начал на вырванном листе.

¹⁴⁹ Вариант:

Живет под кровлей — где-то служит
Каким-<то> юнкером — <?>

«Под кровлей», т. е. на самом верхнем этаже (ср. в «Езерском»: «конурка пятого жилья» или «чердак»).

¹⁵⁰ Вариант: Боят<ся> знатных и не тужит

[Не знает он]
 О том, что в тереме забытом
 [В пыли гниют его права]¹⁵¹
 (V, 463).

И эта переделка тоже была оставлена.

На л. 53 об. есть еще два наброска, связанные на этот раз с темой первого отступления — об упадке старинного дворянства и о родовой гордости:

Вас спесь боярская не гложет
 И век вас верно просветил
 Кто б ни был etc

*

От этой слабости безвредной
 Булг.<арин> отучить <?> не мог
 Меня (хоть был он очень строг <?>)

(V, 464).

Среди известных нам черновиков «Езерского» нет соответствующего этим строкам. Зато в «окончательном» беловом автографе можно обнаружить не только соответствие, но частью полное совпадение с ними в V (стихи 11—12), VI (стих 1) и VII (стихи 12—14) строфах. Казалось бы, следовало допустить, что Пушкин пользовался белой рукописью «Езерского». Но и в данном случае более внимательное обследование текста опровергает такое предположение: вторая и третья строки второго наброска имеют ряд черновых (и притом неполных) вариантов; если бы у Пушкина была белая рукопись «Езерского», он мог бы сразу взять эти стихи отсюда (где они имели к тому же более приемлемый для цензуры вид).

Вероятно, Пушкин собирался связать эти наброски — через посредство предыдущего — с первым, но мотив родовитости героя не получил развития в «Медном всаднике», поэтому они остались в черновике и незаконченными.¹⁵²

Кроме них (и раньше их) Пушкин сделал на л. 54 несколько набросков, относящихся к описанию наводнения. Переработав прежние отрывочные записи, он наметил стихи 88—93 («Бежало всё и скрылось вдруг») и почти без исправлений написал другой отрывок (стихи 94—104: «И страх и смех — средь улиц челны»)¹⁵³. Последний вошел затем в таком виде в первую беловую рукопись.

В альбоме ЛБ № 2374 первую часть поэмы Пушкин не закончил, но перерыв пришелся в такой момент, когда общая картина наводнения в черне была завершена. Кроме того, когда в новой тетради поэт приступил к продолжению повествования, облик героя уже окончательно выяснился. Поэтому дальше работа шла быстро и в результате получался связанный, близкий к окончательному текст («На [самой] площади Петровой»; стихи 124—154). Наметив сначала лишь основу мысли:

[В то время] На шее мраморного льва
 Сидел Евгений —

(V, 464)

¹⁵¹ Ср. с набросками «Езерского» (V, 414, примеч. 4; 416, строка 9 и примеч. 2).

¹⁵² С. М. Бонди объясняет появление этих стихов среди черновиков «Медного всадника», так же как и отрывка о Байроне, тем, что, отказавшись от мысли ввести родовую в «Медного всадника», Пушкин стал думать об ином ее применении и сделал для нее кое-какие наброски (см.: Комментарий, стр. 48). Правда, это трудно совместить с другим его предположением, что «окончательная» белая рукопись уже существовала.

¹⁵³ Ср. V, 462—463 и 451—454, 463 и 454—455

Пушкин последовательно — от строки к строке — развивал ее, изображая Евгения, застигнутого наводнением на углу «площади Петровой», «На звере мраморном верхом» (V, 464). Зрелище разгула стихий, страх за жизнь близких ему людей пробудили в душе Евгения странные, непривычные ему мысли:

— или во сне —
Он видит гибель... иль и наша
Вся жизнь ничто — как [сон] пустой
Насмешка неба над землей —

(V, 466).

Первоначально этими словами (с многоточием после них) Пушкин, по-видимому, хотел закончить первую часть поэмы: в рукописи тут сделан росчерк, обычный у Пушкина знак окончания, и поставлена дата: «30 окт.». Заключительные стихи поэт приписал ниже (л. 52 об.—52). Первый их набросок был еще неполным:

И он как будто околдован
Как будто силой злой прикован
Недвижно к месту одному —
И нет возможности ему —
Перенестись. Гроза бушует, —
Мостов уж нет — исчез народ
Нева кругом бунтует

 среди пены
Пред ним — из вод —
Возник
Над потопленной скалою —
Кумир на бронзовом коне
Неве мятежной — в тишине —
Гроза недвижную рукою

(V, 466—467).

Все стихи, кроме двух первых, Пушкин тут же переработал, сократив в половину, и написал почти в окончательной уже редакции (стихи 157—163).¹⁵⁴

30 октября, в тот день, когда в черновике была закончена первая часть «Медного всадника», Пушкин послал жене письмо.¹⁵⁵ Отвечая на вопрос о том, как он живет, Пушкин писал: «Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей, и лежу до 3-х часов. Недавно расписался, и уже написал пропасть. В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем, да грешневой кашей. До 9 часов — читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лице» (XV, 89).

Действительно, после 21 октября Пушкин работал очень много и необычайно плодотворно: 24—27 закончен «Анджело», 28 октября помечены беловые рукописи двух таких больших стихотворений, как «Будрыс и его сыновья» и «Воевода»; возможно, тогда писалась и «Пиковая дама» и уже была начата «Сказка о мертвой царевне». Одновременно поэт делал наброски к «Медному всаднику», а после завершения «Анджело» всецело отдался работе над этим — важнейшим из всех — замыслом.

Творческий подъем, испытываемый поэтом в 20-х числах октября, всё нарастал, и завершение «Медного всадника» явилось наивысшим его момен-

¹⁵⁴ Однако в первую беловую эти стихи сначала были переписаны в ранней редакции, а потом уже переделаны.

¹⁵⁵ Не для него ли и оторвался он от своей работы?

том. К 29 октября были закончены последние наброски к «Вступлению», а черновик первой части доведен до стиха 123; 29-го «Вступление» переписано набело. 30 октября Пушкин окончил первую часть, 31-го уже была написана вся вторая. Только исключительным по силе приливом вдохновения можно объяснить то, что вторую часть поэмы, самую сложную и глубокую по мысли, Пушкин целиком написал за один день и притом написал так, что черновой текст ее не потребовал никакой переработки, а был лишь окончательно отшлифован при переписке набело. В тот же день Пушкин переписал обе части набело, закончив всю работу, вероятно, утром 1 ноября в 5 часов 5 минут.¹⁵⁶

В тетради ЛБ № 2372 черновые записи второй части начинались со стиха 32 («И долго с [влажными] <?> горами»; V, 468), но, судя по их содержанию и по тому, что в первой белой рукописи пропуска тут не было, черновик начинающих вторую часть стихов Пушкин написал раньше и где-то в другом месте. До нас дошел только один такой набросок, относящийся к стихам 16—19:

и к Неве
В надежде <?>, ужасе <тоске> <?>
Спешит Евгекний —¹⁵⁷
(V, 488).

На той же странице, где он начал черновые записи второй части (ЛБ № 2372, л. 51 об.), Пушкин наметил подробный план ее — до конца (V, 467):

[Пустое место]
[На другой день всё в пор<ядке>]
Сумасшедший
[Холодный] [ветер] [до<ждь>] <?>
Конь
Петр.<овский> <?> па<мятник> <?>
Остров.¹⁵⁸

План этот охватывает всё содержание второй части, и в своем черновике Пушкин ни в чем от него не отступал. Замысел «Медного всадника» определился до конца и во всех подробностях, поэтому таким стремительным могло быть его воплощение.

Правда, и до этого работа над поэмой шла в общем последовательно и планомерно, но иногда в процессе писания намечались некоторые колебания и в отношении героя и в отношении композиции, особенно в начале

¹⁵⁶ Такова первоначальная помета на белой рукописи, переправленная затем на 31 октября. В этом можно было бы видеть лишь исправление допущенной в счете дней ошибки, а «5 ч. 5 <мин.>» считать вечерними часами 31 октября. Но тогда получается, что Пушкин написал всю вторую часть черне (без тридцати начальных — около двухсот стихов) и переписал обе части набело в течение одних только суток или того менее. Вероятнее предположить, что, начав черновик второй части 30 октября, Пушкин закончил его 31-го и сразу же принялся за переписку, которая затянулась далеко за полночь и была закончена лишь к утру 1 ноября. В таком случае первоначальная дата не была ошибочной, и если Пушкин исправил ее, то, вероятно, потому, что в основном работу над поэмой он окончил именно 31 октября.

¹⁵⁷ Набросок сделан сбоку от записи стихотворения «Соловей мой, соловейко» (ЛБ № 2375, л. 18 об. (ПД № 926Б)) на отдельном согнутом пополам листе, который получил в тетради ЛБ № 2375 два жандармских номера: 18 и 35.

¹⁵⁸ Пушкин писал тут в два столбца. Набросок плана не был первой записью на странице: он написан в правом верхнем углу, по-видимому, одновременно с набросками на левой половине и после того, как правый столбец был уже начат. Запись плана сделана не в таком строгом порядке, как это представлено в пятом томе, и, может быть, не вся сразу. Частично план был зачеркнут в связи с его выполнением.

первой части. Когда поэт принялся за вторую, все сомнения оставались уже позади, однако местами и здесь работа над черновым текстом становилась очень напряженной (сцена у памятника — стихи 155—180, заключение). Варьируя, Пушкин повторял отдельные строки, делал к одному и тому же месту по несколько набросков, развивавших и уточнявших ту или иную мысль, но отдельные трудности уже не задерживали его: цель была ясна и конец близок. Ничто не отвлекало поэта от его труда; среди черновых записей второй части «Медного всадника» нет ни посторонних текстов,¹⁵⁹ ни рисунков. Перо едва поспевало за стремительным движением его мысли; здесь особенно много попадаетея недописанных строк и слов, зато весь текст разработан до конца и во всех деталях, так что при переписке не понадобилось ни сокращать его, ни добавлять к нему.

Заканчивая «Медного всадника», Пушкин снова, в последний раз обратился к тексту «Езерского». Несколько строк из первой его строфы поэт очень удачно приспособил к тому эпизоду второй части «Медного всадника», который в плане был обозначен словами: «[Холодный] [ветер] [дождь]». В черновике Пушкин сделал к этому месту несколько набросков:

<Раз он> спал
 На невской пристани — дни лета
 Клонились к осени — дышал
 Ненастный ветер — невской <?> вал
 Рвался <?> ступени
 [словно] ропща пени
 Как челоб.итчик) в дверь <суда>
 *

О пристань бился невск<ой вал>
 ступени
 *

Как челобитчик у дверей
 Ему невнемлющих судей
 *

Бедняк проснулся — мрачно было
 В замен угасн<увшей> зари
 Светили тускло фо<нари>
 Дождь ка<пал>, ветер пел <?> уныло —
 И с ветром в т<емноте> ночной
 Переклик<ался> часовой
 (V. 475—476).

Как и все предшествующие переработки, эти записи связаны не с «окончательной» беловой, а с черновыми рукописями «Езерского», и даже, может быть, не столько с текстом из альбома ЛБ № 2374, сколько с более ранним черновым вариантом I строфы в тетради ЛБ № 2373 (V, 394—395).¹⁶⁰

Перед тем как составить беловую сводку «Вступления», около (не позднее) 29 октября Пушкин вчерне набросал на отдельном листке (ПБЛ № 28 (ПД № 932)) новую редакцию его заключительных строк (V, 487).

Этим исчерпываются дошедшие до нас черновые записи «Медного всадника».

¹⁵⁹ Это можно было бы сказать обо всем черновике «Медного всадника» в тетради ЛБ № 2372. Исключение составляют лишь полторы строчки, неразборчиво, наспех набросанные на л. 52 после черновой записи завершающих стихов первой части.

¹⁶⁰ Эту тетрадь Пушкин брал с собой в дорогу и как раз в последние дни октября к ней обращался (черновик стихотворения «Воевода» на лл. 29 об.—28 об.).

7

Ни одно из произведений Пушкина не сохранилось в рукописях с такой полнотой, как «Медный всадник»: текст поэмы дошел до нас, кроме черновой, в трех беловых редакциях. Поэтому творческая история «Медного всадника» может быть восстановлена почти без пропусков от первых черновых набросков до позднейшей переработки отдельных частей законченного уже белового текста.

Первая беловая рукопись представляет собой несшитую тетрадку из девяти сложенных вдвое полулистов почтовой бумаги, которые были вложены в общую обложку с заглавием на ней и годом. «Вступление», переписанное раньше остального текста, составляет внутри особую тетрадочку из четырех листов, на последней странице которой после обычной концовки-росчерка выставлена дата «29 окт.». Хотя в это время первая часть в черновике еще не была закончена и образ Медного всадника еще не был введен в поэму,¹⁶¹ в сознании поэта он уже определился как важнейший, несущий в себе основную ее идею. Об этом свидетельствует заглавие «Медный Всадник (Петербургская повесть)», которое Пушкин впервые написал на титульном листе перед тем, как начать переделку «Вступления».

Как всегда, переписывая черновой текст, поэт сводил воедино разбросанные в разных местах наброски, устранял встречающиеся в них невязки и противоречия, одно отбрасывал, другое дополнял, переставлял отдельные строки и куски текста, оттачивал мысль и отделял стих. Это была большая творческая работа, и только после нее замысел приобретал законченную форму.

Во «Вступлении» поэт намного расширил лирический отрывок «Люблю тебя, Петра творенье», переработал и следующий за ним («Красуйся, град Петров!..»). Особенно значительно изменилась по сравнению с черновиком первая часть, откуда Пушкин выбросил несколько эпизодов, связанных с наводнением.

Большая часть текста получила свой окончательный вид сразу же при переписке или после небольших поправок. Но работа над рукописью, как обычно, продолжалась и далее. В первоначальную чистовую запись Пушкин внес много исправлений, местами очень значительных. В совокупности эти поправки, судя по почерку разновременные, приводили ко второй беловой редакции, правда здесь еще не совсем законченной. Переделку текста беловой сводки Пушкин завершил при составлении второй беловой. Она предназначалась для представления царю и, скорее всего, была написана уже по возвращении в Петербург в конце ноября—начале декабря 1833 года. Вероятно, и часть поправок (последний слой) была внесена в текст болдинского автографа незадолго до его вторичной переделки.

В отличие от второго, так называемого цензурного автографа в болдинской рукописи «Предисловия» еще не было, не были озаглавлены и обе части поэмы; кое-где в ней намечены цифры примечаний (окончательно

¹⁶¹ Если не считать упоминания о памятнике в одном из набросков «Вступления»:

И волны финские не раз
На грозный приступ шли бунтуя
И потрясали негодуя
Гранит подножия Петра

(V. 440).

Последняя строчка повторялась и в первом слое переделанной записи.

их места еще не определились), но самих примечаний в тетрадке нет. Существенно отличался в нескольких местах и текст поэмы.

Стихи 59—66 (по счету стихов в основном тексте «Вступления») в первой беловой отсутствуют. Они были написаны позже на отдельном листке (место вставки обозначено крестиком).¹⁶² Первоначально после строки «Спешит, дав ночи полчаса» шли стихи 67—74, затем следовало четверостишие:

Цветные дротики уланов,
Звук труб и грохот барабанов,
Люблю на улицах твоих
Встречать поутру взводы их

Пушкин перечеркнул его; вероятно, не столько из-за не совсем удачного инверсивного построения (его можно было бы изменить), сколько потому, что эти строки, не внося ничего существенно нового в тему военного могущества России, лишь ослабляли ее звучание.

После стихов:

Люблю, военная столица,
Твоя твердыня дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царской дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует

(V, 137)

вначале было написано:

Или крестит, средь невских вод,
Меньшого брата русский флот
Или Нева весну пирует
И к морю мчит разбитый лед.

Пушкин зачеркнул и это четверостишие, заменив его тремя стихами, в которых мотив освобождения от зимних оков, мотив весеннего ликования природы был выражен с гораздо большей силой. Так заканчивался этот стихотворный абзац и в окончательной редакции (стихи 81—83).

Заключительные строки «Вступления» Пушкин переписал в первую беловую с черного наброска на отдельном листке (ПБЛ № 28), и это место приняло такой вид:

Была ужасная пора...
Но пусть об ней воспоминанье
Живет в моем повествованье
И будет пусть оно для вас,
Друзья, вечерний лишь рассказ
А не зловещее преданье.¹⁶³

В отличие от первоначальных черновых набросков в альбоме ЛБ № 2374 поэт внес в эту редакцию некоторые успокоительные ноты. Так же, с очень

¹⁶² Листок этот находился в собрании А. Ф. Онегина до 1892 года, когда был им передан студенту Московского университета Истоминому, и с тех пор бесследно исчез (см. V, 517, а также: «Пушкин и его современники», вып. XII, 1909, стр. 11, № 15).

¹⁶³ Эта редакция заключительных стихов «Вступления», так же как и два приведенных выше четверостишия, в разделе «Варианты первой беловой редакции» (V, 488) оказались случайно пропущенными; они приводятся наряду с другими случаями пропусков и опечаток в дополнительном томе Академического издания.

незначительным отступлением от беловой сводки, заканчивалось «Вступление» и в цензурном автографе.

Позднее Пушкин снова переделал конец его так, чтобы к началу «повествования» настроить читателя на печальный и серьезный лад (стихи 92—96).

Мечты Евгения о женитьбе в первой части поэмы и в болдинской и в цензурной беловой были изложены иначе, более пространно, чем в окончательном тексте. Вторая беловая очень незначительно отличалась в этом месте от первой, в основе которой лежал черновой текст.

Значительной переделке при составлении беловой сводки подверглось описание наводнения и заключительный отрывок первой части (V, 489—490, 491—492). В поисках того стиха, той интонации, того слова, которые с наибольшей ясностью и выразительностью передавали бы его мысль, поэт иногда по нескольку раз исправлял одну и ту же строку, местами превращая беловую рукопись в черновик. После переделки все строки заключительного отрывка получили свой окончательный уже вид, но порядок их определился лишь во второй беловой. А описание наводнения позднее Пушкин опять станет переделывать.

Поэт выбрасывал целые куски совсем уже отделанного текста, если замечал, что они вредят восприятию целого. Так, при вторичной переделке он вычеркнул из первой части тринадцать стихов, в которых очень живо, с юмором изображался действительно бывший анекдотический случай с сенатором графом П. А. Толстым, который, поздно проснувшись в день наводнения и ничего не зная о нем, вдруг увидел в окно плывущего в лодке по Морской улице генерал-губернатора графа М. А. Милорадовича:

Со сна идет к окну сенатор
И видит в лодке по Морской
Плывет военный губернатор
Сенатор обмер: Боже мой!
Сюда, Ванюша! стань немножко
Гляди: что видишь ты в окошко
— Я вижу-с: в лодке генерал
Плывет в ворота, мимо бутки.
— Ей богу? — точно-с — кроме шутки?
Да так-с. — Сенатор отдохнул
И просит чаю: Слава богу!
Ну! Граф наделал мне тревогу
Я думал: я с ума свихнул

(V, 491).

Сами по себе эти стихи представляли великолепный образчик разговорной речи с присущими ей оборотами и интонациями. Но в поэме они помещались сразу после описания гибели и разрушений, вызванных наводнением,¹⁶⁴ и перед тем отрывком первой части, в котором изображался сидящий на мраморном льве охваченный отчаянием Евгений. Вставленный сюда анекдотический эпизод ослаблял впечатление от картин всеобщего бедствия, снижал напряжение, которое к концу первой части должно было нарастать, и потому поэт отказался от него.

¹⁶⁴ Точнее после стиха 123, завершавшего отрывок об Александре I, который посылает своих генералов

Спасать от страха одичалый
И дома гибнущий народ.

(V, 490).

Черновой текст второй части никаких переделок не потребовал, и при переделке его всё внимание поэта было обращено на шлифовку стиха. Поправки (а их здесь довольно много) в большинстве случаев касаются отдельных строк или слов.

Совершенствовать стих Пушкин продолжал и при вторичной переписке, но исправлений — сверх тех, которые уже были внесены в первую беловую редакцию, понадобилось немного. Одно из них имело явно цензурный характер: в стихе 154 первой части («Насмешка неба над землей») слово «неба» поэт заменил словом «рока». Однако эта жертва цензуре оказалась ничтожно малой.

Возвратясь из Болдина в Петербург (около 24 ноября 1833 года), Пушкин заключил со Смирдиным договор о печатании нескольких новых своих сочинений, и в числе их — «Медного всадника». Но для этого требовалось высочайшее разрешение. За ним Пушкин и обратился 6 декабря 1833 года. «Осмеливаюсь препроводить Вашему сиятельству, — писал поэт Бенкендорфу, — стихотворение, которое желал бы я напечатать, и при сем случае просить Вас о разрешении для меня важном. Книгопродавец Смирдин издает журнал, в коем просил меня участвовать. Я могу согласиться только в том случае, когда он возьмется мои сочинения представлять в цензуру и хлопотать об них на равне с другими писателями, участвующими в его предприятии; но без Вашего сведения я ничего не хотел сказать ему решительного». Далее Пушкин просил дозволения представить на высочайшее рассмотрение «Историю Пугачевщины» (XV, 97—98). Разрешение обращаться «с мелкими сочинениями» к «обыкновенной цензуре», которого Пушкин безуспешно добивался прежде, в этот раз было ему дано.¹⁶⁵ Что же касается представленного им «стихотворения», как поэт назвал здесь своего «Медного всадника», то оно удостоилось самого внимательного рассмотрения. О результатах его Пушкин записал в своем дневнике 14 декабря 1833 года следующее:

«11-го получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на другой день утром. Я приехал. Мне возвращен Медный Всадник с замечаниями государя. Слово *кумир* не пропущено высочайшею цензурою; стихи

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиросносная вдова —

вымараны. На многих местах поставлен (?), — всё это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным» (XII, 317).

Горечь и недоумение прорываются даже сквозь нарочитую сдержанность этой краткой записи. «Медный Всадник не пропущен — убытки и неприятности!» — писал Пушкин П. В. Нащокину в марте 1834 года (XV, 118).¹⁶⁶ «Пушкин вчера навестил меня, — сообщал 24 октября 1834 года А. И. Тургенев находившемуся в это время за границей Вяземскому. —

¹⁶⁵ На подлиннике цитируемого выше письма сохранилась надпись рукой управляющего III Отделением А. Н. Мордвинова: «Отвечать: 1-е. Что пиесы его [в журнале Смирдина помещаемые должны быть подвергнуты обыкновенной] для журнала Смирдина назначаемые могут быть печатаемы в оном по рассмотрении цензурою на равне с другими» (Пушкин, XV, 270).

¹⁶⁶ См. также письмо к Нащокину, написанное в 10-х числах декабря 1833 года (XV, 99).

Поэма его о наводнении превосходна, но исчеркана и потому не печатается».¹⁶⁷

Действительно, рукопись «Медного всадника» в девяти местах была отмечена царем. Некоторые строки он перечеркнул, некоторые отчеркнул сбоку, поставив, кроме того, вопросительные знаки и NB; особо были подчеркнуты слова «кумир», «горделивый истукан», «строитель чудотворный» и стихи:

Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой...

Вся сцена перед памятником и другие важнейшие места «Медного всадника» были признаны непозволительными.¹⁶⁸ Поэтому вместо всей поэмы в № 12 «Библиотеки для чтения» за 1834 год была напечатана под заглавием «Петербург. Отрывок из поэмы» лишь часть «Вступления», без пяти заключительных стихов и с пропуском зачеркнутого царем четверостишия (стихи 39—42), замененного здесь четырьмя строками точек.

8

После того как был осуществлен замысел «Медного всадника», продолжать историю Езерского поэт, очевидно, не собирался. Но тому, что уже было написано (более двухсот стихов), можно было найти применение. Пушкину не раз случалось печатать отдельные куски, почему-либо не вошедшие в законченное произведение, или отрывки брошенных замыслов. Текст «Езерского», значительный по объему, достаточно цельный по теме, по ведущей мысли и в большей своей части почти совсем уже обработанный, вполне подходил для этого. Частями готового текста можно было воспользоваться и по-иному, переработав их для других замыслов. Пушкин уже пытался перенести из «Езерского» в черновую «Медного всадника» все сколько-нибудь значительные мотивы, но от большинства начатых переделок отказался, поэтому значительная часть строфического текста и впредь могла служить ему в качестве творческого материала.

Вероятно, еще не найдя строфам «Езерского» определенного применения, но уже решив в том или ином виде подготовить их для печати, Пушкин переписал текст брошенной поэмы с отдельных листов черновых листов набело. При этом, как всегда, поэт продолжал художественную обработку стиха. Но это была не совсем обычная переписка: наученный горьким опытом, Пушкин выбрасывал из текста целые строфы и переделывал всё, что заведомо встретило бы возражения цензуры. Хотя сравнительно с первоначальной редакцией черновика общее число строф в беловой рукописи (ЛБ № 2375, лл. 23—29, и ПД № 194) уменьшилось лишь на одну (в беловике Пушкин отбросил последнюю строфу, которая подводила к «повести любовной»), состав строф сильно изменился. Эти перемены, как уже говорилось выше, коснулись родословной Езерских и первого отступления. Из родословной Пушкин целиком выбросил строфы V («Во время смуты безначальной»), VII («Петра не стало; государство») и VIII («И тут Езерские возились»), а также по-

¹⁶⁷ Остафьевский архив, т. III. СПб., 1899, стр. 262.

¹⁶⁸ Подробное описание помет Николая I дано в статье П. Е. Щеголева «Текст Медного всадника» в издании: Медный всадник. Петербургская повесть А. С. Пушкина, стр. 66—68. Транскрипцию их см. в статье Т. Г. Зенгер-Цявловской «Николай I — редактор Пушкина» («Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 522); там же затронут и вопрос об автоцензурных исправлениях Пушкина (подробно разбирает его П. Е. Щеголев).

следние шесть стихов VI строфы.¹⁶⁹ Оборвав историю рода Езерских на восьмом стихе («При императоре Петре...») VI строфы, поэт переходил к полемике с теми, кто, прикрываясь словами об общей пользе, о просвещенье, легкомысленно и невежественно пренебрегает «древней славою» и «правами» предков. А для Пушкина, который видел в истории старинных дворянских родов часть истории России, это было равносильно пренебрежению к прошлому своей родины и свидетельствовало о крайне низком нравственном уровне сторонников подобных мнений.

Кроме двух строф, уже известных по черновикам,¹⁷⁰ в беловом автографе полемика занимала еще две строфы («Кто б ни был ваш родоначалник» и «Я сам — хоть в книжках и словесно»; V, 99—100). Черновики этих строф до нас не дошли, но в черновой «Медного всадника» наряду с переработкой нескольких отрывков «Езерского» встречаются два небольших наброска («Вас спесь боярская не гложет» и «От этой слабости безвредной»; V, 464), очень близких к некоторым строкам окончания V, начала VI и конца VII строфы в позднейшей беловой редакции. Можно было бы допустить, что в «Медном всаднике» Пушкин набросал эти стихи впервые, а позже, при составлении пятнадцатистрофной беловой «Езерского», развил тему упадка родовой гордости в двух дополнительных строфах второго отступления. Однако после начатого в черновике «Медного всадника» стиха «Кто б ни был» имеется помета «etc», которую обычно Пушкин ставил тогда, когда готовый текст наспех переносил в другое место, отмечая перенос несколькими начальными словами. Поэтому скорее следует предположить, что вчерне этот текст был намечен при одной из многократных переделок первого отступления, причем эта неизвестная его редакция в отличие от беловой занимала, может быть, не две с половиной, а только две строфы; в противном случае в первоначальную композицию «Езерского» (с полной родословной) они не укладываются.

Сокращение родословной Езерских в поздней беловой редакции было вызвано цензурными соображениями. Что же касается первого отступления, то в сравнении с первоначальной редакцией оно намного расширилось и самый тон полемики приобрел значительно более острый характер. Это вовсе не противоречит принятому нами предположению, что пятнадцатистрофная беловая была составлена с целью приспособить текст «Езерского» к требованиям цензуры.¹⁷¹ Часть рукописей «Езерского» не сохранилась, и мы не знаем, каким был его текст в последней стадии работы над замыслом весной 1833 года. Может быть, уже тогда первое отступление состояло не менее чем из четырех строф, и едва ли менее острых. Но при переписке набело поэт занялся прежде всего главным: переработкой тех строф родословной, которые касались сравнительно недавнего петербургского периода русской истории. Текст первого отступления Пушкин несколько смягчит и сократит позже, при подготовке к печати «Родословной моего героя», хотя и в печатном ее тексте полемика все-таки останется достаточно острой. Последнее объясняется тем, что цензура более снисходительно относилась к журнальной полемике (даже если речь при этом заходила о достоинстве старинного русского дворя-

¹⁶⁹ По счету строф в первоначальной редакции (см. приложение).

¹⁷⁰ См. приложение (вторую редакцию).

¹⁷¹ Это предположение высказывал Б. В. Томашевский (см.: А. С. Пушкин. Стихотворения, т. I. Изд. «Советский писатель», Л., 1955, стр. 694 (Библиотека поэта. Большая серия); А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. IV, изд. 2, 1957, стр. 570).

нина), чем к попыткам дать собственную, отличающуюся от официальной, трактовку некоторых моментов русской истории (доказательством чему служит стих, выброшенный цензурой из второй строфы «Родословной» при печатании ее в «Современнике»).

Пятнадцатистрофная беловая рукопись «Езерского» сохранила следы переделок различного рода и разного времени. Некоторые из них (во II, III и V строфах) связаны с попыткой приспособить родословную Езерских к «Евгению Онегину».

Когда «Онегин» не был еще дописан, П. А. Плетнев, полушутя-полусерьезно называя Онегина «кормильцем» поэта, а самый роман «золотым дном», упрощивал Пушкина как можно больше не расставаться со своим героем. Но и после того, как «Евгений Онегин» все-таки был кончен и в 1833 году напечатан отдельной книжкой, друзья, особенно Плетнев, не переставали, по-видимому, убеждать Пушкина вернуться к оставленному замыслу, мотивируя это, в шутливо-ироническом пересказе поэта, тем,

Что странно, даже неучтиво
Роман не конча перервать,
Отдав его уже в печать,
Что должно своего героя
Как бы то ни было женить,
По крайней мере умирить,
И лица прочие пристроя,
Отдав им дружеский поклон,
Из лабиринта вывести вон.

(III, 1, 397).

В бумагах Пушкина сохранились наброски ответа на этот вызов, написанные октавой, александрийским стихом и онегинской строфой. Два из них обращены к друзьям вообще («Вы за „Онегина“ советуете, други» и «В мои осенние досуги»), два — к Плетневу («Ты хочешь, мой [наперсник строгой]» и «Ты мне советуешь, Плетнев любезный»). Правда, все они более или менее развернуто излагают лишь самый совет — ответа ни в одном еще не содержится. Но можно не сомневаться, что он был бы отрицательным: ¹⁷² если бы Пушкин поддался уговорам друзей, «ответом» послужило бы продолжение «Евгения Онегина».

Не находя возможным развивать дальше прежний замысел, поэт попытался раздвинуть «раму» своего романа в сторону прошлого, присоединив к нему историю рода Онегиных, для которой можно было воспользоваться готовой родословной Езерских. Однако далеко не в каждом стихе удавалось ограничиться простой заменой фамилий (как, например, в стихах 33 и 62). С самого начала Пушкин столкнулся с необходимостью переделывать и соседние стихи. Так, в первом четверостишии II строфы «Езерский» рифмовало со словом «зверской»; написав в конце первой строки «Евгений» и зачеркнув почти весь третий стих («Чей [дух воинственный и зверской]»), поэт не мог сразу подыскать иного варианта, и строка осталась вычеркнутой. ¹⁷³ Значительная переработка требовалась также в начале III и в IV строфе, и Пушкин отказался от своего намерения.

Поправки, вводящие в родословную имя Онегиных, относят предположительно к сентябрю—октябрю 1835 года (V, 515), т. е. к тому же при-

¹⁷² По-видимому, именно такой ответ и был намечен в последней зачеркнутой строке наброска «Вы за „Онегина“ советуете, други»: «[Пожалуй — я бы рад —] [Так некогда поэт —]» (III, 1, 396). То, что ранее, набросав десятую главу, Пушкин пытался продолжить замысел в ином направлении, не меняет дела.

¹⁷³ См. V, 419, где эти поправки ошибочно отнесены в раздел «Позднейшей незаконченной переработки».

мерно времени, когда появилась большая часть набросков в ответ на предложение продолжать «Онегина».¹⁷⁴ Следовательно, к осени 1835 года беловая редакция «Езерского» была составлена. Можно думать, что она существовала уже весной 1835 года: на обороте последнего листа тетрадки с беловым текстом «Езерского» находится написанный позже него набросок «Чудный сон мне бог послал», относящийся к тому же замыслу, что и неоконченное стихотворение «На Испанию родную»,¹⁷⁵ а это стихотворение было перебелено, вероятно, в апреле (после 7) 1835 года.¹⁷⁶ Конечно, смягченную, сокращенную редакцию «Езерского» Пушкин мог написать и раньше, но вряд ли прежде конца 1834 года: в 1834 году в журналах и без того печатались многие его произведения, прежде всего те, которые были созданы осенью 1833 года. К 1835 году этот запас иссяк, нового было написано мало и потому обращение к «Езерскому» именно в это время представляется наиболее вероятным.

Переработка белового текста «Езерского» не ограничилась первыми десятью строфами. Поэт несколько раз принимался переделывать и строфы второго отступления (XI—XIV; ПД № 194). Особенно много исправлений в первой (XI) строфе, впоследствии совсем перечеркнутой. Значительная часть поправок в третьей (XIII) и четвертой (XIV) строфах делалась вне связи с переработкой остальной части «Езерского», а позже Пушкин и совсем отделил от прочих двойной лист с текстом второго отступления.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Один из них («Ты хочешь, мой [наперсник строгой]»), написанный в тетради ЛБ № 2373, относят предположительно к октябрю 1833 года; три других были написаны, очевидно, в первой половине сентября 1835 года (стихотворение «В мои осенние досуги» помечено 16 сентября).

¹⁷⁵ В большом Академическом издании они напечатаны как два отдельных произведения; первое датировано 1833—1835 годами, второе — предположительно мартом — апрелем 1835 года (см. III, 1, 445—446, 383—386; 2, 1277, 1258). В первом издании десятичного Полного собрания сочинений Пушкина (малого Академического) Б. В. Томашевский напечатал эти стихотворения тоже отдельно (т. III, 1949, стр. 399—400, 334—338), хотя в примечании к отрывку «Чудный сон мне бог послал» (стр. 526) указал на связь его с замыслом стихотворения «На Испанию родную», одновременно высказав предположение, что названный отрывок является частью стихотворного замысла о готском короле Родриге. В третьем томе «Стихотворений» Пушкина (Библиотека поэта. Большая серия, изд. 2, 1955) оба эти отрывка, как относящиеся к одному замыслу, Б. В. Томашевский объединил под условным заглавием «Родрик», напечатав один из них, сохранившийся в беловой рукописи («На Испанию родную»), в основном тексте (стр. 685—688), а другой, оставшийся в черновике («Чудный сон мне бог послал»), в разделе «Других редакций» (стр. 749—750; мотивировку см. там же, стр. 868, 881); точно так же напечатаны эти тексты и во втором издании десятичника (т. III, 1957, стр. 335—339, 470—471).

¹⁷⁶ Основанием для такой датировки может служить то, что на одном из листов с перебеленным текстом стихотворения «На Испанию родную» находится зачеркнутое первоначальное заглавие стихотворения «Полководец» — «Барклай де Толли»; очевидно, листок этот служил сначала обложкой перебеленной рукописи «Полководца», которая датирована 7 апреля 1835 года. Новое заглавие Пушкин приписал сверху на листке с текстом «Полководца», а прежней его обложкой воспользовался для переделки стихотворения «На Испанию родную». Почерк, каким написано измененное заглавие (а также некоторые поправки в тексте «Полководца»), напоминает почерк беловой рукописи «На Испанию родную». Всё это и позволяет сближать обе рукописи по времени их появления.

¹⁷⁷ Очевидно, в бумагах Пушкина лист этот лежал отдельно от основной рукописи «Езерского», и впоследствии они тоже оказались в разных местах: листок со строфами второго отступления оставался у Жуковского и попал в собрание А. Ф. Онегина, остальное хранилось у наследников Пушкина, а от них перешло в Румянцевский музей. Долгое время исследователи спорили относительно места этих строф. После статьи С. М. Бонди об истории текста «Езерского», после того как все черновики были полностью напечатаны в Академическом издании Пушкина все сомнения в том, является ли листок ПД № 194 частью беловой рукописи «Езерского», отпали. Впервые связь

Кроме поправок в отдельных стихах и незаконченных связных исправлений (какова, например, переделка стихов 142—148, ошибочно названная позднейшей; V, 419), рукописи сохранили и такую переработку первых двух строф, которая приводила к новой, трехстрофной, редакции второго отступления. С этой переделкой связано появление на отдельном листке наброска «Какой вы строгий литератор!» (V, 417), который и позволяет восстановить новую редакцию первой строфы отступления (прежнюю Пушкин перечеркнул накрест).

Часть записи на листке (два четверостишия) сделана чернилами, четыре строки приписаны внизу карандашом. В Академическом издании (V, 417) текст этого листка печатается в виде двух отдельных набросков. Между тем запись чернилами намечала здесь связный текст целой строфы, а написанное карандашом лишь вносило поправки в ее первоначальный вариант.

Сначала Пушкин написал следующее:

Какой вы строгий литератор!
Вы говорите, критик мой,
Что [уж] колл.<ежский> регистр.<атор>
Никак <не> должен быть герой —
Что выбор мой всегда ничтожен
Что в нем я страх неосторожен
Что должен брать себе поэт
Всегда возвышенный предмет

Последние две строки варьировали соответствующие стихи второй строфы второго отступления (V, 102; строфа XII, стихи 161—162). Ниже написана неполная строка: «Что нет к том<у>», а это несомненно означало, что конец строфы должен был повторять без всяких изменений последние шесть стихов той же второй строфы:

Что нет, к тому же, перевода
Прямым героям; что они
Совсем не чудо в наши дни;
Иль я не этого прихода?
Иль разве меж моих друзей
Двух, трех великих нет людей?

(V, 102).

Ниже карандашом Пушкин приписал:

Что в списках целого Парнасса
Героя нет такого класса
Вы правы — но божиться рад
И я совсем не виноват

(V, 417).

По расположению рифм это могло быть второе четверостишие; но во втором четверостишии написанного выше наброска поэт зачеркнул карандашом только две первые строки. Предположим, что он забыл зачеркнуть следующие, и попробуем подставить на их место два последних стиха —

между этим листком и основной частью белой рукописи «Езерского», по свидетельству С. М. Бонди (Комментарий, стр. 43, примеч. 2), была разъяснена в непечатанной части работы Н. В. Измайлова. Что листок этот входил в состав тетради с текстом «Езерского», подтверждается не только качеством и размером бумаги: как на автографе ПД № 194, так и на всех листах тетрадки осталось одинаковое коричневое пятно, получившееся оттого, что на рукопись (с обратной ее стороны) была пролита какая-то жидкость. Такое же пятно имеется и на листке с наброском «Какой вы строгий литератор!» (ЛБ № 2375, л. 17 (ПД № 926А)).

(1)

9a

Кемь в. споры матерей
 кто возлюбил, зритель мой,
 что ^и ~~ты~~ ^и кем. ремень
~~Кемь~~ ~~зритель~~ ~~мой~~ ~~ты~~
~~кто возлюбил, зритель мой~~
~~что возлюбил, зритель мой~~
~~что возлюбил, зритель мой~~
 что возлюбил, зритель мой
 что возлюбил, зритель мой
 что возлюбил, зритель мой

что возлюбил, зритель мой
 что возлюбил, зритель мой
 что возлюбил, зритель мой
 что возлюбил, зритель мой

«Езерский». Позднейшая переработка белой редакции первых двух строк второго отступления.

Ruckwiesiana!
20. Unterwiesing
N. 5. 23.

~~Der Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr~~

~~Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr~~

~~Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr~~

~~Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr~~

~~Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr~~

~~Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr~~

~~Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr
Herr Herr Herr Herr Herr~~

«Езерский». Переделка белового текста первой строфы второго отступления.

из тех, что приписаны внизу; в таком случае дальнейшее развитие темы, которой посвящена данная строфа (возражения «критика» против выбора героем коллежского регистратора), становится невозможным, потому что эти два стиха содержат ответ поэта на предъявленные ему обвинения, они завершают тему. Но завершение темы, как и мужское окончание, характерно в онегинской строфе для заключительного двустушия. Очевидно, в данном случае Пушкин написал именно концовку строфы. Первое четверостишие в ней не менялось, а дальше она получала такой вид:

Что в списках целого Парнасса
 Героя нет такого класса
 Что должен брать себе поэт
 Всегда возвышенный предмет
 Что нет, к тому же, перевода
 Прямым героям, что они
 Совсем не чудо в наши дни;
 Иль я не этого прихода?
 Вы правы — но божиться рад
 И я совсем не виноват

Как уже было сказано, на листке с наброском «Какой вы строгой литератор!» имеется точно такое же коричневатое пятно, как на листе ПД № 194 и на остальных листах белой «Езерского». Оно могло получиться лишь при условии, что этот листок (после переработки первых двух строф второго отступления и вплоть до того момента, когда тетрадку чем-то залили) лежал среди листов белой рукописи «Езерского». Это лишний раз доказывает, что находящийся на листке набросок представляет собой переработку не черного, а белого текста строфической поэмы. Предположительно эту переработку можно датировать 1835 годом. Дело в том, что чернильные поправки, сделанные в белом тексте «Езерского» до появления пятна и оказавшиеся в том месте, где бумага намочла, слегка расплылись и проступили на другую сторону листа. Поправки же, сделанные позже, никаких расплывов на месте пятна не дали. Как раз по этому признаку и можно определить, что переработка первых строф отступления о дворянстве была сделана до появления пятна, в то время как поправки, ведущие к «Онегину» и датируемые сентябрем—октябрем 1835 года, делались уже после образования пятна. Следовательно, переработка первого отступления производилась до сентября—октября 1835 года.

Для текста первых двух строф второго отступления (XI и XII) этот слой переработки был последним; исправления карандашом в нескольких стихах, введенные в Академическом издании в окончательное чтение, были сделаны раньше.

Все указанные выше поправки не нарушали структуры онегинских строф. Иную картину дают исправления в третьей (XIII) и четвертой (XIV) строфах. Большая часть их связана с попыткой приспособить текст для первой импровизации итальянца в повести «Египетские ночи». Судя по почерку, к переделке этих строф Пушкин приступал не один раз. Пять строк, в двух местах, он вычеркнул и стал заменять второе лицо третьим (или словом «поэт»), но здесь этих поправок до конца не довел, продолжив переработку на отдельных листах (ПД №№ 195, 218) и в тетради ЛБ № 2384 (ПД № 846).¹⁷⁸ Должно быть, Пушкин занимался этим

¹⁷⁸ Вероятно, в это именно время и был вынут из тетради с белым текстом «Езерского» лист со строфами второго отступления.

осенью 1835 года; последний из набросков можно датировать концом октября—началом ноября (в тетради ЛБ № 2384 он находится на л. 45, непосредственно перед записью стихотворения «Когда владыка ассирийский», помеченной 9 ноября).

Окончательный просмотр и та переделка первых десяти строф, которая сделала возможным появление «Отрывка из сатирической поэмы» в печати, относится к 1836 году и, по-видимому, связана с подготовкой третьего тома «Современника».

Но прежде Пушкин попытался переделать отмеченные царем места в тексте «Медного всадника», в случае удачи предполагая, очевидно, напечатать в третьем томе «Современника» именно эту поэму. В бумагах Пушкина сохранился счет писца от 14 августа 1836 года, в котором среди других переписанных, по-видимому, в конце июля—начале августа рукописей упоминается «Медный всадник».¹⁷⁹ Примерно тем же временем (конец июля—август и не позднее начала сентября) можно датировать и цензурную переделку белового текста. Одновременно с цензурными поправками Пушкин внес в беловой текст ряд исправлений художественного порядка. Важнейшие из них касались двух мест в первой части поэмы: мечтаний Евгения в ночь перед наводнением и описания самого наводнения.¹⁸⁰ Смысл поправок сводился к тому, чтобы сделать отдельные слова и обороты, а также некоторые образы более точными, конкретными, выразительными.

Эту работу Пушкин довел до конца.¹⁸¹ Иначе обстоит дело с цензурными изменениями текста.

Так как при переработке Пушкин должен был руководствоваться пометами царя, для удобства он перенес их в писарскую копию. За исключением нескольких описок переписчика, первоначально эта копия отличалась от цензурного автографа только заключительными стихами «Вступления», переписанными — с утраченного, видимо, наброска — уже в окончательной редакции.

В четверостишии «И перед младшею столицей» («Вступление», стихи 39—42), которое — к немалому, вероятно, удивлению поэта — рукой царя было целиком вымарано, вместо стиха «Померкла старая Москва» Пушкин вписал его черновой вариант: «Главой склонилася Москва». Слово «кумир» ему пришлось в двух местах заменить ничего не выражающим «седок», а в одном случае, в сцене бунта Евгения, опустить. Пушкин пытался переработать и самую сцену бунта. Из пятнадцати строк, которые он начал изменять, только четыре остались нетронутыми, две были опущены, остальные переделаны, в большинстве случаев очень существенно:

¹⁷⁹ ПД, ф. 244, оп. 3, № 98. См.: Литературный архив, т. I, Л., 1938, стр. 34—35.

¹⁸⁰ О характере переработки в обоих этих случаях говорится в публикации С. М. Бонди (см.: Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, вып. XI, М., 1950, стр. 134—146). О других переделках упоминается в работе Т. Г. Зенгер-Цявловской «Николай I — редактор Пушкина» («Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 535—536).

¹⁸¹ Подробный перечень всех исправлений был приведен в публикации 1923 года П. Е. Щеголевым. Но владевшая исследователем мысль о том, что текст цензурного автографа является окончательным, «дефинитивным», помешала ему объективно оценить эти поправки, и, объявив их незавершенными, он их отбросил. Для других исследователей, обращавшихся к рукописям Пушкина, заблуждение Щеголева было очевидным. Критическая оценка его работы была дана в статьях Б. В. Томашевского «Пушкин в „Народной библиотеке“» («Книга и революция», 1923, № 1 (25), стр. 13) и «Издания стихотворных текстов» («Литературное наследство», кн. 16—18, стр. 1089—1090), а также в названной выше статье Т. Г. Цявловской.

Кругом скалы, с тоскою дико<й>¹⁸²
 Безумец бедный обошел
 И надпись яркую прочел
 И сердце скорбью великой
 Стеснилось в нем. Его чело
 К решетке холодной прилегло,
 Глаза подернулись туманом...
 И дрогнул он — и мрачен стал¹⁸³
 П<е>ред недвижным Великаном
 И перст с угрозою подъяв
 Шепнул, волнуем мыслью черной,
 «Добро, строитель чудотворный!
 Ужо тебе!..» Но вдруг стремглав¹⁸⁴

Трагизм, стремительно нарастающее внутреннее напряжение исчезли. Словами о «дикой тоске», о «великой скорби» нельзя было выразить той душевной борьбы, которая потрясала всё существо Евгения и разрешилась взрывом, угрозой «державцу полумира». Психологическая правда поведения героя была нарушена. Чтение «яркой надписи» на скале и поднятый (хотя бы и «с угрозой») перст плохо вязались с тоном, со словами угрозы. А убраться их совсем поэт не смог. Он лишь ослабил звучание этих слов, слив вместе стихи 176 («Как обуйанный силой черной») и 178 («Шепнул он, злобно задрожав»)¹⁸⁵. Но, подчеркнув строку «Добро, строитель чудотворный!», царь именно ее счел особенно недопустимой и начиная с нее отчеркнул сбоку пятнадцать стихов. Переделать отмеченное царем, не искажая самой сути замысла, оказалось невозможным. Убедившись в этом, Пушкин отказался от дальнейшей переработки «Медного всадника»¹⁸⁶ и занялся подготовкой для «Современника» отрывка из «Езерского».

Перед тем как попасть в печать, начальные строфы «Езерского» прошли обработку значительно более строгую, чем при переписке набело. «Отрывок», помещенный в 1836 году в «Современнике», начинался со второй и заканчивался десятой строфой, но состоял из восьми строф, потому что VII, VIII и IX строфы (по счету строф в белой рукописи) Пушкин переделал, частью переставив, а частью сократив в них куски текста,¹⁸⁷ так что из трех строф первого отступления получилось две в гораздо более смягченной редакции. Цензурный характер имели и некоторые поправки в других строфах:

Чей в древни веки парус дерзкий
 Поработил брега морей —
 (III, 1, 425)

вместо

Чей дух воинственный и зверской
 Был древле ужасом морей
 (V, 97)

«Служили доблестно царям» вместо «Служили князям и царям»;¹⁸⁸ «Что их поносит и Фиглярин» вместо «шут Фиглярин»; «Что нам не в прок

¹⁸² Здесь и далее курсив мой. — О. С.

¹⁸³ При переделке, по исключении стиха 172 («По сердцу пламень пробежал»), этот стих (бывший 173) остался без рифмы.

¹⁸⁴ V, 499; ср. V, 147—148, стихи 165—179.

¹⁸⁵ Сначала стихи 177—178 Пушкин пробовал переставить (см. V, 499).

¹⁸⁶ В предшествующих сцене бунта стихах 151—164 переделка также не была закончена.

¹⁸⁷ Отбросив в VII строфе шесть последних стихов, а в IX — восемь первых, Пушкин перенес в VII строфу конец VIII, а в VIII — конец IX.

¹⁸⁸ Ср. в черновой рукописи ЛБ № 2373: «Служили богу и царям» (V, 397).

пошли науки» вместо «Хоть нищи будут наши внуки»; «Теперь лягает и осел» вместо «У нас» (III, 1, 426, 427, 428; V, 98, 100, 101).¹⁸⁹

Рукопись, по которой печаталась «Родословная моего героя», не сохранилась. Но в беловой «Езерского» среди других поправок есть исправления и пометы, ближайшим образом связанные с подготовкой текста к печати и, очевидно, делавшиеся непосредственно перед составлением беловика «Родословной». Это заготовка примечания к стиху 89 (по счету стихов в основном тексте «Езерского»), где упоминался Ходаковский — «Известный [изыскатель] любителей древностей», и знак переноса, в виде большой скобки, против последних шести стихов VIII строфы (стихи 107—112 по тому же счету). Одновременно — тем же пером, теми же бледными чернилами — были сделаны поправки в стихах 31 («Он» вместо «И»), 59 («Когда под мирною» вместо «И под отеческой»), 67 («може<т>» <?> вместо «верно»), 108 и 110 (в обоих случаях «Хоть» вместо «Что»).¹⁹⁰

Третий том «Современника» прошел цензуру 28 сентября 1836 года,¹⁹¹ так что переработку «Езерского» в «Родословную моего героя» можно предположительно отнести к августу—началу сентября этого года.

К родословной Езерских Пушкин обратился в это время не случайно. Тема выделенного им для печати «Отрывка», тема обнищания и духовного упадка старинных дворянских родов, представляла собой один из аспектов вопроса об исторических судьбах русского дворянства. В 30-е годы эта проблема наряду с другими вопросами социально-исторического порядка, связанными с размышлениями о путях дальнейшего развития России, глубоко волновала Пушкина. В представлении Пушкина русское дворянство не было однородным. Поэт различал в нем два слоя: новую аристократию, выслужившуюся при императорах, им обязанную своим возвышением и ставшую оплотом деспотизма, и дворянство старое, родовитое, которое хотя и обнищало, утратив вместе с тем влияние на ход государственных дел, но — в лице лучших своих представителей — сохранило дух независимости и готовность противостоять произволу самодержавной власти. Об этом слое дворян, не имеющих наследственных доходов и живущих своим трудом, Пушкин говорил как о некоем «среднем состоянии, состоянии почтенном, трудолюбивом и просвещенном, состоянии, коему принадлежит и большая часть наших литераторов» (XI, 173). К этой части дворянства Пушкин причислял и себя, а также декабристов. Напуганное восстанием 14 декабря 1825 года, правительство относилось к этой категории дворян в высшей степени подозрительно. В этих условиях нападки на группу писателей-дворян, объединившихся вокруг Пушкина сначала в «Литературной газете», потом в «Современнике», приобретали характер прямого политического доноса. В пору издания «Литературной газеты» нападение на «литературных аристократов» возглавляли Булгарин и примыкавший к нему в то время Н. Полевой, позднее Булгарин и Сенковский. Отражая возводимые на них обвинения, Пушкин и его друзья (Дельвиг, Вязем-

¹⁸⁹ Опасения Пушкина не были преувеличенными; несмотря на то, что он трижды тщательно пересмотрел текст, цензура не пропустила в «Современнике» стих «За то со славы, хоть с уроном» (V, 98). Поэт заменил его взятым из черновой редакции III строфы стихом: «Зато на Куликовом поле» (V, 396). В печатном тексте «Родословной», может быть намеренно, стих этот был оставлен без рифмы.

¹⁹⁰ В Акад. издании этот, последний по времени, слой исправлений (V, 418) ошибочно приведен среди первоначальных вариантов беловой рукописи «Езерского».

¹⁹¹ См.: В. Г. Березина. Из истории «Современника» Пушкина. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 296, примеч. 41.

ский, позже Гоголь и Одоевский) при случае сами переходили в наступление. Временами полемика становилась очень острой, по крайней мере до ее официального запрещения осенью 1830 года. Но борьба продолжалась и позднее. Кроме критико-публицистических статей, фельетонов и эпиграмм, полемикой было вызвано стихотворение «Моя родословная». Отзвуком ее явились и публицистические строфы в «Езерском». В 1833 году, когда Пушкин писал в «Езерском» о «шуте Фиглярине», поносящем старое русское дворянство, и о «демократическом осле», лягающем «геральдического льва», прежде всего он имел в виду Булгарина и Полевого. В 1836 году расстановка сил несколько изменилась. Кроме Булгарина, против пушкинского «Современника» выступил редактор «Библиотеки для чтения», ловкий и беспринципный делец Сенковский, с которым Пушкину тоже приходилось теперь вести борьбу.¹⁹² Быть может, этим отчасти объясняется помещение в первом томе «Современника» статьи Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», несмотря на то, что Пушкин не во всем был с ней согласен. В «Письме к издателю», напечатанном в третьем томе «Современника», некоторые упреки Гоголя от Сенковского отводились, но краткой заметкой «От редакции» Пушкин заявлял о готовности продолжать начатую «Литературной газетой» борьбу с официальным и торгашеским направлением в литературе. Одним из выражений этой борьбы и было помещение в «Современнике» «Родословной моего героя».

Таков конечный результат длительной и сложной эволюции замысла «Езерского», который, предшествуя замыслу «Медного всадника», в значительной мере подготовил и облегчил создание «петербургской повести», а после ее запрещения послужил основой стихотворения, напечатанного при жизни Пушкина одним из самых последних. Напомним вкратце основные моменты творческой эволюции обоих этих замыслов, связанных между собой тематически и переплетающихся хронологически.

Работу над «Езерским» Пушкин начал весной (предположительно в марте) 1832 года. В ранних набросках (первые две строфы) наметились два пути развития замысла: светский вариант с героем-аристократом и другой, где героем оказывался бедный чиновник.

Когда выбор героя был сделан (мелкий петербургский чиновник, обедневший потомок знатного боярского рода), работа над замыслом заметно продвинулась вперед, и до сентября 1832 года Пушкин написал черновик восьми строф, семь из которых были посвящены истории рода Езерских, доведенной до отца героя.

Следующий этап работы относится к январю—весне 1833 года. Переписав из черновика восемь строф, Пушкин присоединил к ним еще две. Беловая сводка сохранилась не полностью, но есть основания думать, что родословная Езерских входила в нее в полном объеме, десятая строфа соответствовала поздней редакции, а девятая представляла собой краткий вариант расширенного позднее первого отступления об упадке дворянских родов. Продолжая (там же) черновую работу над вторым отступлением (о праве поэта избрать себе героя) и над характеристикой героя, Пушкин несколько раз возвращался к написанному ранее и по многу раз переделывал отдельные строки и целые строфы. Особенно значительной (потому что она приводила к изменению композиции) была переработка первого

¹⁹² См. об этом в статье Н. В. Измайлова «Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов» (Пушкин. Исследования и материалы, т. II, 1958, стр. 26—28).

22 Пушкин. Исследования и материалы

отступления и связанной с ним десятой строфы. Не все листы черновика дошли до нас, но анализ хода работы над замыслом и сопоставление состава строф в различных редакциях позволяет восстановить первоначальную, наиболее полную в основной своей части, шестнадцатистрофную редакцию «Езерского». Определив характер композиционных перемен при последней (в этом черновике) переработке десятой строфы и первого отступления, можно восстановить также и вторую, двенадцатистрофную редакцию начала поэмы, которая отличается от первоначальной тем, что отступление о дворянстве расширено в ней до двух строф, а четыре строфы второго отступления вместе с идущей за ними строфой «Свищите мне, кричите, bravo» опущены. Обе эти редакции приведены в приложении.

Замысел «Езерского» Пушкин оставил весной 1833 года, доведя его до того момента, когда должна была наметиться сюжетная завязка. Поэт ограничился одной лишь развернутой экспозицией. Как замысел в целом, так и причины отказа от него неясны. Частые перерывы в работе, постоянные возвращения к уже написанному и не совсем преодоленные (хотя и менее существенные, чем вначале) колебания в определении социального лица героя заставляют думать, что самому Пушкину до конца и во всех деталях замысел «Езерского» далеко еще не был ясен. И это могло послужить одной из причин отказа от него. Зато в дальнейшем, при работе над «Медным всадником», замысел «Езерского» — с его героем, бедным петербургским чиновником, принадлежащим к знаменитому боярскому роду, с героиней из мещан и с возможно присутствовавшей в нем темой наводнения — послужил Пушкину материалом для «петербургской повести», что не только облегчило, но и ускорило создание «Медного всадника».

«Медный всадник» был написан в течение трех недель в октябре 1833 года: начав его 6-го, 31-го Пушкин закончил переписку поэмы набело. С самого начала работа над ней отличалась ясностью и определенностью творческой мысли. Но, так как в это время Пушкин работал сразу над несколькими замыслами, обращаясь попеременно то к одному, то к другому, «Вступление» и начало первой части (до стиха 123) писались с перерывами с 6 по 28 октября. 29 октября Пушкин переписал «Вступление» набело, продолжив в другой тетради наброски к первой части, которую вчерне закончил 30 октября. Вторая часть, по-видимому, была целиком написана 30—31 октября и 31-го же перебелены обе части. При работе над черновиком «Медного всадника» Пушкин пытался перенести в него все сколько-нибудь значительные темы «Езерского» (хотя от большинства из них впоследствии отказался), пользуясь для этого, — как показывает сравнительный анализ черновых и беловых редакций тех строк, которые им перерабатывались, — первоначальной белой сводкой и черновиками «Езерского». Что касается белой редакции «Езерского», с которой обычно связывают эту переработку, то ее в это время еще не существовало.

Работу над текстом «Медного всадника» Пушкин продолжал и после его перебели, вплоть до составления второй белой редакции, представленной 6 декабря 1833 года на высочайшую цензуру. Результатом этого были пометы царя, требовавшие коренной переработки важнейших мест поэмы, что было равносильно ее запрещению.

Вынужденный отказаться от печатания «Медного всадника», Пушкин в конце 1834 или в начале 1835 года переписал набело пятнадцать строф «Езерского» (чтобы воспользоваться ими для печати или при работе над другими замыслами), очень сильно смягчив и сократив при этом первоначальный текст. В пятнадцатистрофную беловую рукопись в разное время Пушкин внес ряд поправок. Так, на отдельном листке он переработал пер-

вое отступление, слив две первые строфы в одну и превратив таким образом четырехстрофную редакцию в трехстрофную. Затем, осенью 1835 года (предположительно в сентябре—октябре), настойчиво побуждаемый друзьями продолжать уже заверченный замысел «Евгения Онегина», поэт попытался приспособить к нему родословную Езерских. Тогда же он переделал второе отступление — о свободе поэтического творчества — для второй импровизации итальянца в «Египетских ночах». Летом 1836 года (в конце июля—начале августа), подготавливая к печати третий том «Современника», Пушкин попробовал переработать на специально изготовленной для этого писарской копии «Медного всадника» отмеченные царем места. Одновременно с вынужденной цензурной правкой он занялся также художественной отделкой некоторых мест. Но довести до конца переделки цензурного порядка поэт не смог и бросил их, дойдя до самого главного — до угрозы Евгения «державцу полумира». Вторично отказавшись от мысли увидеть свою поэму напечатанной, Пушкин подготовил для третьего тома «Современника» восемь строф (под заглавием «Родословная моего героя»), извлеченных из «Езерского» и еще более смягченных сравнительно с белой их редакцией. «Медный всадник» до самой смерти Пушкина оставался в рукописи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕЗЕРСКИЙ

Первоначальная редакция¹⁹³

I

ЛБ № 2375, л. 20 об./33 Над омраченным Петроградом
 Осенний ветер тучи гнал
 Дышало небо влажным хладом
 Нева шумела; бился вал
 О пристань набережной стройной
 Как челобитчик беспокойный
 Об дверь судейской; [дождь в окно]
 [Стучал] сердито — уж темно
 Всё становилось — в это время
 Домой приехав, мой сосед
 Вошел в свой тесный кабинет — —
 Однако ж род его и племя
 И чин и службу и года
 Вам знать нехудо, господа.

II

Начнем ab ovo: мой Езерский
 Происходил от тех вождей
 Чей дух воинственный и зверский
 Был древле ужасом морей
 Одульф, его начальник рода
 Вельми бе грозен воевода,
 Гласит Софийский хронограф

¹⁹³ Как первоначальная, так и вторая редакции реконструируются на основании первой белой сводки и черновых записей, а для отсутствующих в этих рукописях частей — по позднейшей белой редакции. При этом из черновика и из первоначальной сводки извлекается последний — для каждой из приводимых здесь редакций — слой работы, а из поздней белой — ранний слой записи. Источник текста в каждом случае указывается особо.

При Ольге, сын его Фарлаф
 Приял крещенье в Цареграде
 С рукою греческой княжны.
 От них два сына рождены
 Якуб и Дорофей; в засаде
 Убит Якуб; а Дорофей
 Родил 12 сыновей

III

Ондрей, по прозвищу Езерский
 Родил Ивана да Илью
 И в лавре схимился Печерской
 Отсель фамилию свою
 Ведут Езерские — При Калке
 Один из них был схвачен в свалке
 А там раздавлен как комар
 Задами тяжкими татар
 За то со славой хоть с уроном
 Другой Езерский, Елизар,
 Упился кровию татар.
 Между Непрядвою и Доном
 Ударя с тыла, в табор их
 С дружиной суздальцев своих —

IV

В века старинной нашей славы
 Как и в худые времена
 Крамол и смуты в дни кровавы
 Блестят Езерских имена.
 Они и в войске и в совете
 На воеводстве и в ответе
 Служили князям и царям.¹⁹⁴
 Из них Езерский Варлаам
 Гордыней славился боярской
 За спор то с тем он то с другим
 С большим бесчестьем выводим
 Бывал из-за трапезы царской
 Но снова шел под царский гнев
 И умер Сицких пересев

V

Во время смуты безначальной
 Когда то лях то гордый швед
 Одолевал наш край печальной
 И гнула Русь от разных бед
 Когда в Москве сидели воры
 А с Крулем вел переговоры
 Предатель умный Салтыков
 И средь озлобленных врагов
 Посольство русское гладало
 И за Москву стоял один
 Нижегородской мещанин
 В те дни Езерские немало
 {Сменили мнений} и друзей
 {[Для] пользы общей (и своей)}

〈VI〉

ЛБ № 2373, л. 20 об. Когда ж средь Думы величавой
 Приял Романов свой венец

¹⁹⁴ Это чтение (как и предшествовавшее ему: «Служили верою царям») являлось смягченным вариантом первоначально написанного в черновике стиха «Служили богу и царям» (ЛБ № 2373, л. 19 об.).

И под отеческой державой
 Русь отдохнула наконец
 А наши вороги смирились
 Тогда Езерские явились —
 Опять в чинах и при дворе —
 При императоре Петре —
 Один из них был четвертован
 За связь с царевичем — другой
 Его племянник молодой
 [Прощен] и [милостью] [окован]
 Он на голландке был женат
 И умер знатен и богат.

⟨VII⟩

ЛБ № 2373, л. 21

[Петра] не стало; государство
 Шатнулось, будто под грозой
 И усмирненное боярство
 Его [железною] рукой
 Мятежной предалось надежде:
 [Пусть] [будет вновь], что было прежде —
 Долой кафтан кургузый — Нет!
 Примером нам [да] будет швед —
 Не тут-то было. Тень Петрова
 Стояла грозно средь [бояр]
 Бессиле(н) [немошный] удар
 Что было, не восстало снова,
 Ветрила те ж, средь тех же вод
 Россию двинули вперед.

⟨VIII⟩

ЛБ № 2373, л. 21 об.

И тут Езерские возились,
 В связи то с этим то с другим
 На счастье Меншикова злились,
 Хитрили с злоб(ным) <?> Грубецким
 И Бирон, деспот непреклонный
 Смирал их род неугомонный
 И Долгорукие князя —
 Бывали втайне друзья —
 Матвей Арсеньевич Езерский
 Случайный, знатный человек
 Был [очень] славен в прош(лый) век
 [Своим] умом и злобой зверской
 Имел он сына одного
 (Отца героя моего)

Гимн

⟨IX⟩

ЛБ № 2375, л. 21 об./31

Мне жаль что дома наши новы
 Что прибываем мы на <н>их
 Не льва с мечем, не щит гербовый
 А ряд лишь вывесок цветных
 Что мы в свободе беспечальной
 Не знаем жизни феодальной
 В своих владеньях родовых
 Среди подручников своих
 Мне жаль что мы руке наемной
 Вверяя чистый свой доход
 С трудом в столице круглый год
 Влачим ярмо неволи темной
 И что спасибо нам за то
 Не скажет кажется никто

⟨X⟩

ЛБ № 2375, л. 27 об.

Вот почему архивы рся
 Я разобрал в дссужной час

ЛБ № 2375, л. 32

Всю родословную героя
 О ком затеял свой рассказ
 И здесь потомству заповедал.
 Ез.⟨ерский⟩ сам же только ведал
 Что дед его, великой муж
 Имел 15 тысяч душ.
 Из них отцу его досталась
 Осьмая часть — и та сполна
 Сперва была заложена
 Потом не раз и продавалась
 ⟨А⟩ сам он жалованьем жил
 И регистратором служил —

ЛБ № 2374, л. 3 об.

⟨XI⟩

ПД № 194

Допросом музу беспокоя
 Тут, верно скажет критик мой
 Куда завидного героя
 Избрали вы — кто ваш герой?
 [А что?] [коллежский регистратор —! —]
 Какой вы строгий литератор!
 Его пою — за чем же нет?
 Он мой приятель и сосед
 Державин двух своих соседей
 И смерть Мещ⟨ерского⟩ воспел
 Певец Фелицы быть умел
 Певцом их свадеб, их обедов
 И похорон, сменивших пир
 А знал ли их, скажите, мир.

⟨XII⟩

Заметят мне что есть же разность
 Между Державиным и мной
 Что красота и безобразность
 Разделены чертой одной
 Что к.⟨нязь⟩ Мещерской был сенатор
 А не коллежской регистратор —
 Что лучше ежели поэт
 Возьмет возвышенный предмет
 Что нет, к тому же перевода
 Прямым героям; что они
 Совсем не чудо в наши дни —
 Куда! нам нет от них прохода —
 И разве меж моих друзей
 Двух, трех великих нет людей?

⟨XIII⟩

Зачем крутится ветер в овраге
 Волнует степь и пыль несет
 Когда корабль в недвижной влаге
 Его дыханья жадно ждет?
 Спроси его. За чем от башен
 Летит орел, угрюм и страшен
 На пень гнилой? Спроси его.
 Зачем Арапа своего
 Младая любит Дездемона
 Как месяц любит ночи мглу?
 За тем что ветру и орлу
 И сердцу девы нет закона —
 Гордись: таков и ты поэт
 И для тебя условий нет.

⟨XIV⟩

Исполнен мыслями златыми
 Непонимаемый никем

ЛБ № 2374, л. 4
 Перед кумирами земными
 Проходишь ты, угрюм и нем.
 С толпой не делишь ты ни гнева
 Ни удивленья ни напева —
 Ни нужд ни смеха — ни труда —
 Глупец кричит: куда, куда?
 Дорога здесь — но ты не слышишь —
 Идешь, куда тебя влекут —
 Мечты невольные — твой труд
 Тебе награда — им ты дышишь —
 А плод его бросаешь ты
 Толпе, рабыне суеты —

⟨XV⟩

ЛБ № 2374, л. 32 об.
 [Свищите мне], кричите. bravo
 Не буду слушать ничего
 Я в том стою — име⟨л⟩ я право
 Избрать соседа моего
 В герои повести смиренной
 ЛБ № 2375, л. 16 об./36
 Хоть человек он не военный
 Не бунтовщ⟨ик⟩ не Басурман
 Не Демон даже не Цыган —
 А просто гражданин столичный
 Каких встречаем [всюду] тьму
 Ни по лицу ни по уму
 От нашей братья не огличный
 [Довольно] смиренный и простой
 А впрочем малой деловой

⟨XVI⟩

ЛБ № 2375, л. 36 об./16
 Во фраке очень устарелом
 Он молча сидя у бюро —
 [До трех часов в] ⟨раздумьи⟩ [зрелом]
 Чинил и пробовал п⟨еро⟩
 Вам должно зн⟨ать⟩ что м⟨ой⟩ чин⟨овник⟩
 Был сочи⟨нитель⟩ и люб⟨овник⟩
 Свои статьи печатал он
 В Соревнователе — Влюблен
 Он был в Колосме, по соседству
 В младую немочку — Она
 С своею матерью одна
 Жила в домишке — по наследству
 Доставшемся недавно [ей]
 От дяди Франца. Дядя сей —

⟨XVII⟩

Но от мещанской родословной
 Я вас избавляю — и займусь
 Свою повестью любовной
 Покаместь вновь не занесусь —

Вторая редакция *

⟨IX⟩

ЛБ № 2375, л. 26 об.
 Мне жаль что сих родов боярских
 Бледнеет блеск и никнет дух
 Мне жаль что нст князей Пожарских
 Что о других пропал и слух
 ЛБ № 2374, л. 32
 Что их поносит шут Фиглярин
 Что русской ветреный боярин
 Теряет грамоты царей
 Как старый сбор календарей
 Что исторические звуки
 Нам стали чужды — что с проста

* Строчки I - VIII совпадают с первоначальной редакцией.

- ЛБ № 2375, л. 19 об./34 Из бар мы лезем в tiers-étât
 Что будут нищи наши внуки
 И что спасибо нам за то
 ЛБ № 2375, л. 32 об. Не молвит, кажется, никто

⟨X⟩

- ЛБ № 2375, л. 34 об./19 Мне жаль что мы руке наемной
 Дозволя грабить свой доход
 С трудом ярем заботы темной
 Влачим в столице круглый год —
 Что не живем семьею дружной
 В довольстве в тишине досужной
 В своих поместьях родовых —
 Что [мы закладываем их —]
 Что в нашем те⟨реме⟩ за⟨бытом⟩
 ЛБ № 2375, л. 19 об./34 Растет пустынная трава
 Что геральдического льва
 Демократ⟨ическим⟩ копытом
 Лягает ныне и осел:
 Дух века вот куда зашел!

⟨XI⟩

- ЛБ № 2375, л. 27 об. Вот почему архивы роя
 Я разобрал в досужной час
 Всю родословную героя
 О ком затеял свой рассказ
 ЛБ № 2375, л. 32 И здесь потомству заповедал.
 Езерский сам же только ведал
 ЛБ № 2375, л. 19 об./34 Что дед его, великой муж
 Имел 15 000 душ
 Из коих шиш ему достался —
 Он регистратором служил
 И малым жалованьем жил
 На службу каждый день таскался
 И сев смиренно у бюро
 Чинил да пробовал перо —

⟨XII⟩

- ЛБ № 2375, л. 34 об./19 Он одевался нерадиво
 На нем сидело всё не так
 Всегда бывал застегнут криво
 ЛБ № 2375, л. 16 об./36 Его зеленый узкий фрак —
 Вам должно зн⟨ать⟩ что м⟨ой⟩ чин⟨овник⟩
 ЛБ № 2375, л. 36 об./16 Был сочи⟨нитель⟩ и люб⟨овник⟩
 Свои статьи печатал он
 В Соревнователе — Влюблен
 Он был в Коломне, по соседству
 В младую немочку¹⁹⁵ — Она
 С своею матерью одна
 Жила в домишке — по наследству
 Доставшемся недавно [ей]
 От дяди Франца. Дядя сей —

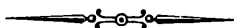
⟨XIII⟩

Но от мещанской родословной
 Я вас избавлю — и займусь
 Свою повестью любовной
 Покаместь вновь не занесусь —

¹⁹⁵ Или:

Влюблен
 Он был в Мещанской ⟨?⟩, по соседству
 В одну лифляночку

МАТЕРИАЛЫ
И СООБЩЕНИЯ



Б. С. МЕЙЛАХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПИТАННИКОВ ЛИЦЕЯ В ЗАПИСЯХ Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТА

Истории пушкинского лицея было посвящено в старом, дооктябрьском литературоведении столько книг, статей, публикаций, что сама эта тема казалась уже исчерпанной. Однако пересмотр проблемы в свете новых методологических задач, выдвинутых советским литературоведением, позволил не только установить ложность исходных позиций ряда прежних работ о пушкинском лицее, но и обнаружить значительное количество важнейших неизданных материалов: к их числу относятся обнаруженные в архиве А. М. Горчакова записи лекций лицейских преподавателей и многие другие документы в разнообразных фондах государственных учреждений и частных лиц. Но и среди тех материалов, которые были известны дореволюционным исследователям, оказалось много ценного и тем не менее неиспользованного. Преобладавшее в старых работах стремление охарактеризовать пушкинский лицей как учебное заведение, осененное благоволением монарха, порождало своеобразную аберрацию; из-за этой аберрации одни документы публиковались (и при этом зачастую тенденциозно истолковывались), а другие не были замечены или же намеренно замалчивались. Эта особенность характерна и для известного трехтомника Н. А. Гастфрейнда «Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицее» (1912—1913), содержащего много впервые опубликованных материалов. Реакционная тенденциозность автора (для которого восстание декабристов это «комедия», «шутовское восстание»), его пошлый критерий оценки лицейстов степенью продвижения по служебной лестнице и количеством орденов — всё это послужило как бы ситом, сквозь которое не могли проскочить ни материалы, характеризующие напряженную идейную атмосферу пушкинского лицея, ни факты, свидетельствующие о различии интересов и симпатий, о борьбе внутри этого учебного заведения. Значительность темы «Пушкинский лицей» (связанной с более общей и широкой проблемой об истоках мировоззрения великого поэта, о его воспитании и образовании, о формировании его мировоззрения в юности) привела к необходимости фронтального ее пересмотра и к ревизии всего документального материала.¹

Беспорный интерес представляет в этой связи изучение каждого из лицейстов пушкинского выпуска, той среды, в которой поэт находился в течение шести лет и где он встретил подлинных друзей и единомышленников (как Иван Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер и др.), и людей, чуждых

¹ Этому вопросу посвящена наша работа о лицее, частично напечатанная в 1949 году в журнале «Звезда» (№№ 1, 2) и затем вошедшая, в расширенном виде, в книгу «Пушкин и его эпоха» (Гослитиздат, М., 1958).

и даже явно враждебных ему по своим устремлениям. Подлинная история лицея опровергает миф о «единой лицейской семье» и воссоздает картину идейного и политического расслоения среди лицейстов. Одни посвящали свою жизнь служению высоким идеалам свободы, родины, гуманизма; другие подчинили всё лишь цели личного преуспеяния посредством верноподданного служения феодально-крепостническому режиму. Одни были воодушевлены жадой подвига, любовью к искусству, характерной для всего передового поколения эпохи широтой интересов. Другие оказались бесцветными, кое-как тянущими учебную лямку в лицее для того, чтобы, окончив его, пополнить состав департаментских чиновников.

Однако характеристики лицейстов пушкинского выпуска, неоднократно составлявшиеся преподавателями и сохранившиеся в лицейских архивах, мало пригодны для исследования. Все эти характеристики бесцветны, однотонны. Они говорят преимущественно об успехах и прилежании воспитанников почти в одних и тех же выражениях. Даже в тех случаях, когда указывалось на недостатки и пороки того или другого лицейста, в заключение следовали спасительные оговорки о том, что такой-то, «впрочем», подает «надежды на исправление» и не так уж плох: ведь характеристика предназначалась для вышестоящего начальства, для которого нужно было создать картину общего благополучия.

На фоне этих характеристик резко выделяются во многом тонкие и откровенные записи о воспитанниках, которые составил лично для себя, а не для «служебного употребления» второй директор лицея Егор Антонович Энгельгардт. Эти характеристики, написанные по-немецки и озаглавленные «Нечто о воспитанниках старшего отделения лицея», датированы 22 марта 1816 года. Эти записи в течение десятилетий были достоянием архива Энгельгардта. В 1863 году три характеристики (из 29), да и то частично и неточно, были процитированы В. П. Гаевским в статье «Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения».² В дальнейшем этот материал из поля зрения пушкинистов выпал. В 1949 году в статье «Лицейские годовщины»,³ а затем в книге «Пушкин и его эпоха» (1958) нами был использован ряд характеристик при освещении вопроса о лицейском окружении Пушкина. В полном же виде записи Энгельгардта до сих пор не были опубликованы, а о содержании ряда сделанных им характеристик (Жорфа, Броглио, Гревеница, Мартынова, Малиновского, Есакова, Корсакова, Корнилова и др.) нигде никаких сведений нет. Поэтому мы публикуем весь текст в переводе с рукописи, хранящейся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.⁴

Освещение личности Энгельгардта и его деятельности в лицее дано в нашей упомянутой выше книге, и мы поэтому ограничимся здесь лишь краткими сведениями, необходимыми для пояснения публикуемых ниже записей.

В свете дошедших до нас материалов Энгельгардт предстает перед нами как незаурядный и прогрессивный педагог, стремившийся по мере сил и возможностей сохранить лучшие традиции лицея, заложенные его первым директором В. Ф. Малиновским. Энгельгардт стал директором лицея в самом начале 1816 года. Хотя он и не стоял на том политическом уровне, который был представлен в лицее наиболее передовыми педагогами (и прежде всего А. П. Куницыным), и может быть охарактеризован как попутчик лю-

² «Современник», 1863, № 7, стр. 129—177; № 8, стр. 349—399.

³ «Огонек», 1949, № 23, стр. 17—18.

⁴ Ф. 244, оп. 25, № 46.

дей этого круга, как человек ограниченный и находившийся лишь в той или иной степени под их влиянием, но и этого было достаточно для того, чтобы вскоре пасть в немилость у начальства. Его попытки отстоять независимость лицея от бюрократической опеки Министерства народного просвещения, а затем Управления военно-учебных заведений привели в конце концов к тому, что в 1822 году лицей подвергся аракчеевскому разгрому, а в 1823 году Энгельгардт был смещен. На его место назначили ставленника Аракчеева, генерал-майора Гольтгоера. Для царского правительства имя Энгельгардта стало в ряд имен людей, поддерживавших в лицее «либеральные порядки». В 1829 году в письме к великому князю Константину Николаевичу восхвалялся «прекрасным надзором» Гольтгоера за лицеем и высказал уверенность в том, что «ученики, подобные выпущенным во вкусе Энгельгардта, не будут более выходить из лицея».⁵ Для облика Энгельгардта, человека вполне умеренных взглядов и ни в какой мере не прикосновенного к каким-либо революционным веяниям, характерно глубокое сочувствие к тем воспитанникам лицея, которые после восстания декабристов оказались на каторге и в ссылке. На протяжении многих лет Энгельгардт находился в переписке с декабристом И. И. Пушиным. В ряде сохранившихся писем к своим бывшим воспитанникам он ясно выражал глубокую антипатию ко всей атмосфере николаевского царствования. Пушкин в своих известных мемуарах очень тепло отзывается об Энгельгардте как педагоге и человеке.⁶

Приводимые ниже записи Энгельгардта сделаны им через два месяца после вступления в должность директора. Цель их — составить себе представление о воспитанниках на основании первых личных впечатлений. Есть среди них и ошибочные и односторонние отзывы, есть отражающие установившиеся до него мнения, но есть и меткие, верные, даже почти художественные по яркости раскрытия психологического облика некоторых лицейцев. Ценность этих записей (в отличие от однотонных официальных характеристик, которые давали воспитанникам преподаватели) заключается также в попытке выяснить индивидуальное своеобразие и наклонности каждого воспитанника. Наконец, в этих записях содержатся и новые данные о кругозоре и интересах товарищей Пушкина по лицее.

Отзывы Энгельгардта, написанные, как указано выше, на немецком языке, расположены в рукописи в приблизительно алфавитном порядке.⁷ Мы не будем соблюдать этот порядок записей, так как он не имеет внутреннего значения.

Начнем с записи, посвященной барону М. А. Корфу, впоследствии камергеру и сенатору, одному из ярких приверженцев николаевского режима, написавшему гнусную книгу «Восшествие на престол императора Николая I» с резким осуждением декабристов. Корф является также автором клеветнических воспоминаний о Пушкине. В лицее Корф был окружен неприязнью передовой группы воспитанников и получил прозвище «дьячок

⁵ «Сборник Русского исторического общества», т. 131, 1910, стр. 313.

⁶ Пользуемся случаем, чтобы отметить свое несогласие с характеристикой Е. А. Энгельгардта (как и лицея в целом), которая дана в книге Л. П. Гроссмана «Пушкин» (изд. 2, Изд. «Молодая гвардия», М., 1958). Даже не упоминая о фактах, характеризующих положительные черты Энгельгардта как педагога, о его столкновениях с начальством, об отзыве его о Пушкине и т. п., Л. П. Гроссман пишет о директоре лицея как о заядлом реакционере и проводнике программы «церковно-государственного воспитания» (хотя именно за нежелание проводить такого рода программу Энгельгардт должен был оставить лицей).

⁷ На обороте титульного листа рукописи отмечено, также по-немецки: «Имена расположены соответственно русскому алфавиту».

Мордан» (за пристрастие к чтению церковных книг). О Корфе Энгельгардт писал: «Он имеет выдающийся талант и большую восприимчивость к формальной стороне наук в той мере, в какой она снабжена внешними чувственными прелестями. К этому же он стремится и в своей манере изложения, но это стремление часто оборачивается в его работах напыщенностью. Он тщеславен, как девочка, что очень удивляет в мальчишке. Это тщеславие он обнаруживает даже в положении тела, которое он выставляет напоказ в различных позах. Я не могу удержаться от опасения, что он предается тайным порокам, в которые вовлекает и других, конечно, из чистого кокетства, ибо некоторое время тому назад его поймали в объятиях Дельвига. Впрочем, его хитрость и осторожность до сих пор делали невозможным поймать его на этом пороке, если он действительно ему присущ. В отношении начальства⁸ он часто обнаруживает некоторую строптивость и притом большей частью из ущемленного тщеславия, которое, где только возможно, выступает даже по отношению к его родителям. В остальном в нем никогда не обнаруживается ничего низкого и свои обязанности в классе он выполняет с большим усердием. Его тетради всегда в величайшем порядке, он пишет красиво и хорошо рисует».

Приведем далее запись о князе А. М. Горчакове, сделавшем после выхода из лицея блестящую карьеру, которая завершилась впоследствии должностью министра иностранных дел и возведением в высший в России чин — государственного канцлера.

«Сотканный из тонкой духовной материи, он легко усвоил многое и чувствует себя господином там, куда многие еще с трудом стремятся. Его нетерпение показать учителю, что он уже всё понял, так велико, что он никогда не дожидается конца объяснения. Если в схватывании идей он выказывает себя гениальным, то и во всех его более механических занятиях царят величайший порядок и изящество. Так как он с самого детства был подвержен всяким внешним и внутренним эмоциям, этот пыл подорвал его организм, в особенности легкие, чему больше всего способствовал один чрезвычайно разрушительный порок, которому он, к сожалению, был подвержен уже с ранних лет. Теперь его здоровье, по-видимому, совсем восстановилось, хотя его экспансивность несколько не уменьшилась. Поскольку и теперь, однако, пылкость его стихия, то кажется, что она уничтожила все более спокойные и добрые свойства его души и при его остром чувстве собственного достоинства у него проявляется немалое себялюбие, что в отталкивающей и оскорбительной для его товарищей форме. Чаще всего он вступал в спор с Кюхельбекером. От одних учителей он отделяется вполне учтивыми поклонами, а с другими старается сблизиться, так как у них он находит или надеется найти поддержку своему тщеславию. В течение долгого времени он непременно хотел оставить лицей, ибо думал, что в познаниях он больше не может двигаться вперед, и надеялся блистать у своего дядюшки».⁹

Здесь тонко отмечены черты духовного облика Горчакова, его блестящие способности (которые затем проявились в дипломатической деятельности) и те особенности характера, которые предсказывали высокомерного, тщеславного карьериста (и то и другое затем было подмечено в посланиях к нему Пушкина).

Тип человека иных моральных наклонностей и жизненных целей вырисовывается в записи Энгельгардта о В. Д. Вольховском, после выхода

⁸ Т. е. лицейских преподавателей и воспитателей.

⁹ Дядюшка — сенатор А. Н. Пешуров.

из лицея примкнувшем к освободительному движению как член Союза благоденствия. Не зная о политических настроениях юного Вольховского, Энгельгардт тем не менее уловил в его характере благородные черты:

«Из всех учеников этого надо оберегать меньше всего, так как перед его душой стоит прекрасный идеал (правда, еще только в неясных очертаниях), к достижению которого он стремится твердо и настойчиво. Он так же кроток, как и добр, и охотно принимает каждый совет, который может быть ему полезен в отношении знаний или нравственности. Твердое решение — серьезно подготовиться к серьезным жизненным делам — принимает у него иногда несколько странное направление,¹⁰ и тут воспитание должно сделать возможно лучшее. По отношению к начальникам проявляет усерднейшее послушание и самое искреннее расположение. Во взаимоотношениях с товарищами он очень уступчив и прямодушен, за что его также очень ценят учителя».

Приведенные выше характеристики поражают своей верностью; зато Энгельгардт серьезно ошибся в своем взгляде на С. Д. Комовского, хитрого и пронырливого человека, ханжу, заслужившего и у товарищей прозвища «лисички», «смолы», «фискала». Назойливость и поучения, с которыми обращался ко всем благонаправный Комовский, вывели из себя даже его ближайшего друга Корфа. Энгельгардт, не рассмотревший за внешностью старательного ученика его неприглядный облик, писал о нем:

«Его способности не так велики, как настойчиво его прилежание и чист его нрав. Ни у одного из учеников не развиваются так гармонично все душевные и телесные свойства и ни один столь не отдается целиком и без всякого отвлечения тому, чем он в данный момент занимается. Он танцует и фехтует точно с таким же рвением и так же сосредоточенно, как присутствует на отвлеченнейшем уроке. Он идет отлично по всем предметам и во всех стоит на равной ступени. От всех его соучеников его отличает своеобразная грация.

«В своей нежности к родителям он совершенно походит на Есакова. По выходе из класса он часто громко повторяет то последнее, что сказал учитель, а когда кончается урок танцев, он обычно исполняет еще несколько пируэтов на свой собственный лад».

И всё же, хотя Комовский оценен здесь положительно, воспитанник этот предстает как совершенно бесцветный.

Открывающая рукопись Энгельгардта характеристика А. П. Бакунина, воспитанника средних способностей, ничем не замечательного, читается так:

«Не имея больших талантов, он сделал во многих предметах значительные успехи, за исключением немецкого языка, так как при его нетерпеливом характере его отпугивает всякое значительное затруднение; обычно изрядно надменен, что особенно проявилось в первые годы, но, если удастся его убедить в его ошибках, он готов покаяться и, насколько это ему удастся, снова быть хорошим. Он отличается от многих почти немецкой откровенностью и чистосердечием и скорее совершит еще один легкомысленный поступок, чем станет просить снисхождения. Со своими начальниками он сближается охотно».

Убийственен остроумный отзыв о К. Д. Костенском, безличном молодом человеке, которого лицеисты прозвали «стариком»:

«Старый миф, который заставляет Прометея орошать слезами глину, превращая ее в людей, воплощен в нем наиболее материально; тяжелая

¹⁰ Возможно, здесь имеются в виду бесконечные тренировки и физические испытания, которым Вольховский подвергал себя, следуя примеру Суворова (за это лицеисты прозвали его «суворочкой»).

и сырая глина и ничего более, и ему не приходится бранить Прометея за воровство, так как для него Прометей не украл ни малейшей искорки небесного огня. В своей внешности он проявляет много тщеславия, редко показывается иначе, чем упершись руками в бока. Поскольку он одарен от природы очень скудно, то его прилежание почти ни к чему не приводит. Заслуживают похвалы его большое добродушие и уживчивость».

Своеобразной фигурой был в лицее граф С. Ф. Броглио, сын итальянца, происходившего из обедневшего сардинского патрицианского рода. По окончании лицея Броглио уехал в Пьемонт и участвовал в революционном заговоре. Но в стенах лицея он считался ленивым, флегматичным и неспособным учеником (в отзывах преподавателей отмечается его «слабая память», «ограниченное дарование»). В записях Энгельгардта читаем о нем:

«Природа скудно одарила его способностями, в особенности ему не хватает для учения двух существеннейших черт: ума и памяти. Однако, в этом отношении по крайней мере, он совсем не переоценивает себя и, когда, несмотря на все приложенные усилия, не может чего-нибудь усвоить, шутит довольно добродушно над своей неспособностью. Флегма, которая составляет основу его характера, смягчает его вспышки, иногда очень бурные и шумные; когда же доходит до кулачных потасовок, то он при последующих замечаниях и выговорах проявляет себя чаще всего очень упрямым. Своему старинному происхождению он придает очень мало значения и неохотно носит свой мальтийский крест, хотя в его обращении довольно явственно проглядывает какая-то важность».

Равнодушным, хотя и положительным является отзыв о бароне П. Ф. Гревенице:

«При очень хорошем поведении и большом прилежании имеет также достаточные таланты. В своих мелких занятиях, например в своей любви к бабочкам, он проявляет большую любовь к порядку. Из-за его внешности в его нраве появилась довольно большая раздражительность, которая иногда переходит в некоторое упрямство и даже иногда проявляется в его отношениях с матерью».

Запись Энгельгардта о Дельвиге не должна удивлять читателя пренебрежительным отзывом о его литературных занятиях в лицее. Среди преподавателей представление о Дельвиге, отличавшемся в лицее не только ленью, но, как это ни странно, даже малой восприимчивостью к наукам («способности посредственные», «невнимателен и ленив», «отвечает на вопросы без размышления и без всякой связи», — писали о нем), было весьма невыгодным. Литературный его талант развился позднее. Но в отзыве Энгельгардта ценно для нас указание на патристическую гордость Дельвига русской литературой, которая носила, как мы узнаем, даже воинствующий характер. Итак, вот отзыв о Дельвиге:

«Когда Прометей вдохнул душу в ту глину, из которой он его сделал, небесная искра была уже несколько остывшей, так как она только время от времени вспыхивает в Дельвиге жалким поэтическим огоньком. Только на этот мнимый поэтический талант и на какое-то воинствующее отстаивание красот русской литературы направлено сейчас всё, и я, вероятно, обязан только Жуковскому тем, что он с некоторого времени прилагает известное старание к изучению немецкого языка. В его играх и шутках проявляется определенное ироническое остроумие, которое после нескольких сатирических стихотворений сделало его любимцем товарищей. Его нравственность, видимо, подточена тайными пороками, к которым, вероятно, относится и та жадность, с какой он без выбора глотает книги, которые

раздобывает всякими путями и большей частью тайно читает в классе. В русской литературе он, пожалуй, самый образованный».

Из отзыва о К. К. Данзасе мы впервые узнаем о его склонности к искусству. В остальном он, как видно, ничем не импонировал Энгельгардту:

«Настолько бездеятелен и неспособен до и после еды, что приходится думать, он только для еды и создан. Его неизящный вид дает повод к поддразниваниям, на которые он обычно отвечает сердитым криком и кулачной расправой. Убедить его в том, что он когда-нибудь бывает неправ — невозможно. Обычно в подобных случаях он утверждает, что все несправедливо к нему, разгорячается с каждым словом всё больше и позволяет себе при таких припадках, которые довольно быстро переходят в бешенство, большую грубость по отношению даже к надзирателям. Как ни странно, в нем довольно много склонности к искусству».

Лаконичный отзыв об Ф. Ф. Матюшкине точно определяет главную цель его жизни, хотя и сужает духовный облик будущего отважного мореплавателя:

«Тихая, добрая душа, которая делает именно то, что должна, дает именно то, что имеет, кажется именно тем, что есть, и остается именно тем, чем была. Товарищи называют его из-за его флегмы голландцем: у него есть склонность к морской службе».

Запись об А. И. Мартынове — не более чем первые впечатления и наблюдения педагога:

«Очень тихий и спокойный, временами, однако, несколько упрямый, рисует и фехтует лучше всех. Он любит порядок и делает в некоторых науках значительные успехи. Если я не ошибаюсь, он самый молодой после Ржевского, и он бы достиг большего, если бы воспитывался с мальчиками своего возраста, с которыми мог бы идти в ногу».

Отзыв о С. С. Есакове, одном из лучших учеников курса, впоследствии гвардейском офицере, гласит:

«Талант, прилежание и кротость рисуют его очень благоприятно; гениальным его назвать нельзя, но душа у него исключительная, восприимчивая ко всему доброму и прекрасному. Он имеет к тому же большую привязанность ко всем, о ком знает, что они охотно что-нибудь сделают для его интеллектуального и нравственного развития. По отношению к своим родственникам и родителям (эти последние довольно посредственного происхождения) проявляет величайшую нежность и самую детскую привязанность; с этой стороны он, как и Комовский, наиболее достойный любви; его товарищи его очень уважают, он же чаще всего является судьей в их спорах и очень близко принимает к сердцу, когда кто-нибудь не выполняет своего долга или дурно себя ведет по отношению к начальникам. В таких случаях он наставляет виновного на путь истинный, так же, как откровенно защищает того, чей поступок слишком строго осужден или, по его мнению, рассматривается с неправильной точки зрения. В первые годы ему были свойственны сильный страх перед явлениями природы, молнией и огнем, так же как, впрочем, и всякие суеверия и предрассудки, привитые прежним воспитанием».

Интересна характеристика А. Д. Илличевского, лицейского поэта, считавшегося в первые лицейские годы соперником Пушкина по стихотворству, но на самом деле писавшего весьма посредственные стихи:

«В Германии был такой сладостный период, когда многие молодые люди, благодаря Геснеровым идилиям, так же как Вертеру, Иоррику, сентиментальным путешествиям и т. п., стали настолько сверхчувствительными, что их бледно-красные сердца по всякому поводу и без повода совершенно таяли.

На таких бессильных и сухих юношей, если не совсем, то во многом, к сожалению, походит Илличевский. Несколько самодельных рифм и чрезмерные и неосторожные похвалы, которые воздавались его незрелой музе, сделали свое дело слишком добросовестно. Фантазия дала теперь форме перевес над всеми его остальными интеллектуальными силами настолько, что он, при всех талантах, стоит во всех серьезных науках, за малым исключением, почти на той же ступени, что и при поступлении. Всё же надо учесть, без сомнения, то, что имеется в его поэтическом багаже, и поэтому я думаю, что в русской литературе¹¹ он, если не первый, то очень близок к первому. По отношению к своим товарищам он проявляет себя большим эгоистом, хотя с некоторых пор это как будто ослабевает. К своим прежним связям в С.-Петербургской гимназии он проявляет большую привязанность, которая, однако, происходит, может быть, не из самого чистого источника, так как много значат тайные пороки».

Односторонним, но содержащим неизвестные в литературе черты характера Н. А. Корсакова, принадлежавшего к числу одареннейших лицезистов, является отзыв о нем Энгельгардта:

«Обладает отличными способностями и редкой памятью и очень острым суждением. При этом ему свойственен опасный дар приспособляться к каждому мнению и к каждой личности и он умеет каждому казаться лучше, чем тот мог бы его оценить. На свою память он полагается иногда чересчур и временами запускает приготовление уроков, его сочинения и прочие школьные задания находятся обычно в беспорядке. В науках он поверхностен, не от недостатка дарования, а просто от легкомыслия; в обращении со своими товарищами вспыльчив и резок, а затем прибегает ко лжи и к одному ему свойственной манере искажения, причем он умеет очень ловко втянуть в игру тщеславие того, кто является судьей. С некоторых пор, однако, он, кажется, стал лучше. В первые годы, например, он находил удовольствие в том, чтобы незаметно есть в классе, голод здесь играл меньшую роль, чем склонность делать нечто неразрешенное и зуд обмануть учителя; к тому же он тайком таскал со стола хлеб, несмотря на запрещение и наказание».

Здесь не отмечены почему-то выдающиеся музыкальные способности Корсакова, которые сделали его любимцем товарищей, его живой характер, общительность. Зато замечателен своей верностью и выразительностью психологический портрет В. К. Кюхельбекера:

«Читал все на свете книги обо всех на свете вещах; имеет много таланта, много прилежания, много доброй воли, много сердца и много чувства, но, к сожалению, во всем этом не хватает вкуса, такта, грации, меры и ясной цели. Он, однако, верная, невинная душа, и упрямство, которое в нем иногда проявляется, есть только донкихотство чести и добродетели с значительной примесью тщеславия. При этом он в большинстве случаев видит всё в черном свете, бесится на самого себя, совершенно погружается в меланхолию, угрызения совести и подозрения и не находит тогда ни в чем утешения, разве только в каком-нибудь гигантском проекте. В детстве он страдал пляской св. Витта. Его отец умер от чахотки, которая угрожает и ему».

Отзыв Энгельгардта об А. А. Корнилове в общем благоприятен, но рисует его как юношу, ничем не примечательного. Корнилов «нашел способ так же, как Ржевский, остаться совершенно невинным ребенком. Ни на одно мгновение не может оторваться от забав. В своей наружности он

¹¹ Т. е. по успеваемости в лицее.

очень небрежен, а в поведении до неуклюжести невоспитан. Он не умен, но имеет хорошую память и делает в формальных науках довольно значительные успехи. Характер у него открытый и чрезвычайно добродушный».

Совсем иначе, с явной заинтересованностью, написана характеристика С. Г. Ломоносова, личности незаурядной. Еще находясь в лицее, Ломоносов познакомился с Карамзиным и бывал у него вместе с Пушкиным, находился в переписке с В. Л. Пушкиным и П. А. Вяземским. В отзыве Энгельгардта одобрительно говорится об увлечении Ломоносова историей и политикой (на это же указывал и лицейский профессор истории И. К. Кайданов):

«Очень интересный юноша, не то, чтобы гениальный, но всё же выдающийся талант. По истории он идет превосходно. Политикой интересуется очень живо. Очень словоохотлив и умеет обычно направить разговор на наиболее высокие интересы человечества, затем свободно перескакивает с предмета на предмет, касаясь главным образом поверхности, отчасти из юношеского легкомыслия, а может быть, также потому, что он раньше воспитывался французами. Его существо одухотворяет прекрасное религиозное чувство, которое иногда проявляется очень трогательно. Он любит людей, несомненно, больше, чем все остальные (до сих пор, по крайней мере), и часто думает о том, каким образом он может быть для них наиболее полезен. От этого он всегда полон проектов и предложений, направленных обычно на преобразование армий, новые порядки в министерстве, другое управление финансами и т. п.».

Выдающиеся способности Ломоносова сказались в его дальнейшей биографии: он служил секретарем русского посольства в Америке, потом во Франции, был послом в Бразилии, Португалии, Нидерландах. Нет оснований думать, что в лицее Ломоносов принадлежал по своим политическим взглядам к наиболее передовой группе лицейстов: его карьера, сохранившиеся письма говорят, что он и не хотел плыть «против течения». Но всё же Ломоносов ярко выделялся широтой своих интересов, образованностью, умом среди многих сверстников — типичных отпрысков дворянской бюрократии.

После характеристики Ломоносова особенно язвительным кажется отзыв о П. Н. Мясоедове, воспитаннике, который за свою тупость и умственное убожество служил у лицейстов предметом постоянных насмешек. Вот что писал о Мясоедове Энгельгардт:

«Никто так хорошо и элегантно не одевается, никто так изящно не разглаживает своей челки. Никто не умеет так изящно пользоваться своим лорнетом, никто не хотел бы так, как он, уже сейчас стать гусаром, но никто меньше его не пригоден и не имеет охоты к серьезным занятиям. Так как он всё же исключительно высокого мнения о себе и о своих познаниях, то при выговорах он, где только смеет, бывает груб и у гувернера и инструктора происходят с ним иногда сцены».

О проницательности Энгельгардта как педагога, так быстро разглядевшего облик «Мясожорова» (лицейское прозвище Мясоедова), свидетельствует простое сравнение этого отзыва с рядом официальных лицейских характеристик, где мы читаем: «Весьма самолюбив, горяч, привязчив, груб, насмешлив; впрочем, признателен, услужлив, прилежен» или: «не слишком счастлив способностями, но его прилежание заменяет многое».¹²

¹² Н. Гастфрейд. Товарищи Пушкина по имп. Царскоевскому лицее. Материалы для словаря лицейстов первого курса 1811—1817 гг., т. III, СПб., 1913, стр. 358.

О Д. Н. Маслове из отзыва Энгельгардта мы узнаем, что он «имеет большие способности к литературе и математическим наукам и сделал в математике значительные успехи. Он скромн и больше всех остальных близок к возмужанию. Говорит мало и плохо и охотно уединяется. Когда он считает себя обиженным, скрывает свое недовольство. Я думаю, что в нем довольно много гордости и самомнения. Его поведение было всегда исключительно осторожным и совершенно безупречным».

О Маслове в лицейской песне говорилось:

Просвещеньем Маслов светит,
В титулярство Маслов метит.¹³

И действительно, Маслов при выпуске получил чин титулярного советника. В лицее он примыкал к группе передовых лицейстов, но вел себя очень осмотрительно и осторожно во всех конфликтах (в частности, во время известного столкновения с инспектором М. С. Пилецким). После окончания лицея участвовал в «Журнальном обществе» Н. И. Тургенева, обществе, созданном для издания политического журнала, и читал на одном из собраний статью о статистике. Но «либеральный дух» Маслова быстро испарился, и он преуспевал на службе, постепенно украшаясь орденами и дойдя до чина тайного советника.

К числу отзывов, где пронизательность изменила Энгельгардту, относится отзыв об И. В. Малиновском, сыне первого директора лицея В. Ф. Малиновского:

«При очень добром сердце и довольно хороших способностях он во всем проявляет большую небрежность, дурно ведет себя по отношению к своим товарищам, начальникам и проявлял это даже по отношению к своему отцу. Он совершенно не может заставить себя сдержаться, и его можно привести в себя с исключительным трудом, тогда он с искренним раскаянием признает свою вину, но, к сожалению, его величайшее легкомыслие тотчас же вытесняет самые лучшие намерения. Насколько мне известно, он ни в одном предмете не сделал значительных успехов».

Здесь внимание обращено главным образом на озорной, пылкой нрав Малиновского. Об этом, правда, говорит и Пушкин в «Пирующих студентах»:

А ты, повеса из повес,
На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
Приятель задушевный...

За вспыльчивость и необузданность лицейсты прозвали Малиновского «казаком».

Казалось бы, что Энгельгардт должен был обратить больше внимания на те свойства Малиновского, которые он кратко обобщил словами о его «очень добром сердце» и которые впоследствии выразились в теплом отношении «казака» к осужденным декабристам, в дружбе с И. И. Пушиным, в беспрестанных столкновениях с закоренелыми крепостниками-помещиками на Украине. Но в первые месяцы директорства Энгельгардта в лицее его сближению с сыном покойного директора, по всей вероятности, мешала и ревность сына к преемнику своего отца.

Поражает своей односторонностью отзыв Энгельгардта об И. И. Пушине, с которым впоследствии, как мы уже упоминали выше, он был свя-

¹³ К. Я. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 229.

зан взаимной многолетней дружбой (она продолжалась и даже укрепилась после того, как Пушкин был осужден за участие в восстании декабристов). В характеристике Пушкина Энгельгардт обращает внимание только на любовные увлечения этого лицеиста и выступает здесь как «блюститель нравственности».¹⁴

«Несчастливые семейные обстоятельства произвели на него тяжелое впечатление, — говорит о Пушкине Энгельгардт. — С некоторого времени он стал прилагать чрезвычайно много усилий к тому, чтобы заинтересовать собой особ другого пола, писал исключительно жалостливые письма и старался изобразить из себя настоящую трагическую фигуру благодаря своему несчастью, которого он, однако, ясно не обрисовывал. Одно такое письмо попало мне в руки и мой долг заставил меня поговорить серьезно и внушительно с этим, таким в сущности, хорошим молодым человеком о его ошибке и сказать ему о неправильности его точки зрения. Дружеский совет произвел, по-видимому, желаемое впечатление, но вскоре повторный случай подобного рода показал совершенно обратное. Как ученик, он вдумчив, способен, внимателен и прилежен, но всё же кажется, что он не проявляет определенной склонности к какой бы то ни было науке».

В дальнейшем, узнав Пушкина ближе, Энгельгардт развил свое мнение о благородных чертах его природы, о его высоком моральном облике. Именно таким предстает Пушкин в обширной переписке Энгельгардта 20—50-х годов с бывшими лицеистами.¹⁵

В приведенном выше отзыве о Корнилове Энгельгардт сравнивает этого лицеиста с другим, Н. Г. Ржевским. И в самом деле, подобно Корнилову, Ржевский ничем не был замечателен. Это — «хорошее сердечное дитя, но, к сожалению, дитя, и он им всегда останется в отношении наук, по крайней мере по сравнению с многими из своих соучеников. У него ни в какой мере нет недостатка в талантах, и, если бы он был в младшем классе вместо старшего, он, может быть, стал бы очень хорошим воспитанником. В обращении со своими товарищами он очень миролюбив, по отношению к начальникам послушен, вежлив и очень доверчив, класс, полный Ржевских, был бы для нас не плох, но ему в этом классе приходится довольно туго».

Своеобразным поэтическим комментарием к этому отзыву может служить шуточная эпиграмма-акrostих, сочиненная в лицее и имевшая в виду именно Ржевского:

Родясь, как всякий человек,
Жизнь отдал праздности, труда, как зла, страшился,
Ел с утра до ночи, под вечер спать ложился;
Встав, снова ел да пил, и так провел весь век.
Счастливец! На себя он злобы не навлек;
Кто, впрочем, из людей был вовсе без порока?
И он писал стихи, к несчастью, без прока!¹⁶

К совершенно бесцветным, ничем не примечательным фигурам принадлежали три воспитанника, характеризуемые далее Энгельгардтом, — Сте-

¹⁴ Следует, однако, отметить, что в воспоминаниях И. И. Пушкина, где дается высокая оценка Энгельгардта-педагога, с одобрением упоминается и о его стремлении внушить воспитанникам «платонизм в чувствах» и уберечь их от ошибок (см.: И. И. Пуш и н. Записки о Пушкине. Письма. Гослитиздат, М., 1956, стр. 64).

¹⁵ Вслед за отзывом о Пушкине дан отзыв о Пушкине, занимающий двадцать третье место. Мы выделяем его в конце нашей публикации.

¹⁶ Я. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2, СПб., 1899, стр. 227.

вен, Саврасов, Тырков. И здесь проявляется его отрицательное отношение к тем юношам, которые (даже если успевают в науках) не воодушевлены никакой целью, лишены инициативы, широких интересов. Таков будущий выборгский губернатор Ф. Х. Стевен:

«Очень добродушный и притом деятельный ученик. Не имея выдающихся способностей, он, благодаря своему прилежанию, принадлежит к лучшим ученикам. Осторожный и скромный в поведении, он редко подвергается наказаниям. Впрочем, в его физическом облике есть что-то беспомощное и тяжеловесное, что, по-видимому, мешает и каждому его духовному порыву».

Таков по существу и П. Ф. Саврасов, который запомнился товарищам только своей ярко-рыжей шевелюрой и длинным носом:

«Совершенно чистый и неиспорченный мальчик, который с момента своего поступления показал себя таким скромным, добродушным и миролюбивым, что покорила всех учителей, так и учеников. За всё это время он ни разу не был наказан, и я думаю, что он вряд ли получил хоть у кого-нибудь выговор. Он любит чистоту и порядок. В науках ничем не выделяется, но всё же он очень хороший ученик».

Но если Саврасов вообще ничем не выделялся, то прямое сопротивление своей пошлости вызывал А. Д. Тырков (лицейское прозвище «кирпичный брус»). Об этом говорит и Энгельгардт:

«Его прежним воспитанием, должно быть, очень пренебрегали, так как на нем лежит печать пошлости. Велика его беспомощность, велико его невежество во всем. Но в нем нет совершенно ничего плохого, и, я думаю, он бы охотно что-нибудь совершил, если бы ему в этом постоянно не препятствовала его убого одаренная натура».

После окончания лицея Тырков некоторое время служил в конно-егерском армейском полку, но уже в 1822 году вышел в отставку и коротал время за разведением кур, гусей и уток. Конец жизни Тыркова был также отмечен, при всей своей трагичности, доходившей до комизма глупостью. Тыркова постигла психическая болезнь, но и эта болезнь была у него в формах какой-то тупой обыденщины: запершись в комнате, он методично вырезывал бумажки и пускал их по ветру.

Ценные сведения содержит запись Энгельгардта, посвященная М. Л. Яковлеву, юноше, обладавшему многосторонними дарованиями, любимцу лицеистов, впоследствии ставшему «лицейским старостой» (он был ревностным организатором празднований лицейских годовщин, хранителем архивов пушкинского выпуска лицея). О нем Энгельгардт писал:

«Талантлив во всем, особенно же в риторике, мимике и музыке. Ему очень нравится подражать другим как во внешности, так и в научных занятиях. Здесь он заходит так далеко, что не может скрыть своего стремления к подражанию даже от тех, кому он подражает или кого передразнивает. Теперь его поведение в общем хорошо, прежде оно было небезупречным; его сердце отзывчиво. Так как он уделяет людям много внимания, то надо предполагать, что он не очень хорошо приспособится к свету. У него есть склонность к сатире, но несравненно меньшая, чем у Пушкина. В науках он предался своего рода литературному патриотизму. Этот протест против чужого легко принимает у него значение чего-то важного. Филология его интересует в целом не так, как это можно было бы ожидать при его риторических стремлениях».

Особенный интерес представляет замечание Энгельгардта о «литературном патриотизме» Яковлева и его способности к сатире. Что же касается замечания о страсти Яковлева к «подражанию» и о его таланте

в «мимике», то здесь имеется в виду исключительный дар имитации, его умение, восхищавшее современников, воспроизводить не только манеры, походку, но даже голоса и интонации самых разных людей.

К П. М. Юдину относится последняя запись Энгельгардта:

«Он был, особенно вначале, так мягок и так чувствителен, что редкий день проходил без того, чтобы он в классе не проливал слез то из-за пустячного выговора, то из-за того, что его не вызвали, то из-за какой-нибудь еще менее уважительной причины. Учителя очень ценят его охоту к учению и его кротость. Он, хотя и медленно, сделал очень заметные успехи, его настойчивость неутомима, а его поведение постоянно совершенно безупречно. В его душе цветет прекрасный идиллический мир, явление в сущности у молодых людей его возраста не редкое, особенно же в классе, в котором он находится. Этот мир невинности довольно мило выражается в его маленьких сочинениях. От своих соучеников он отстраняется, из робости не очень легко вступает с кем бы то ни было в длительную беседу. Эта наклонность к отдалению и уединению могла при недоброжелательных внешних взаимоотношениях легко перейти у него в меланхолию. Своих родителей он любит с величайшей нежностью».

Характеристика «чувствительности» Юдина, погруженного в «идиллический мир», существенна для понимания пушкинского «Послания к Юдину» (1815): Пушкин, применяясь к адресату, восхвалял в этом стихотворении идиллический мир сельского уединения, где можно

Вдали столиц, забот и грома
Укрыться в мирном уголке. . .

Слова Энгельгардта о «маленьких сочинениях» Юдина дают основание причислить этого лицеиста к кругу воспитанников, причастных к литературному творчеству.

И, наконец, подробного рассмотрения заслуживает отзыв Энгельгардта, посвященный Пушкину и находящийся в рукописи между отзывами о Пушкине и о Ржевском. Эта запись, как уже упоминалось выше, была опубликована (хотя и неполностью) В. П. Гаевским. Она свидетельствует о том, что возникновение взаимной неприязни, сложившейся между Пушкиным и Энгельгардтом, изумлявшей и огорчавшей близкого друга их обоих — декабриста Пущина, относится к самому началу директорства Энгельгардта. Вот полный текст записи Энгельгардта:

«Его высшая и конечная цель — блистать и именно посредством поэзии. К этому он сводит всё и с любовью занимается всем, что с этим непосредственно связано.¹⁷ Всё же ему никогда не удастся дать прочную основу даже своим стихам, так как он боится всяких серьезных занятий и сам его поэтический дух не сердечный, проникновенный, а совершенно поверхностный, французский дух. И всё же это есть лучшее, что можно о нем сказать, если это можно считать хорошим. Его сердце холодно и пусто, чуждо любви и всякому религиозному чувству и не испытывает в нем потребности; может быть, так пусто, как никогда не бывало юношеское сердце. Все нежнейшие и юношеские чувства в его фантазии осквернены, так как запятнаны всеми пороками французской литературы,¹⁸ которую

¹⁷ Эта фраза, весьма важная для характеристики Пушкина, в публикации В. П. Гаевского пропущена (см.: «Современник», 1863, № 8, стр. 376).

¹⁸ В переводе В. П. Гаевского: «всеми эротическими произведениями французской литературы». Перевод Гаевского, как и в других местах, неточный: у Энгельгардта буквально сказано именно о «пороках» французской литературы, но подразумевал он, конечно, эротические произведения.

он знал частично, а то и совершенно наизусть при поступлении в лицей как достойную придачу к его прежнему воспитанию».¹⁹

Следует прежде всего подчеркнуть функцию этой характеристики, как и всех других характеристик публикуемой рукописи: она писалась Энгельгардтом лично для себя и осталась достоянием его архива, являясь как бы записью в дневнике педагога. Энгельгардт не только не вносил свои откровенно критические замечания в официальные отзывы, но, более того, зачастую протестовал против попыток очернить Пушкина. Так, по свидетельству Пушкина, Энгельгардт отверг принятое еще в 1814 году (до его директорства) решение конференции о том, чтобы внесение Пушкина за шалость в «черную книгу» было учтено при выпуске. По воспоминаниям Пушкина, Энгельгардт «ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда же было взыскано, могла бы еще иметь влияние и на будущность после выпуска. Все тотчас согласилось с его мнением, и дело было сдано в архив».²⁰ Защищал Энгельгардт Пушкина и после его ссылки на юг в официальной записке министру народного просвещения. Но при этом остается фактом: характеристика личности Пушкина Энгельгардтом в приведенной выше записи глубоко неверна и несправедлива. Для строгого директора, с его религиозно-нравственным морализированием, остался закрытым многогранный, богатейший духовный мир гениального юноши-поэта, который он так и не смог увидеть за лицейскими табелями об успеваемости и за экспансивными выходками, снискавшими Пушкину среди лицейских воспитателей славу «легкомысленного», «повесы». Энгельгардт особенно уверился в этом мнении после нескольких инцидентов, происшедших с Пушкиным на его глазах: после нашумевшей истории с фрейлиной императрицы княжной Волконской, которую Пушкин принял в темных переходах дворца за горничную Наташу и бросился целовать; после ставшей известной Энгельгардту карикатуры Пушкина на него; после истории с откровенно эротическим посланием Пушкина «К молодой вдове», которое было адресовано милордской француженке Марии Смит (она была в любовной связи с самим Энгельгардтом и показала ему это послание). Всё это Энгельгардт, занявший в лицее позицию блюстителя нравственности и к тому же оскорбленный нетерпимостью и пренебрежением к нему Пушкина, тенденциозно обобщил в своей характеристике. С другой стороны, поучения Энгельгардта воспринимались Пушкиным как придирки педанта.

И. И. Пущин в своих мемуарах писал: «... для меня оставалось неразрешенною загадкой, почему все внимания директора и жены его отвергались Пушкиным: он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душой полюбил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь,

¹⁹ Приводим этот отзыв о Пушкине и в оригинале:

«Sein höchstes und letztes Ziel ist glänzen und zwar durch Poesie. Darauf führt er alles zurück und treibt alles was damit in unmittelbarer Beziehung steht, mit Liebe. Indessen wird es ihm wohl nie gelingen seinen Versen selbst eine feste Grundlage zu geben, weil er alles ernstere Studium scheut, und sein poetischer Geist selbst kein in die Tiefen hinabdringender gemüthlicher, sondern ein gar oberflächlicher französischer Geist ist. Und doch ist nur dies, in so fern es etwas Gutes dünken kann, das Beste was sich von ihm sagen läßt. Sein Herz ist kalt und leer, leer an Liebe und leer an allem religiösen Gefühle und Bedürfniß, vielleicht so leer als es nie ein jugendliches Herz gewesen ist. Die zarteren und jugendlichen Gefühle alle sind in seiner Phantasie entweiht, denn diese ist befleckt von allen Schandmälern der französischen Literatur, die er Stellenweise oder ganz auswendig wußte als er in das Lyceum tratt, eine würdige Mitgabe seiner früheren Erziehung.

²⁰ И. И. Пущин и н. Записки о Пушкине. Письма, стр. 57.

чего он никак не хотел мне сказать; наконец, я перестал и настаивать».²¹ Хотя в отношениях между Пушкиным и Энгельгардтом до сих пор многое остается неясным, но некоторые причины неприязни теперь вырисовываются.

Таковы характеристики воспитанников первого выпуска Царскосельского лицея в записях Энгельгардта. Большинство характеристик, как мы видели, представляет несомненную ценность для исследователя своей меткостью, многими новыми сведениями. Остается лишь пожалеть, что тонкая наблюдательность Энгельгардта изменила ему, когда он записывал свои впечатления о том, кто обессмертил Царскосельский лицей,— о великом Пушкине.

²¹ Там же, стр. 63—64.

А. М. СТУПЕЛЬ

ЛИЦЕЙСКИЙ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ

Первый преподаватель музыки в Царскосельском лицее В. Теппер не часто привлекал внимание современников и историков. Незаметной тенью прошел он где-то на заднем плане шумной и оживленной жизни лицея пушкинского времени. Лицейские воспитанники мало вспоминали о нем в своих письмах и мемуарах. В документальных материалах остались лишь скудные и отрывочные сведения о его жизни и деятельности. Портреты его не обнаружены.

Между тем Теппер заслуживает внимания. Даже сохранившиеся разрозненные данные живо рисуют привлекательный облик этого незаурядного человека, его необычную судьбу и его несомненную роль в музыкальном воспитании первого, пушкинского выпуска лицея.

1

Людвиг-Вильгельм (или, как он обычно именуется, Вильгельм) Теппер де Фергюсон принадлежал к многочисленной категории иностранцев, находивших в те бурные годы — на грани XVIII—XIX веков — пристанище в России. Немало их осело тогда и «в садах лицея». Достаточно напомнить имена преподавателей первого выпуска — швейцарца де Будри, австрийского немца Гауеншильда, уроженца Моравии врача Пёшеля.

Теппер пришел в лицей после многих жизненных превратностей. О ранних годах его жизни почти не сохранилось сведений. Отсутствуют даже документальные данные, устанавливающие время его рождения. Даты, приводимые в печатных источниках, расходятся на двадцать пять лет: в Русском энциклопедическом словаре, изданном И. Н. Березиным (отд. IV, т. 2, СПб., 1877), указан 1750 год; в немецком «Neues Universal-Lexikon der Tonkunst», изданном Э. Бернсдорфом (т. III, Оффенбах, 1861), указано: «около 1775 года». Нужно думать, что обе эти даты сомнительны.

Уроженец Варшавы, Теппер был сыном крупного банкира. Его отец, Петр Теппер де Фергюсон, был близок к двору последнего короля Польши Станислава Августа. Польские источники красочно описывают широкий образ жизни и безмерную расточительность богача-банкира, принимавшего в своем дворце самого короля. В 1794 году, в разгар политических событий, приведших к разделу Польши, П. Теппер потерпел банкротство и потерял свое огромное состояние. В том же году он умер, по некоторым данным, покончив с собой.¹

¹ О П. Теппере см.: *Encyklopedya powszechna*, t. XXV. Warszawa, 1867, стр. 167—168; *Encyklopedya ogólna wiedzy ludzkiej*, t. XI. Warszawa, 1877, стр. 427; *S. Orgelbranda Encyklopedya powszechna*, t. XIV. Warszawa, 1903, стр. 459.

Сын его, В. Теппер, будущий лицейский преподаватель, провел ранние годы в довольстве и роскоши. П. А. Плетнев, по-видимому, не преувеличивал, рассказывая впоследствии о том, что молодой Теппер «путешествовал как какой-нибудь лорд по Европе».² В его воспитании польский язык и культура не играли сколько-нибудь заметной роли. Вся его дальнейшая деятельность показывает, что он был воспитан преимущественно на образцах немецкой и французской литературы и искусства.

В молодости Теппер провел восемь лет (с 1788 до 1796 года) в Вене, посвятив себя занятиям музыкой. В ту эпоху Вена была одним из главных музыкальных центров Европы. Здесь постоянно бывал стареющий, находившийся на вершине славы Гайдн. Здесь жил Моцарт, создававший в те годы «Свадьбу Фигаро» и «Дон Жуана». Сюда переселился в 1792 году двадцатидвухлетний Бетховен, до конца дней оставшийся жителем императорской столицы.

Помимо занятий фортепианной игрой Теппер изучал в Вене музыкально-теоретические дисциплины. Его учитель Иоганн Альбрехтсбергер (1736—1809), выдающийся теоретик, композитор, органист и педагог, стоял наряду с А. Сальери в центре венской музыкальной жизни. Как преподаватель-теоретик он пользовался исключительным авторитетом. Высоко ценил его такой требовательный художник, как Моцарт, почтительно называвший его «знаменитым маэстро». Среди учеников Альбрехтсбергера были известные композиторы и пианисты Гуммель и Мошелес. Под его руководством в течение трех лет — с 1794 до 1797 года — занимался Бетховен. Это было в те годы, когда в Вене жил и Теппер.

Поселившись в столице, Теппер оказался в самом сердце одного из главных музыкальных течений своего времени, так называемой «венской классики». Это течение, виднейшими представителями которого были Гайдн, Моцарт и Бетховен, сыграло определяющую роль в дальнейшем развитии европейского музыкального искусства. Глубокая и всесторонняя реформа, осуществленная венскими классиками, привела к коренному повороту главным образом в инструментальной музыке. На смену великому веку господства полифонии,³ завершившемуся грандиозными явлениями Баха и Генделя, пришла эпоха преобладания гомофонии.⁴ В творчестве венских композиторов выкристаллизовалась схема сонатного цикла, в частности форма сонатного аллегро, эта высшая форма музыкальной драматургии, сохраняющая свое значение вплоть до нашего времени. В произведениях Гайдна, Моцарта и в особенности Бетховена были заложены основы современной структуры симфонического оркестра.

Учитель Теппера Альбрехтсбергер — довольно характерный, хотя еще робкий представитель венской классики. Он не обладал смелостью и яркостью, свойственными Гайдну или Моцарту, но в его оркестровых произведениях — симфонии, написанной в 1768 году, когда Моцарту было лишь двенадцать лет, и в прелестной симфонии-концертино — обнаруживаются уже все главные черты нового течения. В русле этого течения формировался как музыкант и Теппер. Традиции, воспринятые в Вене, оказали влияние на весь его творческий облик.

² См.: Я. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887, стр. 319.

³ Многоголосная музыка, характеризующаяся одновременным сочетанием самостоятельно развивающихся в разных голосах мелодий.

⁴ Многоголосная музыка, в которой один голос имеет главное значение в качестве самостоятельной мелодии, а остальные играют подчиненную роль в качестве аккомпанемента, сопровождения.

После разорения и смерти отца Теппер становится на путь музыканта-профессионала. Он приобретает в Вене известность как одаренный пианист-виртуоз. Многочисленные немецкие источники первой половины и середины прошлого века дают высокую оценку его исполнительскому мастерству. Э. Л. Гербер в своем «Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler», вышедшем еще при жизни Теппера (Лейпциг, 1814), пишет: «Теппер де Фергюсон, ... молодой талантливый любитель, получил <музыкальное> образование... в Вене; уже с 1795 года он приобрел там известность благодаря своей выдающейся фортепианной технике, <художественному> вкусу и знанию искусства» (т. IV, стлб. 333). Впоследствии Э. Берндорф в своем «Neues Universal-Lexikon der Tonkunst» также отмечает виртуозные данные Теппера и успех его выступлений. «Превосходным пианистом» именует его и «Musikalisches Conversations-Lexikon» Менделя (т. X, Берлин, 1878).

С 1796 года Теппер в Гамбурге, крупном музыкальном центре, славившемся своим оперным театром. Здесь он также привлек интерес и быстро приобрел репутацию талантливого музыканта.

В 1799 или 1800 году Теппер переехал в Россию, которая стала его второй родиной. Его выступления в Петербурге прошли с успехом, и вскоре же после приезда он был приглашен к великим княжнам, дочерям Павла I, в качестве преподавателя музыки. В списках учителей великой княжны Анны Павловны Теппер числится наряду с такими видными деятелями искусства, как художник Шебуев и известный певец-композитор Антолини. В этих списках Теппер значится вплоть до 1812 года.⁵ По некоторым сведениям, он был назначен в те же годы придворным капельмейстером.

Одновременно с началом концертной деятельности, еще в годы пребывания в Вене, Теппер выступил как композитор. Первые издания его произведений датированы 1796 годом. Издателями его были крупные, широко известные фирмы — Артария в Вене, Гюнтер и Бёме в Гамбурге, Герстенберг и Дитмар в Петербурге, что свидетельствует о спросе на его сочинения. В ленинградских собраниях насчитывается свыше сорока произведений Теппера, в том числе два — в рукописи,⁶ одно — в рукописной копии,⁷ остальные в печатном виде. Если прибавить к этому список (весьма неполный), опубликованный Гербером,⁸ и отдельные указания в других источниках, то можно довольно ясно представить себе основные линии его творчества.

Теппер писал в различных жанрах главным образом фортепианную и вокальную музыку. Среди его фортепианных произведений насчитываются четыре сонаты, токката, вариации на темы Генделя, Паэзиелло, Далеярака и др.

Интересными образцами ансамбля являются его упомянутая «Увертюра для двух фортепиано» и две сонаты для скрипки с фортепиано.

⁵ Государственный исторический архив Ленинградской области (ГИАЛО), ф. 527, д. 37—39.

⁶ «Romance de Dorat» («Романс Дора») для голоса и фортепиано и «Ouverture à 2 pianos et 8 mains F dur» («Увертюра для двух фортепиано в восемь рук фа мажор») — в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде; шифры: Итал. F XII—146а и Фр. F XII № 123.

⁷ Оркестровые партии оперы «Hermine» — в Центральной музыкальной библиотеке в Ленинграде.

⁸ Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler von E. L. Gerber, Theil IV. Leipzig, 1814, стлб. 333—334.

Вокальная музыка Теппера представлена несколькими сериями романсов с французскими и немецкими текстами. В списках его сочинений упоминается изданная в 1797 году кантата для хора с сопровождением фортепиано на слова «Оды к радости» Шиллера (по-видимому, одно из наиболее ранних музыкальных произведений на этот текст).

С переездом в Петербург в творчестве Теппера появляется новый жанр — сценическая музыка. По сообщениям Гербера, Бернсдорфа, Эйнера и др., он поставил в столице несколько «опер и оперетт»,⁹ прошедших с большим успехом. Сколько-нибудь подробных данных об этих произведениях не имеется. Сохранились лишь рукописные копии оркестровых партий оперы «Herminie» (без вокальных партий и текста). Часто упоминается в печати «оперетта» «Эйленшпигель» на текст Коцебу, поставленная в 1800 году. «Эйленшпигель» успеха не имел, по-видимому, из-за неудачного текста. По сообщению Гербера, «публика не смеялась и не аплодировала; вина в этом лежит на авторе либретто».¹⁰

Подобно многим иностранным музыкантам, работавшим в России, Теппер отдал дань и русской народной песне. В одном из петербургских издательств были напечатаны его фортепианные вариации на тему песни «В темном лесе».¹¹

В музыке Теппера сказывается живое, непосредственное дарование и несомненное мастерство. Как говорилось уже, годы учения в Вене наложили печать на всё его творчество. Основа его музыки — характерные интонации венской классики конца XVIII века. Иногда мелодика Теппера приближается к Моцарту зрелой поры, но она проще, прямолинейнее, ей чужды гибкость, гармоническая смелость и тончайшая красочность хроматизма, отличающие автора «Свадьбы Фигаро».

Теппер обладает несомненным мастерством в развитии тематического материала, что проявляется в его сонатах и в других произведениях крупной формы, в частности в увертюре для двух роялей. Его разработки очень динамичны, а аллегро скрипичной сонаты соль мажор (из соч. 5) отличается, кроме того, красочным и смелым для своего времени тональным планом. В остроумном фугированном менуэте той же сонаты обнаруживается свободное владение полифонией; при всей несложности этого фугато, в нем чувствуется легкая и уверенная рука мастера.

В вокальном творчестве Теппера прежде всего обращает внимание разнообразный характер текстов. Он часто обращается к «высокой» тематике — к Шиллеру («Ода к радости»), к сказанию о Геро и Леандре в изложении Лагарпа (романс), к истории любви Тассо (романс), к образам Сервантеса («Романсы Дон Кихота»). Наряду с этим он пишет немецкие песни сугубо бытового содержания — «Gesellschaftslied für junge Frauenzimmer» («Песня для исполнения в кругу молодых женщин»), «Tafelgesang für Freunde der Wohltätigkeit» («Застольная песня друзей благотворительности») и другие в том же роде — и французские любовные романсы на слова второстепенных поэтов: де ла Мезонфор, де Гастон и др.

В песнях и романсах особенно ясно проявляется характерная черта Теппера как композитора — стилистическая чуткость и гибкость. Его песни с немецкими текстами — типичный образец немецких Lieder конца

⁹ Опереттами в то время именовались небольшие, преимущественно комические пьесы, состоявшие из музыкальных номеров и разговорных сцен.

¹⁰ Neues historisch-biographisches Lexikon... von E. L. Gerber, Theil IV, стлб. 334.

¹¹ См.: Б. Вольман. Русские печатные ноты XVIII века. Музгиз, Л., 1957, стр. 175—176; Catalogue de musique chez Charles Louis Lehnhold... M., 1806, стр. 56.

XVIII—начала XIX века, интонации которых хорошо знакомы нам по ранним песням Бетховена.

Французские романсы Теппера умело стилизованы в духе *chansons* того времени с характерным для них ритмическим изяществом и известной мелодической изысканностью.

Интересным примером стилистического чутья Теппера является своеобразный «музыкальный рассказ», или, как называет его автор, «повествование в стихах, положенное на музыку» (*conte en vers mis en musique*), «Любовь Тассо и Альфонсины д'Эсте» (с французским текстом). Это объемистое произведение для голоса с фортепиано, состоящее из речитативов и ариозных эпизодов, по своему строению и по характеру музыки близко напоминает лирические сцены из французских опер той эпохи.

Сильной стороной вокальной музыки Теппера является декламация, большей частью верная и выразительная как в немецких, так и во французских песнях. Сохранившиеся оркестровые партии оперы «*Herminie*» показывают, что Теппер вполне владел искусством оркестровки. Он пользуется обычным составом конца XVIII—начала XIX века — струнным квинтетом, двойным составом духовых (без тромбонов и тубы) и литаврами. Оркестровка сделана опытной рукой, фактура — традиционная, ясная и легкая.

Теппер несомненно профессионально опытный и одаренный композитор, стоящий выше многих своих более известных современников. Его жизнерадостное, лишенное больших глубин, но всегда ровное и ясное творчество и теперь еще может привлечь слушателей своей искренностью и мелодической свежестью. Исполнение его произведений могло бы воскресить одну из привлекательных страниц русского столичного музицирования начала прошлого века.

2

Этот разносторонний, широко образованный музыкант был приглашен в Царскосельский лицей в качестве преподавателя хорового пения в начале 1816 года. До его появления музыка в лицее не преподавалась. Пригласил его Е. А. Энгельгардт, только что вступивший тогда в должность директора. К тому времени Теппер был постоянным жителем Царского Села. Со своей женой, дочерью петербургского банкира, Жаннеттой Ивановной, рожденной Севериной, он проживал вблизи лицея, в особняке, известном и до наших дней под именем «дома Теппера». По видимому, придворную службу он оставил. Сведения о ней прекращаются с 1812 года, причины его ухода остаются неизвестными.

Обстоятельства приглашения Теппера в лицей освещены в известной «Записке» М. Корфа. «Теппер де Фергюзон, — пишет Корф, — был сын богатого, потом разорившегося варшавского банкира и учил нас, в последний только год, не музыке собственно, а лишь только пению. Это было делом директора Энгельгардта, который хотел доставить кусок хлеба своему старинному другу».¹² Здесь привлекает внимание ссылка на долготелую дружбу Теппера и Энгельгардта, интересный, но совершенно неосвещенный факт их биографий.

Корф ошибался, объясняя приглашение Теппера материальными мотивами. Как указывает историк лицея И. Селезнев, Теппер «обучал в лицее... бесплатно».¹³

¹² Я. Грот, ук. соч., стр. 268.

¹³ И. Селезнев. Исторический очерк имп. бывшего Царскосельского ныне Александровского лицея... СПб., 1861, стр. 135.

В списке преподавателей лицея, составленном тем же И. Селезевым, имя Теппера не встречается.¹⁴ В расписании занятий лицея на 1816 и 1817 годы хоровое пение не значится. В материалах делопроизводства лицея, хранящихся в Государственном историческом архиве Ленинградской области, упоминания о Теппере отсутствуют. Всё это подтверждает свидетельство И. Селезнева о том, что Теппер преподавал бесплатно, не будучи в штатах лицея.

Несмотря на свое внештатное положение, новый преподаватель развил большую деятельность. «В его классе, — вспоминает М. Корф, — соединялись оба курса лицея, старший и младший, что иначе ни на лекциях, ни в рекреационное время никогда не бывало».¹⁵ О характере и содержании этих занятий Корф говорит следующее: «Теппер, хороший учитель пения, хотя сам без всякого голоса, не только учил нас, но и сочинял для нас разные духовные концерты, т. е. большею частью перелагал с разными вариациями и облегчениями концерты Бортнянского».¹⁶

Очевидно, хоровые занятия должны были прежде всего готовить воспитанников к участию в церковных службах. Но этим замыслы Теппера не ограничивались. Концерты Бортнянского, о которых говорит Корф, являются самостоятельными художественными произведениями, выходящими далеко за рамки обиходного пения. По-видимому, хор разучивал и светскую музыку. По словам Корфа, в «1816 и 1817 годах при Энгельгардте... мы имели... постоянный хор и певали у директора на балконе».¹⁷ Трудно предположить, чтобы в этой бытовой обстановке исполнялась музыка духовного содержания.

Если судить по сообщениям Корфа, организующее влияние первого преподавателя пения почувствовалось в лицейской жизни уже через полгода после его появления. И до того в лицее звучали песни («национальные песни») и выделялись юноши с музыкальными склонностями и дарованиями (Яковлев, Корсаков). Хоровые занятия способствовали музыкальному развитию их участников, и лицеисты впоследствии с благодарностью вспоминали своего учителя. Даже высокомерный и желчный Корф тепло отозвался о лицейском хоре. Очень горячо, романтически взволнованно говорит о нем через полтора года после окончания лицея Кюхельбекер. В «Письме лицейского ветерана к лицейскому ветерану» он вспоминает «то время, когда... мы были... вместе, когда... мы сокровеннейшие чувства свои, сокровеннейшие мелодии наших душ сливали в один общий и сладостный хор».¹⁸ Впоследствии лицейский хор и его руководитель сыграли большую роль в важнейший момент жизни лицея — в день первого выпуска.

Помимо хоровых занятий, Теппер давал желающим частные уроки музыки в свободное от ученья время.

Большое значение в художественном воспитании лицеистов имели музыкальные вечера в некоторых частных домах. Стремясь, по словам И. И. Пущина, привить своим воспитанникам «приличие в обращении»¹⁹ и стараясь расширить их общее развитие, Энгельгардт всячески поощрял посещение нескольких царсосельских семейств. Кроме его дома, лицеисты

¹⁴ См.: Памятная книжка имп. Александровского лицея на 1856—1857 год. СПб., 1856, стр. 124—125 (вторая пагинация).

¹⁵ Я. Грот, ук. соч., стр. 268.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же, стр. 276.

¹⁸ «Сын отечества», 1818, ч. 49, № 45, стр. 332.

¹⁹ И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма, Гослитиздат, М., 1956, стр. 64.

бывали у Теппера, Севериной, баронессы Вельо, Бакуниной или, как писал Корф, «у Теппера и в других почтенных домах».²⁰ Теппер, Северины и Вельо находились в родственных отношениях. Одна из Севериных была замужем за Теппером, ее сестра — за Вельо. Дочери Вельо, племянницы Теппера, не раз упоминаются в лицейских стихах и письмах той поры. О «милых Вельо» писал в своих стихах Пушкин. Одной из сестер, Софии, фаворитке Александра I, Пушкиным было посвящено четверостишие:

Прекрасная! пускай восторгом насладится
 В объятиях твоих российский полубог.
 Что с участью твоей сравнится?
 Весь мир у ног его — здесь у твоих он ног.
 («На Баболовский дворец».)

Ее сестра Жозефина жила и воспитывалась в семье Теппера. П. А. Плетнев, в юности дававший Жозефине уроки, посвятил ей трогательные воспоминания: «Она была удивительное создание по красоте души, сердца и тела... Я и теперь не могу вспомнить о ней без сердечного трепета и участия. Она для меня облекла в поэзию самое прозаическое ремесло».²¹

Поэтические образы Жозефины, Марии Смит, молодой вдовы, родственницы Энгельгардтов, и Е. П. Бакуниной, «первой платонической любви» Пушкина, создавали тот неповторимый колорит, которым был окрашен последний год пребывания пушкинского выпуска в лицее.

Немалую роль здесь играла и музыка. В жизни некоторых семейств, где бывали лицеисты, большое место занимало домашнее музицирование. Отражением музыкальных встреч у Энгельгардта явилось стихотворение Пушкина, написанное им в 1816 году и посвященное Марии Смит:

Я Лилу слушал у клавира;
 Ее прелестный, томный глас
 Волшебной грустью нежит нас,
 Как ночью веянье зефира.
 («Слово милой».)

Особенный интерес представляли встречи в доме Теппера. Лицейский учитель привлекал не только своей музыкальной одаренностью, но и большим личным обаянием. Посетители его вечеров единодушно отзываются о нем с необычайной сердечностью. Кюхельбекер называет его «добрым Теппером», «нашим почтенным другом», «превосходным виртуозом и столь же превосходным человеком».²² С мягкой грустью вспоминает о «вдохновенном старике» Плетнев.²³ Даже Корф, иронически-пренебрежительно характеризующий и преподавателей и воспитанников лицея, находит теплые слова по адресу своего учителя пения: «Теппер был большой оригинал, но человек образованный и приятный, и нам очень нравились и его беседы и его классы... Вечером он обыкновенно зазывал к себе кого-нибудь из нас, человек трех или четырех: пили чай, болтали, пели, *музицировали*, и эти простые вечера были нам чрезвычайно по вкусу».²⁴

²⁰ Я. Грот, ук. соч., стр. 276.

²¹ Там же, стр. 319.

²² «Сын отечества», 1818, ч. 49, № 45, стр. 332.

²³ Я. Грот, ук. соч., стр. 319.

²⁴ Там же, стр. 268.

Сколько-нибудь подробных сведений о вечерах у Тeppepa не сохранилось. Неизвестно, какие произведения тогда исполнялись и кто были их исполнители. Можно во всяком случае предполагать, что в числе прочего звучала и музыка самого хозяина дома. По крайней мере Корф, упоминая о «Прощальной песни» лицейстов, сочиненной Тeppeром на слова Дельвига, расценивает ее как «лучшее, что написали Дельвиг и Тeppep».²⁵ Нужно думать, что такая сравнительная оценка указывает на знакомство Корфа также с другими произведениями композитора. Но в те годы музыка Тeppepa уже почти нигде публично не исполнялась, и остается предположить, что Корф мог слышать ее только на дому у самого автора или у близких ему людей — Севериных, Вельо, Энгельгардта. Очевидно, на этих вечерах лицеисты могли оценить и исполнительское мастерство Тeppepa-пианиста, о котором они так хорошо отзывались в своих письмах и воспоминаниях.

На вечерах у Тeppepa занимались не только музыкой, но и литературой. Основываясь на рассказах воспитанника первого выпуска М. Л. Яковлева, В. П. Гаевский писал: «У него <Тeppepa>... по воскресеньям происходили литературные беседы, задавались темы, на которые приготавливалось к следующему воскресенью несколько сочинений, и таким образом совершались литературные состязания, на которых Пушкин первенствовал. Темы представлялись сами собою, и на одну из таких, заданную при прощанье: *jusqu'au plaisir de nous revoir*,²⁶ Пушкин написал в 1817 году легкие и остроумные куплеты».²⁷ Здесь имеется в виду французское стихотворение Пушкина, один из первых образцов прощальной антологии лицея — «*Quand un poète en son extase*».²⁸

В стихотворном послании, адресованном по этому случаю Пушкину, Мария Смит признавала превосходство молодого поэта:

Lorsque je vois de vous, monsieur,
Les vers faits avec tant de grâce,
Je me résigne, et de bon coeur,
A vous céder sitôt la place.²⁹

«Для этого же общества, — продолжает В. Гаевский, — и на сказанное кем-то выражение „с позволения сказать“ Пушкин написал в 1817 году... стихотворение, не сохранившееся в рукописи и записанное нами со слов товарищей поэта:

С позволения сказать,
Я сердит на вас ужасно...»³⁰

Судя по имеющимся данным, на вечерах у Тeppepa бывали Пушкин, Яковлев, Корф, Есаков, Дельвиг. Возможно, приходили также Корсаков, посвятивший себя музыке с юных лет, и Кюхельбекер. В сохранившихся мемуарах и письмах нет прямых свидетельств о влиянии Тeppepa на му-

²⁵ Там же, стр. 282.

²⁶ До приятного свидания (*франц.*).

²⁷ В. П. Гаевский. Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения. «Современник», 1863, т. 97, № 8, стр. 385.

²⁸ «Когда поэт в восторге» (*франц.*).

²⁹

Когда я вижу ваши, сударь,
Стихи, написанные с таким изяществом,
Я соглашаюсь, и от всего сердца,
Уступить вам тотчас место (*франц.*).

³⁰ «Современник», 1863, т. 97, № 8, стр. 385, 386.

зыкальное развитие лицеистов. Но можно думать, что полтора года занятий в хоре и домашние встречи с музыкантом такого уровня не могли пройти мимо сознания юношей. Общение с Теппером, вероятно, сыграло немалую роль в формировании той высокой культуры музыкальных и, шире говоря, художественных вкусов, которая отличала большинство лицеистов пушкинского выпуска. Владая широкими знаниями в области искусства и замечательными традициями венской классики, Теппер в какой-то мере передавал их своим воспитанникам, особенно тем, кто считал музыку своим жизненным призванием. Их было немало среди пушкинского выпуска. Корсаков и Яковлев были одаренными композиторами. Можно предположить, что своим несомненным мастерством, особенно изяществом гармонии, Яковлев обязан отчасти и Тепперу, тем более, что о других учителях Яковлева ничего не известно. Дельвиг, просвещенный любитель музыки, организовал впоследствии, в 20-х годах, кружок литераторов и музыкантов, в котором близкое участие принимал М. И. Глинка. Известно, что поэт и композитор дружески общались, что для песен Глинки Дельвиг написал некоторые свои лучшие стихи. Сохранились сведения о музыкальных интересах и занятиях Кюхельбекера. Упоминания о музыке не раз встречаются в его статьях и дневниках. В годы ссылки в деревне Смолинской он привлекал многочисленных слушателей своей игрой на скрипке; память об этом живет среди местных жителей вплоть до нашего времени.³¹

Знакомство с деятельностью Теппера побуждает снова поставить интересный и сложный вопрос — о музыкальном развитии Пушкина в юные годы. Отсутствие каких-либо признаний по этому поводу в его стихах и письмах лицейской поры еще ни о чем не говорит. В том кипении новых мыслей и чувств, которым были полны последние годы учения поэта — 1816-й и 1817-й, от юного сознания ускользало еще многое, что незаметно отлагалось в душе и всплывало лишь в далеком будущем. Так, по-видимому, обстояло дело и с музыкальными впечатлениями поэта. Можно думать, во всяком случае, что музыкальная атмосфера, создававшаяся Теппером, и моцартовские традиции, которые он нес с собой, — благородство вкуса, изящество, чувство меры — сыграли свою роль в развитии эстетических склонностей юного Пушкина. Возможно, что тогда же в сознании поэта были заложены начатки того глубокого постижения музыки, которое так поражает нас в авторе «Моцарта и Сальери» и «Каменного гостя». Привлекает внимание и то обстоятельство, что именно к Моцарту дважды обращался поэт, создавая свои совершеннейшие произведения. Случайно ли это?

Все эти вопросы еще ждут своего разрешения, и, быть может, дальнейшие разыскания о последних лицейских годах пушкинского выпуска помогут их выяснить.

При ближайшем ознакомлении с деятельностью Теппера раскрывается любопытная особенность в воспитании Пушкина — известный параллелизм с детскими и юношескими музыкальными впечатлениями М. И. Глинки. Два истока питали музыкальное восприятие обоих великих современников — русская народная песня и западноевропейская музыкальная литература конца XVIII — начала XIX века. Лицеисты знакомились с западной музыкой главным образом благодаря Тепперу, Глинка — благодаря крепостным усадебным музыкантам, а впоследствии — на уроках у Фильда, Шарля Майера и других учителей. Теп-

³¹ См.: М. Д. Янко. Внеклассные занятия литературным краеведением. Курган, 1957, стр. 9.

пер приносил в лицей наряду с венскими традициями и французский репертуар, как показывают его собственные романсы на французские тексты, вариации на тему Далеярака и др. Глинка слушал в детстве главным образом французскую музыку — Буальдьё, Мегюля, Крейцера, а в дальнейшем — Моцарта. Восемнадцати лет он публично исполняет фортепианный концерт Гуммеля, ученика Моцарта и Альбрехтсбергера (т. е. в какой-то мере коллеги Теппера), и пишет вариации на тему Моцарта. Так, хотя и в различных соотношениях, в воспитании Пушкина и Глинки участвовали венская классика и французская музыка. Подобный параллелизм в их музыкальном развитии неудивителен: таковы были в то время общие условия воспитания в дворянских семьях среднего круга. Эта общность развития, по-видимому, немало способствовала в дальнейшем сближению Пушкина с Глинкой и их взаимному пониманию.

3

Лучшим памятником общения Теппера с первым выпуском лицея осталась «Прощальная песнь», написанная им на слова Дельвига и предназначенная к исполнению на выпускном акте 9 июня 1817 года. Торжество происходило в присутствии Александра I, к которому Энгельгардт обратился с приветствием. После официальной части царь ушел, и наступил самый волнующий момент торжества: лицеисты хором под управлением своего учителя пропели «Прощальную песнь». Этот момент постоянно упоминался впоследствии в письмах и мемуарах участников. На следующий же день, 10 июня 1817 года, Ф. Матюшкин пишет одному из своих друзей, С. Сазоновичу, посылая текст «Песни»: «Вот тебе наша прощальная песнь. Ноты я тебе не посылаю, потому что ни ты, ни я в них толку не знаем; но, впрочем, скажу тебе, что музыка прекрасна, — сочинение Террег де Ferguson, а слова барона Дельвига. Ты об них сам судить можешь: они стоят музыки».³²

Пушин в Сибири, вспоминая о дне выпуска, рассказывал о том, как была «пропета... нашим хором лицейская прощальная песнь, — слова Дельвига, музыка Теппера, который сам дирижировал хором».³³ Почти через сорок лет, в 1854 году, стареющий Корф с необычным для него волнением и теплотой вспоминает «Прощальную песнь», «эту, — по его словам, — священную тризну разлуки и обетов нашей будущей жизни».³⁴

Текст «Песни» несомненно одно из наиболее значительных произведений Дельвига. В нем горячо и искренно отразились настроения пушкинского круга лицеистов — патриотическая гражданственность, стремление к правде и справедливости, культ дружбы. Главная мысль «Песни» — идея жизненного подвига во имя отечества — раскрыта в припеве:

Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!³⁵

Замысел «Песни» строен и хорошо продуман. Основу ее составляют четыре строфы по восемь строк в каждой. Каждая строфа является обра-

³² Я. Грот, ук. соч., стр. 102.

³³ И. И. Пушин. Записки о Пушкине. Письма, стр. 67—68.

³⁴ Я. Грот, ук. соч., стр. 282.

³⁵ Здесь и далее цитируется по нотному изданию «Песни» 1835 года.

щением: вначале — неизбежная дань благодарности монарху («Тебе, наш царь, благодаренье!»); в дальнейшем монарх не упоминается и все мысли обращаются к Родине («О Матерь! вняли мы призванью!»); третья строфа посвящена преподавателям; последняя, четвертая, служит призывом к товарищам по выпуску.

Всей своей направленностью и даже фразеологией текст Дельвига перекликается с речью А. П. Куницына, прочитанной при открытии лицея в 1811 году. «Отечества призванье», о котором говорит поэт в припеве «Песни», явно понимается им в духе заветов его учителя. Цель лицейского воспитания, по словам Куницына, состояла в том, чтобы «даровать согражданам истинного соревнователя в общественных пользах». «Приготовляясь быть хранителями законов, научитесь прежде сами почитать оные... — обращаясь он к своим будущим воспитанникам. — Любовь к славе и Отечеству должны быть вашими руководителями!».³⁶

Через шесть лет, прощаясь с лицеем, Дельвиг писал:

Мы дали клятву: всё родимой,
Всё без раздела, кровь и труд!
Готовы в бой неколебимо,
Неколебимо в правды суд!

Обращаясь к друзьям по выпуску, поэт призывал хранить

То ж к правде пылкое стремленье!
Ту ж юную ко славе кровь!

Любовь к отечеству, о которой говорил Куницын, легла в основу торжественной клятвы поэта. «Слава» в понимании как учителя, так и его ученика была славой гражданского подвига во имя «общественной пользы», общего «благоденствия».

Но «Песнь» Дельвига не была простым перепевом речи Куницына. За шесть лет совершилось много перемен в жизни России, за эти годы выросли и изменились и воспитанники лицея. Некоторые, как Вольховский и Пушкин, ближайший друг Пушкина и Дельвига, были приняты в одно из тайных обществ, начавших к тому времени свою деятельность. Другие находились под влиянием новых идей и поддерживали тесную дружбу с участниками тайного общества. Когда Пушкин писал в 1817 году Кюхельбекеру о своей верности «святому братству», когда он обращался к Пушкину со словами о дружеском союзе, заключенном «перед грозным временем, перед грозными судьбами», то здесь выражались не только добрые чувства, объединявшие товарищей по выпуску. Дружба понималась как союз единомышленников, готовившихся к гражданскому подвигу в ясном сознании неизбежной борьбы и суровых испытаний, лежавших на этом пути.

Трагические предчувствия, волновавшие Пушкина, отразились и в «Песни» Дельвига. Перед последней, четвертой строфой «Песни» (т. е. перед обращением к друзьям) помещено вместо припева четверостишие, в котором с исключительной силой воплощены те же настроения:

Прощайтесь, братья! руку в руку!
Обнимемтесь в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас!

³⁶ Памятная книжка имп. Александровского лицея на 1856—1857 год, стр. 33, 37, 39 (вторая пагинация).

Эти лаконичные, мужественные стихи навсегда остались в памяти друзей поэта. Через двадцать с лишним лет И. Пущин писал с каторги, из Сибири: «Теперь мы можем с полным убеждением повторить слова Дельвига, который тогда нам провещал: „Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас“».³⁷

Вспоминая слова Дельвига, Пушкин писал в день лицейской годовщины — 19 октября 1825 года:

«На долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!»

Две большие жизненные вехи стояли в начале и в конце лицейского пути пушкинского выпуска: речь Куницына и «Прощальная песнь». Но если речь учителя была еще полна радостных надежд, то ученики его уже ясно сознавали, какая грозная борьба предстояла впереди. В этом ярко сказывался большой исторический перелом, происшедший за эти годы. Особенно важное значение приобретает «Песнь» в свете дальнейших событий: ее можно рассматривать как торжественный гимн, возникший на самой заре того движения, которое впоследствии привело к 14 декабря 1825 года.

Конечно, не все воспитанники первого выпуска вкладывали в «Прощальную песнь» то содержание, о котором здесь говорилось. Это относилось лишь к пушкинскому кругу. Текст Дельвига носит достаточно общий характер и вне сопоставления с другими фактами может быть воспринят как обычная песнь школьных товарищей при расставании. Этим и объяснялось, по-видимому, то обстоятельство, что «Песнь» еще немало лет звучала в лицее среди воспитанников совершенно иного склада, чем круг Пушкина и Дельвига.

«Прощальная песнь» построена очень своеобразно: вначале — четырехстрочный припев, затем — восьмистрочная строфа. Припев повторяется, не изменяясь, три раза, за ним каждый раз следует новая строфа. Перед последней, четвертой строфой, как уже говорилось, припев заменен четверостишием «Прощайтесь, братья!..». После четвертой строфы следует заключение — восьмистишие, состоящее из припева «Шесть лет промчалось...» и четверостишия «Прощайтесь, братья!..». Но последние две строки в заключении подверглись в нотном тексте характерному изменению против первопечатного текста: вместо слов «Судьба на вечную разлуку, Быть может, породнила нас!» «Песнь» заканчивается оптимистическим утверждением: «И поклянемся мы разлуку Провесть, как разлученья час».

Прием, примененный Дельвигом, — заключение, составленное из материала стихотворения, напоминает традиционное строение коды — заключения в музыкальных произведениях. Да и всё построение «Песни» наводит на мысль, что она создавалась не как самостоятельное стихотворное сочинение, а как текст развернутой хоровой кантаты.

Музыка «Песни» — одно из лучших созданий Теппера. В некоторых ее эпизодах ощущаются глубина и затаенная грусть, вообще несвойственные этому этому изящному и безмятежному художнику. Немалый интерес представляет «Песнь» и в стилистическом отношении. В ее мелодике и хоровой фактуре ясно сказывается близкое знакомство автора с хоровыми концертами Д. С. Бортнянского, этим своеобразным памятником русского монументального искусства екатерининского времени.

³⁷ И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма, стр. 120.

Упоминание М. Корфа о работе Теппера над облегченными переложениями концертов Бортнянского находит в «Песни» лишнее подтверждение.

Известное нам печатное нотное издание «Песни» и хранящаяся в Пушкинском Доме рукописная нотная копия³⁸ представляют собой четырехголосную партитуру для смешанного хора. Нужно думать, что в виде четырехголосного хора она исполнялась и на выпускном акте. Свидетельство М. Корфа о том, что на занятиях у Теппера соединялись старший и младший курсы лицея, позволяет думать, что в его хоре участвовали как дисканты и альты, так и тенора с басами.

Музыка «Песни» соответствует строению текста: припев «Шесть лет» повторяется в неизменном виде, каждому восьмистишию соответствует иной музыкальный материал. Лишь в заключительном восьмистишии это соответствие нарушено; в тексте соединены припев и повторно приводимое, хотя и несколько измененное, четверостишие «Прощайтесь, братья!..», музыкальный же материал — совершенно новый. Нарушение это, как увидим далее, вполне оправдано.

В партитуре «Песни» чередуются хор и квартет солистов (также смешанный, т. е. сопрано, альт, тенор и бас). Припев исполняется повсюду хором, первые два куплета (обращения к царю и к Родине) — квартетом солистов, третий куплет (к преподавателям) начинает хор, но с третьей строки — от слов «И с детской нежностью любивших» — вступают до конца куплета солисты. Следующее за этим четверостишие «Прощайтесь, братья!..» исполняет хор. Четвертый куплет (к друзьям) начинает хор, но с третьей строки — от слов «Храните, о друзья!» — снова вступают солисты. Заключение — от слов «Шесть лет» — исполняет хор. Эти чередования придадут музыке «Песни» большое богатство красок. Сложный план «Песни» и разнообразие приемов письма сообщают ей характер подлинной хоровой кантаты, для исполнения которой требуется немалое мастерство участников.

Мелодический язык «Песни» показывает, что Теппер чутко усвоил интонации русских торжественных песнопений своего времени. Характерно и выразительно самое начало «Песни», близкое к некоторым отрывкам из концертов для хора № 17 и № 11 Д. С. Бортнянского. Любопытно, что в произведении покойного советского композитора Р. М. Глиэра «Гимн великому городу» (финал балета «Медный всадник») начало почти полностью совпадает с началом «Песни». Едва ли здесь было прямое заимствование; скорее можно предположить, что Р. Глиэр, создавая музыку в духе русских гимнов, стремился обобщить тот же круг интонаций, с каким имел дело и Теппер.

Близость к некоторым привычным мелодическим формулам Бортнянского ощущается и в других эпизодах «Песни»: можно сравнить, например, второй куплет «Песни» и отрывок из концерта для хора № 4 Бортнянского.

Тональный план «Песни» (си бемоль мажор и родственные тональности — фа мажор, ми бемоль мажор, ре минор) и хоровая фактура (в основном — гомофоническая, в некоторых эпизодах — с несложными имитациями, с самостоятельным мелодическим движением баса) также напоминают приемы письма Бортнянского.

Наиболее яркую и выразительную музыку Теппер создал в припеве «Шесть лет» и особенно в четверостишии «Прощайтесь, братья!..». В этой драматической кульминации «Песни» музыка достигает

³⁸ Ф. 244, оп. 25, № 107.

такой проникновенной силы, такой глубины чувства, каких едва ли достигал когда-либо Теппер в своем творчестве. В русской хоровой литературе того времени этот эпизод составляет одну из самых вдохновенных страниц.

После довольно безличной фанфарной музыки первого куплета, посвященного царю, следует яркая, мужественная мелодия куплета о Родине. Менее удачна подвижная, маловыразительная музыка обращения к друзьям. В последнем восьмистишии, начинающемся словами «Шесть лет», Теппер не повторяет мелодию припева, а создает новую — радостную, ликующую и переходит, со слов «Прощайтесь, братья!..», к стремительному, празднично звучащему заключению, напоминающему по замыслу коды финалов в симфониях Бетховена.

В целом музыка «Песни» представляет собой интересное, широко задуманное произведение, обладающее многими характерными стилистическими чертами русской хоровой литературы того времени.

Впервые текст «Прощальной песни» был опубликован в «Сыне отечества» в 1817 году (№ 26) с подписью «Барон Дельви́г, воспитанник Лицея». Музыка же «Песни» появилась в печати лишь через восемнадцать лет, в 1835 году, в виде четырехголосной хоровой партитуры с подтекстованными словами и фортепианным сопровождением, представляющим собой простое переложение партитуры (с небольшими отклонениями), под заглавием: «Шесть лет. Прощальная песнь воспитанников императорского лицея в Царском Селе. 1817. Слова воспитанника барона Дельвига. Музыка В. Теппера». На обороте последнего листа дано факсимильное изображение текста «Песни», переписанного рукой Е. А. Энгельгардта. В этом тексте имеются разночтения по сравнению с первоначальной публикацией в «Сыне отечества».

Характерно, что николаевская цензура не разрешала издания «Песни». «По секрету скажу...», — писал Энгельгардт в 1835 году, — что один из здешних цензоров никак не решался позволить напечатание этих стихов и что я принужден был прибегнуть к бывшему лицейскому Семенову,³⁹ который уже не мог отказаться дать свое разрешение».⁴⁰

В быту лицея и прежних его воспитанников «Прощальная песнь» жила, как указывалось, еще много лет. Особенно дорога она была, конечно, друзьям по первому выпуску. Ее неизменно пели на встречах в годовщину лицея — 19 октября, собираясь у кого-либо на квартире. Так, в протоколе встречи в 1828 году, написанном Пушкиным, отмечено: «пели... куплеты прошедших шести годов»,⁴¹ под которыми, очевидно, надо понимать «Песнь». В 1838 году Е. А. Энгельгардт приглашает М. Л. Яковлева явиться «на дружескую трапезу потряхнуть стариной и, если по сердцу придет, помочь подтягивать наше родное Шесть лет».⁴²

Трудно предположить, чтобы в интимной застольной беседе в небольшом дружеском кругу возможно было исполнять сложную четырехголосную кантату. Нужно думать, что напевались отдельные куплеты и припев, быть может, лишь в один—два голоса. Но следует подчеркнуть, что, несмотря на сложную фактуру, «Песнь» любили, помнили и пытались исполнять еще в течение десятков лет.

Издав «Песнь», Энгельгардт старается познакомить с изданием бывших воспитанников лицея. «Посылаю тебе при сем лицейский поминок —

³⁹ Семенов Василий Николаевич — цензор Петербургского цензурного комитета.

⁴⁰ Д. К о б е к о. Имп. Царскоелицейский лицей. СПб., 1911, стр. 343.

⁴¹ Рукою Пушкина. Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 734.

⁴² Я. Г р о т, ук. соч., стр. 114.

„Шесть лет“, — пишет он 30 августа 1835 года В. Д. Вольховскому, бывшему в то время на военной службе в Тифлисе. — Хотя ты и не из числа отличнейших певцов, но не менее того тебе приятно будет иметь у себя этот остаток прежнего доброго старого времени, а, может быть, еще и есть у вас какой-нибудь хор кантонистов, которые могли б даже и спеть. Пусть бы чувства и звуки, наполнявшие в 1817 году залу лицея, раздались в 1835 году в Тифлисе». ⁴³

Воспитанники позднейших выпусков — Я. Грот и др. — также получили от Энгельгардта это издание.

В 1830 году в лицее было отменено преподавание пения и, видимо, тогда же было запрещено исполнение «Прощальной песни». В 1835 году Энгельгардт сообщал Вольховскому: «Начальство уже давно запретило воспитанникам петь и знать „Шесть лет“. Жаль!». ⁴⁴

Тем не менее «Песнь» еще продолжала жить в стенах лицея. А. А. Харитонов, окончивший лицей в 1835 году, вспоминает: «Когда окончился последний выпускной экзамен..., мы пропели, может быть, в последний раз, умилительную прощальную песнь первых воспитанников Царскосельского лицея 1817 года... В наше время каждый лицеист знал и пел ее, как каждый студент знает и поет „Gaudeamus igitur“». ⁴⁵ Затем «Песнь» надолго исчезла из лицейского быта. Очевидно, новые воспитатели настойчиво стремились изгнать самую память о поэте — авторе ее и о традициях пушкинского круга. Если в 1817 году тайная тенденция «Песни» была ясна только посвященным, то после событий 1825 года ее легко могли обнаружить и посторонние, в том числе николаевские власти.

В 60-х годах «Песнь» снова всплывает в жизни лицея: есть сведения о том, что она исполнялась в годовщину основания — 19 октября 1865 года. Наконец, уже как далекое историческое воспоминание она прозвучала в 1899 году на торжественном акте в честь столетия со дня рождения Пушкина.

День 9 июня 1817 года стал важной датой не только в жизни лицея, но и в биографии Теппера. «Прощальная песнь» была вершиной, после которой, видимо, наступило снижение его творческой активности.

Из последующих лет сохранились лишь два упоминания о его произведениях. В октябре 1818 года воспитанниками лицея была поставлена на французском языке пьеса, или, как сказано в объявлении, «комедия с ариеттами» — «Детство Жан-Жака Руссо». Текст, оставшийся в рукописи, был составлен, очевидно, кем-нибудь из преподавателей или воспитанников по материалам одноименной пьесы французского драматурга Андриё, музыка сочинена Теппером. ⁴⁶ Тогда же, в 1818 году, появилось хоровое произведение Теппера, приуроченное к освящению Евангелической церкви в Царском Селе. «Музыка, исполненная чувства и выражения, — писал Кюхельбекер, присутствовавший на этом торжестве, — достойна нашего почтенного друга, доброго Теппера». ⁴⁷

Преподавание Теппера в лицее длилось до середины 1819 года. В августе 1817 года он был зачислен, по представлению Энгельгардта, на штатную должность преподавателя пения в Благородном пансионе при лицее с определенным окладом жалованья. ⁴⁸ В эти годы произошли суще-

⁴³ Д. К о б е к о. Имп. Царскосельский лицей, стр. 342—343.

⁴⁴ Там же, стр. 343.

⁴⁵ Там же, стр. 340.

⁴⁶ См.: К. Я. Г р о т. Пушкинский лицей. СПб., 1911, стр. 412.

⁴⁷ «Сын отечества», 1818, ч. 49, № 45, стр. 332.

⁴⁸ ГИАЛО, ф. 11, д. 4014.

ственные перемены в его личной жизни. В декабре 1817 года Энгельгардт сообщал Ф. Ф. Матюшкину: «Теппер разбогател. Его старуха теща соблаговолила отправиться на тот свет и оставила пречистенькое имение, из ко-его на его долю пришло от 70 до 80 тысяч рублей». ⁴⁹

В мае 1819 года Энгельгардт обращается к министру духовных дел и народного просвещения с просьбой об «увольнении <Теппера>... на некоторое время за границу для поправления расстроенного его здоровья». ⁵⁰ Тогда же Теппер выезжает из Петербурга с женой и Жозефиной Вельо. Во время поездки его постигли большие несчастья. По рассказу П. А. Плетнева, в Париже трагически погибла юная Жозефина, разбившаяся при падении из окна дома. Видимо, смерть ее причинила Тепперу тяжелое горе. Вскоре умерла и его жена. Одиноким и больным, он вернулся в Царское Село, но, насколько известно, уже не обращался к музыкальной деятельности. Энгельгардт писал Кюхельбекеру 14 сентября 1823 года: «Теппер здесь. Схоронив в Париже Joséphine, в Дрездене — жену, он возвратился сюда один и тяжело чувствует, что один на свете; его положение очень жалкое. Он тебя помнит и шлет тебе поклон». ⁵¹

Дальше сведения о «лицейском учителе пения» теряются. Он уходит со сцены, и в одном из немецких изданий 1840-х годов можно прочесть короткое сообщение, показывающее, насколько был забыт к этому времени блестящий венский виртуоз: «Жив ли в настоящее время Теппер, мы не можем сказать, но сомневаемся в этом». ⁵² Дата его смерти осталась неизвестной.

Так в безвестности закончилась жизнь человека, имя которого связано с одним из самых значительных моментов в истории пушкинского поколения лицея.

⁴⁹ Н. Гастрейнд. Товарищи А. С. Пушкина по имп. Царскосельскому лицейу, т. II. СПб., 1913, стр. 19.

⁵⁰ ГИАЛО, ф. 11, д. 4014.

⁵¹ «Русская старина», 1875, т. XIII, № 7, стр. 374.

⁵² Universal-Lexikon der Tonkunst von F. J. Gafner. Stuttgart, 1849, стр. 819.



Л. И. ШЛИОНСКИЙ

К ВОПРОСУ О ДЕФИНИТИВНОМ ТЕКСТЕ ПОЭМЫ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

1

Среди сложных вопросов пушкинской текстологии одним из самых сложных и спорных является вопрос о дефинитивном, основном тексте «Руслана и Людмилы».

Поэма «Руслан и Людмила» при жизни Пушкина дважды выходила отдельным изданием: в 1820 и 1828 годах. В 1835 году она была включена в первую часть «Поэм и повестей Александра Пушкина», и эту публикацию условно можно назвать третьим прижизненным изданием «Руслана и Людмилы», хотя оно ничем существенно не отличается от издания 1828 года (второго). Между тем издание 1820 года в сопоставлении с последующими обнаруживает в тексте поэмы много отличий, не всегда обусловленных авторским стремлением усовершенствовать художественную сторону произведения. Будучи более полным, текст последующих прижизненных изданий «Руслана» не во всем, однако, предпочтительнее первопечатному тексту.¹

Над своей первой поэмой Пушкин работал в течение 1817—1820 годов. Одновременно с «Русланом» создавалась вольнолюбивая лирика: ода «Вольность», послание к Чаадаеву, «Деревня», «Нюэли», эпиграммы и пр. Эти «возмутительные сочинения», ходившие тайно в списках или передававшиеся устно, отражали революционные умонастроения Пушкина и его политических друзей — будущих декабристов. Общественно-бытовая атмосфера, в которой жил в эти годы Пушкин, не могла не отразиться и на поэме «Руслан и Людмила». Политические гонения обрушились на поэта еще до выхода ее в свет. Более того, поэма в момент ссылки поэта не была еще полностью завершена. Ссылка на юг оборвала работу Пушкина над эпилогом, дописанным летом 1820 года уже на Кавказе. VI песнь, законченная в ночь на 26 марта того же года, нуждалась в художественной отделке.

В отсутствие Пушкина «Руслана» готовили к печати, при участии Жуковского и под непосредственным наблюдением Гнедича, брат поэта Лев Сергеевич и С. А. Соболевский.

¹ Публикации отрывков из первой и третьей песен поэмы в петербургских журналах «Невский зритель» и «Сын отечества» 1820 года предшествовали выходу поэмы отдельной книгой в том же году; но для разрешения вопроса об окончательной редакции произведения публикации эти не имеют принципиального значения, хотя и учитываются наряду с рукописями как источник текста.

Эпилог и уточняющие дополнения к VI песни, присланные с юга, поздали: книга вышла без них, и «Прибавления к поэме: Руслан и Людмила» пришлось напечатать в «Сыне отечества». ² Кроме того, пролог к «Руслану» вовсе еще не существовал.

Таким образом, первое издание поэмы не могло быть ни полным, ни художественно совершенным. Помимо этого, Пушкин — опальный поэт — опасался за своего «Руслана», ожидая даже цензурного запрета уже вышедшей книги. В письме из Кишинева к брату и сестре от 21 июля 1822 года он спрашивал: «... что мой Руслан? не продается? не запретила ли его цензура?». ³ Однако уже менее чем через год, узнав, что «Руслан» давно раскуплен, Пушкин стал думать о более полном и совершенном переиздании поэмы и 13 мая 1823 года писал Н. И. Гнедичу из Кишинева:

«Если можно приступить ко второму изданию Руслана и Пленника, то всего бы короче для меня положиться на вашу дружбу, опытность и попечение; но ваши предложения останавливают меня по многим причинам. 1) Уверены ли вы, что цензура, по неволе пропустившая в 1-й раз Руслана, нынче не опомнится и не заградит пути второму его пришествию? Заменять же прежнее новым в ее угоду я не в силах и не намерен» (XIII, 62).

Таким образом, вопрос о переиздании первой поэмы Пушкин еще в царствование Александра I рассматривал и с точки зрения политической, так как видел в «Руслане» черты, мотивы и отзвуки антиправительственных настроений.

Вступление на престол Николая I, кровавое подавление им восстания декабристов, создание III Отделения во главе с Бенкендорфом, введение еще более суровой цензуры — всё это превосходило даже аракчеевщину последних лет царствования Александра I.

Пушкин стал готовить «Руслана» ко второму изданию в начале 1828 года. В роли цензора официально выступал сам царь. Поэта непрерывно тревожили в это время по делу об отрывке из элегии «Андрей Шенье». Обстановка и жизни и творчества Пушкина была политически напряженной.

В этих условиях авторедактирование первой поэмы не ограничивалось задачами чисто художественными — следовало учитывать соображения цензурные, политические. Изменения в тексте оказались разнородными: подсказанными творческой волей поэта, с одной стороны, и вынужденными, смягчающими идеологически острое и явно оппозиционное, с другой.

Издание 1828 года, дополненное прологом, эпилогом и отдельными стихами VI песни, содержало ряд существенных, принципиальных изменений, сокращений и перефразировок текста. Однако отдельные изменения являются спорными и по мотивам и по характеру и делают второе издание таким же не окончательным, как и первое.

Не удовлетворяла вторая редакция «Руслана» и самого автора. Об этом свидетельствует М. И. Глинка в своих «Записках»: «На одном из вечеров Жуковского Пушкин, говоря о поэме своей *Руслан и Людмила*, сказал, что он бы многое переделал». ⁴

² «Сын отечества», 1820, ч. 64, № 38, стр. 229—231.

³ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, Изд. Академии наук СССР, 1937, стр. 42. Все дальнейшие ссылки на сочинения и письма Пушкина даются по этому изданию (тг. I—XVI, 1937—1949), кроме особо оговоренных, и по сокращенной форме: том, страница.

⁴ М. И. Глинка. Литературное наследие, т. I. Музгиз, Л.—М., 1952, стр. 179—180.

Глинка мог бывать на вечерах у Жуковского не ранее своего появления в Петербурге в 1834 году. Следовательно, мысль о возвращении к «Руслану» не покидала Пушкина и в конце жизни.

Между тем поэма в существенно измененной редакции 1828 года была перепечатана в сборнике 1835 года, а затем и в посмертном издании сочинений Пушкина⁵ без всяких указаний на ее отличия от первоначального текста. Лишь в издании П. В. Анненкова в примечаниях охарактеризованы разночтения редакций «Руслана и Людмилы» 1820 и 1828 годов.⁶ Самые эти отличия приводятся полностью или упоминаются вскользь там же на стр. 537—538, а на стр. 536 Анненков пишет: «Изменения, сделанные Пушкиным в своей поэме при втором издании и особенно выпуск целых мест еще раз свидетельствуют о строгости его взгляда на свои произведения. Все они сделаны к лучшему». По мнению Анненкова, редакция 1828 года отвечает всем требованиям — ее и следует считать окончательной.

Но погрешности и разнобой при переизданиях поэмы не были устранены и позднее. За основу брался, как правило, текст 1828 года, но подстрочно приводились варианты первого издания. И эта неопределенность не была устранена ни в дореволюционном, ни в советском Академических изданиях сочинений Пушкина, так как редакторы текста поэмы В. Е. Якушкин и С. М. Бонди не ставили перед собой задачи свести воедино две ее первые редакции.

Лишь редактор пушкинского однотомника 1935 года Б. В. Томашевский восстановил в тексте «Руслана и Людмилы» ряд мест по изданию 1820 года. Это практическое решение проблемы не было подкреплено (видимо, из-за массового характера издания) теоретическим обоснованием того или иного изменения в тексте, как и постановкой вопроса в целом. Выход в 1937 году IV тома Академического полного собрания сочинений Пушкина с традиционным текстом «Руслана» привел к отмене нововведений однотомника. Да и сам Б. В. Томашевский, редактируя пушкинское десяти томное издание Академии наук СССР в 1949 году и позднее, при переиздании в 1951 и 1957 годах, воспроизводил в IV томе текст поэмы, следуя за текстом большого Академического издания. Таким образом, вопрос о дефинитивном тексте «Руслана» теоретически и практически оставался неразрешенным.

Проблема окончательного текста поэмы может быть решена лишь при учете и использовании всего рукописного наследия и прижизненных печатных изданий «Руслана». Поправки же и изменения принципиального характера, идеологического содержания могут быть осмыслены в связи с общими условиями политической и литературной жизни 20-х годов и жизни самого Пушкина. Нельзя не учитывать и иной уровень творческого самосознания поэта в 1828 году сравнительно с 1820-м: второе издание поэмы-сказки готовил к печати художник, укрепившийся на путях реализма.

Беловая рукопись «Руслана», оставленная автором в мае 1820 года в Петербурге, впоследствии затерялась и поныне не найдена. Пушкина это не огорчало, так как поэма была напечатана исправно. В письме к Вяземскому из Одессы от 14 октября 1823 года он писал: «Руслан напечатан исправно, ошибок нет, кроме *свежий сон* в самом конце. Не помню,

⁵ А. Пушкин, Сочинения, т. II, СПб., 1838, стр. 1—116.

⁶ Пушкин, Сочинения, С приложением материалов для его биографии... и пр., т. III, изд. П. В. Анненкова, СПб., 1855, стр. 535.

как было в рукописи, но свежий сон тут смысла не имеет» (XIII, 69). Из рукописей поэмы сохранились преимущественно черновики — и те не полностью.⁷

«Друзья Людмилы и Руслана», т. е. читатели — современники Пушкина, были гораздо более заинтересованы в «умноженном», чем в «исправленном» издании поэмы. Да и сам поэт придерживался этого же взгляда, о чем свидетельствует уже цитированное письмо его к Вяземскому от 14 октября 1823 года.

Первое появление в печати поэмы Пушкина было значительным событием общественно-литературной жизни России начала 20-х годов минувшего века. Переиздание «Руслана и Людмилы» в 1828 году такого значения уже не имело. Издание 1820 года ярче, непосредственнее, типичнее отразило то, что называют духом времени, но это обстоятельство не исключает принятия отдельных изменений, внесенных во второе издание поэмы и продиктованных стремлением усовершенствовать художественную ткань произведения без нарушения его стиля, композиции, идейного содержания. Такие позднейшие поправки были даже необходимы, так как они довершили работу Пушкина над текстом «Руслана», прерванную изданием поэта на юг.

Изменения же, обусловленные цензурными обстоятельствами и некоторыми тактическими соображениями, в большей части противоречили не только идейно-художественным принципам поэмы, но и воле самого Пушкина.

Советское пушкиноведение в отличие от дореволюционного не могло ограничиться бесстрастной фиксацией различий двух редакций «Руслана»; оно выделило варианты, изъятые поэтом по цензурным и иным, отнюдь не художественным соображениям. Эта новая, советская традиция отражена редакторами IV тома Академического издания сочинений Пушкина, в частности редактором «Руслана» С. М. Бонди. В примечаниях вслед за перечислением источников текста «Руслана и Людмилы»⁸ следует замечание:

«Печатается по *РЛ*₂ и *ПП* (т. е. по второму изданию и «Поэмам и повестям», — *Л. Ш.*). Три места (песнь II, после ст. 230, песнь IV, после ст. 52 и после ст. 327), исключенные Пушкиным при переиздании поэмы в 1828 году, как можно думать, по соображениям не художественным, а цензурным или тактическим, приведены в основном тексте в сносках к соответствующим стихам» (IV, 467).

Включение «трех мест» в основной текст в сносках под строкой без подробной аргументации такого условного включения — это, конечно, не решение вопроса о дефинитивном тексте (остальные разночтения двух изданий приведены в конце тома, а в дореволюционном академическом издании они даны подстрочно). С. М. Бонди как общий редактор тома и редактор «Руслана и Людмилы», проделав большую работу для полной расшифровки черновиков и уточнения отдельных стихов, в трактовке дефинитивного текста отдал дань установившейся издавна традиции. В сравне-

⁷ Перечень рукописных источников «Руслана и Людмилы», так же как и печатных, приведен на стр. 467 IV тома Академического издания сочинений Пушкина.

⁸ При перечислении печатных источников текста поэмы на стр. 467 IV тома допущена неточность. Здесь под № 2 указано: «„Сын отечества“ за 1820 год, №№ 15 и 16. „Отрывок из третьей песни поэмы Руслан и Людмила“». В действительности отрывок был назван в «Сыне отечества» иначе: «Отрывок из третьей песни поэмы Людмила и Руслан». Пушкин, видимо, еще не решил тогда, какое имя ставить первым. В заглавии поэмы А. Х. Востокова, например, героиня названа первой: «Светлана и Мстислав».

нии с тем, что практически было сделано Б. В. Томашевским в однотомнике 1935 года, это даже шаг назад.

Решить вопрос об окончательном тексте «Руслана и Людмилы» возможно лишь при условии систематического и полного рассмотрения поправок, сокращений и изменений, внесенных в издание 1828 года, и мотивов, побудивших Пушкина в каждом данном случае поступить так, а не иначе. Следует рассматривать эти изменения по группам и выделить в них то, что бесспорно, и то, что противоречиво, начиная с лексических поправок, вызванных стремлением улучшить ранее созданное (замена слов, изменение родовых и падежных окончаний слов и пр.), а также с отдельных сокращений стихотворных строк в контексте поэмы. Это как бы две подгруппы одной группы изменений.

Начинаем с рассмотрения лексических поправок.⁹

2

С выходом в свет «Руслана и Людмилы» Пушкин становится всероссийски известным писателем, первым поэтом на Руси. Громадный успех поэмы был в значительной степени обусловлен общепозитивной позицией автора в вопросах языка и стиля. Произведение оказалось доступным и интересным малограмотному читателю из народа и высокообразованному представителю дворянского круга, хотя и воспринималось, конечно, по-разному. Всё же в «Руслане» было ещё немало переходных черт, на которые впоследствии указывал Белинский. Этот переходный характер поэмы обусловил спорность отдельных написаний и побуждал поэта вносить единообразие в словоупотребление.

Так, в отрывке из III песни «Руслана», напечатанном в «Сыне отечества»,¹⁰ Черномор называется «карло». В РЛ 1820 написание этого слова неопределенно: то «карло», то «карла». В РЛ 1828 вносится ясность: не по-русски звучащее «карло» полностью вытесняется словом «карла», что соответствует народно-бытовой традиции.

Стремлением определеннее осмыслить морфологическую структуру продиктованы и некоторые другие поправки.

В РЛ 1820 стих 72 песни I был напечатан: «И брашны неприятны нам». В РЛ 1828 читаем: «И брашна. . .» Поэт устранил неточность в окончании древнерусского слова.

Стих 31 песни III в «Сыне отечества» и РЛ 1820: «На теме полунощных гор», а в РЛ 1828: «На темени полнощных гор», что, конечно, грамматически правильнее.

Пушкин устраняет и некоторые другие мелкие неточности, проявляя заботу о словоупотреблении, о благозвучии и пр. Уточняется семантически употребление междометий и союзов внутри стиховой фразы, а также применение предлогов и приставок.

⁹ В дальнейшем изложении два прижизненных издания «Руслана и Людмилы» — первое, 1820 года, и второе, «исправленное и умноженное», 1828 года, — обозначаются везде сокращенно: РЛ 1820 и РЛ 1828. Нумерацию стихов приводим по большому Академическому изданию сочинений Пушкина, т. IV, 1937, указывая сокращенно: песнь и номер стиха. О прологе, написанном в годы михайловской ссылки и впервые напечатанном в издании 1828 года, а также об эпилоге, перепечатанном во втором издании лишь с уточненной пунктуацией из «Прибавлений», появившихся в 38-й книжке «Сына отечества» за 1820 год, не будет упоминаний, так как в вопросе о дефинитивном тексте ни пролог, ни эпилог никакой роли не играют.

¹⁰ «Сын отечества». 1820, ч. 61, № 15, стр. 120—128; № 16, стр. 160—165.

Более существенны исправления, связанные с заменой слов церковнославянского и иностранного происхождения русскими, что усиливало национально-народное начало в поэме. Так, стих 415 песни I в «Невском зрителе» (1820, ч. I, март) и в РЛ 1820: «Всё *внемлет* голос их ужасный», а в последующих изданиях: «Всё *слышит* голос их ужасный». Стих 262 песни III в «Сыне отечества»: «Едва сам *рыцарь* усидел», а в РЛ 1820: «Едва сам *витязь* усидел». Стих 171 песни V в РЛ 1820: «*Лобзает* руки, сети рвет», а в РЛ 1828: «*Целует* руки, сети рвет».

В двух случаях Пушкин исправил вкравшиеся в текст первого издания «Руслана» явные опечатки или неточности белой рукописи, оставшиеся не замеченными автором и перекочевавшие в печатный текст. Обе неточности относятся к VI песни, окончательная обработка которой была прервана ссылкой на юг. Напечатанный в РЛ 1820 стих 50 в форме: «Еще не знает *ничего*» — оставлял без рифмы стих 48: «А Черномор? он за *седлом*». Кроме того, после стиха 52: «Княжну, героя *моего*», рифмующего со стихом 50, следовал третий рифмующий с ним стих 54: «Не слыша долго *ничего*», что и в стихе 50. Исправление в РЛ 1828 стиха 50: «Еще не знает *ни о чем*» — восстановило рифму для стиха 48, уничтожило повторение рифмующего слова «ничего». О другой неточности Пушкин писал Вяземскому из Одессы в уже цитированном письме от 14 октября 1823 года.¹¹ Стих 353 песни VI в РЛ 1820 был напечатан: «Казалось, будто *свежий* сон»; между тем сон Людмилы, усыпленной надолго злым Черномором, не мог быть *свежим*. В черновом наброске VI песни употреблен романтической окраски эпитет «страшный» (IV, 271). В РЛ 1828 стих 353 содержит эпитет, выраженный неопределенным местоимением, подчеркивающим неопределенность, неясность душевного состояния героини, эмоционально усиливающим звучание следующего стиха 354 (союз «будто» заменен союзом «что»): «Казалось, что *какой-то* сон Ее томил мечтой *неясной*».

Стих 522 песни V читался в РЛ 1820 и РЛ 1828: «Изменник, ведьмой *ободренный*», а в издании «Поэм и повестей» 1835 года: «Изменник ведьмой *одобренный*». Трусливого Фарлафа, готовившегося убить спящего Руслана, Наина могла *ободрять*, а не *одобрять*. Эта явная опечатка, сохраненная последующими изданиями, была устранена лишь в IV томе советского Академического издания сочинений Пушкина редактором С. М. Бонди.

Некоторые изменения были вызваны замечаниями критиков поэмы. Так, например, Пушкин под воздействием «вопросов неизвестного» (Д. П. Зыкова), опубликованных в «Сыне отечества»,¹² уточняя смысл содержания, внес в РЛ 1828 коррективы в стих 474 песни II и в стих 225 песни VI.

Юношескую поэму-сказку редактировал зрелый художник-реалист, и это сказалось на характере изменений, внесенных Пушкиным во второе издание «Руслана». Больше художественной простоты и выразительности, больше точности и ясности в мысли и в раскрытии психологии героев — таковы принципы, которыми он руководствовался.

Так, приблизительно названные «Предисловием» посвятельные стихи поэмы («Для вас, души моей *царицы*») в РЛ 1828 были озаглавлены, в соответствии с их содержанием: «Посвящение».

¹¹ «Руслан напечатан исправно, ошибок нет, кроме *свежий сон* в самом конце. Не помню, как было в рукописи, но *свежий сон* тут смысла не имеет» (XIII, 69).

¹² «Сын отечества», 1820, ч. 64, № 38, стр. 226—229.

В начале I песни на свадебном пиру изображен богатырь Рогдай, «Мечом расширивший пределы Богатых Киевских полей». В РЛ 1828 выделенное мною курсивом причастие заменено в стихе 79 более динамичным и экспрессивным «раздвинувший».

Стих 301 песни II в РЛ 1820: «Роскошно зыблются, шумят». Изображаются «Великолепные дубровы», роскошь дана в самом описании волшебного сада. Подбор эпитетов изысканный: «Пленительный предел», «благовонные мирты», «золотые апельсины» и пр. Кроме того, сад изображается сквозь восприятие очутившейся в нем Людмилы, а это автором не было подчеркнуто. В РЛ 1828 стих 301 освободился от излишнего эпитета «роскошно» и обогатился психологическим содержанием: «Пред нею зыблются, шумят».

Пленная Людмила при появлении безобразного карлы у ее постели «Дрожащий подняла кулак», а в РЛ 1828 жест усилен заменой глагола: «Дрожащий занесла кулак». Героиня «в страхе завизжала так, Что всех как громом оглушила». Визжание трудно уподобить звуку грома, и в РЛ 1828 стих 444 песни II читается по-иному: «Что всех арапов оглушила».

Стих 142 песни IV в РЛ 1820: «Я не Гомер: в стихах высоких»; в изданиях 1828 и 1835 годов: «Я не Омер...». Написание Омер вошло во все издания поэмы, включая советское Академическое. Между тем следовало бы сохранить написание Гомер уже потому, что поэт и впоследствии многократно писал так имя древнегреческого певца.¹³

В замене одних эпитетов другими сказывается стремление поэта усилить реалистический элемент в изображениях и описаниях.

Спасенная Русланом Людмила погружена в волшебный сон. С любимой на руках герой едет «своим путем». В сладком забвенье Руслан ловит ее дыханье, улыбку, слезы «И жарких персей волнованье». Так в черновике (IV, 250). В РЛ 1820: «И юных персей волнованье». И лишь в РЛ 1828 поэт вводит то слово-эпитет, которое органически срастается со всей художественной тканью фрагмента: «И сонных персей волнованье» (стих 213 песни V).

Изображая умирающую голову великана, Пушкин писал об устах дрожащих, о туманном взоре, что отзывается мелодраматизмом и лишает образ впечатления мужественности и колоссальности. Громадность головы великана подчеркнута лишь в стихе 265 песни V («Огромны зубы стеснены»). В РЛ 1828 стих 264: «Уста огромные открыты», и этим укрепляется звучание следующего стиха. В стихе 292 в РЛ 1828 появляется тот же эпитет: «Огромный закатился взор». Описание стало более зримым, лишенным романтической абстрактности.

Даже в изображении «колдуньи старой» Наяны поэт в РЛ 1828 предпочитает употребление предметных эпитетов эмоциональным. Стих 87

¹³ Так, в первом (1833) и втором (1837) изданиях «Евгения Онегина» в начальных строфах первой главы говорится о герое, что он «Бранил Гомера, Феокрита». В зачеркнутой в рукописи эпиграмме 1830 года на перевод «Илиады» Гнедичем упоминается «слепой Гомер». Стихотворение 1832 года, видимо, посвященное окончанию Гнедичем «Илиады», начинается так: «С Гомером долго ты беседовал один». Крупнейший знаток «эллинской речи» Н. И. Гнедич писал: Гомер. И хотя в 20-е годы у Пушкина были колебания в начертании имени древнего певца (писал Гомер, Омер, а в стихе 13 строфы XXXVI главы пятой «Евгения Онегина» даже Омир, что подсказано в какой-то мере рифмующимся окончанием следующего стиха), к 30-м годам входит в традицию написание Гомер, что соответствует и нашему современному написанию. Написание Омер могло быть введено в РЛ 1828 (и отсюда — в «Поэмы и повести» 1835 года) даже без участия Пушкина, по почину типографских работников. Корректурный экземпляр издания не сохранился.

песни II в РЛ 1820: «Она дрожащею клюкой»; в остальных изданиях: «Она дорожною клюкой».

Существенные уточнения внес Пушкин уже в «Прибавлениях к поэме: Руслан и Людмила», опубликованных, как указывалось выше, в «Сыне отечества». Здесь был напечатан отсутствовавший в первом издании стих 344 песни VI («Достойной казни ждет измена!»). Соответственно этому в стихе 343, не имевшем рифмующего с ним стиха, поэт изменил окончание ради рифмы со словом «измена» («колена» вместо «колени»).

Существенной с психологической точки зрения была замена там же, на стр. 230, в стихе 345 песни VI деепричастия совершенного вида *вспомня* деепричастием несовершенного вида *помня*. Автор этим подчеркивал силу любви и верности Руслана, который ни на миг не забывает о «даре кольца», способного пробудить Людмилу, погруженную в долгий сон. Ни пиры, ни битвы не заглушают любовь к ней. А «вспомня» означало, что герой забыл было о спасительном кольце, а тем самым и о любимой, ради которой совершил столько подвигов.

Перечисленными разночтениями в основном исчерпывается круг наиболее типичных исправлений и изменений лексического, лексико-синтаксического, логико-стилистического, психологического и чисто художественного характера.

До сих пор речь шла о мелкой правке, подчас ювелирно тонкой, филигранной чеканке ранее напечатанного. Ни одно из этих исправлений не выходит за пределы стихотворной строки; перестановка слов или замена одних словосочетаний другими, перестановка стихов, восстановление случайно выпавшей строки — всё это не вызывает необходимости вносить сокращения, изымать из текста целые фрагменты, отдельные мотивы содержания.

Эти изменения носят характер исправлений, уточнений, совершенствующих текст произведения. Ни прямо, ни косвенно эта правка не обусловлена цензурными требованиями. Внесенные лексические изменения бесспорны (исключение: *Омер* вместо *Гомер* в РЛ 1828 в стихе 142 песни IV) и продиктованы взыскательностью самого поэта.

3

Издание «Руслана и Людмилы» 1828 года Пушкин назвал «умноженным»: здесь впервые был опубликован пролог («У лукоморья дуб зеленый») и перепечатан из «Прибавлений» эпилог. Если же коснуться объема и содержания отдельных песен, то можно наблюдать иное: делаются купюры и другие сокращения, и общее количество строк всех песен уменьшается.

Сокращения отдельных стихов и изъятия целых отрывков в ряде случаев были продиктованы теми же соображениями, что и лексическая правка, т. е. борьбой за художественное качество. Ниже рассматриваются разночтения первой и второй редакций «Руслана», представляющие собой купюры, замену одних фрагментов другими, более сжатыми, обусловленные процессом художественного совершенствования поэмы в период ее авторедактирования в 1828 году. Из одиннадцати купюр, сделанных в РЛ 1828, к такого рода сокращениям относятся семь, рассматриваемых в настоящем разделе.

В лирическом монологе Финна, после описанной им сцены, когда надменная Наина отвергает любовь прославленного героя (песнь I), в пер-

вых изданиях (в «Невском зрителе» и РЛ 1820) следовало еще шесть стихов:

«Руслан, не знаешь ты мученья
Любви, отверженной на век.
Увы! ты не сносишь презренья.
И что же, странный человек!
И ты ж тоскою сердце губишь.
Счастливец! ты любим, как любишь».

Ни психологически, ни ситуативно это обращение не оправдано. Ничего странного нет в том, что Руслан «тоскою сердце губит»; на счастливица он вовсе не походит: ведь его любимая невеста-жена похищена с брачного ложа злым Черномором. Герой, правда, не знает мученья отверженной любви, но страдает не меньше.

Исключением этих шести стихов, следовавших после 398-го, Пушкин изъяснял из рассказа Финна неубедительно звучащий мотив.

Нечетко прозвучавшим и излишне растянутым оказалось и другое место в монологе Финна. После стиха 436 песни I в «Невском зрителе» и в РЛ 1820 следовали строки:

«В надежде сладостных наград,
В восторге пылкого желанья,
Творю поспешно заклинанья,
Зову духов — и виноват! —
Безумный, дерзостный грабитель,
Достойный Черномора брат,
Я стал Наины похититель.
Лишь загадал — во тьме лесной
Стрела промчалась громовая...»

«Добродетельный Финн», стремившийся покорить сердце Наины волшебством, вовсе не походил на «дерзостного грабителя», нравственного и физического урода Черномора, даже в отдельном поступке. Стих «Достойный Черномора брат» вносит неясность в дальнейшее развитие сюжета: Руслан встретится в поединке с братом Черномора (головой великана), но тот по характеру окажется противоположностью коварного карлы, как и по внешнему облику. Финн называет себя «Наины похитителем». Он пытается привлечь ее чарами. Черномор ведь похитил Людмилу, по сердцу и обряду принадлежавшую другому, хотел, не надеясь на взаимность, овладеть ею, и нет здесь сходства по ситуации и психологическим побуждениям с поступком Финна. В РЛ 1828 Пушкин исключил стихи, где Финн уподоблял себя Черномору. Из девяти стихов в тексте поэмы остается пять. Совершенно исключаются пятый—седьмой стихи, объединяются в строку первое полустишие четвертого и второе полустишие восьмого стиха. Изменен не только из соображений рифмовки, но по словарному составу первый стих, освободившийся от романтической выпренности звучания. В реконструированном виде (стихи 437—441 песни I) этот пассаж вошел во все последующие издания поэмы:

«В мечтах надежды молодой,
В восторге пылкого желанья,
Творю поспешно заклинанья,
Зову духов — и в тьме лесной
Стрела промчалась громовая...»

Длинный монолог Финна вследствие двух сокращений уменьшился всего на десять стихов. Но течение рассказа стало более динамичным, об-

лик рассказчика стал психологически убедительней и определенной после снятия малоуместных рассуждений и уподоблений.

В лирическом вступлении песни II в РЛ 1820 после стиха 20 было еще четыре стиха, которые в какой-то мере повторяли уже сказанное, почти ничего не прибавляя нового. Пушкин исключил из текста поэмы (в РЛ 1828) следующие четыре стиха:

Ужели бог нам дал одно
В подлунном мире наслажденье?
Вам остаются в утешенье
Война и Музы и вино.

Сокращение лирического вступления, подвергшегося критике в журнальных статьях 1820 года (например, в «Разборе» В. (А. Ф. Воейкова)¹⁴), придало больше экспрессии его предшествующей части и ускорило переход к рассказу о событиях поэмы.

Очнувшись в замке Черномора, Людмила «Душой летит за наслаждением», но, оглянувшись вокруг, начинает понимать, что разлучена с любимым, с кругом родных и близких. Сочувствуя попавшей в беду героине, поэт восклицает:

Людмила! где твоя светлица?
Где ложе радости младой?
Одна, с ужасной тишиной
Лежит несчастная девица...

С РЛ 1828 поэт исключает второй и третий стихи цитированного выше отрывка из II песни. Стих: «Где ложе радости младой?» — повторяет по мысли стих о полете души героини «за наслаждением». Третий стих в сочетании с четвертым создает несколько надуманный метафорический образ: «Одна, с ужасной тишиной Лежит несчастная девица». Исключением двух названных стихов поэт внес ясность в описание.

Переиздавая «Руслана» в 1828 году, Пушкин в ряде случаев очищает текст от романтической туманности и выпренности выражений, излишней и пестрой экзотичности изображения волшебных садов Черномора, вычеркивает строки, отзывающиеся риторичностью.

После стиха 329 песни II в РЛ 1820 было:

Повсюду роз живые ветки
Цветут и дышут по тропам,
Усеянным песком алмазным;
Игривым и разнообразным
Волшебством дивный сад блестит.
Но безутешная Людмила
Идет, идет и не глядит;
Ей роскошь светлая постыла,
Ей грустен неги пышной вид...

Из девяти стихов поэт не включил в РЛ 1828 строки, выделенные мною курсивом. Слово «волшебство» из пятого стиха перешло в начало восьмого, исключив из последнего эпитет «светлая». Этот эпитет, изменив родовое окончание, вытеснил в девятом стихе эпитет «пышной». В новой редакции фрагмента — шесть стихов (330—335):

Повсюду роз живые ветки
Цветут и дышут по тропам.
Но безутешная Людмила

¹⁴ «Сын отечества», 1820, ч. 64, № 37, стр. 146—147.

Идет, идет и не глядит;
 Волшебства роскошь ей постыла,
 Ей грустен неги светлый вид...

Краски теперь не сгущены, и изысканной экзотичности тоже нет.

Изобразив в иронических тонах попытку Людмилы утопиться, поэт (в РЛ 1820) восклицает в лирическом отступлении:

О люди, странные созданья!
 Меж тем, как тяжкие страданья
 Тревожат, убивают вас,
 обеда лишь наступит час —
 И вмиг вам жалобно доносит
 Пустой желудок о себе,
 И им заняться тайно просит.
 Что скажем о такой судьбе?

Эти строки как бы подготавливали переход ко второму трагикомическому эпизоду. Но лирическое отступление здесь замедляет повествование, делает менее эффективным описание поведения героини, вздумавшей умерить себя голодом. Лирический фрагмент не столь остроумен и самостоятелен: он созвучен сродному мотиву из «Орлеанской девственницы» Вольтера. В последующих изданиях Пушкин изъясил все восемь стихов лирического отступления. В связи с этим стих 354 песни II («И ты, прекрасная Людмила») был видоизменен («Моя прекрасная Людмила»).

Описывая предсмертные муки головы великана, поэт не избежал мелодраматизма, в частности в восприятии Черномором и Русланом этого зрелища. Так, в РЛ 1820 после стиха 287 песни V следовали строки:

В руках Руслана чародей
 Томился в муках ожидания;
 И князь не мог отвезть очей
 От непонятого созданья...

В РЛ 1828 эти стихи не вошли. Переживания чародея, Черномора, выделанные «укором невинным» умирающего брата-великана, раскрыты в стихах 297—300:

Дрожащий карлик за седлом
 Не смел дышать, не шевелился,
 И чернокнижным языком
 Усердно демонам молился.

Сострадание же Руслана «непонятному созданию» выражено в сентименталистской манере, чуждой Пушкину в пору творческой зрелости.

Приведенной выше купюрой исчерпываются сокращения, внесенные автором во второе издание «Руслана и Людмилы» по соображениям, связанным с возросшим художественным мастерством. Авторедактирование, свободное от давления цензурного пресса, в этих случаях оказалось плодотворным, гармоничным. Рассмотренные выше изменения относятся к истории текста — и это предшествующий этап к постановке вопроса об окончательной редакции первой поэмы Пушкина.

4

Не всё бесспорно в изменениях, внесенных поэтом в РЛ 1828. Имели место, как замечает С. М. Бонди, «соображения... цензурные или тактические». Отдельные купюры и переделки нельзя объяснить по Анненкову: поэт, мол, стремился улучшить художественную и нравственную стороны поэмы и преуспел в этом. Изменение общественно-политических ус-

ловий, разгул николаевской реакции в годы после декабрьского разгрома, жестокость цензурного гнета не могли не учитываться Пушкиным при подготовке второго издания «Руслана». Четыре купюры (в отличие от трех упоминаемых С. М. Бонди и приводимых под основным текстом в IV томе большого Академического издания сочинений Пушкина) и одно весьма существенное изменение в конце VI песни поэмы обусловлены обстоятельствами идеологического характера, с которыми поэт вынужден был считаться. Изучение именно этих «исправлений» и позволит внести ясность в вопрос об окончательном тексте «Руслана и Людмилы».

Буржуазное литературоведение вслед за Анненковым утверждало, что Пушкин лишь смягчил, улучшил в нравственном отношении изображение любовных сцен, ослабил эротическую окраску поэмы, что отвечало, мол, повышенным этическим принципам поэта, отрешившегося от эпикурейских мотивов «ветреной младости». В действительности всё намного сложнее и имеет свое общественно-историческое обоснование. Нельзя забывать, что мотивы любви в творчестве Пушкина уже с лицейских лет органически сочетались с идеями политической и нравственной свободы. Дух времени, конкретная социально-историческая обстановка, борьба различных идейных направлений эпохи — всё это поможет нам встать на историческую точку зрения и верно осмыслить то, что при абстрактном, внеисторическом подходе кажется проще простого, а в действительности отражает остроту идеологических явлений той поры, когда Пушкин создавал «Руслана», а позднее готовил к второму изданию поэму, «появление которой сделало эпоху в истории русской литературы».¹⁵

Воспевание любви, любовных утех и наслаждений являлось не столько следствием юности, склонной к чувственным увлечениям, сколько оружием борьбы против ханжеского смирения, тумана придворного мистицизма, проповеди аскетизма, распространявшихся печатно и устно светскими и духовными поборниками христианской религии: Библейским обществом, мистиками, масонами и православными церковниками.

После победы над армиями Наполеона, одержанной русским народом, Александр I, «нечаянно пригретый славой», возглавляет в Европе Священный союз реакционных правительств. Подавление народных движений в ряде стран, реакционная внутренняя политика сочетаются с проповедью религиозного космополитизма. Это поощряется «коронованным мистиком».

Антимонархические выступления во Франции, студенческие волнения в Пруссии, нарастание революционных настроений в ряде стран Европы и в самой России побуждали Священный союз к противодействию. В декларации, принятой осенью 1818 года на Ахенском конгрессе, подчеркивалась, в частности, необходимость поднимать религиозные и нравственные чувства, так как их упадок резко отмечен событиями последнего времени.

Ханжество церковников, мистические беснования дворцовых кругов во главе с Александром I, евангельский фанатизм деятелей Библейского общества во главе с А. Ф. Лабзиным — всё это рождало протест в среде молодых вольнодумцев. И наряду с политической сатирой, эграммами «на властителей», гимнами Свободе появляются произведения, проникнутые эпикурейским духом (контрастная проповедь аскетизма), антиклерикальными настроениями, воспевающие утехы любви, радость земных наслаждений, срывающие покровы казенного целомудрия и благочестия.

¹⁵ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, Изд. Академии наук СССР, М., 1955, стр. 102.

Общественная борьба против политической и духовной реакции отражается в эпиграммах и стихотворениях молодого Пушкина. Так, в «Послании к кн. Горчакову» (1819) поэт пишет, что предпочитает быть там, где

Свобода, Вахк и музы угощают.
 Не слышу я бывало-острых слов,
 Политики смешного лепетанья,
 Не вижу я изношенных глупцов,
 Святых невежд, почетных подлецов
 И мистики придворного кривлянья! . .

И в оде «Вольность» и в «Ноэле» («Ура! в Россию скачет») Пушкин наносит удары «святим невеждам» и защитникам «сгущенной мглы пред-рассуждений». Мотивы любви в творчестве поэта примыкают к этой же линии борьбы.

Воспитанный в несколько «вольтерьянском» духе еще в детстве, проникшийся республиканскими идеями в лицее, Пушкин на студенческой скамье создает ряд произведений о любви. Таковы послание «К Наталье», поэма «Монах», где любовные утехы противопоставлены аскетической жизни отшельника, его религиозным умонастроениям. «Бова», «Леда», «Фавн и пастушка» воспевают радости земных наслаждений, утверждают чувственно-земное, что прямо или косвенно воспринималось читателем-современником как нечто прямо противоположное, явно оппозиционное духу мистицизма и религиозного ханжества.

Пушкин-«лампист» в своей лирике сочетает мотивы гражданской свободы, сатирические выпады против тиранов с воспеванием наслаждений любви, потому что идеи политического освобождения переплетались с новыми нравственно-религиозными принципами, с новым этическим кодексом вольнодумцев из дворян.

Острый идеологический смысл и боевой характер любовно-эротических мотивов в «Руслане и Людмиле», их антиклерикальную и противоправительственную направленность сразу же ощутили охранительно настроенные круги. И если прогрессивно мыслящая часть русского общества, особенно декабристская молодежь, восторженно встретила появление пушкинской поэмы, то люди умеренных политических взглядов и явные консерваторы резко ополчились против тона и духа этого произведения.

Изображение любви в «Руслане» подвергалось критике то с позиций ревностных защитников нравственности, то с точки зрения охранителей святынь веры, а то и устоев самодержавия. Иные же сочетали нравственное, религиозное и политическое начала в своем осуждении мотивов любви в пушкинской поэме.

Первым в этом смысле, хотя и довольно сдержанно, высказался А. Ф. Воейков в своей большой статье, подписанной буквой «В», «Разбор поэмы: Руслан и Людмила, сочинение Александра Пушкина». ¹⁶ Заканчивая «Разбор», Воейков писал:

«Вообще в целой поэме есть цель нравственная, и она достигнута: злодейство наказано, добродетель торжествует; но, говоря о подробностях, наш молодой поэт имеет право называть стихи свои *грешными*.

¹⁶ «Сын отечества», 1820, ч. 64, №№ 34—37. Приверженец карамзинского лагеря, Воейков особенно раскритиковал заключительную, пародийную часть рассказа Финна и пародию на «Двенадцать спящих дев» Жуковского, в которой монастырь изображен гаремом, а непорочные девы — прелестницами. В этом случае критик, оставляя свой сдержанный тон, замечал: «Просвещенная публика оскорбляется площадными шутками» (№ 36, стр. 105).

Он любит проговариваться, извясняться двусмысленно, намекать, если сказать ему не позволено, и кстати и некстати употреблять эпитеты: *нагие, полунагие, в одной сорочке*; у него даже и *холмы нагие и сабли нагие*... Он беспрестанно томится какими-то желаниями, сладострастными мечтами, во сне и наяву ласкает младые прелести дев; *вкушает восторги* и пр. Какое несправедливое понятие составят себе наши потомки, если по нескольким грубым картинам, между прелестными картинами расставленными, вздумают судить об испорченности вкуса нашего в XIX столетии!¹⁷

В более резкой форме ополчился против любовных мотивов в «Руслане» анонимный критик из «Невского зрителя» в статье «Замечания на поэму: Руслан и Людмила». Несомненный консерватор, он недвусмысленно намекает и на политическую неблагонадежность пушкинской поэмы, не говоря уже о нравственно-религиозных вопросах. Критик не одобряет смешения «пиитических красот» «с низкими сравнениями, безобразным волшебством, сладострастными картинами и такими выражениями, которые оскорбляют хороший вкус».¹⁸ Критика шокирует пушкинское изображение причисленного православной церковью к лику святых «князя Владимира — просветителя России. Всякий русский, всякий христианин при одном имени его исполняется чувств благоговения». Критика огорчает, что поэт «представляет часто такие картины, при которых невозможно не краснеть и не потуплять взоров».¹⁹ На стр. 77—79 журнала критик приводит ряд нескромных, по его мнению, мест из поэмы: «С порога хижины моей»; «Вы знаете, что наша дева»; «Что будет с бедною княжной? О страшный вид! Волшебник хилый» и др. Возмущает автора статьи о «Руслане» и двустышие о «Дельфире суровой» в лирическом вступлении V песни: «*А та — под юлкою гусар, Лишь дайте ей усы да шпоры!*». Выделенный автором критики курсивом стих перекликается с одним местом из «Орлеанской девственницы» Вольтера. Молодой Пушкин, быть может, демонстративно напомнил о духе вольномыслия вольтеровского «катехизиса остроумия», популярного в кругах дворянского общества России. И критик из «Невского зрителя» этот намек уловил; процитировав пушкинское двустышие, автор статьи сам делает ясный политический намек: «Тогда как во Франции, в конце минувшего столетия, стали в великом множестве появляться подобные сему произведения, произошел не только упадок словесности, но и самой нравственности».²⁰ Критик видит в пушкинской поэме черты антиклерикального и политически неблагонадежного содержания и тональности, подрывающие «самую нравственность», идеологические устои власти.

В статье М. К.—ва (возможно, Воейкова) в «Сыне отечества» приводится высказывание И. И. Дмитриева о поэме: «Увенчанный, первоклассный отечественный писатель, прочитав Руслана и Людмилу, сказал: „я тут не вижу ни мыслей, ни чувств: вижу одну чувственность“».²¹ М. К.—в, полемизируя с Антикритиком (А. Перовским), обращается к нему: «Неужели решились бы вы прочесть сию поэму вслух *целомудренной* своей матушке, *целомудренным* сестрицам, *целомудренным* дочерям, если вы их имеете?»²²

До какой степени, однако, были плохо поняты тенденции пушкинской поэмы, показывает статья, помещенная в «Сыне отечества» Н. И. Куту-

¹⁷ Там же, № 37, стр. 154—155.

¹⁸ «Невский зритель», 1820, ч. III, июль, стр. 67.

¹⁹ Там же, стр. 74, 78.

²⁰ Там же, стр. 79.

²¹ «Сын отечества», 1820, ч. 65, № 43, стр. 115.

²² Там же, стр. 120—121.

зовым, членом Союза благоденствия и Вольного общества любителей российской словесности, под условным названием, связанным с полубеллетристическим вступлением, «Аполлон с семейством».²³ Кутузов критикует «Руслана и Людмилу» с точки зрения требований классицизма к поэзии высокого стиля, содержащей «благородные, возвышенные чувства», требований, которым поэма Пушкина не удовлетворяет.

«Часто мы видим, — пишет критик, еще не называя пушкинской поэмы, — что сочинение, несообразное с рассудком, не имеющее цели, противоречащее природе, ничтожное по предмету, постыдное по низким картинам, в нем изображенным, и порыву страстей — является в свет под именем великого творения, — и повсюду слышны раздающиеся ему рукоплескания. . . Странно, удивительно!».²⁴

Кутузова, как и критика из «Невского зрителя», возмущают «чувственность» и «безнравственность», являющиеся «в одежде привлекательной». Поэма, по его мнению, искушает целомудренность молодых читателей; в «Руслане» осмеяны «убежища веры». Пушкиным «во зло употреблено дарование». Кутузов патетически восклицает: «. . . должен ли сочинитель одушевлять произведение свое бурными порывами страстей, украшать картинами сладострастия? Должен ли прикрывать чудовище цветами, дабы оно под сим покровом могло уязвлять каждого, к нему приближающегося? Безнравственное сочинение не есть ли чудовище, имеющее смертоносное дыхание: оно сильно действует на умы слабые; и чье сердце не отзовется при виде удовольствий, роскошною рукою рассыпанных в храме наслаждения и украшенных цветами поэзии?».²⁵

Кутузов выступает в защиту религиозных начал: «Еще более, если вера — сия единственная отрада, одно утешение скорбной жизни нашей — изгонится из сочинения, и убежища веры послужат предметом посмеяния сочинителю: тогда страшны и гибельны будут действия его произведения. Вера! кто дерзнет порицать священные твои убежища? Кто. . . отвергнет благотворное твое действие на род человеческий? Но как часто безнравственность, соединенная с безверием, является в одежде привлекательной и приобретает хвалу всеобщую! . . . Не разврат ли и безверие причины бедствия человечества? не они ли, подобно бурным источникам, испровергающим в течении своем леса и горы, поглощают царства и народы? Разверните историю мира!».²⁶

Невзирая на реверансы в сторону Пушкина в заключительной части статьи, «Аполлон с семейством» оставлял у прогрессивных читателей довольно мрачное впечатление; светские и духовные пастыри должны были насторожиться. Поэта-изгнанника Кутузов обвинял в безверии, безнравственности, граничащей с развратом, в создании сочинения, способного потрясти самодержавный строй, породить «бедствия человечества». Хотя и в отвлеченной форме, критик намекал на события во Франции в конце XVIII века и факты древней истории, связанные с народными восстаниями, которые «поглощали царства» и пр. В описании замка с двенадцатью престолницами Кутузов увидел не столько пародию на стихотворную повесть Жуковского, сколько повод к «посмеянию» «убежищ веры» (ироническое отношение Пушкина к религии вызвало годом ранее намерение Александра I сослать его в Соловецкий монастырь на покаяние, и друзьям поэта удалось лишь с трудом остановить это распоряжение).

²³ Там же, 1821, ч. 67, № 5, стр. 193—210.

²⁴ Там же, стр. 205.

²⁵ Там же, стр. 208, 206.

²⁶ Там же, стр. 207—208.

В журнальных статьях, положительно оценивавших пушкинскую поэму, «грешные» места в «Руслане» оправдывались молодой пылкостью поэта, отвергались обвинения в безнравственности и пр. Да и сам Пушкин в «Предисловии» ко второму изданию поэмы подчеркивает, что ему было двадцать лет, когда он закончил «Руслана», что писалось это произведение «среди самой рассеянной жизни», чем и можно отчасти «извинить... недостатки» (IV, 280). Но эти же доводы диктовали необходимость устранения в последующих изданиях поэмы того, что отзывалось будто бы молодостью таланта, пылкостью страстей. И Пушкин в автоцензуровании «Руслана» для издания 1828 года выполнил это.

Под давлением цензурного прессы в мрачные годы после разгрома декабрьского восстания поэт не мог не учесть критических выпадов воинствующих клерикалов, охранителей самодержавной власти и прочих защитников устоев господствующего строя. Обстоятельства общественной биографии Пушкина в начале 1828 года, когда готовилось второе издание, тоже не отличались ни ясностью, ни политической нейтральностью: еще продолжалось следствие по делу о стихах из элегии «Андрей Шенье», грозившему поэту серьезными бедами и вскоре законченному установлением за ним официального секретного надзора; отношения его с царем и Бенкендорфом были очень натянуты и сложны, что сказалось и в запрещении к печати стихотворения «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю») и вскоре затем в запрещении ехать в армию или в путешествие. Все эти обстоятельства оказывали на поэта свое воздействие. Но всё же Пушкин, верный «гимнам прежним», обнаруживает и здесь присущие ему мужество и смелость. Внося некоторые вынужденные изменения в поэму, он сохраняет целостность ее восприятия, дух произведения, его идейно-содержательную основу. Изменения свелись преимущественно к сокращению некоторых так называемых «нескромных» описаний и авторских отступлений. Этим своего рода жертвоприношением Пушкину удалось спасти «Руслана и Людмилу» от более губительных последствий.

5

Каковы же эти купюры и каков смысл и характер внесенных Пушкиным вынужденных изменений, противоречащих авторской воле?

Вместо стихов 231—233 песни II второго издания в первом издании было одиннадцать стихов:

Вы знаете, что наша дева
 Была одета в эту ночь,
 По обстоятельствам, точь в точь
 Как наша прабабушка Ева. —
 Наряд невинный и простой!
 Наряд Амура и природы!
 Как жаль, что вышел он из моды!
 Пред изумленную княжной
 Три девы, красоты чудесной,
 В одежде легкой и прелестной
 Явились, молча подошли...

Смелость пушкинского сравнения обнаженной Людмилы с библейской праматерью человечества очевидна. С позиций воинствующих клерикалов приведенный отрывок был несомненно греховным. Эти стихи свидетельствовали в 1820 году об отсутствии у автора благочестивых помышлений и предсказывали в нем будущего творца «Гавриилиады», где антиклери-

кальное начало обнажается гораздо резче: но, как известно, это произведение не предназначалось для печати, и его воздействие на читателей было, без сомнения, меньшим, чем воздействие «Руслана и Людмилы».

В последекабрьские годы «религиозная дисциплина, восстановленная полицией императора Николая» (выражение Герцена),²⁷ изменила характер, став более внешней и лишенной мистицизма, но не менее свирепой, чем при Александре. Между тем антиклерикальные воззрения сохранились у Пушкина в прежней степени и в зрелые годы, и подчинение требованиям церковной цензуры, хотя бы оно и исходило от самого автора, было, конечно, вынужденным.

Отбросив восемь стихов цитированного пассажа, сохранив без изменений следующие два стиха, поэт заменил одиннадцатый стих: «Явились, молча подошли» — новой его редакцией: «Княжне явились, подошли». Восстановление одиннадцати стихов в редакции первого издания будет исполнением авторской воли. Их изъятие ослабило остроту антиклерикальной направленности в «Руслане».

IV песнь поэмы Пушкин начал писать в 1818 году, когда масоны, библейцы и прочие мистики развивали широкую деятельность. «Сионский вестник» А. Ф. Лабзина еще выходил. Жители столиц и провинции, особенно дворяне, интересовались произведениями К. Эккартсгаузена, И. Штиллинга, А. П. Хвостовой и прочих сеятелей мистического тумана. «Пророки» и «пророчицы», особенно популяризаторы и любители мистических тайн и форм общения с «духом», вносили много авантюрного и ханжеского в пропаганду религии нравственной, в свои поучения.

В борьбе с церковниками, библейцами, воинствующими мракобесами острым оружием было наследие скептического философа и писателя, автора «Кандида» и «Орлеанской девственницы» — Вольтера, который из европейских мыслителей более других оказал влияние на формирование вольнолюбивых воззрений декабристов и молодого Пушкина. Великий француз именуется в лицейских стихотворениях Пушкина то «Султаном французского Парнаса» («Монах»), то «Фернейским злым крикуном» («Городок»). Последний эпитет возникает вновь в лирическом вступлении IV песни «Руслана», высмеивающем библейцев и мистиков-«колдунов»:

Я каждый день, восстав от сна,
Благодарю сердечно бога
За то, что в наши времена
Волшебников не так уж много.
К тому же — честь и слава им! —
Женитьбы наши безопасны...
Мужьям, девицам молодым
Их замыслы не так ужасны.
Не прав Фернейский злой крикун!
Всё к лучшему: теперь колдун
Иль магнетизмом лечит бедных
И девушек худых и бледных,
Пророчит, издает журнал —
Дела, достойные похвал!

Так было в РЛ 1820, и всё здесь было понятно для современников, как и злободневно в политическом смысле. К 1828 году многое изменилось: масонские ложи еще рескриптом Александра I в 1822 году были запрещены повсеместно; «Сионский вестник» под давлением видных деятелей православной церкви прекратил свое существование к 1819 году, а его из-

²⁷ А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. VI, Пгр., 1919, стр. 337.

датель Лабзин несколько лет спустя оказался в изгнании, наказанный за дерзкую шутку неблагонамеренного содержания, и умер в Симбирске в 1825 году. Давно внешнее соблюдение церковного обряда вытеснило мистический романтизм масонства, и из общества исчезли пророчествующие шарлатаны и ханжи. Казарменно-полицейский режим, подавление духа 14 декабря делали небезопасным упоминание Вольтера.

Учитывая изменившиеся условия, Пушкин исключил шесть заключительных стихов из цитированного выше лирического вступления IV песни «Руслана» при переиздании поэмы в 1828 году. Одновременно, уже из соображений логико-стилистических, он переменял местами седьмой и восьмой стихи отрывка.

Следует ли согласиться со сделанной купюрой? Думаем, что нет, потому что историко-литературное значение «Руслана и Людмилы» выше художественной и содержательной сторон поэмы. Для наследников творчества великого поэта дорого в первой пушкинской поэме всё то, что отражает дух времени, своеобразие политической, этической, общественно-литературной атмосферы в жизни России начала 20-х годов XIX века, т. е. периода первого издания «Руслана». Поэтому восстановление шести изъятых позднее стихов из лирического вступления IV песни возродит ряд типических черт времени и усилит идейную заостренность поэмы в целом, ослабленную подобными купюрами.

Примерно половину IV песни «Руслана» занимает описание посещения Ратмиром замка двенадцати дев. Дева, «Как в море лебедь одинокой», на зубчатой стене замка, озаренная закатом, ее призывная песня, въезд юного хана в замок, «великолепная русская баня», высокая поэтичность изображения «любви нежной» — всё это намного превосходило описание Жуковского в его окрашенной мистицизмом стихотворной повести «Двенадцать спящих дев». Пушкинская пародия перерастала этот жанр и приобретала самостоятельное значение. Но читатель-современник, хорошо знакомый с произведением Жуковского, воспринимал пушкинское описание и как пародию, тем более, что сам поэт в обращении к читателям подчеркивал это.

В предшествующем разделе цитировались высказывания А. Ф. Воейкова и Н. И. Кутузова об этом эпизоде в поэме. Первый назвал его «площадными шутками», второй в факте пародирования усмотрел «посмеяние» «убежищ веры», так как монашки из монастыря превращены в пушкинской поэме в обольстительниц из замка-гарема.

Игнорировать эту критику в столь суровое время Пушкин не мог. Отказаться от всей картины — значило снять всю IV песнь, оставить недорисованным характер пылкого Ратмира, лишить поэму яркой многогранности и вместе с тем идейной остроты в борьбе со всякой мистикой. Это означало бы отрешение от верности идеалам «гордой юности». Но в нетронутым виде это богохульное описание не было бы, вероятно, пропущено в печать при переиздании поэмы. И поэту пришлось пойти на полукompromиссное решение задачи: смягчить антиклерикальный тон экспозиционной части изображения.

Пушкин изъясил из текста IV песни строки, в которых «инокини святыя» и «монастырь уединенный» заменены гаремом двенадцати прелестниц. После поэтического и комплиментарного пересказа сюжета «Двенадцати спящих дев» Пушкин в РЛ 1820 писал далее:

И что ж? возможно ль? . . . нам солгали!
Дерзну ли истину вещать?
Дерзну ли ясно описать

Не монастырь уединенный,
 Не робких инокинь собор,
 Но... трепещу! в душе смущенный,
 Дивлюсь — и потупляю взор.

В РЛ 1828 из семи стихов вошел лишь первый с измененной пунктуацией и один заново написанный, содержащий компромиссную мысль, сглаживающую резкость контраста:

И что ж, возможно ль?.. нам солгали!
 Но правду возведу ли я?

В первой редакции пассажа лжи мистического романтизма Жуковского противопоставлялась правда, истина чувственно-земных наслаждений дев и юного героя. В РЛ 1828 неопределенность: «ложь прелестная» присуща, мол, обоим художникам («нам солгали! Но правду возведу ли я?»). Это явная уступка ханжествуующим критикам и цензорам. Ценой этой уступки была спасена целая картина, которая говорила сама за себя.

IV песнь поэмы оказалась в наибольшей мере насыщенной эпизодами, изображающими утехи любви, и сценами с острой идеологической направленностью. Не случайно поэтому, что из немногих вынужденных купюр три коснулись текста этой песни.

В финальной части IV песни Черномор, поймавший в сети Людмилу, скрывавшуюся невидимкой в его садах, пытается овладеть княжной. И хотя пойманную героиню охватывает «дивный сон», поэт вместе с читателями обеспокоен ее судьбой. Далее следует не совсем привлекательная картинка, в которой нравственное и физическое уродство, низменность побуждений «дряхлого чародея» контрастируют с девственной чистотой «младых прелестей» красавицы-княжны. В РЛ 1820 мы читаем:

О страшный вид! Волшебник хилый
 Ласкает сморщенной рукой
 Младые прелести Людмилы;
 К ее пленительным устам
 Прильнув увядшими устами,
 Он, вопреки своим годам,
 Уж мыслит хладными трудами
 Сорвать сей нежный, тайный цвет,
 Хранимый Лелем для другого;
 Уже... но бремя поздних лет
 Тягчит бесстыдника седого —
 Стоная, дряхлый чародей,
 В бессильной дерзости своей
 Пред сонной девой упадет;
 В нем сердце ноет, плачет он,
 Но вдруг раздался рога звон...

Эта картинка не лишена натуралистических подробностей, призванных подчеркнуть грубую чувственность Черномора. Современники же начиная с Дмитриева, критикуя справа, обвинили в чувственности авторское изображение. Описанная сцена давала много пищи реакционной критике: этот эпизод упоминается, например, одним из первых в статье анонимного автора из «Невского зрителя», резко осуждавшего «грешные» места в «Руслане и Людмиле».

В РЛ 1828 от этого эпизода остался лишь легкий намек. Из шестнадцати стихов Пушкин сохранил лишь пять, причем во втором стихе цитированного отрезка заменил натуралистический эпитет «сморщенной» эмоциональным — «дерзостной» и в сохраненном последнем стихе — союз «Но»

междометием «Чу». Из пяти стихов, кроме трех первых и заключительного, четвертый — новый: «Ужели счастлив будет он?». Таким образом, стихи 325—329 песни IV заменили в новой редакции прежний вариант, цитированный выше. Второе уменьшенный фрагмент стал звучать скромнее, сдержаннее:

О страшный вид: волшебник хилый
Ласкает дерзостной рукой
Младые прелести Людмилы!
Ужели счастлив будет он?
Чу... вдруг раздался рога звон...

Однако это изменение продиктовано не только цензурными, но и литературными соображениями, принципиально важными для самого Пушкина.

Многие из критиков, антикритиков и просвещенных читателей с усердием, достойным лучшего применения, утверждали, что Пушкин в «Руслане и Людмиле» подражает «Неистовому Роланду» Ариосто. Между тем для пушкинской поэмы характерно новаторство, а не подражание образцам, что было основным принципом классицистов. Первоначальная же редакция рассматриваемого эпизода содержала черты, напоминавшие творение Ариосто. И в заметках 1830 года о ранних поэмах Пушкин высказался с большой определенностью; «Обвиняли ее <поэму> в безнравственности, за некоторые слегка сладострастные описания, за стихи, мною выпущенные во втором издании:

О страшный вид! волшебник хилый
Ласкает сморщенной рукой etc...

Есть ли в Руслане хоть одно место, которое в вольности шуток могло быть сравнено с шалостями хоть, например, Ариоста, о котором поминутно твердили мне? Да и выпущенное мною место было очень, очень смягченное подражание Ариосту» (XI, 144, 145).

Не только соображениями морального характера, но и стремлением укрепить в поэме черты творческой самобытности обусловлено значительное изменение первоначальной редакции отрывка. Следовательно, цензурные соображения здесь не вступают в противоречие с авторской волей, и редакция РЛ 1828 должна считаться окончательной. Между тем редактор пушкинского однотомника 1935 года, Б. В. Томашевский, восстановил в этом фрагменте поэмы редакцию РЛ 1820. С. М. Бонди, редактор IV тома большого Академического издания сочинений Пушкина, поместил первоначальный вариант (как, впрочем, и другие разночтения подобного характера) под строкой в основном тексте, и это, пожалуй, правильно в данном случае. Такой тип публикации замененного варианта позволяет уяснить некоторые резкие черты стиля поэмы в РЛ 1820, как и черты характера злого волшебника, смягченные в новой редакции эпизода.

Описанная сцена не лишена интереса и в социально-бытовом отношении. Сознательно или интуитивно, но в изображении насилия Черномора над Людмилой Пушкин отразил некоторые черты крепостнической действительности; ведь немало было нравственных уродов, «бесстыдников седых» в дворянско-помещичьей среде, которые губили молодость и красоту подвластных их жестокой воле девушек. Изображенная Пушкиным неприглядная картина могла порождать и порождала у читателей-современников невольные аналогии.²⁸

²⁸ Ср. соответствующую сцену в поэме Лермонтова «Сашка» (строфы 93—94).

6

Особо должен ставиться вопрос о самом раннем по времени цензурном вмешательстве, еще при подготовке к печати первого издания «Руслана и Людмилы» в 1820 году. Это коснулось VI песни, в одном из самых драматических мест которой повествование было прервано многоточиями.

Киев, взволнованный появлением в великокняжеском тереме Фарлафа с погруженной в волшебный сон Людмилой, вскоре был смущен «новой тревогой»:

Клики, шум и вой
Повсюду разнеслись! Граждане
Бегут, стеснились на стенах;
И видят: в утреннем тумане
Шатры белеют на холмах....

Так напечатано на стр. 133 в РЛ 1820. Чьи шатры? Кто угрожает Киеву? Вызывающие недоумения многоточия заменяют ответ. Автор же переносит читателей к Финну, возрождающему к жизни Руслана, убитого Фарлафом. Пропуск в повествовании отметила критика. «Зачем это множество точек после стихов:

Шатры белеют на холмах?» —

спрашивал N. N. (Д. П. Зыков) на страницах «Сына отечества».²⁹ Ответ на этот вопрос содержали «Прибавления» к пушкинской поэме, напечатанные в том же номере журнала вслед за зыковским «Письмом». Здесь был воспроизведен в полном объеме повествовательный отрывок из VI песни, но в переработанном виде.³⁰

В РЛ 1828 стихи были перепечатаны по публикации «Сына отечества», но с уточненной пунктуацией (ср. песнь VI, стихи 143—153; IV, 79).

Предположение о цензурном вмешательстве высказал в свое время редактор II тома дореволюционного Академического издания сочинений Пушкина В. Е. Якушкин: «... небольшое добавление в VI песни об осаде Киева заменяет собою то место первого издания, которое испорчено цензурой: в первом издании поэмы оно заключает в себе только 4 стиха и строку точек, тогда как добавление состоит из 11 стихов (неточность: поэт добавил шесть, а не семь стихов, как считает Якушкин, — Л. Ш.)... Из черновой рукописи этого места... мы видим, что это место вполне было написано еще в Петербурге; таким образом несомненно, что напечатанное в „Сыне отечества“, а затем во втором издании дополнение есть восстановление текста, искаженного цензурой».³¹

Другие замечания В. Е. Якушкина не представляют интереса; как бы отрицая сказанное выше, он подвергает сомнению новый вариант как смягченную редакцию запрещенных цензурой строк; разночтения Якушкиным не сопоставляются и не анализируются.

Советское Академическое издание сочинений Пушкина воспроизвело в полном виде черновые рукописи «Руслана и Людмилы», не говоря уже о новом методе их чтения и разбора. И это позволяет глубже вникнуть в сущность вопросов, казавшихся до того неясными. Не разобранные ранее места черновики, теперь впервые прочитанные, позволяют

²⁹ «Сын отечества», 1820, ч. 64, № 38, стр. 229.

³⁰ Там же, стр. 229—230.

³¹ Пушкин, Сочинения, т. II, изд. Академии наук, СПб., 1905, Примечания, стр. 293.

утверждать, что стихи об осаде Киева не были пропущены цензурой, а в «Сыне отечества» поэт опубликовал это место в смягченной редакции.

О цензурной порче свидетельствует новая редакция четырех стихов, напечатанных в первом издании и появившихся в журнале в ином виде. Знаменательно, что слово «граждане» было вытеснено словом политически нейтральным: «киевляне». Смягчено впечатление паники горожан, которые «Бегут, стеснились на стенах» (в журнальном тексте спокойней: «Толпятся на стене градской»). Между тем черновой вариант одного из стихов, изображающих появление печенегов под стенами Киева, читался: «крики! стоны, вой» (IV, 265), — так характеризовалось душевное состояние горожан, увидевших вражий стан. В первом печатном варианте: «Шатры белеют на холмах», в «Сыне отечества» — «за рекой». Врагов будто меньше, и они не столь близко. Но особенно выразительны следующие стихи черновой тетради, впервые опубликованные в IV томе советского Академического издания сочинений Пушкина редактором С. М. Бонди (стр. 266):

Злосчастный град! Увы! Рыдай —
Твой светлый опуст<еет край> <?>
Ты станешь бранная <?> пустыня
Где грозный пламенный Рогдай!
И где Руслан и где Добрыня!
Кто Князя Солнце оживит —

В третьей строке второе полустишие имело вариант: «могильная пустыня», что могло придать еще более мрачности общему колориту картины. Пятый стих включал и имя самого знаменитого народного богатыря — Ильи Муромца («Илья, Руслан и твой Добрыня»).

На что же указывают эти варианты?

Видимо, поэт, желая усилить значение подвига Руслана, освобождающего Киев от осады печенегов, и стремясь подчеркнуть исключительную роль воспетых народным эпосом богатырей в защите стольного града, первоначально изобразил в духе богатырской песни «Калин-царь» растерянность самого князя и лишенных боевой опоры киевлян. Но подвиг Руслана лишился бы народной поддержки, казался бы единичным, а дух защитников града был бы лишен патриотического воодушевления. Упоминание знаменитых богатырей, в их числе и убитого Русланом Рогдая, запутывало сюжет поэмы, растворяло образ главного героя в окружении традиционных имен — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и других. Беловой вариант освобожден от прямого подражания народному эпосу: киевляне обрисованы обеспокоенными, но готовыми к битве, а подвиг Руслана велик в его слиянии с боевой поддержкой киевлян.

Возвращаясь к печатному варианту, следует сказать, что он так переработан в «Прибавлениях», что реставрировать первоначальное уже невозможно. Если, например, возродить структуру четверостишия в первом издании, отвергая переделку «Прибавлений», то тогда последующие стихи будут как бы повторять сказанное выше (в стихе 147 было бы: «Шатры белеют на холмах», а через четыре строки: «Костры пылают на холмах»). Таким образом, в вопрос о дефинитивном тексте «Руслана и Людмилы» случай с цензурным вмешательством еще при первом издании поэмы ничего нового не вносит, но в идейном и содержательном отношении представляет несомненный интерес, проясняя одну из текстологических неясностей.

Заканчивая рассмотрение проблемы окончательного текста первой пушкинской поэмы, перехожу к заключительным выводам.

1. Тщательное ознакомление с разночтениями отдельных публикаций «Руслана» и с черновыми вариантами убедительно раскрывает оппозиционную направленность поэмы и стремление Пушкина при переиздании произведения в последекабрьские годы отстоять принципиально важное в идейно-содержательном отношении, сохранить целое ценой смягчения и завуалирования идеологически острого в частностях, изъятия отдельных подробностей.

2. Наряду с исправлениями и сокращениями вынужденного характера поэт внес немало коррективов в целях художественного совершенствования, психологического углубления отдельных мест, недостаточно обработанных при подготовке первого издания поэмы.

3. Досоветское пушкиноведение не ставило и не могло ставить в полном объеме вопрос о дефинитивном тексте «Руслана», так как слабо были изучены черновики и сказывалась незрелость методологии в области текстологии, в основе своей лишенной историчности.

4. Разрешение проблемы дефинитивного текста поэмы, имеющее не только научно-теоретическое, но и практическое значение, стало возможным после опубликования всех текстов и вариантов «Руслана и Людмилы» в IV томе советского Академического собрания сочинений поэта; но, к сожалению, редакция этого издания перепечатала произведение традиционно.

5. Историзм подхода позволяет при постановке вопроса об окончательном тексте поэмы учитывать не только рукописи и прижизненные печатные издания «Руслана», но и иной идейно-творческий уровень поэта в период подготовки второго издания произведения, когда народность синтезировалась с реализмом в его художественном письме. Учитываются политические и общественно-литературные условия предекабрьских и последекабрьских лет, так же как и характер критических выпадов консервативных журналистов в полемике вокруг поэмы в 1820—1821 годах.

6. Изменения, внесенные восемь лет спустя автором-реалистом в текст сказочно-исторической поэмы, не противоречат духу и стилю произведения, укрепляют черты национальной и творческой самобытности, что соответствует целям, которые ставил перед собой поэт еще на пороге 20-х годов. Издание 1828 года, включающее пролог и эпилог, является наиболее полным; это последняя прижизненная редакция «Руслана». И за основу следует брать это издание.

7. В издании 1828 года имеются поправки и сокращения, вынужденные цензурой, идеологического характера, противоречащие воле Пушкина — поэта и гражданина. Такие изъятия и исправления в какой-то мере искажают идейно-содержательную направленность поэмы, ослабляют силу и притупляют остроту звучания отдельных мотивов произведения, явившегося заметным фактом общественно-литературной жизни России начала 20-х годов XIX века. Вернуться к редакции 1820 года в этом плане — значит восстановить то, что было дорого Пушкину и его передовым современникам, что возрождало бы в первоначальных чертах дух свободомыслия, явной оппозиционности в «Руслане и Людмиле».

8. Исчерпывающее решение вопроса об окончательном тексте первой пушкинской поэмы должно быть следствием обсуждения этой проблемы коллективом пушкиноведов, так как вопрос этот давно назрел и требует не столько постановки, сколько решения.

9. Изучение содержания общественно-литературной борьбы эпохи и журнальной полемики вокруг «Руслана» и подробный анализ различных

вариантов текста поэмы, беловых и черновых, печатных и рукописных, приводит к следующим выводам:

а) из трех прижизненных изданий «Руслана и Людмилы» за основу следует брать второе, т. е. издание 1828 года, но с восстановлением отдельных мест в редакции 1820 года);

б) поправки и сокращения, совершенствующие язык, стиль, образные средства поэмы, должны быть приняты и учтены в их соответствии с авторедакцией 1828 года (исключение: в стихе 142 песни IV следует сохранить написание *Гомер* по изданию 1820 года);

в) стихи 231—233 песни II должны быть заменены исключенными в издании 1828 года одиннадцатью стихами из издания 1820 года: «Вы знаете, что наша дева ~ Явились, молча подошли»;

г) следует восстановить шесть стихов лирического вступления IV песни по изданию 1820 года: «Не прав Фернейский злой крикун! ~ Дела, достойные похвал!»;

д) необходимо сохранить, в редакции 1820 года, шесть стихов IV песни, замененных в последующих изданиях стихом 53: «Но правду возведу ли я? . . .»; стихи эти: «Дерзну ли истину вещать? ~ Дивлюсь — и потупляю взор»;

е) целесообразно печатать под строкой, внутри текста, как это принято доныне, шестнадцать стихов финальной части IV песни: «О страшный вид! Волшебник хилый ~ Но вдруг раздался рога звон», замененных в издании 1828 года стихами 325—329;

ж) под строкой же, внутри текста, следует сохранить первоначальный печатный вариант (по изданию 1820 года) картины появления печенегов под стенами Киева, в отличие от переработанного и более подробного изображения, приведенного в «Прибавлениях» в «Сыне отечества» (1820, ч. 64, № 38, стр. 229—230) и перепечатывавшегося начиная с издания 1828 года; стихи эти из VI песни даны на стр. 132—133 первого издания «Руслана» и соответствуют стихам 140—147 VI песни в IV томе большого Академического издания сочинений Пушкина.

Таковы немногие, но принципиально важные изменения, которые могут послужить основой для создания окончательной, общепринятой редакции текста поэмы «Руслан и Людмила».³²

³² Признавая ценными и интересными наблюдения Л. И. Шлионского, продвигающие вперед вопрос об окончательном (для печати) тексте «Руслана и Людмилы», редакция не считает, однако, все вопросы о тексте поэмы бесспорно решенными: контаминация двух текстов и возвращение к первому изданию при наличии второго представляется в принципе нежелательным и оправданным лишь тогда, когда позднейший текст в угоду цензурным соображениям дает ухудшенную редакцию. В отношении же текста второго издания поэмы это далеко не так, и в каждом случае, рассматриваемом Л. И. Шлионским как результат цензурных соображений, можно видеть и более сложные мотивы для переработок. В частности, это относится к стихам, исключенным из вступления IV песни (пункт 9г выводов), и к стихам VI песни, восстановленным в издании 1828 года вместо пропуска в публикации «Сына отечества» (пункт 9ж). Эти и прочие пункты выводов подлежат еще дополнительному обсуждению. — *Ред.*

Е. М. ДВОЙЧЕНКО-МАРКОВА

ПУШКИН И РУМЫНСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ О ТУДОРЕ ВЛАДИМИРЕСКУ

Кишиневский период жизни и творчества Пушкина — это период становления его мировоззрения, политических убеждений и творчества.

Неоднократно уже отмечалось, что в годы южной ссылки в полной степени развился и определился гений Пушкина и пробудилось в нем то глубокое понимание народной жизни и народного творчества, которое уже никогда его не покидало.

К сожалению, изучение этого важного периода затруднено ограниченностью дошедшего до нас материала. Свою начатую в 1821 году автобиографию и большую часть своих кишиневских записок, планов и набросков произведений Пушкин сжег, опасаясь обыска в 1825 году. Позднейшие же воспоминания о нем современников отличаются крайней осторожностью и сдержанностью.

Так, скупое освященными оказались и самые яркие и значительные из переживаний Пушкина в Кишиневе, связанные с греческой революцией 1821 года. Это крупное политическое событие, нашедшее непосредственное отражение в творчестве, переписке и незавершенных замыслах поэта, несомненно оказало значительное влияние на развитие его политических взглядов, а также на становление его художественного реалистического метода.

Исследование неоконченных произведений и неосуществленных замыслов Пушкина в Кишиневе, являясь дополнением к изучению кишиневского периода творчества поэта, показало, как замечает Б. В. Томашевский, «куда направлялись интересы Пушкина и какие события получали отражения в его замыслах». «Прежде всего следует отметить, — добавляет исследователь, — тесную связь части этих произведений с народными движениями: крестьянские волнения отразились в „Братьях разбойниках“, национально-освободительная революция на Балканах — в поэме о гетеристах, а наброски трагедии и поэмы о Вадиме... по существу изображали революционное движение декабристов».¹

Среди законченных произведений, замыслов, набросков и материалов Пушкина, связанных с национально-освободительным движением на Балканах, наибольшее внимание исследователей привлекали те, которые относятся к движению гетеристов. Но несравненно менее изученным и во

¹ Б. В. Томашевский. Незавершенные кишиневские замыслы Пушкина. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции, М.—Л., 1953, стр. 212; см. также: Б. Томашевский. Пушкин, кн. 1. М.—Л., 1956, стр. 459—469, 586—590; Н. В. Измайлов. Поэма Пушкина о гетеристах. «Временник Пушкинской комиссии», т. 3, М.—Л., 1937, стр. 339—348.

многим неясным продолжает оставаться отношение поэта к румынскому национально-крестьянскому восстанию, возглавленному Тудором Владимиреску, восстанию, определившему судьбу греческой революции 1821 года в придунайских землях. Напомним в самых сжатых чертах историю этих движений.

Греческое восстание 1821 года было составной частью общей борьбы балканских народов за свою независимость. Национально-освободительное движение греков и других народов Юго-Восточной Европы было возглавлено в конце XVIII века тайным политическим обществом, получившим известность под названием «гетерия» (содружество). Начало гетерии было положено в Бухаресте Константином Ригасом (или Ригой), одним из крупнейших народных поэтов Греции, умерщвленным турками в 1798 году.²

После его убийства деятельность гетеристов была перенесена за границу, главным образом в Россию, где греческие эмигранты находили покровительство в лице их соотечественника графа И. А. Каподистрии, с 1818 года фактически возглавлявшего русское министерство иностранных дел. Среди греческих эмигрантов из Молдавии и Валахии главную роль играла семья бывшего господаря-фанариота Константина Ипсиланти, сын которого, Александр Ипсиланти, генерал русской службы, взял на себя руководство греческой гетерией. Готовясь к общему восстанию, которое должно было начаться на территории Молдавии и Валахии, Ипсиланти заручился поддержкой господаря Молдавии Михаила Суцу, что облегчило ему возможность начать военные действия против турок в Молдавии.

Иначе обстояло дело в Валахии, где господарем был Александр Суцу, недоброжелательно относившийся к гетерии. Между тем Валахия представляла собой территорию, особенно выгодную для действий повстанцев: она была самой отдаленной из турецких провинций, была близка к Австрии и России, откуда гетеристы надеялись получить помощь, а кроме того, там жили воинственные пандуры, на восстание которых гетерия возлагала большие надежды.

Пандуры, воинственные жители Малой Валахии (Олтении), показали свои отличные воинские качества во время русско-турецкой войны 1806—1812 годов. Они образовали отдельный корпус добровольцев в войсках господаря Константина Ипсиланти, входивших в состав русской армии. Из их среды скоро выдвинулся смелый Тудор Владимиреску, которому и вверено было командование всем корпусом пандуров. Он был награжден русским орденом св. Владимира и произведен в чин поручика. Когда война кончилась, пандуры подверглись преследованиям со стороны турок, и Владимиреску принужден был эмигрировать в Австрию. В Вене он познакомился с идеями французской революции. Там же произошла его первая встреча с гетеристами, которым удалось склонить его на свою сторону.³

² О том, что Пушкин особенно интересовался началом движения гетерии, свидетельствует дошедший до нас отрывок из его статьи о греческом восстании «Note sur la révolution d'Ipsylanti», начинающийся упоминанием о смерти Ригаса. Ригас был секретарем господаря Александра Ипсиланти, который, однако, не был отцом Александра Константиновича Ипсиланти, вождя греческого восстания, как ошибочно считал Пушкин. О возникновении гетерии Пушкин упоминает также в черновом отрывке 1821 года, считающемся письмом к В. Л. Давыдову из Кишинева: «Должно знать, что уже тридцать лет составилось и распространилось тайное общество, коего целью было освобождение Греции» (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, Изд. Академии наук СССР, 1937, стр. 23. В дальнейшем цитируется по этому изданию — тт. I—XVI, 1937—1949).

³ См.: История Румынии. Под редакцией М. Роллера. М., 1950, стр. 251—252.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что Тудор Владимиреску рассматривал восстание гетеристов как общее восстание всех угнетенных балканских народностей, а не одних греков, в которое должно было включиться восстание валашского народа, притом не только против турок, но и против других притеснителей. Главными же угнетателями своего народа Тудор Владимиреску считал господарей-фанариотов и их прислужников бояр, и это придавало его восстанию характер социальной революции. Программу и цели своего восстания Тудор Владимиреску ясно изложил в первой же изданной им прокламации.

Восстание свое Тудор Владимиреску начал тотчас после смерти валашского господаря Александра Суцу, по-видимому отравленного сторонниками гетерии.⁴ С небольшим отрядом арнаутов он отправился по селам Малой Валахии, чтобы поднять на восстание крестьян. Первыми присоединились к нему его бывшие соратники пандуры, а затем стали стекаться на его зов все обездоленные и угнетенные.

Прокламация Тудора Владимиреску, содержащая вдохновенный призыв к борьбе против всех угнетателей валашского народа, всколыхнула население не только во всей Валахии, но и в Молдавии. Отовсюду бежали к Тудору Владимиреску арнауты, пандуры и крестьяне, и вскоре многочисленные его отряды двинулись на Бухарест, подавляя встречаемое ими на пути сопротивление.

Вот как писал об этом событии Пушкин в письме из Кишинева, адресованном, как полагают, В. А. Давыдову, в первой половине марта 1821 года:

«Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы.

«Греция восстала и провозгласила свою свободу. Теодор Владимиреску, служивший некогда в войске покойного князя Ипсиланти, в начале февраля нынешнего года вышел из Бухареста с малым числом вооруженных арнаутов и объявил, что греки (sic!) не в силах более выносить притеснений и грабительств турецких начальников, что они решились освободить родину от ига незаконного, что намерены платить только подати, наложенные правительством. Сия прокламация встревожила всю Молдавию. Князь Суццо и русский консул напрасно хотели удержать распространение бунта — пандуры и арнауты отовсюду бежали к смелому Владимиреску — и в несколько дней он уже начальствовал 7000 войска» (XIII, 22).

Прокламация Тудора Владимиреску, призывая народ к борьбе против «господ церковных и политических», обещала дать народу право избирать начальников из своей среды и рядом с «кровопийцами-начальниками» называла и «тиранов-бояр», добро и имущество которых «могут быть разграблены, но не захвачены в частные руки, так как мы обещали забирать их добро только для общественной пользы».⁵

⁴ Об отравлении Александра Суцу говорит Пушкин в упомянутом отрывке о греческой революции. Против достоверности этого сообщения высказался В. И. Селинов в статье «Комментарии к отрывку из „Журнала греческого восстания“, писанного Пушкиным в 1821 году» («Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, Л., 1930, стр. 66). Однако румынские источники подтверждают версию Пушкина (см.: А. Д. Хенорол. *Istoria Românilor din Dacia Traiana*, vol. X. Ed. 3, стр. 29; С. Д. Агическу. *Istoria revoluțiunii române dela 1821*. Craiova, 1874, стр. 82).

⁵ История Румынии, стр. 253. Текст прокламации Тудора Владимиреску стал известен в Ессарабил уже в начале марта 1821 года. Это видно из письма П. И. Пестеля к П. Д. Киселеву из Скулян от 3 марта 1821 года (см.: А. П. З а б л о ц к и й - Д е с я т о в с к и й. Граф П. Д. Киселев и его время, т. IV. СПб., 1882, стр. 10).

Бояр, имущество которых стало подвергаться уничтожению и разграблению восставшим народом, охватило смятение. Против отряда Владимиреску были отправлены наемные войска арнаутов, но бóльшая их часть перешла к восставшим.

В то время как Тудор Владимиреску победоносно шел из Малой Валахии к Бухаресту, Александр Ипсиланти вступил в Молдавию. Первая его прокламация содержала намек на обещанную поддержку России. Почти не встретив на своем пути сопротивления, Ипсиланти прошел без боя всю Молдавию и Валахию и в марте подошел к Бухаресту, уже занятому войсками Тудора Владимиреску.⁶ Здесь выяснилось различие целей обоих предводителей. К главным угнетателям румынского народа, против которых шел Тудор Владимиреску, принадлежали греки-фанариоты, интересы которых защищал Ипсиланти, и потому все попытки последнего восстановить прежний союз успеха не имели.

Весть о разногласиях между Тудором Владимиреску и Александром Ипсиланти достигла Кишинева к началу апреля. 2 апреля 1821 года Пушкин, еще не очень точно осведомленный о сущности движения Владимиреску, записал в своем дневнике: «С крайним сожалением узнал я, что Владимиреску не имеет другого достоинства, кроме храбрости необыкновенной — храбрости достанет и у Ипсиланти» (XII, 303).

Встреча Тудора Владимиреску с Александром Ипсиланти в окрестностях Бухареста явилась поворотным пунктом всей истории гетерии. Этот полный драматизма момент, решивший участь греческого восстания, к сожалению, не нашел отражения в тех отрывках из журнала греческого восстания Пушкина, которые дошли до нас. Однако, зная о внимании к этому событию, которое уделили в своих воспоминаниях современники Пушкина — писатель А. Ф. Вельтман и военный историк И. П. Липранди, кажется невероятным, чтобы Пушкин мог пройти мимо такого важного и красочного эпизода, не коснувшись его более подробно в своих записях. Но записи о нем, если они были, до нас не дошли.

Вот как описывает восстание Тудора Владимиреску в своих бессарабских воспоминаниях А. Ф. Вельтман, ясно представлявший себе его цель и значение: «В то время (т. е. в начале 1821 года, — *Е. Д.-М.*) в Валахии возникло уже восстание. В голове его был некто Федор Владимиреско, командовавший во время войны русских с турками отрядом пандур. Но целью этого восстания было избавление себя от ига фанариотов, назначаемых в князя Молдавии и Валахии. Покуда Порты назначала Калимахи господарем Валахии по смерти Александра Суццо, Владимиреско овладел уже всю Малою Валахией. Никто не предвидел, чтоб эта искра была началом етернии... и имела те последствия, которые совершились на глазах наших». Далее, подчеркивая отличие целей Тудора Владимиреску от целей гетеристов, Вельтман писал: «Вместо того, чтобы соединиться с Ипсиланти, он отвечал ему: „Ваша цель совершенно противоположна моей. Вы подняли оружие на освобождение Греции, а я — на избавление своих соотечественников от греческих князей. Ваше поле не здесь, а за Дунаем; вы боритесь с турками, а я буду бороться с злоупотреблениями“».⁷

⁶ В так называемом «письме к В. Л. Давыдову» от марта 1821 года из Кишинева, цитированном выше, Пушкин писал: «Ипсиланти идет на соединение с Владимиреско. Он называется Главнокомандующим северных греческих войск и уполномоченным Тайного правительства» (XIII, 23).

⁷ Л. Майков. Пушкин, СПб., 1899, стр. 116, 119. В другом месте, в повести «Радой», Вельтман вкладывает в уста Тудора следующие слова, обращенные к Ипси-

В результате безуспешных переговоров с вождем восставших пандуров Александру Ипсиланти пришлось отойти от Бухареста к Тырговиште. С тех пор оба движения стали развиваться самостоятельно.

Раздор, возникший между двумя предводителями, был умело использован турками, которые вступили в Валахию и подошли к Бухаресту, вынудив Тудора Владимиреску оставить его. Опасаясь, однако, его примирения с гетеристами, турки вступили с ним в переговоры, обещая в случае разгрома гетерии облегчить участь румынского населения и избавить Валахию от ига фанариотов. В то же время стало известно об отказе русского царя поддержать восставших греков. Колебания Владимиреску и его переговоры с турками стали известны Александру Ипсиланти. Объявив Тудора Владимиреску изменником общему делу, он приказал схватить вождя пандуров и доставить его в Тырговиште. Там без всякого суда Тудор Владимиреску был предательски и зверски умерщвлен: ночью на берегу Дымбовицы он был изрублен саблями гетеристов, обезглавлен и тело его было брошено в волны реки. Так кончилось восстание Тудора Владимиреску, явившееся одним из главных этапов в истории борьбы румынского народа за свою независимость. Но сабли гетеристов, зарубившие народного героя Валахии, «подрубили тот сук, на котором только и могло держаться движение греческих гетеристов на румынской территории. Турецким войскам... не трудно было уже расправиться с разрозненными отрядами гетеристов, не встречавших поддержки местного румынского населения».⁸

Предательское убийство вождя национально-крестьянского восстания против угнетателей Валахии оставило глубокий след в памяти народа. Осиротевшие пандуры тотчас после смерти Тудора Владимиреску составили песню, которая в аллегорических выражениях говорила о трагической судьбе их героя. Песня эта, подхваченная народом, пользовалась необыкновенной популярностью не только в Валахии, но и в Молдавии, откуда она в несколько измененном виде перешла в Бессарабию. Там, зазвучав на улицах Кишинева и в домах бояр в исполнении хоров цыганских оркестров, она сразу же привлекла к себе внимание Пушкина. Свидетельство об этом сохранилось в бессарабских воспоминаниях И. П. Липранди. Пополняя сведения П. И. Бартенева о народных песнях, занимавших Пушкина в Кишиневе, Липранди писал: «... мне удивительно, что я не встретил в помянутом исчислении двух современных исторических, народом сложенных песен, которые, как мне близко известно, в особенности занимали

ланти: «Ваши враги — турки, а наши — греки-фанариоты; разница видна из ваших и моих прокламаций... Ваше поле в Греции — идите за Дунай, а наше дело спровадить греческих господарей туда же. Здесь им не место — довольно им собирать *джмю* (десятину, — *Е. Д.-М.*) с княжеств; пусть идут под ваше знамя освободить Грецию от ига и избавить нас от своего ига. Что мы за ферма для вас! У вас есть свои земли и рабы — дерите с них хоть три кожи!» («Сын отечества», 1839, ч. VI, стр. 134—135). И. П. Липранди подробно описывает этот разговор в своей неизданной статье «Капитан Йоргаки Олимпот» (рукопись в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина в Москве; шифр: Вельт. III.16.10).

⁸ Н. С в и р и н. Пушкин и греческое восстание. «Знамя», 1935, кн. 11, стр. 223. Оценка восстания Тудора Владимиреску и его значение правильно даны одним из первых русских историков Румынии, С. Н. Палаузовым. Он писал: «Владимиреску с увлечением принял сторону этеристов, не зная вполне их намерений и цели. Видя в их восстании общее возрождение народностей, он мнил принять на свою долю роль двигателя народности румынской, и лишь только заметил свою оплошность, поспешил отделиться от них и поставить себя в независимое положение от Ипсиланти... Он пал жертвою измены, но стремления, высказанные им, не вымерли вместе с его смертью: они возвратили княжествам их туземных господарей и, позже, еще с большей силой откликнулись в народном перевороте 1848 года» (С. Н. Палаузов. Румынские господарства Валахия и Молдавия. СПб., 1859, стр. 184).

Александра Сергеевича. Первая, из Валахии, достигла Кишинева в августе 1821 года; вторая — в конце того же года. Куплеты из этих песен непрерывно слышны были на всех улицах, а равно исполнялись и хорами цыганских музыкантов. Кто из бывших тогда в Бессарабии и особенно в Кишиневе не помнит непрерывных повторений: „Пом, пом, пом помие-рами, пом“ и „фронзе верде шалала, Савва Бим-баша?“ Первая из них сложена аллегорически на предательское умерщвление главы пандурского восстания Тодора Владимирески, по распоряжению князя Испиланти в окрестностях Тырговиста... Александр Сергеевич имел перевод этих песен; он приносил их ко мне, с тем, чтобы поверить со слов моего арнаута Георгия. Но в декабре 1823 года, бывши в Одессе, Пушкин сказал мне, что он не знает, куда девались у него эти песни, и просил, чтобы я доставил ему копию с своего перевода; в январе 1824 года, опять приехавши в Одессу, я ему их передал».⁹

Переводы валахских народных песен и их возможная литературная обработка поэтом не были найдены в бумагах Пушкина. В 1939 году в Румынии в моей статье «Puşkin și refugiații Eteriei la Chişinău»¹⁰ я впервые обратила внимание румынских литературоведов на ценное как для пушкинистики, так и для румынского фольклора свидетельство Липранди, указывающее на бытование в 1821 году румынской народной песни о Тудоре Владимиреску с припевом: «Пом, пом...». Такой песни в румынских фольклорных записях не оказалось. Румынские песни с тем же припевом, но включенным в иную тему, были впоследствии опубликованы как возможные оригиналы песен, интересовавших Пушкина.¹¹ И лишь недавно в архиве Липранди в Ленинграде были найдены М. П. Легавкой те самые записи народных песен Валахии, которые сделал Липранди в 1821 году для себя и для Пушкина.¹²

Являясь ценным вкладом в изучение неосуществленных замыслов Пушкина в Кишиневе, записи Липранди обогащают также историю румынского фольклора, являясь одной из первых записей румынских народных песен.¹³

Публикуя рукопись Липранди, мы ограничиваемся его записью песни о Тудоре Владимиреску, оставляя вторую песню о Бим-баше Савве для отдельной статьи.

⁹ И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. «Русский архив», 1866, № 10, слб. 1407, 1408. Рукопись этой статьи Липранди, хранящаяся в Пушкинском Доме в Ленинграде (ф. 244, оп. 17, № 122), содержит примечание, не вошедшее в печать. Говоря о припевах валахских песен, Липранди пишет в примечании: «Несомненно, что Вельтман и Горчаков не забыли этих звуков» (л. 101 об.). Известно, что А. Ф. Вельтман упомянул о припеве «Пом, пом...» в своих произведениях «Странник» (ч. III, М., 1832, стр. 131) и «Радой» («Сын отечества», 1839, ч. VII, стр. 126).

¹⁰ «Artă și Tehnica grafică», Bucureşti, 1939, caietul 9, стр. 25, 28.

¹¹ См.: Г. Ф. Богач. Оригиналы народных валахских песен, переведенных Пушкиным в Кишиневе. «Ученые записки Института истории, языка и литературы Молдавского филиала Академии наук СССР», т. IV и V, серия филологическая, 1955, стр. 206—224; V. Ciobanu. A. S. Puşkin și literatura română. «Relații ruso-române în trecut», Bucureşti, 1957, стр. 120—122.

¹² ЦГИАЛ, ф. 673, оп. 1, ед. хр. 309, л. 7 об. К сожалению, работа М. П. Легавки об этих рукописях не появилась в печати. При дальнейших исследованиях в фонде Липранди нами был найден и черновой автограф его записей обеих песен с переводами и примечаниями (там же, ед. хр. 295). Транскрипция нескольких румынских слов в этом черновике оказалась более правильной, чем в публикуемой беловой рукописи, что позволяет внести в текст последней некоторые уточнения (см. ниже) (ср. замечания Л. Л. Аксеновой в статье «Пушкин и молдавская народная песня» в сб.: Пушкин на юге. Труды Пушкинских конференций Кишинева и Одессы. Кишинев, 1958; автор определяет песню о Т. Владимиреску почему-то как «сатирическую». — Ред.).

¹³ Первые сборники румынских народных песен начали появляться лишь в конце 40-х годов прошлого века.

Текст записи Липранди, полностью воспроизводимый ниже, разделен (как видно на прилагаемом снимке) на два столбца: слева — транскрипция русскими буквами подлинного текста песни на «туземном» (т. е. румынском) языке, справа — русский перевод, сделанный, очевидно, самим Липранди с помощью лиц, сообщивших ему песню; за этими текстами следуют примечания к ним, также принадлежащие Липранди.

Текст записи таков:

Народная песня, составленная в 1821 г. по случаю восстания Пандур под предводительством Тодора Владимирески по убийстве его

На туземном языке

Русский перевод

Пом! Пом помераме пом Помераме ку фронзе верде Ши вердяца миссо перде Ом! Ом омираме ом	Дерево! дерево! я был когда-то деревом [Я 5(ыл)] Деревом с зелеными листьями (1) [Че] И зелень моя исчезает. Человек! человек! [я был когда-то человеком]
5 Омие-раме май на инте Ше де траба ше куминте [Анима] Хай [А]нима хай! Хай [А]нима май на инте	Я был [преж<де>] когда-то человеком Человеком [ра] [с рассудком] разумным. Ну сердце ну! Ну сердце, вперед!
Се скапам де тре куците 10 Хай нима май ла вале (2) Се скапам де стримбатаре Хай нима май ди парте Се скапам де час де морте.	Чтоб избавиться от трех ножей Иди сердце далее Чтоб избавиться от несправедлив<ости> <?> Пойдем сердце еще далее (3) Избавимся смерти
Нуй, нуй, нуй надежде нуй! 15 Нуй надежде де скапаре (4) Ке ням принс ай курсу таре Фи, фи, фи нима фи Фи, нима май коминте (5) Ну трефи аша фьербинте	Нет, нет, нет, надежды нет Нет надежды ее избегнуть Мы попались в сети. Будь, будь, будь сердце будь Будь сердце осмотрительнее Не будь так порывисто
20 Нуй, нуй, нуй порунки нуй, Нуй порунки императаска Се, се ше робаска. (6)	Нет, нет, нет приказа нет! Нет приказа императорского Чтоб быть и пленить.
Апа, апа, апа! (7) Че витур бурата?	Вода, вода, вода! Зачем ты замутилась
25 Че ку синже местиката?	И смешивалась с кровью?

⟨Примечания Липранди⟩

- (1) Зеленый лист вставляется во все почти туземные народные песни.
- (2) [Лавале] Ла-вале — собственно *долина* — употребляется в смысле *вперед*, далее. Это выражает то время, когда народ начал движение из Малой Нагорной Валахии в большую — Надольную.
- (3) Разумеется оставление Бухареста.
- (4) Избегнуть, избавиться от опасности.
- (5) Более осторожный, более благоразумный, более осмотрительный нежели <?> (май — более, еще и т. п.)
- (6) [Ожидали разрешения от императора] Дается понимать, что ни император¹⁴ русский, ни султан турецкий прямо буквально не разрешили действовать.
- (7) Река Дымбовица, на берегу которой предательски [Гетер], по приказанию Ипсиланти, Тодор был изрублен, и туловище брошено в воду. Прилагаются ноты оригинального напева этой песни.¹⁵

Транскрипция текста валашской песни русскими буквами, ее перевод и примечания Липранди требуют некоторых поправок и добавлений. При-

¹⁴ В подлиннике описка: императоратор

¹⁵ Ноты напева в рукописях Липранди не найдены.

(2)

Карадан мене саставилмакы в 1826.
но сурмо возстайе паче дурь над
предводителъ своемъ Тудоре Владимирскы
и по урочамъ его

ни тоу же милое яхалъ — Розумъ розумъ

Помр! Помр померилъ помр (1)
Помраме ку фронсе вьде
Ми вьрдыга мисонере
Омр! Омр Омраме омр
Омр-ране мей теа ните
теа де тьрада ме кузманъ
Хай хитма хитма хитма
Хай хитма хитма хитма
Се сканаръ де тьра кузманъ
Хит хитма хит на вара (2)
Се сканаръ де стримбачере
Хит хитма хит ди перте
Се сканаръ де кася де тьра
куи, куи, куи кадында куи!
Куи кадында де сканаръ (3)
Ка кады прима ай куру тьра
Фри, фри, фри хитма фри
Фри хитма хит Комитетъ (4)
Ку тьрифе аме фьриванд.

- Дерво! Дерво! а бина карда мо
а дерво а вьрдыга дьсманъ (1)
ице вьрдыга мисонере.
Чаробит! Чаробит ~~ице мисонере~~
а бина вьрдыга карда мо Чаробит
ице вьрдыга мисонере.
Ку Сердце ку
Ку Сердце вьрдыга!
Имеа вьрдыга аме мисонере
Иде Сердце вьрдыга (2)
Имеа вьрдыга аме вьрдыга
хитиде Сердце вьрдыга (3)
Имеа вьрдыга аме
Имеа, Имеа, Имеа хитиде хит
Имеа хитиде аме вьрдыга
Имеа хитиде аме хит.
Буде, буде, буде Сердце буде
Буде Сердце аме вьрдыга
Иде буде мисонере

(1) (2) (3) (4) (5) *[Handwritten notes and corrections in small script, including words like 'дерво', 'хитма', 'фронсе', 'кузманъ', 'комитетъ', 'фьриванд']*

Запись И. П. Липранди песни о Тудоре Владимиреску. Первая страница.
Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

зная осведомленность Липранди и правильность передачи им текста песни и ее перевода, необходимо тем не менее отметить некоторые неточности ее русской транскрипции, обусловленные несомненно тем, что запись производилась на слух. Таким образом получилось так, что отдельные слова румынского текста оказались слитыми вместе и, наоборот, одно слово — разбитым на отдельные части. Из подобных неточностей укажем на следующие:

Транскрипция Липранди

помераме (строки 1 и 2)
 миссо перде (строка 3)
 омираме (строка 4) и
 омие-раме (строка 5)
 на инте (строки 5 и 8)
 ди парте (строка 12)
 ай курсу (строка 16)
 Ну трефи (строка 19)
 порунки (строки 20 и 21)

В строке 22 «туземного» текста пропущен глагол «бить» в сослагательном наклонении (сә батә = sǎ batǎ); «быть» в русском переводе — описка, исправленная по черновой рукописи (см. ниже реконструированный текст).

витур бурата (строка 24)
 местиката (строка 25)

Правильная транскрипция

пом ерам еу
 ми се пиерде
 ом ерам еу
 ынаинте
 департе
 ын курса
 Ну пря фи
 порункә

вий турбуратә
 аместекатә

К историческим примечаниям Липранди можно было бы добавить еще одно в пояснение слов песни об «избавлении от трех ножей» (строка 9): согласно некоторым историческим свидетельствам и народному преданию, Тудор Владимиреску был зарублен саблями трех палачей.

Интересно внимание Липранди не только к содержанию записанной им песни, но и к ее напеву, о котором Липранди упоминает в других неизданных рукописях, найденных нами в его бумагах, хранящихся в Ленинграде и в Москве. В одной из них, озаглавленной «События в Придунайских княжествах в 1821 году», описывая гибель Тудора Владимиреску, Липранди пишет:

«Убийство это было поводом сложения народной на валахском языке песни, распространившейся не только что в обеих Валахиях <, но> и в Молдавии, откуда <она> перешла и в Бессарабию. Она слышалась повсюду и напев ее столь же оригинальный, как и сложение; она слышалась по улицам, и часто не только у простолюдинов, но и у более возвышенных классов. „Пом, пом, помиерани пом“ раздавалось со всех сторон. В приложении № 36 песня эта находится как на валахском языке, так и перевод с пояснениями, а равно и ноты напева».¹⁶

В другой рукописи, озаглавленной «Капитан Йоргаки Олимпиот», Липранди говорит:

«Восстание Тодора и смерть его были поводом к сочинению пандурами песни, всей в аллегорических выражениях. Она сделалась народной песней в Малой Валахии, поется также и в Большой Валахии. В Молдавии же некоторые слова переделаны трубадурами того края — цыганами. Музыка ее оригинальна и приятна; песня сия известна под названием То-

¹⁶ Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, архив Н. К. Шильдера, к. 9, № 6, лл. 51 об.—52. Упоминаемое здесь приложение № 36 с нотами напева в рукописи Липранди не найдено.

дора — ничего чаще на улицах в Валахии нельзя слышать, как *Лом, пом*, так называется она на валахском языке. Я полагаю оную довольно любобпытною и прилагаю при конце буквальный оной перевод. Песни Бим Баши Саввы, етеристов и пр. и пр. также весьма оригинальны и отзываются каким-то древним баснословным прстонародным песнопением». ¹⁷

Очевидно, музыкальное восприятие румынских и молдавских песен в значительной мере определяло степень интереса к ним русских, находившихся в Бессарабии в первой половине XIX века. Известно, например, что Пушкина привлекла к себе своей мелодией знаменитая молдавская песня «*Arde-mă, frige-mă*», ставшая песней Земфиры в поэме «Цыганы». Он услышал ее в Кишиневе в исполнении цыганского оркестра боярина Варфоломея и попросил кого-то из своих знакомых записать для него ноты ее напева, который поэт считал «чрезвычайно счастливым» (XIII, 231).

Думаю, что я не ошибусь, высказав предположение, что этим неизвестным любителем музыки, записавшим для Пушкина ноты молдавской песни, был А. Ф. Вельтман. В Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина в Москве сохранились нотные записи молдавских мелодий, сделанные Вельтманом в Бессарабии в 20-х годах прошлого века. ¹⁸ Может быть, тот же Вельтман помог и Липранди запечатлеть в не дошедшей до нас нотной записи мелодию «песни Тудора»?

Пушкина как поэта несомненно привлекала к себе и характерная ритмика народных песен Молдавии и Валахии с их обычным фольклорным хореем, схожим с русским, который впоследствии так волшебю зазвучал в «Сказке о царе Салтане».

По своей художественной форме, образности и ритмике «песня Тудора» примыкает к так называемым «гайдуцким» песням, которые бытовали в фольклоре Молдавии и Валахии вплоть до начала XIX века. Одной из самых характерных черт этих песен является постоянное обращение народа к природе: к рекам, горам, лесам, растениям. Близость народа, особенно гайдуков, к лесу выражается в обычном зачине почти всех народных песен Молдавии и Валахии: «Фрунзе верде» (лист зеленый). Типично в них также сравнение сильного человека с деревом (чаще всего с дубом или сосной, в песне о Тудоре — с фруктовым деревом).

Все эти элементы румынского народного творчества содержит в себе и песня о Тудоре (или «песня Тудора»), сложенная воинственными пандурами, которые по существу мало отличались от легендарных гайдуков. ¹⁹ Так, например, в гайдуцких песнях, сложенных на родине Тудора Владимиреску, в Малой Валахии (Олтении), можно встретить те же заключительные строки из «песни Тудора» о реке, окрашенной кровью. Буквально повторяется обращение к реке с вопросом, отчего она замутилась и смешалась с кровью, только вместо обращения к водам безымянной реки, под которой в песне о Тудоре подразумевается Дымбовица, называется река Олт, волны которой полны кровью гайдуков.

¹⁷ Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Вельт. III.16.10. Перевод песни при этой рукописи не оказался; см. его в рукописи ЦГИАЛ, указанной выше.
¹⁸ Вельт. I.36.16; см. также А. Кидель. А. Ф. Вельтман. (1800—1870). «Днепр», 1957, № 3, стр. 136.

¹⁹ В румынских народных песнях слово «пандур» часто употреблялось в смысле «гайдук» (см.: I. Neacșu Oastea pandurilor condusă de Tudor Vladimirescu în răscăală din 1821. «Studii și referate privind istoria României», t. IIa, București, 1954, стр. 1005, примеч. 2). В народной песне Олтении «Жианул» гайдуки прямо названы пандурами (см.: V. Alexandri. Poezii populare. București, 1956, стр. 119—121).

В одной из таких песен мы узнаем строки 24 и 25 из песни о Тудоре в следующем обращении к реке Олт (для удобства сравнения привожу румынский текст в русской транскрипции):

Че вий маре турбурат
Ши ку сынже аместекат?²⁰
(Отчего сильно замутился
И смешался с кровью?)

В другом варианте слово «маре» заменено словом «аша» (так, такой).²¹ Сопоставление этих песен с песней о Тудоре дает возможность внести исправление в строку 24 записи Липранди, в которой из-за явного пропуска утрачен ритм. Если предположить, что пропущенным словом в этой строке было либо «маре», либо «аша», то ритм восстанавливается.

У Липранди	Восстановленный текст
24 Че витур бурата?	Че вий маре (или «аша») турбуратэ
25 Че ку синже местиката?	Ши ку сынже аместекатэ?

В народных песнях Молдавии и Валахии, известных под названием «дойна», можно встретить то же обращение к своему сердцу, которое повторяется в строках 7, 8, 10, 12, 17, 18 «песни Тудора». В дойнах чаще всего сердце призывается к терпению. Иногда этот призыв облечен в ту же форму, что и в «песне Тудора».

В дойне	У Липранди
Фи, инимэ, рэбдэтоаре! ²² (Будь, сердце, терпеливо!)	Фи нима май коминте! (Будь, сердце, осмотрительнее!)

С другой стороны, призыв к сердцу из «песни Тудора», в котором звучит стремление «избавиться от несправедливости», мы встречаем в несколько измененном виде в знаменитой народной песне Олтении «Жианул» (см. примеч. 19). В ней Гайдук теми же словами погоняет своего гнедого, «чтобы избавиться от горя».

Обращение к своему сердцу характерно и для ранних поэтов Валахии (конца XVIII и начала XIX века). Из них Янку Вэкэреску был горячим сторонником движения Тудора Владимиреску. Из-под его пера вылилась в 1821 году патриотическая революционная ода, озаглавленная «Glasul poroşului sub despotism» («Голос народа под игом деспотизма»), которая начиналась следующим призывом:

Răsccoală-te, inima mea, din a răbdării boală!
Grozav, grozav ai suferit! grozavă te răsccoală!²³
(Встань, сердце мое, с одра терпения!
Тяжко, тяжело ты страдало! страшным будет твое
возмущенье!)

Вместе с тем призыв из «песни Тудора»: «Иди, сердце, вперед!» (строка 8) звучит в тоне греческой военной песни, распевавшейся

²⁰ Antologie de literatură populară, vol. I. Bucureşti, 1953, стр. 73; см. также: V. Alexandri, ук. соч., стр. 228.

²¹ См.: С. Мăciuşă-Die. Cîntece de pe jiu. Bucureşti, <1957>, стр. 19; см. также: G. D. Teodorescu. Poezii populare române. Bucureşti, 1885, стр. 320.

²² Antologie de literatură populară, vol. I, стр. 14; V. Alexandri, ук. соч., стр. 186.

²³ Antologia poeziei româneşti. Bucureşti, 1954, стр. 96.

в 1821 году в Молдавии и Валахии восставшими гетеристами. Эта знаменитая песня греческого поэта Ригаса, написанная в 1797 году в подражание «Марсельезе», начиналась теми же словами:

Вперед, дети Греции!
День славы наступил!²⁴

Известно, что разноплеменная армия гетеристов включала в себя и отряды валахов, а после смерти Тудора Владимиреску часть его пандур перешла к Ипсиланти. Можно предположить, что валахи были в этой армии лучшими песенниками и составителями военных песен. Их мелодичный язык поддавался любому размеру и легко укладывался в рифмы, причем вполне объяснимы были заимствования отдельных образов и лозунгов из существовавших греческих песен. История войн, особенно гражданских, указывает на случаи, когда народные составители военных песен переделывали на свой лад песни не только союзников, но и противников.

О том, что припев «Пом, пом, пом, пом ерам еу, пом», входил в состав песен гетеристов, говорит румынский поэт Д. Болинтиняну в статье о прошлом румынской поэзии.²⁵ Приведенный им отрывок из одной такой песни охарактеризован как «марш, выражавший чувства иноземных воинов, пришедших сражаться против турок». В этом отрывке находятся три строки из «песни Тудора» (1, 2, 3).²⁶

Об этом же свидетельствуют два румынских фольклорных сборника, в которых целые строфы из «песни Тудора» приводятся как составная часть песни гетеристов.

В сборнике известного румынского фольклориста Антона Панна помещена его переделка такой песни на шуточный лад, вложенная в уста заики.²⁷ В ней, рассказывая о кровавых событиях гетерии, заика сообщает, что гетеристы оставили после себя песенку, составленную из пяти куплетов; из них три являются не чем иным, как строками 1—6 и 14—16 из «песни Тудора».

Еще большее количество строк из «песни Тудора» (1—6, 8—9, 11—12) входит в запись другого румынского фольклориста, Г. Д. Теодореску, озаглавленную «Песня гетеристов или гетеристов Ипсиланти в 1821—1822 годах». Запись была произведена в 1884 году со слов румынского певца-«лаутаря» из Браилы.²⁸

Таким образом, мы видим, что зачин «песни Тудора» (строки 1—3) сохранился в трех фольклорных записях песен с другим содержанием (в статье Болинтиняну, в сборнике Панна и в сборнике Теодореску), строки 4—6 из «песни Тудора» сохранились в двух записях (Панна и Теодореску), строки 14—16 — только у Панна и, наконец, строки 8, 9, 11, 12 — только у Теодореску. Заключительные две строки «песни Тудора» (строки 24—25) можно найти в нескольких гайдуцких песнях и дойнах Малой Валахии, разбросанных по разным сборникам. По-видимому, со-

²⁴ См. дословный перевод песни Ригаса на французский язык в книге: A. Stourdza. L'Europe Orientale. Paris, 1913, стр. 279, примеч. 1 («Allons enfants des Hellènes! Le jour de gloire est arrivé»).

²⁵ D. Bolintineanu. Poezia română in trecut. «Albina Pindului», 1868, № 3, стр. 90; ср.: Г. Ф. Богач, ук. соч., стр. 207.

²⁶ Ср. выше примеч. 9 — упоминание об этом припеве в произведениях А. Ф. Вельмана «Странник» и «Радой».

²⁷ A. Pann. Poezii populare, I. București, 1846, стр. 84—97; ср.: Г. Ф. Богач, ук. соч., стр. 210; V. Ciobanu, ук. соч., стр. 121.

²⁸ G. D. Teodorescu, ук. соч., стр. 487; ср.: Г. Ф. Богач, ук. соч., стр. 212—213; V. Ciobanu, ук. соч., стр. 121.

ставляя песню на смерть своего вождя, пандуры использовали для аллегорической части песни разнородные элементы, входившие в румынский фольклор и в военные песни валахов-гетеристов. Прием этот является характерным для составителей народных песен.²⁹

В румынском фольклоре сохранилось несколько песен, посвященных Тудору Владимиреску и связанных с его национально-крестьянским восстанием. Из них одна является довольно близкой по содержанию к песне, записанной Липранди. В ней тоже речь идет о гибели Тудора, который рассказывает своей матери приснившийся ему сон, предвещающий козни врагов и смерть. Упоминание о «злых сетях» несколько напоминает строку 16 из «песни Тудора».³⁰

Большинство песен, связанных с движением Тудора Владимиреску, говорит о стремлении пандуров освободиться от помещичьего гнета. Песни эти перекликаются с молдавскими песнями того времени, из которых особенно схожей с песнями Валахии является песня с характерным окончанием:

Лист зеленый, молочай,
Подойдет, настанет май,
Выйду в степь я, так и знай
В плуг я десять лошадей
Запрягу тогда, ей-ей.
Поле то, что всех милей,
Выберу и поведу
Ох, и злую борозду —
До порога богатея
Через всё село дойду!³¹

Интерес Пушкина к тексту и переводу «песни Тудора» и, по-видимому, его знакомство с примечаниями к ней Липранди дают нам право предположить, что поэт намеревался приобщить к русской поэзии этот интересный памятник народного творчества Валахии.

Оригинальность и лиричность песни, передающие душевное смятение вождя пандуров перед неизбежностью надвигающейся гибели, обращение певца к окровавленным водам Дымбовицы, без слов говорящее о совершенном злодействе, не могли не заинтересовать Пушкина. Привлекал его и легендарный образ борца за народное дело — Тудора Владимиреску, даже если социальная сущность и классовые противоречия между возглавленным им восстанием и движением гетеристов были Пушкину неясны.

Впрочем, неясны они были вначале не только Пушкину. Большинство его русских современников рассматривало восстание Тудора Владимиреску как ветвь греческого движения. Отсюда неточность в письме Пушкина о Тудоре Владимиреску, который, по словам поэта, «объявил, что греки не в силах более выносить притеснений и грабительств турецких начальников» (XIII, 22).

Главные сведения о гетерии и о восстании Тудора Владимиреску Пушкин черпал, по-видимому, от И. Н. Инзова и его чиновников, получавших

²⁹ Проспер Мериме, характеризуя сербских гусяров, пишет: «... большинство гусяров повторяют старые песни или самое большее — сочиняют подражания, заимствуя стихов двадцать из одной баллады, столько же из другой и связывая всё это при помощи скверных стихов собственного изобретения» (см. заметку Пр. Мериме «о старом гусяре Иакинфе Маглановиче», помещенную Пушкиным в примечании к «Песням западных славян», — III, 365, 1311).

³⁰ Antologie de literatură populară, vol. I, стр. 554—555.

³¹ П. Ковчегов и В. Коробан. Общественно-политические и литературно-критические воззрения Алеку Руссо, Кишинев, 1953, стр. 7; см. румынские варианты у Г. Д. Теодореску (G. D. Teodorescu, ук. соч., стр. 289).

рапорты о событиях от русских консулов из Молдавии и Валахии. На основании их Инзов писал свои донесения в Петербург. В одном из его донесений проскальзывает мысль о том, что целью Тудора Владимиреску было намерение привлечь греков «на защиту народа от угнетения».³²

Рапорты консулов о Тудоре Владимиреску полны неточностей. Так, например, в июле 1821 года русский консул в Валахии Пини писал Инзову из Германштадта о том, что Владимиреску хотел напасть на Ипсианты и за это был схвачен и казнен.³³

Другим источником сведений Пушкина о событиях гетерии был несомненно Липранди, которому русская военная разведка поручила надзор за перебегающими гетеристами.³⁴ После разгрома гетерии Пушкин получил возможность собирать самые точные и подробные данные как о гетерии, так и о восстании Тудора Владимиреску от их бывших участников, нашедших убежище в Бессарабии. По свидетельству Липранди, Пушкин часто встречал их у него «и находил большое удовольствие шутить и толковать с ними». Среди собеседников Пушкина Липранди называет и тех, кто имел непосредственное отношение к Тудору Владимиреску: его сподвижников братьев Македонских и его палача Василия Каравью.³⁵

Сам Липранди умело использовал свое знакомство с участниками событий 1821 года. Из частых бесед с ними он умел извлекать то, что ему было нужно. Эти ежедневные беседы, как вспоминал позже Липранди, «не ограничивались одной обменой слов; многие эпизоды были изложены мне письменно на сербском, греческом, французском и других языках».³⁶

Материалы о гетерии, собранные Липранди в Кишиневе в 1821 году, были им значительно пополнены во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов, когда ему было поручено формирование отряда добровольцев из бывших пандуров Тудора Владимиреску. В рукописях Липранди сохранилась заметка о том, что о судьбе Тудора Владимиреску он опросил более пятидесяти человек, принимавших участие в событиях 1821 года. Показания бывших сподвижников Тудора Владимиреску были использованы Липранди в очерке о восстании и гибели Тудора Владимиреску, который должен был войти в обширный труд Липранди по истории Турции. Труд этот был подготовлен к печати в половине 30-х годов прошлого века, но так и не был издан. «Гаммер, издавая в свет многотомное сочинение свое „Оттоманская империя“, никак бы не мог вообразить, что в России готов уже гигантский соперник его труда под тем же заглавием, — сообщал «Мо-

³² Инзов писал: «Владимиреско... издал прокламацию к народу и отправил к Порте особую просьбу на князя и главных чиновников, при нем находившихся, и на перво-степенных бояр валахских... достоверно полагать можно, что все цели сего вооружения клонились к возбуждению греков на защиту народа от угнетения» (В. И. Селинов. Из истории национально-освободительной борьбы греков и румын в начале XIX века. «Новый Восток», 1928, кн. 20—21, стр. 344). П. И. Пестель, тоже несомненно служивший одним из источников сведений Пушкина о гетерии, писал П. Д. Киселеву, что Владимиреску — греческого происхождения, и сообщал, что русский консул в Валахии Пини в своей депеше Александру I назвал Тудора Владимиреску карбонарием (см.: А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. IV, стр. 10). Ср. слова Пушкина в письме к В. А. Давыдову о том, что «князь Суццо и русский консул напрасно хотели удержать распространение бунта» (XII, 22).

³³ См.: В. И. Селинов, ук. соч., стр. 346.

³⁴ См.: «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1877, кн. 3, стр. 53.

³⁵ И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. «Русский архив», 1866, № 10, стлб. 1410, 1408. О братьях Македонских и об участии Каравьи в убийстве Владимиреску Липранди подробно рассказывает в одной из своих неизданных рукописей (см. примеч. 16).

³⁶ И. П. Липранди. Восточный вопрос и Болгария. «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1868, кн. I, отд. III, стр. 124.

сковский наблюдатель» в 1837 году. — Извещаем об этом наших ученых не по слуху, ибо мы сами видели это огромное сочинение И. П. Липранди, плод семнадцатилетнего исторического изучения посреди самого края, почти готовый уже к изданию». ³⁷

Что могло быть причиной того, что такой ценный труд русского военного историка остался под спудом и лишь отдельные отрывки из него появились в разное время в печати? Был ли тут скрытый саботаж со стороны влиятельных тогда в России иностранцев, старательно замалчивавших достижения русских специалистов? Явилось ли противоречием официальной точке зрения сочувственное отношение Липранди к революции и личности Тудора Владимиреску?

Так или иначе, но от монументального труда Липранди, подготовленного к изданию, остались лишь разбросанные по архивам черновики и отрывки рукописей, тщательное исследование которых может привести к самым неожиданным находкам, проливающим свет не только на жизнь и творчество Пушкина, но также и на те страницы русско-румынских отношений, которые недостаточно или неправильно были освещены официальной историей.

Высокую оценку исторических трудов Липранди, связанных с историей Молдавии и Валахии, дал Пушкин в не напечатанном им примечании к «Цыганам»:

«Бессарабия, известная в самой глубокой древности, должна быть особенно любопытна для нас:

*Она Державиным воспета
И славой русскою полна.*

Но донныне область сия нам известна по ошибочным описаниям двух или трех путешественников. Не знаю, выйдет ли когда-нибудь *Историческое и статистическое описание оной*, составленное И. П. Липранди, соединяющим ученость истинную с отличными достоинствами военного человека» (XI, 22).

Творчество поэта не всегда согласовалось с теми историческими оценками деятелей гетерии, которых придерживался Липранди. Так, вопреки отрицательным сведениям о гетеристе Йордаки Олимпиоте, которыми располагал Липранди, Пушкин намеревался сделать Олимпиота героем своей незавершенной поэмы о гетеристах. Известно также нелестное мнение Липранди о другом пушкинском герое — Кирджали. Но вряд ли могло существовать между ними разногласие по поводу Тудора Владимиреску. Если у Пушкина было намерение приобщить к русской поэзии текст песни о Тудоре, данный ему Липранди, то, конечно, образ народного героя Валахии вставал в его воображении как один из тех ярких образов балканских удалцов и гайдуков, которые, промелькнув перед ним в Бессарабии, отразились потом в «Песнях западных славян» и «Кирджали». И если до нас не дошло поэтическое оформление Пушкиным этой народной песни, причину этому следует, по-моему, искать в том, что яркая личность борца за независимость Валахии, вождя национально-крестьянского восстания Тудора Владимиреску была несомненно гораздо более революционной, чем все остальные балканские герои Пушкина. Это обстоятельство, а также странная аллегоричность «песни Тудора», которую при желании можно было истолковать по-разному, могли явиться причинами ее уничтожения Пушкиным в 1825 году в числе его остальных кишиневских рукописей.

³⁷ «Московский наблюдатель», 1837, ч. X, декабрь, кн. II, стр. 239.

Внимание Пушкина к песне о Тудоре свидетельствует о его раннем интересе к теме народных восстаний и к образам их вождей, отраженным в народном творчестве. Интерес этот был, как известно, углублен Пушкиным при изучении им пугачевского движения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ О ТУДОРЕ ВЛАДИМИРЕСКУ

(Реконструированный текст)

Перевод

Rom, rom, rom eram eu, rom.
Rom eram cu frunza verde
Și verdeața mi se pierde.

Om, om, om eram eu, om.
Om eram eu mai nainte
Și de treabă și cu minte.

Hai, inimă, hai!
Hai, inimă, mai nainte
Să scăpăm de trei cuțite.

Hai, inimă, mai la vale
Să scăpăm de strîmbătare.

Hai, inimă, mai departe
Să scăpăm de ceas de moarte.

Nu-i, nu-i, nu-i nădejde, nu-i.
Nu-i nădejde de scăpare,
Că ne-am prins în cursă tare.

Fi, fi, fi, inimă, fi.
Fi, inimă, mai cuminte,
Nu prea fi așa fierbinte.

Nu-i, nu-i, nu-i poruncă, nu-i.
Nu-i, poruncă împărătească
Să <te bată> și robească.

Apă, apă, apă.
Ce vii <mare> turburată
Și cu sânge amestecată?

Фруктовым деревом был я, фруктовым деревом.
Фруктовым деревом был с зеленой листвою,
И зелень моя пропадает.

Человеком я был, человеком.
Человеком был я прежде
Порядочным и разумным.

Иди, сердце, иди!
Иди, сердце, вперед,
Чтобы избавиться от трех ножей.

Иди, сердце, дальше в долину,
Чтобы избавиться от несправедливости.

Иди, сердце, еще дальше,
Чтобы избавиться от часа смерти.

Нет, нет, нет надежды, нет.
Нет надежды на избавление,
Мы крепко попались в сети.

Будь, будь, будь, сердце, будь.
Будь, сердце, осмрительнее,
Не будь таким пламенным.

Нет, нет, нет приказа, нет.
Нет приказа императорского,
Чтобы тебя бить и пленить.

Вода, вода, вода.
Отчего сильно замутилась
И смешалась с кровью?



М. И. ГИЛЛЕЛЬСОН

ПИСЬМО А. Х. БЕНКЕНДОРФА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ О «МОСКОВСКОМ ТЕЛЕГРАФЕ»

Оппозиционное направление «Московского телеграфа» вызывало резкое недовольство Бенкендорфа и Николая I. Правительство с тревогой следило за крамольными высказываниями журнала Полевого, а доносы Булгарина подливали масла в огонь.¹ Однако до сего времени не была известна непосредственная реакция правительственных кругов на эти доносы. Между тем такой документ существует. Среди бумаг Остафьевского архива, находящихся в настоящее время в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве, хранится копия конфиденциального письма Бенкендорфа к П. А. Вяземскому по поводу «Московского телеграфа».²

На обложке письма рукой графа С. Д. Шереметева надписано: «Из архива графа П. А. Валуева» и «Копия снята с оригинала, сообщенного мне графом Николаем Петровичем Валуевым. Май. 1894. СПб.». На полях первой страницы письма сделаны пометы: «Проект письма к князю Вяземскому. — Представлен государю императору 26 августа 1827 года и высочайше одобрен. Письмо отправлено 31 августа того же года» и «(Письмо рукою графа Бенкендорфа)». Эти пометы сделаны также С. Д. Шереметевым.

Текст письма — без обращения, заключения и подписи, так как он является отпуском, написан по-французски и читается так:

Vous avez voulu connaître mon opinion sur le Télégraphe; je vais vous en faire part et je vous préviens que ce n'est pas seulement la mienne. On trouve qu'il y a dans ce journal des articles intéressants, des observations piquantes et justes: mais il y a aussi des pages dont on dit autre chose. Et ce ne sont pas les fautes de style et de goût, qu'on lui reproche principalement: c'est un certain esprit d'aigreur et de dénigrement, une certaine tendance à avancer et à rappeler des maximes erronées, à exalter des hommes générale-

¹ Еще М. И. Сухомлинов в конце прошлого века опубликовал тексты трех доносов правительству на «Московский телеграф», полученных 19, 21 и 23 августа 1827 года, в которых содержались резкие выпады против Н. А. Полевого и П. А. Вяземского. Автором этих доносов был несомненно Ф. В. Булгарин (М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II. СПб., 1889, стр. 386—391). Вторично эти доносы напечатаны Н. Ф. Дубровиным («Русская старина», 1903, февраль, стр. 259—270) и еще раз — М. К. Лемке в его книге «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.» (изд. 2, СПб., 1909, стр. 255—259). М. К. Лемке не сомневался в авторстве Булгарина.

² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2410, лл. 1—4. Отрывок из этого письма опубликован в моей статье «Вяземский-критик» в «Истории русской критики» (т. I, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1958, стр. 236—237).

ment connus par une opposition violente et presque hostile à leurs gouvernements, enfin (car c'est ce qu'on a cru voir dans quelques passages) de doubles vues et des allusions qui seraient coupables, si la supposition est fondée. Vous allez vous récrier, sans doute, et dire que vous n'êtes pas responsable des interprétations: mais je vous dirai à mon tour, que pour être parfaitement en règle avec sa conscience, il ne suffit pas toujours de n'avoir pas eu de mauvaise intention: les imprudences sont aussi des fautes. Dans un siècle malade d'esprit, comme celui où nous vivons, parfois une idée innocente en elle-même, mais qui, sentie de manière à prêter aux inductions, peut produire de pernicious effets sur la tourbe des lecteurs, et c'est précisément sur cette tourbe que s'exerce l'action des journaux: on se doit à soi-même autant qu'au gouvernement de l'éviter. Ainsi, par exemple, on a remarqué et signalé dans le 1-er N° du Télégraphe page 6, la comparaison de notre littérature avec une rose frappée d'interdiction, et à la page 8, la question: *qu'ont fait les Russes dans le cours de ces deux années?* Or ce sont les années 1825 et 1826: plus bas vous dites: *à la fin de 24, nous espérions avancer en 25; cet espoir a été trompé comme beaucoup d'autres... que d'agréables chimères détruites pendant ces deux années!* Puis vient la citation des vers de Sady, traduits par Pouchkine. Je ne puis croire qu'en faisant cette citation, en parlant d'amis morts ou absents, vous ayez songé à des hommes que la loi a justement frappés; mais d'autres l'ont cru, et je vous laisse à deviner quel effet cette pensée doit produire. Les observations ne se sont pas bornées à cet article: dans votre N° 7, pages 195, 196 et 197, on s'est arrêté sur ce que vous dites *de la prétendue convention ou concordance* <пробел> des idées générales du siècle avec celles de lord Byron. Le talent de Byron est sans doute admirable; mais on sait quel triste usage il en a souvent fait; on sait que ce grand peintre des passions fut toute sa vie dévoré lui-même par des passions sombres et presque haineuses, par une espèce de dégoût altier pour tout ce qui a droit au respect et à l'amour de l'humanité, qu'il fut longtemps l'ennemi déclaré de toutes les institutions existantes, de toutes les croyances reçues, de la morale et de la religion, même de la religion naturelle. On peut donc s'étonner avec raison d'entendre dire que les hommes de notre temps distingués par leurs talents sont tous d'accord avec lui: j'aime à croire que non et au besoin les exemples de Karamzine et de Walter Scott suffiraient pour prouver le contraire. On a également noté dans les N°s 4 et 6, pages 133—150 et 112, 113 et 114, les éloges très exagérés qu'on prodigue à Jean Jacques Rousseau et ces questions de politique et d'économie politique qui sont qualifiées *de sombres problèmes dont la solution tourmente toutes les âmes*. Ces articles, je crois, sont traduits et peut être la traduction n'est elle pas de vous; mais le choix des articles d'emprunt sert aussi à faire juger de l'esprit général d'un recueil. Penserez-vous que toutes ces observations ont été provoquées par quelque ennemi personnel? Je ne le crois pas; au reste, quand cela serait: vous n'ignorez point que tout homme a des ennemis et vous pouvez en avoir plus qu'un autre: en votre double qualité d'ancien auteur de plusieurs satires et de journaliste militant; il faut tâcher de ne pas leur donner des armes contre vous. Mais ce n'est pas seulement la circonspection, la prudence que je vous recommande, quoique la prudence soit aussi un devoir, surtout pour un père de famille; il est un devoir plus sacré, celui de la conscience et de l'honneur. J'ai la conviction intime, que l'honneur, la conscience et la raison s'accordent à vous conseiller, à vous commander impérieusement, non seulement la modération, la soumission, la fidélité, que le gouvernement est en droit d'exiger de nous, mais aussi le respect et la confiance auxquels il a également droit par ses intentions bienveillantes et pures, par les efforts qu'il ne cesse de faire pour atteindre l'objet de tout bon gouvernement: la conservation et l'amélioration de ce qui existe. N'est il pas consolant de penser que tout honnête homme dans sa sphère

d'activité particulière, quelque étroite qu'elle soit, peut en manifestant de bons sentiments, en propageant des idées saines, en entretenant des espérances fondées, contribuer plus ou moins au succès de ces efforts, à l'accomplissement des vues d'un gouvernement qui veut le bien et qui ne veut que le bien. Cette destination quoique modeste, puisqu'elle peut être celle de tout le monde, ne vaut elle pas mieux qu'une réputation éphémère de hardiesse et d'originalité, que ces effets d'un moment qui souvent ont des suites, sinon désastreuses, au moins fâcheuses. Je vous dis donc et vous répète: soyez non seulement prudent et sage, mais utile, réellement utile; avec votre esprit et vos talents, en le dirigeant comme il faut, vous y réussirez facilement. C'est un avis que je vous transmets par ordre supérieur; mais c'est en même temps un conseil d'ami que je vous donne, je le donne au beau-frère de celui qui fut... comment dire?... qui fut presque parfait, puisqu'il n'y a rien de parfait dans ce bas monde. C'est en son nom aussi que je vous ai parlé et je voudrais avoir emprunté son langage, si j'osais me croire capable de l'imiter. Cette communication étant d'une nature confidentielle doit rester entre nous. Elle n'exige pas de réponse; la meilleure de toutes, et j'espère l'avoir, serait cette espèce d'amendement que je désire et que je réclame de vous au nom de tout ce qui vous est cher.

Перевод

Вы хотели знать мое мнение о Телеграфе; я сообщу вам его и предупреждаю вас, что это не только мое личное мнение. Находят, что в этом журнале встречаются интересные статьи, остроумные и справедливые замечания; но есть также страницы, о которых высказываются иначе. И не погрешности против стиля и вкуса вызывают главные возражения: дело заключается в некотором духе едкости и осуждения, в известном стремлении высказывать и напоминать ложные положения, превозносить людей, широко известных по их неустойчивой оппозиции, почти враждебной их правительству; наконец (потому что именно это сочли возможным заметить в некоторых пассажах), двусмысленности и намеки, которые были бы преступными, если бы подобное предположение оказалось справедливым. Вы, без сомнения, будете возражать и скажете, что вы не можете нести ответственность за различные толкования; но я, со своей стороны, вам скажу, что для того, чтобы быть совершенно в ладу со своей совестью, не всегда достаточно не иметь дурного намерения: неосторожность также является виной. В век, духовно больной, как тот, в котором мы живем, порою мысль невинная сама по себе, но выраженная так, что подсказывает разные заключения, может произвести пагубное воздействие на читательскую чернь, а ведь именно на эту чернь распространяется влияние журналов; необходимо избегать этого как ради самого себя, так и ради правительства. Таким образом, замечено, например, и обращено внимание на то, что в № 1 Телеграфа,³ стр. 6, наша литература сравнивается с запретной розой, а на стр. 8 ставится вопрос: что сделали русские в течение двух последних лет? А ведь это годы 1825 и 1826. Ниже вы говорите: в конце 24-го года мы надеялись продвинуться вперед в 25-м; эта надежда была обманута, как и многие другие... Сколько сладостных химер разрушено в течение этих двух лет! Далее цитируются стихи Сади в переводе Пушкина. Я не могу поверить, чтобы вы, приводя эту цитату и говоря о друзьях умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом; но другие сочли именно так, и я предоставляю вам

³ «Московский телеграф», 1827, ч. XIII, отд. I, № 1, стр. 6, 8—9 — в статье «Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 гг. (Письмо в Нью-Йорк к С. Д. П.)».

самому догадываться, какое действие способна произвести эта мысль. Замечания не ограничиваются этой статьей: в вашем № 7,⁴ стр. 195, 196 и 197, обратило на себя внимание то, что вы говорите о *так называемой стачке или согласии* <пробел> господствующих идей века с идеями лорда Байрона. Нет сомнения в том, что талант Байрона замечателен; но известно, какое печальное употребление он часто делал из него, известно, что этого великого живописца страстей всю жизнь пожирали мрачные, почти доходящие до ненависти страсти вследствие своего рода гордого отвращения ко всему, что имеет право на уважение и любовь человечества; что он долгое время был отъявленным врагом всех существующих установлений, всех признанных верований, морали и религии, даже естественной религии. Поэтому можно справедливо удивляться, когда говорят о том, что люди нашего времени, выдающиеся своими талантами, придерживаются его взглядов; я хотел бы верить, что это не так, и в случае надобности было бы достаточно привести примеры Карамзина и Вальтера Скотта, чтобы доказать противное. Также отмечены были в №№ 4 и 6, стр. 133—150 и 112—113, 114, весьма преувеличенные похвалы, расточаемые Жан-Жаку Руссо, политическим вопросам и вопросам политической экономии, определенным как *темные вопросы, разрешение которых волнует всех людей*.⁵ Кажется, что эти статьи переводные и перевод, быть может, сделан не вами; но подбор заимствованных статей также дает возможность судить об общем направлении журнала. Полагаете ли вы, что все эти замечания сделаны каким-нибудь личным врагом? Я этого не думаю; впрочем, когда бы это было и так, вам известно, что у всех людей есть враги и что у вас их может быть больше, чем у кого-либо, в вашем двойном качестве автора многих сатир в прошлом и воинствующего журналиста; нужно стараться не давать им оружия против себя. Но я вам рекомендую не только осмотрительность и осторожность, хотя осторожность также обязательна, особенно для отца семейства; существует еще более священная обязанность: долг совести и чести. Я глубоко убежден, что честь, совесть и разум совместно советуют и настоятельно предписывают вам не только умеренность, покорность и верность, которых от нас вправе требовать правительство, но также уважение и доверие, на которые оно равным образом имеет право благодаря своим благожелательным и чистым намерениям, благодаря своим постоянным усилиям достигнуть цели всякого хорошего правительства: сохранения и улучшения всего существующего. Не утешительно ли думать, что всякий честный человек в своей особой сфере деятельности, какой бы тесной она ни была, может, проявляя добрые чувства, распространяя здравые мысли, поддерживая разумные надежды, способствовать более или менее успеху этих усилий, осуществлению видов правительства, желающего добра и только одного добра. Это назначение, хотя и скромное, раз оно может быть назначением каждого, не больше ли сто́ит, чем эфемерная слава дерзости и оригинальности, чем необдуманные поступки, часто имеющие последствия, если не разрушительные, то по крайней мере прискорбные. Итак, я вам говорю и повторяю: будьте не

⁴ Там же, ч. XIV, отд. I, № 7, стр. 195—197 — в статье П. А. Вяземского «Сонеты Адама Мицкевича».

⁵ Там же, ч. XIII, отд. I, № 2, стр. 112—114 — в статье «Сущность политической экономии», переведенной из Ж. Б. Сея; отд. II, № 4, стр. 133—150 — в статье «Путешествие в Эрменонвиль», переведенной из Франклина. Говоря о «темных вопросах», автор письма имел в виду, вероятно, послесловие Н. Полевого к статье о политической экономии (отд. I, № 2, стр. 120—121).

только благоразумны и осмотрительны, но и полезны, действительно полезны; с вашим умом и вашими способностями, если они будут должным образом направляемы, вы легко этого достигнете. Этот совет я вам передаю по повелению свыше; но в то же время это и совет друга; я даю его шурина того, кто был... как бы выразиться?.. кто был почти совершенным, потому что в этом дольном мире нет полного совершенства. Я говорил вам также и от его имени и хотел бы обладать его языком, если бы осмелился считать себя способным подражать ему. Ввиду конфиденциального характера этого письма оно должно остаться между нами. Оно не требует ответа; самым лучшим ответом — и я надеюсь, что получу его, — было бы то известного рода покаяние, которого я желаю и требую от вас во имя всего, что вам дорого.

Письмо Бенкендорфа не выражает, разумеется, личных взглядов шефа жандармов на литературу и журналистику, выработанных им самостоятельно. Он и не выдает их за свое личное мнение, но намеренным употреблением неопределенной формы и указанием на «повеление свыше» (*ordre supérieur*) прямо намекает на царя. Осведомленность последнего о письме, которое он прочел и санкционировал, несомненна: об этом свидетельствует приведенная выше помета С. Д. Шереметева. Но и Николай I едва ли занимался анализом статей «Московского телеграфа». Ключ к пониманию письма дает один из доносов на журнал, опубликованных М. И. Сухомлиновым. Донос, вероятнее всего принадлежащий, как было отмечено выше, продажному и опытному перу Фаддея Булгарина, послужил материалом для письма, а составителем его мог быть М. Я. фон Фок, отлично владевший французским эпистолярным стилем (чего не имел Бенкендорф) и выполнявший для своего шефа подобные «литературные» поручения.

В самом деле, Булгарин пишет в доносе: «Если со вниманием прочесть замеченные места в первой статье № 1, то ясно обнаружится желание издателя — дать почувствовать читателям, что письмо сие пишется Николаю Тургеневу под вымышленными буквами, явный ропот противу притеснения просвещения, которое называют *запретною розою*, и сожаление о погибших друзьях, на странице 9, было всеми понято и доставило большой ход журналу. В статье все жалуются на два последние года, т. е. 1825 и 1826 — время отлучки Тургенева и ссылки бунтовщиков. Всё так ясно изъяснено, что не требует пояснений».⁶

Есть основания думать, что Вяземский получил возможность ознакомиться с доносом. По крайней мере в написанной в конце 1828—начале 1829 года «Записке о князе Вяземском, им самим составленной», напечатанной впоследствии в полном собрании его сочинений под заглавием «Моя исповедь», есть прямое указание на донос Булгарина: «В мнениях своих, — писал Вяземский, — бывал я неумерен и заносчив за себя, но везде, где только имел случай, старался всегда умерять неводержимость других. Ссылаюсь на письма мои, которые так часто бывали в руках правительства. Сюда идет также опровержение донесения, или просто лживого доноса, представленного нынешнему правительству, о каком-то моем тайном, злонамеренном участии или более — направлении в издании *Телеграфа*».⁷ «Опровержение» Вяземского нам неизвестно. Но ответом на него является публикуемое письмо Бенкендорфа, на что указывают первые слова его («Вы хотели знать мое мнение о Телеграфе»).

⁶ М. И. Сухомлинов, ук. соч., стр. 389. Донос, как сказано, помечен 21 августа 1827 года.

⁷ П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. II, СПб., 1879, стр. 98.

Рассмотрим по порядку, на какие намеки и иносказания в статье «Московского телеграфа» указывал доносчик, а за ним Бенкендорф. Статья «Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 гг. (Письмо в Нью-Йорк к С. Д. П.⁸)» принадлежала Н. А. Полевому;⁹ вставка в нее о погибших друзьях, а также ссылка на перевод Пушкина изречения Саади сделана была П. А. Вяземским.¹⁰ Н. А. Полевой писал:

«Мне выпало: писать к тебе о русской литературе, и признаюсь: выпал жребий не легкий!

«Оно кажется сначала и не так тяжело: со времени двухлетней отлучки твоей, с тех пор, как ты сам перестал быть внимательным наблюдателем литературы отечественной, участь ее мало переменилась. Эта *запретная роза* остается по-прежнему запретною: соловьи свищут около нее, но, кажется, не хотят и не смеют влюбиться постоянно и только рои пчел и шмелей высасывают мед из цветочка, который ни вянет, ни цветет, а остается так, в каком-то грустном, томительном состоянии».¹¹

Сравнение русской литературы с «запретной розой» было в тот момент очень злободневным. В нем был всем понятный намек на стихотворение Вяземского «Запретная роза», помещенное незадолго до этого в «Московском телеграфе» 1826 года.¹² Смысл стихотворения, известный многим современникам, был позднее утрачен и лишь недавно расшифрован М. А. Цявловским, который обнаружил, что оно посвящено неудачному браку Елизаветы Петровны Киндяковой с И. А. Лобановым-Ростовским.¹³ Муж Киндяковой оказался евнухом и садистом, и в 1828 году святейший

⁸ Т. е. к Сергею Дмитриевичу Полторацкому.

⁹ «Н. А. Полевой шутит о *запретной розе* в отношении к русской литературе, в письме ко мне в Нью-Йорк (1) в *Московском телеграфе*, № 1, 1827, отд. I, ч. 13, стр. 6», — свидетельствует С. Д. Полторацкий (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 233 (архив Полторацкого), к. 80, ед. хр. 11, л. 9).

¹⁰ Это явствует из библиографических записей С. Д. Полторацкого (там же, ед. хр. 10, л. 28). Ценность и точность этих записей, содержащих расшифровку анонимных и псевдонимных статей, печатавшихся в «Московском телеграфе», несомненна, ибо Полторацкий был сам сотрудником журнала. Кроме того, как видно из его пометы на первом листе, тетрадки с записями были им даны в конце 1849 года Ксенофону Полевому для просмотра и уточнения: «получено» обратно от Ксенофонта Полевого в субботу 24 декабря 1849, в 11-м часу вечера.

¹¹ «Московский телеграф», 1827, ч. XIII, отд. I, № 1, стр. 6—7.

¹² Там же, 1826, ч. VIII, отд. II, № 5, стр. 3, с подписью: В.

¹³ «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, Л., 1930, стр. 218—222; ср.: Пушкин и. Письма, т. II, ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 204—205. Вспоминая о появлении этого стихотворения в печати, С. Д. Полторацкий писал в своих библиографических заметках (текст этой записи остался неизвестным М. А. Цявловскому):

«1826, в феврале

Запретная роза

18 прелестных стихов

в Москве с подписью: В.

Были мы оба в Москве: заехал в санках к Вяземскому, в его дом, в Чернышевском переулке между Тверскою улицею и Никитскою. После завтрака с блинами он дал мне прочесть это стихотворение. Я вскрикнул с восторгом и сказал ему: «Позволь свезти это к братьям *Полевым* для напечатания в «Московском телеграфе»».

«„Едва ли возможно печатать. Что скажут? — отвечал он, — неловко“. Я настаивал. „Так и быть, — сказал он, — пожалуй, можно; она не названа; дай в *Телеграф*, только без означения моего имени, а поставь: В“. Я его обнял, сел в сани и полетел за Сухареву башню, в Садовую, к Полевым; возгласил им: „Стихотворение Вяземского!“ Ответ был: „С радостью напечатает“...»

«Помню теперь, после 53 лет, с каким участием и сердечным восторгом читано было в *Телеграфе* 1826 года это прелестное стихотворение Вяземского в Москве и в Петербурге всеми знавшими эту достойную женщину» (ГПБ, Q XVIII 25⁸, лл. 196—197).

Синод расторг их брак.¹⁴ Конечно, и Булгарин, писавший донос, и Бенкендорф, и Николай I отлично были осведомлены, кому было посвящено стихотворение Вяземского. В этих условиях сравнение русской литературы с запретной розой, а русского правительства со шмелем, т. е. с садистом и импотентом Лобановым-Ростовским, было дерзким иносказанием, смысл которого был ясен правительству.

Не менее вызывающим был намек на декабристов, сделанный Вяземским: «В эти два года много пролетело и исчезло тех резвых мечтаний, которые веселили нас в былое время... Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый и часто (думая о тебе) с грустью повторяю слова Сади (или Пушкина, который нам передал слова Сади): *Одних уж нет, другие странствуют далеко!*».¹⁵

Вяземский частично цитирует эпитафию Пушкина к «Бахчисарайскому фонтану», текст которого гласит:

«Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече. *Сади*».¹⁶

Приноровление этого эпитафия Пушкина к воспоминанию о судьбе декабристов, указанное в доносе Булгарина, не могло не вывести из себя Николая I и его исполнителей — Бенкендорфа и фон Фока, что и отразилось в письме к Вяземскому, где в строках о пушкинском переводе Саади чувствуется раздражение и вместе угроза.

Ознакомил ли Вяземский Пушкина с содержанием письма Бенкендорфа, и в частности с тем местом из письма шефа жандармов, где в таком политически остром контексте упоминалось его имя? Судя по дружественным отношениям между Пушкиным и Вяземским, с большой долей вероятности можно предполагать, что Вяземский читал Пушкину это письмо. Но если даже и представить себе, что Вяземский утаил его от Пушкина, то во всяком случае тем или иным путем он, конечно, дал понять своему другу, что Бенкендорф прекрасно понял истинный смысл цитаты из перевода изречения Саади. Пушкин безусловно знал, что отныне эта цитата из Саади в глазах правительства и читающей публики связана с памятью декабристов. Тем знаменательнее тот факт, что он, заканчивая в начале 30-х годов восьмую главу «Евгения Онегина», счел нужным напомнить о своем эпитафии к «Бахчисарайскому фонтану». В последней, LI строфе восьмой главы «Евгения Онегина» Пушкин писал:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.

Подобное окончание восьмой главы романа было явным вызовом великого поэта царскому правительству, еще одним доказательством того, что Пушкин остался верен своей дружбе с декабристами.

¹⁴ См. рассказ об этом А. О. Смирновой-Россет в ее книге: Автобиография. Изд. «Мир», М., 1931, стр. 248. В стихотворении «К. А. Тимашевой» (1826) Пушкин, сравнивая ее неудачный брак с замужеством ее племянницы Е. П. Киндяковой, воспользовался выражением Вяземского «запретная роза»:

Соперницы *запретной розы*
Блажен бессмертный идеал.

Это стихотворение Пушкина впервые было напечатано в альманахе «Радуга» на 1830 год.

¹⁵ «Московский телеграф», 1827, ч. XIII, отд. I, № 1, стр. 9.

¹⁶ Об источниках этого эпитафия см.: Б. Томашевский. Пушкин, кн. I. М.—Л., 1956, стр. 505—506.

Большое место в письме Бенкендорфа уделено осуждению позиции «Московского телеграфа» в пропаганде вольнолюбивой поэзии Байрона. Бенкендорф ссылается при этом на статью Вяземского о сонетах Адама Мицкевича, в которой Вяземский писал: «...в нашем веке невозможно поэту не отозваться Байроном, как романисту не отозваться В. Скоттом... Такое сочувствие, согласие нельзя назвать подражанием: оно, напротив, невольная, но возвышенная *стачка* (не умею вернее назвать) гениев, которые, как ни отличаются от сверстников своих, как ни зиждательны в очерке действия, проведенном вокруг их провидением, но все в некотором отношении подвластны общему духу времени и движимы в силу каких-то местных и срочных законов. Каждый мыслящий человек определяет дух времени, свойственный каждой эпохе: но мы, чтобы не увлечься вдаль, оставили это выражение неопределенным».¹⁷

Цензурные условия мешали Вяземскому более ясно выразить, что под «духом времени» он подразумевает оппозиционные устремления своей эпохи.

Однако для передового читателя, а также для правительства было понятно, что именно обозначал Вяземский под «духом времени», когда он выставлял в качестве знамени века поэзию Байрона и когда ссылался в дальнейшем изложении на «Персидские письма» Монтескье.

Вяземский систематически пропагандировал на страницах «Московского телеграфа» поэзию Байрона и всячески старался связать имя великого английского поэта с именем Пушкина. Еще в 1825 году в прибавлении к статье Вальтера Скотта «Характер лорда Байрона», автором которого Т. Г. Цявловская считает Вяземского,¹⁸ была напечатана выдержка из стихотворения Пушкина «Прощание с морем» («К морю»), которое в то время еще не было опубликовано.¹⁹ Как известно из письма Вяземского к А. И. Тургеневу от 27 октября 1824 года, Пушкин переслал Вяземскому автограф этого стихотворения.²⁰ В заметках Вяземского на полях принадлежавшего ему экземпляра восьмой части сочинений Белинского (М., 1860), на стр. 408 написано: «Я настойчиво просил Пушкина написать на смерть Байрона и стихотворение к *Морю* плод моих настойчивых увещаний».²¹ Можно думать, что доля истины имеется в этом свидетельстве Вяземского. Во всяком случае тема моря, которая явно перекликается с этой же темой у Байрона, нашла свое отражение в дальнейшей переписке Пушкина с Вяземским. 31 июля 1826 года, вскоре после приговора над декабристами, Вяземский, находясь с семейством Карамзиных в Ревеле, посылает оттуда Пушкину свое стихотворение «Море», в котором он с возмущением, хотя и иносказательно, пишет о жестокой расправе Николая I над участниками декабрьского восстания. В этом стихотворении, обращаясь к морским волнам, Вяземский писал:

И в наши строгие лета,
Лета существенности лютой,
При вас одних хотя минутой
Вновь забывается мечта!..

¹⁷ «Московский телеграф», 1827, ч. XIV, отд. I, № 7, стр. 195—196.

¹⁸ Пушкин. Исследования и материалы, т. I. М.—Л., 1956, стр. 191.

¹⁹ «Московский телеграф», 1825, ч. I, № 1, стр. 39.

²⁰ Остафьевский архив, т. III. СПб., 1899, стр. 87.

²¹ Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, архив П. А. Вяземского, шифр 1/3. Ср. в письме Пушкина к Вяземскому от 24—25 июня 1824 года (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, Изд. Академии наук СССР, 1937, стр. 99. В дальнейшем ссылки даются на это издание — тт. I—XVI, 1937—1949).

В вас нет следов житейских бурь,
 Следов безумства и гордыни,
 И вашей девственной святости
 Не опозорена лазурь.
 Кровь братьев не дымится в ней!
 На почве, смертным непослушной,
 Нет мрачных знамений страстей
 Свирепых в злобе малодушной!²²

Стихотворение Вяземского «Море» и ложный слух о доставке морем в Петербург политического изгнанника Н. И. Тургенева послужили поводом для ответного стихотворения Пушкина, которым начинается его письмо к Вяземскому от 14 августа 1826 года (XIII, 290):

Так море, древний душегубец,
 Воспламеняет гений твой?..

Заслуга Вяземского в пропаганде в России вольнолюбивого творчества Байрона неоспорима. Благодаря его стараниям на страницах «Московского телеграфа» перепечатывались сообщения и мемуарные свидетельства о Байроне из западноевропейской прессы. В анонимном послесловии к переводной статье «Свидание с Байроном в Генуе», принадлежность которого Вяземскому устанавливается библиографической записью С. Д. Полторацкого,²³ Вяземский энергично защищал английского поэта от клеветы: борясь против искажения подлинного облика Байрона, Вяземский приводит слова из письма г-жи Беллок: «...советую тому, кто пожелает судить Байрона хорошо, прилежно изучать его в том, что он написал».²⁴

Послесловие Вяземского к этой статье о Байроне представляет для нас особый интерес и благодаря тому, что в примечании к ней Вяземский сообщает высказывание Пушкина о творчестве Байрона, высказывание, в котором явно чувствуется отголосок их бесед о великом английском поэте. Вяземский пишет в примечании: «Автор *Онегина* остроумно и оригинально называет Дон Жуана изнанкою Чайльд-Гарольда».²⁵

Как следует понимать эти слова Пушкина о непосредственной связи «Дон Жуана» с «Чайльд-Гарольдом»? Думаем, что Пушкин говорил о двух сторонах поэзии Байрона: о лирической стихии, которая так сильна в «Чайльд-Гарольде», и о сатире Байрона, громко прозвучавшей в «Дон Жуане», а также о взаимозависимости этих двух начал в творчестве Байрона. В доказательство правильности этого предположения можно привести известное высказывание Пушкина о творчестве Байрона из письма к Вяземскому от 24—25 июня 1824 года: «...тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уж не тот пламенный демон, который создал Гюра и Чильд Гарольда. Первые 2 песни Дон Жуана выше следующих. Его поэзия видимо изменялась. Он весь создан был на выворот; постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возмужал — пропел и замолчал; и первые звуки его уже ему не возвратились — после 4-ой песни Child-Harold Байрона мы не слышали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом» (XIII, 99).

²² Цитируется по изданию: Пушкин, XIII, 287.

²³ Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, ф. 233, к. 80, ед. хр. 10, л. 18.

²⁴ «Московский телеграф», 1827, ч. XIII, отд. II, № 3, стр. 119.

²⁵ Там же, стр. 111

Почему Пушкин так высоко ценил именно первые две песни «Дон Жуана»? По-видимому, в первую очередь потому, что в них органически сочетаются два начала: лирическое и сатирическое, в следующих же песнях лирическая стихия отступает на второй план.

Прославление Байрона на страницах «Московского телеграфа», как видно из письма Бенкендорфа, было оценено правительством как проявление крамольного духа вольнолюбия. Несомненно, что за нападка на Бенкендорфа на Байрона, как на властителя дум того времени, скрывается и осуждение общественной позиции Пушкина и Мицкевича: ведь и Байрон, и Пушкин, и Мицкевич, каждый в своей стране и в своем роде, были для Бенкендорфа и Николая I носителями ненавистного им духа вольнолюбия.

В письме Бенкендорфа отмечаются преувеличенные похвалы «Московского телеграфа» Жан-Жаку Руссо: речь идет о статье «Путешествие в Эрменонвиль», «сочинении американца Франклина». ²⁶ Горячая защита Руссо, вызвавшая недовольство шефа жандармов, должна была обратить на себя внимание Пушкина. Как справедливо отметил Б. В. Томашевский, Пушкин испытал на себе некоторое влияние Руссо (стихотворение «К морю»), но тем не менее «он не стал поклонником Руссо». ²⁷ Защита Руссо должна была заинтересовать Пушкина не сама по себе, а потому, как была аргументирована эта защита, вложенная в уста незнакомца — одного из собеседников, изображенных в статье Франклина:

«Не буду защищать, — сказал он, — гения Руссо: он защитил сам себя. Вы соглашаетесь, что Руссо был человек великого, необыкновенного ума. Итак, не должны ли вы доказать прежде всего, что великий гений может быть дурным человеком? Если это возможно: я трепещу! Но я не понимаю вас: соединение великого ума и злого сердца не понятно для меня: я не верю ему и, как человек, отвергаю ужасное ваше подозрение!». ²⁸

Постановка вопроса о несовместимости гения и злодейства, сделанная Франклином, ведет нас непосредственно к центральной идее трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери»:

Моцарт

Он «Бомарше» же гений,
Как ты, да я. А гений и злодейство,
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Таким образом, можно полагать, что статья «Путешествие в Эрменонвиль» не прошла бесследно для Пушкина.

Возражение Бенкендорфа вызвали также преувеличенные похвалы политической экономии, которые содержались, по его мнению, в переводной статье из Ж. Б. Сея «Сущность политической экономии». ²⁹ Положения этой статьи не могли не вызывать опасений у царского правительства. Так, например, говоря о налогах, Сей писал: «...подати суть пожертвования со стороны платящих, кои для народа не приносят никакой другой выгоды, кроме услуг, которые на них покупают». ³⁰ Подобные высказывания звучали очень смело в обстановке последекабрьской реакции. Они напоминали правительству о ненавистной книге Н. И. Тургенева «Опыт теории налогов», которая вышла двумя изданиями — в 1818 и 1819 годах — в годы

²⁶ Там же, № 4, стр. 133—150.

²⁷ «Литературное наследство», кн. 31—32, 1937, стр. 43.

²⁸ «Московский телеграф», 1827, ч. XIII, отд. II, № 4, стр. 137—138.

²⁹ Там же, отд. I, № 1, стр. 33—57; № 2, стр. 101—121.

³⁰ Там же, № 2, стр. 112—113.

нарастания деятельности Союза благоденствия. В этой книге Тургенев яростно обрушивался на соляной налог и призывал правительство сократить бремя налогов с крестьян.³¹ Кроме того, в предисловии к своей книге Тургенев объявил себя противником всякого самовластия.³²

Таковы были статьи, анализ которых позволил Бенкендорфу не без основания полагать, что «Московский телеграф», руководимый Полевым и Вяземским, не выполняет предписаний правительства и придерживается оппозиционных взглядов.

В свете письма Бенкендорфа особое значение приобретает оценка деятельности Вяземского в «Московском телеграфе», появившаяся в 1828 году на страницах журнала «Московский вестник». В «Обзрении русских журналов в 1827 году», в разделе о «Московском телеграфе», «Московский вестник» писал: «В прошедшем году Телеграфа весьма было видно деятельное участие одного из остроумнейших наших писателей, князя Вяземского, которого отсутствие, к сожалению читателей Телеграфа, слишком заметно в первых книжках сего года. Большая часть лучших стихотворений принадлежали ему или им были доставлены. Хотя мысли князя Вяземского не всегда справедливы, часто странны; но это мысли, а не общие места, которыми так богат издатель Телеграфа. С князем Вяземским не всегда можно согласиться; но он заставляет мыслить — и этого довольно. Ему обязан Телеграф разборами *Сонетов Мицкевича*, *Цыганов Пушкина*, *статьей о Тальме*, которая была очень кстати, стихами Жуковского и Батюшкова, иностранною перепискою из Дрездена, весьма любопытную, сообщением известий о многих новых иностранных книгах, отрывками из биографии Каннинга, остроумными насмешками Журнального сыщика и проч.»³³

Значение положительного отзыва «Московского вестника» о деятельности Вяземского в «Московском телеграфе» исключительно велико, так как автором его, пускай и косвенно, является Пушкин. Суждения «Московского вестника» почти дословно совпадают с мнением Пушкина о критических статьях Вяземского в «Московском телеграфе», высказанным в его письме к М. П. Погодину от 31 августа 1827 года: «В Телеграфе... хороши одни статьи Вяземского... Его критика поверхностна или несправедлива, но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны, он мыслит, сёрдит и заставляет мыслить и смеяться: важное достоинство, особенно для журналиста!» (XIII, 341). Этот эпистолярный отзыв был использован Погодиным, вероятно, не только с согласия, но и при участии и по указанию Пушкина, в его обзорной статье в начале следующего года.

То же суждение о Вяземском повторяется Пушкиным в заметке, напечатанной два года спустя в «Литературной газете»: «Критические статьи князя Вяземского носят на себе отпечаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального. Часто не соглашаешься с его мыслями, но они заставляют мыслить. Даже там, где его мнения явно противоречат нами принятым понятиям, он невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения... и ловкостью самого софизма».³⁴

Доказательством участия Пушкина в формулировании отзыва о Вяземском в «Московском вестнике», помимо этих совпадений, служит и исключительная осведомленность рецензента «Московского вестника» о всей дея-

³¹ Н. И. Тургенев. Опыт теории налогов. СПб., 1818, стр. 30—31, 158—159.

³² Там же, стр. V—VIII.

³³ «Московский вестник», 1828, ч. VIII, стр. 89—90.

³⁴ «Литературная газета», 1830, № 10, 15 февраля, стр. 81; см. также: XI, 97.

тельности Вяземского в «Московском телеграфе». Кроме того, отрицательное мнение рецензента о статьях Н. Полевого («но это мысли, а не общие места, которыми так богат издатель Телеграфа») также полностью совпадает с точкой зрения Пушкина, который в письмах к Вяземскому неоднократно противопоставлял его статьи статьям Н. Полевого.

К началу 1828 года, когда писался отзыв о Вяземском в «Московском вестнике», Пушкин, по-видимому, еще не знал о письме Бенкендорфа к Вяземскому: у нас нет сведений о встречах Пушкина с Вяземским осенью 1827 года; в середине декабря 1827 года Вяземский из Москвы уехал в Мещерское, в январе 1828 года вернулся в Москву и лишь в марте того же года приехал в Петербург. Но Пушкин, конечно, был хорошо осведомлен о том, что отрицательное отношение правительственных кругов к деятельности Вяземского содействовало его отходу от активной журнальной работы и отъезду в деревню. В этой связи уместно напомнить о письме Вяземского к Пушкину от 22 ноября 1827 года, в котором Вяземский жаловался на цензуру: «Что наш Современник пойдет ли со временем? У нас здесь Аксаков, глупейший из современников, с которым ничего писать нельзя. Он поступает с нами, как поступил с Филоктетом Лагарпа, то есть бьет лежачих. Ты счастлив, твой цензор (т. е. Николай I, — М. Г.) дает тебе дышать и режет только Аббас-Мирзу в горах и жжет Ибрагима на море. Мне хочется иногда просить тебя подпустить в свой жемчуг мои буски для свободного пропуса» (Пушкин, XIII, 348).

Итак, зная о произволе цензуры в отношении Вяземского, Пушкин через Погодина печатает в «Московском вестнике» положительный отзыв, указывающий читателям на весь объем деятельности Вяземского в «Московском телеграфе». Таким образом, отрицательному мнению шефа жандармов о Вяземском было противопоставлено положительное мнение Пушкина и редакции «Московского вестника».

Письмо Бенкендорфа к Вяземскому является ценным документом, в котором николаевское правительство ясно и безоговорочно определяло свое отрицательное отношение к передовой литературе того времени. Одновременно это письмо выясняет одну из основных причин отхода Вяземского от активной журнальной деятельности в конце 1827 года: угроза крутой расправы со стороны правительства наряду с усиливающимися разногласиями с Н. Полевым вынудила Вяземского прекратить сотрудничество в «Московском телеграфе».



В. Б. САНДОМИРСКАЯ

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО П. А. ВЯЗЕМСКОГО К ПУШКИНУ

В Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде хранится фонд рукописей П. А. Вяземского. Значительная часть документов этого фонда была опубликована — в «Отчетах Публичной библиотеки», в издании «Остафьевский архив князей Вяземских» (тт. IV, V), в «Литературном наследстве» (т. 58) и др. Среди писем и записок П. А. Вяземского, оставшихся ненапечатанными, нами обнаружено публикуемое ниже письмо,¹ которое представляет значительный интерес как по своему содержанию, так и прежде всего по не названному в нем, но легко определяемому адресату.

Приводим текст письма:

В ожидании моих цветов вот тебе прелести от твоего другого друга. Сделай милость, не унывай и дочитай письмо до конца. Тут есть проект разговора между мизинцем и кукишем, который очень хорош. На днях пришлю тебе стихи мои, Языкова, Теплякова, дамских персон и напишу поболее. Мы теперь пляшем, поем и так далее. Ожидаю с нетерпением Жуковского, тогда и мое сердце запрыгает. А между тем будет у нас и схватка хоть до волос. Хотя царство новостей к нам перенесено, а нового ничего не слышать. Только и новостей, что все наперехват шьют себе новые штаны, новые юбки, даже помышляют и о pantalons collans. Между тем Ермолов видел государя и очень хорошо был принят.

Прощай. До свидания, надеюсь, скорого.

Мебли мои можешь препроводить к Карамзиным. Скажи Плетневу, что Салаев получил только сто Адольфов, вместо 500 с лишком. Попроси его выслать скорее. Смирдин, вероятно, с намерением прислал прежде свои экземпляры. Покровская Трубецкая умерла. Мы на днях окрестили в шампанском Европейца. Языков был очень хорош. Он написал много стихов и между прочим много поэтических.

V.

22-го.

Мое нежное почтение дона Соль, или дона Инбирь.

V.

Я познакомился с Козарским: одна идея живая посреди мертвых вещей. По крайней мере знаешь, что значит слово: Козарский.

¹ ГПБ, фонд П. А. Вяземского, оп. 1, ед. хр. 34, л. 26—26 об.

Публикуемое письмо хранится в числе писем П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу. Однако самим Вяземским адресат ни разу не назван — ни в начале, ни в тексте письма, а судя по его содержанию (о котором ниже), оно не может быть обращено к Тургеневу.

Решение вопроса об адресате письма тесно связано с вопросом о датировке его. Оно имеет неполную дату — только число («22-го»), без месяца и года. Но то и другое довольно легко устанавливается. Упоминание о получении в Москве ста экземпляров романа «Адольф», переведенного П. А. Вяземским и вышедшего из печати осенью 1831 года;² сообщение о «крещении» «Европейца», журнала И. В. Киреевского, разрешение на издание которого было получено в октябре 1831 года;³ наконец, известие о смерти Екатерины Александровны Трубецкой («Покровской Трубецкой»),⁴ происшедшей 20 октября 1831 года,⁵ — всё это определяет дату письма как 22 октября 1831 года.

Но в таком случае оно не может быть обращено к А. И. Тургеневу, так как написано в Москве и отправлено в Петербург, что явствует из упоминаний имен петербуржцев: Плетнева, доны Соль — фрейлины А. О. Россет, книгопродавца А. Ф. Смирдина. Между тем А. И. Тургенев приехал из Петербурга в Москву еще в начале июля 1831 года, а 28 октября, в день приезда в Москву Жуковского, был с ним у Вяземского.⁶

Но если не А. И. Тургеневу, то кому же адресовано это письмо?

Адресат его определяется с совершенной точностью рядом соображений, но в особенности одной фразой письма: «Мебли мои можешь препроводить к Карамзиным».

«Мебли» Вяземского, оставленные им при отъезде из Петербурга у Карамзинных, летом 1831 года были полукуплены, полувзяты «на прокат» А. С. Пушкиным, который в конце мая 1831 года уехал с женой из Москвы в Петербург, а затем на всё лето в Царское Село, где П. А. Плетнев снял для него дачу. История с мебелью отразилась и в переписке Пушкина с Вяземским, дав повод для комических препирательств между ними. Последнее упоминание о мебели мы находим в письме Пушкина, написанном около 15 октября 1831 года, в котором он сообщает Вяземскому: «Сей час еду из Царского Села в Петербург. Мебели твои в целости оставлены мною здесь для того, чтобы доставить тебе прямо туда, где ты остановишься» (XIV, 233). Публикуемое письмо Вяземского, содержащее упоминание о «меблях», которые нужно «препроводить к Карамзинным», легко находит себе место в переписке Пушкина с Вяземским: можно с уверенностью утверждать, что письмо это в 1831 году могло быть адресовано Вяземским только Пушкину. Это подтверждается и другими фактами, о которых идет речь в письме.

² См. письмо П. А. Вяземского к Пушкину от 31 августа 1831 года (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIV, Изд. Академии наук СССР, 1941, стр. 218. В дальнейшем цитируется по этому изданию — тт. I—XVI, 1937—1949).

³ См. письмо И. В. Киреевского к Пушкину от 25 октября 1831 года (Пушкин, XIV, 238).

⁴ В ее доме на Покровке Пушкин часто бывал, живя в Москве (см.: Т. Г. Зенгер. Пушкин у Трубецких. «Звенья», т. III—IV, Изд. «Academia», М.—Л., 1934, стр. 228—229).

⁵ См.: Сказания о роде князей Трубецких. Изд. Е. Э. Трубецкой, М., 1891, стр. 149.

⁶ См. письмо Пушкина к П. А. Вяземскому от 3 июля 1831 года и письмо А. И. Тургенева к Пушкину от 29 октября 1831 года (XIV, 186, 238), а также запись В. А. Жуковского от 28 октября 1831 года в его «Дневниках» (СПб., 1903, стр. 215).

В первую очередь обращает на себя внимание упоминание о «цветах», которых с нетерпением ожидает адресат этого письма. Конечно, речь идет не о цветах в прямом смысле, а о «цветах поэтических» для альманаха «Северные цветы». В каждой книжке этого альманаха начиная с 1825 года Вяземский был одним из основных участников. В 1831 году издателем «Северных цветов на 1832 год», выпущенных в память Дельвига и в помощь его семье, выступил именно Пушкин. В обширной его переписке лета 1831 года, начиная с июля месяца, находим постоянные упоминания о «Северных цветах». В конце августа он коротко сообщает Вяземскому: «У Дельвига осталось 2 брата без гроша денег, на руках его вдовы, потерявшей большую часть маленького своего имения. Нынешний год мы выдадим *Северные Цветы* в пользу двух сирот. Ты пришли мне стихов и прозы» (XIV, 216). Вяземский ответил согласием и обещал свою помощь («соберу всё, что могу по альбумам»; Пушкин, XIV, 223), но после письма от 11 сентября умолк более чем на два месяца, так что еще 18 ноября Пушкин просил Н. М. Языкова: «Торопите Вяземского, пусть он пришлет мне своей прозы и стихов; стыдно ему» (XIV, 241). Л. Б. Модзалевский, комментируя последнее письмо Пушкина, пишет: «Письмо Пушкина к Языкову разошлось с письмом Вяземского Пушкину от 15 ноября, с которым Вяземский, наконец, послал свои „дары“ для „Цветов“». ⁷ Слова Вяземского в этом письме от 15 ноября: «Я виноват перед тобою, то есть перед Цветами, как каналья. Вот всё, что мог я собрать» (Пушкин, XIV, 240) — действительно можно понять как сообщение о присылке только его собственных стихотворений. Но публикуемое письмо от 22 октября свидетельствует, что участие Вяземского в собирании материалов для альманаха было более значительным, что он не только прислал свои стихи, но и выполнил обещание собрать всё, что можно от московских поэтов. «На днях пришлю тебе стихи мои, Языкова, Теплякова, дамских персон», — пишет Вяземский Пушкину в публикуемом письме. В «Северных цветах на 1832 год» в числе авторов находим имена четырех московских поэтесс: Н. С. и С. С. Тепловых, Е. А. Тимашевой и Э. А. Волконской; поэтов: В. Г. Теплякова, отдавшего в альманах два стихотворения, П. А. Вяземского, приславшего шесть стихотворений, и Н. М. Языкова, шесть стихотворений которого присланы были самим автором, как это видно из ответа Пушкина Языкову от 18 ноября 1831 года. Можно с уверенностью предположить, что все эти стихи, кроме языковских, были присланы Пушкину Вяземским при письме от 15 ноября и именно о них он писал: «Вот всё, что мог я собрать».

На первый взгляд не совсем понятны следующие строки публикуемого письма Вяземского: «... вот тебе прелести от твоего другого друга. Сделай милость, не унывай и дочитай письмо до конца. Тут есть проект разговора между мизинцем и кукишем, который очень хорош». В самом письме Вяземского нельзя обнаружить даже намек на обещанный «проект». Но его слова совершенно точно говорят о том, что этот проект изложен в письме. Остается предположить, что в словах «прелести от твоего другого друга» разумеется какое-то письмо, содержащее «проект разговора» и которое Вяземский, очевидно, взял на себя переслать Пушкину.

Кто же автор этого неизвестного нам письма? Вяземский несколько подчеркнуто называет его «другим другом» Пушкина.

Установить его имя помогает нам как эта подчеркнутость в именовании, так и прежде всего упоминание о «проекте разговора между мизинцем и

⁷ Пушкин. Письма, т. III. Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 438.

кукишем». Этот «проект» сразу вызывает в памяти другой «проект» — о мизинце Ф. В. Булгарина, который был сообщен Пушкину Вяземским в письме от 27 июля 1831 года (Пушкин, XIV, 199). Пушкин использовал предложенную Вяземским тему в статье «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем». Как и статья «Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов», она направлена против журнального и литературного симбиоза Греча и Булгарина. Феофилакт Косичкин, именем которого подписаны обе эти статьи, выступил в них в защиту «своего друга» Александра Анфимовича Орлова — писателя, «разделяющего с Фаддеем Венедиктовичем любовь российской публики», — от «злонамеренной и несправедливой критики» Н. И. Греча (XI, 205, 209).

«Почтенный мой друг», «мой друг», «благородный друг мой» — так называет Феофилакт Косичкин А. А. Орлова в своих статьях. Так же иронически назван он и в уже упоминавшемся письме Пушкина к Н. М. Языкову от 18 ноября: «...на днях получил он <Ф. Косичкин> благодарственное письмо от А. Орлова и собирается отвечать ему: потрудитесь отыскать его (Орлова) и доставить ему ответ его друга (или от его друга, как пишет Погодин)» (XIV, 240). Несомненно, что Вяземский, в ироническом тоне говоря о «другом друге», также имел в виду Орлова, письмо которого отдано было ему для передачи Пушкину. Письмо Вяземского, как сказано выше, осталось, по-видимому, неотосланным; но послание Орлова всё же дошло до Пушкина ранее следующего письма Вяземского, так как 18 ноября Пушкин, как видно из письма его к Языкову, уже собирался отвечать своему «другу». Вероятно, «послание» было передано Вяземским кому-то другому — возможно, М. П. Погодину, который и переслал его Пушкину.

Письмо А. А. Орлова не дошло до нас, и о содержании его можно судить лишь по ответному письму Пушкина. Публикуемое письмо Вяземского добавляет к нему интересный штрих — упоминание о содержавшемся в нем «проекте разговора между мизинцем и кукишем», составленном Орловым. Говоря, что проект «очень хорош», Вяземский тем самым рекомендует его особому вниманию Пушкина. Пушкин же воспринял его совершенно иначе: в ответе его Орлову дважды настойчиво повторен совет не вмешиваться в начатую Феофилактом Косичкиным журнальную полемику и предоставить ему одному отражать нападки Булгарина и Греча. Всё письмо Пушкина выдержано в том же духе неуловимой иронии, при внешней важности слога, что и статьи Феофилакты Косичкина. Просьба Пушкина высказана в нем столь же высокопарно и скрыто-иронически: «Но, почтенный Александр Анфимович! удержите сие благородное, справедливое негодование, обуздайте свирепость творческого духа вашего! Не приводите ярости пера вашего в отчаяние присмиривших издателей Пчелы. Оставьте меня впереди соглядатаем и стражем». А в приписке к письму та же просьба повторена с неожиданной настойчивостью и серьезностью: «Повторяю здесь просьбу мою: оставьте в покое людей, которые не стоят и не заслуживают вашего гнева» (XV, 2).

Эта тревога могла быть вызвана только одним: «проект разговора между мизинцем и кукишем», изложенный в письме Орлова, предназначенный автором совсем не Пушкину. А. А. Орлов, очевидно, сам решился выступить по следам и в духе Феофилакты Косичкина, развив далее сюжет о «мизинце г. Булгарина». (Использование сюжетов и персонажей чужих произведений не было бы внове для А. А. Орлова, который «плодотворно» использовал образы и сюжет булгаринского «Выжигина» в своих романах «Смерть Ивана Выжигина», «Крестный отец Петра Выжигина», «Хлы-

новские степняки» и др.). Но Пушкина такая возможность действительно могла встревожить, так как он, вполне понимавший уничтожающую силу смеха и превосходно пользовавшийся ею, в этом случае оказался бы сам во вдвойне смешном положении — как Пушкин, пародированный А. А. Орловым, т. е. бездарно, и как товарищ Булгарина по несчастью.

Письмо Вяземского содержит и другие новости литературной жизни.

Сообщением о получении московским книгопродавцем И. Г. Салаевым первых ста экземпляров романа Бенжамена Констана «Адольф», переведенного Вяземским, заканчивается начавшаяся еще в январе 1831 года переписка его с Пушкиными по поводу издания этого романа, печатавшегося в Петербурге под наблюдением П. А. Плетнева.

Важной новостью в литературной жизни Москвы было разрешение на издание «Европейца» — нового журнала, предпринятого И. В. Киреевским. Киреевский сам примерно в это же время (до 25 октября) сообщил об этом Пушкину, приглашая его участвовать в своем журнале (Пушкин, XIV, 238). Вяземский же рассказывает о том, как отмечено было это событие в кругу друзей Киреевского — шампанским и стихами: «Мы на днях окрестили в шампанском Европейца. Языков был очень хорош. Он написал много стихов и, между прочим, много поэтических». Действительно, в первых двух номерах «Европейца» (которыми и закончилось всё издание, так как после второго номера журнал был запрещен) были помещены пять новых стихотворений Н. М. Языкова. Излишняя «расточительность» Киреевского вызвала совет более опытного издателя — Пушкина о необходимости «журнальной экономии»: «... в первых двух книжках Вы напечатали две капитальные пиэсы Жуковского и бездну стихов Языкова... Языкова довольно было бы двух пиэс. Берегите его на черный день. Не то как раз промотаетесь и принуждены будете жить Раичем да Павловым» (XV, 9).

Кроме новостей чисто литературных, письмо содержит и новости общественной жизни Москвы, и характерен тот своеобразный колорит, которым эти новости окрашены в изложении Вяземского. Письмо писалось в дни официальных торжеств, посвященных недавнему подавлению польского восстания 1830—1831 годов. 11 октября прибыл в Москву Николай I, и столица встретила его колокольным звоном, славословиями газет и непрерывными балами. Оживление и хлопоты дворянской Москвы в связи с этим событием поневоле увлекли и Вяземского, только недавно вновь вступившего в службу: он был назначен одним из организаторов московской промышленной выставки, которая готовилась к приезду царя и была открыта 2 ноября.⁸ «Вяземского никак не могу застать дома: с утра всё на Выставке», — сообщал Пушкину П. В. Нащокин еще 20 июня (Пушкин, XIV, 179). Однако из публикуемого письма видно, с какой большой долей скепсиса относился Вяземский ко всей этой праздничной суете, в которой он был вынужден обстоятельствами принять участие, но которая вызвала в нем только ироническую усмешку.

С нескрываемой и пренебрежительной иронией говорит Вяземский о реакции московского общества на приезд императора, вызванный политическим событием огромной важности — подавлением Польши, восставшей за свою независимость: «Только и новостей, что все наперехват шьют себе новые штаны, новые юбки, даже помышляют и о *pantalons collans*». Для Вяземского, глубоко сочувствовавшего борьбе поляков, беспечность и веселье москвичей было весельем на похоронах.

⁸ См.: «Московские ведомости», 1831, № 89, 7 ноября, стр. 3743.

И даже единственное радостное событие — с нетерпением ожидаемый приезд Жуковского — сулит ему неизбежный и резкий спор: «... между тем будет у нас и схватка хоть до волос». Эта фраза глухим намеком выражает отношение Вяземского к Жуковскому — автору «Старой песни на новый лад», а тем самым и к Пушкину, опубликовавшему вместе с Жуковским свои два стихотворения — «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину».⁹ О последних Вяземский писал: «После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его старорусские, Нессельроде — за подписание мира. Когда решиться быть поэтом *событий*, а не *соображений*, то нечего робеть и жеманиться».¹⁰ Эти слова Вяземского — второе,¹¹ очень глухое, косвенное упоминание о польских делах среди всех его писем к Пушкину периода 1830—1831 годов. Во всё это время Вяземский, державшийся взглядов на положение Польши и на меры русского правительства по отношению к ней, резко противоположных взглядам Пушкина, в своих ответных письмах Пушкину, несмотря на вызовы последнего, старательно обходил молчанием всё связанное с войной в Польше. Написав 14 сентября, вскоре после взятия Варшавы, большое и очень резкое письмо Пушкину по поводу его стихов и стихов Жуковского, он его не послал, «для того, чтобы не сделать хлопот от распечатанного письма на почте», и ограничился тем, что внес его в дневниковые записи, посвященные этой волновавшей его теме об «антипольских» стихах Пушкина и Жуковского.¹²

Среди всех событий этого суматошного месяца Вяземский выделяет только два: аудиенцию, данную царем опальному А. П. Ермолову, и свою встречу с героем русско-турецкой войны 1828—1829 годов А. И. Казарским.

Вынужденная отставка Ермолова, недавнего главноуправляющего в Грузии, была воспринята современниками как «ничем не изгладимое пятно на памяти времени, в которое постоянно выдвигаются лишь ничтожные, корыстолюбивые, бездарные и невежественные льстецы».¹³ Не удивительно поэтому, что аудиенция, которой был «удостоен» до сих пор находившийся в опале прославленный генерал, обратила на себя внимание москвичей.

Прием состоялся в то время, когда Николай I приехал в Москву, чтобы торжественно отпраздновать подавление польского восстания. Вот что пишет о нем М. П. Погодин: «В 1831 году Ермолов случилось быть в Москве в то время, как приехал туда государь. Ермолов написал письмо... Государь назначил ему аудиенцию. Ермолов приезжает во дворец... Государь... увел его с собою в кабинет, где они оставались очень долго. Между тем собрались приглашенные гости. Государь вышел к ним из кабинета, ведя за руку Ермолова. За столом был очень милостив... На каком-то следующем бале государь император остановил Ермолова в дверях между залом и буфетом и разговаривал с ним более часа, прер-

⁹ См.: На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина. СПб., 1831 (цензурное разрешение от 7 сентября 1831 года).

¹⁰ П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. IX, СПб., 1884, стр. 159.

¹¹ Считаю первым упоминание о стихах «шинельного поэта» на взятие Варшавы в его письме к Пушкину от 11 сентября 1831 года (Пушкин, XIV, 223).

¹² П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 155—159; ср. статью М. Д. Беляева «Польское восстание по письмам Пушкина к Е. М. Хитрово» (Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Изд. Академии наук СССР, Л., 1927, стр. 291—294 и сл.).

¹³ Д. В. Давыдов, Сочинения, т. II, СПб., 1893, стр. 295.

вав сообщение в комнатах и привлекиши общее внимание. Все глаза устремились на Ермолова. Все чаяли скорое возвышение».¹⁴

Особого внимания заслуживает приписка в конце письма о знакомстве Вяземского с Александром Ивановичем Казарским (1797—1833),¹⁵ имя которого прославлено в истории русского флота: в русско-турецкой войне 1828—1829 годов, командуя 18-пушечным бригам «Меркурий», он принял бой с двумя кораблями турецкого флота (110- и 74-пушечными), в течение трех часов вел его с поразительным мужеством и искусством и, наконец, заставил противника отступить. В апреле 1831 года А. И. Казарский был уволен от командования кораблем и назначен флигель-адъютантом. Осенью 1831 года он сопровождал Николая I в его поездке в Москву. Тут-то и встретился с ним впервые Вяземский, и впечатление от этой встречи, как можно судить по письму его, было сильным и ярким: «Я познакомился с Козарским: одна идея живая посреди мертвых вещей. По крайней мере знаешь, что значит слово: Козарский».

Вяземский не был поклонником исключительно воинской доблести, и самые выражения, в которых он передает свое впечатление от знакомства с Казарским, говорят прежде всего об обаянии живого человека, а не о его славе. Но слова его приобретают особенное звучание благодаря содержащемуся в них противопоставлению: «... одна идея живая посреди мертвых вещей», которым подытоживаются впечатления Вяземского от пребывания в Москве Николая I, высказанные в начале письма («Хотя царство новостей к нам перенесено»).

Письмо Вяземского писано набело без помарок. Трудно сказать, почему оно не было отправлено, но, по-видимому, Пушкин не получил его, так как в известных нам его письмах к Вяземскому совершенно нет откликов на это содержательное письмо.

Со всем тем оно нисколько не утрачивает своего значения, как отражение разнообразных интересов Пушкина и Вяземского, тем их разговоров при свидании зимой 1831 года, как живой отзвук современной литературной жизни, в котором своеобразно отразились и подготовка к изданию «Северных цветов на 1832 год», и разрешение на издание нового московского журнала, и полемика Феофилакта Косичкина с Булгариным,

¹⁴ М. Погодин. А. П. Ермолов. Материалы для его биографии. М., 1864, стр. 393—394, 395, 396.

¹⁵ См.: Русский биографический словарь, т. «Ибак — Ключарев». СПб., 1897, стр. 380—381.

Н. В. ИЗМАЙЛОВ

ОБ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПУШКИНА ДЛЯ «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА»

Документальные материалы о Пугачевском восстании, собранные Пушкиным и послужившие для «Истории Пугачева», а отчасти и для «Капитанской дочки», сохранились, как известно, в большой полноте, хотя и далеко не исчерпывающим образом. Они разобраны, систематизированы и опубликованы В. Л. Комаровичем во втором полутоме девятого тома большого Академического издания сочинений Пушкина, к которому необходимым ключом служит алфавитный указатель, составленный Г. П. Блоком и являющийся сам по себе целым исследованием. Большая часть этих материалов восходит к архивным источникам и извлечена Пушкиным из доступных ему государственных архивов. Внешняя история отношений Пушкина к архивам, точнее сношений его с властями, от которых зависело получение нужных ему материалов, достаточно хорошо известна. Первые шаги в ее изучении сделал П. В. Анненков;¹ особую статью посвятил архивным занятиям Пушкина Я. К. Грот,² допустив при этом, однако, существенную ошибку, так как он доверился заявлению самого Пушкина о том, что его целью является составление «истории графа Суворова», заявлению, сделанному из дипломатических целей, чтобы прикрыть «опасную» пугачевскую тему занятий, подозрительную в глазах властей. Эту ошибку повторил в своем поверхностном и небрежном комментарии к «Истории Пугачева» Н. Н. Фирсов,³ и она жила в литературе до тех пор, пока Ю. Г. Оксман, внимательно рассмотрев весь вопрос, не выяснил подлинного хода работы Пушкина.⁴ При этом, однако, исследователь не ставил себе задачей анализ архивных материалов, собранных Пушкиным и послуживших для его труда: в то время, когда Ю. Г. Оксман писал свою статью, эти материалы не были еще изданы, ни даже разобраны и описаны, и он мог лишь справедливо жаловаться на такое положение;⁵ ра-

¹ П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. В кн.: Пушкин, Сочинения, т. I, СПб., 1855, стр. 360—362.

² Я. К. Грот. Приготовительные занятия Пушкина для исторических трудов. В его книге: Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887, стр. 158—167; изд. 2, СПб., 1899, стр. 117—124 (первоначально в «Русском вестнике», 1862, т. 42, № 12, стр. 636—645).

³ Пушкин, Сочинения, т. XI, История Пугачевского бунта, изд. Академии наук, Пгр., 1914, стр. 19—27 (вторая пагинация).

⁴ Ю. Оксман. Пушкин в работе над «Историей Пугачева». «Литературное наследство», кн. 16—18, 1934, стр. 443—466, в особенности стр. 443—447, 464.

⁵ «До сих пор не только не изучены, но даже не описаны и не опубликованы все те документальные, мемуарные и фольклорные материалы по истории пугачевщины, которые были собраны или даже впервые записаны Пушкиным в Петербурге, в Москве, в Поволжье и в Оренбурге. О ценности этих материалов можно судить хотя бы на

бота Ю. Г. Оксмана преследует иные цели, так же как и позднейшая его статья о работе Пушкина над «Капитанской дочкой»;⁶ не рассматривается этот «архивный» вопрос и в комментариях того же автора — очень ценных и содержательных, но по необходимости сжатых — к обоим произведениям Пушкина на пугачевскую тему.⁷

Вопрос о том, какие именно архивные материалы о Пугачевском восстании находились в распоряжении Пушкина в ходе его работ, был поставлен в 1936 и 1937 годах в двух статьях П. Софинова.⁸ Автор внимательно изучил переписку Пушкина за 1833—1835 годы и сохранившиеся в архивных делах документы о допущении его к занятиям в архивах. Он восстановил довольно точно и полно внешнюю картину занятий и историю взаимоотношений Пушкина с архивным начальством и правительственными местами. Но к самим архивным материалам, служившим для работы поэта-историка, П. Софинов явно не обращался; поэтому и его исследования не разрешают вопрос по существу и имеют известное значение лишь как предварительный обзор внешних данных.

Ценный подбор материалов, интересные наблюдения и замечания находим мы в комментариях Е. М. Блиновой к челябинскому отдельному изданию «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева».⁹ Но и здесь в задачу комментатора не могло входить исследование еще не опубликованных материалов для этих произведений. Так обстояло дело до 1940 года.

Положение существенно изменилось с выходом в свет девятого тома Академического издания сочинений Пушкина (1940), когда стало возможно изучать весь фонд рукописей Пушкина, относящихся к пугачевской теме. Однако за прошедшие с тех пор годы, несмотря на значительное количество работ, посвященных «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке», глубокий и детальный анализ пушкинских материалов в их соотношении с архивными первоисточниками так и не сделан, и тем самым вопрос о размерах, содержании и методе использования Пушкиным документов государственных архивов остается неразрешенным.

основании того, что среди них находятся до сих пор неизвестные историкам акты столичных и провинциальных архивов, документы государственных собраний и частных коллекций, что в число их входят и записи рассказов живых свидетелей и непосредственных участников событий... Не вошли до сих пор полностью в научный оборот и творческие рукописи Пушкина, связанные с историей пугачевщины; мы имеем в виду его многочисленные заметки, выписки и конспекты» (ук. соч., стр. 443). В настоящее время все сохранившиеся творческие рукописи Пушкина, все собранные им документальные, мемуарные и фольклорные материалы вошли, как уже сказано, в девятый том Академического издания сочинений Пушкина. Сделанные им записи устных рассказов рассмотрены мною в статье «Оренбургские материалы Пушкина для „Истории Пугачева“ и „Капитанской дочки“» (Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1953, стр. 266—297). Вопрос об исследовании служивших Пушкину архивных документальных материалов рассматривается ниже.

⁶ Ю. Оксман. Пушкин в работе над «Капитанской дочкой». «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 222—242.

⁷ А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в шести томах, т. IV, Изд. «Academia», М.—Л., 1936, стр. 746—758, 797—799; то же, в девяти томах, т. VII, 1938, стр. 872—897; т. VIII, 1936, стр. 785—790.

⁸ П. Софинов. 1) Работа А. С. Пушкина в архивах. «Архивное дело», 1936, № 4 (41), стр. 85—96; 2) А. С. Пушкин — исследователь пугачевского движения. «Исторический журнал», 1937, № 2, стр. 38—51. Последняя статья повторяет в несколько расширенном и исправленном виде часть первой статьи, посвященную пугачевской теме, и в этом отношении вполне поглощает и заменяет ее; первая статья содержит притом несколько серьезных опечаток, лишь частично исправленных («81 дело» вместо «8 дел» и др.).

⁹ А. С. Пушкин. Капитанская дочка. История Пугачева. Редакция и комментарий Е. М. Блиновой. Челябинск, 1937, стр. 229—326.

В самом деле, ни одна из диссертаций на темы, связанные с Пугачевским восстанием в изображении Пушкина, защищенных в последние годы и известных нам в подлинниках или в авторефератах, — Ю. С. Зубова, Д. Н. Введенского, О. В. Астафьевой, Н. И. Фокина¹⁰ — не касается вопроса об архивных первоисточниках Пушкина. Не обращаются к ним и авторы опубликованных за послевоенные годы статей, касающихся тех же проблем творчества Пушкина, — Н. П. Гриценко,¹¹ М. И. Мальцев,¹² С. М. Петров¹³ и др.

Наиболее внимательно и глубоко рассматривает вопрос о работе Пушкина над историческими источниками, печатными и рукописными, Г. П. Блок в своем исключительно ценном исследовании.¹⁴ Однако, в соответствии со своей темой, он не касается прямо архивных материалов, бывших в распоряжении Пушкина, но говорит лишь о сделанных им извлечениях и выписках из них, а также о тех документах, которые служили источниками для некоторых иностранных авторов, например Г. Ф. Миллера.

Наконец, даже и обширная докторская диссертация А. И. Чхеидзе, посвященная всестороннему исследованию «Истории Пугачева» и, к сожалению, до сих пор в полном виде не напечатанная,¹⁵ в своем тщательном анализе методов исторического исследования, применяемых Пушкиным, опирается лишь на материал, вошедший в девятый том Академического издания, с одной стороны, и на архивный документальный материал, опубликованный в исторических трудах и в сборниках материалов — с дру-

¹⁰ Ю. С. Зубов. Крестьянская война под руководством Пугачева в изображении русской литературы. Автореферат кандидатской диссертации, М., 1951 (Московский городской педагогический институт имени В. П. Потемкина); Д. Н. Введенский. Язык и стиль научно-исторической прозы А. С. Пушкина. Автореферат докторской диссертации, М., 1952 (Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина); О. В. Астафьева. Тема крестьянского восстания в творчестве Пушкина. Автореферат кандидатской диссертации, Л., 1953 (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР; здесь хранится и сама диссертация); Н. И. Фокин. Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Автореферат кандидатской диссертации, Л., 1955 (Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова). См.: Л. Н. Назарова. Библиографический перечень авторефератов диссертаций о Пушкине (1949—1954). В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 384, 385.

¹¹ Н. Гриценко. Работа А. С. Пушкина над «Историей Пугачева». «Ученые записки Ульяновского государственного педагогического института. Пушкинский юбилейный сборник», Ульяновск, 1949, стр. 3—39. Автор неправомерно отождествляет здесь некоторые заголовки рубрик, данные Пушкиным или редакцией Академического издания («Помесячные выписки из архивных дел») с самими документами, из которых материалы извлечены (стр. 12).

¹² М. И. Мальцев. К проблеме крестьянской революции в творчестве А. С. Пушкина. «Ученые записки Кабардинского государственного педагогического института», вып. 5, Нальчик, 1953, стр. 17—70.

¹³ С. М. Петров. Исторический роман А. С. Пушкина. Изд. Академии наук СССР, М., 1953, стр. 107—133 (глава IV — «Капитанская дочка»).

¹⁴ Г. Блок. Пушкин в работе над историческими источниками. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1949.

¹⁵ А. И. Чхеидзе. «История Пугачева» А. С. Пушкина. Автореферат докторской диссертации, Тбилиси, 1950 (Тбилисский государственный университет имени И. В. Сталина); извлечения из диссертации — в статьях: «„История Пугачева“ А. С. Пушкина, как историческое исследование» («Труды Тбилисского государственного педагогического института имени А. С. Пушкина», т. V, 1948, стр. 119—163), «„История Пугачева“ Пушкина и царская цензура» («Труды Тбилисского государственного университета имени Сталина», т. XXX—XXXI, 1947, стр. 135—175); см. также более раннюю публикацию: А. И. Чхеидзе. К вопросу об источниках «Истории Пугачева» Пушкина. «Труды Тбилисского государственного учительского института имени А. С. Пушкина», т. II, 1942, стр. 273—307.

гой, не касаясь вопроса о соотношении тех и других. По вопросу о работе Пушкина в архивах, откуда он извлекал основной документальный материал, А. И. Чхеидзе следует П. Софинову, к выводам которого мы вернемся ниже.¹⁶

Таким образом, один из важнейших вопросов в изучении пугачевской темы у Пушкина — вопрос о том, какие именно архивные фонды и какие документы, извлеченные из них, были им исследованы и каковы были методы его работы над первоисточниками (в смысле отбора и обработки документов в виде заготовок, сделанных до написания «Истории Пугачева»), — до сих пор еще далек от разрешения. Настоящая статья также не ставит себе целью полностью осветить его: работа, начатая автором в этом направлении, далеко еще не закончена. Задача статьи много скромнее: определить тот круг архивных документов, те архивные фонды, которые были в руках автора «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» в период работы над историческим его трудом — в 1833—1834 годах.

Отвечая в «Современнике» 1836 года на статью В. Б. Броневского об «Истории Пугачевского бунта», помещенную в «Сыне отечества», Пушкин писал: «Я прочел со вниманием всё, что было напечатано о Пугачеве, и сверх того 18 толстых томов in-folio разных рукописей, указов, донесений и проч.»¹⁷ Вот эти-то «18 толстых томов» и должны составить предмет нашего изучения.

П. Софинов в своей ценной и не утратившей значения статье, уже названной выше — «А. С. Пушкин — исследователь пугачевского движения» — так резюмирует свои наблюдения:

«Для создания „Истории Пугачева“ Пушкин работал над материалами Петербургского архива Инспекторского департамента (Военного министерства, — Н. И.), Московского его отделения, материалами Московского главного архива Министерства иностранных дел, Государственного архива, а также над материалами Нижегородского и Оренбургского архивов. Но количество дел, выданных Пушкину, было чрезвычайно незначительно. Правительство сделало всё для того, чтобы, допустив Пушкина в архивы, фактически лишить его возможности их использовать». В другом месте П. Софинов пишет: «Всего из Инспекторского архива и Московского его отделения Пушкин получил двенадцать дел, которые тщательно изучил». И далее: «В Государственном архиве к 1833 году было сосредоточено 114 обширных дел о Пугачеве: из тайной экспедиции, из сената, из следственных комиссий, функционировавших на местах, — а Пушкину выдали только 8!»¹⁸

¹⁶ Недавнее исследование немецкого ученого Петера Бранга об истории создания «Капитанской дочки» (Peter Brang. Puškin und Kriukov. Zur Entstehungsgeschichte der «Kapitanskaja Dočka». Berlin, 1957) не касается прямо вопроса об архивных первоисточниках произведений Пушкина о Пугачевском восстании, так как это не входило в его задачу.

¹⁷ Акад., IX, 1, стр. 389. Все ссылки на большое Академическое издание — Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд. Академии наук СССР, 1937—1949 — даются здесь и далее в этой сокращенной форме.

¹⁸ «Исторический журнал», 1937, № 2, стр. 51, 43, 51. Отмеченные здесь 114 дел о Пугачеве в Государственном архиве — это, очевидно, дела из так называемого VI разряда: «Уголовные дела по государственным преступлениям и событиям особенной важности», ныне хранящиеся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА) в Москве, №№ 413—526, т. е. как раз 114; не вошло в этот счет, вероятно, дело № 527 — «Собрание материалов, относящихся до Пугачевского бунта и принадлежавших управляющему Московским Главным архивом» (т. е. Н. Н. Бантышу-Каменскому).

Эти замечания, в общем справедливые, нуждаются в некоторых поправках. Приступая к изучению Пугачевского восстания — одновременно для задуманного романа и для исторического труда — Пушкин, по-видимому, очень неясно представлял себе, где он должен искать архивные материалы. Он обратился первоначально лишь в Военное министерство и получил из архива Главного штаба некоторое количество архивных материалов о Пугачеве. Первого и главного документа, затребованного им, — следственного дела о Пугачеве¹⁹ — там не оказалось, и доступ к нему Пушкин получил не скоро: в предисловии к «Истории Пугачева», помеченном «2 ноября 1833. Село Болдино», он мог лишь глухо упомянуть о том, что «дело о Пугачеве, донные нераспечатанное, находилось в государственном санкт-петербургском архиве, вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы». «Будущий историк, — писал он далее, — коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно несовершенный, но добросовестный». Намек на отсутствие разумных причин делать тайну из исторического материала, обращенный к Николаю I и его правительству, был достаточно явен. Этот намек был повторен в «Замечаниях о бунте», представленных в рукописи Николаю I. Здесь, указывая по одному случаю на неполноту сведений, которыми он располагал, Пушкин писал (в замечании <15>): «Это должно явствовать из процесса Пугачева, но к сожалению я его не читал, не смев его распечатать без высочайшего на то соизволения».²⁰

Только тогда, когда книга была уже издана, царь и Бенкендорф решили ему «распечатать» дело о Пугачеве и сделать из него извлечения (которые, если и были сделаны, до нас не дошли).²¹ Восемь связок, выданных тогда Пушкину, — это, очевидно, и есть те восемь дел из числа 114, сосредоточенных тогда в Государственном архиве, о которых пишет П. Софинов. Они были приготовлены для Пушкина в конце февраля 1835 года. В период же работы над «Историей Пугачева», в 1833—1834 годах, Пушкин не пользовался материалами ни из Московского главного архива Министерства иностранных дел, ни из Государственного архива, ни из какого-либо другого архива гражданских ведомств, а только материалами военных архивов — Петербургского архива Инспекторского департамента и Московского его отделения.

Количество «дел», или «книг», полученных отсюда Пушкиным, нам точно известно: дежурный генерал Главного штаба П. А. Клейнмихель письмом от 24 сентября 1835 года потребовал от Пушкина возвращения материалов, полученных им из архива Инспекторского департамента; к письму приложена была и ведомость, из которой видно их содержание. Это «Разные секретные бумаги и своеручные манифесты Пугачева, в двух книгах», письма, донесения и реляции А. В. Суворова (не относящиеся к Пугачевскому восстанию) также в двух книгах, наконец, «Рапорты генералов: Бибикова, князя Голицына и графа Суворова-Рымниковского

¹⁹ См. письмо к А. И. Чернышеву от 9 февраля 1833 года (Акад., XV, стр. 47).

²⁰ Акад.; IX, 1, стр. 1, 374.

²¹ См.: Акад., XVI, стр. 8, № 1033; стр. 45, № 1088; Дела III Отделения собственной е. и. в. канцелярии об А. С. Пушкине. Под редакцией С. С. Сухонина. СПб., 1906, стр. 147—151; Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского главного архивов Министерства иностранных дел... Издал Н. А. Гастфрейнд, СПб., 1900, стр. 18—20; «Русская старина», 1889, январь, стр. 137—140 (публикация документов архива московских департаментов сената); Л. Д. Рыслев. Новые документы о работе А. С. Пушкина над «Историей Пугачева». «Вестник Ленинградского университета», 1958, № 2, серия истории, языка и литературы, вып. 1, стр. 146—148.

1774 года, в восьми книгах»²² — всего двенадцать «дел», или «книг», о которых, как сказано выше, говорит и П. Софинов; из них два относятся к истории суворовских войн, а десять непосредственно к Пугачевскому восстанию; они-то и должны нас прежде всего интересовать. Что это за «книги»?

Нет никакого сомнения в том, что все они принадлежат одному фонду — фонду Секретной экспедиции (или «Секретных повытий») Государственной военной коллегии. В настоящее время этот фонд находится в Центральном государственном военно-историческом архиве в Москве.²³ Он состоит из десяти переплетенных «толстых томов in-folio» (по выражению Пушкина), озаглавленных — там, где сохранились обложки с заголовками, или, как на книге 3, с заголовками, надписанными в позднейших копиях: «О известном злодее, бежавшем из-под караула беглом Донском казаке Емелке Пугачеве и о возмущении в пределах Оренбургской и Казанской губерний и о командировании туда полков и команд». Здесь, в этих громадных «книгах», содержится переписка Военной коллегии с администрацией областей, охваченных восстанием, и с начальниками войск, посланных для его подавления; здесь Пушкин мог видеть манифесты, указы и письма Е. И. Пугачева, распоряжения Военной коллегии, донесения и письма И. А. Рейнсдорпа, А. И. Бибикова, П. М. Голицына, Ф. Ф. Щербатова, П. И. Панина и многих других, менее значительных лиц с массой приложенных к донесениям документов — протоколами допросов и военных советов, рапортами местных начальников вроде яицкого коменданта И. Д. Симонова и пр. В книгах 2, 3 и 4 находится один из важнейших источников сведений о первой половине восстания, служивший также материалом для «Летописи» П. И. Рычкова, — «Журнал Рейнсдорпа», как назвал его Пушкин,²⁴ содержащий подробную хронику, день за днем, развития и хода восстания на Яике и осады Оренбурга. Это беловой текст, тщательно переписанный и отправлявшийся периодически Рейнсдорпом в петербургскую Военную коллегию.

Необходимо отметить, что в конспективной записи Пушкина к заглавию «Журнал Рейнсдорпа» прибавлен подзаголовок «Из Оренб. <ургского> архива»,²⁵ вызывающий вопрос о том, откуда выписывал Пушкин этот важный для него документ: из «книг» архива Военной коллегии (т. е. из архива Инспекторского департамента Военного министерства) или на месте, в Оренбурге, из дел тамшнего архива. К этому вопросу придется еще вернуться. Но во всяком случае можно утверждать, что, изучая дела Военной коллегии в марте—апреле 1833 года, Пушкин не мог пройти мимо «журнала», носящего, впрочем, в подлинном деле иное, длинное и канцелярски неуклюжее заглавие, именно: «Экстракт, сочиненный из дела о самозванце войска донского казаке раскольнике Емельяне Пугачеве, произведенного о обстоятельствах с ним Пугачевым и с изменническою его толпою происшедших и какие при том здешние распоряжения и действия учинены».²⁶

²² Акад., XVI, стр. 49—50, № 1094.

²³ ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. 1—10. В сборниках материалов, изданных Центральным архивом, «Пугачевщина» (тт. I—III, 1926—1931) документы, извлеченные из этого фонда, аннотированы: «Лефортовский архив (ЛА), секретное повытье, кн. 1» и т. д.

²⁴ Акад., IX, 2, стр. 512—537.

²⁵ Акад., IX, 2, стр. 512. Подлинная конспективная запись Пушкина — бывш. ЛБ № 2391, теперь ИРЛИ (ПД), ф. 244, оп. 1, № 1145, л. 68.

²⁶ Акад., IX, 2, стр. 907, в указателе. Архивный подлинник «Журнала Рейнсдорпа» — ЦГВИА. ф. 20, оп. 47, кн. 2, лл. 179—197; кн. 3, лл. 416—427; кн. 4, лл. 2—13 (повторение текста кн. 3), 75—98.

Из тех же книг архива Военной коллегии Пушкин делал и выписки, кратко конспектируя документы в календарном порядке.²⁷ Наиболее интересной является для нас книга 3 фонда Военной коллегии.²⁸

Здесь, среди донесений и писем А. И. Бибикова, П. Н. Кречетникова (астраханского губернатора), Д. И. Чичерина (сибирского губернатора), И. Е. Цыплетева (царицынского коменданта), А. А. Фейервара (коменданта Троицкой крепости) и многих других, вместе с манифестами и указами Пугачева,²⁹ с «Экстрактом», т. е. «Журналом Рейнсдорпа»,³⁰ мы видим одно из самых замечательных писем А. И. Бибикова — письмо к президенту Военной коллегии графу З. Г. Чернышеву от 24 января 1774 года³¹ — и, наконец, документ, привлекающий всё наше внимание: на лл. 249—250 находится показание первой жены Е. И. Пугачева, Софьи Дмитриевны. Оно введено было Пушкиным в четырнадцатое примечание к четвертой главе «Истории Пугачева» (стр. 42—45 второй пагинации первой части издания 1834 года) со словами: «Помещаем здесь показания жены Пугачева, Софьи Дмитриевны, в том виде, как они были представлены в Военную коллегию» — и с заголовком, выписанным (не вполне точно) из дела: «Описание известному злодею и самозванцу, какого он есть свойства и примет, учиненное по объявлению жены его, Софьи Дмитриевны».³² За два месяца до выхода в свет «Истории Пугачева» (появившейся, как известно, по требованию Николая I под заглавием «История Пугачевского бунта» в конце декабря 1834 года) тот же документ был опубликован вместе с другим показанием³³ в седьмом томе «Библиотеки для чтения», вышедшем 1 ноября 1834 года.³⁴ И вот на л. 249 архивного дела, у приведенного выше заголовка, написано карандашом руксю Пушкина:

Напечатано
в Биб. для Чт. 1834 г.
т. VII

²⁷ См. Акад., IX, 2, стр. 617—679 — «Помесячные выписи из архивных дел» (заглавие редакционное).

²⁸ ЦГВИА, ф. 20, оп. 47, кн. 3 — «О известном злодее...» (см. выше; современная, в новой орфографии, копия с утраченной подлинной обложки). «Началось 3 ноября 1773 г. Кончилось 4 мая 1774 г. на 456 листах».

²⁹ Текст манифеста от 2 декабря 1773 года, присланного в Военную коллегию в копии Фейервара, переписан Пушкиным, очевидно, с другого экземпляра, нами пока не отысканного, под другим заглавием и с другой датой: «Указ нашему губернатору Рейнсдорпу 1773 декабря 17» (см. ИРЛИ (ПД), ф. 244, оп. 1, № 382; Акад., IX, 2, стр. 687—688).

³⁰ См. выше. Здесь (кн. 3, лл. 416—427) журнал с 20 ноября по 21 декабря 1773 года.

³¹ Кн. 3, л. 30. Письмо полностью напечатано Пушкиным в «Приложениях» к «Истории Пугачева» (Акад., IX, 1, стр. 200—201). Оно замечательно тем, что содержит — в сдержанно-официальной форме — мысль, повторенную Бибиковым через несколько дней (29 января 1774 года) в письме к Д. И. Фонвизину, сочувственно цитировавшемуся Пушкиным (там же, стр. 45, 201—202). «Позвольте и теперь мне в.ашему с.иятельству повторить, — писал Бибинов Чернышеву, — не неприятель опасен, какое бы множество его ни было, но народное колебание, дух бунта и смятение» (там же, стр. 201). В письме к Фонвизину эта же мысль выражена еще резче и прямее: «Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование» (там же).

³² Акад., IX, 1, стр. 107—109. В подлинном тексте заголовка: «...жены его, Софьи Дмитриевны дочери».

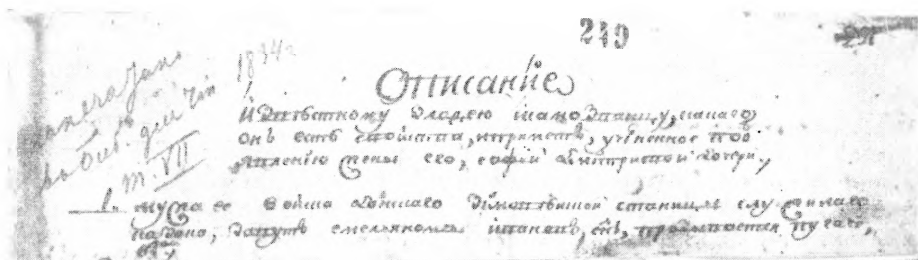
³³ Извлечением из показания «бывшего в 1771 году Зимовейской станции атаманом отставного казака Трофима Фомина» (см. Акад., IX, 1, стр. 109).

³⁴ «Библиотека для чтения», 1834, т. VII, кн. 11, отд. VII, Смесь, стр. 44—48 (см. Н. Синявский и М. Цявловский. Пушкин в печати. 1814—1837. Изд. 2, М., 1938, стр. 114—115, № 101).

Эта запись³⁵ дает окончательное и бесспорное подтверждение тому, что именно «книги» Секретной экспедиции Военной коллегии были получены Пушкиным от военного министра в феврале и марте 1833 года³⁶ и служили основным документальным источником при составлении «Истории Пугачева». Эти материалы находились у Пушкина до 19 ноября 1835 года,³⁷ чем и объясняется возможность появления записи, сделанной, вероятно, в ноябре или декабре 1834 года.

Таковы предварительные и неполные данные, собранные нами об одной части пугачевских материалов Пушкина.

Обратимся теперь к другому, не менее важному, но более сложному вопросу — об использовании Пушкиным документов местных архивов — Нижегородского, Казанского и Оренбургского.



Запись Пушкина в архивном деле о восстании Е. И. Пугачева.

Центральный государственный военно-исторический архив.

П. Софинов в уже не раз цитированной статье отметил коротко, что «из Оренбургского архива Пушкин извлек несколько чрезвычайно ценных документов, в частности показания о Пугачеве крестьянина Алексея Кириллова от 6 октября 1773 года. По дороге из Нижегородского архива Пушкин получил „Репорт инвалидных офицеров секунд-майора Алтуфьева и капитана Беляева и 20 офицеров“».³⁸

Действительно, в материалах Пушкина, объединенных В. Л. Комаровичем под общим заглавием «Помесячные выписи из архивных дел», в обложке, носящей заголовок «Октябрь и ноябрь 1773», помещено показание, начинающееся словами: «Окт. 7. Оренб. губ. Бугулинского ведомства села Богоруслану крест.<ьянин> ясашный Алек.<сей> Кирилов, который вчера приехав в тат.<арскую> деревню Кушлумешеву с Оренб.<ургской> стороны и был в Сакмарской креп.<ости>, по самой чистой совести показал».³⁹

³⁵ Автографичность этой записи Пушкина подтвердила и Т. Г. Цявловская — один из самых авторитетных современных текстологов и знатоков почерка Пушкина, приглашенная нами с этой целью в Военно-исторический архив.

³⁶ См. Акад., XV, стр. 51, №№ 797, 798; стр. 54, №№ 802, 803; стр. 57, № 809, а также Акад., XVI, стр. 49—50, № 1094; в ведомости, приложенной к письму П. А. Клейнмихеля от 24 сентября 1835 года, указывается, что книги, вытребованные из архива Инспекторского департамента Военного министерства, были доставлены Пушкину «при записках от 25 февраля, 8 и 27 марта 1833 года». Вторая дата — 8 марта — относится к материалам лишь о Суворове, но не о Пугачевском восстании.

³⁷ См. Акад., XVI, стр. 49—50, № 1094; стр. 63, № 1109.

³⁸ «Исторический журнал», 1937, № 2, стр. 44.

³⁹ Акад., IX, 2, стр. 622—623; текст рукою Пушкина — ИРЛИ (ПД), ф. 244, оп. 1, № 1159, лл. 275, 276. В тексте Акад. — «Бугул<ь>минского».

На обложке (л. 275) ниже заголовка «Октябрь и ноябрь. 1773» Пушкин сделал помету: «Немец.<кое> письмо Рейнсд.<орпа>». Но она сделана для памяти и относится к какому-то другому «немецкому письму Рейнсдорпа» (их немало в делах), а не к следующему за ней документу.

Показание Кириллова так ярко и содержательно, что Пушкин в тексте «Истории» дал из него, в литературной обработке, большую выдержку и в дальнейшем изложении привел еще красочную цитату.⁴⁰ К этой выдержке, в которой Кириллов не назван, а обозначен лишь как «очевидец», сделано примечание (четырнадцатое к главе второй): «Показание крестьянина Алексея Кириллова от 6 октября 1773 года. (Из Оренбургского архива)».⁴¹

Попутно отметим, что подзаголовок «Из Оренб.<ургского> архива» носит, как уже было сказано, конспективно изложенный Пушкиным «Журнал Рейнсдорпа».⁴²

Что касается Нижегородского архива, то помета о происхождении из него поставлена Пушкиным как заголовок к рапорту курмышских инвалидов офицеров нижегородскому губернатору А. А. Ступишину от 27 июля 1774 года.⁴³ Этот документ выписан Пушкиным на отдельном двойном писчем листе, торопливым почерком, с рядом сокращений, позволяющих предполагать (как и в показании Кириллова) большую поспешность при списывании.

Рассмотрим все эти случаи.

Выписки из местных провинциальных архивов Пушкин мог делать только во время путешествия в Поволжье и в Оренбургский край в сентябре 1833 года или во всяком случае после него. Хронологически первым пунктом в местах, где происходило Пугачевское восстание, был Нижний Новгород, который Пушкин посетил 2—3 сентября. Так как самый город не был связан с восстанием и Пушкин лишь бегло осмотрел его исторические и современные достопримечательности, он, вполне возможно, мог уделить несколько часов на просмотр — очевидно, немногочисленных — документов о Пугачеве, хранившихся в местном архиве. Это было, вероятно, на второй день его пребывания в городе — 3 сентября. При содействии губернатора М. П. Бутурлина, старавшегося быть особенно любезным с петербургским гостем, посланным (по его мнению) с тайным поручением от правительства,⁴⁴ получить материал было нетрудно. Быстрой ориентировке в архивных делах помогло уже законченное в Петербурге изучение фонда Военной коллегии: Пушкин мог отбирать то, чего, как он помнил, не было в уже изученных им материалах. На большую спешность работы указывает, как было отмечено, и внешний вид текста — документ мог быть переписан (а частью пересказан) в несколько минут. Окончательное суждение здесь пока, однако, невозможно ввиду неизученности

⁴⁰ См. Акад., IX, 1, стр. 20—21, 25.

⁴¹ Акад., IX, 1, стр. 101.

⁴² См. Акад., IX, 2, стр. 512; ИРЛИ (ПД), ф. 244, оп. 1, № 1145, л. 68 (см. выше).

⁴³ См. Акад., IX, 2, стр. 658—659; ИРЛИ (ПД), ф. 244, оп. 1, № 1153, лл. 191—192.

⁴⁴ См.: Пушкин. Письма, т. III. Под редакцией и с примечаниями Л. Б. Модзалевского. Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 618, 620—621; здесь приведена и литература. Об архивных занятиях Пушкина в Нижнем Новгороде нет никаких документальных или мемуарных данных (кроме приведенной пометы); не упоминает об этом и Пушкин в письмах к жене.

Горьковских (Нижегородских) архивных фондов в смысле возможности работы в них Пушкина.⁴⁵

Несравненно большее значение, чем Нижегородский архив, могли иметь для Пушкина архивы Казани и в особенности Оренбурга. Еще собираясь в путешествие и прося разрешения на отпуск у Бенкендорфа, Пушкин особо оговаривал, что хотел бы воспользоваться поездкой в свое нижегородское имение, чтобы «завернуть в Оренбург и в Казань, которых <он> еще не знает», и к этому добавлял: «Умоляю его величество позволить мне ознакомиться с архивами этих двух губерний».⁴⁶

У нас нет никаких сведений о том, был ли Пушкин в архивах Казани. Среди его материалов нет ни одного документа несомненно архивного казанского происхождения. По-видимому, он отказался от обследования архивов (скудость которых после пожара при взятии города войсками Пугачева могла стать ему известной от К. Ф. Фукса и других лиц) и ограничился лишь собиранием устных сведений от того же Фукса⁴⁷ и от местных старожилов — В. П. Бабина⁴⁸ и Л. Ф. Крупеникова.⁴⁹

Из Казани через Симбирск и Самару Пушкин отправился в Оренбург, куда прибыл 18 сентября. Пребыванию его в Оренбурге посвящена значительная литература, сохранилось немало воспоминаний и эпистолярных свидетельств, более или менее ценных (но иногда и вовсе не достоверных).⁵⁰ Многие факты выяснены, кое-что остается спорным и неясным. Критически сопоставив все данные, можно установить следующее.

⁴⁵ В специальных трудах, где говорится о пребывании Пушкина в Нижнем Новгороде (сб. «Пушкин в Болдине», Горький, 1937; А. Еремин. Пушкин в Нижегородском крае. Горький, 1951), этот вопрос, к сожалению, не освещен.

⁴⁶ Акад., XV, стр. 69, № 830; черновой текст на французском языке; перевод — стр. 318. Беловой, отправленный по назначению текст не сохранился; возможно, что в нем о позволении «ознакомиться с архивами этих двух губерний» (*voir les archives de ces deux gouvernements*) уже из осторожности не упоминалось. Во всяком случае ответное письмо А. Н. Мордвинова, написанное по поручению Бенкендорфа, не упоминая вовсе об архивах, содержит лишь вопрос подозрительного царя: «... что побуждает Вас к поездке в Оренбург и Казань?» (там же, № 831). Пушкин дал уклончивый ответ, ссылаясь на необходимость уединения, чтобы «кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду»; эта книга — роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии» (там же, стр. 70, № 832). В следующем письме Мордвинова, вновь без упоминания об архивах, сообщалось о дозволении Пушкину «ехать в Оренбург и Казань, на четыре месяца» (там же, стр. 71, № 835). Для нас в данном случае важно отметить самое намерение Пушкина поработать в местных архивах.

⁴⁷ См.: Пушкин, Письма, т. III, стр. 622, 632—633. Во втором примечании к восьмой главе «Истории Пугачева» по поводу рассказа о казанском пасторе, пожалованном Пугачевым в «полковники» (Акад., IX, 1, стр. 68), Пушкин замечает: «Слышано мною от К. Ф. Фукса, доктора и профессора медицины при Казанском университете, человека столь же ученого, как и любезного и снисходительного. Ему обязан я многими любопытными известиями касательно эпохи и стороны, здесь описанных» (там же, стр. 116).

⁴⁸ Рассказ В. П. Бабина был записан Пушкиным (см. Акад., IX, 2, стр. 494; ИРЛИ (ПД), ф. 244, оп. 1, № 370). Он послужил материалом для начала седьмой главы «Истории».

⁴⁹ О нем см.: Пушкин, Письма, т. III, стр. 622.

⁵⁰ Основными материалами являются: письма самого Пушкина к Н. Н. Пушкиной от 19 сентября и 2 октября 1833 года из Оренбурга и Болдина, дающие, впрочем, очень мало сведений (см. Акад., XV, стр. 81—82, № 847; стр. 83—84, № 849), а также его письмо к В. А. Перовскому от марта—апреля 1835 года (см. Акад., XVI, стр. 22, № 1053); воспоминания В. И. Даля, неоднократно и с разными дополнениями печатавшиеся (см.: Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, стр. 416—421 («Воспоминания о Пушкине»; первоначально в «Русском вестнике», 1890, кн. 10, стр. 5—10); дополнения к воспоминаниям Даля — в статье Н. О. Лернера «Из неизданных материалов для биографии Пушкина»

Пушкин прибыл в Оренбург, по-видимому, днем 18 сентября и оставившись сначала у губернатора В. А. Перовского на его загородной даче. Явившийся к Перовскому В. И. Даль в тот же день повел Пушкина к начальнику Неплюевского военного училища инженер-майору К. Д. Артюхову, у которого «была отличная баня», где путешественник и вымылся,⁵¹ а затем вместе с Далем вернулся на дачу Перовского, где и ночевал. Так прошел первый день.

На следующий день, 19 сентября, Пушкин с Далем (и, по-видимому, Артюховым) отправились утром в станицу Берды (бывшую штаб-квартиру Пугачева и его армии зимой 1773—1774 годов) и там слушали рассказы старухи, современницы восстания, казачки Бунтовой, а затем осматривали город, причем Даль показывал Пушкину расположение повстанческих войск во время осады Оренбурга. На это ушла первая половина дня; как прошла вторая половина — точно неизвестно. Вечер поэт провел у Даля, который к этому времени перевез его в город, и ночевал у него (или, по другим сведениям, на городской квартире Перовского). Что делал Пушкин утром 20 сентября — мы опять-таки не знаем. Днем он выехал из Оренбурга — вероятно, после обеда у Перовского — и отправился по берегу Урала вниз, к городу Уральску (бывш. Яицкому городку) — месту возникновения и начала Пугачевского восстания.

(«Русская старина», 1907, № 10, стр. 65—66) и в книге М. А. Цявловского «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым» (М., 1925, стр. 21—22)); письма Е. З. Ворониной, написанные из Оренбурга в сентябре—ноябре 1833 года и напечатанные частично Л. Н. Майковым в его сборнике «Пушкин» (1899, стр. 427—429), а полностью в «Русском архиве» (1902, кн. II, № 8, стр. 647—660); воспоминания бердинской казачки А. Т. Блиновой в записях С. Н. Севастьянова («Труды Оренбургской ученой архивной комиссии», вып. VI, Оренбург, 1900, стр. 233—234) и Н. Г. Иванова («Русский архив», 1900, кн. I, стр. 157—159); воспоминания Н. П. Иванова — очень недостоверные — в его книге «Хивинская экспедиция 1839—40 гг.» (СПб., 1873, стр. 20—23), перепечатанные В. И. Межовым в журнале «Библиограф» (1887, март, стр. 37—39) и вторично — М. Л. Юдиным в «Трудах Оренбургской ученой архивной комиссии» (вып. VI, стр. 209—213); в последнем издании (стр. 213—215) помещен и рассказ о Пушкине в Бердах Н. А. Кайдалова, напечатанный впервые в «Современных известиях» (1880, № 164); статья П. Юдина «Памяти А. С. Пушкина. I. Некоторые подробности о его пребывании в Оренбурге» («Русский архив», 1899, кн. II, № 5, стр. 137—138); воспоминания К. И. Савостьянова, опубликованные А. А. Достоевским в издании: «Пушкин и его современники» (вып. XXXVII, 1928, стр. 144—151); воспоминания И. В. Чернова в «Трудах Оренбургской ученой архивной комиссии» (вып. XVIII, 1907, стр. 6) и некоторые другие, о которых будет сказано ниже. Из исследовательских или популярных работ, посвященных пребыванию Пушкина в Оренбурге, отметим статью Д. Н. Соколова «Пушкин в Оренбурге» («Пушкин и его современники», вып. XXIII—XXIV, 1916, стр. 67—100, 301—304), статьи Н. Е. Прянишникова, К. Сальникова и других в сборнике «Пушкин в Оренбурге» (Оренбург, 1937), работы Н. Е. Прянишникова: «В. И. Даль в Оренбурге» («Степные огни». Литературно-художественный сборник, № 4, Чкалов, 1941, стр. 196—223), очерки «Пушкин» в его книгах «Писатели-классики в Оренбургском крае» (Чкалов, 1946, стр. 10—24; изд. 2, 1956, стр. 39—59) и «Писатели-классики об Оренбургском крае» (Чкалов, 1951, стр. 10—30), «По литературным местам Чкаловской области» (С экскурсией по Чкаловской области, Чкалов, 1949, стр. 142—145) и др. Критическому исследованию биографических и творческих вопросов, связанных с посещением Пушкиным Оренбурга, посвящена неизданная работа автора настоящей статьи — «Пушкин в Оренбургском крае» (ср.: Н. Измайлов. Пушкин в Оренбургском крае. «Чкаловская коммуна», 1949, № 104 (6444), 29 мая).

⁵¹ Охотничьи рассказы Артюхова (о которых неоднократно вспоминает Даль в своих мемуарах и художественных произведениях — в очерке «Охота на волков», рассказе «Болгарка») Пушкин запомнил и в письме к Перовскому, упомянутом выше, писал, посылая «Историю Пугачева» ему и другим оренбургским знакомым и забыв фамилию Артюхова: «... тому охотнику, что вальшнепов сравнивает с Валленштейном или с Кесарем» (Акад., XVI, стр. 22, № 1053).

Таким образом, в распоряжении Пушкина было несомненно несколько свободных часов — вторая половина дня 19 сентября и первая половина дня 20-го. Эти-то часы он и мог употребить на работу в архивах.

Документы о Пугачевском восстании были сосредоточены тогда в архиве Оренбургской пограничной комиссии в виде двенадцати (точнее, четырнадцати; см. ниже) толстых переплетенных книг.⁵² Их содержание составляли, с одной стороны, получаемые в Оренбурге на имя военного губернатора генерала Рейнсдорпа указы и распоряжения Военной коллегии и других правительственных учреждений и высших начальников, донесения и письма местных и подчиненных начальников, протоколы допросов, манифесты и письма Пугачева и т. д., с другой стороны — отпуски и черновики донесений и писем Рейнсдорпа и других документов, направляемых в Военную коллегия и в другие места. Одним словом, это — материал, дополняющий то, что Пушкин видел в «книгах» из архива Военной коллегии, отчасти дублирующий его и освещающий, так сказать, с другой стороны. Многое из того, что было здесь, Пушкин, конечно, уже знал, но многое он должен был желать пересмотреть и проверить, а главное, поискать такие местные документы, которые не попадали в Петербург. Таким образом, вероятность посещения Пушкиным Оренбургского архива не подлежит сомнению. Несомненно, однако, что ознакомление с пугачевскими материалами архива Пограничной комиссии представляло значительные трудности вследствие чернового характера многих документов, написанных частью на немецком языке, а частью — в трудно читаемой канцелярской скорописи XVIII века. Но нужно думать, что о своем желании заняться в архиве Пушкин еще в день приезда, вечером 18 сентября, переговорил с Перовским, и последний распорядился приготовить для него материал, и не только приготовить, но и помогать ему всячески в его работе. В этом отношении небезынтересен один рассказ, при всей его общей фантастичности содержащий какую-то долю истины.

В 1883 году, перед пятидесятилетием приезда Пушкина в Оренбург, в неофициальной части «Оренбургских губернских ведомостей» (№ 12) была напечатана статья Р. Г. Игнатьева «Пушкин в Оренбурге», заключающая выдержки из «Дневника» некоего А. А. Щиголева, казачьего офицера, по службе находившегося в Оренбурге в 1833 году.⁵³ Этот «дневник» представляет собой грубую подделку, отчасти на основании псевднейших печатных источников, изобличающую в авторе вместе с тем полное незнание истинных обстоятельств пребывания Пушкина в Оренбурге.⁵⁴

⁵² Служивший в Оренбурге инженер-прапорщик К. А. Бух после прочтения «Истории Пугачевского бунта» заинтересовался историей восстания и решил изучить эти архивные материалы. В письме от 9 октября 1835 года он рассказывал об этом Пушкину: «... эпоха, вами избранная и разработанная с таким замечательным мастерством, заинтересовала меня столь живо, что я взялся за ее изучение; и Архив комиссии пограничных споров (l'Archive de la Commission du contentieux des frontières), как ее назвал А. Гумбольдт, дал мне первые материалы: я начал делать выписки из всего, что нашел любопытного в этом архиве, и после восьми месяцев усидчивой работы над двенадцатью толстыми фолиантами я в конце концов получил обзор их содержания, обнимающий историю Пугачева от его побега из Казани до битвы при Татищевой» (Акад., XVI, стр. 55, № 1101; подлинник на французском языке; русский перевод — стр. 374—375).

⁵³ За сообщение этой статьи выражаю глубокую признательность С. А. Попову, научному сотруднику Оренбургского областного краеведческого музея, замечательному знатоку истории края, которому я обязан многими ценными указаниями.

⁵⁴ По сведениям «дневника», Пушкин приехал в Оренбург 12 июня и прожил там около двух недель, проводя время среди балов, парадных обедов, пикников и т. п., даже присутствовал на смотре войскам в лагерях. Характерно, что эти якобы «дневниковые»

Но есть в нем сведения, восходящие так или иначе к устойчивому в Оренбурге преданию, заключающему зерно истины: Щиголов в «дневнике» рассказывает о том, что Пушкин «был... в Пограничной комиссии, где для работы ему дана большая, хорошо меблированная комната и трое чиновников, хорошо разбирающих старину. Пушкин взглянул на дело Пугачевское, в 12 больших томах, которые были разложены на огромном столе, стал перелистывать и читать то тот, то другой том, сказав: „чорт знает! чтобы прочесть всё это, надо иметь мышьиные глаза!“ Он стал заниматься; начальство вышло, Пушкин запер дверь и тем положил конец нашему любопытству. Он занимался более 2-х часов, сделал карандашом заметки и засадил писцов списывать. Так он делал каждый день».⁵⁵

К этой записи публикатор (или автор?) «дневника» Р. Г. Игнатьев сделал примечание: «Скажу от себя: г. Щиголов писал правду об ученых занятиях Пушкина. Дело в 12 огромных фолиантах под заглавием: „Дело о государственном злодее Емельяне Пугачеве 1773—1774 годов“, хранившееся в архиве Оренбургской пограничной комиссии, а потом мною рассматривавшееся в 1870 году в архиве Тургайского областного правления, всё прочтено Пушкиным и, где следовали выписки, там помечено рукою Пушкина карандашом — „списать“. Дело теперь в Московском архиве Министерства юстиции, и я снова читал его с пометами Пушкина в 1878 году, будучи в Москве, благодаря сенатора Н. В. Калачова».

Сведения, сообщенные в этом примечании Р. Г. Игнатьевым о пугачевских материалах Оренбургского архива, при некоторых неточностях соответствуют в общем действительности: фонд канцелярии оренбургского губернатора генерала Рейнсдорпа (1772—1774) в 30-х годах XIX века хранился в архиве Оренбургской пограничной комиссии, позднее вошедшем в архив Тургайского областного правления. После упразднения этого правления фонд Рейнсдорпа в числе прочих фондов упраздненных учреждений был передан в Московский архив Министерства юстиции. В советское время он вошел в состав VI разряда Древлехранилища Государственного архива (в ГАФКЭ), а в настоящее время находится в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА, ф. 1100). Всего в этом фонде не двенадцать, а четырнадцать переплетенных томов.⁵⁶ Заглавие дел передано Игнатьевым неточно; почти все имеют надпись на корешках: «Дело о самозванце Емельяне Пугачеве» с обозначением месяца и года; у некоторых сохранились заглавные листы с полным заголовком: «Столу о злодее самозванце войска Донского казаке Емельяне Пугачеве» или кратко «Столу делам Емелькиным». Пометы «списать», встречающиеся кое-где, не принадлежат Пушкину, так же как и отчеркивания и другие

записи помечены не числами, а днями пребывания Пушкина в Оренбурге, с первого по двенадцатый.

⁵⁵ Публикация Р. Г. Игнатьева явилась ответом на обращение, напечатанное за несколько месяцев до того в «Оренбургских губернских ведомостях» (1882, № 47, часть неофициальная), со ссылкой на «Оренбургский листок»: напоминая о том, что «в 1883 году минет 50 лет, как в Оренбург приезжал Пушкин для собрания в здешних архивах (курсив мой, — Н. И.) документов по пугачевскому бунту», газета обращалась с просьбой «к оренбургским старожилам сообщать всё, что им известно о времени пребывания здесь Пушкина». Уверенность в том, что Пушкин приезжал для разысканий в архивах, была, как видно, очень сильна в Оренбурге, и факт представлялся несомненным.

⁵⁶ Первый том относится к 1772 году и не содержит материалов о восстании в собственном смысле; четырнадцатый том заключает лишь «Ведомости о убитых и разоренных имущест.ствах» толпою Пугачева 1774 г. Тот и другой, быть может, не входили в общий счет, почему как Бух, так и Игнатьев насчитывали двенадцать томов.

знаки на полях и в тексте. Возможно, что их делал упомянутый выше Бух, занимавшийся этим фондом в 1835 году.

Независимо, однако, от этих полулегендарных и даже фантастических рассказов, мы имеем все основания полагать, что Пушкин в Оренбургском архиве занимался, дела просматривал и извлек из них некоторые документы: во-первых, он имел это намерение, еще собираясь в путешествие летом 1833 года, и было бы странно, если бы он пропустил малейшую возможность ознакомиться на месте с архивными материалами; во-вторых, пометы, приведенные выше, на пушкинских конспектах и в печатном тексте «Истории Пугачева» — «Из Оренбургского архива» — не позволяют в этом сомневаться.⁵⁷ Другой вопрос — как и в какой степени использовал Пушкин оренбургские материалы.

«Дела», или «столпы» архива Оренбургской пограничной комиссии (ныне находящиеся в ЦГАДА) во многом, как сказано, дублируют документы секретных повыйтий Военной коллегии. Различие состоит в том, что местный материал, который находится в архиве канцелярии Рейнсдорпа, представляет собой в значительной части черновые отпуски донесений, отправлявшихся в Петербург. Пушкину не было надобности разбираться в этих черновиках, потому что он еще до поездки в Оренбург мог изучать и конспектировать те же документы по беловым текстам. Помета «Из Оренб.<ургского> архива» при начале «Журнала Рейнсдорпа» могла значить только то, что первоначальный черновой текст Пушкин видел в Оренбурге. При сличении пушкинских выписок с архивными подлинниками во

⁵⁷ Решительно отрицает занятия Пушкина в Оренбургском архиве лишь один мемуарист — упомянутый выше К. А. Бух (1812—1895), тогда молодой инженерный прапорщик, бывший на службе в Оренбурге во время пребывания там Пушкина. В его воспоминаниях (опубликованных частично в «Записках Отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», вып. I, М., 1938, стр. 7—10) говорится о том, что «Пушкин... употребил на пребывание в Оренбурге и поездки по краю всего четыре дня, а в местные архивы не заглядывал». Далее рассказывается в форме анекдота о случайной встрече товарища Буха, А. Ф. Штакельберга, с Пушкиным в Петербурге в 1836 году в книжном магазине. Штакельберг, вмешавшись в разговор неизвестного ему посетителя (оказавшегося Пушкиным) с книгопродавцем по поводу «Истории Пугачевского бунта» сказал: «Разве можно признать эту историю серьезным исследованием, когда Пушкин, бывши в Оренбурге, даже не дал себе труда просмотреть местные архивные дела; приятель мой (т. е. Бух, — Н. И.), живя в Оренбурге, их разбирал и сделал чрезвычайно любопытные выписки». Эта встреча, по словам Буха, явилась поводом для его знакомства с Пушкиным, которого Бух посетил летом 1836 года. Пушкин, просмотрев архивные извлечения Буха, сказал: «Рукопись ваша любопытна и вы могли бы напечатать ее в виде приложения к моей истории». «Полагая, — заключает Бух, — что Пушкин, пользовавшийся архивными делами Петербурга и Москвы, нашел мало нового в моих извлечениях и только из приличия предложил напечатать их, я похоронил их в куче других бумаг, у меня накопившихся, среди которых они впоследствии затерялись». О занятиях Буха в Оренбургском архиве мы знаем по приведенной выше выдержке из письма его к Пушкину от 9 октября 1835 года (см. стр. 449; Акад., XVI, стр. 55, № 1101). Это письмо, о котором Бух не упоминает в позднейших воспоминаниях, заставляет усомниться в точности последних: из письма следует, что в 1836 году материалы Буха не могли быть новостью для Пушкина. При этом Бух рассчитывал не только заслужить своими выписками признательность Пушкина и «некоторое уважение, чем и буду гордиться» (как он пишет), но и получить от поэта 500 руб., которых ему «не достает». Ответил ли Пушкин на бесцеремонное предложение молодого офицера, неизвестно. В том, что сам Бух занимался в Оренбургском архиве, едва ли можно сомневаться. Но его утверждение, что Пушкин «в местные архивы не заглядывал», ничем не доказывается. В неизданной части архива К. А. Буха (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина) есть ряд дневниковых записей 1835 года, показывающих его интерес к Пугачевскому восстанию: о поездке в Берды по следам Пушкина, о рассказах современника восстания майора Сычугова, побывавшего в плену у пугачевцев, и пр. Пушкин с Сычуговым, по-видимому, не встречался.

многих случаях видно, по расхождениям в мелких деталях, что выписка или конспект восходят не к Оренбургскому архиву, а к архиву Военной коллегии. С другой стороны, в делах канцелярии Рейнсдорпа должны были быть и были такие документы, которых не было в архиве Военной коллегии, так что Пушкин мог с ними познакомиться только в Оренбургском архиве. Таково уже упоминавшееся показание Алексея Кириллова от 6 октября 1773 года; правда, следует сказать, что на том месте, где оно хронологически должно было бы находиться (документы подшивались в книги в порядке их хронологии), это показание нами обнаружено не было и где оно находится, неизвестно.⁵⁸

Пушкин мог конспективно списать показание Кириллова, как и некоторые другие документы, в те немногие часы 19 и 20 сентября, которые он, вероятно, провел в архиве Пограничной комиссии. На эти (нам полностью неизвестные) документы он мог обратить внимание, перелистывая толстые «фолианты». Свойственные ему огромная память и быстрота соображения могли помочь мгновенно определять и важность документа и то, не встречался ли он уже в делах Военной коллегии. Можно думать, что, помимо показания Кириллова, из Оренбургского архива были извлечены «Журнал Симанова»⁵⁹ об осаде войсками Пугачева Яицкого городка и «Журнал Мясоедова» («Журнал осады города Уфы»).⁶⁰ В отношении других документов, восходящих, возможно, к Оренбургскому архиву (текстов некоторых из манифестов и указов Пугачева, показаний пленных и перебежчиков местным начальникам и пр.), приходится пока воздержаться от суждений: для этого нужно сличить все три источника — выписки и конспекты Пушкина в Акад., IX, и в Пушкинском Доме, документы архива канцелярии Рейнсдорпа в ЦГАДА и архива Военной коллегии в ЦГВИА. Эта большая и сложная работа еще не проделана.⁶¹

Но выписать или хотя бы законспектировать все интересующие его документы в Оренбургском архиве Пушкин, разумеется, не мог за те немногие часы, какие были в его распоряжении. Приведенный выше рассказ Щиголева в публикации Игнатьева о трех чиновниках, занимавшихся для Пушкина переписыванием, — чистая выдумка: почти все известные нам материалы, вошедшие в Акад., IX, 2, переписаны Пушкиным собственноручно, а немногие писарские копии сделаны, вероятно, в Петербурге. Таковы, например, два документа несомненно оренбургского (хотя, быть может, и не архивного) происхождения: «Прибавление о разбойнике и

⁵⁸ Следуя хронологическому порядку, оно должно было бы находиться в книге 2 архива канцелярии Рейнсдорпа (ЦГАДА, ф. 1100, кн. 2), обнимающей сентябрь и октябрь 1773 года, приблизительно около 400-го листа.

⁵⁹ См. Акад., IX, 2, стр. 501—504; ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1142. Текст полусписан, полупересказан Пушкиным (собственноручно). Подлинник в делах канцелярии Рейнсдорпа нами не обнаружен.

⁶⁰ См. Акад., IX, 2, стр. 505—512; ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1143; ЦГАДА, ф. 1100, кн. 7, лл. 459—482. Пушкиным выписан в очень кратком изложении.

⁶¹ В комментариях к «Капитанской дочке» (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. IV, Изд. «Academia», 1936, стр. 755) Ю. Г. Оксман указал на то, что «реестр барскому добру», представленный Савельичем Пугачеву (гл. IX) построен Пушкиным «на основании одной из подлинных „претензий“ 1774 года, скопированной им, вероятно, в Оренбургском архиве во время поездки 1833 года». Публикуя целиком по списку рукою Пушкина эту «претензию» — «Реестр что украдено у надворного советника Буткевича при хуторе в пригороде Заниске» — в «Литературном наследстве» (т. 58, 1952, стр. 235—239), Ю. Г. Оксман снял последнее утверждение, ограничившись указанием на то, что «реестр» скопирован был Пушкиным с архивного оригинала, местонахождение и полный текст которого историкам неизвестны (там же, стр. 241, примеч. 25). В фонде канцелярии Рейнсдорпа (ЦГАДА) этот «реестр» пока не обнаружен.

самозванце Пугачеве из дневных записок 1773 года, города Оренбурга... священника Ивана Осипова» и «Известие о самозванце Пугачеве» другого оренбургского священника, Ивана Полянского.⁶² Оба документа скопированы переписчиком на бумаге с водяным знаком «А. Гончаров 1834»,⁶³ т. е. уже в Петербурге, после возвращения Пушкина из поездки, так как иметь такую бумагу с собой в путешествии, начатом в августе, он не мог, а в далекой провинции дорогая гончаровская бумага была, конечно, редкостью и едва ли могла быть приобретена писарем, если только не была прислана Пушкиным из Петербурга, что маловероятно.

Остается предположить, что некоторые по крайней мере из переплетенных книг Оренбургского архива были увезены с собой Пушкиным в Болдино и затем в Петербург и возвращены в Оренбург через несколько месяцев — не позже, однако, конца 1834 года.⁶⁴ Возможно ли это предположение?

Позднейший биограф, П. Юдин, писавший на основании каких-то оренбургских преданий, утверждает прямо, что «Перовский так увлекся Пушкиным, что отдал ему из своей канцелярии все дела о Пугачеве, и Пушкин их увез с собой».⁶⁵ Как ни фантастично на первый взгляд такое сообщение, к нему, однако, нужно прислушаться: самый факт очень вероятен. Мы знаем, что двенадцать таких же переплетенных «дел» из архива Главного штаба о Суворове и о Пугачевском восстании были выданы Пушкину на дом с разрешения военного министра графа Чернышева, человека от Пушкина далекого и вовсе к нему не благоволившего,⁶⁶ и оставались у него в пользовании свыше двух с половиной лет. Тем более это было возможно для всесильного в Оренбурге губернатора В. А. Перовского, давнего и довольно близкого приятеля Пушкина, ни перед кем не ответственного и известного своим самовластием. Передача могла быть совершена без формальностей — никаких документов об этом, насколько известно, в Оренбургском архиве не сохранилось, — но Пушкин тем более должен был считать себя обязанным вернуть их при первой возможности и вернул, быть может, пользуясь приездом самого Перовского в Петербург в конце декабря 1834 года.⁶⁷ Пушкин мог взять, конечно, не все четырнадцать (или двенадцать) томов оренбургских документов о восстании, но некоторые

⁶² См. Акад., IX, 2, стр. 551—598 (документы V и VI); ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1162 (бывш. ЛБ № 2394, № 11).

⁶³ На той же бумаге и тем же писарским почерком переписаны документы «О побеге Пугачева» — Акад., IX, 2, стр. 723—747 (документ VI); ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1161 (бывш. ЛБ № 2394, № 14); эта рукопись авторизована Пушкиным.

⁶⁴ В феврале 1835 года этими материалами уже занимался К. А. Бух (см. выше). В своих воспоминаниях он, однако — быть может, намеренно — не упоминает о том, что эти рукописи были у Пушкина.

⁶⁵ П. Юдин. Памяти А. С. Пушкина. I. Некоторые подробности о его пребывании в Оренбурге. «Русский архив», 1899, кн. II, № 5, стр. 138. «Где теперь находятся дела эти, — добавляет автор, — покрыто мраком неизвестности. В архиве же бывшей канцелярии военного губернатора и в штабе Отдельного Оренбургского корпуса нет ни одного дела о Пугачевщине». Эти замечания — плод неосведомленности автора: еще в 1883 году Р. Г. Игнатьев знал вполне точно судьбу фонда канцелярии Рейнсдорпа.

⁶⁶ А. И. Чернышев, один из реакционнейших деятелей николаевского времени, не мог не знать о близости Пушкина к декабристам, в деле которых он, Чернышев, играл такую неблагоприятную роль.

⁶⁷ См. в статье Б. Л. Модзалевского «Новинки пушкинского текста по рукописям Пушкинского Дома» («Сборник Пушкинского Дома на 1923 год», ГИЗ, Пгр., 1922, стр. 20, примеч. 3). В письме к В. А. Перовскому (Акад., XVI, стр. 22) Пушкин, правда, пишет ему: «Жалею, что в Петербурге удалось нам встретиться только на бале»; но и в этих условиях он мог переговорить с ним или с его адъютантом о пересылке рукописей.

из них, в особенности книги 2, 3, 4, 5, 6, 7, обнимающие события от сентября 1773 по май 1774 года. В таком случае получают объяснение слова Пушкина, уже приводившиеся, о том, что он «прочел со вниманием... 18 толстых томов in-folio разных рукописей, указов, донесений и проч.». Десять томов из этих восемнадцати составляли дела Военной коллегии, пять—шесть томов могли быть привезены из Оренбурга, остальные приходятся на иные сборники материалов (полученные от Д. Н. Бантыша-Каменского и пр.).⁶⁸

Таковы очень предварительные и неполные данные, какими мы располагаем сейчас. Дальнейшие исследования уточнят их и дополнят. Но и то, что мы знаем теперь, позволяет утверждать, что Пушкин при составлении своей «Истории» проявил огромную настойчивость и мастерство в архивных изысканиях, столь трудных в ту эпоху и особенно для избранной им темы. Он охватил всё, что только мог узнать и вырвать из наглухо закрытых царских архивов. И даже выпустив книгу, продолжал настойчиво добиваться получения новых, всё более запретных материалов для совершенствования своего труда. Пушкин как архивист-историк предстает перед нами таким же удивительным и ярким явлением, каким он был во всех областях своего многогранного творчества.

⁶⁸ См. Акад., IX, 1, стр. 389. В число «18 томов» входят, возможно, и рукописи «Летописи Рычкова», бывшей в распоряжении Пушкина в трех экземплярах — от Г. И. Спасского, А. М. Языкова и И. И. Лажечникова (см. примечание второе к главе третьей «Истории Пугачева» — Акад., IX, 1, стр. 101).

Л. В. ЧХАИДЗЕ

О РЕАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ МОТИВА ТРЕХ КАРТ В «ПИКОВОЙ ДАМЕ»

Сюжет «Пиковой дамы» привлекал внимание многих исследователей и вызывал очень различные истолкования.

Некоторые комментаторы, поднимая вопрос о степени его реальности, придавали фантастическому элементу повести значение, которого Пушкин и не предполагал. В результате возникали суждения чуть ли не о «мистифизме» Пушкина.

Однако придавать фантастике повести мистическое значение не только недопустимо, но и совершенно необосновано. Приведем два наиболее характерных примера истолкования одного из центральных моментов повести — выбора Германном трех «роковых» карт. Хотя на первый взгляд кажется, что выбор мог пасть на любые три карты, было замечено, что выбор их не случаен. «Бред» Германна после рассказа о трех картах дает некоторое основание для такого заключения.

А. Л. Слонимский в статье «О композиции „Пиковой дамы“», приведя этот «бред» Германна («Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал...»), пишет: «В этой числовой игре, в этом неожиданном скоплении чисел, аналогичного которому мы больше не встретим на протяжении повести, выделяются две цифры: 3 и 7 (имеющие притом кабалистическое значение)». И далее: «Мысль формируется в тройственной схеме: *расчет, умеренность и трудолюбие* — вот мои три верные карты... Затем присоединяется семерка: *восемьдесят семь* (возраст графини, — Л. Ч.)... *неделя* (7 дней)... И оба числа смыкаются: *утроит, усмерит...*». «Таким образом, — заканчивает свой вывод Слонимский, — фиксирование двух первых карт происходит двояким путем: извне, со стороны графини, и изнутри, со стороны Германна. Рядом с явной фантастической мотивировкой — скрытый намек на возможную реально-психологическую мотивировку. Намек этот так легок и так запрятан, что его можно принять за случайность. Но случайности тут нет — даже в том случае, если Пушкин сделал этот намек бессознательно. Внимание Пушкина уже раньше было сосредоточено на этих цифрах, и это-то и заставило его сомкнуть их в мыслях Германна».¹⁻²

Таким образом, А. Л. Слонимский считает, что выбор карт сделан не случайно, но вытекает из «кабалистического» значения цифр 3 и 7, а этим определяется и значение фантастического элемента повести.

¹⁻² Пушкинский сборник памяти С. А. Венгерова. Пушкинист, IV. ГИЗ, М.—Пгр., 1922, стр. 176; ср.: А. Слонимский. Мастерство Пушкина. Гослитиздат, М., 1959, стр. 521—522.

Н. П. Кашин в статье «По поводу „Пиковой дамы“», справедливо отклоняя предположение А. Л. Слонимского о причине выбора Германном трех карт, дает другое объяснение, которое мы также считаем необоснованным.

«Фантастический элемент повести Пушкина, — пишет Кашин, — легко может увлечь исследователя на ложный путь, как это случилось с А. Л. Слонимским, который полагает, что „до самого конца повести мы колеблемся между фантастическим и реальным восприятием“». И далее: «Я полагаю, что Пушкин хотел здесь достигнуть просто большей эффективности благодаря отмеченной детали, так как несомненно, что это совпадение: „тройка, семерка“ — „утроит, усмерит“ очень эффектно».

Далее, приведя отрывок из стихотворения Ф. Н. Глинки «Брачный пир Товия» и обнаружив в нем слова: «Утроить, сын! усмерить», Н. П. Кашин высказывает мнение, что указанное сочетание слов в повести Пушкина было навеяно этими стихами (напечатанными в «Альбоме северных муз», 1828): «... слова Глинки могли запасть в его <Пушкина> душу и дать там росток, дав в результате прекрасный, высокохудожественный прием, который в свою очередь привел к очень эффектной подробности», — заключает Н. П. Кашин свой анализ.³

С этим также никак нельзя согласиться. Стихотворение Глинки, написанное на библейский сюжет, не имеет ничего общего ни с карточной игрой, ни с содержанием «Пиковой дамы», и указанное совпадение цифр ничем не подкрепляется.

По нашему мнению, как выбор Пушкиным трех карт, так и всё содержание повести целиком вытекают из самой игры, поэтому-то «Пиковая дама» была так понятна игрокам и не случайно сразу завоевала среди них громадную популярность. В своем дневнике Пушкин 7 апреля 1834 года записал: «Моя Пиковая дама в большой моде. — Игроки понтируют на тройку, семерку и туза».⁴

Чтобы показать всю реальность сюжета «Пиковой дамы» и опровергнуть предположения о «мистицизме» Пушкина, необходимо проанализировать повесть с точки зрения как хода игры, так и ее результатов, а для этого следует рассмотреть, в какую игру и как играл герой повести.

Мы вынуждены поэтому изложить здесь правила и ход описываемой в повести карточной игры, так как в наше время в нее не играют и ряд тонкостей, понятных в эпоху Пушкина, не улавливаются не только простыми читателями, но и остаются незамеченными даже исследователями.⁵

Германн играл в старинную, ныне почти забытую, азартную карточную игру, называвшуюся «штосс» (варианты которой назывались «фараоном» или «банком»). Правила и содержание игры весьма просты и сводятся к следующему. Один из игроков (банкомет) объявлял ставку на известную сумму денег. Другой игрок (понтер; их поочередно могло быть несколько) объявлял вслед за этим, на какую сумму ставки (банка) он играет (пон-

³ «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, 1927, стр. 25, 33, 34.

⁴ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XII, Изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 324.

⁵ См. об этом в статьях: Н. С. Ашукина «Карточная игра» в «Путеводителе по Пушкину» (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VI, Приложение к журналу «Красная нива», Гослитиздат, М.—Л., 1931, стр. 172—173), В. В. Виноградова «Стиль „Пиковой дамы“» («Временник Пушкинской комиссии», т. 2, 1936, стр. 75—86), Н. О. Лернера «История „Пиковой дамы“» в его книге: Рассказы о Пушкине. Изд. «Прибой», М.—Л., 1929, стр. 132—163; комментарии Д. Д. Благого в издании: А. С. Пушкин. Избранная проза, Изд. 2, Гослитиздат, М., 1937, стр. 250 и сл.

тирует). При этом можно было играть «мирандомом» (т. е. не увеличивая ставки), а можно было увеличить ставку в два раза (объявить так называемое «пароли»), в четыре раза («пароли-пе») или, наконец, играть на часть банка по желанию понтирующего, что большей частью и делалось.

После этого понтер объявлял, на какую карту он играет. Для этого он или загибал угол соответствующей карты или просто называл ее, например: король треф. Конечно, называя карту, он делал это в надежде только на свое «игровое счастье», так как никаких закономерностей, вытекающих из самой игры, не существовало (хотя, с научно-теоретической точки зрения, в силе были закономерности, вытекающие из теории вероятностей). Нужно было просто ожидать, как выйдет объявленная карта (см. ниже), имея равное количество шансов на выигрыш или проигрыш. Удачливые игроки могли выигрывать, однако, при соответствующих ставках, немалые суммы. Это и порождало массу легенд и анекдотов вроде анекдота о «трех картах» Сен-Жермена, на котором построен сюжет «Пиковой дамы». Когда ставка была объявлена понтером, банкомет начинал «метать банк»: взяв колоду, он раскладывал карты поочередно на две стороны — направо и налево, переворачивая их крапом (оборотной стороной) вниз, т. е. «открывал карты». Если названная понтером карта (в нашем примере король треф) ложилась справа от банкомета (т. е. против левой руки понтера), то выигравшим считался банкомет, а если налево (т. е. против правой руки понтера), то понтер.

Выходом поставленной карты очередная ставка считалась разыгранной. За ней в том же порядке следовала другая. Талья (промет колоды карт) продолжалась до тех пор, пока банк не «срывался», т. е. полностью проигрывался банкометом, или до отказа понтирующих (если не было особых условий).

Вот и вся игра. Однако с целью обезопасить игроков от шулерских злоупотреблений, вполне возможных, если игра происходила в игорном доме или с малознакомыми лицами, правила несколько осложнились.

Дело в том, что при известном навыке банкомет мог, пользуясь тем, что внимание понтера отвлечено «выходом» карт, быстрым и совершенно незаметным движением руки «передернуть» карты, т. е. задержать нужную карту (а она в свою очередь определялась тем, что на крапе всех карт имелись незаметные, но ощутимые для тонких пальцев шулера отметки — так называемые «крапленые» карты) так, чтобы она легла в желаемую для банкомета сторону.

Поэтому, для того чтобы банкомет не знал, на какую карту ставит понтер и, следовательно, не мог «передернуть» ее, в штосс обычно играли двумя колодами. Одна колода была у банкомета, другая у понтера. Последний после объявления, на какую ставку он играет, выбирал из своей колоды желаемую карту и, не открывая, клал ее на стол или, реже, загибал угол. Затем банкомет в описанном выше порядке метал свою колоду, и когда карта, аналогичная выбранной понтером, выходила на ту или иную сторону, понтер открывал свою и ставка считалась разыгранной по изложенным условиям.

Вот в эту игру и играл Германн. Играл, однако, не просто, а на выигрыш трех карт подряд, хотя и растянул игру на три вечера. А для того чтобы при такой игре крупно выиграть, нужно было не только «знать», на какие карты ставить, но и резко увеличивать ставки.

Резкое увеличение ставок (так называемая «игра на руте») применялось только очень опытными игроками. Так играл, например, Бобковский, герой лермонтовской «Тамбовской казначейши», который

Любил налево и направо
 ... в зимний вечер прометнуть...
 Рутёркой понтирнуть со славой...

«Руте» заключалось в том, что после розыгрыша первой ставки она тут же удваивалась (т. е. фактически объявлялось «пароли») и разыгрывалась снова, а затем после учетверения («пароли-пе») карты метались в третий раз. Подобная, очень азартная система давала возможность отыгрываться (при проигрыше первой или второй ставки). Являясь нередко всей основой тактики игры, она могла привести к сенсационному выигрышу или проигрышу. Тем более трудно было игроку удержаться от «руте».

«И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на *руте*?.. Твердость твоя для меня удивительна», — спрашивает у Сурина хозяин дома в первой главе «Пиковой дамы».

Не удивительно, что Германна, который, «будучи в душе игрок, никогда не брал... карты в руки», но «целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры», охватил навязчивый бред. При этом, как нетрудно видеть, в его бреде был определенный расчет, основанный на описанном выше ходе игры: «... вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!» — рассуждает Германн, бродя по Петербургу, после того как услышал анекдот о трех картах.

Иными словами, он желает выиграть удвоенное «пароли-пе» (учетверить, а затем увосьмерить первоначальную ставку) и этим вдруг приобрести богатство. А увосьмеренная ставка содержала его капитал плюс еще семь ставок чистого выигрыша (учетверенная соответственно три).

Знание величины возможного (и, наверное, не раз происходившего на его глазах) выигрыша и стало «навязчивой идеей» Германна.

Забегая немного вперед, отметим, что его желание, в сущности, почти сбылось. В первый вечер, сделав ставку в сорок семь тысяч рублей, он унес домой девяносто четыре; во второй вечер, снова поставив всё на карту, т. е. уже девяносто четыре тысячи, он довел свой капитал вместе с выигрышем до ста восьмидесяти восьми тысяч. Если бы он выиграл и в последний вечер, то чистый выигрыш, за вычетом первоначальной ставки в сорок семь тысяч, составил бы триста двадцать девять тысяч рублей, т. е. сумму в семь раз большую его собственного капитала.

Заметим попутно, что этот расчет произведен Пушкиным в одной из рукописей (при подготовке в конце 1836 года несостоявшегося издания собрания сочинений):

$$\begin{array}{ccc} 1\text{-й день} & 2\text{-й день} & 3\text{-й день} \\ \langle 47 + 47 = 94 + 94 = 188 + 188 = 376 \rangle & & \end{array}$$

(так и в печатном тексте — сорок семь тысяч); и предположительно:

$$\langle 67 + 67 = 134 + 134 = 268 + 268 = 536 \rangle.^6$$

В состоянии сильного опьянения и нервного потрясения, вызванного похоронами старой графини (напомним, что в этот день «он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волне-

⁶ ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 346; см. также № 842, л. 18 об.; Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, стр. 269; ср.: «Временник Пушкинской комиссии», т. 2, стр. 426; Пушкин, VIII, 2, 836.

ние. Но вино еще более горячило его воображение»), этот бред принял, наконец, форму яркой и отчетливой галлюцинации, и почудившаяся Германну старая графиня «назвала» ему, на какие карты ставить, чтобы выиграть три раза подряд. Не удивительно, конечно, что эти карты обозначены как раз теми цифрами, о которых он всё время неотвязно думал.

Посмотрим теперь, что произошло дальше.

Наступили роковые вечера. Первые два раза Германн сыграл хладнокровно. Он объявлял ставки, доставал из колоды нужные карты — и выиграл оба раза. Названные им карты, тройка и семерка, при раскладке легли слева от Чекалинского.

Но в третий вечер случилось нечто совершенно для Германна невероятное. Он «обдернулся», т. е. вытянул из колоды не ту карту, которую назвал. Произошло это так.

В игорных домах существовал порядок, что если «семпелем» (т. е. на одну карту) игралась очень крупная сумма, полагалось на каждый штосс менять колоду. При этом брались свежие колоды, предварительно стасованные на фабрике и запечатанные государственной бандеролью.

Решающую ставку Германн играл свежей колодой.

«Каждый распечатал колоду карт», — пишет Пушкин. Но в таких колодах краска, естественно, была еще свежей и карты слегка липли одна к другой. Германн, заметив нужного ему туза, потянул его, но не почувствовал пальцами, что за этой картой идет другая — пиковая дама, которую он и вытянул вместо туза.

Эту ошибку он, конечно, мог немедленно исправить, если бы сохранил хладнокровие и проверил, какую карту он достал из колоды. Но увлеченный игрой и страстно желая осуществить, наконец, свои мечтания, Германн этого не сделал и положил карту на стол, не убедившись в правильности своего выбора.

Далее произошло самое ужасное.

«Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз», — пишет Пушкин.

Итак, Германн, не открыв еще свою карту, был убежден в выигрыше. Ведь он ставил на туза, а туз лег налево от Чекалинского.

Осталось сделать последнее: открыть свою карту и забрать выигрыш. «Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту», — пишет Пушкин.

Но какое разочарование ожидало Германна, когда он открыл свою карту! Вместо туза, на которого он должен был ставить, на столе лежала пиковая дама, вышедшая направо от Чекалинского.

«Ваша дама убита, — сказал ласково Чекалинский, — пишет Пушкин. —

«Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться».

Таким образом, всё становится теперь на вполне реальную почву и никакой «мистики» в повести нет: сильный, но впечатлительный человек, долго смотревший на чужую игру и хорошо знавший, как и сколько можно выиграть, внушил себе, на какие вытекавшие из игры карты ставить, но в последний момент недопустимая небрежность привела его к проигрышу, к полному краху всех желаний.

Не претендуя на достаточно полное освещение психологического состояния Германна, можно сказать, что известное объяснение получает и вторая галлюцинация («пиковая дама прищурилась и усмехнулась»), так как такой человек, как Германн, имевший «сильные страсти и огненное воображение», мог приписать свою небрежность чему угодно — судьбе, злему

влиянию старой графини — и, при всей сложившейся ситуации, сойти с ума. Это тоже вполне реально и понятно каждому.

Изложенное полностью подтверждает, что Пушкин, хорошо знавший карточные игры и по примеру многих людей своего времени смотревший на них как на своего рода спорт, написал совершенно реалистическую повесть о карточном игроке, а фантастика в ней — не более как высокохудожественное обрамление, столь характерное для подобных сюжетов в ту эпоху.

И. К. СТОЙЧЕВ

ЙОАКИМ ГРУЕВ — ПЕРВЫЙ БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕВОДЧИК И БИОГРАФ ПУШКИНА ¹

В болгарском литературоведении до настоящего времени принято считать, что первым переводчиком произведений Пушкина был Петко Р. Славейков, и в качестве подтверждения ссылаются на слабые подражания Пушкину в его стихотворениях «Стара планина» и «Канарче».² Однако, говоря о переводах и переводчиках, следует иметь в виду не интерес к творчеству Пушкина вообще, не переписывание его стихов, неопубликованные опыты переводов, подражания и т. п., но лишь переводы в собственном смысле слова и притом напечатанные. Интересно отметить, что болгары — воспитанники русских учебных заведений (Богоров, Геров, Чинтулов), познакомясь с творчеством Пушкина непосредственно в русском оригинале, не переводили его произведений. Петко Славейков и Йоаким Груев значительно позднее, чем эти выходцы из русских школ, познакомились с творчеством великого поэта. В 1849 году Петко Славейков впервые прочитал стихи Пушкина в русской хрестоматии А. Д. Галахова. Они произвели на него большое впечатление, и в 1853 году он обратился к Н. Х. Палаузову с просьбой прислать ему произведения Пушкина. По воспоминаниям Й. Груева (1828—1912), когда он был учителем в Копривштице (1846—1856), хаджи Найден Йованович снабдил его той же хрестоматией.³ Оба они — Славейков и Груев — уловили что-то необыкновенное в пушкинской поэзии и принялись переписывать его стихи, переводить и некоторые из переводов печатать.

Но если заслуги Славейкова признаны, и даже с некоторыми преувеличениями (придают значение переводов плохим подражаниям и поэтому напечатание им первого перевода относят ошибочно к 1852, а не к 1865 году), то Й. Груев нигде не был отмечен ни в качестве одного из самых ранних переводчиков произведений Пушкина, ни как автор первой его биографии.⁴ Изучая этот вопрос, я пришел к выводу, что Груев раньше

¹ Иван Кривев Стойчев (30 марта 1886—6 июня 1958) — болгарский военный историк и автор нескольких статей и заметок о болгарских литературных связях Пушкина и о его болгарских переводах (см.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 230—235). — *Ред.*

² См.: Смешна китка или годишно периодическо списание. Издавано от Петко Р. Славейкова, година I, стржкъ А, Букурещ, 1852, стр. 143, 134. «Стара планина» (название Балканских гор) — отдаленное подражание стихотворению «Погасло дневное светило»; «Канарче» («Канарейка») воспроизводит некоторые строки стихотворения «Не пой, красавица, при мне». — *Ред.*

³ Й. Груев. Моите спомени, Пловдив, 1906, стр. 7.

⁴ П. Диневков в статье «Пушкин в България» указывает на Й. Груева как на автора статьи о Пушкине (см.: «Септември», София, 1949, № 9, май, стр. 109). — *Ред.*

Славейкова, в 1858 году, напечатал перевод одного стихотворения русского поэта.

Выше я заметил, что неопубликованные переводы, свидетельствующие, конечно, об интересе их авторов к тому или иному писателю, но не ставшие литературным фактом, не должны учитываться при решении вопроса о первенстве. Это тем более обязательно, когда говорится о деятельности Й. Груева, современника Петко Славейкова. К сожалению, архив Й. Груева не дошел полностью до нашего времени, но, зная о чрезвычайно разносторонних интересах этого писателя, мы можем утверждать, что и Груев, подобно Славейкову и одновременно с ним, начал читать стихи Пушкина, переписывал их и пытался перевести.

Среди более чем тридцати отдельно изданных трудов (оригинальных, компилятивных и переводных) у Й. Груева был и один сборник стихотворений — «Гуслица», напечатанный в 1857 году.

В своих воспоминаниях Груев сообщает, что, обосновавшись в 1856 году в качестве учителя в Пловдиве, он вошел в содружество с Христо Г. Дановым и Я. Г. Трувчевым для организации издательства, в котором должен был быть и автором и переводчиком. Для начала он дал «Основа за българска граматика», перевод «Робинзона» в сокращении и сборник своих стихотворений «Гуслица».⁵

Для этого сборника Груев из многих своих стихотворных опытов отобрал тридцать стихотворений. Среди них много интересных, но самым интересным для нас является стихотворение, озаглавленное «По А. Пушкина» (стр. 28—29):

По А. Пушкина
 Неми оста что да желямъ.
 Омръзна ми и да мечтамъ;
 Сам' жалость и тъга ми остана
 Горчивъ плодъ отъ сръдечнѣ пушинѣ
 Подъ буря отъ честь-тъ коравѣ
 Увѣнѣ ми цвѣтнѣжлий мой вѣнець:
 Жиѣж и въ грыжи самѣ буравѣ
 И чякамъ—ще ли дойде мой конецъ!
 Така отъ късний студъ заваренъ
 Па самъ на дръво голъ попаренъ,
 И закъснѣлий листь шумти, трепти,
 Когато буря начне да пици.⁶

Это перевод стихотворения Пушкина «Я пережил свои желанья». Слово «По» в заглавии свидетельствует о скромности Груева, сомневавшегося в достоинствах своего перевода и желавшего показать, что это не перевод, а скорее подражание. Но по сути дела перед нами перевод, хотя теперь он и выглядит довольно примитивным. Во всяком случае по сравнению со стихотворением Славейкова «Стара планина» этот перевод имеет то достоинство, что он близок к оригиналу.

Пушкин написал это стихотворение в 1821 году, во время пребывания в ссылке в Кишиневе. Там поэт познакомился с болгарскими беженцами, интересовался их судьбой, нравами болгар и даже задумал произведение, героиней которого была бы болгарка Ралица. Поэтому переведенное Груевым стихотворение имеет для нас особое значение.

⁵ Й. Груев, ук. соч., стр. 90—92.

⁶ Сборник Груева напечатан в Сербии, поэтому можно полагать, что ряд орфографических ошибок допущен по незнанию издателями болгарского языка.

Эта элегия, проникнутая лиризмом, всегда привлекала внимание переводчиков Пушкина; молодежь знала ее наизусть. Первым переписал, а затем и выполнил хороший перевод ее Славейков, однако перевод опубликован был почти на двадцать пять лет позже перевода Груева.⁷

Таким образом, первым переводчиком Пушкина на болгарский язык является несомненно И. Груев.⁸ Груев всегда преклонялся перед творчеством и личностью великого поэта. Он сумел получить в 1863 году его сочинения через болгарского монаха Герасима Рильского, ходившего в Россию за денежной помощью болгарской церкви. Ненавидимый греками, как деятельный участник борьбы за самостоятельность болгарской церкви и за уничтожение фанариотского влияния в области просвещения и национального возрождения, а также как основатель Пловдивской народной общины, ставшей центром и опорой болгарских патриотов во всей Фракии,⁹ в дни Апрельского восстания 1876 года Груев был арестован турками и заключен в тюрьму. При обыске у него ничего не нашли, кроме произведений Пушкина; злобные и невежественные турки истолковали их как книгу о науке вооружения — о ружьях и пушках.¹⁰ И за это Груев был отправлен в Константинополь, а затем в Малоазийские тюрьмы. С большим трудом, благодаря стараниям влиятельных болгар и иностранцев, а также вследствие объявленной амнистии, Груев был освобожден.

Кроме перевода элегии «Я пережил свои желанья», у Груева есть перед Пушкиным еще одна заслуга: в 1875 году он поместил в ежегоднике «Летоструй»¹¹ небольшую биографию поэта, подписанную инициалами «I. Г.». С неподдельным чувством Груев написал несколько страниц, где, между прочим, говорится: «Одна из блестящих звезд на славянском небосклоне и самый славный из русских поэтов — это Пушкин... Россия потеряла в нем самого достойного и до сих пор непревзойденного народного поэта, стяжавшего у всего народа вечную славу в качестве всеильного будителя и создателя народной русской литературы, которая именно в этом народном духе и расцветает».

⁷ П. Р. Славейков, Избранные сочинения, кн. I, София, 1901, стр. 178; ср.: Б. Пенев, П. Р. Славейковата превода и подражателна поезия. «Периодическо списание», т. LXVII, София, 1906, стр. 218.

⁸ Первый переводчик пушкинской прозы Мих. Г. Греков перевел рассказ «Кирджали». Перевод напечатан без подписи в журнале «Независимость» (1874, № 14, 19 января, стр. 112; № 15, 27 января, стр. 120 и сл.). К. Величков перевел в прозе «Сказку о рыбаке и рыбке» в 1873 году.

⁹ См.: Христо Ботев, Сочинения, Под редакцията на М. Димитров, т. III, София, 1950, стр. 510—511; ср.: Хр. Ботев, Сочинения, Редакция и комментарий от Ал. Бурмов, т. I, София, 1948, стр. 411—412.

¹⁰ И. Груев в своих воспоминаниях сообщает о том, что на одном из допросов его спросили о русских книгах, найденных у него: «Я ответил: у меня, как у бывшего учителя и любителя литературы, есть книги на разных языках, и думаю, что нет никакого преступления в том, что среди французских и турецких книг есть несколько русских. — А зачем у тебя, спросили далее, была книга Тюфекчи (по-болгарски слово «пушка» означает ружье, оружие; переводчик передал фамилию Пушкина по-турецки как «тюфекчи» от tüfek — ружье, tüfekçi — оружейник, — Ред.) и что ты думал с нею делать, так же как и с книгой бербера «парикмахера» Георгия, в которой столько клеветы и оскорблений по отношению к туркам? Смущенный, я ответил, что не знаю таких книг и никогда не имел. Тогда мне подали две книги, из которых одна была томом сочинений Пушкина, а другая томом „Всеобщей истории“ Георга Вебера. Я едва удержался от смеха и ответил, что здесь нет книг ни оружейника, ни брадобрея, а одна — сочинения знаменитого русского поэта Пушкина, другая — известного немецкого историка Г. Вебера, и что в них нет ничего преступного и бунтовщического» («Български преглед», 1898, кн. I, стр. 32).

¹¹ «Летоструй», изд. на Хр. Г. Данов, год VII, 1875, стр. 52—60.

До сих пор вопрос об интересе Й. Груева к русской литературе, и особенно к Пушкину, оставался в тени. Случайная находка перевода стихотворения «Я пережил свои желанья» обязывает напомнить об этом пропуске. Этим будет внесена поправка в историю болгарской литературы и отдано должное одному из самых трудолюбивых, неутомимых и полезных болгарских тружеников пера. Всесторонняя деятельность Й. Груева во многом поучительна и достойна удивления; он всюду искал знаний, заботливо собирал духовные ценности, передавая их другим поколениям. Для характеристики круга его интересов можно сообщить и то, что еще в 1849 году он просил Найдена Герова, находившегося в то время в Белграде, прислать ему две маленькие книжки Матии Бана, озаглавленные: «Основы войны» и «Правила четнической войны», книги, в которых рассматриваются чисто военно-технические вопросы.¹² Трудно определить, какие побуждения руководили Груевым, но известно, что он переводил из газеты «Српске новине» приложение под заглавием «Война русских в Венгрии». Может быть, патриотические чувства подсказывали ему, что и болгарский народ когда-нибудь восстанет, а для успешной борьбы он должен быть знаком с военным делом и с историей своих предшественников. Иначе трудно объяснить, почему народный учитель, не выступавший как революционер, интересовался подобной литературой. И не будет ли законным предположить, что патриот, борец за просвещение скрывал в себе потенциального революционера?

Во всяком случае Груев был достойным сыном болгарского народа и всю жизнь посвятил служению своей отчизне.

София, 1956.

¹² См. письмо Груева к Н. Герову от 26 июля 1849 года из Копривштицы; оно опубликовано в издании: Из архивата на Н. Геров, кн. I, София, 1911, стр. 477, № 750. Книжки Матии Бана не следует смешивать с изданной на сербском языке в 1868 году книгой Л. Иовановича «Четоване или четничко ратоване», переведенной на болгарский язык и изданной по настоянию В. Левского в 1873 году.

Л. Н. НАЗАРОВА

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ В ПЕТЕРБУРГЕ

Один из крупнейших русских скульпторов второй половины XIX века Александр Михайлович Опекушин (1841—1923) является, как известно, автором двух памятников Пушкину. Один из них, стоящий в Москве, широко популярен и любим не только в Советском Союзе, но и за рубежом.¹ Другой памятник, в Ленинграде, хотя и может быть назван вариантом московского, известен в несравненно меньшей степени, вернее сказать, почти неизвестен, что объясняется в первую очередь его малыми, сравнительно с памятником в Москве, размерами и местом, на котором он поставлен. Напомним вкратце забытую историю постановки этого первого памятника Пушкину в Петербурге.

Здесь с самого начала мы сталкиваемся с рядом вопросов. Всегда ли улица, которая известна ленинградцам под названием Пушкинской, носила имя поэта? Чем она связана с памятью о Пушкине? Когда был поставлен на ней памятник работы Опекушина?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно обратиться к старым планам Петербурга, к путеводителям по городу, к петербургским газетам и журналам 70—80-х годов XIX века. Если взять, например, книгу Вл. Михневича «Петербург весь на ладони», изданную в 1874 году, и взглянуть на приложенный к ней план города, можно убедиться, что в то время улицы, соответствующей по месту Пушкинской, в Петербурге вообще еще не существовало.² Лишь через пять лет в числе петербургских улиц появляется Новый переулок,³ проложенный параллельно Лиговке и соединяющий Невский проспект с Кузнечным переулком, — будущая Пушкинская улица.

В 1880 году, в те дни, когда Москва готовилась к торжественному открытию памятника Пушкину, созданному А. М. Опекушиным, Петербургская городская дума на заседании 21 мая приняла решение назвать «новый переулок, идущий от Невского проспекта к Кузнечному переулку, Пушкинскою улицею». Основанием для этого послужило то обстоятельство, что «около этой местности жил Белинский, первый замечательный критик А. С. Пушкина».⁴

¹ См. о нем: Н. Беляев, И. Шмидт. А. М. Опекушин. 1841—1923. Изд. «Искусство», М., 1954, стр. 3, 19—38.

² Вл. Михневич. Петербург весь на ладони, с планом Петербурга, его панорамой с птичьего полета, 22 картинками и с прибавлением календаря, ч. I, СПб., 1874, стр. 90.

³ См.: Табель домов С.-Петербурга, Васильевского острова, Петербургской и Выборгской стороны и Еошьшой и Малой Охты, с указанием полицейских и мировых участков. СПб., 1879, стр. 130 (здесь он назван — Новый проспект).

⁴ «Новости и биржевая газета», 1880, № 134, 22 мая. В. Г. Белинский с октября 1847 года поселился на Лиговском канале, в доме И. Ф. Галченкова, № 73 (тогдашней нумерации), прозив Кузнечного переулка. Здесь он и скончался 26 мая 1848 года

Тогда же было решено поставить на расширении вновь названной Пушкинской улицы, образуящем маленькую площадь, памятник Пушкину, соорудив его на средства, отпущенные городом.

Таким образом, место для памятника, как и название улицы именем Пушкина были выбраны случайно и без прямого отношения к памяти поэта. Но самое решение поставить памятник на таком скромном месте, в стороне от архитектурных ансамблей города, было отнюдь не случайным: в императорском Петербурге главные, парадные места были предназначены для памятников царствовавшим особам, полководцам, военным победоносцам: среди них памятник поэту, да еще поставленный не по «высочайшему» повелению, а по инициативе городского управления, не желавшего отставать от Москвы, не мог найти себе иного места.

Сооружение памятника было поручено А. М. Опекушину. Основой для проекта послужила одна из его моделей, представленных на конкурс, объявленный в связи с постановкой памятника в Москве. Эту модель Опекушина наряду с той, которая была принята для московского памятника, высоко оценила и публика и критика.⁵

О характере церемонии открытия памятника дают представление статьи и заметки тогдашних газет. Мы видим из них, что ничего подобного тому, что происходило в Москве 6—8 июня 1880 года, здесь не было. Открытие московского памятника вылилось в широкое общественно-литературное торжество, где прозвучали речи Достоевского, Тургенева, Островского и других. Петербургский же памятник был открыт в холодной полуофициальной обстановке, почти без участия литературы и вызвал лишь небольшое количество откликов сверх обычных корреспондентских заметок.

«Сегодня, 7 августа,⁶ состоялось открытие статуи Пушкину... Около сквера и на всем протяжении Пушкинской улицы стояли толпы народа...», — сообщалось в одной из петербургских газет.⁷ Упомянуто было об открытии памятника Пушкину и в ряде других периодических изданий.⁸

Наиболее подробно рассказал о церемонии «Петербургский листок»:

«7 августа, в 11 часов утра, состоялось торжественное открытие памятника Александра Сергеевича Пушкина, воздвигнутого в сквере имени поэта, на новой, обстроенной замечательными по архитектуре зданиями, улице, носящей также название „Пушкинской“. Так как был ранний час и время года, совпадающее с общим безлюдием в стенах столицы, к торжеству открытия памятника гениальному писателю стеклось не особенно много народа. В числе присутствовавших были: товарищ министра внутренних дел И. Н. Дурново, градоначальник ген. лейтенант Грессер, городской голова И. И. Глазунов, товарищ головы М. И. Семевский, председатель комитета литературного фонда В. П. Гаевский, члены городской управы и многие гласные думы.

«Из литераторов собрались: ветеран нашей журналистики А. А. Краевский, Александр Михайлович Языков,⁹ старейший из литераторов русских, 78-летний старец, нарочно прибывший, как говорят, из своего име-

(см.: С. А. Рейсер. Белинский в Петербурге. «Литературное наследство», т. 57, 1951, стр. 401—402).

⁵ См.: Н. Беляев, И. Шмидт, ук. соч., стр. 39.

⁶ В статье П. Кирпиченко, Д. Немлихера и К. Наплыгина «Памятники Пушкину (Фактическая справка)» ошибочно указано, что открытие памятника состоялось 26 мая 1884 года («30 дней», 1937, № 2, стр. 96).

⁷ «Новости и биржевая газета», 1884, № 217, 8 августа.

⁸ См., например, «Живописное обозрение», 1884, № 33, 18 августа, стр. 108.

⁹ Ошибка. Речь идет, очевидно, о Михаиле Александровиче Языкове, умершем в 1885 году, друге Белинского и Тургенева.

ния, Стоюнин, Л. Н. Майков, Полетика и др. Прибыла депутация из воспитанников лицея, в числе 6 воспитанников, в парадной форме, с директором лицея г. Гартманом во главе. Был также и старший сын поэта... генерал-майор А. А. Пушкин».¹⁰

В «Ниве» была помещена гравюра М. Рашевского (по оригинальному рисунку с натуры П. П. Гнедича),¹¹ изображающая открытие памятника, которое сопровождалось молебном (именно этот момент и привлек внимание художника). Журнал напечатал также заметку об этом событии, в которой было дано и описание памятника. Анонимный автор, между прочим, утверждал: «Толпы народа в течение целого дня направлялись в Пушкинскую улицу для осмотра вновь открытого памятника».¹²

Как видно из сообщений прессы, никаких речей сверх слов, требуемых официальной церемонией, по-видимому, не произносилось; никаких поэтических откликов петербургский памятник не вызвал.

Между тем художественные достоинства его несомненны: бронзовая скульптура поэта, созданная А. М. Опекушиным и отлитая на заводе Морана, немногим выше человеческого роста, изображает его в спокойной и задумчивой позе, со сложенными на груди руками, с книгой, прижатой к локтю; он стоит на высоком четырехгранном пьедестале из черного гранита, отшлифованного в мастерской В. Ефимова. Пьедестал в свою очередь покоится на широком основании из красного гранита.

На пьедестале со всех сторон надписи, несколько перегружающие его. На лицевой стороне, обращенной к Невскому проспекту:

Александр Сергеевич
Пушкин

и ниже, мелким шрифтом:

Воздвигнут Ст. Петербургским городским общественным управлением

На задней стороне:

Родился в Москве 26 мая 1799 года
Скончался в Петербурге 29 января 1837 года

На боковых гранях начертаны отрывки из произведений Пушкина. Справа — шесть стихов из «Медного всадника», чем подчеркивается сугобо петербургский, а не всероссийский характер памятника:

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе.

Слева — два двустихия из так называемого «Памятника», причем четвертый стих дан в неокончательном, черновом варианте:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел.

¹⁰ «Петербургский листок», 1884, № 216, 8 августа, стр. 2.

¹¹ «Нива», 1884, № 35, 1 сентября, стр. 841.

¹² Там же, стр. 839.

В таком виде памятник поэту сохранился в Ленинграде и до наших дней. Пушкинская улица, близкая к Невскому проспекту и к Московскому вокзалу, давно уже обросла многоэтажными домами, совершенно стеснившими маленький сквер: среди них небольшая скульптура поэта, лишенная воздуха и солнца, среди нескольких чахлах деревьев стала совсем незаметной. Всё это сделало необходимым и закономерным сооружение в наши дни нового памятника, более достойного, и по размерам и по месту, памяти великого поэта.

КРИТИЧЕСКИЕ
ОБЗОРЫ



Я. Л. ЛЕВКОВИЧ

ЛИТЕРАТУРА О ПУШКИНЕ ЗА 1956—1957 ГОДЫ

1

6 июня 1956 года отмечал свое 50-летие Пушкинский Дом (Институт русской литературы Академии наук СССР). Задуманный как своеобразный памятник Пушкину, Пушкинский Дом стал крупнейшим научным центром изучения русской литературы и сыграл значительную роль в достижениях современного пушкиноведения.¹

В ознаменование юбилея в июне 1956 года в Ленинграде состоялось общее собрание Отделения литературы и языка Академии наук СССР. На юбилейном собрании были прочитаны доклады Д. С. Лихачева «Пушкинский Дом и изучение русской литературы» и Б. В. Томашевского «Основные этапы пушкиноведения»,² в которых были подведены итоги советского литературоведения и пушкиноведения и освещены роль и задачи Пушкинского Дома.

За последние двадцать лет, как указал в своем докладе Б. В. Томашевский, было почти завершено Академическое издание сочинений Пушкина, положено начало таким важнейшим для пушкиноведческой науки изданиям, как «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина», «Словарь языка Пушкина», описание рукописей Пушкина и документальных материалов о нем, ведется постоянная работа над пушкинской библиографией. За эти годы советские исследователи, вооруженные марксистской методологией, по-новому осветили такие важнейшие проблемы пушкиноведения, как мировое значение и национальное содержание творчества Пушкина, его связи с русской и зарубежными литературами, природа пушкинского реализма, взаимоотношения Пушкина с декабристами, его политические взгляды и пр. Но многое еще не сделано, и в особенности — нет синтетических трудов, которые бы обобщили частные исследования по всему творчеству поэта.

Итоги достижений советского пушкиноведения были подведены на Восьмой юбилейной Всесоюзной Пушкинской конференции, проведение которой совпало с юбилеем Пушкинского Дома.³ Основные доклады конференции

¹ К юбилею Пушкинского Дома был издан сборник: 50 лет Пушкинского Дома. Редактор В. Г. Базанов. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, 248 стр. В сборнике подробно освещены история Пушкинского Дома и его структура. В конце приложена библиография изданий Пушкинского Дома, в числе которых 71 полностью или частично посвящено Пушкину.

² Общее собрание Отделения литературы и языка Академии наук СССР 4—5 июня 1956 года, посвященное 50-летию Пушкинского Дома (Института русской литературы). Рефераты докладов, Л., 1956.

³ Восьмая юбилейная Всесоюзная Пушкинская конференция 7—8 июня 1956 года. Тезисы докладов, Л., 1956.

отражали итоги изучения рукописей Пушкина (Н. В. Измайлов), связи Пушкина с освободительным движением его времени (Б. П. Городецкий), роль Пушкина в развитии русской поэзии (Б. С. Мейлах) и русского романа (Б. И. Бурсов). В докладе М. П. Алексеева говорилось о соотношении творчества Пушкина с литературами Западной, Северной, Южной Европы, Ближнего и Дальнего Востока.

Юбилей Пушкинского Дома вызвал мысль об организации в нем Сектора по изучению жизни и творчества Пушкина, осуществленную в январе 1957 года. Сектор призван возглавить разработку проблем пушкиноведения на основе подлинно научной методологии.

Еще до организации Сектора пушкиноведения, но как осуществление одной из важнейших его функций, было начато серийное издание сборников «Пушкин. Исследования и материалы», в которых должны получить отражение очередные задачи изучения творчества Пушкина в ближайшие годы. Структура первого тома сборника, вышедшего в 1956 году, является образцом для всех последующих.⁴

Задачами нового сектора, помимо издания сборников и монографий о творчестве Пушкина, являются также разработка и публикация архивных материалов, относящихся к Пушкину и его современникам, исследования текстологических проблем, систематическая работа над пушкинской библиографией. Библиография — важнейшая вспомогательная отрасль всякой науки, без которой невозможна исследовательская работа. Между тем до недавнего времени положение в пушкинской библиографии, особенно за советский период, было почти катастрофическим: исследователи Пушкина располагали в основном только библиографиями, регистрирующими дореволюционную пушкиниану, а 1918—1948 годы представляли собой почти пустое место.

Юбилейный 1949 год, отмеченный нашей страной как праздник всего советского народа, послужил толчком для создания ряда значительных библиографических работ по Пушкину. Был восполнен хронологический разрыв между старой библиографией В. И. Межова, регистрирующей пушкинскую литературу за 1813—1886 годы, и библиографиями А. Г. Фомина, охватывающими 1900—1917 годы,⁵ были учтены все библиографические работы по Пушкину за 1846—1950 годы.⁶ Было положено начало регистрации советской пушкинианы составлением библиографии за 1918—1936 годы (из нее напечатана только первая часть, включающая издания произведений Пушкина, публикации отдельных текстов, документов и мемуарной литературы).⁷

С 1949 года Пушкинский Дом предпринял издание библиографических пушкинских ежегодников. Четыре выпуска (за 1949, 1950, 1951, 1952—1953 годы) изданы в 1951—1955 годах,⁸ пятый, включающий литературу

⁴ Пушкин. Исследования и материалы. Под редакцией М. П. Алексеева, т. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, 502 стр.; т. II, 1958, 516 стр. Рассмотрение содержания этих сборников в задачу настоящего обзора не входит.

⁵ П. Н. Берков и В. М. Лавров. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1886—1899. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1949.

⁶ Л. М. Добровольский и В. М. Лавров. Библиография пушкинской библиографии. 1846—1950. Под общей редакцией Н. И. Мордовченко. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1951.

⁷ Л. М. Добровольский и Н. И. Мордовченко. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1918—1936, ч. I. Ответственный редактор Б. В. Томашевский. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1952.

⁸ Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилейный год. Под редакцией Л. Г. Гринберг. Ответственный редактор Б. В. Томашевский. Изд.

за 1954—1957 годы, находится в печати. Одновременно ведется работа по подготовке к печати второй части пушкинской библиографии за 1918—1936 годы, включающей критическую литературу о Пушкине; начата работа над пушкинианой за 1937—1948 годы.

Наконец, Пушкинский Дом предпринял описание архивных материалов об А. С. Пушкине, хранящихся в Рукописном отделе Института. В первую часть описания включены документы, относящиеся к пребыванию Пушкина в лицее, к его лицейским учителям и товарищам, служебной деятельности, имущественным и денежным делам, политическому надзору за Пушкиным, цензуре его произведений.⁹ Вторая часть описания, включающая документы о последних месяцах жизни Пушкина, о его последней дуэли, смерти и погребении, о судьбе семьи Пушкина после его смерти и о посмертном издании его сочинений, вошел в состав восьмого выпуска «Бюллетеней Рукописного отдела Пушкинского Дома».

До недавнего времени белым пятном в пушкинской библиографии была иностранная пушкиниана. обстоятельный, но далеко не полный критический обзор переводов Пушкина на иностранные языки, изданный в 1899 году П. Д. Драгановым,¹⁰ и небольшое число переводов Пушкина, зарегистрированных в библиографии В. И. Межова,¹¹ — вот и всё, чем располагал исследователь таких важных для русской литературы проблем, как мировое значение Пушкина, усвоение творческого наследия Пушкина и его роль в развитии мировой литературы. Подготовка иностранной пушкинианы является ближайшей и необходимейшей задачей сектора. Первые шаги уже сделаны. В первом томе сборника «Пушкин. Исследования и материалы» помещены критические обзоры с приложением библиографических списков переводов произведений Пушкина и литературы о нем в Венгрии (1949—1952) и Польше (1945—1954). Во втором томе того же сборника это начинание продолжено критическими обзорами пушкинской литературы у балканских славян, в Китае, Чехословакии, Германии, Франции.

К обзорным библиографическим работам можно отнести диссертацию П. И. Егорова об изданиях Пушкина.¹² В диссертации дан интересный и полезный исторический обзор основных собраний сочинений Пушкина с их критической оценкой, но, к сожалению, почти полностью отсутствует анализ текстологической стороны изданий.

Интересный и ценный обзор документальных материалов о Пушкине, изданных А. И. Герценом, сделала Ф. П. Гусарова в статье «Материалы для биографии А. С. Пушкина в „Полярной звезде“ А. И. Герцена».¹³ Этот

Академии наук СССР, М.—Л., 1951; С. Л. Баракан и Я. Л. Левкович. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1950. Под редакцией Л. Г. Гринберг. Ответственный редактор Н. Ф. Бельчиков. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1952; Я. Л. Левкович. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1951. Ответственный редактор Н. Ф. Бельчиков. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1954; Я. Л. Левкович и А. С. Морщихина. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1952—1953. Ответственный редактор Н. Ф. Бельчиков. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1955.

⁹ В. В. Данилов. Документальные материалы об А. С. Пушкине. Краткое описание. «Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского Дома», вып. VI, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 27—96.

¹⁰ П. Д. Драганов. Пятидесятиязычный Пушкин, т. е. переводы А. С. Пушкина на 50 языков и наречий мира. СПб., 1899.

¹¹ В. И. Межов. *Pushkiniana*. Библиографический указатель... СПб., 1886.

¹² П. И. Егоров. Издание произведений А. С. Пушкина. Автореферат диссертации, Л., 1956.

¹³ «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена». т. 150, вып. 2, 1957, стр. 47—82.

обзор, имеющий большое значение для разработки темы «Герцен и Пушкин», является в то же время и значительным вкладом в пушкинскую историографию. Отсутствие полного учета публикаций пушкинских материалов в «Полярной звезде» часто приводило к тому, что заслуга опубликования ряда важнейших документов (например, переписки графа М. С. Воронцова с графом К. В. Нессельроде о высылке Пушкина, письма Пушкина к Геккерену от 26 января 1837 года, явившегося непосредственным поводом дуэли, и других важнейших материалов о дуэли) приписывалась не Герцену, а позднейшим исследователям — П. В. Анненкову, А. Н. Аммосову и др.¹⁴

Центральное место среди публикаций Герцена заняли материалы, раскрывающие связь Пушкина с декабристами, и среди них — переписка поэта с Рылеевым и А. Бестужевым, воспоминания декабристов и др.

Особенно ценно в работе Ф. П. Гусаровой стремление дать не только полный свод, но и анализ опубликованных в «Полярной звезде» материалов, выявить то новое, что они вносили в понимание жизни и творчества Пушкина. В 50—60-х годах XIX века, в период напряженной борьбы между так называемыми «пушкинским» и «гоголевским» направлениями, публикации Герцена помогали революционно-демократической критике нанести серьезные удары по эстетствующим сторонникам «чистого искусства», выступавшим под флагом «пушкинского» направления, развенчивая созданную ими легенду об аполитичности Пушкина.

2

Как известно, почти все дошедшие до нас рукописи Пушкина сосредоточены в Пушкинском Доме и опубликованы в большом Академическом издании (тт. I—XVI, 1937—1949). Однако за последние годы в государственных архивохранилищах Советского Союза, в частных руках и за рубежом продолжали обнаруживаться новые автографы поэта. Некоторые из этих находок ввели в научный оборот неизвестные ранее пушкинские тексты, другие дополнили уже известные публикации и внесли в них поправки, иногда довольно существенные. Обзор публикаций автографов Пушкина за 1949—1954 годы был сделан В. В. Даниловым.¹⁵ После 1954 года было обнаружено, главным образом в зарубежных архивах, и издано еще несколько неизвестных автографов Пушкина. Среди них укажем: письмо Пушкина к Е. К. Воронцовой от 5 марта 1834 года; один лист, считавшийся утраченным, из так называемой «Капнистовской тетради»; письмо Пушкина к шведскому дипломату Густаву Нордину; автограф последней доцензурной редакции стихотворения «К морю» и др. Обзор новейших приобретений пушкинского текста за 1955—1956 годы, написанный О. С. Соловьевой, помещен во втором томе сборника «Пушкин. Исследования и материалы». К нему нужно добавить еще одну публикацию 1956 года — напечатанный И. Л. Фейнбергом отрывок чернового автографа «Заметок по русской истории XVIII века» из Кишиневской тетради Пушкина. Этот автограф (бывш. ЛБ № 2365, теперь ПД № 831, лл. 66 об.—67)

¹⁴ Б. Л. Модзалевский. К истории ссылки Пушкина в Михайловское. В его книге: Пушкин. Изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 67—94; Б. Казанский. Гибель Пушкина. Обзор литературы за 1837—1937 годы. «Временник Пушкинской комиссии», т. 3, 1937, стр. 445—457.

¹⁵ В. В. Данилов. Новейшие публикации автографов Пушкина. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. т. I, стр. 375—381.

случайно не был включен ни в одно из собраний сочинений Пушкина, в том числе и в большое Академическое.¹⁶

1957 год не дал, насколько известно, ни одной публикации новых автографов Пушкина,¹⁷ но это, конечно, не значит, что возможности их находок исчерпаны. Во втором томе сборника «Пушкин. Исследования и материалы» (1958) мы видим вновь несколько приобретений пушкинского текста.

Однако, говоря о находках и публикациях новых автографов Пушкина, мы не можем не сказать о нескольких публикациях псевдоавтографов и псевдопушкинских произведений. На них следует остановиться тем более, что обстоятельство их обнаружения имеют вопиюще антинаучный характер и могут компрометировать в глазах неосведомленных читателей советское пушкиноведение.

Прежде всего это публикация, которая могла бы быть отнесена к категории «горестных замет», если бы профессорское звание публикатора и титул «Ученых записок Белорусского государственного университета», прикрывающие ее, не вынуждали отнестись к ней внимательнее.¹⁸ Профессор И. В. Гуторов опубликовал малограмотный «полный текст» десятой главы «Евгения Онегина» (окончания известных частично, зашифрованных стрóf и две «новые» стрóфы), распространявшийся среди студентов Московского университета. Эта грубая литературная фальсификация принята за подлинный текст Пушкина, лишь «фольклоризированный», т. е. видоизмененный последующими поколениями. Текст этот был опубликован Гуторовым с прибавлением исследования, поразительного по своей развязности и элементарной безграмотности. Достойная отповедь, данная псевдочученой работе И. В. Гуторова Д. Д. Благим в рецензии, озаглавленной «О казусах и ляпсусах»,¹⁹ избавляет нас от необходимости более подробного ее разбора.²⁰

«Изыскания» профессора Гуторова, к сожалению, не одиноки: у него нашлись продолжатели. В газете-многотиражке «Московский университет» от 10 апреля 1957 года появилась статейка под заглавием «Неожиданная находка», подписанная студенткой исторического факультета А. Касаткиной и ее научным руководителем доцентом М. Т. Белявским; здесь публикуется найденный студенткой и обследованный доцентом «автограф» Пушкина с его факсимиле. О характере этого «труда» говорят такие за-

¹⁶ И. Л. Фейнберг. Незданный черновик Пушкина. «Вестник Академии наук СССР», 1956, № 3, стр. 118—122; ср.: В. Е. Якушкин. Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцовском музее в Москве. «Русская старина», 1884, т. XLII, апрель, стр. 109.

¹⁷ В сборнике «Государственный орден Ленина Академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова» (Л., 1957) на стр. 138 напечатан (с факсимиле на стр. 141) текст автографа Пушкина, хранящегося в Центральной музыкальной библиотеке театра, — приписка Пушкина к его письму П. А. Вяземскому от второй половины сентября 1825 года. Приписка эта опубликована А. Н. Глумовым («Советская музыка» 1934, № 1, стр. 71, 73—74) и вошла в Академическое издание сочинений Пушкина (XIII, 231). В публикации сборника есть неточности в аннотации (ср. примечания к письму — XIII, 482).

¹⁸ И. В. Гуторов. О десятой главе «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. «Ученые записки Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина», вып. XXVII, серия филологическая, Минск, 1956, стр. 3—37.

¹⁹ «Новый мир», 1957, № 2, стр. 256—260; см. также: А. Лацис. Десятая глава. «Литературная газета», 1959, № 50, 25 апреля.

²⁰ И. В. Гуторову принадлежит еще одно исследование — «Философско-эстетические взгляды А. С. Пушкина» (1957), поразительное по своей малограмотности и антинаучности сочинение (см. рецензию В. Жданова в журнале «Вопросы литературы», 1958, № 11, стр. 221—226).

головки разделов статьи: «Любопытно, но не больше», «Пушкин?! — Не может быть!», «Кто из Тургеневых?!», «Последняя загадка». Дело состоит в том, что студентка Касаткина обнаружила в библиотеке Московского университета книжку журнала «Московское ежемесячное издание» 1781 года (ч. II, май), где в конце переводной статьи французской писательницы маркизы Ламберт, на стр. 79 записано на свободном месте карандашом почерком конца XVIII века стихотворение (которое исследователи не сочли нужным опубликовать, хотя оно-то единственно здесь и интересно) с подписью «И. Т.», поставленной позднее. Текст его таков:

Кто рассуждения Ламбертины прочтет,
 Душевные красы Херасковой найдет.
 Она, достигнувши во дружбе совершенства,
 Вкушает сладкие плоды сего блаженства.
 Кто хочет дружества хранить святой устав,
 Тот должен ангельский ее имети нрав.

А ниже, другим, позднейшим почерком, тоже карандашом, приписка:

Сие писал Тургенев Ваня,
 Зело разумно

Пушкин Саня.

Анализируя свою находку, авторы статьи установили, что Тургенев Ваня — не И. С. Тургенев (!), а, вероятно, Иван Петрович Тургенев, бывший в 1796—1803 годах директором Московского университета (с чем и мы согласны); что Хераскова — Елизавета Васильевна, жена куратора университета, поэта М. М. Хераскова, писательница и хозяйка известного литературного салона (что также справедливо), и, наконец, что почерк «Пушкина Сани» — «почерк-то несомненно пушкинский и притом это явно почерк юного Пушкина. Сравнение карандашной надписи с известными автографами Пушкина из его лицейской тетради не оставляет никаких сомнений». С этим мы уж никак не можем согласиться.

Вся аргументация публикаторов в пользу авторства А. С. Пушкина построена на незнании элементарных фактов, неумении анализировать рукопись и непонимании исторической обстановки. Приписка не Пушкина и не может ему принадлежать потому, что, во-первых, почерк не имеет ничего общего с пушкинским и «сравнение» может это только подтвердить; почерк позднейший, возможно даже — нашего времени; во-вторых, Пушкин никогда не называл себя и не назывался друзьями «Саней», и это уменьшительное придумано только для рифмы; в-третьих, совершенно невозможно допустить, чтобы Пушкин называл, хотя бы и в «стихотворной шутке», И. П. Тургенева — отца его старших друзей, умершего в 1807 году, память которого высоко чтли и Жуковский и Карамзин, — «Ваней»: Пушкин был достаточно для этого воспитанным человеком; наконец, приписка написана не только гораздо более поздним почерком, чем начала XIX века, но и человеком, не очень уверенным в старой и новой орфографии: он пишет «Сие» вместо «Сие», «Тургенев» без твердого знака, т. е. он, вероятно, наш современник. Кто он и какую цель преследовала его мистификация — трудно сказать. Но что перед нами мистификация, и очень грубая — в этом нет сомнения.

Очень печально то, что эта фальшивка попала на страницы университетской газеты и что доцент Белявский вместо того, чтобы разъяснить студентке Касаткиной подлинный исторический смысл найденной ею интересной записи, ввел ее в заблуждение. Публикация была тотчас (21 апреля

1957 года) воспроизведена в извлечении в газете «Московская правда», но не получила до сих пор достойной оценки в печати.

Соблазн отыскания и публикации нового пушкинского стихотворения увлек и писателя Георгия Шторма — известного переводчика «Слова о полку Игореве» и биографа Ломоносова. В третьем номере журнала «Новый мир» за 1957 год он напечатал в разделе «Отголоски минувшего» статью «Незамеченные строки» с подзаголовком «Пушкин и Екатерина Ушакова». Статья сама по себе очень интересна и по материалу и по изложению: в ней печатаются отрывки неизданных писем Ек. Н. Ушаковой о Пушкине, дается живая характеристика ушаковского дома в Москве, новые детали отношений Пушкина к этой незаурядной семье и к одной из сестер — Екатерине. Но тут же публикуется и стихотворение, переписанное на одном листке с небольшим стихотворением Пушкина, записанным рукой Екатерины Ушаковой. Автор устанавливает, что переписчицей его была другая сестра — Елизавета; под стихотворением есть помета: «Стихи, поднесенные в маскараде Неизвестным Астрологом»; то же восьмистишие появилось в «Невском альманахе» на 1830 год (стр. 399) с заглавием «Колдун» и подзаголовком «М. Ш.», который Г. Шторм расшифровывает, как «Маскарадная шутка», и с подписью «Р...», что, по мнению Г. Шторма, может быть подписью Пушкина латинскими буквами. Аргументация исследователя не лишена убедительности, и доводы его трудно опровергнуть, кроме одного: само стихотворение противится авторству Пушкина. Его первые строки: «Под небом Африки рожденный, В Египте жизнь я полюбил» — относятся всецело к маскарадному костюму астролога (халдея или египтянина), но едва ли сам Пушкин мог так говорить о себе: в его стихах, в его представлениях речь идет о далекой африканской родине предков, но никак не о месте рождения. В стихах довольно наивно перефразирована строка из 1 строфы первой главы «Онегина», а всё дальнейшее так слабо и так беспомощно и в образности («очи голубые», «кудри русые»), и в просодии («Я родину мою забыл»), и в стиле («В Египте жизнь я полюбил»), что авторство Пушкина должно вызвать решительные сомнения. Определить подлинного автора не только трудно, но, пожалуй, и невозможно: так могли писать в 20-х годах очень многие, но так не писал Пушкин. И как бы ни были убедительны косвенные аргументы, следует всячески остерегаться от соблазна «обогащать» сочинения Пушкина альбомными и маскарадными стишками его безвестных современников-эпигонов.

Помимо автографов, далеко не исчерпаны возможности появления и новых документальных материалов о Пушкине. Одной из самых интересных и важных для пушкиноведения находок за последние годы являются письма 1836—1837 годов членов семьи Карамзиных, обнаруженные на Урале, в Нижнем Тагиле. С семьей Карамзиных Пушкин в течение многих лет был связан близкой дружбой. Письма принадлежат жене писателя Е. А. Карамзиной и ее детям: Екатерине (Мещерской), Софье, Александру (ими написана большая часть писем), Владимиру и Елизавете; они адресованы сыну и брату Андрею Карамзину, бывшему тогда за границей.

До настоящего времени были известны в печати только письма самого Андрея Карамзина в Петербург к членам его семьи.²¹ Теперь исследова-

²¹ Напечатаны далеко не полностью в «Старине и новизне» (кн. 17, 1914, стр. 232—322; кн. 20, 1916, стр. 57—170) Подлинники хранятся большей частью в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве и некоторые — в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом).

тели пушкинской эпохи располагают всей сохранившейся перепиской, и давно опубликованные материалы получают новое, более полное освещение.

Письма содержат много интересных данных о лицах, событиях, быте и нравах русского общества 30-х годов XIX века. Но особенно ценны в них сведения о Пушкине; они во многом обогащают то, что мы знали до сих пор о гибели поэта, раскрывают политическую подоплеку его дуэли с Дантесом, трагическое одиночество последних месяцев его жизни. В письмах мы получаем дополнительные данные об отношении к поэту николаевской реакции, а с другой стороны — о восприятии его столкновения с Дантесом и, в более широком смысле, его общественного положения и его творчества со стороны близких ему, дружественных людей.

Выдержки из писем, содержащие наиболее интересные сведения о Пушкине, уже дважды в русских переводах напечатаны Ир. Андрониковым, с его же комментарием, живым и интересным, но рассчитанным на широкого читателя и потому облегченным.²² К сожалению, в этих комментариях встречаются односторонние и исторически неверные суждения, зависящие нередко от подбора отрывков текста, что заставляет желать скорейшего документального издания этих чрезвычайно важных для пушкиноведения материалов. Исходя из таких соображений, Пушкинский Дом в настоящее время готовит научную публикацию текстов (во французских оригиналах с русскими переводами) тагильской коллекции, снабженную развернутыми комментариями.

Интересные данные о Пушкине содержатся в дневнике Елены Шимановской, дочери замечательной польской пианистки Марии Шимановской. Выдержки из этого дневника опубликованы Игорем Бэлзой в монографии, посвященной Марии Шимановской.²³ Тесное общение с Шимановскими не могло не укрепить в сознании Пушкина его больших симпатий к искусству и культуре польского народа.

Большой интерес представляют высказывания о Пушкине Александра Бестужева в его письмах к П. А. Вяземскому 1823—1825 годов, опубликованных в «Литературном наследстве».²⁴ Пушкин в эти годы находился вне Петербурга (сначала в южной ссылке, затем в Михайловском), и почти все упоминания о нем связаны с получением его произведений для альманаха «Полярная звезда», издававшегося Бестужевым совместно с К. Ф. Рылевым.

Некоторые значительные публикации документальных материалов о Пушкине содержатся в уже упоминавшемся сборнике «Пушкин. Исследования и материалы».

3

Перейдем теперь от публикаций пушкинских текстов и материалов к исследованиям и статьям о жизни и творчестве Пушкина. Начнем с наиболее крупных и важных явлений — с двух книг-монографий, имеющих обобщающее, синтетическое значение.

Большим событием в пушкиноведении и в советском литературоведении

²² Ираклий Андроников. Тагильская находка. «Новый мир», 1956, № 1, стр. 153—209; отдельное издание: Ираклий Андроников. Тагильская находка. Изд. «Правда», М., 1956 (Библиотека «Огонек», № 7—8).

²³ И. Бэлза. Мария Шимановская. Изд. Академии наук СССР, М., 1956.

²⁴ Письма Александра Бестужева к П. А. Вяземскому (1823—1825). Публикация и комментарии К. П. Богаевской. Вступительная статья Н. Л. Степанова. «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, 1956, стр. 191—230.

вообще явился выход первой книги монографии покойного Б. В. Томашевского «Пушкин».²⁵ Автор ставил себе общей задачей дать всесторонний анализ развития мировоззрения и творчества Пушкина на фоне и в связи с общественно-политической и литературной жизнью его времени. Исследование этих вопросов делится на три главы — «Лицей», «Петербург», «Юг» — и доведено до середины 1824 года, т. е. до отъезда Пушкина из Одессы в Михайловское.

Богатство предлагаемого автором материала и оригинальность исследования сочетаются в книге с глубиной анализа и с подлинно научной объективностью в изложении фактов. Книга Б. В. Томашевского вводит в научный оборот много нового фактического материала. Большое внимание уделяется анализу учебной программы лицея, дается необыкновенно полная характеристика общества «Зеленая лампа», как побочной управы Союза благоденствия. Впервые публикуя неизданные части протоколов заседаний «Зеленой лампы» и детально анализируя эти протоколы, Б. В. Томашевский убедительно показывает, что сложившееся издавна и до сих пор встречающееся представление о веселом, чисто эпикурейском характере собраний «лампистов» происходит от того, что обычно смешивают заседания «Зеленой лампы» с вечеринками после театральные представлений, происходившими в том же доме Н. В. Всеволожского. Впервые с такой полнотой и глубоким проникновением исследуются политические, литературные, исторические, театральные интересы, определявшие подлинное лицо «Зеленой лампы».

Большое место в монографии Б. В. Томашевского уделено театральным интересам молодого Пушкина и в связи с этим петербургскому театру того времени. Лучшей частью книги является анализ романтического периода творчества Пушкина, и в этой части наиболее интересен анализ «Цыган». Б. В. Томашевский определяет задачу поэмы как создание типического образа современника и притом отнюдь не как его «разоблачение»; исследователь доказывает, что идея «разоблачения» Алеко впервые была выдвинута реакционной критикой (Достоевским, а за ним А. И. Незеленовым) с целью дискредитации лучших представителей русской революционной интеллигенции 70-х годов и с тех пор прочно бытовала не только в старом, но и в советском пушкиноведении. Такой пересмотр давно установившегося положения — далеко не единственный случай. Книга Б. В. Томашевского заставляет пересмотреть и многие другие утверждения, считавшиеся в пушкиноведении бесспорными; таковы, например, передатировка послания Ф. Ф. Юрьеву, восстановление авторства Пушкина для эпиграммы на Карамзина («В его „Истории“ изящность, простота»), не включенной в большое Академическое издание,²⁶ и др. Монография о Пушкине должна была стать итогом почти сорокалетних исследований Б. В. Томашевского. Смерть исследователя оборвала этот труд, нанеся невозместимую утрату пушкиноведению.²⁷

²⁵ Б. Томашевский. Пушкин. Книга первая (1813—1824). Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, 744 стр.

²⁶ Вопросу о принадлежности Пушкину эпиграммы на Карамзина посвящена также специальная статья Б. В. Томашевского «Эпиграммы Пушкина на Карамзина» в сборнике: Пушкин. Исследования и материалы, т. I, стр. 208—215.

²⁷ Б. В. Томашевский успел написать лишь начало второй книги своей монографии, доведя изложение до творчества Пушкина середины 1825 года. В настоящее время эта часть второй книги готовится к печати в соединении со статьями и материалами, представляющими предварительные итоги работ исследователя или своего рода заготовки к ненаписанным частям этого монументального труда, первая книга которого была по-смерти увенчана Академической премией.

В 1957 году вышла книга другого, также покойного, историка русской литературы Г. А. Гуковского (ум. в 1950 году) «Пушкин и проблемы реалистического стиля».²⁸ Эта монография представляет собой вторую часть работы «Очерки по истории русского реализма». В первой части ее, вышедшей в 1946 году в Саратове под заглавием «Пушкин и русские романтики», Г. А. Гуковский определял глубокие и органические связи Пушкина с разнообразными и противоречивыми течениями русского романтизма, в частности с декабристским, «гражданственным», революционным романтизмом, а также с романтизмом Жуковского и его школы, психологические открытия которой Пушкин развил и углубил в своем раннем творчестве. Характер второй части работы определяется ее названием: книга содержит характеристику реалистического стиля и метода Пушкина в их развитии. Не стремясь осветить все основные проблемы творчества и мировоззрения Пушкина, автор изучает их в плане эволюции его стиля как выражения эволюции идеологии, останавливаясь на анализе тех произведений, которые в особенности помогают разрешению поставленной проблемы. Детально рассматриваются в книге «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Граф Нулин» и «Полтава». Блестящий, мастерской анализ текстов, множество тонких наблюдений, раскрывающих всё многообразие пушкинского творчества, и на основе этих наблюдений глубокие теоретические обобщения — вот черты, отличающие книгу Гуковского. Раскрывая сущность реалистического метода Пушкина, автор показывает и его место в общем развитии русского критического реализма.

Основное внимание советского пушкиноведения направлено на разрешение проблем мировоззрения Пушкина. Конкретные вопросы пушкинского творчества обычно рассматриваются в связи с его социально-политической концепцией; однако далеко не всё в мировоззрении Пушкина представляется нам ясным. В частности, пока еще недостаточно освещены взгляды Пушкина на дворянство, очень важные для понимания многих моментов его творчества. Попытка учесть все высказывания Пушкина о дворянстве и сформулировать пушкинскую концепцию просвещенного дворянства сделана в статье М. И. Мальцева «Пушкин о дворянстве».²⁹ В общих чертах концепция, изложенная в статье, не вызывает возражений; однако, заполняя нарисованную им схему конкретными примерами из пушкинских произведений, автор часто упрощает замыслы Пушкина, подгоняя их под эту схему, а иногда впадает и в вульгаризацию. Приведем один пример. В ряду образов положительного героя-дворянина у Пушкина М. И. Мальцев называет Белкина; при этом простодушный рассказчик, графоман из недорослей, облик которого нарисован Пушкиным в несколько ироническом плане, сравнивается с автором «Путешествия из Петербурга в Москву». Приведем то место из статьи М. И. Мальцева, которое, по его мнению, должно подтвердить правильность высказанного суждения:

«Перед тем, как приступить к написанию „Истории Горюхина“, он <Белкин> „грыз перо и думал об опыте сельских проповедей“ (VI, 183).³⁰ Конечно, не о церковных проповедях сельских священников и т. п. думал Белкин, а, надо полагать, о проповедях Радищева и декабристов, восстав-

²⁸ Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. Гослитиздат, М., 1957, 415 стр.

²⁹ М. И. Мальцев. Пушкин о дворянстве. «Ученые записки Чувашского государственного педагогического института», вып. 4, Чебоксары, 1956, стр. 3—59.

³⁰ М. И. Мальцев цитирует по 10-томному изданию сочинений Пушкина Академии наук СССР (1949).

ших против крепостнического рабства. И торжественно-патетический тон заключительных строк автобиографии Белкина, в которых дана высокая самооценка совершенного им труда, хорошо подтверждает нашу мысль. „Ныне, — пишет Белкин, — как некий мне подобный историк, коего имени я не запомню, кладу перо и с грустью иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что мне пора опочить“ (VI, 184).

«Подобный Белкину историк, имени которого он не мог назвать по цензурно-тактическим соображениям, — А. Н. Радищев. Белкин недвусмысленно намекает на знаменитую книгу Радищева, издание которой — поистине трудный героический подвиг, стоивший автору смертного приговора. Намек на опыт Радищева подтверждается и сходством в манере письма, которая в приведенном заключительном абзаце белкинской автобиографии является экстрактом радищевской эмоции-размышления в его „Путешествии“». ³¹

Приведенный отрывок не может не вызвать в читателе чувства недоумения: М. И. Мальцев, игнорируя известные и несомненные факты, подменяет их своими домыслами и из слов Пушкина делает самые неправомерные выводы, подкрепляя их только эмоциональностью и патетикой стиля. Проникнутое иронией по отношению к Белкину изображение его исторических трудов принимается всерьез. «Сельские проповеди» оказываются «проповедями» (?) Радищева и декабристов. А между тем мы знаем, что сам Пушкин в те же дни, когда писал «Историю села Горюхина», действительно занимался сочинением «проповеди» болдинским мужикам о холере и, сообщая П. А. Плетневу (29 сентября 1830 года), что хотел бы ему переслать ее, добавлял: «ты бы со смеху умер». ³² По словам же одной современницы, поэт будто бы даже читал эту проповедь с амвона. ³³ Что касается Радищева и декабристов, то первый никогда не вел устной антикрепостнической агитации, обращенной к крестьянам; вторые же в подавляющем большинстве отрицательно относились к крестьянскому восстанию и не думали его проповедовать. Всё рассуждение М. И. Мальцева весьма характерно для его «методологии».

В примечании М. И. Мальцев сообщает, что им подготовлено к печати специальное исследование образа Белкина именно в этом плане. Вряд ли работа со столь фантастическими выводами принесет пользу пушкиноведению. Следует всё же отметить, что наряду с упрощенным, вульгаризаторским толкованием отдельных произведений Пушкина в статье есть интересные наблюдения и выводы, в частности об отношении современной и революционно-демократической критики к «генеалогическим предрассудкам» Пушкина, о взглядах его на революцию, на взаимоотношения просвещенных дворян с «разбушевавшейся чернью» и т. д.

Из работ, посвященных отдельным вопросам мировоззрения и творчества Пушкина, значительный интерес представляет большая статья И. М. Тойбина «Пушкин и Погодин», ³⁴ касающаяся исторических взглядов Пушкина. Анализируя взаимоотношения поэта с историком-журналистом, Тойбин рассматривает их в связи с философско-исторической мыслью

³¹ М. И. Мальцев, ук. соч., стр. 18.

³² Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIV, Изд. Академии наук СССР, 1941, стр. 113.

³³ См.: Пушкин. Письма, т. II, ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 468.

³⁴ «Ученые записки Курского государственного педагогического института», вып. 5, 1956, стр. 70—122.

в России на рубеже 20-х и 30-х годов и показывает, как историзм Пушкина утверждался в борьбе против Погодина, Полевого и других сторонников исторического фатализма, в борьбе с моралистической точкой зрения на историю. В спорах Пушкина с Погодиным о Петре, в трактовке тем и другим новгородской темы, в определении народности скрывалось различное понимание ими роли государства, исторических судеб народа и страны. Исторические доктрины Погодина всё больше приспособлялись к теории «официальной народности», в то время как Пушкин всегда занимал передовые, прогрессивные позиции.

4

Лирика Пушкина является, пожалуй, наименее изученным разделом его творчества. Правда, сравнительно много написано о его ранней и политической лирике, но почти во всех посвященных ей статьях и работах монографического характера до сих пор речь шла о ее идейном содержании и не рассматривалось художественное своеобразие. Попытки восполнить этот пробел сделаны в статьях В. Глухова, О. В. Астафьевой и Г. М. Сухарева.³⁵ Работа В. Глухова ставит вопрос о зависимости творчества Пушкина от его предшественников — Батюшкова, Жуковского, Д. Давыдова, поэтов XVIII века и не добавляет новых данных к давно установленному в пушкиноведении положению о том, что, учась у своих предшественников, Пушкин значительно расширил свой художественный кругозор и подверг серьезной переработке унаследованный им от предшествующей эпохи литературный материал. О. В. Астафьева делает попытку раскрыть средства художественной выразительности политической лирики Пушкина на конкретном анализе языковых, версификационных и стилистических приемов. Статья Г. М. Сухарева, также обращающая внимание на художественное своеобразие лирики Пушкина, ни по содержанию, ни по методологии не вносит, однако, ничего нового в исследуемый вопрос.

Таким образом, для анализа художественных свойств политической лирики Пушкина сделано еще немного. Далекое не исчерпаны также и возможности идейного ее истолкования. Почти одновременно с монографией Б. В. Томашевского, в которой дается обстоятельный анализ политических идей вольнолюбивой лирики Пушкина, и в частности «Деревни», появилась статья Г. М. Дейча и Г. М. Фридендера³⁶ о «Деревне», которая уточняет связь политической платформы стихотворения с антикрепостнической программой Союза благоденствия. Выводы авторов, в основном совпадающие с концепцией Б. В. Томашевского, построены на большом, чрезвычайно интересном и неизвестном до настоящего времени архивном материале. Не менее интересна попытка вскрыть литературно-общественную борьбу вокруг стихотворения и дать анализ критических замечаний, исходивших от группы друзей Пушкина старшего поколения — А. И. Тургенева и В. А. Жуковского.

³⁵ В. Глухов. Идейно-художественное своеобразие ранней лирики Пушкина. «Ученые записки Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова», вып. 4, 1957, стр. 111—138; О. В. Астафьева. К вопросу о становлении реализма в политической лирике Пушкина. «Ученые записки Таганрогского государственного педагогического института», вып. 3, 1957, стр. 233—273; Г. М. Сухарев. О реализме лирики Пушкина. «Ученые записки Шуйского государственного педагогического института», вып. IV, 1957, стр. 347—370.

³⁶ Г. М. Дейч и Г. М. Фридендер. «Деревня» Пушкина и антикрепостническая мысль конца 1810-х годов. «Литературное наследство», т. 60, кн. I, стр. 375—392.

Малоизученному вопросу о лирике Пушкина второй половины 20-х годов посвящена статья Д. Д. Благого.³⁷ Анализ текстов ряда стихотворений, в которых с наибольшей силой отразился общественный кризис последекабрьских лет и душевное состояние Пушкина, позволяет объединить их в своего рода цикл. Единый комплекс психологических состояний поэта в их движении от мучительных раздумий и переживаний к мужественному их преодолению является основным связующим звеном этого «цикла», в котором Д. Д. Благой объединяет «Зимнюю дорогу», набросок «В еврейской хижине лампада», «Три ключа», «Воспоминание», «Дар напрасный, дар случайный», «Зимнее утро», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Безумных лет угасшее веселье».

Вторая статья Д. Д. Благого посвящена «Анчару».³⁸ Анализируя идейный смысл и художественные особенности «Анчара», автор показывает теснейшую связь его с современностью, со страшным десятилетием, наступившим после поражения декабрьского восстания. Полемицизируя с Н. В. Измайловым и с большинством редакторов сочинений Пушкина, Д. Д. Благой предлагает восстановить в последней строфе стихотворения текст первой публикации, где вместо слова «князь» было напечатано «царь». Следует заметить, что последующая замена, хотя и могла быть вызвана цензурными соображениями, не снижает, однако, общественно-политического смысла «Анчара» и его антимонархическая тенденция должна была ощущаться современниками с равной силой. Можно пожалеть, что исследователю не были известны новые данные об источниках «Анчара», найденные В. Г. Боголюбовой,³⁹ а именно описание этого дерева французским естествоиспытателем Лешено и другие материалы. Эти данные убедительно показывают связь пушкинского стихотворения с современным Пушкину событием — национально-освободительным восстанием на Яве — и объясняют «яванский» колорит «Анчара».

Значительный интерес представляет статья В. П. Воробьева, посвященная уточнению датировки «Песен западных славян».⁴⁰ В различных изданиях Пушкина «Песни» датируются 1832—1835 годами. Б. В. Томашевский высказал предположение о возникновении замысла «Песен» в 1828 году. По его мнению, Пушкин около 1827 года познакомился с высказыванием А. Х. Востокова о русском народном стихе и начал реализовать этот стих на материале фольклорных тем. Наибольшее число подобных опытов у Пушкина падает на 1828 год.⁴¹ Тогда же Б. В. Томашевский указал на возможность пересмотра датировки цикла. Дополнительный довод в пользу датировки цикла концом 20-х годов привел А. К. Виноградов: по его мнению, автограф песни «Соловей мой, соловейко» на сербском языке и в русском переводе относится именно к этому времени.⁴² Однако недоста-

³⁷ Д. Благой. Трагедия и ее разрешение (Об одном цикле лирики Пушкина). «Вопросы литературы», 1957, № 1, стр. 118—143.

³⁸ Д. Д. Благой. «Анчар» Пушкина. В кн.: Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шестидесятилетию. Изд. Академии наук СССР, М., 1956, стр. 94—116.

³⁹ В. Г. Боголюбова. Еще раз об источниках «Анчара». В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. II, стр. 310—323.

⁴⁰ В. П. Воробьев. К вопросу о времени создания А. С. Пушкиным «Песен западных славян». «Ученые записки Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского», т. LVI, 1957, стр. 52—66.

⁴¹ Б. Томашевский. Генезис «Песен западных славян». «Атеней». Историко-литературный временник, кн. 3, Л., 1926, стр. 35—45.

⁴² А. К. Виноградов. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, стр. 237—238.

точность аргументации Б. В. Томашевского и А. К. Виноградова не позволила внести изменения в датировку песен, и в Академическом издании они по-прежнему датируются 1832—1834 годами (две песни: «Что белеется на горе зеленой» и «Менко Вуич грамоту пишет», не вошедшие в печатный текст, — 1835 годом). В. П. Воробьев подходит к вопросу о времени создания «Песен» с точки зрения их места в общей эволюции творчества Пушкина и приходит к заключению, что метод творческого использования фольклора в «Песнях западных славян» и в сказках, написанных в 1830—1834 годах, различен: «Песни» были написаны раньше сказок и вероятнее всего в конце 20-х годов. Свою точку зрения В. П. Воробьев дополнительно аргументирует, показывая, что книга Мериме «La Guzla» была известна Пушкину в конце 20-х годов, и анализируя сходные языковые образы в «Песнях западных славян» и в других произведениях Пушкина, написанных тогда же.

Из работ, посвященных отдельным стихотворениям Пушкина, необходимо отметить еще статью Г. Гиголова о сонете «Суровый Дант».⁴³ Автор полемизирует с бытующим в пушкиноведении взглядом на сонет Пушкина как на подражание знаменитому сонету В. Вордсворта «Не презирай сонета, критик». Гиголов видит в пушкинском стихотворении не подражание, не перевод, а полемiku с Вордсвортом. Эта мысль, основанная на сравнительном анализе текста обоих сонетов, представляется интересной и убедительной. Вторая часть статьи посвящена упоминанию в сонете Пушкина о Мицкевиче. Правильно устанавливая связь между терцетом и посвященными Мицкевичу строками в «Путешествии Онегина», автор стремится раскрыть якобы скрытый смысл последней строки терцета «Свои мечты мгновенно заключал» и приводит мемуарные свидетельства о Мицкевиче как носителе пророческой мечты о любви, которая свяжет все народы. Об этой мечте Мицкевича Пушкин писал в стихотворении «Он между нами жил».

Следует, однако, заметить, что в стихотворении «Суровый Дант» речь идет о сонетах Мицкевича, напечатанных в 1826 году и содержание которых Пушкину незачем было зашифровывать, а нам разгадывать; что касается импровизаций Мицкевича о будущем братстве народов, то они высказывались не в сонетной, а в прозаичной форме.

История изучения темы «Пушкин и Мицкевич» насчитывает около ста лет. За это время собрано много фактов, выяснены основные моменты в истории личных и литературных взаимоотношений двух поэтов и, однако, в этой теме не исчерпаны все исследовательские возможности. В 1955 году исполнилось сто лет со дня смерти великого польского поэта. Эта дата, широко отмеченная польской и советской общественностью, вновь привлекла внимание к теме «Мицкевич и Пушкин».

Помимо разработок этой темы в исследованиях, специально посвященных Мицкевичу, и в упомянутой статье Г. Гиголова, интересная разработка темы дана в статье Д. Д. Благого.⁴⁴ Прослеживая параллельность литературного развития и творческого пути Пушкина и Мицкевича, Д. Д. Благой особое внимание уделяет общим моментам в их творчестве. Так, например, творческий метод Мицкевича в «Гражине» и «Конраде

⁴³ Г. Гиголов. О сонете А. С. Пушкина «Суровый Дант» (Некоторые вопросы). «Труды Тбилисского государственного университета имени Сталина», т. 61, 1956, стр. 233—246.

⁴⁴ Д. Д. Благой. Мицкевич и Пушкин. «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», 1956, т. XV, вып. 4, стр. 297—314.

Валленроде» Пушкин повторил в «Полтаве»; с другой стороны, опыт автора «Евгения Онегина» был использован Мицкевичем в «Пане Тадеуше».

Вопреки установившейся традиции считать цикл стихов Мицкевича о России (в приложении к третьей части «Дзядов») творческим импульсом к созданию «Медного всадника» и противопоставлять эти произведения как полемические, Д. Д. Благой выдвигает положение о самостоятельности и параллелизме замыслов, восходящих к одним и тем же истокам периода творческого и личного общения Пушкина и Мицкевича. Интересна попытка восстановить содержание историко-политических бесед Мицкевича и Пушкина, легших в основу этих двух замыслов. Однако стремление установить возможно больше сближающих моментов в творчестве Пушкина и Мицкевича приводит автора к заключениям, не всегда достаточно убедительным. Трудно согласиться с тем, что стихотворение «Пророк» «связывалось в творческом сознании Пушкина некоторыми нитями с личностью именно Мицкевича» (стр. 299). Такая конкретизация обобщенного поэтического образа стихотворения Пушкина безусловно снижает его философский и политический пафос.

5

Из отдельных произведений Пушкина наибольшее число работ посвящено «Евгению Онегину». «Евгений Онегин» — самое крупное художественное произведение Пушкина, самое богатое содержанием, оказавшее наиболее сильное влияние на развитие всей русской литературы. Естественно, что это любимое детище Пушкина неоднократно и на всех этапах изучения его творчества привлекало внимание критиков и исследователей и может быть отнесено к числу наиболее изученных произведений поэта. Тем не менее внимание исследователей всё снова и снова обращается к роману. Это объясняется не только центральным положением его в творчестве Пушкина, но и большой сложностью идейной и художественной системы произведения и тем впечатлением недоговоренности, незавершенности, которое оно — справедливо или ошибочно — вызывает в читателе и исследователе. Известно, что окончательный вариант романа значительно отличается от первоначального замысла, особенно в построении и содержания его последних глав. Отрывки из сожженной десятой главы, свидетельствующие о намерении Пушкина ввести в роман декабристскую тему, воспоминания современников о существовании «декабристского» замысла романа служат материалом для множества гипотез, подчас остроумных, подчас малообоснованных, а иногда и фантастических. Так было в предшествующие рассматриваемому периоду годы, то же мы видим и в 1956—1957 годах: ряд работ последнего времени посвящен обоснованию и реконструкции «декабристского» замысла, причем выводы, к которым приходят их авторы, подчас совершенно противоположны.

А. И. Гербстман, автор ряда статей о романе, освещающих отдельные стороны его проблематики, в одной из них ставит вопрос о воздействии идейных установок Союза благоденствия, сформулированных в «Зеленой книге», на разработку образа Онегина.⁴⁵ В статье выдвигается новая трактовка первой главы романа, идейная целенаправленность которой, по мнению автора, заключается в том, что она показывает глубокий перелом в интересах и образе жизни героя, вызывающий его разрыв со светским об-

⁴⁵ А. И. Гербстман. «Евгений Онегин» и «Зеленая книга» (Материалы к диссертации). Алма-Ата, 1957.

ществом, причем разрыв происходит под влиянием идей Союза благоденствия; этим открывается перспектива в декабристскую проблематику романа. Предлагаемое А. И. Гербстманом решение вопроса представляется нам ошибочным. Либерализм раннедекабристской поры безусловно не прошел бесследно для Онегина первых глав романа, но он воспринял его не больше чем как модное увлечение. Сущность пушкинского решения вопроса об Онегине первых глав романа и его отношения к декабризму очень тонко и убедительно проанализирована Г. А. Гуковским в уже упоминавшейся монографии «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (стр. 184—188). Иронический тон, которым написаны строфы, посвященные практическому либерализму Онегина в деревне, модная шляпа «боливар», которую носит Онегин, — внешний признак либерализма — и другие детали, по мнению автора, показывают, что «в разногласии либеральных мнений и разговоров Онегин — не с теми, кто отдаст жизнь за свободу. Дамская мода — таков его либерализм» (стр. 188). И с этим выводом мы полностью соглашаемся. Онегина первых глав романа Пушкин осуждает, противопоставляя его своему идеалу — Татьяне, и только в следующих главах (после убийства Ленского) даны предпосылки перерождения его образа.

В другой статье А. И. Гербстман выдвигает гипотезу о судьбе десятой главы «Евгения Онегина».⁴⁶ Дело в том, что в Пушкинском Доме, в архиве Аксаковых, сохранился конверт, на котором рукой А. О. Смирновой помечено, что в нем Николай I передал ей для возвращения Пушкину главу Онегина. В рассказе об этом в записках Смирновой переданная через нее глава названа десятой. Путем малообоснованных логических доводов автор стремится доказать, что Пушкин передал Николаю десятую главу (исключив известный нам текст криптограммы) для того, чтобы выяснить возможность опубликования «декабристского» окончания романа. Гипотеза эта представляется нам совершенно невероятной. В логическом построении статьи есть одно особенно слабое звено — предположение, что рукопись десятой главы была сожжена Пушкиным «не ради уничтожения, а ради безопасного ее сохранения во время карантинных мытарств» (стр. 122). Это предположение далеко не достаточно аргументировано, а если остаться при ныне принятом убеждении, что Пушкин сжег рукопись, боясь полицейского сыска, придется отвергнуть и версию о передаче ее царю.

Наконец, в третьей своей статье А. И. Гербстман пытается наметить два «сюжетных плана» «Евгения Онегина»: ⁴⁷ один — явный, основанный на одиночестве обоих героев и их стремлении выйти из него, наталкивающимся на неодолимые препятствия; другой — скрытый (но понятный для Белинского), где одиночество героя имеет социально-политический смысл и выход из него (или гибель) находится в революционной деятельности, в декабризме. Как видно, стремление А. И. Гербстмана истолковать роман (в его законченном виде) как декабристское произведение, а самого Онегина — как потенциального декабриста выражено здесь с полной отчетливостью; но, как и в других работах того же автора, эта мысль остается недоказанной.

⁴⁶ А. И. Гербстман. Судьба десятой главы «Евгения Онегина». «Ученые записки Казахского государственного университета имени С. М. Кирова», т. XXV, Алма-Ата, 1957, стр. 109—122.

⁴⁷ А. И. Гербстман. К вопросу о сюжете «Евгения Онегина». «Ученые записки Кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Казахского государственного университета имени С. М. Кирова», вып. I, Алма-Ата, 1957, стр. 3—7.

Противоположную точку зрения отстаивают другие авторы — Г. К. Евстифеева и В. Глухов, считающие, что в процессе работы над романом Пушкин полностью отошел от первоначального, «декабристского» замысла и что в характере героя, как он дан в окончательном варианте, не сохранилось черт, которые могли бы оправдать его сближение с декабристами.

Г. К. Евстифеева ограничивает свою задачу анализом образа Онегина, рассматривая эволюцию этого образа в процессе работы Пушкина над романом.⁴⁸ Сопоставляя многочисленные варианты и черновики романа, помогающие раскрыть творческую лабораторию поэта, она приходит к выводу, что в процессе работы над романом Пушкин отказался от трактовки образа Онегина как представителя декабристской среды и написал роман о судьбе «лишнего человека», т. е. незаурядной личности, погибающей от невозможности найти применение своим способностям. Создав образ большого обобщения, художественно раскрывший судьбу дворянской интеллигенции преддекабрьской поры, Пушкин придал своему роману большую обличительную силу, чем если бы роман был посвящен герою-декабристу.

Некоторые частные наблюдения Г. К. Евстифеевой над текстом романа заслуживают внимания, но ход рассуждений и общие выводы статьи обнаруживают подчас непонимание не только творческого процесса, но и исторического смысла и проблематики романа.

«Евгений Онегин» печатался по отдельным главам; четыре из них были в основном написаны (а первая и напечатана) до восстания 14 декабря, когда «декабристский» замысел не мог и возникнуть; работа Пушкина над черновиками отражает не «изменение замысла», а непосредственный творческий процесс создания романа, стремление отобразить наиболее характерные, типические черты задуманного образа. Онегин первых глав романа — человек «света», типическое явление, порожденное внеациональной, внеародной светской средой. Однако потенциально-прогрессивные черты, которыми Пушкин наделил героя, явились той психологической основой, которая могла оправдать его постепенную эволюцию, отход от светской среды, его воспитавшей, противодействие ее обычаям и укладу. Справедливо полагая, что в условиях современной цензуры невозможно развить в романе декабристскую тему, Пушкин уничтожил и исключил из романа главы, несущие эту тему, но психологические предпосылки образа Онегина, которые могли сблизить его с декабристами, в заключительных главах романа остались.

В. Глухов также поставил перед собой задачу воссоздать творческую историю «Евгения Онегина», выдвинув некоторые новые соображения о ней.⁴⁹ Свою концепцию он строит на известных воспоминаниях М. В. Юзефовича, согласно которым Онегин по замыслу Пушкина должен был погибнуть на Кавказе или попасть в число декабристов. Обычно в этом «или» исследователи усматривали ошибку Юзефовича, считая, что Онегин должен был попасть на Кавказ в результате участия в заговоре декабристов. В. Глухов же противопоставляет гибель на Кавказе декабризму Онегина, считая, что воспоминания Юзефовича отражают два возможных варианта развязки романа, в выборе которых Пушкин колебался.

⁴⁸ Г. К. Евстифеева. О работе А. С. Пушкина над образом Онегина. «Ученые записки Адыгейского государственного педагогического института», т. I, Майкоп, 1957, стр. 43—58.

⁴⁹ В. Глухов. Из творческой истории романа Пушкина «Евгений Онегин» (статья первая). «На берегах Великой». Псковский литературный альманах, вып. 8, 1957, стр. 226—243.

Эти два варианта развязки, по мнению В. Глухова, были задуманы Пушкиным не в 1829 году, когда произошла встреча его с Юзефовичем на Кавказе, а в начале работы над романом, т. е. в 1823—1825 годах. События 14 декабря определили, по мнению В. Глухова, решение поэта в пользу декабристского окончания; в это время и были созданы главы, имеющие отношение к «декабристскому» замыслу: первоначальный вариант восьмой главы с описанием странствий Онегина, переработанный потом в «Путешествие Онегина», отрывки из которого вошли в окончательный текст, и десятая глава. Создание десятой главы Глухов датирует первой половиной 1828 года. В конце 1828 года Пушкин будто бы вновь изменил план романа, убрав из него всё относящееся к «декабристскому» замыслу. Далее Глухов делает попытку реконструкции этого первоначального, «декабристского» замысла.

Статья представляется нам очень произвольной по построению и выводам. Невозможно предположить, чтобы «декабристский» замысел возник у Пушкина до конца 1825 года, т. е. до восстания. Пушкин не только был другом многих декабристов, но и знал о существовании тайного общества, и именно поэтому для него не могли не иметь значения соображения политической конспирации. Кроме того, характер Онегина первых глав, т. е. глав, напечатанных до того времени, когда Пушкин, по мнению Глухова, должен был отказаться от «декабристского» замысла, не обнаруживает черт, которые характеризовали бы его как члена тайного общества. Что касается до попытки Глухова реконструировать неосуществленный замысел Пушкина, то следует признать неудачной самую попытку, подменяющую научный анализ фантазированием. К тому же автор статьи пользуется таким источником, как воспоминания Л. Н. Павлищева, недостоверность которых давно доказана.⁵⁰

Таким образом, Г. К. Евстифеева и В. Глухов, не отрицая наличия «декабристского» замысла, отодвигают его к начальному этапу работы над романом. Образ Онегина в окончательном варианте, как они утверждают, не имеет ничего «декабристского». Эту точку зрения отстаивает и И. М. Дегтеревский.⁵¹ По его мнению, текст романа не дает оснований говорить о перерождении Онегина из холодного эгоиста и скептика в декабриста. И если Пушкин и собирался ввести его в круг участников декабристского движения, то только в качестве попутчика: «...ему пришлось бы, в связи со всем рисунком образа в целом, заставить его холодно и эгоистически отнестись и к этому очень важному, но лишь мимоходом увлечению его жизни» (стр. 157). Текст романа, однако, явно противоречит такому построению. Что касается попытки Дегтеревского представить «легкомыслие» и апатию Онегина характернейшими чертами людей пушкинского окружения, таких, например, как члены «Зеленой лампы» П. П. Каверин и М. А. Щербинин, то можно лишь пожалеть, что до настоящего времени в ученых трудах пишут об эпикурейском характере этого филиала Союза благоденствия. Опубликованные Л. А. Мандрыкиной и Т. Г. Цявловской новые материалы о Щербинине (см. ниже) снимают все доводы Дегтерев-

⁵⁰ Во второй статье «Из творческой истории романа Пушкина „Евгений Онегин“», опубликованной в десятом выпуске альманаха «На берегах Великой» (1958, стр. 140—156), В. Глухов рассматривает последние главы романа как отражение последекабрьских впечатлений Пушкина (что само по себе справедливо) и дает анализ образа Татьяны как главной героини этих глав.

⁵¹ И. М. Дегтеревский. «Евгений Онегин» и дворянство пушкинского времени. «Ученые записки Московского городского педагогического института имени В. П. Потемкина», т. LXVII, вып. 6, 1957, стр. 131—160.

ского и о характере этого человека, которого он, следуя за работой Ю. Н. Щербачева, написанной в 1913 году,⁵² определяет как помещика-эпикурейца.

Анализ образа «автора» в «Евгении Онегине» дан в статье И. М. Семенко.⁵³ Задачей статьи является — показать соотношение между автором — персонажем романа и автором — подлинным Пушкиным. В статье много интересных наблюдений, касающихся, в частности, пушкинской иронии.

А. З. Жаворонков стремится уточнить место и время возникновения замысла «Евгения Онегина».⁵⁴ Вместо традиционной даты начала работы над первой главой — 9 мая 1823 года (даты, поставленной Пушкиным на рукописи романа и которая совпадает со временем возникновения замысла), он предлагает отодвинуть возникновение замысла романа на три года — к 1820 году, времени пребывания Пушкина в Крыму вместе с семьей Раевских. Основаниями для этого, по мнению А. З. Жаворонкова, служат письмо Пушкина к Н. Б. Голицыну от 10 ноября 1836 года, в котором Пушкин называет Крым «колыбелью... Онегина»,⁵⁵ генетическая связь романа с романтическими южными поэмами и анализ образов основных персонажей романа, в которых Жаворонков находит черты дочерей и сына Раевских (Екатерины, Марии и Александра).

Вполне вероятно, что черты людей, близко знакомых Пушкину и привлекавших его самобытностью и оригинальностью характеров, впоследствии отразились в образах героев романа, но вряд ли общение с ними могло быть стимулом для возникновения замысла. Начатый намеренно и сознательно как роман реалистический, «Евгений Онегин» не мог быть задуман в начальную пору пушкинского романтизма. Не представляются аргументом в пользу мысли автора и слова Пушкина, что темой первой главы является «описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года».⁵⁶ Эта дата естественно определяется последними петербургскими впечатлениями Пушкина. Нет надобности, наконец, подвергать пересмотру вопрос о соотношении «Онегина» с «Тавридой» после исследования замысла этой элегии Б. В. Томашевским.

В. Г. Костин посвятил свою статью отзывам русской критики 20—30-х годов на «Евгения Онегина».⁵⁷ Статья в основном повторяет давно установленные в литературоведении положения и имеет скорее библиографическое, чем историко-литературное значение. Таковы работы последних лет, посвященные «Евгению Онегину».

Из других работ, посвященных отдельным произведениям Пушкина, следует упомянуть статью Т. П. Соболевой о «Дубровском», работы

⁵² Ю. Н. Щербачев. Приятель Пушкина М. А. Щербинин и П. П. Каверин. М., 1913.

⁵³ И. М. Семенко. О роли «образа» автора в «Евгении Онегине». «Труды Ленинградского государственного библиотечного института имени Н. К. Крупской», т. II, 1957, стр. 127—146.

⁵⁴ А. З. Жаворонков. К истории романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». «Ученые записки Новгородского государственного педагогического института», т. I, вып. 1, 1956, стр. 40—62.

⁵⁵ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XVI, Изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 184, 395.

⁵⁶ Там же, т. VI, 1937, стр. 638.

⁵⁷ В. Г. Костин. «Евгений Онегин» Пушкина в русской критике 20-х—начала 30-х годов XIX века. «Ученые записки Калининского государственного педагогического института имени М. И. Калинина», т. XIX, вып. 2, 1957, стр. 143—165.

О. В. Астафьевой о «Русалке» и «Капитанской дочке» и статью Г. Ленобля о «Медном всаднике».

В статье Т. П. Соболевой дано истолкование крестьянской темы в «Дубровском»,⁵⁸ Соболева обстоятельно анализирует те проявления крепостного права, которые попадают в поле зрения Пушкина, приемы, с помощью которых он изображает крестьянство, и показывает, каким образом в повести раскрыто «правовое место» крепостных в государстве, политические и юридические порядки, приводящие крестьян к законному возмущению.

Рассматривая главы, посвященные зарождению и развитию бунта, автор приходит к выводу, что Дубровский возглавил движение под воздействием самих протестующих крестьян.

Попытка раскрыть идейно-художественное своеобразие драмы «Русалка» сделана О. В. Астафьевой.⁵⁹ Определяя драму как «синтез тех принципов и приемов драматургического искусства, которые были выработаны поэтом в процессе создания „Бориса Годунова“ и „Маленьких трагедий“» (стр. 106), Астафьева показывает социальные противоречия, существующие между главными героями драмы, и анализирует мастерство Пушкина. В статье обращено внимание на все компоненты художественного произведения, из которых суммируется понятие «мастерство художника»: композицию драмы, психологические характеристики персонажей, их речь. Однако анализ пушкинского мастерства носит поверхностный характер. Так, например, раскрывая своеобразие языка персонажей, Астафьева ничего не говорит о стихе драмы, а между тем пятистопный ямб, которым написана «Русалка», с его различными ритмическими вариациями, необычайно тонко и выразительно передает ее драматическую коллизию. Почти не раскрыта в статье фольклорная основа драмы, значение фольклорной фантастики для показа самых реальных и животрепещущих мыслей и отношений современности.

Еще одна работа О. В. Астафьевой посвящена анализу образа Пугачева в повести «Капитанская дочка».⁶⁰ Статья Г. Ленобля о «Медном всаднике»⁶¹ содержит интересную подборку уже публиковавшихся откликов современников на наводнение 1824 года в переписке, воспоминаниях и литературе.

Внимание исследователей до настоящего времени почти не привлекала сатирическая сказка Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей». Между тем сказка полна отзвуков современности: в ней содержатся намеки на сибирскую ссылку, на мистицизм Александра I, есть смелое выступление против цензуры. Именно поэтому сказка заслужила высокую оценку Герцена и Огарева. Попытка раскрыть идейное содержание сказки, дать анализ ее языка и стиля сделана А. З. Жаворонковым.⁶² Зарождение за-

⁵⁸ Т. П. Соболева. Крестьянство и крестьянский бунт в повести А. С. Пушкина «Дубровский». «Ученые записки Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина», т. СХV, вып. 7, 1957, стр. 45—72.

⁵⁹ О. В. Астафьева. Драма Пушкина «Русалка» (Опыт идейно-художественного анализа). «Ученые записки Таганрогского государственного педагогического института», вып. 1, 1956, стр. 97—112.

⁶⁰ О. В. Астафьева. Образ Пугачева в повести Пушкина «Капитанская дочка». «Ученые записки Таганрогского государственного педагогического института», вып. 1, 1956, стр. 113—130.

⁶¹ Г. Ленобль. К истории создания «Медного всадника». «Ленинградский альманах», 1957, июнь, № 12, стр. 321—337.

⁶² А. З. Жаворонков. Анекдотическая сказка А. С. Пушкина. «Ученые записки Новгородского государственного педагогического института», т. I, вып. 1, 1956, стр. 101—118.

мысла сказки Жаворонков связывает с усилением внимания Пушкина к фольклору в начале 20-х годов. Правильно отмечая сатирическую остроту сказки, Жаворонков приписывает ей всё же слишком большое место в становлении реалистического метода Пушкина.

6

Ряд работ освещает по-новому литературные отношения и журнальную борьбу Пушкина. Обычно, говоря об этой теме, имеют в виду 30-е годы, а вторая половина 20-х годов, особенно первые годы после декабрьского восстания, рассматриваются под знаком доброжелательного отношения критики к Пушкину. А. Г. Гукасова в статье «Из истории литературно-журнальной борьбы второй половины 20-х годов XIX века»⁶³ избрала своей задачей пересмотреть подобную постановку вопроса. Изучив критические отзывы Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина и Н. И. Надеждина о произведениях Пушкина за период 1826—1830 годов, она пришла к выводу, что об изменении позиций Полевого и Булгарина по отношению к Пушкину следует говорить не с 1829—1830 годов, когда сам Пушкин осознал общность позиций издателей «Московского телеграфа» и «Северной пчелы», а с 1826 года, т. е. сразу после декабрьского восстания. Этот вывод в статье недостаточно обоснован. Действительно, в отзывах Полевого на произведения Пушкина после 1825 года заметна некоторая осторожность, связанная с политическим положением поднадзорного поэта, но от этой осторожности еще далеко до той враждебности, которая отличает отзывы Полевого о Пушкине в 1829—1830 годах, когда, объединившись с Булгариным, он включился в активную борьбу с «литературной аристократией», и в частности с Пушкиным.

Другая статья А. Г. Гукасовой посвящена теме «Пушкин и Гоголь».⁶⁴ Гукасова рассматривает вопрос об адресате письма, напечатанного Гоголем в 1841 году в журнале «Москвитянин» (ч. III, кн. 6) под заглавием «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления „Ревизора“ к одному литератору», а затем в виде приложения ко второму изданию «Ревизора». Сопоставляя текст письма с другими письмами Гоголя и анализируя личные и литературные отношения Пушкина и Гоголя, Гукасова успешно полемизирует с исследователями, подвергавшими сомнению свидетельство самого Гоголя о том, что «Отрывок» является частью письма, написанного им 25 мая 1836 года Пушкину. Доводы Гукасовой позволяют включить «Отрывок» в переписку Пушкина, куда в свое время его внес В. И. Саитов,⁶⁵ и чего напрасно не сделала редакция большого Академического издания.

Новые данные о распространении вольнолюбивых стихов Пушкина опубликованы Л. А. Мандрыкиной и Т. Г. Цявловской.⁶⁶ В архиве III От-

⁶³ «Ученые записки Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина», т. СХV, вып. 7, 1957, стр. 3—43.

⁶⁴ А. Г. Гукасова. «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления „Ревизора“ к одному литератору» (Вопрос об адресате «Отрывка» и о взаимоотношениях Пушкина и Гоголя). «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», 1957, т. XVI, вып. 4, стр. 335—345.

⁶⁵ Пушкин. Сочинения. Переписка. Под редакцией В. И. Саитова, т. III. Изд. Академии наук, СПб., 1911, стр. 319—325.

⁶⁶ Л. А. Мандрыкина и Т. Г. Цявловская. Распространение вольнолюбивых стихов Пушкина Кавериним и Щербининим. «Литературное наследство», т. 60, кн. I, стр. 392—403.

деления ими обнаружено дело «О показаниях подпрапорщика Курилова о слышанных им разговорах между майором Кавериним и г. Щербининым 1828 года». Доносчик, юнкер П. Ф. Курилов, привлеченный в 1827 году к следствию по делу тайного общества братьев Критских, сообщил о вольных разговорах, которые вели в его присутствии П. П. Каверин и М. А. Щербинин в августе 1825 года. Одним из серьезнейших пунктов доноса Курилова было чтение и распространение Кавериним и Щербининым «преступных» стихов Пушкина «Паситесь, дикие народы». Таким образом, опубликованное дело раскрывает политические настроения двух близких приятелей Пушкина в дни, предшествовавшие декабрьскому восстанию, и свидетельствует, что написанные в годы победы реакции над революционным движением в Европе стихи «Паситесь, мирные народы» служили делу революции, так как «до сознания читателей-современников дошла не безнадежность, которая продиктовала поэту эти стихи, а тот неумиравший дух свободы, который прорывается и сквозь видимое отчаяние» (стр. 403). Опубликованные документы позволяют пересмотреть установившееся ранее представление о Щербинине как о легкомысленном эпикурейце, которого не коснулся подъем политического сознания, охвативший передовую молодежь в преддекабрьскую пору.

7

Ряд работ 1956—1957 годов продолжает изучение языка Пушкина. В эти годы вышли из печати первые два тома словаря языка Пушкина, подготовленные коллективом сотрудников Института языкознания Академии наук СССР.⁶⁷ Научное и культурное значение подобного словаря было ясно еще в прошлом веке. К 70—80-м годам относится первая попытка составления словаря, но из этой попытки ничего не могло выйти, так как только в советское время было осуществлено Академическое издание сочинений Пушкина, содержащее полный, выверенный и критически установленный текст его сочинений. Словарь пушкинского языка, рассчитанный на четыре тома, будет незаменимым подспорьем для изучения русского литературного языка XIX века и для изучения словесно-художественного мастерства Пушкина. Очень жаль, что составители не расписали черновики Пушкина, и таким образом богатейшие залежи пушкинского языка остались за пределами словаря.

В 1956—1957 годах появилось несколько исследований по вопросам лексики, фразеологии⁶⁸ и синтаксиса языка Пушкина.⁶⁹ Значительный интерес представляет автореферат диссертации С. Е. Вайнтруба, исследую-

⁶⁷ Словарь языка Пушкина, т. I, А—Ж. Гос. изд. иностранных и национальных словарей, М., 1956; т. II, З—Н, 1957. См. рецензию Н. С. Ашукина — «Вопросы языкознания», 1958, № 4, стр. 136—137.

⁶⁸ В. В. Макаров. Об использовании неассимилированной иноязычной лексики в произведениях Пушкина. «Ученые записки Калининского государственного педагогического института», т. 19, вып. 2, 1957, стр. 99—114; З. Д. Цховребова. К вопросу о старославянизмах в поэзии А. С. Пушкина. В кн.: XVII научная сессия Сталинского государственного педагогического института. План работы и тезисы докладов. Сталинир, 1957, стр. 32—34; М. Т. Тагиев. Из наблюдений над языком поэзии А. С. Пушкина. «Ученые записки Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы имени М. Ф. Ахундова», вып. II, 1956, Баку, 1957, стр. 113—136.

⁶⁹ И. Гомонов. Морфологический состав предлогов и некоторые особенности предложного управления в языке прозаических произведений А. С. Пушкина. «Ученые записки Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова», вып. 4, 1957, стр. 175—198.

щего литературоведческие и языковедческие термины в критико-публицистической прозе Пушкина.⁷⁰ Это исследование углубляет наше представление о Пушкине как мыслителе-теоретике литературы и языка и тем самым способствует всестороннему освещению его художественных и лингвистических взглядов.

Из работ, исследующих язык Пушкина, следует назвать еще статью Н. П. Гринковой о языке «Бориса Годунова»,⁷¹ написанную со специальной целью — помочь учителю в его работе над языком художественных произведений в школе; статью Б. Л. Богородского о языке «Арапа Петра Великого»;⁷² работу В. Г. Васильева о языке «Бориса Годунова».⁷³

Вопрос о значении творчества Пушкина для литератур братских народов Советского Союза впервые поставлен и успешно разрабатывается советским литературоведением. Тема эта чрезвычайно многогранна, и разные ее стороны вырастают в самостоятельные области исследования. Подлежат специальному изучению переводы Пушкина на языки народов СССР и то значение, которое имели эти переводы для обогащения других языков и развития братских литератур; еще не изучены в достаточной степени вопросы личного общения Пушкина с поэтами, писателями и общественными деятелями нерусских народов России и др. Разработка всех этих задач ведется коллективными усилиями литературоведов всех советских республик.

Интересный и ценный материал об участии и месте Пушкина в русско-казахских литературных связях дает монография М. И. Фетисова.⁷⁴ Данные о личных связях Пушкина с Казахстаном во время поездки за материалами о Пугачеве, казахские слова в записных книжках Пушкина, свидетельствующие об общении его с казахским населением, дополняются подробным анализом материалов о жизни и литературе нерусских народов, в частности казахского народа, печатавшихся в «Литературной газете» (1830—1831).

Значению творчества Пушкина для классика казахской литературы Абая посвящена статья Б. Шалабаева.⁷⁵ Н. О. Шаракшинова напечатала обзор бурят-монгольских переводов Пушкина.⁷⁶ Ряд работ последних лет продолжает изучение связей Пушкина с народами Кавказа.⁷⁷ Заслуживает

⁷⁰ С. Е. Вайнтруб. Терминологическая лексика (литературоведческая и языковедческая) в критико-публицистической прозе А. С. Пушкина. Автореферат диссертации, Киев, 1956.

⁷¹ Н. П. Гринкова. О языке трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». В кн.: Изучение языка писателя. Под редакцией Н. П. Гринковой. Учпедгиз, Л., 1957, стр. 72—104.

⁷² Б. Л. Богородский. О языке и стиле романа А. С. Пушкина «Арап Петра Великого». «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена», т. 122, 1956, стр. 201—239.

⁷³ В. Г. Васильев. О языке «Бориса Годунова» А. С. Пушкина. «Ученые записки Магнитогорского государственного педагогического института», вып. 4, 1957, стр. 236—254.

⁷⁴ М. И. Фетисов. Литературные связи России и Казахстана. 30—50-е годы XIX века. Изд. Академии наук СССР, М., 1956.

⁷⁵ Б. Шалабаев. Об отношении казахского классика к великану русской литературы. В кн.: Сборник статей о казахской литературе, Казахгосиздат художественной литературы, Алма-Ата, 1957, стр. 43—54.

⁷⁶ Н. О. Шаракшинова. А. С. Пушкин в бурят-монгольских переводах. «Труды Иркутского государственного университета имени А. А. Жданова», т. XVI, вып. 3, 1957, стр. 142—148.

⁷⁷ Р. Ю. Гасанова. Связь Пушкина и Лермонтова с Азербайджаном. «Ученые записки Азербайджанского государственного университета имени С. М. Кирова», № 12, Баку, 1956, стр. 115—127 (на азербайджанском языке).

внимания работа Н. М. Лобиковой, которая рассматривает тему Кавказа в творчестве Пушкина.⁷⁸ Н. М. Лобикова выбрала такой аспект этой темы, который почти не затрагивался исследователями, а именно анализ пейзажных зарисовок Пушкина-романтика в ранних описаниях Кавказа и Пушкина-реалиста — в произведениях, созданных под впечатлением второй поездки на Кавказ. В статье правильно подмечена переключка мотивов, сюжетных ситуаций и тем в юном и зрелом творчестве поэта, стремление к верному воспроизведению конкретных географических примет в пушкинских описаниях, по которым можно безошибочно указать географический пункт, изображенный поэтом. Вместе с тем описания в творчестве Пушкина-реалиста лишены эмоциональности «Кавказского пленника», и яркие, лирически окрашенные пейзажи юного Пушкина сменяются строгими и четкими рисунками в пушкинском реалистическом очерке или в реалистических стихотворениях. Н. М. Лобиковой следовало бы еще больше развить и углубить эту тему, интересную и плодотворную для изучения поздней пушкинской лирики и описательной прозы, не задерживая внимания на анализе характера героя «Кавказского пленника», тем более, что этот анализ повторяет основные положения работы Б. В. Томашевского.

Молдавским отношениям Пушкина и молдавской тематике в его творчестве посвящена диссертация Б. А. Трубецкого.⁷⁹

В исследованиях, посвященных произведениям Пушкина, почерпнутым из жизни нерусских народов России, значительное место принадлежит выявлению их фольклорно-этнографических источников. Интересный опыт анализа имен героев второй кавказской поэмы Пушкина сделала Э. Г. Османова.⁸⁰ Она доказала, что имя Тазит, не являющееся традиционным для народов Кавказа, происходит от персидского слова «тазе», т. е. новый, свежий. Это же значение слово «тазе» имеет и в азербайджанском языке. Имя Гасуб обозначает «захватчик», «узурпатор». Таким образом, Пушкин вложил в имена героев поэмы определенный социально-этический смысл, соответствующий основной теме произведения: показать сложную борьбу нового со старым в условиях кавказской действительности 20-х годов XIX века.

Интересные данные о воздействии Пушкина на чешскую литературу содержатся в статье профессора Пражского университета Ю. Доланского «Пушкин и чешская культура».⁸¹ Доланский пишет: «Более ста лет известно в Чехии имя Александра Сергеевича Пушкина, более ста десяти переводчиков создали за эти годы около трехсот неоднократно переиздававшихся переводов его произведений на чешский язык. О Пушкине напечатано более двухсот семидесяти статей и исследований в чешских книгах и бесчисленное множество статей в газетах. Более ста чешских ученых посвящали ему свои исследования» (стр. 51).

Темой нескольких работ являются места, связанные с жизнью и творчеством Пушкина. Пребыванию Пушкина в Тверской губернии посвящена

⁷⁸ Н. М. Лобикова. Кавказ в творчестве Пушкина. «Ученые записки Кабардино-Балкарского государственного педагогического института», вып. 13, Нальчик, 1957, стр. 283—300.

⁷⁹ Б. А. Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Автореферат диссертации, Черновцы, 1957. Диссертация развивает и расширяет наблюдения книжки Б. А. Трубецкого «Пушкин в Молдавии» (изд. 2, Молдавгиз, Кишинев, 1954).

⁸⁰ Э. Г. Османова. О «Тазите» А. С. Пушкина. «Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института», т. XI, Нальчик, 1957, стр. 425—427.

⁸¹ «Славяне», 1957, № 7, стр. 46—51; ср. более подробную статью того же автора «Пушкин в истории чешской культуры» в книге: Пушкин. Исследования и материалы, т. II, стр. 419—432.

одна из глав краеведческого труда Н. П. Павлова «Русские писатели в нашем крае».⁸² Забытый эпизод о ночлеге Пушкина в станице Славянской на Кубани у атамана Семена Богданова, подарившего Пушкину свой кинжал, рассказывает Б. Шляев⁸³ по малоизвестным воспоминаниям Н. Кузьмийского. В. Шадури исследует причины поездки Пушкина на Кавказ в 1829 году.⁸⁴

В 1956—1957 годах оживилась издательская деятельность Всесоюзного музея А. С. Пушкина (Ленинград) — крупнейшего хранилища иконографических, мемориальных, историко-документальных и изобразительных материалов, связанных с жизнью и творчеством великого русского поэта. Издан каталог музея, в который включены все материалы, представленные в его основной экспозиции.⁸⁵ В специальных памятках, составленных сотрудниками музея, приводятся основные сведения о его филиалах: Музее-квартире А. С. Пушкина в Ленинграде и Лицее в городе Пушкине.⁸⁶ Вышло новое, пересмотренное издание книги А. М. Гордина о Пушкинском заповеднике.⁸⁷ Государственный музей Татарской АССР издал памятку о местах, связанных с пребыванием Пушкина в Казани.⁸⁸

Наконец, укажем значительное количество работ, посвященных методике изучения творчества Пушкина в средней школе. Здесь прежде всего следует назвать обширное методическое руководство К. П. Лахостского и В. Ф. Фроловой «Пушкин в школе».⁸⁹ Монография обнимает все вопросы, касающиеся изучения Пушкина в пятых—седьмых классах (на уроках литературного чтения) и в восьмом классе (в курсе литературы). Это тем более важно, что методических работ подобной полноты у нас до сих пор не было, в особенности для курса восьмого класса. Преподаватели пятых—седьмых классов могли в значительной мере удовлетворяться коллективным методическим пособием, неоднократно издававшимся Академией педагогических наук РСФСР «Литературное чтение в школе» под редакцией В. В. Голубкова. Но оно при многих своих достоинствах по необходимости излагает каждую тему очень сжато. Методического пособия для преподавателей старших классов не было совсем. Следует пожалеть, что в монографии К. П. Лахостского и В. Ф. Фроловой не разработан специально вопрос о повторении Пушкина в десятом классе — вопрос, часто затрудняющий учителей. Книга состоит из двух частей: «Изучение Пушкина в курсе литературного чтения» (автор В. Ф. Фролова) и «Изучение жизни и творчества Пушкина в восьмом классе» (автор К. П. Лахостский). В первой части работы несомненно удачны и ценны разборы отдельных произведений, но, к сожалению, они рассматриваются вне связи со всем курсом литературного чтения данного класса. Во второй части особенное внимание обращено на лирику. Это нужно всячески приветство-

⁸² Н. П. Павлов. Русские писатели в нашем крае. Книжн. изд., Калинин, 1956, стр. 18—25.

⁸³ Б. Шляев. Пушкин на Кубани. Альманах «Кубань», № 18, Краснодар, 1957, стр. 215—218.

⁸⁴ В. Шадури. О причинах поездки А. С. Пушкина в Закавказье в 1829 году. «Труды Тбилисского государственного университета имени Сталина», т. 67, 1957, стр. 291—297.

⁸⁵ Всесоюзный музей А. С. Пушкина. Каталог. Изд. «Искусство», Л.—М., 1957.

⁸⁶ Е. В. Фрейдель. Музей-квартира А. С. Пушкина. Лениздат, Л., 1956; В. К. Зажурило. Лицей. Лениздат, Л., 1956.

⁸⁷ А. Гордин. Пушкинский заповедник. Изд. «Искусство», М., 1956.

⁸⁸ В. В. Егерев. Дома, связанные с пребыванием А. С. Пушкина в Казани, Казань, 1956.

⁸⁹ К. П. Лахостский и В. Ф. Фролова. Пушкин в школе. Пособие для учителя. Учпедгиз, Л., 1956. Второе издание вышло в 1959 году.

вать, ибо, по справедливому замечанию автора, «изучение лирического произведения в школе едва ли не самая трудная часть практической методики литературы» (стр. 130). Несомненно правильно поступил К. П. Лахостский, предложив включить лирические стихотворения в раздел биографии и изучать их в исторической последовательности, а не по искусственным тематическим группам, как предлагает программа. Это очень ценное предложение, и оно вносит много нового и полезного в преподавание творчества Пушкина, так как Пушкин принадлежит к числу тех писателей, чье творчество теснейшим образом связано с биографией. Этапы его творческого развития соответствуют этапам его жизненного пути.

Пособие, разработанное К. П. Лахостским и В. Ф. Фроловой, вызвало несколько откликов в печати. На одном из них, носящем грозное название «Против рецидивов вульгарного социологизма в преподавании литературы в школе»,⁹⁰ необходимо остановиться, хотя он и выходит за хронологические рамки нашего обзора.

В. Ф. Фролова, разъясняя школьникам облик крепостных в повести Пушкина «Дубровский», особенно обращает внимание на «остроту характеристики возвращенных крепостным правом крестьян Троекурова в первой главе» (стр. 95). В качестве одного из примеров «разлагающего влияния на людей» крепостного строя Фролова приводит сцену на псарне и реплику псаля Парамошки старику Дубровскому. В данном случае речь идет не вообще о крепостных Троекурова, которым жилось у барина «хуже собак», а о дворовых, поставленных в особое положение по сравнению с другими крестьянами, стремящихся лестью и угодничеством войти в милость к барину и относящихся с презрением к «грязной» крестьянской работе. И великий выразитель антикрепостнических идей Пушкин видит в этом проявление искаленности рабским положением нравственного облика дворовых. В конфликте между представителями двух слоев русского дворянства — представителем «новой знати» Троекуровым и выходящим из старинного, но обедневшего рода Дубровским — сочувствие Пушкина также безусловно на стороне последнего. М. И. Мальцев же обвиняет В. Ф. Фролову в том, что она будто бы «выступает... в роли апологета дворянской спеси А. Г. Дубровского, оскорбленного крепостными Троекурова», и осуждает псаля Парамошку «за остроумную реплику, не понравившуюся спесивому помещику»; сам Мальцев в этой сцене между Парамошкой и Дубровским видит «смелость» крепостного, «вступившего в спор с барином» (стр. 110). Подобное игнорирование дифференциации отношений Пушкина к различным группам внутри одного класса отзывается прямолинейностью, свойственной когда-то вульгарному социологизму. Очевидно, обвинение, которое автор рецензии предъявляет В. Ф. Фроловой, касается прежде всего самого рецензента.

Кроме книги К. П. Лахостского и В. Ф. Фроловой, статьи по отдельным вопросам изучения Пушкина в школе содержатся в периодических изданиях, преимущественно в журнале «Литература в школе» и в «Ученых записках» педагогических институтов.⁹¹

⁹⁰ М. И. Мальцев. Против рецидивов вульгарного социологизма в преподавании литературы в школе. «Ученые записки Чувашского государственного педагогического института имени И. Я. Яковлева», вып. VI, Чебоксары, 1958, стр. 109—116.

⁹¹ См.: Н. М. Архипова. Изучение лирики А. С. Пушкина в 8-м классе (Стихотворение «19 октября 1825 года»). «Ученые записки Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина», т. 105, вып. 3, 1957, стр. 135—143; Л. К. Богомолова. Комментированное чтение первых глав романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена», т. 146, 1957, стр. 177—196; Е. Н. Домбровская и А. Д. Некрасова. Изучение романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»

Какие же общие заключения можно сделать из этого пестрого обзора литературы о Пушкине за два года?

Прежде всего нужно отметить, что интерес и внимание советских литературоведов к жизни и творчеству великого поэта не затухают, но, пожалуй, всё повышаются и углубляются. Казалось бы, взлет пушкинской литературы, наблюдавшийся в 1949 году в связи с юбилеем поэта, должен был смениться некоторым спадом в ожидании следующей памятной даты. Но этого нет — пушкиноведение выходит за рамки юбилеев и становится одной из наиболее разрабатываемых литературоведческих дисциплин.

В 1956—1957 годах вышли два таких капитальных труда, как монографии Б. В. Томашевского и Г. А. Гуковского, и мы можем лишь горько сетовать о том, что их авторов уже нет и что эти замечательные, каждая по-своему, книги никогда не будут закончены.

Как положительное явление следует расценивать и обилие статей о Пушкине в «Ученых записках» университетов и педагогических институтов, часто расположенных в самых дальних краях нашей великой Родины. Многие из этих работ интересны и свежи, касаются новых, еще недостаточно изученных вопросов, поднимают новые проблемы, вводят новые, неизвестные материалы.

В последние годы расширяется изучение вопроса о значении и распространении творчества Пушкина среди народов Советского Союза и за рубежом, а также художественной системы Пушкина, его стиля и языка. Всё это явления положительные. Но это не значит, что всё в пушкиноведении обстоит благополучно.

Прежде всего по-прежнему мало у нас обобщений, систематических и монографических исследований. В этом отношении хуже всего дело обстоит в таких областях, как лирическое творчество Пушкина и особенно лирика 30-х годов, пушкинская проза, художественная и критическая, вопросы мировоззрения Пушкина в последние годы жизни, нет монографии об отношении Пушкина к движению декабристов, нет монографических исследований о многих крупнейших его произведениях начиная с «Евгения Онегина» и пр. и пр.

Многие из работ, рассмотренных нами, носят компилятивный характер, повторяют общеизвестные сведения и отличаются беспомощностью научного анализа. В частности, несмотря на значительное количество статей, посвященных «Евгению Онегину», ряд проблем в романе остается не только не разрешенным, но на глазах запутывается (например, декабристская тема), творческая история романа принимает искаженные, произвольные формы, и это дает повод к самым фантастическим заключениям. Наблюдаются порою рецидивы вульгарного социологизма, сочетающегося с субъективизмом (напомним статьи М. И. Мальцева), наконец, большим

в VIII классе. «Литература в школе», 1956, № 6, стр. 17—33; В. В. Дондошанская. Урок по стихотворению А. С. Пушкина «Послание в Сибирь» в VI классе. «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена», т. 146, стр. 247—256; Б. О. Корман, М. И. Николаина. Об изучении образа автора в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в VIII классе средней школы. «Ученые записки Борисоглебского государственного педагогического института», вып. III, 1957, стр. 35—55; К. П. Лахостский. Стихотворение А. С. Пушкина «Вновь я посетил» (К вопросу об изучении лирики поэта в 8-м классе). «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена», т. 114, 1956, стр. 127—143; О. П. Руфанова. Урок по четвертой главе «Сказки о мертвой царевне» А. С. Пушкина в V классе. «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена», т. 146, стр. 239—246.

злом является хаотичность, бессистемность изучения, ведущая к дублированию и повторениям, к напрасной растрате сил и к измельчению тематики.

Все эти недочеты зависят главным образом от двух причин: во-первых, до сих пор не было объединяющего центра пушкиноведения, авторитетного для всего Союза, который регулировал бы, направлял разрозненные усилия многих работников; создание Пушкинского сектора в Институте русской литературы и Пушкинской комиссии при Отделении литературы и языка Академии наук СССР будут способствовать устранению недостатков в работе; во-вторых, всё еще нет обещанных еще в 1937 году в предисловии к первому тому большого Академического издания комментариев монографического типа даже к важнейшим произведениям Пушкина, где бы даны были незабываемые, строго и полно аргументированные справки по истории текста и создания, датировке каждого произведения, его критически выверенная и обоснованная интерпретация, анализ его общественно-политического, философского, эстетического смысла — вплоть до реального комментария к его содержанию. Наличие таких монографических научных истолкований всех, крупных и мелких, единиц творчества Пушкина остерегло бы многих исследователей от непродуманных построений и поспешных выводов.

С другой стороны, быстрое и полное библиографирование литературы о Пушкине, как текущей, так и более ранней, с 1918 года, предохранило бы иных исследователей от открытия давно открытых Америк и заставило бы критически проверять свои собственные построения и домыслы.

Значительно помогло бы исследователям и завершение «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина», без которой невозможно создание подлинно научной биографии Пушкина.

Х Р О Н И К А





ДЕВЯТАЯ И ДЕСЯТАЯ ВСЕСОЮЗНЫЕ ПУШКИНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

6—8 июня 1957 года проводилась Девятая Всесоюзная Пушкинская конференция.¹ Тема конференции — «Петербург в творчестве Пушкина» — была связана с празднованием 250-летия со дня основания Петербурга—Ленинграда. Это была последняя конференция, в которой принимал участие Борис Викторович Томашевский. При открытии ее он произнес вступительное слово, где определил тему конференции и значение этой темы в жизни и творчестве поэта. Речь Б. В. Томашевского, ставшая его последним публичным выступлением, напечатана выше по стенограмме заседания.²

В докладе Н. К. Пиксанова «Пушкин и петербургская беднота» было прослежено отношение поэта к «маленьким людям». Впервые Пушкин коснулся темы городской бедноты еще в своем раннем стихотворении «Лицинию». В произведениях, связанных с Петербургом, — «Домик в Коломне», «Пиковая дама», «Медный всадник» — видно, как сочувственно поэт относился к бедноте, как задушевно говорил он об обитателях Коломны, о жителях Петербурга, пострадавших от наводнения. Но всё же, несмотря на все бедствия, связанные с наводнением, несмотря на всё свое сочувствие к разоренным беднякам, Пушкин считал, что строительство Петербурга было исторически закономерно.³

О дневниках Пушкина 1833—1835 годов сделал доклад А. В. Предтеченский. Дневники поэта — интереснейшие бытовые документы. Пушкин писал их не для читателей, а для себя, именно как *дневники*, в которых отражены отдельные мысли поэта, различные события и мелочи повседневной светской петербургской жизни; не следует, по мнению докладчика, искать в них определенной направленности и какой-либо общественно-политической цели, подбора фактов: их интерес — именно в их непосредственности.

С докладом «Образ поэта в творчестве Пушкина 30-х годов» выступил Б. С. Мейлах. Тема поэта является одной из центральных тем в творчестве Пушкина. В произведениях «Румяный критик мой...», «Домик в Коломне», «Моцарт и Сальери» высказаны взгляды Пушкина на взаимоотношения поэта и народа. Поэт уже не просто сочувствует народу, но сам представляет народные интересы. Так, например, в стихотворении «Румяный кригик мой...» оценка действительности дана с точки зрения бедного крестьянина. В поэме «Моцарт и Сальери» проведена мысль о том, что творец должен быть человеком высокой нравственной чистоты, одушевленным любовью к жизни и людям. Этот идеал воплощен в образе Моцарта.

Д. Д. Благой в докладе «Об одном из циклов лирики Пушкина второй половины 20-х годов XIX века» показал, как постепенно от глубоко пессимистических настроений, связанных с разгромом декабрьского восстания, творчество Пушкина приобретало к концу 20-х годов всё более оптимистическое звучание.⁴

В докладе о «Медном всаднике» П. А. Мезенцев говорил о двойственности образов Петра и Евгения. Во «Вступлении» Петр — представитель народа, заботящийся только о пользе России, в сцене наводнения он далекий от народа кумир, страшный символ самодержавной власти. Евгений — маленький и незаметный чиновник в начале поэмы, во время наводнения вырастает в протестующую личность, несущую в себе идеи гуманизма и борьбы за справедливость.⁵

¹ См.: «Вестник Академии наук СССР», 1957, № 8, стр. 85—87; «Вечерний Ленинград», 1957, 6 и 8 июня.

² См. стр. 37—45.

³ Доклад напечатан в настоящем сборнике; см. стр. 174—192.

⁴ См.: Д. Д. Благой. Трагедия и ее разрешение. «Вопросы литературы», 1957, № 1, стр. 118—143.

⁵ См.: П. Мезенцев. Поэма Пушкина «Медный всадник» (К вопросу об идейном содержании). «Русская литература», 1958, № 2, стр. 57—68.

Доклад М. П. Соколова на тему «Пушкин и архитектура его времени» был посвящен истории строительства Петербурга от петровских времен до 30-х годов XIX века и картине города, каким знал его Пушкин.

Б. П. Городецкий сообщил отрывки из своего труда о публицистическом произведении Пушкина, условно называемом «Путешествие из Москвы в Петербург». В более полном виде работа Б. П. Городецкого напечатана выше.⁶

Десятая Всесоюзная Пушкинская конференция проводилась 4—6 июня 1958 года.⁷ Доклады конференции, кроме двух первых, освещающих некоторые общие проблемы пушкиноведения, были посвящены вопросам взаимодействия творчества Пушкина с литературами и фольклором славянских стран. Таким образом, тематика конференции была связана с предстоявшим в сентябре 1958 года IV Международным съездом славистов, и ее работа явилась своеобразным подступом к будущей работе съезда.

Конференция открылась докладом М. П. Алексеева «Пушкин и проблема „вечного мира“». Отметим исключительную важность и современность темы как для пушкинского времени, так и для наших дней, М. П. Алексеев напомнил текст заметок Пушкина о «вечном мире», впервые напечатанный и прокомментированный в 1930 году Б. В. Томашевским.

Охарактеризовав историческую обстановку, при которой Пушкин писал свои заметки, и важное значение проблемы «вечного мира» для декабристов, рассмотрев возможный в то время круг чтения поэта и предметы его споров с членами кишиневской ячейки Союза благоденствия, М. П. Алексеев указал некоторые, не принимавшиеся ранее во внимание литературные источники заметок Пушкина. Одним из таких источников, помимо замечаний Ж.-Ж. Руссо на книгу Сен-Пьера, могла быть книга Жозефа де Местра «Петербургские вечера», вышедшая в свет в июле 1821 года, т. е. за несколько месяцев до записей Пушкина о «вечном мире», относящихся к октябрю того же года.⁸

В. Ф. Асмус сделал доклад на тему «Пушкин и теория реализма». Достойным предметом художественного изображения Пушкин считал крупные явления народной жизни, а одним из важнейших вопросов реалистической эстетики — вопрос об эстетической норме правдоподобия. В своих суждениях об условиях и признаках реалистического правдоподобия Пушкин приблизился к взгляду на реализм как на творческий метод, изображающий типические характеры в типических обстоятельствах. При этом заслуживает внимания развитие Пушкиным понятия «типического» (в дальнейшем на этой же конференции С. Е. Вайнтриб сделал сообщение о том, что впервые слово «тип» как литературоведческий термин было применено не Белинским, как считалось до настоящего времени, а Пушкиным). Эстетика Пушкина не отрицает необходимости нормирования форм искусства. Форму Пушкин рассматривал как доведенное до совершенства выражение мысли и чувства.⁹

После этих двух докладов, трактующих общие проблемы пушкиноведения, участникам конференции был предложен ряд докладов на темы, касающиеся связей творчества Пушкина с западным и южным славянством.

Теме, касающейся отношений Пушкина к славянскому фольклору, был посвящен доклад Ф. Я. Приймы «Из истории создания „Песен западных славян“». Докладчик дал подробный анализ славянской темы в творчестве Пушкина начиная с его юношеской поэмы «Руслан и Людмила». В кишиневский период жизни поэта источником его творческих раздумий и замыслов служила национально-освободительная борьба южных славян. Наиболее ранними произведениями, посвященными этой теме, являются стихотворения «Дочери Карагеоргия» (1820) и «Чиновник и поэт» (1821). В период михайловской ссылки славянская тема возникла у Пушкина в процессе работы над «Борисом Годуновым» (1825) при изучении им польских источников. Замысел «Песен западных славян» может быть отнесен к 1828 году.

Характеризуя известные Пушкину сборники славянских песен («Гюзла» П. Мериме и «Народные сербские песни» В. Караджича), докладчик отметил, что Пушкин в своей работе отдал предпочтение сборнику Мериме, из которого он перевел большинство песен своего цикла; однако изучение подлинных сербских песен, изданных Караджичем, помогло Пушкину глубже проникнуть в область сербского фольклора, лучше изучить и оценить поэтику народного творчества. Нередко славянская и русская темы содейство-

⁶ См. стр. 218—267.

⁷ См.: «Вестник Академии наук СССР», 1958, № 8, стр. 134—135; «Русская литература», 1958, № 3, стр. 257—259.

⁸ См.: М. Алексеев. Пушкин и проблема «вечного мира». «Русская литература», 1958, № 3, стр. 3—39.

⁹ См.: В. Асмус. Пушкин и теория реализма. «Русская литература», 1958, № 3, стр. 89—101.

вали взаимному развитию в творчестве Пушкина; так, например, «Сказка о рыбаке и рыбке» родилась из песни, первоначально задуманной для цикла «Песни западных славян», а «Яныш Королевич» — из незаконченной драмы «Русалка».

Национально-освободительная борьба южных славян, свидетелем которой Пушкин был во время кишиневской ссылки, оказала большое влияние на развитие и совершенствование его реализма и историзма.

Доклад Д. Д. Благого «Песня о Георгии Черном» явился развитием одной из тем, затронутых в докладе Ф. Я. Приймий. Вождю национально-освободительного движения Сербии Георгию Черному (Карагеоргию) Пушкин посвятил два стихотворения. Кроме того, известен неосуществленный замысел поэта написать еще одну песню в манере «Песен западных славян», о гибели Георгия («Менко Вуич грамоту пишет»). Первое стихотворение, «Дочери Карагеоргия», написано в 1820 году, второе — «Песня о Георгии Черном» — в 1834-м. Основным источником этих стихотворений была книга Д. Н. Бантыша-Каменского «Путешествие по Молдавии, Сербии и Валахии» (1810), на что впервые указал в 1956 году английский литературовед Джонсон. При сопоставлении указанных стихотворений видно, как изменялся творческий метод Пушкина от сугубо романтического в стихотворении «Дочери Карагеоргия» до зрело реалистического в «Песне о Георгии Черном».

Если в раннем периоде Пушкин романтизировал то, что нашел у Бантыша-Каменского, то в 30-е годы его интересует фактическая сторона. Он дает в «Песне» почти дословное переложение истории своего героя, рассказанной Бантышом-Каменским. Однако у Пушкина это настоящая народная песня, с песенным зачином, с троекратным повторением диалога и другими характерными для народного творчества приемами.

Пушкин никогда не считал, что народность выражается в пересказе произведений народного творчества. Его «Песни западных славян» или «Песни о Стеньке Разине» — не стилизация, а произведения, проникнутые духом народного творчества, хотя они написаны не коллективным творцом — народом, а самим Пушкиным. Поэту было свойственно исключительное освоение народного духа и проникновение в глубину народной психологии. В «Песне о Георгии Черном» это сказалось с наибольшей полнотой.

Доклад Е. М. Двойченко-Марковой был посвящен теме «Пушкин и румынский фольклор». Впервые произведения народного творчества Молдавии появились в русской печати в литературной обработке Пушкина: «Черная шаль» — в 1821 году и «Цыганская песня» (или «Песня Земфиров») — в 1825 году, между тем как первый сборник румынских народных песен был опубликован только в 1852—1853 годах.

Пушкин проявлял большой интерес к истории молдавского народа. Он записал со слов гетеристов два молдавских исторических предания: «Дука» и «Дафна и Дабижа». Это первая известная нам запись молдавского предания в истории изучения румынской исторической литературы. Внимание же Пушкина к народной валахской песне о Тудоре Владимиреску свидетельствует о его раннем интересе к теме народных восстаний и к образам их вождей, отраженным в народном творчестве.¹⁰

Исследования о Пушкине и румынском фольклоре ставят перед пушкинистами некоторые еще не разрешенные проблемы, из которых наиболее значительными являются: разыскание оригиналов песен, легших в основу стихотворения «Черная шаль» и первоначального зачина «Братьев разбойников», и песни, из которой вьют эпиграф к «Цыганам»; выяснение вопроса о том, какое молдавское предание вспоминается в рассказе старого цыгана об Овидии; более полное освещение источников, из которых Пушкин черпал в Бессарабии сведения о народном творчестве Молдавии и Валахии.

И. Н. Голенищев-Кутузов посвятил свое выступление теме «Пушкин в современных югославских переводах». Знакомство с Пушкиным хорватов, сербов и словенцев началось в последние годы жизни поэта. Но для хорошего перевода понадобилась длительная эволюция хорватской, сербской и словенской переводческой традиции и развитие их просодии. Первые переводы Пушкина в XIX веке были выполнены в хорейском размере. Это обусловлено тем, что в сербском языке преобладают ударения на первом слоге слов и его, таким образом, можно назвать языком хорейским. На последний слог в многосложных словах ударение никогда не падает. Отсюда следует, что сербо-хорватский стих должен был быть выработан как особый, литературный. Не свойственный народному языку размер. Ямб возник в результате постепенных усилий многих поколений сербо-хорватских литераторов, главным образом в конце прошлого и в начале нынешнего века. История сербо-хорватского ямба теснейшим образом связана с переводами Пушкина. Однако в Югославии Пушкин ценится не только как мастер слова. Пушкин стал учителем жизни, поэтом, указывающим на вечно живые истоки народного творчества. Известно, как медленно меняются законы ритмики и поэтики, и если пушкинский стих помог образованию югославского ямба, то это говорит о чрезвычайно глубоком и творческом влиянии поэзии Пушкина на югославскую литературу.

¹⁰ Эту часть доклада, в расширенном виде, см. выше, стр. 402—417.

«„Евгений Онегин“ Пушкина и славянские литературы» — так назывался доклад Н. И. Кравцова (Тамбов). В начале XIX века, в период национального возрождения славянских стран, происходил процесс роста национального самосознания, формирования национальной культуры и культурного сближения славянских народов. Этому во многом способствовал Пушкин, исключительная популярность которого в славянских странах выдвинула его как первого общеславянского писателя, творчество его послужило к объединению славянских литератур.

Роман Пушкина «Евгений Онегин» обогащал культуру художественного слова славянских народов. В различные эпохи роль романа была различна. Схематически излагая этот вопрос, можно говорить о трех периодах: первая половина XIX века — начало национального возрождения славянских стран, вторая половина XIX века — установление капитализма в этих странах, начало XX века — время войн и революций.

В первый период восприятие романа Пушкина было связано с господствовавшими тогда национальными идеями. В романе в это время особенно ценились его самобытность, картины народного быта, русские национальные типы, например образ Татьяны. Для славянских читателей Татьяна воплощала лучшие черты славянской женщины.

Во второй период роман особенно высоко ценился за то, что он отражал рост русского общества, развитие критического начала и социальных идей.

В третий период, в эпоху подъема демократических идей, важны были другие качества романа Пушкина: многосторонность, раскрытие социально-психологических основ поведения героев, критика общественных порядков, изображение идейной жизни своего времени.

Значение романа в разных славянских странах было неодинаково. В Чехии и Словакии роман оказал большее влияние, чем, например, в Сербии и Хорватии.

Конференция закончилась рядом выступлений участников из различных городов Советского Союза (Москвы, Кишинева, Каменец-Подольска) и обсуждением прослушанных докладов.

Е. М. Хмелевская

СЕКТОР ПУШКИНОВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В январе 1957 года начал работу Сектор пушкиноведения, организованный в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) по постановлению Отделения литературы и языка Академии наук СССР.

Первым заведующим Сектором пушкиноведения был избран Борис Викторович Томашевский. Он приступил к работе, полный широких организационно-творческих планов, подготовил и провел Девятую Всесоюзную Пушкинскую конференцию, но безвременная смерть 24 августа 1957 года не дала ему даже начать те большие пушкиноведческие мероприятия, о которых он думал. Память его была почтена на заседании Ученого совета Института совместно с Сектором пушкиноведения 3 октября 1957 года. На нем после вступительного слова В. Г. Базанова выступили Н. В. Измайлов с докладом «Б. В. Томашевский как исследователь Пушкина»,¹ Б. М. Эйхенбаум, сделавший доклад на тему «Б. В. Томашевский как стиховед», и С. М. Бонди, произнесший речь памяти Б. В. Томашевского — человека и ученого — от имени московских пушкинистов.

После этой тяжелой утраты, глубоко отразившейся на деятельности Сектора пушкиноведения, обязанности заведующего Сектором временно взял на себя М. П. Алексеев.

Основной задачей Сектора является объединение пушкиноведческих сил Советского Союза для всестороннего изучения жизни и творчества А. С. Пушкина, истолкования и популяризации его творчества. В соответствии с этими задачами строится работа Сектора и определяются ее перспективы. Основное место в перспективном плане научно-исследовательских работ занимает подготовка и издание коллективных трудов, сборников теоретических статей, посвященных итогам и проблемам пушкиноведения, и монографий на важнейшие малоизученные темы. Все работы, которые сейчас ведутся в Секторе, в той или иной форме готовят почву для этих исследований.

Основой, на которой разворачивается работа Сектора, послужили пушкиноведческие ячейки, ранее существовавшие в Институте. Здесь следует прежде всего назвать исследование и описание пушкинских рукописей, первый том которого вышел в свет в 1937 году. С тех пор пушкинский рукописный фонд Института увеличился более чем в два раза и перед Сектором стоит задача завершить его описание. Эта работа ведется совместно с Рукописным отделом.

Другая серьезная задача Сектора — составление библиографии произведений А. С. Пушкина и литературы о нем.²

¹ См. выше, стр. 5—24.

² О библиографических работах, ведущихся в Секторе, см. выше, в обзоре Я. Л. Левкович, стр. 472—473.

С созданием Сектора к нему отошли также задачи издания пушкинских сборников и организации ежегодных пушкинских конференций. Сборники «Пушкин. Исследования и материалы» являются серийным изданием, объединяющим советских и зарубежных пушкинистов. Настоящий третий том — первый сборник, подготовленный и изданный после образования Сектора.

За время существования Сектора им организованы и проведены две Всесоюзные Пушкинские конференции — Девятая и Десятая. Сообщения о конференциях опубликованы в газетах, отчеты — в периодических изданиях Академии наук СССР и в настоящем томе сборника.

Помимо этого, Сектор начал ряд новых работ. Из них в первую очередь следует назвать монографические изучения малонисследованных проблем пушкиноведения, начатые в 1957 году. Доктор филологических наук Б. П. Городецкий работает над монографией «Лирика Пушкина» (завершение в 1960 году); «Художественное мышление Пушкина» — исследование доктора филологических наук Б. С. Мейлаха (завершение в 1960 году). В 1958 году Сектор пушкиноведения совместно с Сектором по изучению взаимосвязей русской и зарубежных литератур и с Рукописным отделом начал работу по подготовке текстов и комментированию переписки членов семейства Карамзиных 1836—первой половины 1837 года. Извлечения из этих писем были напечатаны И. Л. Андрониковым в журнале «Новый мир» (1956, № 1). Теперь готовится новое издание писем в подлинниках на французском языке, с переводами и комментариями. Работа должна выйти в свет в 1960 году.

За время, прошедшее с момента основания Сектора до мая 1958 года, им проведен ряд научных заседаний с докладами, посвященными изучению жизни и творчества А. С. Пушкина и его окружения.

Первое заседание Сектора состоялось 19 марта 1957 года. О задачах Сектора и перспективах его работы сообщил заведующий сектором Б. В. Томашевский. С докладом «Пушкин и развитие русской повести в начале 30-х годов XIX века» выступил аспирант А. С. Сидяков.³

На следующем заседании Сектора, 26 марта, с докладом выступил Б. В. Томашевский. Он прочел отрывок из второго тома своей монографии о Пушкине. Всестороннее истолкование получило в докладе стихотворение Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом». Остановившись на творческой истории стихотворения, Б. В. Томашевский дал подробный анализ его проблематики и связал с окружающими произведениями, показав, что стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом», выражая столкновение романтической и реалистической систем, замыкает собою в творчестве Пушкина романтический период. Помиче доклада, Б. В. Томашевский сделал сообщение о записях Пушкина в книге Юлии Крюднер «Valérie».⁴ В этих записях Б. В. Томашевский предполагает возможность своеобразной лирической переписки Пушкина — быть может, с А. П. Керн.

На заседании Сектора 9 апреля 1957 года О. С. Соловьева прочитала доклад на тему «Творческая история поэмы Пушкина „Медный всадник“».⁵

Сообщением Н. В. Измайлова, посвященным десятилетию со дня кончины известного пушкиниста Г. О. Винокура, открылось заседание 16 мая 1957 года. Преподаватель Киевской государственной консерватории А. Е. Шольц в докладе на тему «Проблема сюжета в опере П. И. Чайковского „Евгений Онегин“» осветила вопрос о соотношении либретто и музыки оперы Чайковского с романом Пушкина.

М. И. Гилельсон, выступивший с докладом 11 июня, сообщил о новых материалах из истории «Арзамасского братства». На основании ряда документов докладчик предложил раздвинуть принятые хронологические рамки существования общества от 1810 до 1825 года и осветил вопрос об участии в нем Вяземского и Пушкина. В тот же день было заслушано сообщение Г. Ф. Богача (Кишинев) «Источники предания об аккерманском варианте ссылки Овидия».

После летнего перерыва Сектор возобновил свою работу заседанием 4 октября, на котором с докладом «Трагедия Пушкина „Моцарт и Сальери“» выступил С. М. Бонди.

6 декабря Сектор заслушал доклад Т. Г. Цявловской на тему «Вопросы датирования произведений писателя (на материале творчества А. С. Пушкина)». На основе опыта коллектива, работавшего над большим Академическим собранием сочинений Пушкина, Т. Г. Цявловская разработала общие методы датирования произведений писа-

³ Часть этой работы напечатана выше (стр. 193—217).

⁴ См.: Б. Л. Модзалевский, Библиотека А. С. Пушкина (Библиографическое описание). «Пушкин и его современники», вып. IX—X, 1910, стр. 263, № 1052. Б. Л. Модзалевский считал пометы не пушкинскими.

⁵ Доклад этот в расширенном виде напечатан выше (стр. 268—344).

теля. За последние годы Т. Г. Цявловской удалось установить и уточнить датировки ряда произведений Пушкина 1820-х годов.

На следующем заседании, 13 декабря, Т. Г. Цявловская прочитала доклад «Из архивных разысканий 1957 года (Песня Пушкина для либретто оперы М. Ю. Виельгорского)». Новые архивные материалы, сообщенные в докладе, говорят о том, что вопреки существующим представлениям известное нам лишь в черновом наброске стихотворение «Колокольчики звенят» (1833) было несомненно завершено Пушкиным и известно его современникам, так как поэт написал его по заказу М. Ю. Виельгорского для либретто оперы «Цыгане (1812 год)».

Последнее в 1957 году заседание Сектора состоялось 27 декабря. На нем был заслушан доклад А. М. Ступеля «Лицейский учитель музыки и пения В. Теппер де Фергюсон».⁶

21 февраля 1958 года с докладом «„Влюбленный бес“ А. С. Пушкина» выступила Т. Г. Цявловская. Историю формирования замысла «Влюбленного беса» докладчица раскрыла на материале всего творчества Пушкина с учетом многочисленных рисунков поэта, связанных с этим замыслом. Доклад вызвал оживленные прения.⁷

Заседание 28 февраля началось с сообщения Б. С. Мейлаха «Книги Пушкина и о Пушкине в личной библиотеке В. И. Ленина (По неопубликованным данным)», представляющего результаты, пока еще неокончательные, работы автора в Институте марксизма-ленинизма, в Кремле и Горках. Затем Б. С. Мейлах сделал доклад об основных художественных принципах и творческом методе Пушкина на фоне литературного движения 30-х годов. Доклад Б. С. Мейлаха и аналогичный доклад Б. П. Городецкого, касающийся его монографии «Лирика Пушкина», который состоялся 8 апреля 1958 года, имеют тем большее значение, что впервые в практике Института Сектор обсудил монографии своих сотрудников в самом начале работы над ними, до написания даже первых глав.

21 марта Сектор заслушал доклад Е. М. Двойченко-Марковой «Пушкин и молдавский фольклор» и обсудил представленную на отзыв работу Н. Д. Мокшанина на тему «Исторические источники трагедии А. С. Пушкина „Борис Годунов“».

С докладом «Пушкин и Катенин» выступил 25 апреля А. П. Могилянский. Докладчик сделал попытку пересмотреть установленные взгляды на деятельность и мировоззрение П. А. Катенина и на ряд фактов общественно-литературной жизни 1810—1820-х годов. А. П. Могилянский привлек новые архивные документы, истолкование которых вызвало ряд замечаний присутствующих.

Подготовка к Десятой Всесоюзной Пушкинской конференции прервала текущую работу Сектора и его периодические заседания до осени 1958 года.

Н. Н. Петрунина

В ПУШКИНСКОЙ КОМИССИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Пушкинская комиссия Союза писателей СССР проводит ежегодные заседания, посвященные годовщине смерти поэта. Обзор заседаний, происшедших в 1949—1954 годах, был дан в первом томе настоящего сборника.¹

9 февраля 1955 года состоялось заседание Пушкинской комиссии, посвященное 118-й годовщине смерти Пушкина. Вступительное слово произнес И. А. Новиков. С докладом «Новые материалы о Пушкине (Тагильская находка)» выступил И. Л. Андроников.² Сообщение «Неопубликованный автограф Пушкина («К морю»)» сделала Т. Г. Цявловская.³

10 февраля 1956 года, в день 119-й годовщины смерти поэта, на заседании комиссии с докладом «О стихе Пушкина» выступил С. В. Шервинский. Сообщение «Несданый черновик Пушкина (Из «Заметок по русской истории XVIII века»)» прочел И. Л. Фейнберг.⁴

⁶ Доклад напечатан выше (стр. 362—377).

⁷ Доклад напечатан выше (стр. 101—130).

¹ Пушкин. Исследования и материалы, т. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 476—477.

² Опубликовано в «Новом мире», 1956, № 1, стр. 153—209.

³ Опубликовано в сборнике «Пушкин. Исследования и материалы», т. I, стр. 187—207

⁴ Опубликовано в «Вестнике Академии наук СССР», 1956, № 3, стр. 118—122.

9 февраля 1957 года состоялось заседание комиссии, посвященное 120-й годовщине смерти Пушкина. Вступительное слово сказал П. Г. Антокольский. Доклад «О лирике Пушкина второй половины 20-х годов» сделал Д. Д. Благой.⁵ С сообщением «Пушкин и семья Ушаковых» выступил Г. П. Шторм, огласивший переписанное рукой Елизаветы Ушаковой восьмистишие, принадлежащее, по мнению докладчика, А. С. Пушкину.⁶

11 ноября 1957 года состоялся вечер памяти М. А. Цявловского, организованный в связи с десятилетием со дня его смерти Пушкинской комиссией и Государственным литературным музеем. Доклад о жизни и деятельности М. А. Цявловского прочитал Л. П. Гроссман. С воспоминаниями о М. А. Цявловском выступили И. Л. Андроников, С. М. Бонди, Н. Н. Гусев, Н. В. Измайлов и И. Л. Фейнберг. В художественной части вечера приняли участие Д. Н. Журавлев и А. А. Егоров.

10 февраля 1958 года состоялось заседание комиссии, посвященное 121-й годовщине смерти поэта. «Слово о Пушкине» произнес Д. Д. Благой. С докладом «Исторические записи Пушкина (Цареубийство 11 марта 1801 года)» выступил И. Л. Фейнберг. А. А. Кулешов рассказал о переводах произведений Пушкина на белорусский язык и прочел отрывки из своего перевода романа «Евгений Онегин». С чтением стихов о Пушкине выступил П. Г. Антокольский.

И. Л. Фейнберг

В ПУШКИНСКОЙ ГРУППЕ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ¹

На очередном заседании Пушкинской группы 10 мая 1957 года состоялся доклад Ф. П. Гусаровой на тему «Материалы для биографии А. С. Пушкина в „Полярной звезде“ А. И. Герцена».²

Заседание Пушкинской группы 4 октября 1957 года было посвящено памяти выдающегося советского ученого-пушкиниста Бориса Викторовича Томашевского. После вступительного слова Б. П. Городецкого с докладом «Б. В. Томашевский — исследователь Пушкина» выступил Н. В. Измайлов и с докладом «Б. В. Томашевский — редактор Академического собрания сочинений Лермонтова» — Т. П. Голованова. О Б. В. Томашевском — научном руководителе молодых исследователей говорила Г. А. Лапкина; о необыкновенной разносторонности интересов и знаний Б. В. Томашевского — архитектор-художник Б. А. Альмединген.

На заседании 3 января 1958 года с докладом «Русская художественная культура в лирике Пушкина («Царскосельская статуя», «На статую играющего в свайку», «На статую играющего в бабки», «К вельможе»)» выступил Г. М. Кока. Этот доклад является частью большого исследования, в котором стихотворения Пушкина осмысляются и комментируются путем широкого привлечения фактов русской художественной культуры первой трети XIX века.

7 марта 1958 года на очередном заседании состоялся доклад Н. Н. Фокина «О памятных пушкинских местах Ленинграда (Топография пушкинского Петербурга)». Огромная по объему и тщательно выполненная работа Н. Н. Фокина выявляет и уточняет топографию свыше пятисот пушкинских мест Петербурга. Среди них места празднований лицейских годовщин 19 октября, место собраний общества «Зеленая лампа» и др. Так, на основании тщательно проверенных данных Н. Н. Фокин устанавливает, что собрания общества «Зеленая лампа» происходили не в доме № 39 по проспекту Римского-Корсакова (бывш. Екатерингофскому), ошибочно отмеченном мемориальной доской, а в доме № 35 по тому же проспекту. Н. Н. Фокиным составлена подробная карта пушкинского Петербурга.

Заседание 4 апреля 1958 года было посвящено докладу Н. И. Грановской на тему «История первых описаний и изображений пушкинских мест Псковской области». В центре доклада Н. И. Грановской — анализ альбома литографий «Галерея видов города Пскова и его окрестностей», выполненного и изданного в 1837—1838 годах псковским землемером И. С. Ивановым. Н. И. Грановская убедительно доказывает, что не только литографии, но и описания к ним выполнены самим Ивановым, причем опи-

⁵ Ср. выше — доклад Д. Д. Благого на Девятой Всесоюзной Пушкинской конференции, стр. 501.

⁶ См.: Г. Шторм. Незамеченные строки (Пушкин и Екатерина Ушакова). «Новый мир», 1957, № 3, стр. 268—276.

¹ См.: Пушкин. Исследования и материалы, т. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 477; т. II, 1958, стр. 472—473.

² Опубликован в «Ученых записках Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена», т. 150, вып. 2, 1957, стр. 47—81.

сания пушкинских мест — при консультации П. А. Осиповой. Интересно предположение, что на одной из литографий изображен в виде всадника сам Пушкин, на другой в карете — П. А. Осипова и ее близкие.

На основании материалов, собранных Н. И. Грановской, альбом литографий Иванова предстает первым жанровым изображением жизни Пушкина в Михайловском.

На заседании 9 мая 1958 года были заслушаны два сообщения Л. А. Черейского: «Пушкин и Айвазовский» и «Пушкин и поэт-крестьянин Слепушкин». В первом сообщении впервые собраны воедино все материалы, относящиеся к личным и творческим взаимоотношениям поэта и художника. Докладчик сопоставляет значение темы моря в творчестве Пушкина и Айвазовского.

Для раскрытия взаимоотношений Пушкина и поэта-крестьянина Ф. Н. Слепушкина Л. А. Черейский привлекает неопубликованную автобиографию Слепушкина и тетради с рукописями его стихотворений. В биографию Пушкина вводится новая дата — посещение его 3 марта 1830 года Слепушкиным, который поднес Пушкину свой сборник «Четыре времени года русского поселянина».

Н. В. Королева

НОВЫЙ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

19 июня 1957 года в Ленинграде на площади Искусств перед зданием Государственного Русского музея состоялось открытие памятника А. С. Пушкину, сооруженного скульптором М. К. Аникушиным и архитектором В. А. Петровым. Торжественное открытие памятника поэту, жизнь и творчество которого тесно связаны с Петербургом, было приурочено к празднованию 250-летия основания великого города на Неве.

Вступительную речь на торжественном митинге произнес заместитель председателя Ленгорисполкома А. А. Кузнецов, который под горячие аплодисменты многочисленных ленинградцев, собравшихся на площади, открыл памятник. На митинге с речами выступили писатель Д. Гранин, заместитель директора Института русской литературы (Пушкинский Дом) член-корреспондент Академии наук СССР М. П. Алексеев, художник И. А. Серебряный, директор Всесоюзного музея А. С. Пушкина М. М. Калаушин и рабочий Кировского завода Н. Д. Никитин. Торжественно прозвучали на площади строки пушкинского стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» в исполнении заслуженного артиста республики В. А. Ларионова. В заключение выступила студентка Ленинградского государственного университета С. Белокопытова, а ленинградские пионеры возложили к подножию памятника живые цветы.

Открытие памятника Пушкину, которого долгое время ждали с нетерпением ленинградцы, памятника, достойного и своего предмета и города, где он поставлен, явилось праздником нашей социалистической культуры. Об этом говорят многочисленные сообщения ленинградских, центральных и других газет, в особенности литературных и художественных, поместивших и изображения ленинградского памятника как одного из значительных произведений советской монументальной скульптуры.

Правительственное постановление о создании нового памятника Пушкину в Ленинграде было вынесено еще в 1936 году, перед столетием смерти поэта. 9 февраля 1937 года, когда Советская страна отмечала сотую годовщину смерти Пушкина, на стрелке Васильевского острова, получившей название Пушкинской площади, состоялась закладка памятника. В объявленном конкурсе приняли участие виднейшие советские скульпторы, среди которых были В. Домогацкий, В. Козлов, М. Манизер, Г. Мотовилов, С. Меркуров, И. Шадр, Л. Шервуд и др.

Лучшим проектом был признан проект известного скульптора И. Д. Шадра, которому и была поручена работа над моделью памятника. Проект, к которому после долгих поисков пришел скульптор, изображал Пушкина на простом постаменте; вместо фигуры, стоящей на высокой скале, с занесенной над головой рукою, как это было в первоначальном варианте, Шадр создал жизненно выразительный образ вдохновенного, сурового и непреклонного в творческом напряжении, как бы устремленного в будущее великого поэта. Болезнь и смерть Шадра прервали его работу над проектом памятника, обещавшего быть очень глубоким и выразительным.¹ Великая Отечественная война надолго остановила дело создания памятника.

Вскоре после войны был объявлен новый конкурс. Местом для будущего памятника была на этот раз избрана площадь Искусств, а не Пушкинская площадь, своими масштабами требовавшая памятника значительных размеров, который, стоя между симметрично

¹ О работе Шадра над памятником Пушкину см.: Ю. Колпинский, Иван Дмитриевич Шадр. Изд. «Искусство», М., 1954, стр. 78—88.

расположенными на стрелке Васильевского острова Ростральными колоннами, притом рассматривался бы как лишний компонент в большом архитектурном ансамбле. В 1949 году, в дни празднования 150-летия со дня рождения Пушкина, на площади Искусств был вновь заложен памятник поэту.

В послевоенном конкурсе, помимо ряда виднейших скульпторов, принимавших участие в первом конкурсе, участвовали и молодые ваятели М. Аникушин, Г. Косов, А. Корсигов. Обсуждение проектов привлекло не только искусствоведов, скульпторов и архитекторов, но и широкую советскую общественность. Конкурс проводился в Русском музее, Союзе художников, Музее городской скульптуры, где проекты памятника были выставлены для обозрения. Уже в начале конкурса лучшим проектом памятника Пушкину был признан проект М. К. Аникушина, подвергшийся затем длительному обсуждению. В третьем туре конкурса, состоявшемся в 1950 году, Городской архитектурный совет вынес решение, рекомендовавшее Ленгорисполкому для осуществления памятника именно этот проект — скульптора М. К. Аникушина и архитектора В. А. Петрова. Около восьми лет продолжалась работа авторов над монументом. За эти годы мастерскую Аникушина постоянно посещали ленинградцы, пристально и сочувственно наблюдавшие за воссозданием образа поэта; авторы памятника выступали с сообщениями о ходе своей работы перед ленинградской общественностью; в печати публиковались статьи и заметки, посвященные работе над памятником, помещались его фотографии. Специально образованная комиссия неоднократно собиралась для обсуждения разных вариантов модели будущего памятника, предназначенного стоять на одной из центральных и красивейших площадей города. Памятник был отлит из бронзы на ленинградском заводе «Монументскульптура». Высота фигуры 3 м 30 см, высота всего памятника с пьедесталом — 7 м 90 см. Пьедестал вырублен из красноватого гранита, добытого в Кар-Лахти под Ленинградом. По своей структуре этот гранит близок тому, которым «одеты» набережные Невы. На лицевой стороне гранитного пьедестала высечена покрытая золотом надпись: «Александр Сергеевич Пушкину».

Созданный скульптором М. К. Аникушиным образ поэта, полного творческих сил, является новой его трактовкой, не повторяющей других, предшествовавших скульптур: Пушкин изображен в движении, стремящимся вперед, и его стремление подчеркнуто откинутой правой рукой. Этот образ заслужил признание ленинградцев и многочисленных советских граждан, посетивших Ленинград и побывавших на площади Искусств.

М. К. Аникушин, помимо этого памятника, — автор ряда работ, посвященных образу Пушкина. Среди них — мраморная скульптура Пушкина, установленная в 1953 году в клубе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, и скульптура для станции «Пушкинская» Ленинградского метрополитена имени В. И. Ленина, установленная в 1955 году.

Присуждение Ленинской премии 1958 года Михаилу Константиновичу Аникушину за памятник А. С. Пушкину в Ленинграде явилось заслуженной наградой автору выдающегося произведения советской монументальной скульптуры, художнику, воссоздавшему в бронзе образ великого поэта.

О. А. Пини

МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. С. ПУШКИНА

Музей-квартира Пушкина в Ленинграде — один из самых популярных литературно-мемориальных музеев нашей страны. В этой квартире, в доме № 12 по набережной Мойки, Пушкин прожил последние месяцы своей жизни, здесь он после тяжелых страданий скончался. До революции о Пушкине напоминала только мемориальная доска. Квартира сдавалась в наем, в ней помещалось одно время охранный отделение. Но уже в первые годы Советской власти, когда особое внимание стало уделяться памятным местам, была начата реставрация последней квартиры Пушкина и в ней был открыт музей. В музее были собраны вещи и мебель пушкинской эпохи, а изобразительный материал в общих чертах знакомил с биографией и творчеством поэта.

В 1925 году в последней квартире поэта впервые отмечался день его смерти. И с этих пор ежегодно 10 февраля в музее-квартире поэта устраиваются памятные собрания.

В 1937 году, к столетию смерти Пушкина, были проведены большие работы по восстановлению и дальнейшей мемориализации музея-квартиры. Изучение документов эпохи, старых планов дома, воспоминаний современников, наконец, план квартиры, зарисованный В. А. Жуковским, дали возможность восстановить семь комнат (из одиннадцати) принадлежавших поэту: в мемориальном плане был восстановлен только кабинет Пушкина, дополнительная экспозиция, расположенная в шести других комнатах, знакомила с последними годами жизни и творчества Пушкина.

Работы 1937 года явились только началом мемориализации квартиры, а также восстановления архитектурного облика дома. Устроители тогда полностью не разрешили всех стоявших перед ними в этом плане задач.

После Великой Отечественной войны музей-квартира Пушкина был отремонтирован и в 1947 году вновь открыт.

В 1949 году, к 150-летию со дня рождения поэта, музей пополнился такими ценными материалами, как портрет Пушкина работы П. Ф. Соколова (1830-х годов), картина Н. Г. Чернецова «Дарьяльское ущелье», написанная им для Пушкина, и др. В прежнем виде была восстановлена арка ворот и самые ворота.

На протяжении 1956 года в музее-квартире Пушкина, ставшем филиалом Всесоюзного музея А. С. Пушкина, были произведены ремонтно-реставрационные работы. По существу, эти работы явились этапом дальнейшего последовательного и необходимого полного восстановления в мемориальном и бытовом плане самой квартиры, а также воссоздания внешнего вида дома.

Чтобы восстановить архитектурный облик дома, были сделаны вторые ворота. Над окнами кабинета Пушкина, выходящими во двор, во втором этаже навешен балкон. От жильцов были освобождены еще две комнаты квартиры, где жили сестры Гончаровы. Пока еще эти комнаты не присоединены непосредственно к музею, так как их отделяет от него лестница парадного хода с набережной Мойки, устроенного в 1910 году. В плане дальнейшей реставрации предусматривается присоединение этих комнат к ранее восстановленным семи комнатам квартиры поэта. Парадная лестница, не существовавшая при Пушкине и сделанная позднее, будет уничтожена. В вестибюле музея, против лестницы, восстановлена маленькая дверка, на которой В. А. Жуковский вывешивал бюллетени о состоянии здоровья Пушкина и через которую проходили прощаться с лежащим в гробу поэтом. Были отремонтированы также и надворные постройки XVIII века, так называемые «Бироновы конюшни», упомянутые в договоре на наем Пушкиным квартиры. В отремонтированную квартиру проведено центральное отопление, в достаточной степени скрытое и не нарушающее стиля эпохи. В гостиной вместо печи поставлен камин.

Экспозиционная работа велась в плане дальнейшей мемориализации квартиры. Обстановка была дополнена вещами и мебелью пушкинской эпохи, подобранными в соответствии с имеющимися сведениями о квартире Пушкина. Так, в столовой поставлен буфет, повешено зеркало, которые, как известно, находились в столовой Пушкина, в гостиной поставлен шкаф с книгами и т. д. Это всё придало более жилой вид комнатам, в которых жил поэт со своей семьей.

Что касается дополнительной экспозиции, то она была переработана, стала более локальной, т. е. отражающей последний период жизни и творчества Пушкина, совпадающей с пребыванием его на этой квартире.

Одна из основных тем экспозиции — взаимоотношение Пушкина с придворным светским Петербургом, тема, которая раскрывает причины дуэли, была значительно расширена и перенесена из спальни в первую комнату — буфетную. Это дает возможность посетителям музея сразу же ознакомиться с портретами людей, окружавших Пушкина, с придворной светской знатью, с которой сталкивался поэт, с Петербургом его времени, наконец, экспозиция объясняет сложность той обстановки, в которой находился Пушкин, раскрывает причины, приведшие Пушкина к трагической гибели.

Добавились портреты современников, рисунки, фотокопии автографов и документов. Значительно расширилась и пополнилась изобразительным и документальным материалом главная тема экспозиции — дуэль, смерть и похороны Пушкина. В экспозицию были включены и личные вещи поэта (его подзорная труба, курительная трубка, бумажник, бисерный кошелек), а также предметы, принадлежавшие Н. Н. Пушкиной (бисерный кошелек, шагалука, порт-букет) и О. С. Павлищевой (флакончик для духов, вазочка и др.).

Перспективы работ по музею-квартире Пушкина очень значительны, интересны и будут продолжаться по тому же пути — восстановления и мемориализации квартиры.

Изучение интерьеров, материалов пушкинской эпохи даст возможность пополнить обстановку квартиры мебелью и вещами, сделать квартиру более жилой и прибить к ее подлинному историческому облику.

Так как дополнительная экспозиция, расположенная сейчас в комнатах квартиры и нарушающая впечатление жилого помещения, будет вынесена в две комнаты сестер Гончаровых, восстановление квартиры поэта в ее бытовом виде представляется вполне возможным и необходимым.

Музею предстоит также продолжить изучение иконографии поэта, его жены, друзей и современников. Необходимо показать в экспозиции круг чтения Пушкина последнего периода, связанного с жизнью в этой квартире, раскрыть состав книг библиотеки Пушкина и книг с его пометами и т. п. Это всегда очень интересует посетителей и до сих пор еще не отобразено в музее.

Все работы, которые предполагается произвести в музее-квартире Пушкина, направлены к тому, чтобы средствами музейной экспозиции еще глубже и шире показать работу Пушкина над своими произведениями, его деятельность как редактора и издателя журнала «Современник», дать представление о бытовой обстановке в условиях, в которых жил и творил великий поэт.

Музей-квартира Пушкина — наше национальное сокровище. Ежедневно сотни людей со всех концов нашей родины бывают здесь. Более 75 тысяч человек побывало в музее-квартире Пушкина за последний год, в том числе много зарубежных гостей.

Многочисленные записи в «книге впечатлений» музея говорят о всенародной любви к поэту.

Е. В. Фрейдель

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА, УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕЙ КНИГЕ

- Адская поэма** (В Геенне праздник), наброски 104, 105, 108, 110, 111, 128, 130.
- Акафист** Екатерине Николаевне Карамзиной 129.
- Актеон**, план и набросок поэмы 102.
- Александр Радищев** 218, 225, 229, 231, 263.
- Ангел** 125.
- Анджело** 29, 44, 213, 302, 307, 315, 318.
- Андрей Шенье** 23, 222, 379, 393.
- Анчар** 483.
- Арап Петра Великого** 31, 42, 493.
- Арион** 155.
- Барышня-крестьянка** 34, 195, 197—199, 202.
- Бахчисарайский фонтан** 49—100, 102, 104, 424.
- Безумных лет угасшее веселье** (Элегия) 44, 483.
- Беральд Савойский**, неосуществленный замысел 122, 123.
- Бова** 102, 390.
- Борис Годунов** 20, 28—30, 34, 42, 66, 100, 123, 152, 158, 480, 490, 493, 502, 506.
- Бородинская годовщина** 224, 436.
- Братья разбойники** 67, 78, 102, 402.
- Брожу ли я вдоль улиц шумных** (Стансы) 483.
- Будрыс и его сыновья** 302.
- Бура** (Ты видел деву на скале) 94.
- Бывало в сладком ослепленье** 146.
- Бывало, что ни напишу** 145 см. Дельвигу (Друг Дельвиг, мой парнасский брат).
- Вадим**, наброски плана 29, 33.
- Вакхическая песня** 155.
- В Геенне праздник** (Адская поэма), наброски 104, 105, 108, 110, 111, 128, 130.
- Вдали тех пропастей глубоких** 108, 130 см. Адская поэма.
- В еврейской хижине лампада** 483.
- В его «Истории» изящность, простота** (Эпиграмма на Карамзину) 33, 479.
- Веселый вечер в жизни нашей** (27 мая 1819) 115 (Мы пили и Венера с нами).
- В жизни мрачной и презренной** (Эпиграмма на гр. Ф. И. Толстого) 133.
- Влюбленный бес**, неосуществленный замысел 35, 101—130, 506.
- Вновь я посетил** 497.
- Во глубине сибирских руд** (Послание в Сибирь) 497.
- Воевода** 302, 320.
- Вольность** 22, 32, 61, 65, 87, 175, 222, 230, 378, 390.
- Воспоминание** (Когда для смертного умолкнет шумный день) 483.
- Воспоминания в Царском Селе** (Навис покров угрюмой ночи) 256.
- Во тьме кромешной** 110 см. Адская поэма.
- В прохладе сладостной фонтанов** 81 (Любили Крым сыны Саади).
- Всё мое, — сказало золото** (Золото и булат) 25.
- В степи мирской, печальной и безбрежной** (Три ключа) 483.
- В стране, где я забыл тревоги прежних лет** (Чаадаеву) 45, 132, 159.
- Второе послание цензору** 27.
- Выстрел** 195, 197, 199, 203, 204.
- Вяземскому** (Язвительный поэт, остряк замысловатый) 131, 133.
- Гавриилиада** 10, 11, 25, 29, 34, 35, 102, 105, 106, 225, 393.
- Гарем**, неосуществленный замысел 54, 87, 91, 92.
- Где море адское клокочет** 111, 128 см. Адская поэма.
- Герой** 155.
- Глухой глухого звал** 25.
- Городок** 178, 394.
- Город пышный, город бедный** 38, 177.
- Гости съезжались на дачу** 43, 164, 213, 299, 300.
- Граф Нулин** 34, 154, 168, 298, 480.
- Графу Олизару** (Певец! издревле меж собою) 97, 98.
- Гробовщик** 191, 195, 198, 199, 210, 300.
- Гусар** 25.
- Дар напрасный, дар случайный** 27, 483.
- 27 мая 1819** (Веселый вечер в жизни нашей) 115 (Мы пили и Венера с нами).

- 19 октября 1825 года (Роняет лес багряный свой убор) 55, 373, 496.
 Дельвигу (Друг Дельвиг, мой парнасский брат) 145 (Бывало, что ни напишу).
 Дельвигу (Мы рождены, мой брат названный) 18.
 Демон 124, 125, 142, 143, 146.
 Деревня 141, 260, 378, 482.
 Димитрий и Марина, неосуществленный замысел (Лжедимитрий, Самозванец) 122, 123.
 Домик в Коломне 26, 29, 34, 38, 43, 126, 127, 168, 178—184, 187, 191, 195, 196, 300, 501.
 Дон Жуан 122, 123 см. Каменный гость.
 Допросом музу беспокойя 25 см. Езерский.
 Дочери Карагеогрия 502, 503.
 Друг Дельвиг, мой парнасский брат (Дельвигу) 145 (Бывало, что ни напишу).
 Другьям (Нет, я не льстец, когда царю) 29, 393.
 Дубровский 10, 16, 26, 31, 34, 35, 225, 489, 490, 496.
 Евгений Онегин 8, 11, 14, 16, 18, 19, 25—27, 29—31, 35, 37, 38, 41—43, 50 (Я помню море пред грозюю), 54, 65, 66, 84, 90, 94—96, 119, 122, 131—173, 176, 177 (Первоначальное заключение шестой главы), 182, 195, 196, 204, 230 (Путешествие Онегина), 234, 281, 299, 300, 327, 328, 333, 384, 424, 475, 477, 480, 484 (Путешествие Онегина), 485—489, 496, 497, 504, 505, 507.
 Египетские ночи 18, 31, 43, 333, 339.
 Езерский 25 (Допросом музу беспокойя), 184—186, 191, 213, 238, 260, 268—344.
 Жених 23, 152, 153.
 Житье тому, мой милый друг (К Щербинину) 25.
 Заклинание 28.
 Зачем я сю очарован 25.
 Здорово, молодость и счастье 115 см. Юрьеву (Здорово, Юрьев именинник!).
 Здорово, Юрьев именинник (Юрьеву) 115 (Здорово, молодость и счастье).
 Зимнее утро 483.
 Зимняя дорога 483.
 Золото и булат (Все мое, — сказало злато) 25.
 Измены 26.
 (Из Пиндемонти) (Не дорого ценю я громкие права) 29, 44.
 Иисус, неосуществленный замысел 122.
 История Пугачева (История Пугачевского бунта) 29, 221, 226, 228, 246, 297, 302, 324, 438—454.
 История Пугачевского бунта см. История Пугачева.
 История села Горюхина 16, 29—31, 35, 225, 480, 481.
 Ищи в чужом краю здоровья и свободы (Киселеву Н. Д.) 70.
 И я слышал, что божий свет 25.
 К*** (Нет, нет, не должен я, не смею, не могу) 44 (все блага жизни сей).
 К*** (Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный) 26.
 К*** (Я помню чудное мгновенье) 23.
 Кавказский пленник 37, 94, 96, 101, 102, 494.
 Как с древа сорвался предатель ученик (Подражание италянскому) 29.
 Каменный гость (Дон Жуан) 26, 29, 30, 34, 35, 122—125, 198, 370.
 Капитанская дочка 14, 16, 31, 35, 149, 169, 213, 215, 225, 230, 251, 275, 286, 289, 297, 439—441, 452, 489, 490.
 Картина Царского Села, неосуществленный замысел 178.
 Карты, продан, набросок плана 35.
 К вельможе 176, 220, 222.
 К Вяземскому (Так море, древний душегубец) 426.
 К другу стихотворцу 178.
 Кинжал 26, 222.
 Кирджали 31, 416, 463.
 Киселеву Н. Д. (Ищи в чужом краю здоровья и свободы) 70.
 К кастрату раз пришел скрипач 25.
 Клеветникам России 224, 436.
 Клеопатра 18, 23, 33.
 К молодой вдове 360.
 К морю 425, 427, 506.
 К Наталье 390.
 Княгине З. А. Волконской (Среди рассеянной Москвы) 182.
 Князине С. А. Урусовой (Не веровал я троице доньне) 182.
 Когда владыка ассирийский (Юдифь) 25.
 Когда для смертного умолкнет шумный день (Воспоминание) 483.
 Когда за городом, задумчив, я брожу 43.
 Когда порой воспоминанье 29, 157.
 Когда твои младые лета 177.
 Колосовой (О ты, надежда нашей сцены) 25 (Краса, надежда нашей сцены).
 Краса, надежда нашей сцены 25 см. Колосовой.
 К сестре 178.
 Кто знает край, где небо блещет 29.
 Куда вы? за город конечно (Чиновник и поэт) 502.
 Курбский, неосуществленный замысел 122.
 К Чаадаеву (Любви, надежды, тихой славы) 61, 176.
 К Щербинину (Житье тому, мой милый друг) 25.
 Леда 390.
 Лжедимитрий 123 см. Димитрий и Марина, неосуществленный замысел.
 Лицинию 132, 175, 501.

- Любви, надежды, тихой славы (К Чаадаеву) 61, 176.
- Любили Крым сыны Саади 81 см. В прохладе сладостной фонтанов.
- Маленькие трагедии 30, 490.
- Медный всадник 30, 31, 35, 38, 42, 43, 126, 127, 155, 174—176, 178, 179, 184—192, 198, 212, 213, 220, 221, 228, 268—344, 467, 485, 489, 490, 501, 505.
- Медок 279.
- Менко Вунч грамоту пишет 484, 503.
- Метель 198, 199, 202.
- Милый мой, сегодня 115.
- Мой первый друг, мой друг бесценный (Пушину И. И.) 29.
- Монах 390, 394.
- Монарх и Сальери 122—124, 370, 427, 501, 505.
- Моя родословная 27 (Попали в честь тогда Орловы), 149, 184, 337.
- Мы пили и Венера с нами 115 см. 27 мая 1819 (Веселый вечер в жизни нашей).
- Мы проводили вечер на даче 18, 112, 166.
- Мы рождены, мой брат названный (Дельвигу) 18.
- На Бабловский дворец 368.
- Наброски к замыслу о Фаусте 107, 108.
- Навис покров угрюмой ночи (Воспоминания в Царском Селе) 256.
- На Испанию родную 328.
- На переводы Илиады (Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи) 281, 282.
- На статую играющего в бабки 507.
- На статую играющего в свайку 507.
- На углу маленькой площади 43, 213, 300.
- На холмах Грузии 94, 100.
- Не веровал я тропце доныне (Княжне С. А. Урусовой) 182.
- Не дорого ценю я громкие права (Из Пиндемонти) 29, 44.
- Ненастный день потух 94, 98.
- Не пой, красавица, при мне 94, 100, 461.
- Нереида (Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду) 50.
- Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем 241, 434.
- Нет, нет, не должен я, не смею, не могу (К***) 44 (все блага жизни сей).
- Нет, я не льстец, когда царю (Друзьям) 29, 393.
- Н. избирает себе в наперсники, набросок плана 35.
- Но Феб во гневе мне промолвил 131 см. Вяземскому (Язвительный поэт, остряк замысловатый).
- Нозль (Ура! в Россию скачет) 378, 390.
- О бедности! затвердил я наконец 25.
- О вечном мире 29.
- О дева-роза, я в оковах 50.
- Одни стихи ему читала 18, 25.
- О народном воспитании 147, 218, 265.
- Он между нами жил 223, 484.
- Опровержение на критике 263.
- Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений 264.
- Опять увенчаны мы славой 18.
- Осень 302.
- Отрывок из письма к Д. 35.
- О ты, надежда нашей сцены (Колосовой) 25 (Краса, надежда нашей сцены).
- Павел I, неосуществленный замысел 122, 123.
- Памятник 467 см. Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
- Певец! издревле меж собою (Графу Олизару) 97, 98.
- Песни западных славян 9, 25, 207, 416, 483, 484, 502, 503.
- Песни о Стеньке Разине 153, 503.
- Песня о Георгии Черном 503.
- Пиковая дама 12, 28, 31, 34, 38, 43, 126, 127, 206—216, 302, 455—464, 501.
- Пирующие студенты 356.
- Питомец мод, большого света друг (Послание к кн. Горчакову) 390.
- Платоническая любовь 55, 56, 59, 62.
- Повести Балкина 31, 34, 127, 193—209, 213—216, 300.
- Погасло дневное светило 37, 461.
- Подражание итальянскому (Как с древа сорвался предатель ученик) 29.
- Подражания Корану 23.
- Полководец 328.
- Полтава 31, 34, 88, 94, 99, 155, 158, 159, 170, 480, 485.
- Попали в честь тогда Орловы 27 см. Моя родословная.
- Пора, мой друг, пора! 44.
- Послание в Сибирь 497 см. Во глубине сибирских руд.
- Послание к кн. Горчакову (Питомец мод, большого света друг) 390.
- Послание к Юдину 359.
- Послание цензору 29, 137, 263.
- Послушайте, я вам скажу про старину 33, см. Эпиграмма на Карамзина (Послушайте: я сказку вам начну).
- Послушайте: я сказку вам начну (Эпиграмма на Карамзина) 33 (Послушайте, я вам скажу про старину).
- Проведать дельное иль сердце освежить 137 см. Послание цензору.
- Пророк 485.
- Путешествие в Арзрум 233.
- Путешествие из Москвы в Петербург 44, 218—267, 502.
- Путешествие Онегина 230, 484 см. Евгений Онегин.
- Пушину И. И. (Мой первый друг, мой друг бесценный) 29.
- Разговор книгопродавца с поэтом 23, 94, 99, 505.

- Расходились по поганскому граду 30.
 Редает облаков летучая гряда (Таврическая звезда) 50, 51, 93, 94, 99.
 Рефутация Беранжера 28.
 Родословная моего героя 31, 268, 298, 327, 336.
 Родриг 328.
 Роман в письмах 137, 165, 166, 260.
 Ромул и Рем, неосуществленный замысел 122, 123.
 Роняет лес багряный свой убор (19 октября 1825 года) 55, 373, 496.
 Рославлев 31.
 Румяный критик мой 141, 195, 225, 501.
 Русалка 300, 489, 490, 503.
 Руслан и Людмила 22, 33, 61, 76, 77, 117, 167, 378—401, 502.
- Самозванец 123 см. Дмитрий и Марина, неосуществленный замысел.
 Свободы сеятель пустынный 142.
 Скажи, какой судьбой 133.
 Скажи, что нового (Эпиграмма) 25.
 Сказка о золотом петушке 36.
 Сказка о мертвой царевне 497.
 Сказка о попе и о работнике его Балде 30.
 Сказка о рыбаке и рыбке 36, 302, 304, 463, 503.
 Сказка о царе Салтане 411.
 Скупой 122 см. Скупой рыцарь.
 Скупой рыцарь 122 (Скупой) 124, 192.
 Слово милой 368.
 Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи (На перевод Илиады) 281, 282.
 Сонет (Суровый Дант не презирал сонета) 484.
 С позволения сказать 369.
 Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду (Нереида) 50.
 Среди рассеянной Москвы (Княгиня Э. А. Волконской) 182.
 Стансы (Брожу ли я вдоль улиц шумных) 483.
 Станционный смотритель 183, 191, 195, 197—199, 205, 212, 300.
 Супругою твоей я так пленился (Эпиграмма) 28.
 Суровый Дант не презирал сонета (Сонет) 484.
 Сцены из рыцарских времен 149, 221.
 Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный (К***) 26.
- Таврида 8, 22, 32, 94—96, 489.
 Таврическая звезда см. Редает облаков летучая гряда.
 Тазит 279, 300, 494.
 Так море, древний душегубец (К Вяземскому) 426.
 Там, где древний Кочерговский (Эпиграмма) 30.
 Там у леска, за ближнею долиной 25.
- Тимашевой К. А. (Я видел вас, я их читал) 424.
 Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов 241, 434.
 Три ключа 483 см. В степи мирской, печальной и безбрежной.
 Ты видел деву на скале (Буря) 94.
- Угрюмых тройка есть певцов 28.
 Уединенный домик на Васильевском, рассказ Пушкина в записи В. П. Титова 101, 110, 112, 113, 123, 125—128, 177, 300.
 Ура! в Россию скачет (Нозль) 378, 390.
- Фавн и пастушка. Картины 390.
 Фатам или разум человеческий, несохранившийся лицейский роман 32.
 Фонтану Бахчисарайского дворца 79, 81.
- Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений (Царское Село) 18.
- Царей потомок Меценат 25.
 Царское Село (Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений) 18.
 Царскосельская статуя 507.
 Царь Никита и сорок его дочерей 29, 490.
 Царь увидел пред собою 288.
 Цыганы 30, 35, 94, 98, 121, 143, 165, 410, 416, 428, 479, 503.
- Чаадаеву (В стране, где я забыл тревоги прежних лет) 45, 132, 159.
 Часто думал я об этом ужасном семейственном романе 35.
 Чем чаще празднует лицей 170.
 Черная шаль 503.
 Чиновник и поэт (Куда вы? за город конечно) 502.
 Что белеется на горе зеленой 484.
- Элегия (Безумных лет угасшее веселье) 44, 483.
 Эпиграмма (Скажи, что нового) 25.
 Эпиграмма (Супругою твоей я так пленился) 28.
 Эпиграмма (Там, где древний Кочерговский) 30.
 Эпиграмма на гр. Ф. И. Толстого (В жизни мрачной и презренной) 133.
 Эпиграмма на Карамзина (В его «Истории» изящность, простота) 33, 479.
 Эпиграмма на Карамзина (Послушайте: я сказку вам начну) 33 (Послушайте, я вам скажу про старину).
- Юдифь 25 см. Когда владыка ассирийский.
 Юрьеву (Здорово, Юрьев именинник) 115 (Здорово, молодость и счастье).

Я видел вас, я их читал (Тимашевой К. А.) 424.

Язвительный поэт, остряк замысловатый (Вяземскому) 131, 133.

Я знаю край: там на берега 29.

Яныш Королевич 503.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный 467 (Памятник), 508.

Я пережил свои желанья 462, 464.

Я помню море пред грозою 50 см. Евгений Онегин.

Я помню чудное мгновенье (К ***) 23.

Note sur la révolution d'Ipsylanti 403.

Quand un poète en son extas 369.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абай** 493.
Абакумов С. И. 203.
Аббас-Мирза 429.
Азатовский М. К. 30, 136.
Айвазовский И. К. 508.
Аксаков К. С. 232.
Аксаков С. Т. 232, 429.
Аксаковы 486.
Аксенова Л. Л. 407.
Александр I 54, 57, 61, 63, 67—69, 71, 176, 234, 242, 257, 313, 314, 323, 368, 371, 379, 389, 392, 394, 490.
Александр II 71, 72.
Алексеев М. П. 3, 211, 234, 472, 502, 504, 508.
Алексеев Н. С. 66.
Алтуфьев, секунд-майор 445.
Альбрехтсбергер И. 363, 371.
Альмединген Б. А. 507.
Альтман М. С. 30.
Аммосов А. Н. 474.
Амусин И. Д. 139.
Андрей Ф.-Г.-Ж. 376.
Андроников И. Л. 478, 505—507.
Андросов В. П. 236.
Аникушин М. К. 508, 509.
Анна Ивановна, компаньонка Раевских 50.
Анна Иоановна, имп. 43.
Анна Павловна, вел. кн. 364.
Анненков П. В. 87, 91, 101, 106, 111, 114—116, 123, 129, 133, 157, 197, 206, 254, 268, 380, 438, 474.
Антокольский П. Г. 507.
Антонолини Ф. 364.
Аракчеев А. А. 349.
Ариосто Л. 397.
Артюхов К. Д. 448.
Архилова Н. М. 496.
Асафьев Б. В. 90.
Асмус В. М. 502.
Астафьева О. В. 440, 482, 489, 490.
Ашукин Н. С. 106, 456, 492.
- Бабин В. П.** 447.
Баженов В. И. 87.
Базанов В. Г. 144, 203, 471, 504.
Байрон Д.-Г. 27, 58, 68, 77, 78, 80, 85, 86, 91, 123, 135 (Бейрон), 136, 141, 159, 160, 163, 297, 309, 317, 419, 421, 425—427.
Бакунин А. П. 351.
Бакунина Е. П. 368.
- Балш А.** 110, 111.
Бальзак О. 29, 169, 201, 207, 211, 214.
Бан М. 464.
Бантыш-Каменский Д. Н. 29, 454, 503.
Бантыш-Каменский Н. Н. 441.
Баракан С. Л. 473.
Барант А.-Г.-П. 70.
Баратынский Е. А. 163—166, 168, 169, 194, 202, 203.
Барбье О. 29.
Барклай де Толли М. Б. 328.
Барков Д. Н. 263.
Бартнев П. И. 50, 65, 92, 212, 268, 406, 448.
Бартнев Ю. Н. 60.
Басаргин Н. В. 62—65, 67—69.
Батюшков К. Н. 30, 32, 108, 178, 428, 482.
Бах И.-С. 363.
Бахрушины 241.
Бедный Демьян 34.
Безгласный В. (Одоевский В. Ф.) 235.
Безобразов А. М. 243.
Безобразов С. Д. 237.
Бейль А.-М. см. Стендаль.
Белинский В. Г. 87, 151, 154, 155, 166, 170—173, 193, 195, 206, 207, 216, 236, 238, 241, 382, 389, 425, 465, 466, 502.
Беллок, г-жа 426.
Белокопытова С. 508.
Белый Андрей б.
Бельчиков Н. Ф. 473.
Белявский М. Т. 475, 476.
Беляев, капитан 445.
Беляев М. Д. 436.
Беляев Н. 465, 466.
Бенкендорф А. X. 29, 44, 176, 226, 240, 254, 255, 266, 324, 379, 393, 418—429, 442, 447.
Беранже П.-Ж. 28, 29.
Бережкова М. Н. 80.
Березин И. Н. 362.
Березина В. Г. 336.
Берков П. Н. 36, 234, 472.
Берисдорф Э. 362, 364, 365.
Берх В. Н. 190.
Бестужев А. А. (Марлинский) 33, 49, 93, 94, 194, 203—207, 214, 229, 300, 474, 478.
Бестужев Н. А. 300.
Бетховен Л. ван 363, 366, 375.
Бибиков А. И. 442—444.

- Бикерман И. И. 112.
 Бим Баша Савва 407, 411.
 Бирон Э.-И. 283, 341.
 Благой Д. Д. 153, 189, 191, 456, 475, 483—485, 501, 503, 507.
 Блинова А. Т. 448.
 Блинова Е. М. 439.
 Блок А. А. 51.
 Блок Г. П. 438, 440.
 Бобрищев-Пушкин Н. С. 142.
 Бобров В. А. 54.
 Бобров С. П. 25.
 Богаевская К. П. 478.
 Богач Г. Ф. 110, 407, 413, 505.
 Богданов С. 495.
 Богданов-Березовский В. М. 90.
 Боголюбова В. Г. 483.
 Богомолова Л. К. 496.
 Богоров, болгарин 461.
 Богородский Б. Л. 493.
 Болинтинян Д. 413.
 Бомарше П.-О.-К. 427.
 Бонди С. М. 31, 35, 100, 102, 111, 123, 129, 133, 269—271, 279—281, 283, 284, 286, 296, 299, 300, 303, 306, 309, 311, 315, 317, 328, 329, 334, 380, 381, 383, 388, 389, 397, 399, 504, 505, 507.
 Бонч-Бруевич В. Д. 15.
 Борджиа, семья 58.
 Борзенко А. А. 76.
 Борисевич А. Т. 92.
 Боровков А. Д. 257.
 Бороздин А. К. 140.
 Борский А. (Томашевский Б. В.) 26.
 Борский Б. (Томашевский Б. В.) 29.
 Бортнянский Д. С. 367, 373, 374.
 Ботев Х. 463.
 Боцяновский В. Ф. 196.
 Браиловский С. Н. 270.
 Бранг П. 441.
 Браницкая А. В. 72.
 Броглио С. Ф. 348, 352.
 Бродский Н. Л. 95, 127, 145, 149.
 Броневский В. Б. 441.
 Брюсов В. Я. 10, 11, 25, 26, 28.
 Буало Н. 13, 27, 29.
 Буальдьё Ф.-А. 371.
 Будри Д. 362.
 Булгарин Ф. В. (Фиглярин) 93, 126, 134, 165, 194, 195, 206, 233, 236, 239, 264, 292, 295, 296, 335—337, 343, 418, 422, 424, 434, 435, 437, 491.
 Бунин И. А. 238.
 Бунтова, казачка 448.
 Бурмов А. 463.
 Бурсов Б. И. 472.
 Бурдев И. Г. 67.
 Бутурлин М. П. 446.
 Бух К. А. 449—451, 453.
 Бэлаз И. Ф. 478.
 Вадим Новгородский 102, 402.
 Вайнтруб С. Е. 492, 493, 502.
 Валленштейн А. 448.
 Валуев Н. П. 418.
 Валуев П. А. 418.
 Вальховский В. Д. 134.
 Ванькович А. 29.
 Васильев В. Г. 493.
 Васильев М. 250.
 Введенский Д. Н. 440.
 Вебер Г. 463.
 Величков К. 463.
 Вельо, семья 368, 369.
 Вельо Ж. О. 368, 377.
 Вельо С. О. 368.
 Вельтман А. Ф. 405, 407, 411, 413.
 Венгеров С. А. 6, 10, 15, 25, 26, 56, 92, 99, 102, 105, 113, 114, 116, 127, 133, 198, 210, 455.
 Веневитинов Д. В. 66, 123.
 Вересаев В. В. 28.
 Верцман И. Е. 179.
 Вивьен Ж. 29.
 Вигель Ф. Ф. 56, 58, 159.
 Виельгорский Мих. Ю. 506.
 Виже-Дебрен Л.-Е. 56, 57.
 Виноградов А. К. 483, 484.
 Виноградов В. В. 134, 211, 456, 483.
 Виноградов И. А. 154, 199.
 Винокур Г. О. 15, 30, 505.
 Виньи А. де 123, 201.
 Витт И. 56—58.
 Витт И. О. 60.
 Витт С. К. см. Потоцкая С. К., урожденная Клавона.
 Вишневецкий Михаил, польский король 86.
 Владимиреску Т. 402—417, 503.
 Воейков А. Ф. 387, 390, 391, 395.
 Волков Н. Д. 90.
 Волконская В. М. 360.
 Волконская Э. А. 182, 433.
 Волконская М. Н., урожденная Раевская 50—52, 60, 88, 90—92, 94—100, 194, 489.
 Волконский М. С. 90.
 Волконский С. Г. 62, 67, 100, 101.
 Вольман Б. Л. 365.
 Вольтер Ф.-М. 29, 62, 68, 156, 282, 388, 391, 394, 395, 401 (Фернейский злой крикун), 419, 421.
 Вольховский В. Д. 134, 350, 351, 372, 375, 376.
 Вордсворт В. 484.
 Воробьев В. П. 483, 484.
 Воронина Е. Э. 448.
 Воронцов М. С. 64, 66, 474.
 Воронцова Е. К. 51, 474.
 Востоков А. Х. 10, 381, 483.
 Всеволожский А. В. 158.
 Всеволожский Н. В. 14, 29, 30, 479.
 Вульф А. Н. 237 (Анет).
 Вульф Е. Н. 237 (Евпраксия).
 Вэкэреску Я. 412.
 Вяземская В. Ф. 100, 128 (жена), 191, 201.
 Вяземский П. А. 53—56, 61—64, 68, 70, 85, 125, 128, 131, 133, 136, 137, 139, 147, 153, 161, 164, 167—172, 191 (сообщает мужу), 223, 224, 238, 239.

- 246, 258, 324, 336, 337, 355, 381,
383, 418—429, 430—437, 475, 478.
- Гаврилов М. 250.
Гаевский В. П. 348, 359, 369, 466.
Гази-Гирей 86.
Гайдебуров П. П. 26.
Гайдн И. 363.
Гакстгаузен А. 242.
Галахов А. Д. 461.
Галченков И. Ф. 465.
Гарднеры, братья 239.
Гартман Н. Н. 467.
Гасанова Р. Ю. 493.
Гастон де 365.
Гастфрейнд Н. А. 347, 355, 377, 442.
Гауеншильд Ф. М. 362.
Геерен А.-Г.-Л. 31.
Геккерн Л. 29, 474.
Гельведий К.-А. 156, 158.
Гендель Г.-Ф. 363, 364.
Генрих IV 29.
Георгий, арнаут 407.
Георгий Черный (Карагеоргий) 503.
Гериков Г. В. 92.
Герасимова Ю. И. 66.
Гербер Э.-Л. 364, 365.
Гербстман А. И. 485, 486.
Гернграсс В. Н. 75, 81.
Геров Н. 461, 464.
Герден А. И. 70, 142, 173, 219, 221, 222,
235, 240, 242, 255, 258, 259, 394,
473, 474, 490, 507.
Гершензон М. О. 6, 12, 50, 90, 91, 199,
210, 211, 213.
Гёте И.-В. 122, 124.
Гиббон Э. 31.
Гиголов Г. М. 484.
Гизо Ф. 29.
Гиллельсон М. И. 418—429, 505.
Гинзбург Л. Я. 139.
Гиппиус В. В. 15, 16, 35, 196, 198, 241.
Гиппиус Г. Ф. 29.
Гирей см. Керим-Гирей.
Гиро А. 29.
Гладкова Е. С. 36.
Глазунов И. И. 466.
Глинка М. И. 370, 371, 379.
Глинка Ф. Н. 132, 300, 456.
Глиэр Р. М. 374.
Глумов А. Н. 475.
Глухов В. И. 157, 482, 487, 488.
Гнедич Н. И. 167, 263, 378, 379, 384.
Гнедич П. П. 467.
Гоголь Н. В. 152, 154, 183, 184, 192,
193, 216, 232, 241, 337, 491.
Годунов Б. Ф. 162.
Голенищев-Кутузов И. Н. 503.
Голицын Н. Б. 489.
Голицын П. М. 442, 443.
Голицына М. А. 50, 60.
Голицына Н. П. 212.
Голованова Т. П. 507.
Головин 138.
Головин А. В. 112.
Голубков В. В. 149, 495.
- Гольбах П. 156, 158.
Гольденвейзер А. Б. 215.
Гольтгоер Ф. Г. 349.
Гомер 136, 156, 384, 385.
Гомонов И. 492.
Гончаров А. Н. 453.
Гончаров И. А. 151.
Гончарова Н. Н. см. Пушкина Н. Н.
Гончаровы 510.
Гораций Флакк 99, 156.
Гордин А. М. 495.
Городецкий Б. П. 218—267, 472, 502,
505—507.
Горчаков А. М. 72, 347, 350, 390, 407.
Горький А. М. 192, 216.
Готье Т. 57.
Гофман М. Л. 26, 145, 146, 148, 197,
213.
Гофман Э.-Т.-А. 201, 207, 209, 210.
Грабарь И. Э. 35.
Граббе П. X. 138.
Гранин Д. А. 508.
Грановская Н. И. 507, 508.
Гревениц П. Ф. 348, 352.
Греков М. Г. 463.
Грекур Ж.-Б. 9.
Грессе Ж.-Б.-Л. 9.
Грессер П. А. 466.
Греч Н. И. 209, 234, 235, 237, 434.
Грибоедов А. С. 133, 134, 141, 152, 156,
158, 166, 169, 190, 258.
Григорович И. 227.
Гринберг Л. Г. 472, 473.
Гринкова Н. П. 493.
Гриценко Н. П. 440.
Гроссман Л. П. 27, 32, 49—100, 349,
507.
Грот К. Я. 356, 376.
Грот Я. К. 91, 268, 357, 363, 366—368,
371, 375, 376, 438.
Груев И. 461—464.
Грушкин А. И. 32, 211.
Губер П. К. 27, 50, 99.
Гукасова А. Г. 199, 491.
Гуковский Г. А. 32, 140, 146, 150, 480,
486, 497.
Гумбольдт А. 243, 449.
Гуммель И.-Н. 363, 371.
Гусарова Ф. П. 473, 474, 507.
Гусев Н. Н. 507.
Гуторов И. В. 475.
Гюго В. 28, 29, 70, 201, 207.
- Давыдов В. Л. 117, 403—405, 415.
Давыдов Д. В. 61, 62, 91, 107, 256, 436,
482.
Давыдова Е. Н. 92.
Далейрак Н. 364, 371.
Даль В. И. 447, 448.
Данзас К. К. 353.
Данилов В. В. 473, 474.
Данов Х.-Г. 462, 463.
Данте А. 29.
Дантес-Геккерн Ж. 29, 478.
Дантон Ж.-Ж. 70.
Дарский Д. С. 50.

- Дашков Д. В. 112.
 Двойченко-Маркова Е. М. 402—417, 503, 506.
 Деболи 56.
 Дегтеревский И. М. 488.
 Дейч Г. М. 482.
 Дельвиг А. А. 18, 29, 30, 49, 66, 88, 93, 101, 102, 112, 113, 123, 126, 145, 171, 336, 347, 350, 352, 369—373, 375, 433.
 Дельвиг А. И. 112, 113, 126.
 Дельвиги А. А. и С. М. 129.
 Демут Ф.-Я. 112.
 Ден Т. П. 65.
 Державин Г. Р. 166, 167, 229, 232, 256, 342, 416.
 Дерман А. Б. 210.
 Джиани Ф. 29.
 Джонсон 503.
 Дибич И. И. 222.
 Дидро Д. 156, 158.
 Дмитриев М. 463.
 Динеков П. 461.
 Дитрих А. 108.
 Дмитриев И. 234, 238, 243, 247.
 Дмитриев И. И. 27, 61, 123, 166, 167, 391, 396.
 Добровольский Л. М. 36, 472.
 Доланский Ю. 494.
 Долгорукие, князья 341.
 Доленга-Ходаковский З. 336.
 Долинин А. С. 198.
 Домбровская Е. Н. 496.
 Домбровский Ф. М. 59, 74—76, 79.
 Домогацкий В. Н. 508.
 Дондошанская В. В. 497.
 Д'Ор О. Л. 26.
 Достоевский А. А. 448.
 Достоевский Ф. М. 183, 208, 215, 216, 466, 479.
 Драганов П. Д. 473.
 Дружинин Н. М. 68, 69.
 Дубровин Н. Ф. 418.
 Дунин-Борковский Ж.-С. 58.
 Дурново И. Н. 466.
 Евгенийев-Максимов В. Е. 26 (В. Максимов-Евгеньев).
 Евстифеева Г. К. 487, 488.
 Егерев В. В. 495.
 Еголин А. М. 131.
 Егоров А. А. 507.
 Егоров П. И. 473.
 Екатерина II 43, 57, 75, 79, 83, 233—235, 283, 285.
 Елизавета Петровна, имп. 43, 285.
 Еремин А. А. 447.
 Ермаков И. Д. 27.
 Еромолов А. П. 289, 430, 436, 437.
 Есаков С. С. 348, 351, 353, 369.
 Ефимов В. 467.
 Ефремов П. А. 268.
 Жаворонков А. З. 489—491.
 Жанен Ж. 19, 201.
 Жданов В. А. 475.
 Жирмунский В. М. 26, 27, 77.
 Житомирская С. В. 136.
 Жоанно Т. 29.
 Жомини Г. 135, 136.
 Жуковский В. А. 97, 113, 126, 129, 157, 166, 178, 256, 268, 271, 328, 352, 378—380, 390, 392, 395, 396, 428, 430, 432, 435, 436, 476, 482, 509, 510.
 Журавлев Д. Н. 507.
 Заблоцкий-Десятовский А. П. 62, 64, 68, 69, 71, 72, 404, 415.
 Завадовский А. П. 114, 115.
 Загорский М. Б. 32, 106, 116.
 Загоскин М. Н. 160.
 Загряжская Н. К. 212.
 Задека Мартын 29.
 Зажурло В. К. 495.
 Зайцева В. В. 25.
 Закревская А. Ф. 51.
 Занд К. 230.
 Захаров Е. 261.
 Зенгер Т. Г. см. Цявловская Т. Г.
 Зингарелли см. Цингарелли Н.-А.
 Зубов Ю. С. 440.
 Зыков Д. П. 383, 398.
 И. Антоний 56.
 Ибрагим-Паша 429.
 Иван Васильевич IV, Грозный 296.
 Иванов Е. 261.
 Иванов И. С. 507.
 Иванов М. 250.
 Иванов Н. Г. 448.
 Иванов Н. П. 448.
 Игнатъев Р. Г. 449, 450, 453.
 Измайлов А. Е. 29, 201.
 Измайлов Н. В. 3, 5—24, 102, 110, 185, 230, 269—274, 281, 283, 286, 299, 303, 306, 329, 337, 402, 438—454, 472, 483, 504, 505, 507.
 Иконников А. Н. 178.
 Иличевский А. Д. 353, 354.
 Инзов И. Н. 191, 414, 415.
 Иованович Л. 464.
 Иордаки (Олимпиот) 406, 410, 416.
 Ипсиланти А. 403.
 Ипсиланти А. К. 63, 289, 403—406, 413.
 Ипсиланти К. 403.
 Ирвинг В. 195, 201, 209.
 Истомина А. И. 114, 115.
 Иованович Н. 461.
 Каверин П. П. 114—115, 488, 489, 491, 492.
 Казанский Б. В. 243, 245, 474.
 Казарский А. И. 430 (Козарский), 436, 437.
 Казотт Ж. 111, 123.
 Кайдалов Н. А. 448.
 Кайданов И. К. 355.
 Кайсаров А. С. 144.
 Калаушин М. М. 508.
 Калачев Н. В. 450.

- Калашников Г. М. 228 (сына Гаврилу).
 Калашников М. И. 227, 228 (Михайла Иванов), 250, 261.
 Калашникова О. М., в замужестве Ключарева 247.
 Каллимахи 405.
 Камюэнс Л. 178.
 Каннинг Дж. 428.
 Кант И. 156, 241.
 Каподистрия И. А. 403.
 Каравья В. 415.
 Караджич В. С. 502.
 Карамзин Ал-др Н. 477.
 Карамзин Андр. Н. 477.
 Карамзин В. Н. 477.
 Карамзин Н. М. 22, 33, 61, 151, 166, 168, 178, 200, 230, 264, 316, 355, 419, 421, 476, 479.
 Карамзина Е. А. 50, 60, 477.
 Карам. ина Ек. Н. см. Мещерская Е. Н.
 Карамзина Ел. Н. 477.
 Карамзина С. Н. 477.
 Карам ины 112, 128, 129, 177, 425, 430, 432, 477, 505.
 Карл IX 207.
 Карл X 29.
 Карл XII 155.
 Касаткина А. 475, 476.
 Катенин П. А. 133, 162, 506.
 Каховский П. Г. 140.
 Каченовский М. Т. 133.
 Кашин Н. П. 455, 456.
 Керим-Гирей 49, 53, 73—76, 79, 81 (Крым-Гирей), 86, 89.
 Керн А. П. 91, 111—113, 129, 505.
 Кидель А. 411.
 Киндякова Е. П. 423, 424.
 Кипренский О. А. 29.
 Кирджали 416.
 Киреевский И. В. 160, 163, 168—170, 432, 435.
 Кириллов А. 445, 446, 452.
 Кирпиченко П. 466.
 Киселев В. П. 67.
 Киселев Н. Д. 70, 71.
 Киселев П. Д. 53, 54, 61—72, 137, 144, 257, 404, 415.
 Киселев С. Д. 70.
 Киселева Ел. Н., урожденная Ушакова 70, 477, 507.
 Киселева С. С., урожденная Потоцкая 53—56, 59—73, 76, 77, 84, 89, 95, 96.
 Клавона С. К. см. Потоцкая С. К.
 Клаурен Х. 200.
 Клейнмихель П. А. 442, 445.
 Клеман М. К. 7, 8.
 Клингер Ф. М. 106, 107, 123.
 Кнерцер А. Х. 237.
 Княжнин Я. Б. 234.
 Кобеко Д. Ф. 375, 376.
 Ковчegov П. А. 414.
 Козарский см. Казарский А. И.
 Козлов В. В. 508.
 Козмин Н. К. 247.
 Кок П. де 201.
 Кока Г. М. 507.
 Коло д'Эрбуа 29.
 Колпинский Ю. Д. 508.
 Комарович В. Л. 15, 438, 445.
 Комовский С. Д. 351, 353.
 Кондараки В. X. 80.
 Кондрашев 239.
 Конисский Г. 227.
 Констан Бенжамен 29, 68, 70, 135 (Benjamin), 136, 167, 435.
 Константин Павлович, вел. кн. 349.
 Корман Б. О. 497.
 Корнель П. 29.
 Корнилов А. А. 348, 354, 357.
 Корнилов П. Я. 64.
 Кوروبан В. 414.
 Королева Н. В. 508.
 Корсаков Н. А. 348, 354, 367, 369, 370.
 Корсиков А. 509.
 Корф А. 60.
 Корф М. А. 69, 191, 348—351, 366—369, 371, 374.
 Косаревский И. А. 82.
 Косов Г. 509.
 Костенский К. Д. 351.
 Костин В. Г. 489.
 Костров Е. И. 178.
 Костюшко Т. 58.
 Коцебу А. 230, 365.
 Кочубей Н. В. 50, 60.
 Кравцов Н. И. 504.
 Краевский А. А. 207, 466.
 Кребильон П.-Ж. 29.
 Крейцер Р. 371.
 Кречетников П. Н. 444.
 Критские, братья 492.
 Крупеников Л. Ф. 447.
 Крученых А. Е. 27.
 Крылов А. Л. 230.
 Крылов И. А. 222.
 Крæвен, миледи 73, 83.
 Крюднер Ю. 505.
 Кузнецов А. А. 508.
 Кузьмин В. Н. 76.
 Кузьминский Н. 495.
 Кукулевич А. М. 153.
 Кулешов А. А. 507.
 Куницын А. П. 144, 348, 372, 373.
 Курилов П. Ф. 492.
 Кутузов Н. И. 391, 392, 395.
 Кюстин А. де 242.
 Кюхельбекер В. К. 26, 33, 93, 131, 134, 139, 140, 143, 145, 161, 173, 194, 209, 300, 347, 350, 354, 367—370, 372, 376, 377.
 Лабзин А. Ф. 389, 394.
 Лавров В. М. 36, 472.
 Лагарп Ж.-Ф. 29, 365, 429.
 Ламартин А. 29, 309.
 Ламберт 476.
 Ланжерон А. Ф. 62.
 Лапкина Г. А. 507.
 Ларионов В. А. 508.
 Лафайет М.-Ж. 160.
 Лафонтен А. 200.
 Лафонтен Ж. 16, 31.

- Лахостский К. П. 495—497.
 Лацис А. 475.
 Лебедев-Полянский П. И. 35.
 Левенштерн В. И. 62.
 Левит Т. М. 108.
 Левкович Я. Л. 471—498, 504.
 Левский В. 464.
 Легавка М. П. 407.
 Ледницкий В. 197.
 Лежнев А. 215.
 Лемке М. К. 418.
 Ленин В. И. 151, 218, 253, 506.
 Ленобль Г. М. 191, 489, 490.
 Лермонтов М. Ю. 163, 164, 183, 207,
 216, 221, 222, 397, 493, 507.
 Лернер Н. О. 56, 99, 126, 127, 133,
 203, 210—212, 215, 447, 456.
 Лешно де ла Тур Ж. 483.
 Липранди И. П. 65, 66, 86, 110, 117,
 134, 138, 405—410, 412, 414—416.
 Лихачев Д. С. 471.
 Лобанов М. Е. 265.
 Лобанов-Ростовский И. А. 423, 424.
 Лобикова Н. М. 493, 494.
 Лобода А. М. 92.
 Локк Дж. 156.
 Ломоносов М. В. 97, 229, 232, 233, 477.
 Ломоносов С. Г. 355.
 Лорер Н. И. 225.
 Лотман Л. М. 153.
 Лотман Ю. М. 131—173.
 Луи-Филипп, франц. король 71, 222.
 Лукреций Т. Кар 156.
 Луначарский А. В. 34.
 Люблинский Ю. 223.
 Любович Н. 196, 198.
 Людовик XV 139.
 Людовик XVIII 29.
 Лютер А. 107.
 Лясопольский Б. 56.
 Мабли Г.-Б. 154, 158.
 Маврокордато А. 84.
 Магланович И. 414.
 Магомет-Гирей 86.
 Мазепа И. С. 155.
 Майборода А. И. 134.
 Майер Ш. 370.
 Майков А. Н. 183, 206.
 Майков Л. Н. 123, 405, 447, 448, 467.
 Майков-Доброхотов 239.
 Макаров В. В. 492.
 Макогоненко Г. П. 32.
 Малевский Ф. 123.
 Маленин А. И. 196.
 Малиновский В. Ф. 134, 348, 356.
 Малиновский И. В. 348, 356.
 Малкин М. Ф. 35.
 Мальцев М. И. 440, 480, 481, 496, 497.
 Мальцевы 239.
 Мандрыкина Л. А. 488, 491.
 Манизер М. Г. 508.
 Мануйлов В. А. 80, 90.
 Манюэль А. 135, 136, 160.
 Мариво П.-К. 198.
 Маркс К. 223.
 Мартынов А. И. 348, 353.
 Маслов Д. Н. 356.
 Матюшкин Ф. Ф. 353, 371, 377.
 Мегюль Э.-Н. 371.
 Медведева И. Н. 33, 142, 146.
 Межов В. И. 448, 472, 473.
 Мезенцев П. А. 189, 501.
 Мезонфор де ла 365.
 Мейерберг А. 244.
 Мейлах Б. С. 201, 228, 347—361, 472,
 501, 505, 506.
 Менгли-Гирей 86.
 Мендель Г. 364.
 Меншиков А. Д. 341.
 Менья А. 203.
 Мериме П. 29, 139, 207, 215, 414, 483,
 484, 502.
 Меркуров С. Д. 508.
 Местр Ж. де 502.
 Мещерская Е. Н., урожденная Карамзина
 112, 128, 129, 477.
 Мещерский А. И. 342.
 Мещерский П. И. 112.
 Миллер Г. Ф. 440.
 Милонов М. В. 178.
 Милорадович М. А. 29, 61, 63, 176, 323.
 Минин К. 162, 286.
 Митюрин И. 137.
 Михаил Павлович, вел. кн. 60.
 Михневич В. О. 465.
 Мицкевич А. 52 (Адам) 62, 68, 70, 71,
 75—77, 123, 223, 421, 425, 427, 428,
 484, 485.
 Мнишек-Потоцкая Ж.-А. 58.
 Могилянский А. П. 506.
 Модзалевский Б. Л. 10, 26, 53, 56, 92,
 93, 111, 157, 272, 275, 453, 474, 505.
 Модзалевский Л. Б. 14, 15, 30, 31, 272,
 273, 275, 282, 433, 446.
 Мокшанин Н. Д. 506.
 Мольер Ж.-Б. 16, 27, 29, 30, 73.
 Моннье Г. 29.
 Монтескье Ш.-Л. 73, 425.
 Монтолье И. 198.
 Мордвинов А. Н. 227, 324, 447.
 Мордвинов И. Н. 64—66.
 Мордовченко Н. И. 36, 472.
 Морозов П. О. 12, 56, 98, 106, 268.
 Мороховец Е. А. 254.
 Моршихина А. С. 473.
 Мотовилов Г. И. 503.
 Моцарт В.-А. 363, 365, 371, 501.
 Мошелес И. 363.
 Мур Т. 85, 123.
 Муравьев А. Н. 301.
 Муравьев Н. М. 134.
 Муравьев-Апостол И. М. 53, 54, 74, 75, 80.
 Муравьев-Апостол М. И. 134, 135, 141.
 Муравьев-Апостол С. И. 134.
 Муразакевич Н. 75, 80, 83.
 Мусина-Пушкина М. А. 157.
 Мюссе А. 29, 108, 171, 201.
 Мясоедов П. Н. 355, 452.
 Надеждин Н. И. 195, 241, 491.
 Назарова Л. Н. 185, 440, 465—468.

- Напльгин К. 466.
 Наполеон I 67, 91, 97, 159, 171, 208, 222, 224, 389.
 Нарезный В. Т. 164, 201.
 Нарышкин Л. А. 64.
 Нарышкина О. С., урожденная Потоцкая 54, 59, 60, 64, 70, 72, 73, 76.
 Нарышкина С. Л. см. Шувалова С. Л.
 Наташа, горничная 360.
 Нащокин П. В. 212, 275, 324.
 Негри А. Ф. 76.
 Недзельский Б. Л. 93, 95.
 Незеленов А. И. 50, 479.
 Некер С. 108.
 Некрасов Н. А. 173, 192.
 Некрасова А. Д. 496.
 Немлихер Д. 466.
 Нессельроде К. В. 44, 436, 474.
 Нечаева В. С. 236.
 Нечкина М. В. 140, 223, 257.
 Никитин Н. Д. 508.
 Никифоров 74.
 Николай I 43, 60, 175, 176, 218, 225—227, 240, 254, 258, 268, 269, 325, 334, 349, 379, 394, 418, 422, 424, 427, 429, 430 (государь), 435—437, 442, 444, 486.
 Николина М. И. 497.
 Новиков И. А. 506.
 Новиков Н. И. 234.
 Нодье Ш. 209.
 Нордин Г. 474.
 Овидий П. Назон 147, 503, 505.
 Овсяннико-Куликовский Д. Н. 199.
 Огарев Н. П. 183, 221, 222, 490.
 Одоевский В. Ф. (Безгласный В.) 128, 164, 193, 216, 221, 235, 337.
 Оксман Ю. Г. 26, 30, 35, 110, 111, 228, 438, 439, 452.
 Оленина А. А. 182.
 Олизар Г. Ф. 52, 88, 90, 91, 97, 98.
 Олимпиот см. Йордаки.
 Омер де Гелль А. 85.
 Онегин А. Ф. 11, 25, 322, 328.
 Опекушин А. М. 465—467.
 Орлов 239.
 Орлов А. А. 233, 434, 435.
 Орлов А. Г. 256.
 Орлов А. Ф. 71, 436.
 Орлов В. Н. 228.
 Орлов М. Ф. 61, 62, 65, 67, 91, 136.
 Орлова Е. Н., урожденная Раевская 50, 91, 489.
 Осипов И. 453.
 Осипова А. И. 237 (Саша).
 Осипова М. И. 237 (Маша).
 Осипова П. А. 508.
 Османова З. Г. 494.
 Островский А. Н. 466.
 Охотников К. А. 65, 144.
 Охотский Я.-Д. 56.
 П-в В. П. 200.
 Павел I 123, 175, 224, 225, 240, 364.
 Павлищев Л. Н. 488.
 Павлищева О. С., урожденная Пушкина 191, 379, 510.
 Павлов Н. П. 494, 495.
 Павлов Н. Ф. 216, 435.
 Палаузов Н. Х. 461.
 Палаузов С. Н. 406.
 Панар Ш.-Ф. 165.
 Панин П. И. 443.
 Пани А. 413.
 Парни Э.-Д. 29, 135, 136.
 Паскевич И. Ф. 289.
 Пастернак Б. Л. 122.
 Паэзиелло Дж. 364.
 Пеньковский И. М. 249, 250, 261.
 Перельман А. Ф. 35, 36.
 Перовский А. А. 391.
 Перовский В. А. 447—449, 453.
 Пестель П. И. 29, 65, 67, 68, 137, 140, 142, 221, 404, 415.
 Петр I 42, 43, 155, 159, 174, 175, 189—191, 197, 219, 220, 236, 256, 280, 283, 296, 297, 302, 304, 306, 314, 315, 321, 325, 326, 341, 482, 501.
 Петрарка Ф. 52.
 Петренкова Е. М. 36.
 Петров В. А. 508, 509.
 Петров В. П. 256.
 Петров С. М. 440.
 Петрунина Н. Н. 506.
 Пещуров А. Н. 350.
 Пёшель, врач 362.
 Ликсанов Н. К. 174—192, 501.
 Пилецкий М. С. 356.
 Пини 415.
 Пини О. А. 509.
 Писная В. Н. 110, 127.
 Плаксин В. Т. 209.
 Плетнев П. А. 194, 327, 363, 368, 377, 430, 432, 435, 481.
 Плутарх 68.
 Погодин М. П. 107, 123, 128, 200, 241, 281, 428, 429, 434, 436, 437, 481, 482.
 Полевой К. А. 194, 203, 423.
 Полевой Н. А. 126, 167, 292, 336, 337, 418, 421, 423, 428, 429, 482, 491.
 Полевые К. А. и Н. А. 123, 241, 423.
 Полетика 467.
 Поливанов Л. И. 160, 208.
 Поливанова М. А. 208.
 Полонский Я. П. 183.
 Полторацкий С. Д. 423, 426.
 Полянский И. 453.
 Пономарев С. И. 33.
 Попов 239.
 Попов А. В. 25.
 Попов С. А. 449.
 Поспелов Г. Н. 131.
 Потемкин Г. А. 57—59.
 Потоцкая М. 49, 53—55, 60, 61, 66, 75, 76, 78—81, 89, 93.
 Потоцкая О. С. см. Нарышкина О. С.
 Потоцкая С. С. см. Киселева С. С.
 Потоцкая С. К., урожденная Клавона, в первом браке Витт 53—60, 63, 84.
 Потоцкие 84, 85, 89.

- Потоцкий М. С. 60, 67, 72.
 Потоцкий Ю. 58, 59.
 Потоцкий Я. 85.
 Потоцкий-Щенный С.-Ф. 58, 65, 84, 86.
 Предтеченский А. В. 501.
 Прийма Ф. Я. 502, 503.
 Прянишников Н. Е. 448.
 Пугачев Е. И. 14, 173, 228, 246, 302, 304, 431, 441—445, 449, 450, 452, 453, 490.
 Пугачева С. Д. 444.
 Пуквиль Е. 30.
 Пушкин А. А. 467.
 Пушкин В. Л. 234, 355.
 Пушкин Л. С. 55, 65, 117, 196, 225, 378, 379 (брату).
 Пушкин С. Л. 117, 227, 249, 250, 261.
 Пушкина Н. Н., урожденная Гончарова 100, 242, 303, 447, 510.
 Пушкина О. С. см. Павлицева О. С.
 Пушкины 191.
 Пушин И. И. 29, 347, 349, 356, 357, 360, 367, 371—373.
 Пядашев Т. 261.
Рабле Ф. 68.
 Радищев А. Н. 32, 151, 218, 224, 225, 228—231, 233, 234, 236, 243—246, 251—253, 255, 256, 262—264, 266, 267, 480, 481.
 Раевская Ек. Н. см. Орлова Е. Н.
 Раевская Ел. Н. 50, 91, 98.
 Раевская М. Н. см. Волконская М. Н.
 Раевская С. А. 91.
 Раевская С. Н. 50, 91, 194.
 Раевские 60, 89—95, 97, 489.
 Раевский А. Н. 89, 90, 124, 489.
 Раевский В. Ф. 65, 86, 134, 136, 139, 142, 144, 145.
 Раевский Н. Н., генерал 50, 91, 92, 97.
 Раевский Н. Н. (младший) 50, 77, 90—93.
 Разин С. Т. 153, 162.
 Разумовский Л. К. 237, 238.
 Раич С. Е. 126, 435.
 Ралица, болгарка 462.
 Расин Ж. 29.
 Рашевский М. 467.
 Рейнсдорп И. А. 443, 444, 446, 449—452.
 Рейсер С. А. 466.
 Рейхман К. 237.
 Рембрандт Х. 179.
 Ретиф-де-ла-Бретон Н.-Э. 29.
 Ржевский Н. Г. 353, 357, 359.
 Ригас (или Рига) К. 403.
 Ризнич А. 51.
 Рильский Г. 463.
 Ричардсон С. 29.
 Робертсон Ф.-В. 156.
 Рогожины 239.
 Розен Е. А. 134.
 Розен Е. Ф. 200.
 Роллер М. 403.
 Романов М. Ф., царь 340.
 Россет А. О. см. Смирнова А. О.
 Россини Д. 28, 247.
 Руайе А. 29.
 Рубановский, штабс-капитан 64.
 Рубинштейн Г. Р. 241.
 Румянцев П. А. 256.
 Руссо А. 414.
 Руссо Ж.-Ж. 29, 68, 151, 156, 163, 178, 376, 419, 421, 427, 502.
 Руфанова О. П. 497.
 Рылеев К. Ф. 132, 138, 143, 221, 257, 300, 474, 478.
 Рыслаев Л. Д. 442.
 Рычков П. И. 443, 454.
 Рюрик, князь 102.
 Саади Ширазский 87, 419, 420, 423, 424.
 Сабуров И. 225, 240.
 Сабуров Я. И. 114—116.
 Савостьянов К. И. 448.
 Саврасов П. Ф. 358.
 Сазонович С. 371.
 Сайтов В. И. 281, 491.
 Сакулин П. Н. 34, 228.
 Салаев И. Г. 430, 435.
 Салтыков-Морозов М. Г. 340 (Салтыков).
 Салтыков-Щедрин М. Е. 206, 238.
 Сальери А. 363.
 Сальников К. 448.
 Самарин М. П. 153.
 Сандомирская В. Б. 3, 430—437.
 Свињин П. П. 59, 243.
 Свирин Н. Г. 406.
 Севастьянов С. Н. 448.
 Северина Ж. И. см. Теппер де Фергюсон Ж. И.
 Северины 369.
 Сей Ж.-Б. 421, 427.
 Селезнев И. Я. 366, 367.
 Селим-Гирей 86.
 Селинов В. И. 404, 415.
 Семевский М. И. 129, 466.
 Семенко И. М. 489.
 Семенов В. Н. 375.
 Семенов Я. 261.
 Сементовский Н. 60.
 Сенковский О. И. 206, 207, 336.
 Сен-Пьер Ш.-И. 29, 502.
 Сербиневич К. С. 112.
 Сервантес М. 282, 365.
 Сергеев К. 250.
 Серебряный И. А. 508.
 Сестренцевич-Богущ С. 73, 74, 86.
 Сидяков Л. С. 193—217, 505.
 Симонов И. Д. 443, 452 (Симанов).
 Синявский Н. А. 444.
 Сирополь, грек 74.
 Сицкие, князья 340.
 Скарская Н. Ф. 26.
 Скотт В. 66, 68, 193, 419, 421, 425.
 Славейков П.-Р. 461—463.
 Слепушкин Ф. Н. 508.
 Слонимский А. Л. 31, 35, 133, 134, 269, 455, 456.
 Смирдин А. Ф. 324, 430, 432.
 Смирнов В. Д. 75.

- Смирнов Н. М. 192.
Смирнова А. О., урожденная Россет 69, 70, 182, 424, 430 (дона Соль), 432, 486.
Смит А. 136, 137.
Смит М. 360, 368, 369.
Собеский Я. 86.
Соболева Т. П. 490.
Соболевский Н. И. 258.
Соболевский С. А. 378, 483.
Соколов А. Н. 31, 131.
Соколов Б. М. 98.
Соколов Д. Н. 448.
Соколов М. П. 502.
Соколов П. Ф. 510.
Соколова Л. А. 149.
Солдатов А. 261.
Соловьев В. И. 34.
Соловьева О. С. 268—344, 474, 505.
Сологуб Ф. К. 126.
Сомов О. М. 126, 201, 202.
Софинов П. Г. 439, 441—443, 445.
Спасский Г. И. 454.
Сперанский М. М. 226, 227.
Сперанский М. Н. 198.
Сталин И. В. 32.
Сталь А.-Л.-Ж. 29, 139.
Станислав Август, польский король 362.
Стивен Ф. X. 357, 358.
Стендаль (Бейль А.-М.) 207, 211.
Степанов Н. Л. 203, 211, 478.
Стойчев И. К. 461—464.
Стоюнин В. Я. 467.
Ступель А. М. 362—377, 506.
Ступишин А. А. 446.
Стурдза А. С. 133.
Суворов А. В. 65, 256, 351, 438, 442, 445, 453.
Султан-Шах М. П. 194.
Сумароков А. П. 266.
Сумцов Н. Ф. 98, 153.
Сухарев Г. М. 482.
Сухомлинов М. И. 418, 422.
Сухонин С. С. 442.
Суцу А. (Суццо) 403—405.
Суцу М. (Суццо) 403, 404.
Сычугов, майор 451.
Сю Э. 201.
Сягин И. 250.
- Тагиев М. Ф. 492.
Тальма Ф.-Ж. 428.
Тангль Е. 153.
Тарле Е. В. 31.
Тассо Т. 365, 366.
Тацит К. 139.
Теодореску Г.-Д. 412—414.
Теплова Н. С. 433.
Теплова С. С. 433.
Тепляков В. Г. 430, 433.
Теппер де Фергюсон Ж. И., урожденная Северина 366, 368, 377 (жена).
Теппер де Фергюсон Л.-В. 362—377, 506.
Теппер де Фергюсон П. 362.
Тик Л. 201, 209.
Тимашева Е. А. 424, 433.
- Тит Космократов см. Титов В. П.
Титов В. П. (Тит Космократов) 101, 111—113, 119, 123—129, 177, 300.
Товянский А. 71.
Тойбин И. М. 481.
Толстой А. К. 183.
Толстой А. Н. 238.
Толстой В. С. 135, 136.
Толстой Л. Н. 151, 215.
Толстой П. А. 314, 323.
Толстой Ф. И. 133.
Томашевский Б. В. 3, 5—45, 92, 93, 102, 110, 111, 123, 128, 131, 133, 137, 144, 148, 154, 157, 174, 182, 183, 185, 201, 225, 258, 268—270, 275, 281, 283, 290, 326, 328, 334, 380, 382, 397, 402, 424, 427, 471, 472, 479, 482—484, 489, 494, 497, 501, 502, 504, 505, 507.
Тотт Ф. 73.
Тропинин В. А. 29.
Трубецкая Е. А. 430, 432.
Трубецкая Е. Э. 432.
Трубецкие 432.
Трубецкой Б. А. 494.
Трубецкой Н. Ю. 341.
Трубецкой С. П. 67, 257.
Трувчев Я. Г. 462.
Туманский В. И. 88, 96.
Тургенев А. И. 55, 56, 62, 63, 70, 171, 246, 324, 425, 432, 482.
Тургенев А. М. 57.
Тургенев И. П. 476.
Тургенев И. С. 151, 152, 173, 183, 192, 238, 466, 476.
Тургенев Н. И. 29, 72, 136—138, 140, 141, 144, 248, 257, 258, 260, 261, 356, 422, 426—428.
Тургенев С. И. 136, 138, 191.
Тургеневы 258, 262.
Тынянов Ю. Н. 50, 134, 143, 145, 233.
Тырков А. Д. 358.
- Уваров С. С. 44, 224.
Узин В. С. 199.
Урусов А. М. 128.
Урусова С. А. 182.
Ушаков Ф. В. 151.
Ушакова Ек. Н. 477, 507.
Ушакова Ел. Н. см. Киселева Е. Н.
Ушаковы 70, 507.
- Фальконет Э.-М. 174.
Фатов Н. Н. 26, 131, 153, 172.
Федоров Б. М. 29.
Фейервар А. А. 444.
Фейнберг И. Л. 474, 475, 506, 507.
Феокрыт 136, 156, 384.
Фет А. А. 183.
Фетисов М. И. 493.
Фетх-Гирей 75.
Фиглярин см. Булгарин Ф. В.
Фильд Д. 370.
Фирсов Н. Н. 438.
Фокин Н. И. 440.
Фокин Н. Н. 507.

- Фомин А. Г. 472.
 Фомин Т. 444.
 Фонвизин Д. И. 229, 234, 444.
 Фонтенель Б. 156.
 Фон-Фок М. Я. 422, 424.
 Франклин В. 421, 427.
 Фрейд Э. 153.
 Фрейдель Е. В. 495, 511.
 Френ Х. Д. 76.
 Фридендер Г. М. 482.
 Фролова В. Ф. 495, 496.
 Фрэнкленд К. 243—245, 248.
 Фукс К. Ф. 447.
- Халабаев К. И. 11, 34, 269.
 Харитонов А. А. 376.
 Хвостова А. П. 394.
 Херасков М. М. 266, 476.
 Хераскова Е. В. 476.
 Хитрово Е. М. 13, 28, 201, 221, 224, 258, 436.
 Хмельевская Е. М. 504.
 Хмельницкий Э.-Б. М. 86.
 Хмельницкий Н. И. 133.
 Ходаковский см. Доленга-Ходаковский Э.
 Ходасевич В. Ф. 27, 126, 127.
- Цейтлин А. Г. 32.
 Цингарелли Н.-А. 28 (Зингарелли).
 Цицерон М.-Т. 156.
 Цховребова Э. Д. 492.
 Цшокке Г. 201.
 Цыплетев И. Е. 444.
 Цявловская Т. Г., урожденная Зенгер 30—101, 123, 271, 283, 301, 325, 334, 425, 432, 445, 488, 491, 505, 506.
 Цявловский М. А. 15, 26, 30, 34, 35, 64, 65, 91, 99, 107, 123, 144, 423, 444, 448, 507.
- Чаадаев П. Я. 159, 160, 219, 224, 378.
 Чайковский П. И. 31, 505.
 Чарторыйский А. 223.
 Челиче де, семья 84.
 Черейский Л. А. 243, 508.
 Чернецов Н. Г. 510.
 Чернов И. В. 448.
 Чернышев А. И. 69, 137, 442, 453.
 Чернышев Э. Г. 444.
 Чернышевский Н. Г. 153, 206.
 Черняев Н. И. 198, 199.
 Чижевский Д. 153.
 Чинтулов, болгарин 461.
 Чичерин А. В. 215.
 Чичерин Д. И. 444.
 Чулков Г. И. 31.
 Чхайдзе Л. В. 455—464.
 Чхейдзе А. И. 440, 441.
- Шадр И. Д. 508.
 Шадури В. С. 495.
 Шалабаев Б. 493.
 Шаракинова Н. О. 493.
 Шатобриан Ф.-Р. 68.
 Шаховской А. А. 133.
 Шебуев В. К. 364.
- Шевырев С. П. 123.
 Шекспир В. 29, 147, 154, 155.
 Шеллинг Ф.-В. 241.
 Шенгели Г. А. 78.
 Шенье А. 29.
 Шервинский С. В. 506.
 Шервуд Л. В. 508.
 Шереметев В. В. 114, 115.
 Шереметев С. Д. 418, 422.
 Шешковский С. И. 234 (Шишковский).
 Шиллер И.-Ф. 29, 365.
 Шильдер Н. К. 410.
 Шимановская Е. 478.
 Шимановская М. 478.
 Шишков А. С. 266.
 Шлецер А.-Л. 235.
 Шлионский Л. И. 378—401.
 Шляев Б. А. 495.
 Шмидт И. М. 465, 466.
 Шольп А. Е. 505.
 Шостакович С. В. 158.
 Штакельберг А. Ф. 451.
 Штиллинг И.-Ф. 394.
 Шторм Г. П. 477, 507.
 Штрайх С. Я. 132, 135.
 Шувалова С. Л., урожденная Нарышкина 72.
 Шуйский В. И. 123.
 Шульц 238.
- Шеглов 239.
 Шеголев П. Е. 34, 50, 90, 92, 94, 96—99, 126, 269, 271, 325, 334.
 Шепин-Ростовский Д. А. 134.
 Шербатов Ф. Ф. 443.
 Шербачев Ю. Н. 116, 489.
 Шербинин М. А. 116, 488, 489, 491, 492.
 Шиголов А. А. 449, 450.
- Элиб 81.
 Эйтнер Р. 365.
 Эйхенбаум Б. М. 33, 35, 154, 269, 504.
 Эккартсгаузен К. 394.
 Эмин Ф. А. 181.
 Энгельгардт Б. М. 15.
 Энгельгардт Е. А. 347—361, 366—369, 371, 373, 375—377.
 Энгельс Ф. 223.
 Эпикур 9.
 Эсте А. де 366.
 Эфрос А. М. 114, 116, 119, 121, 122.
- Ювенал 68, 131, 132, 140.
 Юдин М. Л. 448.
 Юдин П. М. 359, 448, 453.
 Юзефович М. В. 157, 158, 487, 488.
 Юм Д. 156.
 Юрьев Ф. Ф. 479.
 Юсупов 239.
 Юшневский А. П. 67.
- Языков А. М. 454, 466.
 Языков М. А. 466.
 Языков Н. М. 430, 433—435.

- Яковлев Г. 250.
Яковлев М. Л. 358, 367, 369, 370, 375.
Яковлев Н. В. 25.
Якубович А. И. 140.
Якубович Д. П. 15, 32, 123, 193, 212, 213.
Якушкин В. Е. 114, 268, 286, 287, 301, 398, 475.
- Якушкин И. Д. 132, 134, 135, 138, 140, 141, 243, 257, 260.
Янко М. Д. 370.
Ярошевицкий, подполковник 64.
Ящуржинский Х. П. 84.

Alecsandri V. 411, 412.
Aricescu C.-D. 404.

Bonne A. 203.

Ciobanu V. 407, 413.

Gaßner F.-J. 377.

Lehnhold Ch.-L. 365.

Masiuca-Die C. 412.

Neacşu I. 411.

Neumannová K. 29.

Ségur 79.

Wischnitzer 144.

Xenopol A.-D. 404.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

	Стр.
Борис Викторович Томашевский. 1890—1957	4—5
Софья Станиславовна Киселева, рожд. Потоцкая. Офорт В. А. Боброва. 1878 (ремарка на портрете П. Д. Киселева)	54
Бахчисарайский дворец	80—81
Чертеж Бахчисарайского дворца. № 1. Нижний этаж	82
Чертеж Бахчисарайского дворца. № 2. Верхний этаж	83
Рисунки Пушкина к «Влюбленному бесу»:	
Рис. 1	103
Рис. 2	107
Рис. 3	109
Рис. 4	115
Рис. 5	117
Рис. 6	118
Рис. 7	119
Рис. 8	120
Рис. 9	121
«Езерский». Первоначальный набросок первой строфы с последующей пере- работкой (записная книжка 1828—1835 гг.)	277
«Езерский». Позднейшая переработка белой редакции первых двух строф вто- рого отступления	330
«Езерский». Переделка белого текста первой строфы второго отступления	331
«Езерский». Беловой автограф второй строфы второго отступления	332
Запись И. П. Липранди песни о Тудоре Владимиреску. Первая страница. Центральный государственный исторический архив в Ленинграде	409
Письмо П. А. Вяземского к Пушкину, 22 октября 1831 года. Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде	431
Запись Пушкина в архивном деле о восстании Е. И. Пугачева. Центральный государственный военно-исторический архив	445

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Н. В. Измайлов. Б. В. Томашевский как исследователь Пушкина	5
Список трудов Б. В. Томашевского по пушкиноведению (В. В. Зайцева)	25
<u>Б. В. Томашевский</u> Пушкин и Петербург	37

СТАТЬИ

Л. П. Гроссман. У истоков «Бахчисарайского фонтана»	49
Т. Г. Цявловская. «Влюбленный бес» (Неосуществленный замысел Пушкина)	101
Ю. М. Лотман. К эволюции построения характеров в романе «Евгений Онегин»	131
Н. К. Пиксанов. Пушкин и петербургская беднота	174
Л. С. Сидяков. Пушкин и развитие русской повести в начале 30-х годов XIX века	193
Б. П. Городецкий. «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина	218
О. С. Соловьева. «Езерский» и «Медный всадник». История текста	268

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Б. С. Мейлах. Характеристики воспитанников лицея в записях Е. А. Энгельгардта	347
А. М. Ступель. Лицейский учитель музыки	362
Л. И. Шлионский. К вопросу о дефинитивном тексте поэмы «Руслан и Людмила»	378
Е. М. Двойченко-Маркова. Пушкин и румынская народная песня о Тудоре Владимиреску	402
М. И. Гиллельсон. Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе»	418
В. Б. Сандомирская. Неопубликованное письмо П. А. Вяземского к Пушкину	430
Н. В. Измайлов. Об архивных материалах Пушкина для «Истории Пугачева»	438
Л. В. Чхaidзе. О реальном значении мотива трех карт в «Пиковой даме»	455
<u>И. К. Стойчев</u> Йоаким Груев — первый болгарский переводчик и биограф Пушкина	461
Л. Н. Назарова. Памятник Пушкину в Петербурге	465

КРИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Я. А. Левкович. Литература о Пушкине за 1956—1957 годы	471
------------------------------------------------------------------	-----

ХРОНИКА

Девятая и Десятая Всесоюзные Пушкинские конференции (Е. М. Хмелевская)	501
Сектор пушкиноведения Института русской литературы (Н. Н. Петрунина)	504
В Пушкинской комиссии Союза писателей СССР (И. Л. Фейнберг)	506

В Пушкинской группе Института русской литературы (Н. В. Королева)	507
Новый памятник Пушкину (О. А. Пини)	508
Музей-квартира А. С. Пушкина (Е. В. Фрейдель)	509
Указатель произведений А. С. Пушкина, упоминаемых в настоящей книге (Е. М. Хмелевская)	512
Указатель имен (Е. М. Хмелевская)	517
Список иллюстраций	528

ПУШКИН
ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ · Т о м III

Утверждено к печати
Институтом русской литературы (Пушкинский дом)
Академии Наук СССР

*

Редактор издательства П. П. Быстров
Технический редактор Р. А. Аронс
Корректоры Л. М. Брудно, Э. А. Кацман,
Г. В. Трекало и Н. П. Яковлева

*

Сдано в набор 3/Х 1959 г. Подписано к печати
28/І 1960 г. РИСО АН СССР № 53—96В. Фор-
мат бумаги 70 × 108/16. Бум. л. 16³/8. Печ.
л. 33¹/₄ = 45,55 усл.-печ. л. + 2 вкл. Уч.-изд.
л. 46,5 + 2 вкл. (0,23). Изд. № 939. Тип.
зак. № 354. М-32022. Тираж 2000.

Цена 30 р.

Ленинградское отделение
Издательства Академии наук СССР
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. Издательства Академии наук СССР
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Должно быть</i>
269	3 снизу	1830	1930
285	21 сверху	великой	почтенный
302	27 "	№ 842	№ 839
341	25 снизу	втайне друзья —	втайне им друзья —
343	12 "	Вторая редакция	Вторая редакция * * Строфы I—VIII совпадают с первоначальной редакцией.
390	26 сверху	это	что
391	7 "	расставленными,	расставленным,
473	13 "	вошел	вошла
514	Правый стлб., 29 сверху	Балкина	Белкина
518	Правый стлб., 22 сверху	Виге-Дебрен	Виге-Лебрен

Пушкин. Исследования и материалы